

Пьер БУРДЬЕ

СОЦИАЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО:
ПОЛЯ И ПРАКТИКИ



GALLICINIUM

УДК 316.3
ББК 60.5
Б91

Бурдьё, Пьер

Б91 Социальное пространство: поля и практики / Пер. с франц.; Отв. ред. перевода, сост. и послесл. Н. А. Шматко. — М.: Институт экспериментальной социологии; СПб.: Алетейя, 2005. — 576 с. — (Серия «Gallicinium»).

ISBN 5-89329-761-X

В книге представлены избранные труды Пьера Бурдьё, наиболее близкие и актуальные для российского читателя. Автор 35 книг и нескольких сотен статей, переведенных на десятки языков, Пьер Бурдьё изучал систему образования, государство, власть и политику, литературу и живопись, экономику и масс-медиа, науку и религию. Отобранные для книги тексты в большей мере, чем какое-либо из существующих французских изданий, показывают все разнообразие его исследовательской проблематики, представленное в работах разных лет. Данное издание содержит работы, посвященные анализу таких разнообразных областей социального пространства, как культура, наука, экономика, религия, право. Помимо чисто научных, интеллектуальных достоинств, книга обращается к острым полемическим вопросам, касающимся жизни современного общества.

УДК 316.3
ББК 60.5

*В оформлении использованы фрагменты работ
В. Кандинского*

ISBN 5-89329-761-X



- © П. Бурдьё, 2005
- © Actes de la recherche en sciences sociales
- © Revue française de la sociologie
- © Институт экспериментальной социологии, составление, перевод, 2005
- © Н. А. Шматко, послесловие, 2005
- © Издательство «Алетейя» (СПб.), 2005
- © «Алетейя. Историческая книга», 2005

СОДЕРЖАНИЕ

Генезис и структура поля религии. <i>Перевод О. И. Кирчик</i>	7
Власть права: основы социологии юридического поля. <i>Перевод О. И. Кирчик</i>	75
Поле экономики. <i>Перевод Н. А. Шматко</i>	129
Производство веры. Вклад в экономику символических благ. <i>Перевод Н. А. Шматко</i>	177
Общественное мнение не существует. <i>Перевод Г. А. Чередниченко</i>	272
Мужское господство. <i>Перевод Ю. В. Марковой</i>	286
Поле литературы. <i>Перевод М. Гронаса</i>	365
Поле науки. <i>Перевод Е. Д. Вознесенской</i>	473
Дело науки. Как социальная история социальных наук может служить их прогрессу. <i>Перевод Ю. В. Марковой</i>	518
Социальные условия международной циркуляции идей. <i>Перевод Н. А. Шматко</i>	539
<i>Н. А. Шматко. «Социальные пространства»</i> <i>Пьера Бурдьё</i>	554

ГЕНЕЗИС И СТРУКТУРА ПОЛЯ РЕЛИГИИ*

Как писал Вильгельм фон Гумбольдт, «человек постигает предметы преимущественно или даже исключительно — ибо его чувства и поступки основываются на восприятии — такими, какими они ему явлены в языке. Разматывая в нити языка свое бытие, сам он все больше в него впутывается. Так, всякий язык очерчивает магический круг вокруг народа, им владеющего; круг, из которого можно вырваться, лишь перепрыгнув в другой».¹ Эта теория языка как средства познания, распространенная Кассирером на все «символические формы» и, в частности, на символику ритуала и мифа, иначе говоря — на религию, мыслимую как язык, применима также к теориям, особенно к теориям религии как средствам конструирования научных фактов. Создается впечатление, будто умолчание вопросов и принципов, лежащих в основе остальных способов описания религиозных фактов, является одним из имплицитных условий существования каждой из основных теорий религии (которые, как мы увидим дальше, все могут быть сведены к трем позициям, символизируемым именами Маркса, Вебера и Дюркгейма). Чтобы выйти из одного или другого магического круга, не попадая просто в третий и не обрекая себя на бесконечный переход из одного в другой, иными слова-

* © Bourdieu P. Genèse et structure du champ religieux // Revue française de sociologie. 1971, XII. P. 295–334.

ми, чтобы получить возможность объединить в связную систему, которая не была бы ни школярской компиляцией, ни эклектичным сплавом, то ценное, что внесли в науку различные частичные и взаимоисключающие теории (до сих пор непревзойденные, как остаются непреодоленными и противоречия между ними), нужно попытаться встать на геометрическую точку, в которой сходятся все перспективы, т. е. в точку, которая открывает взгляду одновременно все то, что может и не может быть увидено с каждой отдельной точки зрения.

Первая традиция рассматривает религию как язык, т. е. как средство *коммуникации* и одновременно как средство *познания* или, говоря точнее, *структурированный* (а значит, подлежащий структурному анализу) и в то же время *структурирующий символический медиум*, делающий возможной ту первичную форму консенсуса, какой является договоренность о смысле знаков и смысле мира, который они [средства] позволяют сконструировать. Эта традиция развилась из объективного или сознательного намерения дать научное решение кантианской проблеме познания, поставленной в ее самом широком виде — таком же, как у Кассирера, когда он пытается восстановить функцию языка, мифа (или религии), искусства и науки в конструировании различных «сфер объективности».² Эта теоретическая интенция в явном виде присутствует у Дюркгейма, который, воспринимая социологию религии как одно из измерений социологии знания и стремясь преодолеть оппозицию между априоризмом и эмпиризмом, усматривал в «социологической теории знания»,³ являющейся не чем иным, как социологией символических форм, «позитивное» и «эмпирическое» обоснование кантовского априоризма.⁴ Тот явный факт, что этнологический структурализм многим обязан Дюркгейму, нередко остается незамеченным, а философы способны даже восхищаться собственной проницательностью, обнаруживая следы кантианской проблематики в работах, которые, подобно главе «Первобытного мышления», посвященной «логике тотемических классификаций»,⁵ к тому же являются ответом, несравненно лучше разработанным, на

дюркгеймовский и, следовательно, кантовский вопрос о «примитивных формах классификации».⁶ Вследствие того, что фундаментальный вклад дюркгеймовской школы долгое время умалчивался цензурой спиритуалистической благочинности и «хорошего тона» интеллектуалов, сегодня он не может появиться в изысканной дискуссии иначе, как в более приемлемом обличье соссоровской лингвистики.⁷ Это происходит еще и потому, что наиболее весомый вклад структурализма заключался именно в том, чтобы предоставить теоретические и методологические инструменты, позволяющие реализовать на практике намерение раскрыть имманентную логику мифа или ритуала. Хотя оно присутствует уже в философии мифологии [*Philosophie der Mythologie*] Шеллинга, отстаивавшего «схематическую» [*tautégorique*] — в противоположность «аллегорической» — интерпретацию мифа, это намерение так и осталось бы благим пожеланием, если бы благодаря структурной лингвистике интерес к мифу как *структурированной структуре* не возобладал над интересом к мифу в качестве *структурирующей структуры*, иными словами — в качестве *принципа структурирования мира* (или «символической формы», «примитивной формы классификации», «менталитета»).

Мы намерены временно оставить в стороне вопрос об экономических и социальных функциях мифических, ритуальных или религиозных систем, поскольку они, требуя «аллегорической» интерпретации, затрудняют применение структурного метода. Тем не менее нужно признать, что такая методологическая установка становится все более стерильной и опасной по мере того, как мы удаляемся от символической продукции наименее дифференцированных обществ или от наименее дифференцированной символической продукции (как, к примеру, язык, являющийся продуктом *анонимной* и *коллективной* работы многих поколений) обществ, разделенных на классы.⁸ Продолжая по инерции использовать метод, который нашел наиболее строгое и плодотворное применение в области «мифологии» и фонологии, семиология по умолчанию рассматривает все символические системы как про-

стые инструменты коммуникации и познания (строго говоря, этот постулат верен лишь применительно к фонологическому уровню языка), не задумываясь о социальных условиях, лежащих в основе этой методологической привилегии. Вследствие этого она не может избежать обращения по любому поводу к теории консенсуса, вытекающей из примата вопроса о смысле и определенно сформулированной Дюркгеймом в виде теории *логической и социальной интеграции* как функции «коллективных представлений» и, в частности, религиозных «форм классификации».⁹

По причине того, что в основе структуры любых символических систем, к примеру религии, всегда заложен принцип деления, они способны упорядочивать природный и социальный мир не иначе как путем их разбиения на антагонистические классы — одним словом, они порождают смысл и консенсус о смысле с помощью логики включения и исключения. В силу своей структуры они предрасположены осуществлять функции одновременно включения и исключения, соединения [*sociation*] и разъединения, единства и деления. Эти «социальные функции» (в дюркгеймовском или «структурно-функциональном смысле» слова) имеют тенденцию перерождаться в политические по мере того, как логическая функция упорядочения мира, которую миф выполнял социально недифференцированным образом, производя в универсуме вещей систематический и вместе с тем произвольный *диакризис* [*diacrisis*],¹ все больше подчиняется социально дифференцированным функциям социальной дифференциации и легитимации различий; иначе говоря, по мере того как классификации, производимые религиозной идеологией, постепенно покрывают собой (в двойном смысле слова) социальные деления на конкурирующие или противодействующие группы и классы.

Идея, что такие символические системы, как религия, искусство или даже язык, могут иметь отношение к влас-

¹ Диакризис (греч. *diakrisis*) — способность и/или результат различения.

ти и к политике, т. е. к порядку, но совсем в другом смысле, столь же чужда тем, кто рассматривает социологию символических фактов в качестве одного из измерений социологии знания, как интерес к структуре этих систем, т. е. не только к тому, как они говорят (их синтаксису), но и тому, о чем они говорят (их тематике), — сколь и тем, кто рассматривает ее в рамках социологии власти. А иначе и быть не может, поскольку каждая из теорий, рассматривая избранный ею аспект, сталкивается с непреодолимым эпистемологическим препятствием, каким для нее является эквивалент того же аспекта в спонтанной социологии, конструируемый комплементарной и противоположной теорией. Так, различные «аллегорические» (или внешние) интерпретации мифа, будь то астрономические, метеорологические, психологические, психоаналитические или даже социологические (например, объяснение мифа через его универсальные, но лишенные содержания функции, как у Малиновского, или даже через его социальные функции), придавали ему видимость вразумительности, которая препятствовала «схематической» или структурной интерпретации как минимум не меньше, чем ощущение бессвязности и абсурдности, предрасполагающее видеть в этом дискурсе, кажущемся произвольным, лишь проявление *Urdummheit*, или «примитивной глупости», либо, в лучшем случае, простейшую форму философской спекуляции, т. е., говоря словами Платона, «деревенскую науку». Создается впечатление, что Леви-Строс первым смог пройти по другую сторону зеркала «слишком простых» объяснений, представляющих собой наивные проекции, именно ценой радикального, т. е. *преувеличенного*, сомнения в отношении любого внешнего прочтения, которое приводит его к отрицанию самого принципа взаимосвязанности структур символических систем и социальных структур: «Психоаналитики, как и некоторые этнологи, хотят заменить космологическую и натуралистскую интерпретации объяснениями, заимствованными из социологии и психологии. В таком случае все становится слишком уж просто. Пусть в некой системе мифов отводится важное место какому-либо персонажу,

скажем, очень недоброжелательной бабке; тогда нам объяснят, что в таком-то обществе бабки враждебно относятся к внукам. Мифология превращается в отражение социальных структур и общественных отношений». ¹⁰ Точно так же, заявляя с самого начала, что магические или религиозные действия являются в своей основе *внутри-мирскими* (*diesseitig*) и что их нужно выполнять, «чтобы прожить долго», ¹¹ Макс Вебер мешает себе увидеть сущность религии такой, как ее понимает Леви-Строс, т. е. как продукт «интеллектуальных операций» (в противоположность «аффективным» или практическим), и задаться вопросом о собственно логических и гносеологических функциях того, что он рассматривает как почти исчерпывающую совокупность ответов на многие экзистенциальные вопросы. Но в то же время он получает возможность связать содержание мифологического дискурса (и даже его синтаксис) с религиозными интересами тех, кто его производит, распространяет, и тех, кто его воспринимает, а также, на более глубоком уровне, сконструировать систему религиозных верований и практик как более или менее преображенное проявление стратегий различных групп специалистов, соревнующихся за обладание монополией распоряжаться ценностями спасения, и различных классов потребителей их услуг. Соглашаясь с утверждением Маркса, что религия выполняет функцию сохранения социального порядка, способствуя, говоря его собственным языком, «легитимации» власти «господствующих» и «закабалению подвластных», Макс Вебер находит средство избежать упрощающей альтернативы, продуктом которой являются самые ненадежные выводы — иначе говоря, противопоставления между иллюзией абсолютной автономии мифологического или религиозного дискурса и редукционистской теорией, представляющей его как прямое отражение социальных структур. Он обращает внимание на то, о чем забывают обе противоположные и взаимодополняющие позиции, показывая *религиозную работу*, которую выполняют специализированные, наделенные (а иногда нет) институциональной властью производители и выразители определенного

типа дискурса и практик, чтобы удовлетворять особую категорию нужд, свойственных некоторым социальным группам. Таким образом, в основу относительной автономии, которой наделяет религию, не сделав из этого всех должных выводов, марксистская теория,¹² Вебер кладет исторический генезис корпуса специализированных агентов. Благодаря этому ему удастся обнаружить сердцевину системы производства религиозной идеологии, т. е. наиболее характерный (но не главнейший) принцип *идеологической алхимии*, посредством которой происходит преобразование социальных отношений в сверхъестественные, и, следовательно, вписанные в порядок вещей, а потому оправданные.

Теперь, чтобы выявить общий корень обеих частичных и взаимоисключающих традиций, достаточно переформулировать дюркгеймовский вопрос о «социальных функциях» религии для общества в целом в форме вопроса о *политических функциях*, которые она способна выполнять для различных классов определенной социальной формации благодаря своей собственно символической эффективности. Принимая всерьез дюркгеймовскую гипотезу социального генезиса схем мышления, восприятия, оценки и действия и одновременно факт деления общества на классы, мы с необходимостью придем к той мысли, что между социальными (т. е. властными) и ментальными структурами существует соответствие, которое устанавливается посредством структуры символических систем — языка, религии, искусства и т. д. Точнее, мы увидим, что религия способствует (скрытому) утверждению тех или иных принципов структурирования восприятия и понимания мира — в частности, социального, навязывая систему практик и представлений, чья структура, объективно основанная на принципе политического разделения, предстает как естественная-сверхъестественная структура космоса.

1. Развитие разделения религиозного труда, процесс морализации и систематизации религиозных практик и верований

1.1. Технологические, экономические и социальные изменения, связанные с рождением и развитием города и, в частности, с разделением интеллектуального и физического труда, составляют общую предпосылку двух процессов, которые могут осуществляться лишь в отношении взаимозависимости и взаимного усиления: образование относительно автономного поля религии и возникновение нужды в «морализации» и «систематизации» религиозных верований и практик.

Рождение и рост основных мировых религий связаны с появлением и развитием города. Противостояние между городом и деревней ознаменовало фундаментальный разрыв в истории религии, как и одно из наиболее важных для каждого общества религиозных разделений, затронутых этой морфологической оппозицией. Отмечая, что «основное разделение труда на материальный и духовный является результатом отделения города от деревни», Маркс писал в «Немецкой идеологии»: «Разделение труда становится действительным разделением лишь с того момента, когда появляется разделение материального и интеллектуального труда. С этого момента сознание *может* действительно вообразить себе, что оно нечто иное, чем осознание существующей практики, что оно *может действительно* представлять себе что-нибудь, не представляя себе чего-нибудь действительного, — с этого момента сознание в состоянии эмансипироваться от мира и перейти к образованию «чистой теории» — теологии, философии, морали и т. д.»¹³ Едва ли есть нужда перечислять все особенности условий жизни крестьян, препятствующие «рационализации» религиозных практик и верований. Напомним некоторые из них: зависимость от природного мира, способствующая «идолопоклонническому отношению к природе»,¹⁴ временная структура сель-

скохозяйственного труда, сезонная занятость, по своей сущности противоречащая расчету и рационализации,¹⁵ пространственная рассредоточенность сельского населения, затрудняющая экономический и символический обмен, а значит — осознание коллективных интересов. Напротив, экономические и социальные изменения, коррелирующие с урбанизацией, — развитие торговли и особенно ремесел, т. е. профессиональной деятельности, более-менее не зависящей от случайностей природы и потому относительно рациональной и рационализируемой, или развитие интеллектуального и духовного индивидуализма, связанное с появлением все большего числа индивидов, вырвавшихся из обволакивающих традиций старых социальных структур, — могут лишь способствовать «рационализации» и «морализации» религиозных потребностей. По замечанию Вебера, «экономическое существование буржуазии построено на более *непрерывной* (в сравнении с сезонным характером сельскохозяйственного труда) и более *рациональной* (по меньшей мере, в эмпирическом плане) работе <...>. Это позволяет, главным образом, предвидеть и “осмысливать” отношение между целью, средствами и успехом или неудачей». По мере того как исчезает «непосредственная связь с жизнеобразующей и витальной реальностью природных стихий», «эти стихии перестают быть доступными непосредственному пониманию и превращаются в проблемы», и возникает «рационалистический вопрос о “смысле” жизни», в то время как религиозный опыт очищается и прямые отношения с клиентом приносят в религиозность ремесленника нравственные ценности.¹⁶ Но наибольшая заслуга Макса Вебера заключалась в том, что он показал, что урбанизация (и сопутствующие ей преобразования) способствует «рационализации» и «морализации» религии лишь постольку, поскольку она благоприятствует развитию корпуса специалистов, распоряжающихся ценностями спасения. «Процессы “интериоризации” и “рационализации” религиозных феноменов и, в частности, появление нравственных критериев и императивов, превращение богов в этические силы, поощряющие и вознаграждающие “до-

бро” и наказывающие “зло”, обеспечивая тем самым сохранность нравственных устремлений, и, наконец, культивация чувства “греха” и жажды “спасения” — все эти черты усиливались параллельно с совершенствованием индустриального труда и, по большей части, в прямой связи с развитием города. Однако было бы неверно говорить об однозначном отношении зависимости между этими двумя процессами: рационализация религии обладает собственной нормативностью, для которой экономические условия могут выступать лишь как “общие пути развития” (*Entwicklungswege*) и которая связана, прежде всего, с формированием специфического священнического сословия¹⁷. Так, в Палестине, где, несмотря на наличие крупных культурных центров, не было такого урбанистического и индустриального развития, как в Египте и Месопотамии, религия Яхве претерпела «этико-рациональную» эволюцию. Это произошло благодаря тому, что в отличие от средиземноморского *полиса*, не производшего рационализированной религии из-за влияния Гомера и, в особенности, по причине отсутствия иерократически¹⁸ организованного и специального обученного священнического корпуса, Древняя Палестина располагала городским жречеством. Точнее говоря, культ Яхве смог победить синкретические тенденции благодаря тому, что совпадение интересов городских жрецов и религиозных интересов нового образца, порождаемых у светского населения урбанизацией, позволило преодолеть препятствия, обычно мешающие прогрессу монотеизма. С одной стороны, «могущественные идеальные и материальные интересы жречества, заинтересованного в культе того или иного божества» и, следовательно, враждебно относящегося к процессу «концентрации», ведущему к исчезновению более мелких предприятий спасения, а с другой стороны — «духовные интересы мирян, отдающих предпочтение ближнему религиозному объекту, поскольку он

¹⁸ Иерократия — государственный строй, при котором высшая власть принадлежит духовенству, организованному в соответствии со строгой внутренней иерархией. — *Прим. перев.*

поддается магическому воздействию».¹⁸ Евреи, которым вследствие усложнения политической обстановки оставалось уповать лишь на соблюдение божьих заповедей в вопросе улучшения своей будущей судьбы, постепенно пришли к признанию недостаточности различных традиционных форм культа и, в частности, оракулов, дающих двусмысленные и загадочные ответы. Исходя из чего возникла потребность в более рациональных методах, позволяющих узнать божественную волю, и в служителях культа, способных их практиковать. В данном случае конфликту, возникшему между этим коллективным требованием (которое, стремясь исключить все конкурирующие культы, в действительности совпадало с объективными интересами левитов) и частными интересами жрецов отдельных святилищ, централизованное и иерархически организованное жречество смогло найти такое решение, которое позволяло сохранить в неприкосновенности права всех священнослужителей при установлении монополии культа Яхве в Иерусалиме.

1.2. Процесс, ведущий к образованию инстанций, специально предназначенных для производства, воспроизводства или распространения религиозных продуктов, и преобразование (относительно независимое от экономических условий) системы этих инстанций в более сложную и дифференцированную структуру, т. е. в относительно автономное поле религии, сопровождаются процессом систематизации и морализации религиозных практик и представлений. Этот процесс ведет от мифа как объективно целостной (квази)системы к религиозной идеологии как четко упорядоченной (квази)системе и, параллельно с этим, от табу и магической контаминации — к греху, или от маны, от «иррационального» [*numineux*], от Бога карающего, своевольного и непредсказуемого — к Богу доброму и справедливому, защитнику и хранителю природного и общественного порядка.

Развитие настоящего монотеизма, крайне редко встречающегося в первобытных обществах (в отличие от «монокульта», представляющего собой по сути разновидность

политеизма), связано, по мнению Пола Радина, с появлением хорошо организованного жречества. Это означает, что монотеизм, совершенно неизвестный обществам, чья экономика базируется на собирательстве, охоте и/или рыбалке, встречается исключительно в господствующих классах обществ, характеризующихся более развитым сельским хозяйством, делением на классы (как, например, некоторые западно-африканские общества, полинезийцы, индейцы Дакота и Виннебаго), где дальнейшее разделение труда сопровождается соответствующим разделением светской и особенно духовной власти.¹⁹ Попытки представить этот процесс систематизации и морализации как прямое и непосредственное следствие экономических и социальных изменений связаны с незнанием того, что их собственное действие ограничивается созданием предпосылок — путем двойного отрицания, т. е. путем отмены негативных экономических условий развития мифа — для постепенного формирования относительно автономного поля религии, предполагающего совпадение усилий священников (несмотря на внутреннюю конкуренцию) и «экстра-священнических сил», иначе говоря — религиозных потребностей некоторых категорий мирян и метафизических или этических откровений пророка.²⁰

Существенным следствием процесса морализации таких понятий, как *ate*, *time*, *aidos*, *phthonos*²¹ и т. п., стал «перенос понятия чистоты из области магического в категорию морали», т. е. превращение вины как пятна (*miasma*) в «грех». Чтобы полностью осмыслить этот процесс, необходимо принять во внимание, помимо сопутствующих ему трансформаций экономических и социальных структур, изменения в структуре отношений символического производства, которые к V веку привели к образованию настоящего интеллектуального поля в Афинах. Жречество становится участником процесса рационализации религии: законность своего положения оно основывает на

¹⁹ С др.-греч.: *ate* — стыд, *time* — честь, почет, *aidos* — совесть, достоинство, *phthonos* — зависть, недоброжелательство.

теологии, которая приобретает статус догмы, незыблемой и вечной. К практике экзегезы его вынуждает соположение или столкновение различных мифоритуальных традиций, отныне помещенных в одно и то же пространство города, и, кроме того, необходимость придания потускневшим ритуалам и мифам нового смысла, который бы лучше согласовался с этическими нормами и с мировоззрением публики, а также с ценностями и интересами образованного слоя. Эти новые толкования стремятся заменить *объективную цельность* мифологий *интенциональной связностью* теологических, если не философских, построений, тем самым подготавливая почву для превращения синкретической аналогии, лежащей в основе магическо-мифической мысли, в рациональную и осознанную аналогию своих принципов или даже в силлогизм.²¹ Другим выражением автономии поля религии является тенденция специалистов замыкаться на самореферентной сумме религиозного знания и на эзотеризме квазикумулятивной продукции, адресующейся, в первую очередь, самим производителям.²² Отсюда типично священнический вкус к нестрогой имитации и озадачивающей неточности, намеренной полиномии и двусмысленности, систематической неясности и метафоре — в общем, ко всей этой словесной игре, которую можно обнаружить в любой книжной традиции и в основе которой лежит, по мнению Боллака, *аллегория*, понимаемая как искусство подразумевать иное под теми же словами, говорить иное при помощи тех же слов или выражать иначе те же вещи («давать более чистое значение словам племени»).

1.3. Формирование поля религии является результатом монополизации корпорацией специализированных служителей культа права сношения со сверхчувственным миром. Эти служители получают социальное признание в качестве эксклюзивных носителей специфической компетенции, необходимой для производства и воспроизводства специально организованной совокупности тайных (а значит, редких) знаний, что объективно связано с исключением из этого пространства всех тех, кто наделяется

статусом мирянина (или профана, в двойном смысле слова), лишённого религиозного капитала (как итога символической работы) и признающего законность этой экспроприации, поскольку не замечает ее как таковую.

Объективная экспроприация означает не что иное, как объективное отношение, складывающееся между новым типом ценностей спасения, возникшим в результате разъединения материальной и символической деятельности, а также в результате углубления в разделении религиозного труда, и группами или классами, занимающими низшее положение в структуре распределения религиозных благ. Данная структура, в свою очередь, накладывается на структуру распределения средств религиозного производства, т. е. религиозной компетенции или, в терминологии Макса Вебера, «квалификации». Объективная экспроприация не обязательно подразумевает духовную «пауперизацию», иначе говоря — процесс, целью которого являлось бы накопление и концентрация в руках некоторой группы религиозного капитала, до тех пор более равномерно распределенного среди всех членов общества.²⁴ Однако, даже если данный капитал (как его содержание, так и распределение) может довольно долгое время оставаться неизменным, постепенно обесцениваясь в своем взаимодействии с новыми формами капитала, это обесценивание способно рано или поздно повлечь за собой истощение традиционного капитала и тем самым духовную «пауперизацию» и символическое разделение между сакральным знанием и профанным неведением, которое выражает и усиливает *тайна*.

1.3.1. Все общественные формации тяготеют к одному из крайних полюсов: религиозное самообеспечение, с одной стороны, и с другой — абсолютная монополизация религиозного производства специалистами, в зависимости от степени развития и дифференциации своего религиозного аппарата, т. е. инстанций, объективно уполномоченных обеспечивать производство, воспроизводство, хранение и распространение религиозных продуктов.

1.3.1.1. Этим двум крайним типам структуры распределения религиозного капитала соответствуют: а) противоположные типы объективных (и реальных) отношений к религиозным продуктам: с одной стороны, практическое знание совокупности объективно систематических схем мышления и действия, усваиваемых в имплицитном виде благодаря простой привычке и, следовательно, общих для всех членов группы и практикуемых на дорефлексивном уровне, а с другой — книжное знание свода эксплицитных норм и знаний, четко и сознательно систематизированных специалистами, принадлежащими институции, чьей социальной миссией является воспроизводство религиозного капитала при помощи особой педагогической деятельности; б) совершенно разные типы символических систем: мифы (или мифоритуальные системы) и религиозные идеологии (теогонии, космогонии, теологии), являющиеся плодом ученого переосмысления, произведенного в соответствии с новыми функциями, как внутренними, связанными с существованием поля религиозных агентов, так и внешними, возникающими вслед за образованием государств и развитием классовых антагонизмов и дающими смысл существования основным религиям, претендующим на универсальность.

Этическое неприятие эволюционизма и социально с ним связанных, без какой-либо логической зависимости, расистских идеологий приводит некоторых этнологов к обратному этноцентризму, заключающемуся в том, чтобы наделять все общества, даже самые «примитивные», формами культурного капитала, которые могут появиться лишь на определенной стадии развития системы разделения труда. Так же и в отношении крестьянства нередко допускается популистская ошибка, являющаяся другой формой примитивистской ошибки: при смешении экспроприации с пауперизацией возникает риск принять деконтекстуализированные и реинтерпретированные обломки книжной культуры прошлого за ценные свидетельства самобытной культуры.²⁵ Чтобы избежать этих ошибок, достаточно — как подсказывают некоторые выводы Вебера (кажется, неизвестные этнологам) — связать струк-

туру системы религиозных практик и верований с разделением труда в религии. Именно это делает Дюркгейм (однако не развивает данную мысль, поскольку у него другая цель), проводя различие между «первобытными» и «сложными» религиями, характеризующимися «теологическими столкновениями, изменчивостью ритуалов, множественностью группировок, разнообразием индивидов»: «Возьмем религии Египта, Индии или классической древности! Это запутанное переплетение многочисленных культов, меняющихся в зависимости от местности, храмов, поколений, династий, вторжений и т. д. Народные суеверия смешаны в них с самыми рафинированными догмами. Ни религиозное мышление, ни деятельность не распределены здесь равномерно в массе верующих; разными людьми, кругами, в различных обстоятельствах верования, как и обряды, воспринимаются по-разному. В одном случае это жрецы, в другом — монахи, в третьем — миряне; встречаются мистики и рационалисты, теологи и пророки и т. д.»²⁶. В действительности, этнологи крайне редко предоставляют систематические сведения относительно всей совокупности агентов поля религии, касающиеся их подготовки и способов рекрутирования, позиции и функции в социальной структуре. Лишь в виде исключения они задаются вопросом о распределении религиозной компетенции согласно полу, возрасту, социальному статусу, профессиональной специализации или какой-то другой социальной характеристике. Они также упускают из виду проблему отношения между практическим знанием мифической системы, которым в разной степени обладают коренные жители, и научным знанием, которое приобретает этнолог в результате исследования, основанного на систематически собранных сведениях при помощи наблюдения и опроса различных информаторов, выбранных *исходя из их особой компетенции*. Кроме того, стремясь сегодня отставить в сторону во имя наивно антифункционалистской идеологии проблему связи между социальной структурой и структурой мифических или религиозных представлений, они теряют возможность поставить вопрос (на который могут ответить только срав-

нительные исследования) об отношении между степенью развития религиозного аппарата и структурой или тематикой вероучения [*message*]. В общем, интеллектуальная традиция самой дисциплины, относительно слабая дифференцированность структуры (даже с точки зрения религии) изучаемых ею обществ и используемый идиографический метод как бы навязывают этнологу теорию религии, которую резюмирует дюркгеймовское определение церкви, диаметрально противоположное дефиниции Макса Вебера: «Но маг для магии — то же, что священник для религии, а коллегия священников — не церковь, так же как и религиозная конгрегация, которая под сенью монастыря посвятила бы какому-нибудь святому особый культ. Церковь — это не просто жреческое братство; это нравственная община, образованная всеми верующими одной и той же веры, как ее последователями, так и священниками».²⁷ Из этого следует, что вопреки фундаментальной амбиции Дюркгейма,²⁸ желавшего объяснить «сложные религии» при помощи «простых», правомерность дюркгеймовского анализа религии и любого метода, рассматривающего социологию религии просто как измерение «социологии знания», неизбежно ограничена тем, что из поля зрения исследователя исчезает проблема вариативности формы и степени дифференциации производительной деятельности и непосредственно — символического производства, а также проблема вариативности функций и структуры религиозных учений.²⁹ Исходя из того, что мировоззрение, заключенное в основных мировых религиях, является, по верному замечанию Вебера, плодом деятельности конкретных групп (пуританских теологов, конфуцианских ученых, индийских брахманов, еврейских левитов и т. д.) или даже индивидов (пророков), говорящих для определенных групп, — анализ внутренней структуры религиозного учения должен обязательно учитывать социологически сконструированные функции, которые они несут, во-первых, для групп, которые их производят, и во-вторых, для групп, которые их потребляют. Так, рационализация и морализация учения могли происходить, к примеру, вследствие

увеличения относительного веса его внутренних функций по мере того, как поле религии приобретало все большую автономию.

1.3.1.2. Противопоставление между обладателями монополии на управление сферой сакрального и мирянами, которые объективно определяются как профаны в двойном смысле слова — как несведущие в религии, а также как чуждые сакральному и не имеющие отношения к корпусу управляющих им профессионалов — лежит в основе оппозиции сакрального и мирского и, соответственно, легитимного обращения с сакральным (религия) и профанной и профанирующей манипуляцией (магия или волшебство), будь то объективная профанация, т. е. магия или волшебство как подчиненная религия, или намеренная профанация, т. е. магия как антирелигия или извращенная религия.

Вследствие того, что религия, подобно любой символической системе, несет функцию объединения и разъединения или, говоря точнее, функцию различения, любая система практик и верований обречена быть низведенной до магии или волшебства, если окажется в подчиненном положении в структуре соотношений символической власти, т. е. в системе отношений между различными системами практик и верований, сосуществующими в некоторой социальной формации. Так, под магией обычно понимается либо низшая и древняя, а значит, примитивная религия, либо низшая и современная, а следовательно, профанированная (в смысле, вульгаризованная) и профанирующая религия. Таким образом, с появлением религиозной идеологии древние мифы переместились в положение магии или волшебства. По замечанию Вебера, противопоставление магии и религии возникло как следствие упразднения (по воле политической или церковной власти) культа в пользу другой религии, сводящей древних богов в ранг демонов.³⁰ Значит, мы вправе задаться вопросом, смогла ли этнологическая традиция действительно порвать с этим изначальным и примитивным смыслом, когда она прибегает к оппозиции между магией

и религией, чтобы различать социальные формации, наделенные неодинаково развитыми церковными аппаратами и в неравной степени морализированными и упорядоченными системами религиозных представлений. С другой стороны, оппозиция, существующая внутри одной и той же социальной формации между религией и магией, между сакральным и профанным, между легитимной и профанной манипуляцией святыми вещами, скрывает стоящую за ней оппозицию между религиозными компетенциями, чьи различия связаны со структурой распределения культурного капитала. Лучшим примером этому могут служить отношения между конфуцианством и верой китайских рабочих классов, отбрасываемой в разряд магии презрением и недоверием образованных классов. Последние вырабатывают рафинированный ритуал государственной религии и им удается утвердить и легитимировать свои доктрины и социальные теории, несмотря на некоторые локальные и временные победы таоистских и буддистских священников, чьи доктрины и практики лучше отвечают духовным запросам масс.³¹ Констатируя наличие, с одной стороны, отношения, которое связывает уровень систематизации и морализации религии с уровнем развития церковного аппарата, и, с другой стороны, отношения, которое связывает прогресс в разделении религиозного труда с развитой системой разделения труда и высоким уровнем урбанизации, мы понимаем, что большинство авторов стремится наделить магию характеристиками, которыми обладают системы практик и представлений, свойственные наименее экономически развитым социальным формациям или наименее обеспеченным группам классовых обществ.³² Кроме того, большинство авторов опознают магические практики по их направленности на выполнение конкретных и специфических, локальных и сиюминутных задач (в противоположность более абстрактным, более общим и удаленным во времени целям, которые характеризовали бы религию), по стремлению манипулировать сверхъестественными силами или ставить их себе на службу (в отличие, например, от созерцательных и искупительных установок молитвы), или по

их замкнутости в формализме и обрядовости^{iv} *do ut des*.^{iv} Это происходит оттого, что, являясь порождением условий жизни, которые характеризуются экономической нуждой, не позволяющей абстрагироваться от сиюминутных нужд настоящего и мало способствующей развитию ученой компетенции в области религии, все эти черты с большей вероятностью встречаются, естественно, в обществах или социальных классах, наименее обеспеченных с экономической точки зрения и посему вынужденных занимать подчиненное положение в материальных и символических соотношениях власти. И более того: любая занимающая подчиненное положение практика или вера обречена на то, чтобы считаться профанной, поскольку одним своим существованием, и даже в отсутствие малейшего к тому намерения, она объективно оспаривает монополию на управление сакральной сферой, а следовательно — легитимность обладателей этой монополии. Вообще, выживание есть всегда сопротивление, т. е. несогласие с экспроприацией средств религиозного производства. Вот почему магия, движимая стремлением к профанации, представляет собой не что иное, как крайний случай или, точнее говоря, истинную сущность магии как объективной профанации. Как пишет Дюркгейм, «магия доставляет нечто вроде профессионального удовольствия процессом профанации священных вещей, в обрядах она является противовесом религиозным церемониям».³⁴ Колдун доходит до конца в логике оспаривания монополии, когда усугубляет святотатство тем, что вводит мирянина-профана в отношение со священным предметом, инверсируя или пародируя сложные и искусные действия, которые должны выполнять обладатели монополии на распоряжение религиозными благами, чтобы легитимировать свое положение.

^{iv} *Do ut des* — (лат.) даю, чтобы ты дал (формула римского права, устанавливающая правовые отношения между двумя лицами).

2. Собственно религиозный интерес

2.1. В качестве структурированной символической системы, которая сама действует как структурирующий принцип, религия 1) конструирует опыт (и одновременно выражает его), будучи *практической логикой*, неосознаваемым условием любой мысли, и *имплицитной проблематикой*, иначе говоря — системой необсуждаемых вопросов, ограничивающей поле того, что может стать предметом дискуссии, а что не обсуждается, т. е. принимается на веру; и 2) благодаря эффекту *узаконивания* (или легитимации), создаваемому одним фактом *эксплицирования*, [религия] *изменяет природу* сформированной, исходя из условий существования, системы диспозиций по отношению к природному и социальному миру; она преобразует, в частности, *этос* как систему имплицитных схем действия и оценки в *этику* как систематизированную и рационализированную совокупность эксплицитных норм. Таким образом, религия берет на себя *идеологическую функцию* — *практическую и политическую функцию абсолютизации относительного и легитимации произвольного*, которую она может осуществлять лишь постольку, поскольку несет *логическую и гносеологическую функцию*. Эта функция заключается в том, чтобы усиливать материальную и символическую власть, мобилизуемую некоторой группой или классом с целью легитимации всего того, что социально определяет эту группу или этот класс, т. е. все свойства, присущие данному образу жизни как одному среди многих других (а значит — *произвольные*) и объективно с ним связанные в силу того, что он *занимает определенное положение в социальной структуре* (эффект *узаконивания* как сакрализация через «натурализацию» и увековечивание).

2.1.1. Религия производит эффект *узаконивания*, 1) трансформируя посредством своих освящающих санкций экономические и политические (т. е. фактические) границы и барьеры в правовые и, в особенности, способствуя *символическому манипулированию желаниями*, целью

которого является приведение ожиданий в соответствие с объективными шансами; а также 2) заставляя усвоить освященную систему практик и представлений, чья (структурированная) структура воспроизводит в преображенном, а значит — неузнаваемом виде структуру экономических и социальных отношений, реально существующую в данной социальной формации, и производит объективность (в качестве структурирующей структуры); создавая эффект *непризнания границ* знания, которое она делает возможным; и символически усиливая логические и гносеологические границы и барьеры, детерминированные определенным типом материальных условий существования (эффект знания-незнания).

Не следует путать эффект легитимации, который стремится производить любая система религиозных практик и представлений прямым и непосредственным образом — в случае господствующих классов, и опосредованно — в случае подчиненных классов, с эффектом знания-незнания, который обязательно создается системой религиозных практик и представлений в виде навязывания проблематики и который, безусловно, является самым незаметным каналом осуществления действия легитимации. Схемы мышления и восприятия, образующие религиозную проблематику, не могут производить объективность иначе, как создавая эффект непризнания границ знания, которое они делают возможным (т. е. непосредственное принятие на веру мира традиции, воспринимаемого как «естественный мир»), и скрывая произвольность проблематики, или системы вопросов, которая никогда не ставится под вопрос. Так, мы впадем в противоречие, если станем приписывать народной религиозности мистификаторскую функцию перемещения политических конфликтов и одновременно рассматривать некоторые формы религиозных движений, к примеру, средневековые ереси, как скрытую форму классовой борьбы. Мы сможем избежать этого противоречия, принимая в расчет, в противоположность Энгельсу, эффект знания-незнания, т. е. все то, что происходит из факта, что классовая борьба может иметь место в определенный момент времени, лишь приняв фор-

му религиозной войны и заимствуя ее язык (а вовсе не скрывая ее собой). Короче говоря, религиозные войны не являются ни «жестокими теологическими распрями», как их чаще всего представляют, ни конфликтами «материальных классовых интересов», которые в них обнаружил Энгельс, но представляют собой и то и другое вместе, поскольку теологические категории мышления не допускают мысли о классовой борьбе как таковой, позволяя помыслить ее и вести только в форме религиозной войны. Точно так же в практической сфере алхимия религии превращает «нужду в добродетель» или, по выражению Уильяма Джеймса, «делает неизбежное простым и отрадным», а в сфере гносеологической — превращает «нужду в разум», преобразуя социальные барьеры, определяющие «немыслимое», в логические границы, вечные и безусловные. К примеру, как показывает Пол Радин, представление об отношениях между человеком и сверхъестественными силами, которое предлагается различными религиями, *не может выйти за пределы*, очерченные логикой, управляющей имущественным обменом в данном классе и группе.³⁵ Несложно также показать, что «евхаристическое» видение жертвы — почти никогда не встречающееся в первобытных обществах, где обмен подчиняется закону дара и ответного дара, и даже в крестьянских классах, которые, по замечанию Вебера, в своих отношениях с Богом и священником стремятся следовать «строгой формальной морали *do ut des*», — могло сложиться лишь в связи с изменением структур экономического обмена, в частности, с развитием торговли и городского ремесла, которые, вводя отношение с *клиентом*, создают условия для морализации основанных на расчете отношений человека и божества. В свою очередь, всем известен ответный эффект узаконивания, который может создавать — не только в практической, но и в теоретической сфере — религиозное преобразование аскетического этоса зарождающегося буржуазного класса в религиозную этику аскезы.

2.2. Выгода, извлекаемая некоторой группой или классом из того или иного типа религиозных практик или

верований и, в частности, из производства, воспроизводства, распространения и потребления определенного типа средств спасения (в числе которых и само вероучение), иначе говоря — *религиозный интерес* в социологическом понимании, зависит от того, насколько данная религия способна упрочить материальную и символическую власть, которая может быть мобилизована этой группой или этим классом для легитимации материальных или символических свойств, характеризующих положение, занимаемое ими в обществе. Исходя из этого, родовая функция легитимации по определению осуществляется, всякий раз уточняясь в зависимости от различных религиозных интересов, связанных с различными позициями в социальной структуре.

Мы можем утверждать, что религия обладает социальными функциями и что, следовательно, она по праву является объектом социологического анализа, поскольку миряне ждут от нее не совсем — или не только — оправданий существования, способных избавить их от экзистенциального страха перед случайностью и одиночеством или даже от биологической беспомощности, болезни, страдания и смерти, но также или более всего — оправданий своего социального положения и своего образа жизни, т. е. совокупности их социальных свойств. Вопрос о происхождении зла (*unde malum et quare* ?),^у который, как подсказывает Вебер, становится вопросом о смысле жизни только в привилегированных классах, занятых поисками «теодицеи собственного богатства», в основе своей является социальным вопросом об основаниях и причинах несправедливости и сословных привилегий: теодицея есть всегда *социодицея*. Тем, кому данная теория религиозных функций кажется редукционистской, достаточно напомнить, что функции, которыми объективно наделяется религия в различных социальных классах, в различных обществах и в разные эпохи, крайне вариативны, вследствие чего теории, выдвигающие на первый план

^у Откуда зло и по какой причине? (лат.)

психологические (или «личностные») функции религии, неизбежно страдают *этноцентризмом*. Религиозность начинает приобретать ярко выраженный персональный характер, который слишком часто рассматривается как сущностная черта любого религиозного опыта, лишь с развитием городской буржуазии, склонной интерпретировать историю и человеческую жизнь скорее как следствие личных заслуг или вины, нежели как плоды случая или судьбы. Следовательно, конструируя религиозный факт при помощи собственно социологического метода, т. е. как легитимирующее выражение социального положения, нельзя не заметить социальные условия возможности, а значит, границы применимости, других теорий и, в частности, феноменологического метода. Последний в своем стремлении проникнуть в истину переживания религиозного опыта как персонального опыта, несводимого к его внешним функциям, забывает совершить последнюю «редукцию» — редукцию тех социальных условий, которые должны быть соблюдены, чтобы переживание подобного опыта стало возможным. Подобно добродетели в понимании Аристотеля, личная набожность (и вообще любая форма «внутренней жизни») «нуждается в некотором достатке». Вопросы о спасении души или существовании зла, о страхе смерти или смысле страданий, как и все эти вопросы, находящиеся на границе «психологии» и метафизики, которые являются их секуляризованной формой и которые формулируются и трактуются при помощи разных методов и с разным успехом духовниками и проповедниками, психологами и психоаналитиками, писателями и семейными консультантами, не говоря уже о женских журналах, возникают как следствие усиления интереса к проблемам сознания и роста чувствительности к бедствиям, составляющим человеческий удел, что также становится возможным лишь при определенном типе материальных условий существования. Представление о рае как месте личного блаженства подпитывает наряду с миллениаристской надеждой на ниспровержение социального порядка, сопровождающей народную веру, ту же самую оппозицию между «метафизическим» бунтом

против абсурдности человеческого существования и против универсального «отчуждения» (привилегированное положение не гарантирует полного от них избавления и даже может их усилить, создавая условие для развития способности их выражать, анализировать и тем самым чувствовать еще сильнее), с одной стороны, и смирением обездоленных со всеобщей судьбой страданий, разлук и одиночества — с другой. Общим принципом всех этих параллельных противопоставлений является контраст между различными материальными условиями существования и социальными позициями, которые порождают эти два противоположных типа превращенных представлений о социальном порядке и его будущем.

Сегодня представление о рае как месте индивидуального блаженства соответствует религиозным запросам скорее мелкой буржуазии, чем ее высших слоев, которые могут одинаково увлекаться как сциентистской эсхатологией Тейяра де Шардена, так и футурологией, прогнозирующей возможные варианты развития общества. Это связано с тем, что, как отмечает Райнхольд Нибур, «эволюционистский миллениаризм всегда выражал чаяния привилегированных и зажиточных классов, которые считают себя слишком рациональными для того, чтобы принять идею внезапного появления абсолюта в истории» для которых «идеал заключен в истории и движется к своему окончательному триумфу» и которые «отождествляют Бога с природой, реальное с идеальным, но не потому что дуалистические концепции классической религии кажутся им слишком иррациональными, а по причине того, что они, в отличие от обездоленных, не так страдают от жестокостей современного общества и, следовательно, не имеют катастрофического видения истории». ³⁶

2.2.1. Учитывая, что в основе религиозного интереса лежит необходимость легитимации отличительных свойств, характеризующих определенный тип условий существования и положение в социальной структуре, социальные функции, которые выполняет религия для той или иной

группы или класса, различаются в зависимости от положения, занимаемого данной группой или классом а) в структуре межклассовых отношений, б) в разделении «религиозного труда».

2.2.1.1. В основе динамики религиозного поля и, соответственно, изменений в религиозной идеологии лежат отношения сделки, устанавливающиеся между специалистами и мирянами на базе различных интересов, а также отношения конкуренции, противопоставляющие различных специалистов внутри поля религии.

2.2.2. Учитывая, что религиозный интерес основывается на потребности в легитимации материальных или символических свойств, отличающих тот или иной тип условий существования и положения в социальной структуре, и что, следовательно, он напрямую зависит от этого положения, религиозному интересу определенной группы мирян будет в наибольшей степени соответствовать, т. е. производить собственно символический эффект мобилизации, являющийся результатом абсолютизации относительного и легитимации произвольного, такое вероучение, которое предложит ей [группе] (квази)систему оправдания отличительных свойств, объективно связанных с ее положением в социальной структуре.

Эмпирическим доказательством верности данного предположения, прямо вытекающего из собственно социологического определения функций религии, служит тот факт, что во все времена наблюдается чуть ли не чудотворная гармония между формой, которую принимают религиозные практики и верования в конкретном обществе в конкретную эпоху, и специфическими религиозными интересами ее избранной клиентуры. К примеру, как заметил Вебер, «военное дворянство и другие феодальные силы никак не могли стать проводниками рациональной религиозной этики» как раз потому, что «такие понятия, как “вина”, “искупление”, “смирение”, не только чужды, но даже антиномичны чувству собственного достоинства, свойственному любым слоям, господствующим в полити-

ческой сфере, и особенно — военному дворянству».³⁷ Подобная гармония является результатом *избирательной рецепции*, предполагающей обязательную *реинтерпретацию* [учения] в соответствии с положением, занимаемым в социальной структуре, поскольку схемы восприятия и мышления, являющиеся условием рецепции и определяющие ее границы, представляют собой продукт условий существования, связанных с данной позицией (иными словами, габитус класса или группы). Это означает, что распространение вероучения неизбежно ведет к новой его интерпретации, которая может сознательно совершаться специалистами (например, религиозная вульгаризация с целью проповеди Евангелия) или происходить непреднамеренно в силу действия законов распространения культуры (т. е. «вульгаризация» вследствие оглашения), и которая тем значительнее, чем больше экономическая, социальная и культурная дистанция между группами его создателей, распространителей и адресатов. Отсюда следует, что форма, которую принимает структура систем религиозных практик и верований в конкретный момент времени (историческая религия), может быть весьма далека от изначального содержания Откровения и что ее нельзя до конца понять в отрыве от всей структуры отношений производства, воспроизводства, распространения и присвоения учения, а также в отрыве от истории этой структуры.³⁸ Так, в заключение своего монументального труда по истории социальных учений христианских конфессий Эрнст Трёлч пишет, что «в христианской этике найти инвариантную и абсолютную точку опоры» почти невозможно, поскольку во всех социальных формациях и во все времена христианская догма и мировоззрение варьируют в зависимости от социальных условий, характеризующих различные группы или классы, поскольку, чтобы ими управлять, они должны к ним адаптироваться.³⁹ Точно так же вероучения и практики, которые обычно называются в числе христианских (и у которых едва ли есть что-то общее, кроме имени), обязаны своей долгой жизнью тому обстоятельству, что они не переставали меняться по мере того, как менялись функции, которые они дол-

жны были нести для постоянно обновлявшихся групп, дающих им свою поддержку. В соответствии с этим же принципом — на синхронном уровне — религиозные представления и действия, возводящие себя к одному и тому же изначальному Откровению, получают широкое распространение в социальном пространстве лишь благодаря тому, что приобретают в различных классах и группах радикально различающиеся значения и функции. Так, единство фасада католической церкви XIII века не может скрыть существования в эту эпоху настоящих схизм или *внутренних* ересей, которые позволяли давать будто бы единый ответ противоречивым интересам и требованиям (что позволяло также скрывать различия).

2.2.2.1. В обществе, поделенном на классы, *структура систем религиозных представлений и практик*, свойственных различным группам или классам, вносит свой вклад в увековечение и воспроизводство социального порядка (в значении структуры устоявшихся отношений между группами и классами) и, одобряя и освящая его, способствует его узакониванию. Даже если официально она провозглашается единой и неделимой, в действительности она всегда выстраивается по отношению к двум полярным позициям: 1) по отношению к системе практик и представлений (вере господствующих слоев), направленных на оправдание доминирующего положения господствующих классов, и 2) по отношению к системе практик и представлений (вере подчиненных), заставляющих подчиненных верить в легитимность господства, основанную на незнании произвольного характера господства и символических способов его выражения (стиля жизни, а также религиозности господствующих классов). Тем самым она символически подкрепляет подчиненное представление о политическом мире, а также этос *смирения и жертвенности*, сформированный самими условиями существования, иначе говоря — склонность соизмерять свои надежды с возможностями, соответствующими этим условиям. Это достигается при помощи таких разных (хотя и направленных к одной цели) техник символи-

ческого манипулирования желаниями, как замещение устремлений и конфликтов компенсацией или превращение судьбы в выбор (прославление аскетизма).

Мистифицирующая сила структуры систем представлений и практик может возрасть за счет создания обманчивого ощущения единства традиционных ответов на наиболее фундаментальные вопросы жизни, скрывающего за минимумом общих догм и ритуалов радикально противоположные интерпретации. Ни одна мировая религия не смогла избежать подобной множественности значений и функций: будь то иудаизм, где, согласно Луису Финкельштейну, оппозиция фарисейской и пророческой традиций сохраняет следы экономических конфликтов и трений между полукочевыми пастухами и оседлыми земледельцами, между безземельными группами и крупными собственниками, а также между ремесленниками и горожанами благородного происхождения;⁴⁰ будь то индуизм, поразному интерпретируемый представителями различных уровней социальной иерархии, или, наконец, христианство, которое представляет собой гибрид элементов, заимствованных у иудейской традиции, греческого гуманизма и у различных культов инициации, и которое, по замечанию Вебера, вначале передавалось бродячими ремесленниками, а впоследствии достигло апогея в форме религии монаха и воина, раба и дворянина, ремесленника и торговца. Видимость единства этих глубоко различных систем легко поддерживается еще и потому, что одни и те же понятия и практики принимают *противоположные значения*, служа выражению диаметрально противоположного социального опыта. Возьмем для примера «смирение», которое для одних является первейшим уроком жизни, в то время как для других — плодом огромных усилий, минующих бунт против универсальных форм неизбежности. *Эффект двузначности*, возникающий неотвратимо и без эксплицитного намерения всякий раз, когда единое Откровение интерпретируется исходя из противоположных условий существования, представляет собой, безусловно, лишь один из каналов, через которые реализуется эффект логической необходимости, навязываемой любой религией.

2.3. Вследствие того, что церковная практика или идеология по определению способна производить специфическое религиозное действие мобилизации, связанное с эффектом узаконивания, лишь постольку, поскольку движущий ею политический интерес остается скрытым от глаз как ее создателей, так и адресатов, одним из обязательных условий символической эффективности религиозных практик и представлений является вера.

Не претендуя на полновесное объяснение отношений, связывающих *веру* и *символическую действенность* религиозных практик и идеологий (это потребовало бы включить в наше рассмотрение психологические или даже психосоматические эффекты и функции веры),⁴¹ мы бы хотели просто выдвинуть предположение, что объяснение религиозных практик и верований через религиозный интерес их производителей или потребителей может помочь пониманию самого феномена веры. Учитывая, что действие легитимации основывается на функции знания-незнания, которую несет религиозная практика и идеология, не сложно понять, что специалисты религии должны скрывать друг от друга и от всех остальных политическую подоплеку своей борьбы: им необходимо скрывать свои политические (или, говоря их языком, «мирские») ставки, поскольку от этого зависит символическая власть, которой они могут располагать в этой борьбе.⁴² Кроме того, нам, возможно, стоит приберечь слово *харизма* для обозначения символических свойств (и в первую очередь символической эффективности), которыми будут обладать религиозные агенты в той мере, в какой они разделяют идеологию харизмы, т. е. *символической власти, которую им дает их вера в собственную символическую власть*. Несмотря на то что мы не можем признать за харизмой статус социологической теории, любая теория пророчества должна принимать во внимание харизму как *профессиональную идеологию* пророка, являющуюся обязательным условием специфической эффективности пророчества, поскольку она поддерживает веру пророка в свою «миссию», одновременно снабжая его принципами профессиональной этики, включающими декларированное отрече-

ние от мирских интересов. И идеология откровения, вдохновения или миссии становится наивысшей формой харизматической идеологии лишь благодаря убежденности самого пророка, способствующей успеху операции ниспровержения и преобразования, которую должен произвести пророческий дискурс, чтобы заставить поверить в свое божественное происхождение. Но это не означает, что тому, кто просит, чтобы ему поверили на слово, достаточно иметь убежденный вид, или что тому, кто стремится своими речами проповедовать свою веру, достаточно демонстрировать веру в своих словах или в своем поведении, или даже что способность вложить в свою речь или проповедь веру в истинность своих слов является единственным условием убедительности речи. Принцип взаимосвязи между интересом, верой и символической властью следует, безусловно, искать в том, что Леви-Строс называет «комплексом шаманства», т. е. в диалектике интимного опыта и его социального образа, почти магического круговорота могущества, происходящего, например, во время священнодействия, когда группа производит и проецирует символическую власть, которая будет на нее воздействовать и результатом которой становится переживание, как пророком, так и его зрителями, опыта профетической власти, делающего эту власть реальной.⁴³ Но как можно не видеть, что на более глубоком уровне эта диалектика личного переживания и его социального отображения является лишь внешней стороной *диалектики веры и самообмана* (в смысле сокрытия истины от себя самого индивидом или коллективом), которая лежит в основе игры в маски, игры с зеркалом или игры в маски перед зеркалом, дающей индивидам и группам, вынужденным по той или иной причине подавлять в себе мирские желания (экономические, но также сексуальные), обходные пути их удовлетворения, безупречные с точки зрения духовности? Сила подавления и сублимация наиболее велики именно в тех областях, в которых декларируемая функция и переживаемый опыт откровенно противоречат объективной истине практики. И успех предприятия, т. е. сила веры, зависит от степени содействия

группы, от степени ее заинтересованности в том, чтобы скрыть данное противоречие. Это означает, что иллюзия, которую подразумевает любая вера (и, шире, любая идеология), не имеет шансов на успех, если индивидуальный самообман не культивируется и не поддерживается коллективным самообманом. Как писал Мосс, «за свои иллюзии общество всегда расплачивается с самим собой фальшивой монетой»: именно общество, ибо только оно способно организовать *фальшивое обращение фальшивых денег*, которое, создавая иллюзию объективности, различает безумие как частную веру и религию как веру признанную, т. е. как *ортодоксию*, правильные (или, если хотите, правые) мнения и убеждения или как доксу и воспринимает природный и социальный мир такими, какими они кажутся, т. е. как нечто *само собой разумеющееся*. Именно в этой логике должен быть поставлен вопрос об условиях успеха пророка, который располагает как раз на нечеткой границе между *анормальным* и *экстраординарным* и чье эксцентричное и необычное поведение может вызывать восхищение как *незаурядное* либо быть осмеяно как *выходящее за рамки здравого смысла*.⁴⁴

3. Специфическая функция и функционирование поля религии

Религиозный капитал заключается в долговременном изменении представлений и практик мирян путем внушения им *религиозного* габитуса как порождающего принципа любых мыслей, восприятий и действий, согласующихся с религиозным представлением о естественном и сверхъестественном мире. На самом деле, речь всегда идет о мыслях, восприятиях и действиях, объективно приведенных в соответствие с принципами политического видения социального мира — и только с ними. Религиозный габитус, с одной стороны, в каждый конкретный момент времени зависит от состояния структуры объективных отношений между *религиозным спросом* (т. е. религиозными интересами различных групп или классов мирян) и *религиозным предложением*, т. е. соотношением ортодок-

сальных и еретических религиозных услуг, которые склонны производить и предлагать различные инстанции исходя из своего положения в структуре сил в поле религии. С другой стороны, он определяет природу, форму и эффективность стратегий, которые могут задействовать эти инстанции ради удовлетворения их религиозных интересов, а также их функции в разделении религиозного труда и, следовательно, в разделении политического труда.⁴⁵ В зависимости от своей позиции в структуре распределения собственно религиозной власти, в конкуренции за монополию на распоряжение ценностями спасения и на легитимное осуществление религиозной власти, религиозный капитал могут задействовать разные религиозные инстанции — индивиды или институты.

Так, капитал собственно религиозной власти, которым располагает религиозная инстанция, зависит от символического и материального влияния групп или классов, которые она может мобилизовать, предлагая им продукты и услуги, способные удовлетворить их религиозные интересы. Природа этих продуктов и услуг, в свою очередь, зависит от капитала религиозной власти, которым обладает данная религиозная инстанция в соответствии со своей позицией в структуре поля религии. Именно эта круговая зависимость или, лучше сказать, диалектика (поскольку капитал власти, который могут использовать различные инстанции в конкурентной борьбе, является результатом предыдущих отношений конкуренции) лежит как в основе гармонии, наблюдающейся между предлагаемыми полем религии продуктами и запросами мирян, так и в основе гомологии между позициями производителей в структуре поля и позициями потребителей их продуктов в структуре отношений между классами.

3.1. Вследствие того, что любые стратегии религиозных инстанций (институтов или индивидов) определяются их положением в структуре распределения религиозного капитала, борьба за монополию на легитимное осуществление религиозной власти над мирянами и на управление ценностями спасения неизменно организуется вокруг оппо-

зиции между *церковью* и *пророком* (ересиархом). С одной стороны, ради упрочения своего положения *церковь* стремится преградить доступ на рынок новых предприятий по спасению, как, например, секты или любые формы религиозных общин, а также запретить индивидуальные поиски спасения (через аскезу, созерцание или оргии) в той мере, в какой ей удастся добиться признания своей монополии (*extra ecclesiam nulla salus*).¹¹ Она пытается завоевать или защитить более или менее полную монополию на *капитал институциональной или сакраментальной благодати* (которым она распоряжается в силу своих полномочий и который является предметом обмена с мирянами и инструментом власти над ними), контролируя доступ к средствам производства, воспроизводства и различения продуктов спасения (т. е. обеспечивая поддержание порядка в корпусе специалистов). Сословию священников (взаимозаменяемых и, следовательно, не отличающихся друг от друга с точки зрения религиозного капитала от правителей культа) она делегирует монополию институционального или сакраментального распределения [благодати], а также *авторитет* (или *право*) *должности* (или института), способный избавить их от необходимости постоянно завоевывать и подтверждать свою власть, а также защитить их от последствий неудачных религиозных действий. С другой стороны, *пророк* (или ересиарх) и его *секта* одним фактом своего существования или, точнее говоря, своей амбиции самостоятельного удовлетворения своих религиозных потребностей без посредничества и заступничества Церкви, бросают ей вызов, ставя под сомнение ее монополию на инструменты спасения. Им приходится осуществлять *первоначальное накопление религиозного капитала*, вновь и вновь пытаясь завоевать и удерживать власть, подверженную флуктуациям и неровностям отношений между предложением религиозных услуг и религиозным спросом определенной категории мирян.

Поскольку поле религии как рынок ценностей спасения располагает лишь относительной автономией, каж-

¹¹ Нет спасения вне Церкви (лат.).

дая из различных исторических *конфигураций*, в которых реализуется структура отношений между различными инстанциями, конкурирующими в борьбе за религиозную легитимность, может рассматриваться как один из вариантов *системы трансформаций*. Кроме того, можно попытаться выделить структуру инвариантных отношений между свойствами, характеризующими различные группы специалистов, занимающих гомологичные позиции в разных полях. При этом нельзя забывать, что отношения между различными инстанциями могут быть охарактеризованы исчерпывающим и точным образом только внутри конкретной исторической конфигурации.

3.1.1. Управление резервом религиозного капитала (или святости), являющегося плодом долгого религиозного труда, и работа, направленная на сохранение этого капитала посредством *консервации* или *реставрации* символического рынка, на котором он имеет обращение, могут осуществляться лишь таким аппаратом бюрократического образца, как Церковь, который способен на протяжении долгого времени совершать непрерывную, т. е. *рутинную*, деятельность, необходимую для обеспечения его собственного воспроизводства. Подобная деятельность заключается в воспроизведении производителей продуктов спасения и религиозных услуг, т. е. священнического корпуса, и рынка, открытого для этих продуктов, т. е. мирян (в противоположность неверным и еретикам) как потребителей, наделенных необходимым минимумом религиозной компетенции (религиозным габитусом), без которого они не могут испытывать специфической потребности в этих ценностях.

3.1.2. Являясь продуктом институционализации и бюрократизации секты пророка (со всеми сопутствующими эффектами «банализации» или превращения в обыденное явление), Церковь являет многие черты бюрократического аппарата: четкое разделение областей компетенции, регламентированная иерархия функций, сопровождающаяся рационализацией вознаграждений, «назначений»,

«повышений» и «карьер»; кодификация правил, регламентирующих профессиональную деятельность и внепрофессиональную жизнь; рационализация профессиональной подготовки и таких инструментов работы, как догма или литургия и т. д. В качестве такой рутинной (обыденной и производящей обыденность) организации она объективно противопоставлена секте как неординарной деятельности, бросающей вызов установленному порядку.

Любая секта, которая добивается успеха, стремится стать Церковью, носительницей и хранительницей ортодоксии, составляющей одно целое со своими иерархиями и догмами и потому обреченной стать объектом новой реформы.

3.2. Степень влияния, которое приобретает пророк как независимый предприниматель, стремящийся к производству и распределению ценностей спасения нового образца, способных обесценить старые, в отсутствие начального капитала и какого бы то ни было залога или иной гарантии, нежели его «личность», зависит от способности его речи и действий приводить в движение потенциально еретические религиозные интересы определенных групп мирян благодаря эффекту узаконивания, создаваемому одним фактом символизации и экспликации, а также содействовать ниспровержению устоявшегося символического (т. е. священнического) порядка и символическому закреплению его ниспровержения, иначе говоря — десакрализации сакрального (т. е. «натурализованной» произвольности) и сакрализации кощунства (т. е. революционного отрицания).

3.2.1. Пророк и колдун, которые схожи тем, что оба стоят в оппозиции к священническому корпусу в качестве независимых предпринимателей, осуществляющих свою деятельность вне какого бы то ни было института и, следовательно, без институциональной защиты или гарантии, различаются своими позициями в разделении религиозного труда, выражающими совершенно разные амбиции. Так, пророк стремится реализовать свою претензию

на легитимное осуществление религиозной власти, занимаясь деятельностью, схожей с той, посредством которой духовенство подтверждает специфичность своей практики и уникальность своей компетенции, т. е. легитимность своей монополии (к примеру, систематизация), иначе говоря — производя и проповедуя четко систематизированную доктрину, способную дать жизни и миру единый смысл и, таким образом, предоставить средство осуществления систематической интеграции поведения вокруг этических, или практических, принципов; в то время как колдун всего лишь удовлетворяет отдельные и сиюминутные запросы, используя речь в качестве одной из техник врачевания (тела) и отнюдь не как инструмент символической власти, каким является проповедь и «врачевание душ».

Такие общепризнанные характеристики пророка, как бескорыстие (или, как говорит Вебер, отказ от «экономического использования дара благодати в качестве источника прибыли») ⁴⁶ или стремление осуществлять настоящую духовную власть, т. е. внушать и прививать книжную доктрину, выраженную на книжном языке и помещенную в целую эзотерическую традицию, — у колдуна находят строго противоположное выражение: следование материальному интересу и подчинение заказу (связанные с отказом от духовного господства). На основе этого сопоставления несложно заметить, что пророк в некотором смысле вынужден легитимировать свое стремление к непосредственно религиозной власти посредством более полного отречения от мирских интересов (прежде всего политических), другим выражением которого является аскетизм и различные физические испытания, в то время как колдун может открыто обменивать свои услуги на материальное вознаграждение, т. е. эксплицитно поддерживать отношения продавца и покупателя, представляющие собой объективную истину любых отношений между специалистами религии и мирянами. Отсюда возникает закономерный вопрос о корыстной функции бескорыстия как части первоначального взноса, требуемого любым пророческим предприятием. Напротив, колдун связан с крес-

тянами, людьми *fides implicita*, плохо воспринимающими, по наблюдению Вебера, систематизации пророка, но которым близка деятельность колдуна, поскольку он один способен использовать *sermo rusticus*^{vii} без прозелитических намерений и интеллектуальных оговорок и, таким образом, выражать то, чему нет имени ни в одном книжном языке.

3.3. Сохранность монополии на такую разновидность символической власти, как религиозный авторитет, зависит от способности обладающей ею институции внушить тем, кто из нее исключен, легитимность их исключения, т. е. скрыть от них произвол, лежащий в основе монополизации власти и компетенции, в действительности доступных кому угодно. Вследствие чего протест пророков (или еретиков) угрожает самому существованию института Церкви, подвергая сомнению не только способность духовенства выполнять его заявленную функцию (во имя отказа от «институциональной благодати»), но также смысл его существования (во имя принципа «мирового священства»). И когда расстановка сил складывается в пользу Церкви, то этот спор не может окончиться иначе, как ликвидацией пророка (или секты) при помощи физического или символического (отлучение от Церкви) насилия, если только пророк (или реформатор) не изъявит покорность, т. е. не признает легитимность церковной монополии (и гарантирующей ее иерархии), и не будет аннексирован Церковью через канонизацию (как, например, святой Франциск Ассизский).

3.3.1. Оппозиция между ортодоксией и ересью (гомологичная противостоянию между Церковью и пророком), являющаяся особой формой борьбы за монополию и наблюдающаяся в том случае, если Церковь владеет абсолютной монополией на инструменты спасения, всегда следует примерно одному и тому же сценарию. Борьба за

^{vii} *fides implicita* (лат.) — бессловесная вера; *sermo rusticus* (лат.) — деревенская, протонародная речь.

специфический религиозный авторитет (теологический конфликт) и/или внутрицерковная борьба за власть ведет к оспариванию церковной иерархии, которое принимает форму ереси, когда в условиях кризисной ситуации движение, выступающее против монополизации церковной монополии одной из групп духовенства, совпадает с антиклерикальными интересами группы мирян и в конечном счете ведет к протесту против церковной монополии как таковой.

Концентрация религиозного капитала, безусловно, никогда не была такой сильной, как в средневековой Европе, когда Церковь, организованная согласно сложной иерархии, использовала язык практически неизвестный народу и владела абсолютной монополией доступа к предметам культа — священным текстам и, особенно, *таинствам*. Отодвигая монаха на второй план в иерархии *орденов*, она делает из надлежащим образом возведенного в сан священника обязательный инструмент спасения и жалует иерархии власть освящения. Связывая спасение в большей степени с принятием причастия и исповедью, чем с соблюдением нравственных законов, она тем самым поощряет такую форму народного обрядоверия, как погоня за индульгенциями. «С XI по XV век вера масс в благословение священника при отпущении грехов была полной, идет ли речь о прощении в сакраментальном смысле слова или об отпустительных молитвах у гроба умершего, об индульгенциях, выдаваемых при определенных условиях и освобождающих от искупления, о паломничествах, предпринимаемых с целью получить «великие индульгенции», о юбилейных годах^{viii} или же других римских *confessionalia*,^{ix} дарующих при исповеди некоторым верующим духовные привилегии».⁴⁷ В подобной ситуации поле религии равно по объему полю конкурентных отно-

^{viii} По традиции в Римско-католической церкви все круглые даты со дня рождения Христа считаются юбилейными; в такой год папа римский объявляет всеобщую индульгенцию. — *Прим. перев.*

^{ix} *Confessionalia (lat.)* — привилегии исповедника.

шений, устанавливающихся внутри самой Церкви. Борьба за завоевание духовного авторитета, ведущаяся в относительно автономном субполе ученых (теологов), которые пишут для других ученых и в процессе своих интеллектуальных поисков приходят к схизматическим позициям в области доктрины или догмы, по определению не выходит за рамки «университетского» мира. И возможно, чаще всего мы имеем дело скорее с мнимым, чем реальным преобразованием того, что можно назвать клерикальными схизмами, в народные ереси,⁴⁸ поскольку даже в тех случаях, которые более других укладываются в теорию распространения (к примеру, Джон Вайклиф и лолларды, Иоанн Гусс и гусситы), в действительности речь идет, безусловно, о смеси параллельного изобретения и деформирующей переинтерпретации, сопровождающихся поиском научного подтверждения и обеспечения. Все приводит к той мысли, что клерикальный раскол может перерасти в народную ересь только при условии, что он совпадет с «литургической» или церковной борьбой, обусловленной структурой отношений внутрицерковной конкуренции за власть.⁴⁹ У любых религиозных (и даже светских) идеологий, которые при самых разных состояниях идеологического поля заявляют о себе как еретические (поскольку стремятся оспорить религиозный порядок, сохранение которого является целью церковной «иерархии»), наблюдается множество *инвариантных тем*: например, отказ от институциональной благодати, проповедь мирян и мировое священство, прямое самоуправление предприятий спасения, при котором «постоянные» священники рассматриваются в качестве простых «слуг» сообщества; «свобода совести», т. е. право каждого индивида на религиозное самоопределение во имя принципа равенства религиозных конфессий, и т. д. Таким образом, в их основе лежит один и тот же принцип более или менее радикального протеста против церковной иерархии, который может вылиться в яростное изобличение произвола религиозной власти, не обоснованной святостью ее носителей, и даже в радикальное осуждение церковной монополии как таковой. Кроме того, изначально производимые и воспро-

изводимые для нужд внутренней борьбы против церковной иерархии (в отличие от большинства чисто «теологических» теорий, имеющих иные функции и потому не выходящих за пределы церковного мира), они были предрасположены к тому, чтобы выражать и вдохновлять, пусть даже посредством радикализации, религиозные интересы тех категорий мирян, которые были наиболее склонны оспаривать легитимность церковной монополии на инструменты спасения. В данном случае, как и во многих других, вопрос *первопричины*, т. е. вопрос о том, что первично: ересиарх или сектанты, — не имеет никакого смысла, и нам долго бы пришлось перечислять ошибки, порождаемые этой ложной проблемой. На самом деле, конкуренция имеет место и в самом теологическом субполе, и можно выдвинуть гипотезу, что идеологии, производимые для нужд этой конкуренции, могут быть с разной степенью успеха подхвачены и использованы в других видах борьбы (например, в борьбе за власть внутри Церкви) в зависимости от социальных функций, которые они осуществляют для агентов, занимающих различные позиции в этом поле. Кроме того, любая идеология, обладающая исторической эффективностью, является *продуктом коллективного труда* всех тех, кого она вдохновляет, мобилизует и чьи интересы она выражает и легитимирует; при этом каждый из многих моментов кругового процесса обращения-повторного-изобретения по-своему является первопричиной. Такая модель позволяет оценить роль групп, находящихся в архимедовой точке, в которой сходятся конфликт между специалистами в религии, занимающими противоположные позиции (господствующие и подчиненные) в структуре религиозного аппарата, и внешний конфликт между духовенством и мирянами, т. е. роль членов низшего духовенства, расстриженных или все еще несущих духовный сан, которые занимают подчиненное положение в аппарате символического доминирования. Важность той роли, которую играет низшее духовенство (и вообще пролетарии от интеллигенции) в еретических движениях, могла бы быть объяснена тем, что в церковном аппарате они занимают подчинен-

ное положение, которое представляет некоторые сходства с положением подчиненных классов в силу гомологии их позиций. Вследствие такого неоднозначного положения в социальной структуре они обладают критической способностью, которая им позволяет давать своему протесту (квази)систематическую формулировку и, таким образом, выступать в качестве выразителей интересов угнетаемых классов. От обличения же развращенных нравов и продажности духовенства и особенно высших церковных чинов недолго путь до сомнения в прерогативе священника как уполномоченного проводника божьей милости и даже до экстремистских требований полной демократии в распределении «дара благодати», включающих отмену посредников и введение вольного покаяния вместо исповеди и других видов искупления, которые Церковь, обладающая монополией на таинство покаяния, смогла навязать грешнику. Требование отмены посредников было также связано с неприятием комментаторов и комментариев, «обязательных церковных символов в качестве источника интерпретации»,⁵⁰ с желанием возвратиться к буквальному прочтению Священного Писания и не признавать другого авторитета, кроме *praeceptum evangelicum*.⁵¹ Разоблачение монополии священников и отказ от институционального покровительства во имя равного распределения дара благодати утверждалось как в поиске опыта прямого общения с Богом, так и в экзальтации божественного вдохновения, которое позволяет невинности, или даже *stultitia*,⁵² обездоленных и «бедных христиан» проповедовать тайны веры лучше, чем развращенным церковникам.⁵³

3.4. Логика функционирования Церкви, церковная практика, а также форма и содержание учения, которое она проповедует и укореняет, представляют собой результат сопряженного действия *внутренних и внешних требований*. Внутренние связаны с работой бюрократии, с

⁵⁰ *Praeceptum evangelicum* (лат.) — евангельское наставление.

⁵² *Stultitia* (лат.) — глупость.

полным успехом притязавшей на монополию легитимного осуществления духовной власти над мирянами и распоряжения ценностями спасения в качестве *императива экономики харизмы*. Церковь стремится к тому, чтобы совершение богослужения — деятельность неизбежно «обыденная», поскольку ежедневная и повторяющаяся, — было возложено на взаимозаменяемых функционеров культа, обладающих одинаковой профессиональной квалификацией, достигающейся посредством специального обучения, и одинаковыми инструментами, способными служить отправлению унифицированной и унифицирующей деятельности, с одной стороны. С другой стороны, *внешние силы* располагают неодинаковым весом в зависимости от исторической обстановки. В качестве последних могут выступать, во-первых, I) религиозные интересы различных групп или классов мирян, способных добиться от Церкви уступок или компромиссов, значительность которых будет определяться а) степенью власти, которую они способны поставить на службу потенциальному возвышению ересей, выступающих как девиация по отношению к традиционным нормам (и непосредственно атакуемых священниками в общении с паствой), и б) средствами принуждения, которыми располагает монополия на ценности спасения; а во-вторых, II) конкуренция между пророком (или сектой) и колдуном, которые, мобилизуя потенциальную силу ереси, настолько же ослабляют власть принуждения, принадлежащую Церкви.

Это означает, что адекватная интерпретация верования в той или иной его исторической форме должна обязательно ставить во взаимосвязь систему отношений, конституирующую учение, с системой отношений между материальными и символическими силами, образующими соответствующее поле религии. Объяснительная сила различных факторов варьирует в зависимости от исторической ситуации, и может случиться так, что противостояния между разными сверхъестественными силами (например, оппозиция между богами и демонами) в собственно религиозной логике воспроизводят оппозиции между разными типами религиозных практик, т. е. соотношения

сил, складывающиеся в поле религии между различными категориями специалистов (например, оппозиция между доминирующими и подчиненными специалистами). Интересы духовенства могут также находить отражение в религиозной идеологии, которую они производят и воспроизводят: «Так же как брахманы монополизировали способность действенной молитвы, т. е. магического, результативного воздействия на богов, так же и их Бог (Брахма, “владыка молитвы”) монополизирует дар ответа на эти молитвы и, следовательно, власть над наиболее важным аспектом религиозной практики». ⁵² Логика рынка религиозных благ такова, что за любое усиление монополии Церкви, т. е. за любое расширение или увеличение мирской и духовной власти духовенства над мирянами (к примеру, проповедь Евангелия), ей приходится платить все большими уступками, как на уровне догмы, так и на уровне литургии, в пользу религиозных представлений мирян, поскольку в противном случае она рискует потерять свое влияние. В том, что касается самих свойств предлагаемых рынком религиозных благ (сегодня можно говорить о культурных благах), то по мере того как в связи с развитием классового общества увеличивается, т. е. диверсифицируется, зона их распространения и обращения, объяснительная сила факторов, связанных с полем производства как таковым, постепенно убывает, в то время как становятся все более актуальными факторы, связанные с потребителями. Из этого следует, что даже в тех случаях, когда Церковь, как в средневековой Европе, де-факто обладает полной монополией, за видимостью единства, которая может создаваться благодаря инвариантности литургии, скрываются намеренная диверсификация техник проповеди и душеспасения, а также крайнее разнообразие духовного опыта, разнящегося от мистического фидеизма до магической обрядовости. Точно так же, вследствие игры перетолкований и компромиссов, североафриканский ислам превратился в довольно сложное образование, в котором нельзя с уверенностью разделить собственно исламские и местные элементы: религиозность городских буржуа (как «традиционалистов», так и «за-

падников»), осознающих свою принадлежность мировой религии, во всем противоположна обрядовости крестьян, не сведущих в тонкостях догмы и теологии. Таким образом, ислам предстает как иерархизированное множество, в котором можно выделить различные «уровни»: анимистические суеверия и аграрные обряды, почитание святых и марабутизм — практику, управляемую при помощи религии, права, догмы и мистического эзотеризма. Дифференциальный анализ, безусловно, позволил бы обнаружить совершенно разные типы *религиозных профилей* (по аналогии с башляровским понятием «эпистемологического профиля»), иначе говоря — разные формы иерархического соединения всех этих уровней, чей относительный вес в каждом типе опыта и практики варьирует в зависимости от условий существования и уровня образования, характеризующих ту или иную группу или класс.³³

3.4.1. Конкуренция со стороны колдуна, знахаря, шамана — независимого мелкого предпринимателя, время от времени нанимаемого частными лицами и осуществляющего свои функции на условиях частичной занятости и за вознаграждение, без специальной подготовки и институциональной поддержки (и чаще всего тайным образом), — который удовлетворяет потребности низших групп или классов (в особенности крестьянства), составляющих его основную клиентуру, вынуждает Церковь к «ритуализации» религиозной практики и канонизации народных верований.

«Руководство по современному французскому фольклору» Арнольда Ван Геннепа изобилует примерами таких обменов между крестьянской и церковной культурой («фольклоризованные литургические праздники», как, например, «рогации»,^{xii} языческие обряды, включенные в общую литургию, святые, наделенные магическими свой-

^{xii} «Рогации» (*«rogations»*) — процессия и молебен об урожае (в течение трех дней, предшествующих Вознесению). — *Прим. перев.*

ствами и функциями, и т. д.), знаменующих собой уступки потребностям мирян, на которые должно было идти духовенство хотя бы для того, чтобы отвлечь от конкурирующего воздействия колдуна клиентов, привлеченных посредством такой «модернизации» [*aggiornamento*].⁵⁴ Точно так же ислам не теряет своей формы и власти в северо-африканской деревне благодаря тому, что ему удается приспособливаться к чаяниям сельских жителей и в то же время их ассимилировать ценой постоянных компромиссов: в то время как аграрная религия подвергается постоянному перетолкованию в терминах мировой религии, ее наставления, в свою очередь, переопределяются в соответствии с местными обычаями. Таким образом, тенденция ортодоксии воспринимать местное право и обычаи (например, берберские) или аграрные культы как пережитки и отклонения всегда уравнивается более или менее систематическим усилием, направленным на поглощение этих непризнанных форм религии или права.⁵⁵

3.4.2. С другой стороны, конкуренция со стороны пророка (и секты), объединяющаяся с интеллектуалистской критикой определенных категорий мирян, вынуждает церковную бюрократию подвергать как догму, так и литургию все большей «казуистическо-рациональной систематизации» и «банализации» с целью сделать из них такие инструменты символической борьбы, которые были бы *унифицированными* («обезличенными»), *понятными, узнаваемыми и установленными* («канонизированными») и которые, таким образом, могли бы быть освоены и использованы кем угодно, но лишь по окончании специального обучения, а значит — недоступны для первого встречного (функция обучения в легитимации религиозной монополии).

Доказательством тому, что необходимость защиты против конкурирующей профетии (или ереси) и против интеллектуализма мирян способствует увеличению производства «банальных» инструментов религиозной практики, служит тот факт, что как только содержание традиции оказывается под угрозой, то сразу ускоряется произ-

водство канонических текстов.⁵⁶ Кроме того, повышенное внимание Церкви к *отличительным знакам и дискриминирующим теориям*, помогающим бороться с обезличиванием и одновременно осложняющим переход в конкурирующую религию, обусловлено заботой об оригинальности общины в сравнении с конкурирующими доктринами.⁵⁷ С другой стороны, «казуистическо-рациональная систематизация» и «банализация» являются первейшими условиями функционирования бюрократии, управляющей ценностями спасения, поскольку они позволяют *любым* (т. е. взаимозаменяемым) агентам исполнять должность священника на постоянной основе, снабжая их практически инструментами, которые им необходимы для отправления их обязанностей с наименьшими затратами (для них самих) и с наименьшим риском (для институции). Особенно в тех случаях, когда священникам требуется «выступить (в проповеди или беседе с прихожанами) по поводу проблем, чье решение не дано в откровении»,⁵⁸ *требник*, сборник проповедей или катехизис выступают для них одновременно как памятка и как страховка, помогающие избежать импровизации и даже препятствующие ей. Наконец, церковная систематизация, более изощренная и сложная в сравнении с примитивной культурной почвой, позволяет держать на расстоянии мирян (это является одной из функций любой *эзотерической теологии*)⁵⁹ — уверить их в том, что эта деятельность предполагает особую «квалификацию», недоступный им «дар благодати», и убедить доверить управление своими духовными делами правящей касте, поскольку только ее члены способны приобрести компетенцию, необходимую для того, чтобы стать *религиозным теоретиком*.⁶⁰

4. Политическая и религиозная власть

Вследствие того, что собственно религиозный авторитет и светская власть, которую различные религиозные инстанции могут задействовать в борьбе за религиозную легитимность, всегда зависит от степени влияния мобилизуемых ими мирян в структуре соотношений сил между

классами, сама структура объективных отношений между этими инстанциями, занимающими различные позиции в отношениях производства, воспроизводства и распределения религиозных благ, стремится воспроизвести структуру соотношений сил между группами или классами, представляющую, однако, в *превращенной и замаскированной форме* под видом поля соотношений сил между инстанциями, борющимися за сохранение либо ниспровержение символического порядка. Таким образом, структура отношений между полем религии и полем власти в каждый отдельный момент определяет конфигурацию структуры отношений, образующих поле религии. Последнее выполняет внешнюю функцию легитимации существующего порядка в силу того, что сохранение символического порядка напрямую способствует поддержанию политического строя, тогда как символическое разрушение символического порядка способно затронуть политический лишь при том условии, что оно сопровождается политическое ниспровержение этого порядка.

4.1. Церковь способствует сохранению политического строя, т. е. символическому укреплению его делений, благодаря своей специфической функции поддержания символического порядка. Во-первых, она внушает и закрепляет схемы восприятия, мышления и действия, которые объективно согласуются с политическими структурами и, следовательно, способны дать этим структурам ту высшую легитимацию, какой является «натурализация». Она также устанавливает и восстанавливает согласие относительно способа упорядочения мира посредством навязывания и внушения общих схем мышления и повторяющегося торжественного утверждения этого согласия во время религиозного праздника или церемонии, являющейся символическим действием второго порядка, которое пользуется символической эффективностью религиозных символов, чтобы усилить их символическую эффективность путем усиления коллективной веры в эту эффективность. Во-вторых, Церковь использует свой специфический религиозный авторитет для того, чтобы по-

бедить на собственно символическом поле пророческих или еретических конкурентов, пытающихся ниспровергнуть символический порядок.

Вовсе не случайно, что два наиважнейших источника схоластической философии в идеально-типичном виде утверждают — уже одним своим названием — гомологию политических, космологических и церковных структур, которую призвана внушать Церковь. Эти два сочинения: «О небесной иерархии» и «О церковной иерархии», приписываемые Дионисию Ареопагиту, выражают эманатическое учение, которое устанавливает строгое соответствие между иерархией ценностей и иерархией существ, представляя мир как результат процесса нисхождения от «Единого», «Абсолюта» до материи с такими промежуточными стадиями, как архангелы, ангелы, серафимы, херувимы, человек и органическая природа. Можно подумать, будто эта символическая система (куда без труда вписывается аристотелевская космология с ее «неподвижным перводвигателем», сообщающим движение самым высоким небесным сферам, откуда он затем спускается через последовательные ступени в подлунный мир становления и разложения) призвана выражать «эманатическую» структуру церковного и политического миров в силу некой предустановленной гармонии. Предполагая, что каждая иерархия — папа, кардиналы, архиепископы, епископы, низшее духовенство, император, князья, герцоги и вассалы — является точным отражением всех других, эта система воспроизводит, в последней инстанции, космический порядок, установленный Богом, а значит — вечный и неизменный. Устанавливая такое идеальное соответствие между различными планами бытия, подобно мифу, сводящему все разнообразие мира к сериям простых и иерархических оппозиций (которые, в свою очередь, тоже взаимнообратимы, как высокий и низкий, правый и левый, мужской и женский, сухой и влажный), религиозная идеология производит ту элементарную форму опыта логической необходимости, которую порождает аналогическое мышление, соединяя разделенные миры. Наиболее специфический вклад, вносимый Церковью в поддержа-

ние символического порядка, заключается не столько в мистическом,⁶¹ сколько в *логическом преобразовании* политического порядка, которое производится путем *унификации* различных уровней. Абсолютизация относительно-го и легитимация произвольного происходит не только посредством установления соответствия между космологической и церковной или социальной иерархиями, но также и особенно вследствие утверждения иерархического образа мышления, который, признавая существование привилегированных точек как в космическом, так и в политическом пространстве, «натурализует» (разве Аристотель не говорит о «естественных местах»?) отношения субординации. Как пишет Дюркгейм, «логическая дисциплина представляет собой частный случай дисциплины социальной».⁶² При помощи имплицитного и эксплицитного воспитания внушается уважение к «логическим» дисциплинам, обосновывающим мифоритуальную систему или религиозную идеологию и литургию, а точнее — навязывается строгое соблюдение ритуалов, которые воспринимаются как условие сохранения космического порядка и выживания группы (в некоторых контекстах политическая революция играет роль, схожую с природным катаклизмом) и служат тому, чтобы увековечивать фундаментальные для социального порядка отношения (одна из основных функций ритуала заключается в том, чтобы делать возможным союз таких мифо-логически разделенных принципов, как мужское и женское, вода и огонь и т. д.). Тем самым несоблюдение социальных барьеров превращается в святотатство, наказание за которое заключается в нем самом, или, более того, становится невозможной сама идея нарушения границ, представляющихся настолько «естественными» (вследствие их интериоризации в качестве принципов структурирования мира), что их может отменить лишь символическая революция (к примеру, революции, совершенные Коперником и Галилеем, с одной стороны, и Макиавелли — с другой), сопровождающаяся глубокими политическими изменениями (например, постепенное разложение феодального строя). Одним словом, институт, который, подобно Церкви,

приобретает функцию поддержания символического порядка в силу своего положения в структуре поля религии, способствует сверх того сохранению политического строя. Это обусловлено не только тем, что космологические топологии всегда оказываются «натурализованными» политическими топологиями, но также тем, что (как о том свидетельствует исключительно важное место, которое занимает в любом аристократическом воспитании обучение этикету и манерам) внушение *уважения к формам* — даже и особенно в виде магического формализма и ритуальности — является одним из наиболее действенных способов, позволяющих добиться признания-неузнавания запретов и норм, обеспечивающих социальный порядок.

4.1.1. Отношение гомологии, которое устанавливается между позицией Церкви в структуре поля религии и позицией доминирующих фракций господствующих классов в поле власти и в структуре классовых отношений и которое позволяет Церкви выполнять функцию сохранения политического порядка, способствуя сохранению порядка символического, не исключает трений и конфликтов между политической и религиозной властью. Несмотря на частичную взаимодополнительность их функций в разделении труда по господству, они могут вступать в борьбу, которая в ходе истории находила разрешение (за счет негласных компромиссов или явных конкордатов, достигавшихся в любом случае путем обмена светской власти на религиозное влияние) в различных типах соотношений сил, располагающихся между двумя полюсами: иератической властью — с одной стороны, цезаропапизмом или полной субординацией духовной власти светской — с другой.

На основании вышесказанного мы можем предположить, что конфигурация структуры отношений, конституирующих поле религии, определяется не чем иным, как структурой отношений между полем власти и полем религии. Так, в «Древнем иудаизме» Макс Вебер показывает, что антагонизм между духовенством и пророками мог получать различные решения в зависимости от типа политической власти, а также в зависимости от типа отно-

шений между религиозными и политическими инстанциями. В таких крупных бюрократических империях, как Египет или Рим, пророк попросту исключался из поля религии, строго контролируемого конфессией, имеющей статус государственной религии. Напротив, в Израиле духовенство не могло рассчитывать на монархию, не обладавшую достаточным влиянием, чтобы окончательно ликвидировать пророчество, которое находило поддержку в среде знатных горожан и имело позади себя долгую традицию. Греция же дает пример промежуточного решения: практиковать пророчество разрешалось, но лишь в строго отведенном для этого месте — Дельфийском храме, по причине того, что власть была вынуждена идти на «демократический» компромисс с требованиями некоторых групп мирян. Впрочем, этим различным типам структуры отношений между инстанциями поля религии соответствуют различия самих форм пророчества.

4.2. Способность сформулировать и дать имя тому, что действующие символические системы отбрасывают в область невыразимого и неназываемого, и, таким образом, сместить границу между известным и неизвестным, возможным и невозможным, мыслимым и немыслимым, находится в прямой связи с высоким происхождением и *неустойчивым* положением в структуре отношений между классами. Она представляет собой начальный капитал, благодаря которому пророк может мобилизовать достаточно влиятельную группу мирян, символизируя своим необычным дискурсом и поведением то, что обычные символические системы не способны выразить структурно, в частности — чрезвычайные ситуации.

Причины успеха пророка следует искать за пределами поля религии, если только не представлять его как результат действия чудотворной силы или появления религиозного капитала *ex nihilo*, подобно Максу Веберу в некоторых его формулировках теории харизмы. В самом деле, если деятельность священника неразрывно связана со стабильным порядком, то пророк является человеком кризисных ситуаций, когда установленный порядок опрокидывается и теряется уверенность в будущем. Чаше все-

го пророческий дискурс возникает в моменты явного или назревающего кризиса, охватывающего либо все общество целиком, либо его отдельные классы, иначе говоря — в периоды, когда экономические или морфологические изменения влекут за собой крах, ослабление или устаревание в той или иной части общества традиций или символических систем, определявших принципы видения мира и поведения. Так, по мнению Макса Вебера, «харизматическая власть <...> всегда является продуктом внешних необычайных ситуаций» или «воодушевления, завладевающего целой группой людей вследствие некоторого необычного явления».⁴³ Марсель Мосс также отмечал, что «голод, войны влекут за собой появление пророков, ересей; именно бурные контакты, изменяющие распределение и характер населения, смещения целых обществ (как в случае колонизации), неизбежно ведут к возникновению новых идей и новых традиций <...>. Не следует путать коллективные, органические причины с деятельностью индивидов, которые являются скорее их выразителями, чем инициаторами. Следовательно, нет нужды противопоставлять индивидуальные новации коллективной привычке. Индивидам могут быть свойственны постоянство и рутина, в то время как новаторство и революция могут производиться группами, подгруппами, сектами или индивидами, действующими внутри и от имени групп».⁴⁴ Уилсон Д. Уоллис также указывает на то, что мессии появляются в кризисные периоды в связи с глубоким стремлением к политическим изменениям, и что «как только национальное благосостояние восстанавливается, мессианские ожидания рассеиваются».⁴⁵ Наконец, Эванс Причард полагает, что, подобно большинству древнееврейских пророков, прорицатель тесно связан с войной: «в древние времена основная социальная функция прорицателей состояла в том, чтобы руководить набегам на стада [племени] динка^{xiii} и вести сражения против различных враж-

^{xiii} Динка — северо-африканское кочевое племя, основной существования которого является крупный рогатый скот. — Прим. перев.

дебных групп севера».⁶⁶ Чтобы окончательно доказать несостоятельность представлений о харизме как качестве, присущем природе отдельного человека, следовало бы также в каждом конкретном случае установить, какие социологические характеристики отдельной биографии формируют *социальную* предрасположенность индивида испытывать и особенно успешно выражать этические и политические настроения, уже присутствующие в скрытом виде у всех членов класса или группы, к которым он адресуется. В частности, следовало бы проанализировать те факторы, в силу которых структурно амбивалентные — маргинальные и гибридные — категории и группы, располагающиеся в местах особого структурного напряжения и в «архимедовых точках» (как, к примеру, кузнецы в некоторых примитивных обществах, пролетарствующие интеллигенты в милленаристских движениях или — на психосоциальном уровне — индивиды, имеющие крайне неопределенный статус), склонны выполнять эту функцию, которую они несут как при нормальном функционировании общества (обращение с неконтролируемыми и опасными силами), так и в ситуациях кризиса (описание неопisanного). Одним словом, пророк — это не столько «экстраординарный» человек, о котором говорил Вебер, сколько человек экстраординарных ситуаций, относительно которых хранителям обычного порядка нечего сказать, поскольку единственный язык, которым они располагают для его осмысления, это язык экзорцизма. Напротив, благодаря тому, что в личности и дискурсе пророка реализуется встреча означающего и означаемого, которое существовало до него в потенциальном и скрытом виде, он обладает способностью мобилизовать группы или классы, которые понимают его язык, потому что узнают себя в нем: как, например, аристократические и княжеские группы в случае Заратустры, Мохаммеда и индийских пророков или средние, как городские, так и сельские, классы в случае израильских пророков. Как показывает научный анализ, пророческий дискурс не привносит практически ничего, что уже не содержалось бы в предшествующей, священнической либо сектантской, традиции, но

это ни в коем случае не исключает того, что он может создать иллюзию радикальной новизны, например *вульгаризируя* для новой публики эзотерическое учение. Кризис обыденного языка требует или уполномочивает введение кризисного и критического языка: откровение, т. е. произнесение того, что грядет, или того, что было неосмысленным и невыраженным, нуждается в этих моментах, когда все может быть сказано, потому что все может случиться. Именно такую атмосферу описывает С. Вазоли, объясняя возникновение флорентийской еретической секты в конце XV века: «К периоду после 1840 года относятся многие и частые свидетельства нарастания эсхатологических настроений, смутные ожидания мистических событий, ужасные предсказания, знамения и чудесные явления, предвещающие крупные потрясения в человеческих и божьих делах, в церковной жизни и во всей будущей судьбе христианства. Становятся не только более частыми, но и все более настоятельными призывы великого реформатора, который должен очистить и обновить Церковь, освободить ее от всех грехов и вернуть к божественным истокам, к незапятнанной чистоте евангелического опыта <...>. Неудивительно, что в такой обстановке вновь появляются откровенно пророческие идеи».⁶⁷ Успеха добивается тот пророк, которому удастся сказать то, что должно быть сказано в одной из подобных ситуаций, требующих замены языка по причине неадекватности всех доступных категорий расшифровки [реальности]. Вообще же само осуществление пророческой функции возможно лишь в тех обществах, которые, покинув стадию простого воспроизводства, вошли, если можно так выразиться, в историю. По мере того как мы удаляемся от наименее дифференцированных обществ, в наибольшей мере способных управлять своим будущим при помощи его ритуализации (земледельческие обряды и обряды перехода), пророки — эти изобретатели эсхатологического будущего и тем самым *истории* как движения к будущему, которые сами являются продуктом истории, т. е. разрыва в циклическом времени, наступающего вследствие кризиса — приходят все чаще, чтобы заполнить место, которое до

тех пор принадлежало социальным механизмам *ритуализации кризиса*, или контроля над кризисом, предполагающим разделение религиозного труда, при котором *комплементарные* роли выполняют хранители обычного порядка (брахманы в Индии или фламинны в Древнем Риме) и виновники божественного беспорядка (люперки или гандхарвы). Среди прочего нельзя не отметить, что мифическая стилизация представляет в парадигматической форме оппозицию между двумя противоположными силами — между *celeritas* и *gravitas*,^{xiv} на которой основывается целая серия таких вторичных оппозиций, как прерывность и непрерывность, творчество и сохранение, мистика и религия: «брахманы, как и фламинны, вместе со всей соответствующей им иерархией священников являются представителями *перманентной и непрерывно публичной религии*, в виду которой протекает — за исключением одного дня — *жизнь всего общества и всех его членов*. Это единственное исключение как раз составляют люперки, а также группа людей, чьим мифическим воплощением являются гандхарвы; они принадлежат к религии, которая, напротив, публична и доступна лишь в виде *мимо-летного явления* <...>. Фламинны и брахманы обеспечивают *священный порядок*, в то время как люперки и гандхарвы являются творцами *не менее священного беспорядка*. Если религия первых *статична, упорядочена, спокойна*, то религия вторых — *динамична, свободна, неистова*; вследствие этих особенностей вторая может властвовать *лишь краткое время*, нужное для того, чтобы *очистить*, а также *дать новое дыхание, бурно* “преобразовать” первую».⁴⁸ К этому остается добавить, что фламинны — любители вина и музыканты, в то время как брахманы воздерживаются от хмельных напитков и не ведают пения, танцев и музыки: «ничего оригинального, ничего такого, что диктовалось бы вдохновением и фантазией»;⁴⁹ что «скорость (удивительная быстрота, внезапные появления и исчезновения, мгновенная схватка и т. д.) характеризует поведе-

^{xiv} *celeritas* (лат.) — быстрота, легкость; *gravitas* (лат.) — тяжесть, строгость.

ние, “ритм”, который более всего подходит для этих *нестовых, импровизирующих, творческих* сообществ», в то время как официальная религия «требует величественного поведения, *медленного ритма*». ⁷⁰ Кроме того, люперки и фламины противопоставляются друг другу как *juniore*s и *seniore*s, как легкие и тяжелые (*giri*); при этом фламины обеспечивают *постоянство* изобилия, воссоздающегося непрерывно, без происшествий», однако, даже будучи способными «продлевать жизнь и изобилие» при помощи своих жертвоприношений, они не могут «их оживлять», в то время как чудеса люперков, «возмещая урон от пагубного случая, восстанавливают прерванное изобилие». ⁷¹ И наконец, «люперки и гандхарвы способны к творчеству именно благодаря своей “чрезмерности”, а фламины и брахманы в силу своей “аккуратности” могут лишь сохранять [существующий порядок]». ⁷²

4.2.1. Между политической и символической революцией устанавливается несимметричное отношение.

Несмотря на то что символическая революция всегда предполагает политическую, одной лишь политической революции недостаточно, чтобы произошла революция символическая, которая нужна ей для того, чтобы дать адекватный язык выражения, являющийся необходимым условием ее осуществления: «Традиции всех мертвых поколений тяготеют, как кошмар, над умами живых. И как раз тогда, когда люди как будто только тем и заняты, что переделывают себя и окружающее и создают нечто еще небывалое, как раз в такие эпохи революционных кризисов они боязливо прибегают к заклинаниям, вызывая к себе на помощь духов прошлого, заимствуют у них имена, боевые лозунги, костюмы, чтобы в этом освященном древностью наряде, на этом заимствованном языке разыграть новую сцену всемирной истории». ⁷³ До тех пор пока у кризиса не появится свой пророк, мы продолжаем мыслить опрокинутый мир при помощи схем, все еще являющихся продуктом мира, который предстоит разрушить. Одним словом, пророк — это тот, кто, совершая символическую революцию, может помочь политической рево-

люции совпасть с самой собой. Политическая революция не может совершиться без символической революции, придающей ей существование, тем, что дает средства осмысления ее истины как чего-то неслыханного, немыслимого, неназываемого в границах всех старых схем, а не как одной из известных в прошлом революций. Всякая политическая революция нуждается в той революции символических систем, которая в метафизической традиции обозначается словом «метанойя». Вместе с тем переворот в умах как революция мышления является таковым только в заранее обращенных умах религиозных пророков: не имея возможности осознать границы своей власти или границы своей мысли о власти, они не могут дать средства осмысления того немыслимого, чем является кризис, не навязывая заодно политического обозначения этого немыслимого, т. е. кризиса, и становятся, таким образом, виновными — сами не зная и не желая того — в совершенной у них краже мысли.

Примечания

¹ *Humboldt, von W.* Einleitung zum Kawi-Werk, VI. P. 60, цит. по: *Cassirer E.* Sprache und Mythos // Studien der Bibliothek Warburg. Leipzig, VI, 1925; и воспроизв. в: *Wesen und Wirkung des Symbolbegriffs.* Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1965. P. 80.

² *Cassirer E.* Philosophie der symbolischen Formen. Berlin: Bruno Cassirer, 1923–1929 (Философия символических форм. В 3-х т. Санкт-Петербург: Университетская книга, 2002); *Structuralism in Modern Linguistics* // *Word*, Bd. I. 1945. S. 99–120. Кассирер, написавший в 1922 году эссе, озаглавленное «Понятийная форма в мифическом мышлении» (*Кассирер Э.* Понятийная форма в мифическом мышлении // *Избранное. Опыт о человеке.* М.: Гардарика, 1998. 779 с.; *Die Begriffsform im mythischen Denken* // *Studien der Bibliothek Warburg.* Leipzig. Bd. I. 1922), дает свою трактовку основных положений дюркгеймовской школы («фундаментально социальный характер мифа не подлежит сомнению» — *Кассирер Э.* Опыт о человеке // *Избранное.* М., 1998; 1-е изд. — *An Essay on Man.* Yale Univ. Press, 1944. P. 107) и даже использует концепт «формы классификации» в качестве эквивалента его собственного понятия «символической формы» (*The Myth of the State.* NY: Doubleday and Co, 1955; 1 изд. — Yale Univ. Press, 1946. P. 16).

¹ Дюркгейм Э. Элементарные формы религиозной жизни // Мистика. Религия. Наука. Классики мирового религиоведения. М.: Канон, 1998.

² «Обновленная таким образом теория познания, по-видимому, призвана соединить противоположные преимущества соперничающих теорий, будучи лишена их изъянов. Она сохраняет все существенные принципы априоризма, но в то же время она проникнута тем духом позитивности, который априоризм стремится удовлетворить» (Дюркгейм Э. Элементарные формы религиозной жизни // Мистика. Религия. Наука. Классики мирового религиоведения. М.: Канон, 1998. С. 197).

³ Леви-Строс К. Первобытное мышление. М.: Терра-Книжный клуб; Республика, 1999; Дюркгейм Э., Мосс М. О некоторых первобытных формах классификации // Мосс М. Общества, обмен, личность. М.: Наука; Главная редакция восточной литературы, 1996.

⁴ «Так, я особенно признателен господину Рикеру за то, что он обратил внимание на возможную связь между моими работами и творчеством Канта. В общем и целом, речь идет о переносе кантовской проблематики в область этнологии — с той разницей, что вместо того, чтобы использовать интроспекцию или размышлять о состоянии науки в конкретном обществе, частью которого является сам философ, мы мысленно переносимся к границам: исследуя то общее, что может объединять наиболее удаленную от нас часть человечества и устройство нашего сознания, и, следовательно, пытаюсь выделить фундаментальные и обязательные свойства любого ума, каким бы он ни был» (Lévi-Strauss Cl. Réponses à quelques questions // Esprit. 1963. № 11. Nov. P. 628–653).

⁵ Об отношении между Дюркгеймом и Соссюром, этими двумя в неравной степени признанными отцами-основателями структурализма, см.: Doroszewski W. Quelques remarques sur les rapports de la sociologie et de la linguistique: E. Durkheim et F. de Saussure // Journal de Psychologie. 1933, janv.—avril; перепзд.: Cassirer et al. Essais sur le langage. Paris: Minuit, 1969. P. 99–109.

⁶ Это означает, что мы вправе относиться *a priori* подозрительно к любой попытке применить к продуктам культурной индустрии или произведениям авторского искусства такие методы, которые были бы простой, более или менее механической транспозицией лингвистического анализа, абстрагированного и от позиции творца в поле [культурного] производства, и от функций, которые несут эти символические объекты для их производителей и для различных категорий потребителей.

⁹ «Таким образом, если бы людям постоянно не было присуще общее понимание этих важнейших идей, если бы у них не было однородной концепции времени, пространства, причины, числа и т. д., стало бы невозможно всякое согласие между умами и, следовательно, всякая совместная жизнь. Поэтому общество не может оставить категории на произвол частных лиц, не отказываясь одновременно от самого себя. Чтобы иметь возможность существовать, оно испытывает потребность не только в достаточном *нравственном конформизме*; имеется и минимум *логического конформизма*, без которого оно также не может обойтись» (Дюркгейм Э. *Элементарные формы религиозной жизни* // Мистика. Религия. Наука. Классики мирового религиоведения. Ор. cit. С. 194.). — Курсив П. Б.

¹⁰ *Леви-Строс К.* Структурная антропология. М.: Эксмо-Пресс, 2001. С. 215. Замечательные страницы, посвященные Леви-Стросом проблеме символической эффективности (указ. соч., главы IX и X), остаются как бы оторванными от его остального творчества. Наиболее значимой здесь для нас является глава «Печальных тропиков», озаглавленная «Урок письма»: «Письмо, это странная вещь. Может показаться, что его появление не могло не повлечь за собой глубокие изменения в условиях существования человечества и что эти преобразования должны были бы носить главным образом интеллектуальный характер. <...> Следует признать, что начальная функция письменных сношений сводится к облегчению закабаления. Пользование письмом в бескорыстных целях, для получения интеллектуального и эстетического удовлетворения, является вторичным результатом, если даже он сводится чаще всего к средству усилить, оправдать или скрыть первый» (Леви-Строс К. *Печальные тропики*. М.: Культура, 1994. С. 228–229). — Курсив П. Б..

¹¹ «Чтобы все у тебя было хорошо и чтобы ты прожил на земле долго» (как обещано тем, кто чтит своих родителей). (Weber M. *Wirtschaft und Gesellschaft*. Cologne-Berlin: Kiepenheuer und Witsch, 1964. Т. I. Р. 317.) — далее по тексту эта не переведенная целиком на русский язык работа Макса Вебера «Хозяйство и общество» будет обозначаться в цитатах при помощи сокращения *W. u. G.*

¹² Хотя мы могли бы, конечно, перенести на корпус религиозных специалистов то, что писал о профессиональных юристах Энгельс в своем письме к Конраду Шмидту от 27 октября 1890 года: «Так же и право: как только возникает необходимость в новом разделении труда и появляются профессиональные юристы, сразу открывается новая автономная область, которая

хотя и зависит глобально от производства и торговли, тем не менее обладает способностью особым образом влиять на эти сферы. В современном обществе необходимо, чтобы право не только соответствовало общей экономической ситуации и являлось ее выражением, но также чтобы оно было *систематическим выражением*, не опровергающим само себя по причине своих внутренних противоречий. И чтобы преуспеть в этом, оно стремится отражать экономические противоречия все менее точно». Затем Энгельс описывает эффект априоризации, проистекающий от иллюзии абсолютной автономии: «Юристу кажется, что он основывается на пропозициях *a priori*, которые в действительности являются отражением экономических отношений»; говоря о философии, он отмечает одно из следствий профессионализации, которая может посредством кругового эффекта усилить иллюзию абсолютной автономии: «Как определенная область в системе разделения труда, каждый раздел философии, специализирующийся на той или иной эпохе, предполагает определенный набор интеллектуальных источников, доставшихся ей от предшественников и служащих для нее отправной точкой».

¹³ Маркс К., Энгельс Ф. Немецкая идеология // Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Изд. 2-е. Ин-т марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. М.: Политиздат, 1955. Т. 3. С. 30.

¹⁴ Маркс К. К критике политической экономии // Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Указ. изд. Т. 13. С. 113.

¹⁵ Weber M. W. u. G. P. 368; Bd. II. P. 893 («судьба крестьянина накрепко связана с природой, во многом зависит от органических процессов и от природных явлений, плохо поддаваясь рациональной систематизации, с экономической точки зрения»); Маркс К. Капитал. Книга II, отдел второй, глава XIII // Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Указ. изд. Т. 24. С. 271 (время производства и невозможность предвидения); Книга III, отдел пятый, глава XIX // Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Указ. изд. Т. 25. Ч. I. С. 324 (неопределенность и случайности).

¹⁶ W. u. G., II. P. 893.

¹⁷ W. u. G., II. P. 894.

¹⁸ W. u. G. P. 332.

¹⁹ Radin P. Primitive Religion, its Nature and Origine. NY: Dover Publications, 1957 (1-е изд. — 1937).

²⁰ Adkins A. W. H. Merit and Responsability, A Study in Greek Values. Oxford: Clarendon Press, 1960 (особенно глава V); Dodds E. R. The Greek and the Irrational. Boston: Beacon Press, 1957 (1-е изд. — 1951).

²¹ W. u. G. P. 323.

²² Каким бы резким ни был разрыв между специалистами и профанами, поле религии отличается от собственно интеллектуального поля тем, что оно не может посвятить себя полностью и эксклюзивно эзотерическому, т. е. предназначенному для внутреннего пользования, производству, и тем, что оно вынуждено приспособляться к потребностям мирян. «Аэд владеет также языком богов, "которые вечны", и приоткрывает некоторые его вокабулы, однако он вынужден переводить их для своих слушателей и придерживаться языкового обычая» (*Bollack J. Empédocle. I. Introduction à l'ancienne physique. Paris: Minuit, 1965. P. 286.*)

²³ Следует целиком прочесть главу «Транспозиция» (*Op. cit. P. 277–310*), где Жан Боллак формулирует принципы интерпретации и реинтерпретации, которые Эмпедокл применяет к текстам Гомера и которые, без сомнения, могли бы характеризовать отношение любой традиции к своему наследию: «Власть над языком наиболее сильно и наиболее очевидно проявлялась в вариации» (С. 284). «Начиная игрой букв и заканчивая сложным перетолкованием целых фраз, любое словесное творчество опирается, прежде всего, на элементы памяти <...>. Вариация тем искуснее, чем она ничтожнее и чем более узнаваем копируемый текст» (С. 285). О функции «сакральной этимологии» и «игры слов», а также о поиске «полифонического» способа выражения у египетских сcribes, можно также см.: *Sauneron S. Les prêtres de l'ancienne Egypte. Paris: Seuil, 1957. P. 123–133.*

²⁴ Дюркгейм определял социальные категории мышления как «тонкие инструменты мышления, которые человеческие группы старательно выковывали в течение столетий и в которых они собрали лучшее из своего интеллектуального капитала». И в сноске он давал следующий комментарий: «Вот почему мы полагаем законным сравнение категорий с инструментами; поскольку инструмент, в свою очередь, представляет собой *накопленный материальный капитал*. Впрочем, между всеми тремя понятиями — инструмент, категория и институция — существует тесное родство». (*Дюркгейм Э. Элементарные формы религиозной жизни // Мистика. Религия. Наука. Классики мирового религиоведения. С. 198.*)

²⁵ На предмет критики данной иллюзии см.: *Boltanski L. Prime éducation et morale de classe. Paris: Mouton, 1969* («Воспитание в раннем возрасте и классовая мораль»).

²⁶ *Дюркгейм Э. Элементарные формы религиозной жизни // Мистика. Религия. Наука. С. 179.*

²⁷ *Дюркгейм Э. Элементарные формы религиозной жизни // Мистика. Религия. Наука. С. 227.* Однако несколькими страни-

цами выше Дюркгейм замечает, что разделение труда в религии, пусть в зачаточном состоянии, встречается всюду: «Все же такое случается редко, чтобы в момент совершения церемонии у нее отсутствовал распорядитель; даже в наиболее грубо организованных обществах обычно есть люди, которые в силу значительности своей социальной роли предназначены для того, чтобы оказывать прямое воздействие на религиозную жизнь (например, вожди небольших групп в некоторых австралийских обществах). Но такое распределение функций носит пока еще крайне неустойчивый характер» (Дюркгейм Э. Элементарные формы религиозной жизни // Мистика. Религия. Наука. С. 225, сноска 1).

²⁸ Это, без сомнения, касается любого этнолога, отрицающего тезис Маркса, согласно которому наиболее сложные формы социальной жизни включают в себе принцип понимания самых рудиментарных [форм] («Анатомия человека является ключом к анатомии обезьяны... »).

²⁹ По этому пункту можно обратиться к дискуссии между Клодом Леви-Стросом и Полем Рикёром (Esprit, 1963. Nov. P. 628–653), где мы увидим, что вопрос о специфике результатов деятельности служителей культа старательно обходится стороной как философом, заботящимся о том, чтобы спасти библейскую традицию от попыток ее редуцирования (А), так и этнологом, который, эксплицитно признавая *религиозную деятельность специалистов*, тем не менее устраняет ее из своего анализа (Б). (А): «в свою очередь, я поражен тем, что все примеры взяты из географического ареала распространения так называемого тотемизма и ни одного — из семитской, доэллинской или индоевропейской культуры <...>. Я задаюсь вопросом, может ли мифический фонд, к которому мы подключены — семитский (египетский, вавилонский, арамейский, древнееврейский), протоэллинский, индоевропейский, — просто подлежать той же самой [аналитической] операции или, скорее, <...> он ей, безусловно, подлежит, но разложим ли он без остатка?» (С. 607). (Б): «Вне всякого сомнения, Старый Завет заимствует материал из мифов, но использует их с иной целью, нежели та, что была у них изначально. Его составители при интерпретации, безусловно, их исказили; следовательно, эти мифы были подвержены, как верно замечает господин Рикёр, интеллектуальной операции. Следовало бы начать с подготовительной работы, направленной на то, чтобы отыскать архаический и мифологический субстрат, скрытый в библейской литературе, что, конечно, может быть проделано только специалистом» (С. 631). «Миру известны многие примеры историзированных мифов. К примеру,

совершенно удивительно, что мифология индейцев Зюнис юго-запада Соединенных Штатов была "историзирована" <...> местными теологами так же, как и мифы древнего Израиля» (С. 636).

³⁰ *W. u. G. P. 335.*

³¹ *Weber M. Gesammelte Aufsätze zur Religionssoziologie. Tübingen: J. C. B. Mohr, 1920–1921. Bd. I. S. 276–536 (Вебер М. Избранные статьи по социологии религии).*

³² В мире, безусловно, не существует такой социальной формации, даже с наименее развитым религиозным аппаратом, в которой бы отсутствовала оппозиция, выделенная Дюркгеймом после Робертсона Смита, между институционально утвержденной религией, т. е. признанным и легитимным выражением объединяющих группу верований и ценностей, и магией как совокупностью верований и практик, свойственных подчиненным группам и категориям (к примеру, женщинам) или занимающим структурно двойственные социальные позиции (как, например, кузнецы или старухи в берберских обществах).

³³ *W. u. G. P. 368–369.*

³⁴ *Дюркгейм Э. Элементарные формы религиозной жизни // Мистика. Религия. Наука. С. 24.*

³⁵ *Radin P. Op. cit. P. 182–183.*

³⁶ *Niebuhr R. Moral Man and Immoral Society. NY: Charles Scribners' Sons, 1932. P. 62.*

³⁷ *W. u. G. P. 371.*

³⁸ Эту мысль нам подсказывает Макс Вебер, попытавшийся охарактеризовать основные мировые религии, исходя из профессиональных групп или классов, которые сыграли первостепенную роль в их распространении. В частности, он указывает принцип, определяющий стиль каждого из этих вероучений: «Если мы хотим одним словом охарактеризовать социальные группы, выступившие как носители и распространители мировых религий, то для конфуцианства это будет бюрократ-распорядитель, для индуизма — маг-распорядитель, для буддизма — нищенствующий монах, скитающийся по миру, для ислама — воин, завоевывающий мир, для иудаизма — бродячий торговец, для христианства — бродячий ремесленник. Все эти группы выступают не в качестве глашатаев своих профессиональных или материальных "классовых интересов", но как носители идеологии (*ideologische Träger*) этического образца или доктрины спасения, лучшие всего гармонирующей с их социальным положением» (*W. u. G. P. 400–401, курсив Бурдье*).

³⁹ *Troeltsch E. Die Soziallehren der christlichen Kirchen und Gruppen. Tübingen: Mohr, 1912. Bd. I // Gesammelte Schriften von E. Troeltsch (1922); réimpr.: Aalen: Scientia Verlag, 1961.*

⁴⁰ *Finkelstein L. The Pharisees: The Sociological Background of Their Faith. NY: Harper and Bros., 1949. Vol. 2.*

⁴¹ См.: *Леви-Строс К. Структурная антропология. Главы IX и X, С. 171–172.*

⁴² В качестве примера будет достаточно привести молитву, которую религиозная община Пенджаба, известная своей набожностью, обращает своему святому покровителю:

«Голодный человек не может совершать твой культ.

Прими мою молитву.

Прошу лишь малость — пылинки с ног Святого.

И я не останусь в долгу.

Прошу у тебя два мешка муки,

Четверик масла и соли,

Прошу у тебя полмешка чечевицы,

Которые дадут мне пишу дважды в день.

Прошу у тебя кровать на четырех ногах,

Подушку и матрас.

Прошу у тебя полотна — повязать вокруг бедер,

И будет твой раб безгранично тебе предан.

Я жадным не был никогда.

Лишь твое имя буду славить»

(*Radin P. Op. cit. P. 305–306.*)

⁴³ «Квесалид не потому стал великим колдуном, что он излечивал своих больных, он излечивал их, потому что стал великим колдуном» (*Леви-Строс К. Структурная антропология. С. 186*). Чтобы лучше представить себе эту диалектику, можно проанализировать те объективные отношения и взаимодействия, которые устанавливаются между художником и его публикой приблизительно со времени Дюшана и которые существуют сегодня в архетипичной форме у последователей «бедного искусства» или концептуального искусства. Эти последние вынуждены «продавать» свою *убежденность* или *искренность* в качестве единственного и высшего подкрепления их претензии на то, что представляемый ими объект относится к классу произведений искусства; или, что в общем-то одно и то же, их претензии на обладание монополией художественного производства, выдвигаемой лишь на основании того, что *намеренно какой угодно объект, который может быть сделан кем угодно*, производится художественным образом, т. е. кем-то, кто мыслит себя и называет себя художником.

⁴⁴ Возьмем, к примеру, описываемых Эвансом-Причардом прорицателей, один из которых жил в зарослях, питался экскрементами людей и животных и обегал свой хлеб от пола до потолка, а другой — целыми днями кричал с верхушки пирамиды,

построенной им самим из комков земли и отбросов (*Evans-Pritchard E. E. Nuer religion. Oxford: Clarendon Press, 1962. [1^{re} éd. 1956]. P. 305–307*). Или, например, в «Древнем иудаизме» Макс Вебер описывает библейских пророков, ходящих по улицам, покрывая проклятиями, угрозами и бранью высших иудейских сановников и демонстрируя при этом самое яростное неистовство. Таким моментам высокого вдохновения предшествовали различные патологические состояния: Эзекиль хлестал себя по пояснице и топал ногами; после одного из своих видений он был парализован в течение семи дней; чувствовал, как плывет по воздуху. А Еремия вел себя будто пьяный. У многих пророков случались визуальные и слуховые галлюцинации: они впадали в состояние гипноза и выпускали неконтролируемые потоки речи.

⁴⁵ По проблеме различения уровня *интеракций* (на котором располагается веберовский анализ отношений между специалистами) и уровня структуры объективных отношений см.: *Bourdieu P. Une interprétation de la théorie de la religion selon Max Weber // Archives européennes de Sociologie. 1971, V. XII. P. 3–21.*

⁴⁶ *W. u. G. P. 181, 347.*

⁴⁷ *Delaruelle E. Dévotion populaire et hérésie au Moyen Age // Hérésies et sociétés dans l'Europe pré-industrielle, XI^e–XVIII^e siècles / Ed. J. Le Goff. Paris-La Haye: Mouton, 1968. P. 152.*

⁴⁸ См.: *Grundmann H. Hérésies savantes et hérésies populaires au Moyen Age // Le Goff J. Op. cit. P. 209–210, 218.*

⁴⁹ Гринслейд смог показать, что определяющее значение для расколов раннехристианской церкви имели «литургические споры» (См.: *Greenslade S.L. Schism in the Early Church. NY: Harper and Bros., 1953. P. 37–124*). Среди факторов, объясняющих появление ересей, необходимо принимать в расчет структурные свойства бюрократии духовенства и, в частности, его большую или меньшую способность к самореформированию или способность принимать и терпеть в своих рядах те или иные группы реформаторов. Так, в средневековой истории христианской Церкви можно выделить как периоды, в которые «еретические» тенденции могут реализоваться или же исчезнуть в результате создания новых духовных орденов (примерно до начала XIII века), так и периоды, в которые эти тенденции могут принять только форму экплицитного отрицания церковного порядка вследствие запрета на создание новых орденов (см.: *Leff G. в: Le Goff J. Hérésies et sociétés dans l'Europe pré-industrielle, XI^e–XVIII^e siècles / Ed. J. Le Goff. Paris-La Haye: Mouton, 1968. P. 103, 220–221*). В продолжение мысли Жака Ле Гоффа (*Op. cit. P. 144*), мы могли бы задаться вопросом, связана ли частота

возникновения ересей с такими морфологическими феноменами, как флуктуации размера клерикального корпуса и коррелирующая с ними способность Церкви переваривать ереси, предлагая им мистическое убежище в своих собственных рядах.

⁵⁰ *Kolakowski L. Chrétiens sans église, la conscience religieuse et le lien confessionnel au XVII^e siècle. Paris: Gallimard, 1969. P. 306.*

⁵¹ Протест против установленной иерархии, который в случае монтанизма доходит до отрицания самого принципа порядка и авторитета, приводит раннехристианские ереси к темам, близким тем, которые будут разрабатываться в средневековых ересьях (см. *Greenslade S. L. Op. cit.*).

⁵² *W. u. G. P. 421.*

⁵³ См.: *Bourdieu P. Sociologie de l'Algérie. Paris: Presses Universitaires de France. 1^{re} éd. 1958, 3^e éd. 1970. P. 101–103.*

⁵⁴ См.: *Le Goff J. Culture cléricale et traditions folkloriques dans la civilisation mérovingienne // Niveaux de culture et groupes sociaux / Ed. L. Bergeron. Paris: Mouton, 1967. P. 21–32.*

⁵⁵ См.: *Bourdieu P. Ibid.*

⁵⁶ *W. u. G. P. 361.*

⁵⁷ *W. u. G. P. 362.*

⁵⁸ *W. u. G. P. 366.*

⁵⁹ *Radin P. Op. cit. P. 19.*

⁶⁰ *Radin P. Op. cit. P. 37.*

⁶¹ «Социальная система в некотором роде переносится в область мистического, где основывающие ее социальные ценности защищены от критики и любого изменения» (*Fortes M. J., Evans-Pritchard E. African Political Systems. P. 16*).

⁶² *Дюркгейм Э. Элементарные формы религиозной жизни. С. 221.*

⁶³ *W. u. G. II. P. 442.*

⁶⁴ *Mauss M. Œuvres, III, Cohésion sociale et divisions de la sociologie. Paris: Minuit. P. 333–334.*

⁶⁵ *Wallis W. D. Messiahs, Their Role in Civilisation. Washington: American Council on Public Affairs, 1943. P. 182.*

⁶⁶ *Op. cit. P. 45.*

⁶⁷ *Vasoli C. Une secte hérétique florentine à la fin du XV^e siècle, les «oints» // Le Goff J. Op. cit. P. 259.*

⁶⁸ *Dumézil G. Mitra-Varuna. Essai sur deux représentations indo-européennes de la souveraineté. Paris: Gallimard, 1948. P. 39–40.*

⁶⁹ *Op. cit. P. 45.*

⁷⁰ *Op. cit. P. 47.*

⁷¹ *Op. cit. P. 52.*

⁷² *Op. cit. P. 53.*

⁷³ *Маркс К. Восемнадцатое брюмера Луи Бонапарта // Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. 2-е изд. Т. 16. С. 392.*

ВЛАСТЬ ПРАВА: ОСНОВЫ СОЦИОЛОГИИ ЮРИДИЧЕСКОГО ПОЛЯ*

«Da mihi factum, dabo tibi jus»¹

Наука о праве в строгом смысле слова обособляется от «юридической науки», принимая ее за предмет своего изучения. В результате наука о праве оказывается вне рамок господствующей в научных дебатах альтернативы между *формализмом*, утверждающим абсолютную автономию юридической формы по отношению к социальному миру, и *инструментализмом*, понимающим право как *отражение* или как *инструмент* на службе у власти имущих. «Юридическая наука» — как она понимается юристами и особенно историками права, ограничивающими историю права историей внутреннего развития его концептов и методов, — рассматривает право как закрытую и автономную систему, процесс изменения которой может быть понят лишь через его «внутреннюю динамику».¹ В теоретическом плане притязания на абсолютную автономию юридической мысли и действия находят свое выражение в формировании специфического стиля мышления, который полностью лишен социального измерения.

* © Bourdieu P. La force du droit: éléments pour une sociologie du champ juridique // Actes de la recherche en sciences sociales. 1986, № 64. P. 3–19.

¹ Был бы человек, а статья найдется (лат.). — Прим. перев.

Попытка Келсена создать «чистую теорию права» есть не что иное, как доведенное до своего логического конца усилие всего корпуса юристов по конструированию такой системы воззрений и правил, которая не зависела бы от каких бы то ни было социальных воздействий и находила бы свое основание в себе самой.²

Приняв точку зрения, противоположную этой профессиональной идеологии правоведов, возведенной в ранг «доктрины», мы увидим в праве и юриспруденции *прямое отражение* существующих соотношений сил, выражающих экономические детерминации и, в частности, интересы господствующих групп, или же, в терминологии «аппарата», актуализованной Луи Альтюссером, инструмент господства.³ Так называемые марксисты-структуралисты, жертвы традиции, поверившей, что она смогла объяснить «идеологии» раз и навсегда, обозначив их функцию («опиум для народа»), парадоксальным образом упустили из виду саму *структуру* символических систем, и в данном конкретном случае — специфическую *форму* юридического дискурса. Повторяя как заклинание утверждение об относительной автономии «идеологий», они забыли поставить вопрос о социальных основаниях этой автономии. Точнее говоря, вопрос об исторических условиях, необходимых для того, чтобы под покровом борьбы внутри поля власти смог возникнуть автономный социальный универсум, способный благодаря специфической логике своего функционирования производить и воспроизводить свод законов, относительно независимый от внешних воздействий. Таким образом, ими была оставлена в стороне проблема специфической роли формы права в осуществлении его предполагаемых функций. Архитектурная же метафора инфраструктуры и суперструктуры, обычно используемая в качестве иллюстрации идеи относительной автономии, продолжает вдохновлять тех, кто, подобно Эдварду П. Томпсону, полагает, что сумел порвать с экономизмом. Стремясь вернуть праву его действительное место в истории, они не идут дальше утверждения, что оно «глубоко вплетено в само основание отношений производства»: ⁴ забота о том, чтобы поместить

право в сердцевину исторических сил, опять-таки мешает постичь во всей его специфике тот особый социальный мир, в котором оно производится и действует.

Чтобы порвать с идеологией независимости права и судейского корпуса, не впадая при этом в противоположную крайность, необходимо принять во внимание то, о чем забывают обе антагонистичные, как интерналистская, так и экстерналистская, точки зрения: т. е. существование относительно независимого от внешнего заказа социального универсума, внутри которого производится и осуществляется судебная власть — эта форма *par excellence* легитимного символического насилия, монополия на которую принадлежит Государству и которая может сопровождаться применением физической силы. Юридические практики и дискурс в действительности являются продуктами функционирования поля, чья специфическая логика двояко детерминирована: с одной стороны, особой расстановкой сил, определяющей его структуру и задающей направление конкурентной борьбе или, точнее говоря, конфликту компетенций, которые в нем имеют место; и, с другой стороны, внутренней логикой юридических текстов, очерчивающих в каждый отдельный момент времени пространство возможного и тем самым — универсум собственно правовых решений.

Здесь мы считаем нужным подробнее остановиться на разграничении понятий юридического поля как социального пространства и *системы* в лумановском, к примеру, понимании: выступая, что вполне правомерно, против редукционизма, теория систем утверждает «самореферентность» «правовых структур», смешивая в этом концепте символические структуры (собственно право) и социальные институты, продуктами которых они являются. Понятно, что, подавая под новым именем старую теорию, согласно которой юридическая система изменяется в соответствии со своими собственными законами, системная теория предлагает сегодня идеальную основу для формального и абстрактного представления юридической системы.⁵ Не проводя различия между

собственно символическим уровнем норм и воззрений (т. е. полем существующих позиций или пространством возможного), который, по мнению Ноне (Nonet) и Зелцник (Selznick), включает в себе объективные возможности развития или даже векторы изменения, но не содержит принцип своей динамики, и уровнем объективных отношений между агентами и институтами, конкурирующими в борьбе за монополию на право устанавливать право, невозможно понять, что даже несмотря на то, что его язык заимствуется в пространстве занимаемых позиций, принцип изменения юридического поля заложен в нем самом, т. е. в борьбе интересов, связанных с различными позициями.

Разделение труда в юридическом поле

Юридическое поле представляет собой место конкуренции за монополию на право устанавливать право, иначе говоря — нормальное распределение (*nomos*) или порядок [*ordre*], в котором сталкиваются агенты, обладающие одновременно социальной и технической компетенцией, заключающейся, главным образом, в социально признанной способности *интерпретировать* (более-менее вольным или установленным образом) свод текстов, закрепляющих легитимное, т. е. правильное, видение мира. Без этого невозможно понять ни относительную автономию права, ни собственно символический результат неузнавания, происходящий от иллюзии его абсолютной автономии по отношению к внешним влияниям.

Конкуренция за монополию на доступ к юридическим ресурсам, накопленным предыдущими поколениями, помогает обосновать социальный разрыв между профанами и профессионалами, содействуя непрерывному процессу рационализации, который постоянно увеличивает расхождения между вердиктами, подкрепленными законом, и наивными интуитивными представлениями о справедливости. При этом у тех, кто контролирует систему юридических норм, и даже в той или иной мере у тех, кто вынужден ей подчиняться, создается видимость ее абсо-

лютной независимости от соотношений сил, которые она санкционирует и узаконивает.

История социального права может служить примером того, что законодательство фиксирует существующее на данный момент соотношение сил и санкционирует завоевания доминируемых, превращая их в признанное законом право (вследствие чего в саму структуру права привносится некая двусмысленность, безусловно способствующая его символической эффективности). К примеру, по мере того как американские профсоюзы приобретали все большее влияние, соответственно эволюционировал и их правовой статус: если в начале XIX века, в эпоху свободного рынка, коллективные акции наемных работников клеймились как «заговор преступников» (*«criminal conspiracy»*), то впоследствии профсоюзы постепенно обрели признание со стороны закона.⁶

Именно парадоксальная логика разделения труда, достигаемого вне всякой сознательной координации путем структурно упорядоченной конкуренции между агентами и институтами, включенными в поле, представляет собой истинную первопричину системы норм и практик, которая кажется *a priori* основанной на справедливости своих принципов, логической стройности формулировок и строгости применения, т. е. имеющей источником позитивную логику науки и вместе с тем нормативную логику морали и, следовательно, добивающейся универсального признания в качестве одновременно логической и этической необходимости.

В отличие от литературной или философской герменевтики, практика теоретической интерпретации юридических текстов не является самоцелью. Она непосредственно ориентирована на достижение практических результатов и способна иметь практические последствия, платя за свою действенность ограничением собственной автономии. К примеру, возможные разногласия между «официальными толкователями» по необходимости сведены к минимуму, а сосуществование в юридическом строе множества конкурирующих юридических норм по-

просту исключается.⁷ Юридический текст, подобно религиозному, философскому или литературному, оказывается ставкой в борьбе по причине того, что толкование является одним из способов присвоения потенциально содержащейся в нем символической власти. Но хотя юристы и могут спорить по поводу текстов, которые всегда оставляют место для множественности прочтений, они принадлежат строго интегрированной иерархии инстанций, которые способны разрешать конфликты между толкователями и толкованиями. Соперничество между интерпретаторами объективно ограничено тем, что судебные решения, чтобы отличаться от чисто политических актов насилия, должны представлять как единственно верный результат правильной интерпретации текстов, чья легитимность не подлежит сомнению. Подобно церкви или школе, правосудие организует согласно строгой иерархии не только судебные инстанции и их компетенции, а значит, их решения и интерпретации, на которые они опираются, но также нормы и источники, придающие этим решениям вес.⁸ Следовательно, данное поле, по меньшей мере в периоды своего равновесия, стремится функционировать как аппарат, удваивая связь между спонтанно упорядоченными габитусами благодаря дисциплине иерархизированных властных структур, применяющих кодифицированные процедуры разрешения конфликтов между профессионалами, специализирующимися на правовом разрешении конфликтов. Корпусу юристов несложно убедить себя в том, что основание права находится в нем самом, т. е. в его основной норме, например, Конституции в качестве *norma normarum*, из которой выводятся все нормы низшего порядка, поскольку *communis opinio doctorum*,⁹ ставшее фактором социальной сплоченности корпуса интерпретаторов, стремится подвести трансцендентальное основание под исторические формы юридического сознания и веру в производимое ими упорядоченное видение социального строя.⁹

⁷ *Norma normarum* (лат.) — основной закон; *communis opinio doctorum* (лат.) — авторитетное общее мнение.

Тенденция представлять мировоззрение, свойственное некоторой исторической общности, в виде универсального опыта трансцендентального субъекта характерна для всех полей культурного производства. Это позволяет им рассматривать себя как место актуализации универсального разума, ничем не обязанное социальным условиям, в которых он проявляется. Но в случае «высших факультетов» (теологии, права или медицины), чьи социальные функции, как отмечает Кант в «Конфликте факультетов», не вызывают сомнений, необходим довольно серьезный кризис этого контракта *делегирования*, чтобы вопрос об *основании* — традиционный вопрос философии, который ставился некоторыми авторами, как Келсен, в отношении права, но лишь теоретически, — принял, как сегодня, форму реального вопроса социальной практики. Напротив, вопрос об основаниях научного знания встает в самой реальности социального существования с того самого момента, когда «низший факультет» (философия, математика, история и т. д.) учреждается как таковой, не имея иной опоры, кроме «разума ученых». И именно несогласие (к примеру, с Витгенштейном или Башлярмом) с тем, что *состав* «ученого народа», т. е. историческая структура научного поля, представляет собой единственно возможное обоснование научного мышления, обрекает стольких философов на стратегии самозащиты, достойные барона Мюнхгаузена, или на нигилистическое отрицание науки, порожденное все той же метафизической ностальгией по «основанию», недеконструированному принципу «деконструкции».

Эффект априоризма, вписанный в логику функционирования юридического поля, наиболее ярко проявляется в юридическом языке, который, сочетая в себе как элементы, взятые напрямую из общеупотребительного языка, так и элементы, чуждые его системе, демонстрирует все признаки риторики безличности и нейтральности. Большинство лингвистических приемов, использующих-

ся в юридическом языке, направлены на создание двух основных эффектов. *Эффект нейтрализации* возникает благодаря таким синтаксическим особенностям, как преобладание пассивных конструкций и безличных оборотов, способных выразить безличность нормативного высказывания и представить говорящего в качестве универсального субъекта, беспристрастного и объективного. *Эффект универсализации* достигается при помощи различных приемов: систематическое использование изъявительного наклонения при формулировке норм;¹⁰ употребление глаголов в значении констатации в третьем лице единственного числа настоящего или совершенного вида прошедшего времени («принимает», «признает», «заявил» и т. д.), свойственное риторике официального констатирования и протокола; использование неопределенных местоимений («каждый осужденный...») и вневременного настоящего (или будущего юридического), призванных выражать всеобщий и вневременной характер закона; ссылка на транссубъективные ценности, предполагающие наличие этического консенсуса (например, «как хороший отец семейства»); применение лапидарных формул и устойчивых выражений, не оставляющих простора для индивидуальных вариаций.¹¹

Являясь далеко не простой идеологической маской, эта риторика автономии, нейтральности и универсальности, которая может быть принципом действительной автономии мышления и практики, отражает особенности функционирования самого юридического поля и в особенности процесса рационализации — в двойном понимании и Фрейда, и Вебера, — который непрерывно, в течение столетий, претерпевает система юридических норм. И действительно, так называемый «юридический дух» или «юридическое чутье» состоят именно в этой *универсализирующей позиции*, представляющей собой настоящее право входа в поле (конечно, при условии минимального владения юридическими ресурсами, накопленными предыдущими поколениями, — иными словами, сводом канонических текстов и образом мышления, выражения и действия, в котором он воспроизводится и который его воспроизводит). Это притязание профессии на специ-

фическую форму суждения, которая была бы несводима к ненадежным интуициям чувства справедливости и дедуцировалась бы из внутренне непротиворечивого свода правил, лежит в основе взаимопонимания, объединяющего в (и благодаря) конкурентной борьбе за одни и те же ставки далеко не однородную группу агентов, живущих за счет создания и продажи юридических товаров и услуг.

Свод правил и процедур, претендующих на универсальность, является продуктом разделения труда, обусловленного спонтанной логикой конкуренции между различными формами антагонистичных и одновременно взаимодополняющих компетенций, которые функционируют как специфические виды капитала и связаны с различными позициями в поле. Как показывает сравнительная история права, в различных традициях и в разные исторические моменты внутри одной традиции различные классы юридических агентов будут занимать в иерархии неодинаковое место; сами эти классы, в свою очередь, варьируют в зависимости от эпохи и от национальных особенностей, а также от своей специализации — к примеру, государственное или частное право. Тем не менее в основе непрерывной символической борьбы между различными определениями юридической практики как легитимного толкования канонических текстов лежит структурный антагонизм, противопоставляющий в самых разных системах позиции «теоретиков», посвящающих себя построению чистой доктрины, и позиции «практиков», ограничивающихся правоприменением. Различные категории легитимных интерпретаторов всегда распределяются между этими двумя полюсами. С одной стороны, это интерпретация, направленная на чисто теоретическую разработку доктрины и являющаяся монополией профессоров, преподающих действующие законы в формализованной и упорядоченной форме. С другой стороны, интерпретация, имеющая целью практическую оценку отдельных случаев, — удел магистратов,ⁱⁱⁱ которые, выполняя судеб-

ⁱⁱⁱ Низовые органы судебной власти; чиновники, облеченные судебными полномочиями. — *Прим. перев.*

ные функции, иногда способны влиять на процесс конструирования норм. Так, те, кто производит законы, правила и регламенты, не могут не считаться с реакцией, а порой и с сопротивлением всей юридической корпорации и, в частности, различных судебных экспертов (адвокатов, нотариусов и т. д.). К примеру, специалисты по наследственному праву нередко ставят свою юридическую компетенцию на службу интересам некоторых категорий своих клиентов и разрабатывают многочисленные стратегии, благодаря которым семьи или предприятия способны свести на нет действие закона. Практическое значение закона в действительности не может определяться иначе, чем в конфронтации между различными корпусами, движимыми специфическими разнонаправленными интересами (судейским, адвокатским, нотариальным и т. д.), которые также поделены на группы, преследующие подчас противоположные интересы в зависимости от своего положения в профессиональной иерархии, находящегося в прямом соответствии с положением их клиентуры в социальной иерархии.

Из вышесказанного следует, что задачей *сравнительной социальной истории юридического производства* и юридического дискурса по поводу этого производства должно стать систематическое установление связи между позицией, занимаемой [агентом] в этой символической борьбе, и [его] положением в системе разделения юридического труда. К примеру, с большой долей вероятности можно предположить, что теоретикам и профессорам свойственно ставить акцент скорее на синтаксисе права, в то время как судьи уделяют больше внимания его прагматике. Другой ее задачей могло бы стать рассмотрение того, как в зависимости от времени и места меняется относительный вес позиций в пользу того или иного определения юридической работы — в корреляции с тем, как меняется соотношение сил между двумя лагерями, оппозиция между которыми организует структуру поля.

Форма самого свода законов и, в частности, степень его формализованности и упорядоченности, несомненно, в немалой степени зависит от

относительного веса «теоретиков» и «практиков», профессоров и судей, толкователей и экспертов в соотношениях сил, характеризующих поле (в конкретный момент в определенной традиции), а также от способности каждого из них утвердить свое видение права и его интерпретации. Это позволяет объяснить систематические различия между национальными традициями и, в частности, между так называемой романо-германской и англо-американской системами права. Так, в Германии и Франции право (особенно частное) представляет собой настоящее «право профессоров» (*Professorenrecht*), поскольку его характеризует примат доктрины (*Wissenschaft*) над процедурой и всем, что связано с обоснованием решения и его приведением в исполнение. Такое положение вещей выражает и усиливает доминирование высшей судебной администрации, тесно связанной с профессорами, над судьями, которые, окончив университет, склонны признавать легитимность его построений, в отличие от юристов (*lawyers*), прошедших что-то вроде производственного обучения. В англо-американской традиции, напротив, сложилась система прецедентного права (*case-law*), которое почти целиком основано на постановлениях судов и на правиле прецедента и потому слабо кодифицировано. В этой традиции приоритет дается процедурам, которые должны быть справедливыми (*fair trial*) и овладение которыми происходит в основном на практике или при помощи педагогических методов, имеющих целью максимально приблизиться к профессиональной практике. Не случайно, что в этих юридических заведениях, представляющих собой настоящие профессиональные школы, наиболее распространен «метод прецедента». И мы не смогли бы понять статус такого правового акта, который не претендует на моральное или рациональное обоснование, имея единственной целью положить конец тяжбе, и который намеренно опускается до уровня казуистики применения в частных случаях, если бы не знали, что верховным юристом здесь становится судья, вышедший из практиков.

В действительности, относительный вес различных видов юридического капитала в разных традициях должен быть поставлен во взаимосвязь с общим положением юридического поля в поле власти. Структурные границы эффективности собственно юридического действия зависят от того, чему принадлежит приоритет: «власти закона» (*the rule of law*) или бюрократическому регламентированию. К примеру, в сегодняшней Франции юридическое действие ограничено тем влиянием, которое оказывают на обширные секторы государственного и частного управления Государство и технократы, вышедшие из Национальной школы администрации. В США, напротив, юристы (*lawyers*), окончившие престижные правовые факультеты (Гарвард, Йель, Чикаго, Стэнфорд), нередко занимают позиции не только в самом судебном поле, но и за его пределами — в политике, администрации, финансах или в промышленности. Этим объясняются устойчивые различия (о которых не перестают говорить со времен Токвиля), касающиеся социального использования права и, точнее говоря, места, занимаемого правом во всей совокупности возможных действий — в частности, в сфере борьбы граждан за свои права.

Антагонизм между обладателями различных видов юридического капитала, вкладывающими в свои толкования очень разные интересы и мировоззрения, не исключает взаимодополняемости их функций и в действительности является основой тонкой организации *разделения труда символического доминирования*, в котором противники, объективно являющиеся сообщниками, необходимы друг другу. Юридический канон похож на запасник власти, который, подобно центральному банку, придает вес отдельным юридическим действиям. Этим объясняется, что в силу своего габитуса юристы мало склонны выступать в роли пророков и, напротив, расположены — особенно судьи — к роли толкователей (*lectors*), которые пытаются придать своей деятельности видимость простого применения закона и всякий раз, занимаясь юридичес-

ким творчеством, стремятся это скрыть.¹² Подобно тому, как экономист, непосредственно занимающийся проблемами практики управления, не теряет связи, как в «великой цепи бытия» а-ля Лавджой,¹⁴ с чистым теоретиком, который производит некоторые математические теоремы, в большей или меньшей степени лишенные референта в реальном экономическом мире, но который, в отличие от чистого математика, признает, что менее «чистые» экономисты могут что-то привнести в его построения, так и обычный судья низшей инстанции (или, добравшись до последних звеньев, полицейский или тюремный охранник) связан с теоретиком чистого права и специалистом конституционного права посредством *цепи легитимности*, выводящей его действия за рамки произвольного насилия.¹³

В действительности, сложно не заметить, что в основе постоянной конкурентной борьбы за монополию на легитимное осуществление юридической компетенции заложен принцип функциональной динамической комплементарности. Юристы и другие теоретики права стремятся возвести его до уровня чистой теории — иначе говоря, теории, которая представляет собой автономную и самодостаточную систему, очищенную при помощи размышления, опирающегося на принципы логики и справедливости, от любых сомнений и лакун, связанных с его практическим генезисом. В то же время обычные судьи и другие практики, с большим вниманием относящиеся к возможностям его применения для частных случаев, ориентируют право в направлении некой разновидности казуистики и противопоставляют теоретическим трудам по праву инструменты работы, адаптированные к требованиям практики (в первую очередь, это *неотложность*), — реес-

¹⁴ См.: Лавджой А. Великая цепь бытия: История идеи / Пер. с англ. В. Софронова-Антони. М.: Дом интеллект. книги, 2001. 376 с. Артур Онкен Лавджой (1873–1962) — американский философ, эпистемолог; в США ему принадлежит центральная роль в развитии такой дисциплины, как историография идей. — Прим. перев.

тры судов, постановления, правоведческие словари (а завтра — и банки данных).¹⁴ Благодаря своей практике, напрямую связанной с разрешением конфликтов и постоянно обновляемым юридическим заказом, судьи несут функцию адаптации к реальности в системе, которая в противном случае рисковала бы закоснеть в рациональном ригоризме профессоров. Обладая большей или меньшей свободой в трактовке законов, они вводят необходимые для выживания системы изменения и инновации, которые затем принимаются теоретиками. Со своей стороны, рационализуя и упорядочивая свод правовых актов, юристы выполняют функцию ассимиляции, обеспечивающую целостность и длительность организованной совокупности принципов и правил, чтобы она не сводилась к противоречивой, сложной и, со временем, не поддающейся систематизации нескончаемой серии судебных постановлений. Тем самым судьи, склонные в силу своего положения и диспозиций полагаться лишь на свое юридическое чутье, получают средство избежать при вынесении своих вердиктов слишком очевидного произвола «кади» юстиции [*Kadijustiz*].^{*} Прерогативой юристов, по крайней мере в так называемой романо-германской традиции, является не описание существующих практик или условий применения действующих законов, но *придание формы* принципам и правилам, использующимся в этих практиках, путем выработки организованного свода правил, основанного на рациональных принципах и предназначенного для всеобщего применения. Черпая вдохновение в теологическом образе мысли, когда ищут откровения высшей справедливости при написании закона, и вместе с тем — в логическом, когда стремятся использовать дедуктивный метод, применяя закон к частному случаю, юристы предполагают учредить «номологическую науку», которая позволила бы научно обосновать должностное. Будто бы стремясь соединить оба смысла идеи «естественно-

^{*} «Кади» — в мусульманских странах судья, единолично осуществляющий судопроизводство на основе шариата. — Прим. перев.

го закона», они практикуют экзегезу с целью рационализировать позитивное право при помощи логического контроля, необходимого для обеспечения непротиворечивости свода законов, а также для дедукции непредусмотренных следствий из текстов и их комбинаций во имя заполнения так называемых «лакун» законодательства.

Если, по всей очевидности, не стоит недооценивать историческую эффективность этой кодификации, которая, воплощаясь в своем объекте, становится одним из основных факторов собственного изменения, точно так же не следует излишне доверять экзальтированным представлениям о юридической деятельности, предлагаемым ее теоретиками, которые, подобно Мотюльски, пытаются доказать, что «юридическую науку» определяет чистый и чисто дедуктивный метод обработки данных, или «юридический силлогизм», позволяющий подводить частный случай под общее правило.¹⁵ Тому, кто не имеет отношения к полю и, следовательно, не разделяет непосредственной веры (*illusio*) в допущения, лежащие в самой основе его функционирования, сложно поверить, что самые чистые построения юристов, не говоря уже о постановлениях обычных судей, подчиняются лишь дедуктивистской логике, являющейся предметом «духовной чести» профессионального юриста. Как смогли показать «реалисты», не имеет смысла искать абсолютно рациональную юридическую методологию: необходимое применение закона к некоторому частному случаю в действительности предполагает конфликт различных прав, между которыми должен выбирать суд. «Закон», выведенный из предыдущего случая, никогда не может быть в том же виде применен в новом, поскольку на практике не существует двух идентичных дел и судья должен определять, может ли упомянутый закон быть распространен на новый случай.¹⁶ Одним словом, не являясь простым исполнителем, непосредственно применяющим закон в конкретном случае, судья располагает некоторой автономией, степень которой несомненно является лучшим мерилем его позиции в структуре распределения специфического капитала юри-

дической власти.¹⁷ Его приговоры, вдохновляемые той же логикой и ценностями, что и толкуемые им тексты, имеют функцию настоящего *изобретения*. Если наличие письменных правил, без сомнения, способствует уменьшению вариативности поведения, агенты юридического поля могут тем не менее обращаться и подчиняться требованиям закона с большей или меньшей строгостью: в судебных решениях (как и во всей совокупности актов, которые им предшествуют и их предопределяют — например, в решениях полиции, связанных с задержанием) всегда остается некоторая доля произвольности за счет таких организационных переменных, как состав принимающей решение группы или характеристики подсудимых.

Толкование *актуализирует норму*, адаптируя источники к новым обстоятельствам, открывая в них не известные до тех пор возможности и отбрасывая то, что отмерло или потеряло свою актуальность. Учитывая чрезвычайную эластичность текстов, порой доходящую до неопределенности или двусмысленности, герменевтическая операция *declaratio* располагает огромной свободой. Не так уж редко право — этот послушный, податливый, гибкий, полиморфный инструмент — в действительности привлекается для того, чтобы рационализировать *ex post* решения, к которым оно не имело никакого отношения. Все юристы и судьи (правда, в неодинаковой степени) обладают властью эксплуатировать полисемичность или двусмысленность юридических формул, прибегая либо к *restrictio* — приему, используемому для того, чтобы не применять закон, который при буквальном прочтении должен бы быть применен; либо к *extensio* — приему, позволяющему применить закон, чей буквальный смысл этого не подразумевает; либо все другие техники, которые, подобно аналогии, различию между духом и буквой, стремятся максимально выгодно использовать эластичность закона, а также существующие в нем противоречия, двусмысленности или лакуны.¹⁸ Фактически, толкование закона никогда не является лишь актом судьи, занятого поиском юридического обоснования решения, которое, по крайней

мере, по своему генезису лишено и разумного, и правового основания — т. е. судьи, который действовал бы как герменевт, стремящийся как можно более точно применить закон (в представлении Гадамера), или как логик, преданный дедуктивной строгости своего «метода реализации», как бы того хотел Мотюльски. Практическое содержание закона, обнаруживающее себя в вердикте, является результатом символической борьбы профессионалов, обладающих неодинаковыми техническими и социальными компетенциями и, следовательно, в неравной степени способных мобилизовать наличные юридические ресурсы — находить и пускать в дело все «возможные правила» — и использовать их эффективно, т. е. как символическое оружие, с целью выиграть дело. Таким образом, юридическое действие закона, иными словами, его действительное значение, устанавливается в специфическом соотношении сил между профессионалами, которое соответствует (впрочем, это неважно с точки зрения объективной правоты сторон) соотношению сил между соответствующими участниками процесса.

Судебное решение, в большей степени зависящее от этических диспозиций агентов, чем от чистых норм права, приобретает статус *вердикта* благодаря рационализации, придающей ему *символическую эффективность*, которой обладает всякое действие в действительности произвольное, но признанное легитимным. Этот особый результат, по меньшей мере частично, объясняется тем, что, как правило (если специально не обратить на это внимание), впечатление логической необходимости, навешанное формой, переносится и на содержание. Рациональный или рационализаторский формализм права, который, вслед за Вебером, противопоставляется магическому формализму ритуалов и архаических процедур суда (таких, как индивидуальная или коллективная клятва), способствует символической эффективности самого рационального права.¹⁹ И ритуал, целью которого является экзальтация субъекта акта толкования (зачитывание вслух текстов, анализ и провозглашение заключений и т. д.) и который является предметом изучения начиная с Паскаля, служит

только сопровождением коллективного усилия сублимации, призванного засвидетельствовать, что решение выражает не волю и мировосприятие судьи, но *voluntas legis* (или *legislatoris*).^{vi}

Установление монополии

Формирование «судебного пространства» обязательно предполагает границу между теми, кто готов войти в игру, и теми, кто чувствует себя чуждым ей, поскольку не способен произвести требующуюся для входа в это социальное пространство конверсию всего умственного строя — и, в частности, языковой установки. Приобретение собственно юридической компетенции, техническое овладение научным знанием, часто противоречащим простым требованиям здравого смысла, влечет за собой дисквалификацию чувства справедливости неспециалистов и отмену их спонтанного истолкования фактов, их «видения дела». Разрыв, существующий между простым видением того, кто станет *подсудимым*, т. е. клиентом, и ученым видением эксперта, судьи, адвоката, юрисконсульта и т. п., имеет существенное значение; он образует отношение власти, создающее две различные системы допущений, экспрессивных намерений — одним словом, два мировосприятия. Этот разрыв, лежащий в основе запрета на вход в поле профанов, возникает за счет того, что через его структуру, а также через систему принципов видения и деления, вписанных в его основной закон, т. е. *конституцию*, налагается система обязательных требований, главным из которых является императив принятия глобальной установки, заметной, в частности, в области языка.

И если можно легко понять, что, подобно любому научному языку (например, философскому), язык права заключается в специфическом использовании общеупотребительного языка, исследователям непросто обнаружить истинный принцип этой «смеси зависимости и независи-

^{vi} *Voluntas legis* (или *legislatoris*) (лат.) — воля закона (или законодателей).

мости». ²⁰ Для этого явно недостаточно сослаться на эффект контекста или «сети», в значении Витгенштейна, которые отрывают слова и выражения от их обычного смысла. Превращение, охватывающее всю совокупность лингвистических черт, связано с принятием глобальной установки, являющейся не чем иным, как инкорпорированной формой системы принципов видения и деления мира, конституирующей поле, которое само характеризуется независимостью благодаря и посредством зависимости. Остин удивлялся тому, что никто никогда всерьез не задумывался над вопросом, почему мы «называем разные вещи одним и тем же именем»; и почему, как мы могли бы добавить, никто не испытывает от этого большого неудобства. Если юридический язык может себе позволить использовать слово для обозначения вещей, никак не связанных с его обычным значением, то только потому, что эти два различных употребления принадлежат различным стилям языка, которые, подобно перцептивному и образному сознанию в терминах феноменологии, взаимно исключают друг друга — так, что «омонимическая коллизия» (или недоразумение), возникающая в результате встречи в одном пространстве двух означаемых, становится совершенно невозможна. Принцип сдвига между двумя означающими, который обычно рассматривают как эффект контекста, есть не что иное, как результат дуализма мыслительных пространств, соответствующих разным социальным пространствам, с которыми они связаны. Это *несоответствие установок* является *структурным* основанием для недоразумений, которые могут возникать между пользователями научного кода (медиками, судьями и т. д.) и профанами — как на синтаксическом, так и на лексическом уровне: к примеру, когда слова общеупотребительного языка, чей смысл в научном контексте изменяется в сравнении с обыденным, функционируют для профана как «ложные друзья». ²¹

Суд функционирует как *нейтральное место*, в котором происходит настоящая *нейтрализация* ставок посредством их отрыва от действительности и дистанцирования, превращающих прямое столкновение интересов в

диалог посредников. В качестве третьих лиц, напрямую не вовлеченных в дело (что не означает — не имеющих своего интереса) и обученных рассматривать еще горячие факты настоящего, ссылаясь на канонические тексты и патентованные прецеденты, специализированные агенты вводят — сами того не зная и не желая — нейтрализующую дистанцию, которая, по меньшей мере, в случае судей становится чем-то вроде профессионального императива и которая накрепко вписана в габитус. Эти аскетические и вместе с тем аристократические диспозиции, воплощающие обязанность проявлять сдержанность, постоянно развиваются и поддерживаются группой коллег, которые всегда спешат осудить и вынести порицание тем, кто слишком открыто компрометирует себя связью с деньгами или политикой. Одним словом, трансформация непримиримых конфликтов интересов в регулируемый обмен рациональными аргументами между равными субъектами неразрывно связана с самим существованием круга специалистов, не зависящих от конфликтующих социальных групп и ответственных за проведение, в кодифицированных формах, *публичной постановки* социальных конфликтов и за их разрешение, которое социально признается беспристрастным, т. е. вынесенным на основании формальных и логичных правил доктрины, не зависящей от сиюминутных антагонизмов.²² В этом смысле интересны представления «туземцев», описывающих суд как отдельное очерченное пространство, в котором конфликт трансформируется в диалог экспертов, и определяющих судебный процесс как упорядоченное продвижение к истине.²³ Они еще раз демонстрируют одно из измерений символического эффекта юридического действия как рационального и свободного применения универсальной и научно обоснованной нормы.²⁴ Являясь на деле политическим компромиссом между непримиримыми требованиями, в то же время предстающим как логический синтез противостоящих тезисов, судебный вердикт конденсирует всю неоднозначность юридического поля. Своей специфической действенностью он обязан тому, что порождается в соответствии с логикой политического поля, ор-

ганизованного вокруг противостояния между друзьями или союзниками и противниками и стремящегося исключить арбитражное посредничество третьих лиц, и одновременно — в соответствии с логикой научного поля, которое, при высокой степени автономии, стремится придать первостепенную практическую значимость оппозиции между истинным и ложным, вверяя власть арбитра конкуренции между равными профессионалами.²⁵

Судебное поле представляет собой упорядоченное социальное пространство, в котором и через которое происходит преобразование конфликта непосредственно заинтересованных сторон в юридически регламентированные прения между профессионалами, ведущими дело по доверенности и разделяющими знание и признание правил юридической игры, т. е. писаных и неписаных законов поля; в том числе тех, которые необходимы для того, чтобы суметь обойти букву закона (у Кафки адвокат вызывает не меньшую тревогу, чем судья). От Аристотеля до Кожева юристу часто давалось определение «третьей-ского посредника», где основной является идея *посредничества* (а не арбитража) и то, что из него следует, т. е. потеря контроля над прямым и непосредственным ведением собственного дела: перед судящимися высится трансцендентная власть, несводимая к противостоянию частных мировоззрений и представляющая собой структуру и принципы функционирования социального пространства, в котором имеет место это противостояние.

Требую безоговорочного принятия фундаментального закона юридического поля — его основополагающей тавтологии, согласно которой конфликты здесь могут разрешаться только юридическим путем, иначе говоря — в соответствии с правилами и условиями юридического поля, вход в юридический мир предполагает также полное переопределение обыденного опыта и самой ситуации, являющейся причиной тяжбы. Структура юридического поля представляет собой принцип структурирования реальности (это верно в отношении любого поля). Войти в игру, согласиться в нее играть, положиться в урегулировании конфликта на право — все это означает импли-

цитное принятие такого способа выражения и дискуссии, который подразумевает отказ от физического насилия и от простейших форм символического насилия, как, например, оскорбление. Это также означает, что особенно важно, согласие со специфическими требованиями юридического конструирования объекта. Учитывая, что юридические факты являются продуктом юридического построения (а не наоборот), требуется настоящее переосмысление всех аспектов «дела», чтобы *ponere causam*, как говорили латиняне, или чтобы представить предмет спора в качестве *дела*, т. е. в качестве юридической проблемы, способной стать объектом юридических прений. Требуется также выделить все то, что заслуживает внимания с точки зрения принципа юридической уместности, или все то, что может иметь ценность как факт, как аргумент, благоприятный или неблагоприятный и т. д.

Вслед за Остином можно выделить три требования, содержащиеся в контракте на вход в поле судебной практики. Во-первых, судья должен прийти к решению типа «черное или белое, виновен или невиновен, в отношении обвиняющей или защищающейся стороны, соответственно». Во-вторых, речи обвинения и защиты должны укладываться в одну из известных категорий процедуры, установившихся в ходе истории и, несмотря на свое количество, остающихся весьма ограниченными и стереотипными в сравнении с обвинениями и оправданиями, встречающимися в обычной жизни (вследствие чего многие конфликты и аргументы остаются за пределами закона, как слишком тривиальные, либо вне его юрисдикции, как исключительно моральные). В-третьих, агенты судебного поля должны ссылаться на прецеденты, стремясь не выходить за их рамки, что может иметь следствием искажение обыденных представлений и выражений.²⁶

Правило, предписывающее придерживаться предыдущих юридических решений при принятии нового, *stare decisis*, имеет такое же значение для юридической мысли, что и дюркгеймовский завет «объяснять социальное социальным» — для социологической: это лишь еще один способ утверждения автономии и специфики юридического

рассуждения и суждения. Ссылка на совокупность признанных прецедентов, функционирующих как пространство возможностей, внутри которого может быть найдено решение, позволяет дать вердикту рациональное обоснование. Однако за видимостью нейтрального и объективного результата приложения специфически юридической компетенции в действительности могут скрываться совершенно другие принципы. Более того, учитывая, что прецеденты, которые используются как инструменты рационализации вердикта, как минимум так же часто, как основание для его вынесения, а также тот факт, что один и тот же прецедент, по-разному сконструированный, может быть привлечен для обоснования противоположных мнений и что юридическая традиция предлагает большое разнообразие прецедентов и их интерпретаций, из которых всегда можно выбрать наиболее подходящий,²⁷ не стоит торопиться делать из *stare decisis* разновидность рационального постулата, гарантирующего постоянство, предсказуемость и объективность вердиктов (в качестве ограничения, наложенного на произвол субъективных решений). Предсказуемость и просчитываемость, приписываемые Вебером рациональному праву, покоятся, прежде всего, на постоянстве и однородности юридических габитусов. Сформировавшись на основе сходного опыта в семье, в ходе обучения праву и профессиональной юридической практики, одинаковые диспозиции функционируют как категории восприятия и оценки, структурирующие восприятие и оценку обычных конфликтов и направляющие деятельность, призванную преобразовывать их в юридические прения.²⁸

Опираясь на традицию так называемой *dispute theory* (не разделяя, однако, всех ее положений), мы можем дать описание коллективной работы по «категоризации», направленной на трансформацию полученного ущерба, даже если он не был замечен, в точно сформулированную жалобу, а обычного спора — в процесс. В действительности, нет ничего менее естественного, чем «юридическая необходимость» или, что по сути одно и то же, чувство перенесенной несправедливости,

толкающие к тому, чтобы прибегнуть к услугам профессионала. Известно, что чувствительность к несправедливости или способность воспринять некий опыт как несправедливый распределены неравномерно и напрямую зависят от позиции в социальном пространстве. Это означает, что переход от незамеченного ущерба к ущербу осознанному, идентифицированному и идентифицирующему виновника предполагает работу по конструированию социальной реальности, которая, как правило, является прерогативой профессионалов. Осмысление несправедливости как таковой происходит вследствие осознания своих прав (*entitlement*), и специфическая власть профессионалов заключается в способности *выявить* эти права и, следовательно, факты их нарушения либо, наоборот, признать несостоятельным чувство несправедливости, основанное исключительно на субъективном чувстве, и тем самым отсоветовать отстаивать эти субъективные права в судебном порядке — иначе говоря, манипулировать юридическими нуждами, создавая их в некоторых случаях, усиливая либо сводя на нет — в других. (Одна из наиболее значимых способностей *lawyers* состоит в *расширении*, преувеличении *конфликтов*: эта собственно политическая работа заключается в том, чтобы изменять допустимые дефиниции, изменяя слова или этикетки, присваиваемые лицам или вещам, чаще всего прибегая к категориям юридического языка, с тем, чтобы ввести данное лицо, действие, отношение в более широкий класс явлений.²⁹) Кроме того, именно профессионалы создают нужду в своих собственных услугах, преобразуя проблемы, выраженные на обычном языке, в юридические проблемы посредством их перевода на язык права и заранее предлагая оценку шансов на успех, как и последствий выбора той или иной стратегии. Нет сомнений, что при конструировании *конфликтов* ими движут финансовые интересы, но также их этические или политические диспозиции, т. е. принцип социальной близости с клиентами (к примеру, известно, что некото-

рые *lawyers* отговаривают клиентов отстаивать свои законные права против крупных предприятий, в частности, в области потребления), и наконец — их наиболее специфические интересы, которые определяются через их объективные отношения с другими специалистами и актуализируются в зале суда (где происходит имплицитный или эксплицитный торг). Закрытость, являющаяся следствием самой логики функционирования поля, проявляется в том, что судебные инстанции стремятся вырабатывать целые специфические традиции и, в частности, категории восприятия и оценки, никак не сводимые к категориям неспециалистов, порождая свои проблемы и свои решения согласно логике, полностью герметичной и недоступной для профанов.³⁰

Изменение мыслительного пространства, логически и практически связанное со сменой пространства социального, обеспечивает эксклюзивный контроль над ситуацией обладателям юридической компетенции, которые занимают позицию, позволяющую им преобразовать данную ситуацию в соответствии с фундаментальным законом поля. Те, кто соглашаются войти в юридическое поле и тем самым отказываются от поиска самостоятельного решения конфликта (при помощи силы или неофициального посредника, либо путем прямого поиска любовного соглашения), становятся простыми клиентами профессионалов. Юридическое поле преобразует доюридические интересы агентов в судебные дела и превращает в капитал компетенцию, дающую контроль над юридическими ресурсами, требуемыми логикой поля.

Образование юридического поля невозможно без установления монополии профессионалов на производство и коммерциализацию той особой категории товаров, какой являются юридические услуги. Юридическая компетенция представляет собой специфическую власть, позволяющую контролировать доступ в юридическое поле, определяя, какие конфликты заслуживают того, чтобы туда войти, и в какую форму они должны быть облечены, чтобы приоб-

рести статус собственно юридических прений. Лишь в ней можно почерпнуть ресурсы, позволяющие свести реальность к ее юридическому определению, выбирая в ней только те элементы, которые требуются для создания этой действенной фикции. Корпорация профессионалов, обладающая монополией на инструменты юридического конструирования, или по сути своей — присвоения, гарантирует каждому из своих членов получение прибыли, значительность которой зависит от степени, в какой она может контролировать производство производителей, т. е. обучение (посвящение [в профессию] при помощи вуза) агентов, юридически уполномоченных продавать юридические услуги, и тем самым — контролировать рынок предложения юридических услуг.

Лучшим доказательством вышеприведенных утверждений могут служить последствия, к которым привел, как в Европе, так и в США, кризис традиционной системы рекрутирования судебных профессий (так же, как врачей, архитекторов и других носителей культурного капитала). В частности, можно вспомнить усилия, направленные на ограничение предложения и устранение последствий возросшей конкуренции (снижение зарплаток) и включавшие различные меры, усложняющие доступ к профессии (*numerus clausus*). А также усилия по увеличению спроса, идущие самыми разными путями — от рекламы, распространенной в США, до правозащитных организаций, которые, защищая права угнетенных меньшинств или поощряя меньшинства отстаивать их в суде и, в более широком смысле, пытаясь убедить государственные службы прямо или косвенно способствовать поддержанию юридического спроса, добились создания новых рынков юридических услуг, хотя это и не являлось их прямой целью.³¹ Таким образом, недавние трансформации юридического поля позволяют непосредственно наблюдать в их взаимосвязи процесс развития, ведущий к завоеванию все новых территорий, и сопровождающий его процесс уменьшения поля правовой активности

обычных профанов. Увеличение спроса происходит за счет включения в юридическую систему областей практики, до тех пор входивших в сферу компетенции доюридических форм разрешения конфликтов. К примеру, жертвой этого процесса стали примирительные конфликтные комиссии, являвшиеся последним прибежищем некой разновидности третейского суда, основанного на чувстве справедливости и осуществлявшегося людьми от практики согласно простым процедурам.³² Вследствие объективного согласия между наиболее образованными представителями профсоюзов и некоторыми юристами, которые, извлекая выгоду из щедрой заботы об интересах самых обездоленных, расширяют рынок, открытый для их услуг, — этот островок юридического самопотребления постепенно оказался включенным в рынок, контролируемый профессионалами. При вынесении и обосновании своих решений третейские судьи все чаще вынуждены обращаться к праву, в частности, из-за того, что сами истцы и ответчики все чаще стараются основываться на юридических аргументах и пользоваться услугами адвокатов, а также из-за того, что увеличение количества апелляций вынуждает третейских судей ссылаться на решения суда высшей инстанции. Из этого феномена извлекают выгоду в основном журналы, специализирующиеся на юриспруденции, и профессионалы, все чаще дающие консультации крупным промышленникам или профсоюзам.³³ В общем, по мере того как складывается поле (в данном случае — субполе), постепенно набирает обороты процесс *кругового усиления*: каждый новый шаг в сторону «юридизации» одного из аспектов практики порождает новые «юридические потребности» и, следовательно, новые юридические интересы у тех, кто, обладая необходимой специфической компетенцией (например, «трудовое право»), завоевывает новый рынок. Вмешательство профессиональных юристов приводит ко все большей юридической формализации процедур и, таким образом, способству-

ет увеличению спроса на их собственные услуги и товары. В то же время профаны, вынужденные прибегать к советам профессионалов, которые постепенно займут место истцов и ответчиков, превращаются в простых *судящихся*.³⁴

Согласно той же логике, вульгаризация трудового права профсоюзам, обеспечивающая хорошее знание юридических норм и процедур значительному числу непрофессионалов, не послужила тому, чтобы вернуть пользователям некоторые инструменты права в ущерб монополии юристов, но, скорее, сместила границу между профанами и профессионалами. Поскольку, подчиняясь логике конкуренции внутри поля, эти последние были вынуждены удвоить наукообразность, чтобы сохранить монополию легитимной интерпретации и избежать обесценивания, связанного с самим положением дисциплины, занимающей подчиненное положение в юридическом поле.³⁵

Существуют и другие проявления этого конфликта между стремлением к расширению рынка через завоевание сектора, принадлежащего сфере юридического самообеспечения (стремлением, которое может быть реализовано тем более успешно, как в случае третейских судов, чем более оно бессознательно или невинно), и увеличением автономии, т. е. разрыва между профессионалами и профанами. К примеру, полупрофессиональные посредники, действующие в рамках дисциплинарных инстанций частных предприятий, старательно заботятся о том, чтобы сохранять по отношению к профанам ту дистанцию, которая определяет принадлежность к полю и для которой губительна слишком прямая защита интересов доверителей. Они стремятся придать своим выступлениям больше техничности, с целью лучше обозначить разрыв с теми, чьи интересы они защищают, и таким образом придать больше авторитета и нейтральности своей защите, что, однако, рискует войти в противоречие с самой логикой ситуации полюбовного разрешения конфликта.³⁶

Власть номинации

Судебный процесс, представляющий собой противоборство частных, нераздельно когнитивных и оценочных, точек зрения, под которым подводит черту торжественно оглашаемый вердикт социально признанной «власти», является парадигматической мизансценой символической борьбы, разыгрываемой в социальном мире. Ставку в этой борьбе, в которой сталкиваются разные, а подчас противоположные, мировоззрения, стремящиеся в меру своего влияния добиться признания и тем самым реализоваться, составляет монополия на власть навязывать всем остальным свое понимание социального мира: *nomos* как универсальный принцип видения и деления (*не то* означает разделять, делить, распределять), а следовательно, легитимного *распределения*.³⁷ В этой борьбе судебная власть — через приговоры, подразумевающие определенные санкции, которые могут выражаться в таких актах физического насилия, как лишение жизни, свободы или имущества, — выражает точку зрения, трансцендентную по отношению к частным перспективам, иначе говоря — верховный взгляд Государства, обладающего монополией на легитимное символическое насилие.

В отличие от частного высказывания (*idios logos*), например, оскорбления, которое, исходя от обычного человека и выражая точку зрения лишь его автора, не обладает символической эффективностью, приговор судьи, ставящий точку в конфликтах или тяжбах по поводу вещей или лиц, публично провозглашая истину о них в последней инстанции, принадлежит к классу *актов номинации* [*nomination*] или *учреждения* [*institution*] и представляет собой форму в высшей степени авторизованной речи, публичной, официальной, произносимой именем каждого и пред лицом каждого. В качестве компетентных суждений, публично формулируемых агентами, выступающими как полномочные представители коллектива и в этом смысле являющихся моделью для любого акта категоризации (как известно, *katègoresthai* означает «публично обвинять»), эти перформативные высказывания представляют собой

магические акты, достигающие цели благодаря своей способности добиться всеобщего признания и, следовательно, того, чтобы никто не смог отрицать или игнорировать ту точку зрения, то видение, которые они выражают.

Право узаконивает сложившийся порядок, легитимируя видение этого порядка, которое обеспечивается Государством и представляет его точку зрения. Оно присваивает агентам гарантированную идентичность, гражданское состояние и, главное, социально признанные, а значит, продуктивные компетенции (или возможности) путем распределения прав на их использование — званий (учебных, профессиональных), свидетельств (о профпригодности, инвалидности, болезни); а также санкционирует все процессы, связанные с получением, увеличением, передачей или лишением этих прав. Вердикты, посредством которых право распределяет разные объемы разных видов капитала среди различных агентов (или институтов), кладут конец (или хотя бы очерчивают границы) борьбы, торга или тяжбы относительно свойств лиц или групп, принадлежности лиц или групп, а значит — по поводу правильного присвоения имен, собственных либо нарицательных (например, званий), относительно союзов либо разрывов. Одним словом, при их помощи ведется вся практическая работа по *обустройству мира (worldmaking)* — свадьбы, разводы, кооптации, ассоциации, роспуски и т. д., — которая лежит в основе организации групп. Право, безусловно, является наивысшей формой символической власти номинации, создающей именованные вещи и, в частности, группы. Реалии, возникшие в результате этих операций классификации, наделяются полной степенью постоянства — постоянства вещей, — какой один исторический институт способен наделить другие исторические институты.

Право является наивысшей формой активного дискурса, обладающего властью вызывать реальные последствия. Не будет преувеличением сказать, что оно *создает* социальный мир, но при этом не следует забывать, что само оно является его порождением. По-настоящему важно поставить вопрос о социальных условиях — и преде-

лах — этой почти магической эффективности. В то же время, полагая, что мы сами производим категории, в соответствии с которыми конструируем социальный мир, и что данные категории создают этот мир, мы рискуем впасть в радикальный номинализм (который вытекает из некоторых положений Мишеля Фуко). В самом деле, схемы восприятия и оценки, на основе которых мы конструируем социальный мир, создаются в процессе коллективной исторической работы, но не без опоры на структуры самого мира. Такие структурированные структуры, как наши категории мышления, являющиеся плодом исторического конструирования, *участвуют* в создании мира, но лишь в той мере, в какой они соответствуют уже существующим структурам. Символические акты номинации обладают всей действенностью созидательных высказываний только в том случае, если содержащиеся в них принципы видения и деления мира объективно согласуются с уже существующими классификациями, продуктом которых они являются. Узаконивая названный ими объект, они переносят его на более высокую ступень существования, знаменующую полную завершенность, какой является утвержденный институт. Иначе говоря, собственно символический эффект представлений, порождаемых в соответствии со схемами, согласующимися со структурами мира, продуктом которых они являются, заключается в том, чтобы узаконивать существующий порядок: в правовом представлении утверждается и канонизируется докситическое видение классификаций, чья ортодоксальная объективность проявляется при помощи настоящего акта творения, который, возвещая о нем перед лицом всех и от имени всех, практически возводит его в ранг официального, а значит, общепризнанного [видения].

Императив реалистического соответствия объективным структурам в неменьшей степени довлеет и над символической властью в ее профетической, еретической, антиинституциональной и подрывающей устои форме. Несмотря на то что творческая сила представлений в науке, искусстве или политике с наибольшей силой проявляется именно в периоды революционных потрясений, стремле-

ние изменить мир, изменяя называющие его слова, производя новые категории восприятия и оценки, предписывая новое видение делений и распределений, имеет шансы на реализацию лишь при том условии, что эти пророчества, словотворчества хотя бы отчасти предвидят, предвосхищают будущее. Они вызывают к жизни то, что предвещают — новые практики, новые нравы и, особенно, новые группы, поскольку предвещают то, что уже совершается, громко заявляя о своем приходе. Их можно сравнить скорее с работниками мэрии, делающими запись о рождении, чем с самими роженицами. Придавая реальным и потенциальным историческим фактам всю полноту легитимности, заключенную в пророческом провозвестии, при помощи эффекта узаконивания, или даже освящения, возникающего в результате оглашения и официализации, они позволяют им полностью осуществиться, иными словами — приобрести известность, признание, официальный статус (в противоположность позорному, убудочному, официозному существованию). Итак, только реалистический (или реально обоснованный) номинализм позволяет объяснить магический эффект номинации, этого акта символического насилия, который достигает цели лишь благодаря тому, что не противоречит реальности. Любые акты социальной магии, канонической формой которой является юридическая санкция, могут быть действительны при условии того, что собственно символическая власть легитимации, или лучше натурализации (естественным является то, легитимность чего не вызывает сомнений), накладывается на имманентную силу истории, удваиваемую или освобождаемую благодаря их авторитету и их санкции.

Данные размышления могут показаться никак не связанными с реальностью юридической практики, однако они необходимы для того, чтобы понять сам принцип, лежащий в основе символической власти. Призвание социологии состоит в том, чтобы напоминать вновь и вновь, что общество, по выражению Монтескьё, нельзя изменить при помощи декрета. В то же время знание социальных условий действенности юридических документов не дол-

жно вести к отрицанию или игнорированию того, что составляет собственную эффективность правила, подзаконного акта или закона. Если в ответ на юридикзм мы стремимся вернуть диспозициям габитуса их законное место в объяснении практик, то это ни в коей мере не означает, что мы выносим за рамки рассмотрения собственное действие эксплицитного правила, особенно если оно влечет за собой конкретные санкции, как в случае юридических актов. И наоборот, если не вызывает сомнения, что право обладает специфической эффективностью, которой оно обязано, в частности, символической работе *кодификации*, приданию формы и формулированию, нейтрализации и систематизации, осуществляемой профессионалами согласно внутренним законам их мира, не будем забывать, что эта эффективность, строящаяся на принципах, противоположных тотальному непослушанию либо послушанию, основанному на чистом принуждении, возможна лишь при условии, что право обладает социальным признанием и встречает (пусть молчаливое или частичное) согласие благодаря хотя бы видимости своего соответствия действительным нуждам и интересам.³⁸

Власть формы

Юридическую практику, как и религиозную, определяет отношение между юридическим полем, т. е. принципом юридического предложения, рождаемого в конкуренции между профессионалами, и спросом профанов, который всегда отчасти обусловлен эффектом предложения. При этом постоянно возникает конфронтация между предлагаемыми юридическими нормами, выражающими, по крайней мере, в своей форме всеобщее, и социальным заказом, неизбежно разнородным или даже конфликтным и противоречивым, который объективно вписан в сами практики в актуальном или потенциальном виде (в форме нарушения либо инновации, вводимой этическим или политическим авангардом). Легитимность, обретаемая правом и юридическими агентами в рутине правоприменительной практики, не может быть понята ни как ре-

зультат всеобщего признания, оказываемого судящимися правосудию, которое, согласно профессиональной идеологии юридического корпуса, являлось бы выразителем всеобщих и вечных ценностей, трансцендентных по отношению к частным интересам, ни, наоборот, как результат вынужденного согласия, которое всего лишь регистрировало бы существующую мораль, расстановку сил или, точнее говоря, интересы господствующих групп.³⁹ Пора прекратить бесконечный спор о том, рождается ли власть наверху или внизу, является ли разработка законодательства и его изменение результатом «движения» нравов навстречу закону и приспособления коллективных практик к их юридической кодификации, или, наоборот, юридических форм и формул — к практикам, которые они закрепляют. Вместо этого необходимо сфокусировать внимание на *совокупности объективных отношений*, возникающих между юридическим полем — местом, характеризующимся сложными связями и обладающим относительной автономией, и полем власти, а через него — всем социальным полем. Именно внутри этого универсума отношений определяются средства, цели и специфические следствия юридической деятельности.

Следовательно, чтобы понять, что есть право, каковы его структура и социальное действие, помимо состояния социального заказа, существующего или потенциального, и социальных условий (в основном, негативных) «юридического творчества», необходимо проанализировать собственную логику юридической работы в ее наиболее специфических чертах, иными словами — *формализующую* деятельность, а также социальные интересы агентов формализации, которые определяются в конкуренции, существующей внутри юридического поля, а также между этим полем и полем власти в целом.⁴⁰

Не вызывает сомнения, что практика агентов, ответственных за производство и применение права, во многом определяется теми сходствами, которые объединяют носителей высшей формы символической власти с обладателями преходящей, экономической или политической, власти, несмотря на любые конфликты компетенций, ко-

которые могут возникать между ними.⁴¹ Близость их интересов и особенно схожесть габитусов, обусловленная сходным семейным и школьным воспитанием, обеспечивают родственность мировоззрений. Следовательно, не слишком велика доля вероятности того, что выбор, который должны поминутно осуществлять специалисты права между различными интересами, ценностями и мировоззрениями, окажется не в пользу власть имущих, поскольку этос юридических агентов, лежащий в его основе, и имманентная логика юридических текстов, цитируемых с целью его обоснования и подкрепления, согласуются с интересами, ценностями и мировоззрением доминирующих групп.

Факты, свидетельствующие о принадлежности судей к господствующему классу, встречаются всюду и во все времена. К примеру, Марио Збриколли показывает, что в небольших коммунах средневековой Италии обладание юридическим капиталом, этой особенно редкой разновидностью культурного капитала, открывало доступ к властным позициям. Так и во Франции при Старом порядке представители дворянства мантии, менее престижного, чем дворянство шпаги, все же принадлежали, нередко от рождения, аристократии. Сходным образом в исследовании, посвященном социальному происхождению судей, начавших профессиональную деятельность до 1959 года, Соважо устанавливает, что подавляющее большинство из них происходит из семей, имеющих юридическую традицию, и шире — из буржуазии. Жан-Пьер Мунье (Jean-Pierre Mounier, *La définition judiciaire de la politique*, thèse, Paris I, 1975) сумел показать, что, по крайней мере, до самого последнего времени богатство, полученное по наследству, было условием финансовой независимости и даже аскетического этоса, которые представляли собой в некотором роде неотъемлемые атрибуты профессии, посвящающей себя службе Государству. Данный факт (наряду с влиянием профессионального образования) служит объяснением тому, что провозглашаемая нейтральность и открыто заявляемая неприязнь к политике не исключают, напротив, полное приятие установленного порядка. (Ценности судейского сословия можно понять на одном

примере: как правило, редко вмешиваясь в политические дела, они тем не менее значительно чаще, чем представители других юридических профессий (в частности, адвокаты), ставили подпись под петицией против закона, разрешающего аборт.) Однако размах и значимость этого молчаливого единогласия можно в наиполнейшей мере оценить тогда, когда оно нарушается вследствие экономического и социального кризиса профессии, связанного с переопределением способа воспроизводства господствующих позиций. Те из вновь пришедших, кто в силу своего социального положения и диспозиций не был склонен соглашаться с традиционным определением их должности, вовлекаются в борьбу, выявляющую одно из скрытых оснований профессии: пакт о ненападении, связывающий ее с властью имущими. Вследствие внутренней дифференциации, профессия, до тех пор интегрированная в единодушно признаваемую иерархическую структуру и сплоченная консенсусом относительно своего предназначения, превращается в поле борьбы, в котором некоторые ее представители, разоблачая этот пакт, более или менее открыто бросают вызов тем, кто продолжает принимать его за абсолютную норму своей практики.⁴²

Но специфика власти права состоит в том, что она распространяется за пределы круга лиц, признающих ее априори в силу практической схожести интересов и ценностей, воплощенных в юридических текстах, а также в этических и политических диспозициях тех, кто отвечает за их применение. Кроме того, не вызывает сомнения, что претензия юридической доктрины и судебной процедуры на универсальность, реализующаяся в рутине формализации, помогает обоснованию их практической «универсальности». Символическая власть, как известно, не может осуществляться без неосознанного или даже вынужденного согласия со стороны тех, кто ей подчиняется. Представляя собой высшую форму легитимного дискурса, право может быть действительно лишь в той мере, в какой ему удастся получить признание; иначе говоря — при том условии, что остается в тени большая или меньшая часть произвола, лежащего в основе его функционирова-

ния. Постоянное воспроизводство *веры* в юридический порядок является одной из функций собственно юридической работы, заключающейся в кодификации этических представлений и практик и способствующей внушению профанам основ профессиональной идеологии юристов, т. е. веры в нейтральность и автономию права.⁴³ Жак Элюль пишет: «Право возникает в тот момент, когда императив, сформулированный одной из социальных групп, начинает приобретать универсальное значение, облекаясь в юридическую форму».⁴⁴ Это означает, что универсализация неразрывно связана с формализацией и формулированием.

Правовая норма предполагает, с одной стороны, связь с общественными ценностями (проявляющимися на бытовом уровне в виде таких спонтанных коллективных санкций, как моральное осуждение), а с другой — наличие эксплицитных правил, мер и упорядоченных процедур. Решающим, несомненно, является этот последний фактор, неотделимый от письма: письмо является предпосылкой возникновения генерализующего комментария, в котором формулируются «универсальные» правила или принципы, а также необходимым условием объективной (путем систематического обучения) и обобщенной передачи [права], вне пространственных (между территориями) и временных (между поколениями) границ.⁴⁵ Если устная традиция не предполагает научной разработки в силу своей привязки к специфическому опыту конкретного места или группы, письменное право благоприятствует автономизации комментируемого текста, становящегося между комментаторами и реальностью. Так закладываются основы того, что описывается профессиональной идеологией в терминах «юридической науки», т. е. специфическая форма научного знания, наделенная собственными нормами и логикой и способная производить все внешние знаки своей рациональной когерентности, т. е. «формальной» рациональности, которую Вебер отличает от «субстанциональной» рациональности, определяющей цели формально рационализированной практики.

У права есть множество способов воздействия на социальный мир. Кодификация выводит нормы из игры случайных событий, фиксируя решение (к примеру, постановление суда) в форме, предназначенной служить моделью для последующих решений, а также делает возможной и, более того, выносит на первый план логику прецедента, лежащую в основе собственно юридического образа мышления и действия. Благодаря этому право непрерывно связывает настоящее с прошлым и создает гарантии того, что будущее будет создаваться по образу прошлого, что неизбежные изменения и адаптации будут осмыслены и сформулированы на языке, не противоречащем прошлому (кроме революционных ситуаций, когда могут быть поставлены под вопрос сами основы юридического строя). Так, действуя в рамках охранительной логики, право является одним из важнейших факторов поддержания символического порядка:⁴⁶ систематизируя и рационализируя юридические решения и законы, которые используются для их принятия и обоснования, оно утверждает *универсальный характер* — фактор *par excellence* символической эффективности — той точки зрения на социальный мир, которая по существу совпадает с мировоззрением доминирующих групп. Тем самым оно ведет к *практической универсализации*, т. е. к генерализации на уровне практик, некоторого способа действия и выражения, который до тех пор являлся особенностью одной из многих областей географического или социального пространства. Как замечает Жак Эллюль, «законы, вначале навязанные извне, могут быть постепенно признаны полезными; со временем и по мере применения они становятся частью достояния коллектива: этот последний был постепенно сформирован при помощи права, а законы стали действительно “правом” лишь тогда, когда общество согласилось принять эту форму <...>. Даже такая совокупность правил, которая применялась бы в течение не очень долгого времени на основе принуждения, обязательно оставит в обществе свой след, создав некоторое число юридических и моральных “привычек”».⁴⁷

В дифференцированном обществе эффект универсализации является одним из наиболее мощных механизмов, через которые осуществляется символическое доминирование или, иначе говоря, легитимация определенного социального порядка. Узаконивая практические принципы стиля жизни господствующего класса в виде формально непротиворечивой совокупности официальных и, по определению, «универсальных» правил, юридическая норма реально *формирует* практики совокупности агентов вне зависимости от условий и стиля их жизни. То есть эффект универсализации, который можно было бы также назвать *эффектом нормализации*, удваивает социальное влияние, оказываемое легитимной культурой и ее носителями, чтобы придать системе юридического принуждения всю ее практическую силу.⁴⁸ Юридическая инстанция совершает нечто вроде повышения онтологического статуса, превращая регулярно совершаемое действие в правило (то, что подобает делать), фактическую норму — в правовую норму, простое семейное *fides*,^{vii} основанное на поддержании взаимного признания и чувства, — в семейное право, вооруженное целым арсеналом инстанций и способов воздействия, как, например, система социального страхования и выплат пособий на семью, и т. д. Тем самым она, несомненно, способствует *универсализации* представлений о норме, по отношению к которой все *другие* практики будут казаться *девиантными*, аномическими, аномальными, патологическими (особенно если на помощь «юридическим» приходят «медицинские» критерии). Так, семейное право ратифицирует и канонизирует в форме «универсальных» норм те семейные практики, которые складывались постепенно — под влиянием этического авангарда доминирующего класса — внутри совокупности институций, социально уполномоченных управлять внутрисемейными социальными отношениями и, в частности, отношениями между поколениями. К примеру, как показал Реми Ленуар, право во многом способствовало тому, чтобы ускорить распространение модели устрой-

^{vii} *Fides* (лат.) — доверие, вера.

ства и воспроизводства семейной единицы, которая в некоторых областях социального (и географического) пространства и особенно в среде крестьян и ремесленников столкнулась с социальными и экономическими препятствиями, связанными, прежде всего, со специфической логикой функционирования малого предприятия и его воспроизводства.⁴⁹

Мы видим, что тенденция к универсализации собственного стиля жизни (широко признаваемого как образец для подражания), которая является одним из следствий этноцентризма господствующих классов и на которой зиждется вера в универсальность права, лежит также в основе идеологии, стремящейся превратить право в инструмент изменения социальных отношений. Вышесказанное позволяет понять, что данная идеология кажется основанной на фактах реальности: практические принципы и этические требования, подвергаемые юристами формализации и генерализации, возникают отнюдь не в любой области социального пространства. Подобно тому как настоящая ответственность за применение права лежит не на отдельных судьях, но на всей совокупности нередко конкурирующих друг с другом агентов, устанавливающих и опознающих правонарушения и преступников, настоящим законодателем является не автор проекта закона, но все те агенты, которые, выражая специфические интересы и обязательства, ассоциируемые с их положением в различных полях (в юридическом поле, но также в религиозном, политическом и т. д.), сначала вырабатывают частные и неофициальные устремления и требования, а затем придают им статус «социальных проблем», организуя с целью их «продвижения» формы публичного волеизъявления (статьи, книги, платформы ассоциаций или партий) и давления (манифестации, петиции, требования). Весь этот процесс конструирования и формулирования представлений узаконивается правом, которое придает ему силу всеобщности и универсальности, заключенную в юридической технике и средствах принуждения, которые она позволяет мобилизовать.

Следовательно, в самом деле существует эффект собственно юридического предложения, т. е. относительно

автономного «юридического творчества», которое становится возможным благодаря существованию специализированного поля производства и которое поддерживает усилия господствующих либо возвышающихся групп, совершаемые с целью навязать — особенно в критических и революционных ситуациях — *официальное представление* о социальном мире, совпадающее с их мировоззрением и не противоречащее их интересам.⁵⁰ Остается лишь удивляться тому, что в размышлениях об отношениях между нормой и патологией так мало места отводится собственно эффекту права: будучи инструментом нормализации *par excellence*, а также являясь дискурсом власти и располагая физическими средствами принуждения, право *со временем* способно перейти от статуса ортодоксии, т. е. веры в то, что эксплицитно определено как должное, к статусу доксы, т. е. непосредственного принятия чего-то как само собой разумеющегося, естественного, как воплощения нормы, которая, воплотившись, упраздняет себя как таковую.

Но мы не смогли бы полностью понять этот эффект *натурализации*, не охватив в своем анализе наиболее специфический результат юридической формализации, т. е. *vis formae*, или власть формы, о которой говорили древние. Если мы согласимся с тем, что формирование практик путем их юридической формализации может достичь своей цели лишь при условии того, что право дает определенную форму тенденции, уже существующей на практике, и что приживаются только те законы, которые, как принято говорить, *узаконивают* и так соответствующие закону ситуации, то переход от статистической регулярности к юридической норме означает уже настоящее изменение, имеющее социальную природу. Устраняя исключения и неопределенность размытых совокупностей, вводя резкие разрывы и строгие границы в континууме статистических пределов, кодификация привносит в социальные отношения ясность, предсказуемость и тем самым рациональность, которую не могут полностью обеспечить практические принципы габитуса или санкции обычая, являющиеся продуктом непосредственного применения к частному случаю этих несформулированных принципов.

Не соглашаясь с философами в том, что истинность идеи является ее «сущностным качеством», необходимо признать социальную реальность символической эффективности, которой «формально-рациональное», говоря языком Вебера, право обязано собственному эффекту формализации. Объективируя в специально издаваемых правилах и постановлениях схемы, практическим и недискурсивным образом управлявшие поведением, кодификация позволяет произвести то, что в действительности можно было бы назвать *гомологацией* [*homologation*] (*homologeon* означает «соглашаться» или «говорить на том же языке»). Подобно тому как объективация практического кода в виде *эксплицитного кода* позволяет разным говорящим связывать с одним и тем же услышанным звуком один и тот же смысл и передавать одинаковый смысл при помощи одного и того же звука, формальное изложение принципов делает возможной эксплицитную верификацию консенсуса относительно принципов этого консенсуса (или диссенсуса). И хотя кодификационная работа не может быть уподоблена аксиоматизации, по причине того, что право заключает в себе многие темные зоны, оправдывающие существование юридического комментария, гомологация создает условия для некой формы рационализации, понимаемой, вслед за Максом Вебером, как предсказуемость и просчитываемость. В отличие от двух игроков, которые, не договорившись о правилах игры, обречены обвинять друг друга в нечестности всякий раз, когда будет возникать несогласие по поводу того, как каждый их себе представляет, действующие в рамках кодифицированного предприятия агенты знают, что они могут *рассчитывать* на норму, логичную и не таящую уловок, а следовательно, просчитывать и предвидеть результат подчинения правилам, как и последствия их нарушения. Но наиболее полно блага гомологации раскрываются для тех, кто сам принадлежит упорядоченному миру юридического формализма: участие в инициируемой ею высоко рационализированной борьбе на деле зарезервировано для обладателей сильной юридической компетенции, с которой связана — особенно, у адвокатов — специфическая компетенция профессионалов юридической борьбы, на-

тренированных вместо оружия использовать формы и формулы. Остальным не остается ничего иного, как подчиняться власти формы, т. е. символическому насилию, осуществляемому теми, кто, благодаря своему искусству облекать в форму и манипулировать формами, умеет привлечь право на свою сторону и, в худшем случае, ставить самое безупречное соблюдение формальной строгости, *summum jus*, на службу наименее благородным целям, *summa injuria*.^{viii}

Эффекты гомологии

Но при анализе символической действенности права необходимо учитывать также феномен приспособления юридического предложения к юридическому спросу, что является результатом не осознанных согласований, а, скорее, структурных механизмов — таких, как гомология между различными категориями производителей или продавцов юридических услуг и различными категориями клиентов. Юристы, занимающие подчиненное положение в поле (к примеру, специалисты по социальному праву), имеют дело преимущественно с клиентурой из низших классов, что еще более ослабляет их позиции (этим объясняется тот факт, что любая их попытка изменить существующее положение имеет мало шансов реально перевернуть соотношение сил в поле, но может в лучшем случае привести к корректировке законов, тем самым способствуя увековечению структуры поля).

Юридическое поле, играя определяющую роль в процессе социального воспроизводства, располагает меньшей автономией в сравнении с другими полями — такими, как поле живописи и литературы или даже науки, которые также способствуют поддержанию символического порядка и тем самым сохранению порядка социального. Это означает, что внешние изменения находят в нем более прямое отражение и что внутренние конфликты разрешаются под большим давлением со стороны внешних

^{viii} *Summum jus* (лат.) — высший закон, право; *summa injuria* (лат.) — высшая несправедливость.

сил. Так, иерархия в разделении юридического труда, как она предстает в иерархии специализаций, меняется с течением времени, хотя и весьма незначительно (о чем свидетельствует постоянство, с каким гражданское право оказывается на вершине этой иерархии), в частности, в зависимости от вариаций расстановки сил внутри социального поля. Как если бы положение различных специалистов во внутреннем соотношении сил поля зависело от того, какое место в политическом поле занимают группы, чьи интересы они выражают.

Так, понятно, что юридическое поле становится все более дифференцированным по мере усиления позиций тех, кто занимает доминируемое положение в социальном поле, и их представителей (партий или профсоюзов) — в поле политики, примером чему может служить развитие во второй половине XIX века коммерческого права, а также трудового и вообще социального права. С этим связана неоднозначность внутренней борьбы, к примеру, между адептами частного и государственного права: первые выступают за автономию права и юристов, против любого вмешательства со стороны политиков или социальных и экономических групп давления, но также и против развития административного права, против реформы уголовного кодекса и против любых нововведений в социальной, коммерческой областях и в трудовом законодательстве именно в качестве защитников права частной собственности и свободы договора. Эта борьба, которая может касаться любых аспектов юридической практики и предмет которой нередко не выходит за пределы самого юридического (и университетского) поля, как, например, утверждение программ, включение новых рубрик в специализированные журналы или открытие кафедр — иначе говоря, контроль за профессией и ее воспроизводством, в то же время является сверхдетерминированной и неоднозначной по причине того, что защитники автономии закона как абстрактной и трансцендентной сущности в действительности являются приверженцами *ортодоксии*. Культ текста, примат доктрины и экзегезы, т. е. одновременно теории и прошлого, идут рука об руку с отказом признать за юриспруденцией малейшую творчес-

кую ценность и, следовательно, с практическим отрицанием экономической и социальной реальности, означая отказ от научного осмысления этой реальности.

Согласно логике, наблюдаемой во всех полях, для утверждения права в качестве «науки», обладающей собственной методологией и находящей основание в исторической реальности, агенты, занимающие доминируемые позиции, должны искать принципы критической аргументации только вовне, в поле науки и политики — в том числе при помощи анализа юриспруденции. Так, в соответствии с оппозицией, возникающей во всех теологических, философских или литературоведческих дебатах по поводу интерпретации сакральных текстов, сторонники перемен находятся на стороне науки, историзации прочтения (согласно модели, разработанной в другой области Шлеермахером) и особое внимание уделяют юриспруденции, т. е. новым проблемам и новым формам права, которых они требуют (коммерческое, трудовое, уголовное право). Что касается социологии, неразрывно связанной в глазах защитников юридического порядка с социализмом, то она воплощает собой злокозненное примирение науки и социальной реальности, лучшей защитой от которой всегда являлась экзегеза чистой теории.

Парадоксальным образом, в этом случае автономия обретается не путем усиления замкнутости профессионалов, преданных исключительно внутреннему чтению сакральных текстов, но благодаря все более активному сопоставлению текстов и процедур с социальными реалиями, которые они призваны выражать и регулировать. Возврат к реальности, которому способствуют увеличение дифференцированности поля и рост внутренней конкуренции, а также усиление подчиненных позиций в самом юридическом поле в связи с усилением гомологичных позиций (или их представителей) в поле социальном. Неслучайно позиция относительно экзегезы и юриспруденции, верности доктрине и необходимости адаптации к реальности, кажется довольно тесно связанной с занимаемым в поле положением. С одной стороны, мы имеем сегодня частное или, если конкретнее, гражданское право, которое было в недавнем времени реактивировано неолиберальной

традицией, опирающейся на экономику; с другой стороны — такие дисциплины, как государственное или трудовое право, которые учреждались в противовес частному праву во имя развития бюрократического устройства и усиления движений за политическую эмансипацию, или же социальное право, определяемое его защитниками как «наука», которая, с опорой на социологию, позволяет адаптировать право к социальной эволюции.

Тот факт, что юридическое производство, подобно другим формам культурного производства, осуществляется внутри поля, лежит в основе идеологического эффекта незнания, который неизбежно ускользает от обычного взгляда, возводящего «идеологию» напрямую к коллективным функциям или даже к индивидуальным интенциям. Эффекты, порождаемые внутри полей, не являются ни простой суммой анархических действий, ни общим результатом согласованного плана. Конкуренция, продуктом которой они являются, осуществляется внутри пространства, способного передать ей свои основные тенденции, вытекающие из постулатов, вписанных в саму структуру игры и представляющих собой ее фундаментальный закон, как, в данном случае, отношение между юридическим полем и полем власти. Функция поддержания символического порядка, которую обеспечивает юридическое поле, подобно функции воспроизводства самого юридического поля, его классификаций и иерархий, а также принципа видения и деления, лежащего в их основе, является продуктом бесконечного числа действий. Причем осуществление данной функции не всегда является их прямой целью и некоторые из них могут даже производиться с прямо противоположным намерением, как, например, революционные акции авангарда, которые, в конечном счете, помогают праву и юридическому полю приспособляться к новому состоянию социальных отношений и, таким образом, способствуют легитимации установленной формы этих отношений. Эта трансцендентность, которую обнажают случаи инверсии намерений, а также объективный и совместный эффект накопленных действий не являются продуктом простого механического *монтажа*, но определяются самой *структурой* поля.

Примечания

¹ См., например: *Bonnecase J. La pensée juridique française, de 1804 à l'heure présente, les variations et les traits essentiels. Vol. 2. Bordeaux: Delmas, 1933.*

² Формулируя свою теорию, Келсен (Kelsen) исходит из аксиомы, что исследователь должен ограничиваться рассмотрением юридических норм, игнорируя любые данные исторического, психологического или социального порядка, а также любую отсылку к социальным функциям, которые обеспечиваются применением этих норм на практике. В этом он совершенно схож с Соссюром, который основывал свою теорию языка на различии между внутренней и внешней лингвистикой, иначе говоря — на отказе от любых упоминаний исторических, географических и социологических условий функционирования языка или его изменений.

³ См. обзор трудов марксистского направления в области социологии права и подробную библиографию по этой теме в: *Spitzer S. Marxist Perspectives in the Sociology of Law // Annual Review of Sociology. 1983. № 9. P. 103–124.*

⁴ *Thompson E. P. Whigs and Hunters, The Origin of the Black Act. NY: Pantheon, 1975. P. 261.*

⁵ *Luhmann N. Soziale Systeme, Grundriss einer allgemeinen Theorie. Frankfurt, 1984; Die Einheit des Rechtssystems // Rechtstheorie. 1983. № 14. S. 129–154.*

⁶ См.: *Blumrose A. W. Legal Process and Labor Law // W. M. Evan (ed.). Law and Sociology. New York: The Free Press of Glencoe, 1962. P. 185–225.*

⁷ *Arnaud A.-J. Critique de la raison juridique. Paris: LGDJ, 1981. P. 28–29; а также: Scholz J.-M. La raison juridique à l'œuvre: les krausistes espagnols // Historische Soziologie der Rechtswissenschaft / hrsg. von E. Volkmar Heyen. Frankfurt am Main: Klosterman, 1986. P. 37–77.*

⁸ Профессионализм распознается, среди прочего, по искусству соблюдать общепризнанную последовательность при перечислении властной иерархии (см.: *Scholz J.-M. Loc. cit.*).

⁹ Согласно Эндрю Фрэзеру, гражданская мораль юристов основывалась не на своде эксплицитных правил, но на «чувстве традиционной чести», иначе говоря — на системе диспозиций, в которой то существенное, что требовалось для достижения добродетелей, необходимых для осуществления профессии, считалось само собой разумеющимся (*Fraser A. Telos. 1984. № 60. Summer. P. 15–52*).

¹⁰ Для философов права натуралистического направления (*jusnaturalistes*) эта уже с давних пор подмеченная черта послужила основанием для утверждений, что юридические тексты содержат не нормы, но констатации, и что законодатель — это тот, кто произносит то, что есть, а не то, что должно быть, кто называет правду или правильную пропорцию, содержащуюся в самих вещах в качестве их объективного свойства: «Законодатель предпочитает описывать юридические институты, чем напрямую устанавливать правила» (*Kalinowski G. Introduction à la logique juridique. Paris: LGDJ, 1964. P. 55*).

¹¹ См.: *Souriaux J.-L., Lerat P. Le langage du droit. Paris: PUF, 1975*.

¹² См.: *Travaux de l'Association Henri Capitant. 1949. Tome V. P. 74–76*, цит. в: *David R. Les grands courants du droit contemporain. Paris: Dalloz, 1973 (5^e éd.). P. 124–132*.

¹³ Такую же цепочку — от теоретика до «человека практики» — мы найдем во всех политических аппаратах или, по меньшей мере, в тех из них, которые традиционно ищут свое обоснование в экономической и политической теории.

¹⁴ Хорошим примером юридической кодификации, основанной на судебной практике, могут служить публикации постановлений Кассационного суда, как и процесс их отбора, упорядочения и распространения, в результате которого совокупность постановлений, отобранных президентами палаты за их «юридический интерес», преобразуется в свод рационализированных и упорядоченных правил (См.: *Serverin E. Une production communautaire de la jurisprudence: l'édition juridique des arrêts // Annales de Vaucresson. 1985. № 23, 2^e sem. P. 73–89*).

¹⁵ *Motulsky H. Principes d'une réalisation méthodique du droit privé. La théorie des éléments générateurs de droits subjectifs // Thèse. Paris: Surey, 1948*, в частности, с. 47–48. Подобно тем эпистемологам, которые выдают за реальную практику исследователя реконструкцию *ex post* научной деятельности, показывая то, чем ей следовало бы быть, Мотюльски воссоздает то, чем был бы (или должен быть) «метод действия», подходящий для права, выделяя фазу поиска «возможного правила», некой разновидности методичного исследования универсума правовых актов, и фазу применения — с переходом к правилу, применению непосредственно к рассматриваемому случаю.

¹⁶ *Cohen F. Transcendental Nonsense and the Functional Approach // Columbia Law Review. 1935. Vol. 35. P. 808–819*.

¹⁷ Свобода интерпретации значительно варьирует от Кассационного суда (который способен отменить «силу закона»,

предлагая, например, его строгое толкование, как в случае закона от 5 апреля 1910 года о «пенсиях рабочих и крестьян») до судей низших инстанций, которые в силу своего образования и профессиональной «деформации» склонны отказываться от свободы толкования, теоретически им данной, и применять кодифицированные интерпретации в кодифицированных ситуациях (изложения мотивов законов, доктрины и комментарии юристов, профессоров или ученых судей, а также постановления Кассационного суда). Реми Лемуар приводит в качестве примера суд одного из бедных районов Парижа, где каждую пятницу утром проводилось заседание, специально посвященное всегда одному и тому же — разбору дел, связанных с разрывом договоров купли-продажи или аренды, подписанных от имени некоторого предприятия, специализирующегося на продаже в кредит и аренде бытовых приборов и телевизоров: решения суда, полностью predetermined, выносятся всегда очень быстро, при этом адвокаты, если они есть (что случается редко), даже не берут слово. (Если присутствие адвоката считается полезным, самым своим фактом доказывая, что даже на этом уровне допускается свобода интерпретации, то это, без сомнения, потому, что оно воспринимается как реверанс в сторону судьи и института, который в этом качестве заслуживает некоторого уважения — закон применен не во всей своей строгости. Кроме того, присутствие адвоката указывает на важность, признаваемую за решениями суда и риском подачи апелляции.)

¹⁸ Марио Эбриколи предлагает целый набор кодифицированных приемов, которые позволяли юристам (адвокатам, судьям, экспертам, политическим советникам и т. д.) маленьких городов средневековой Италии «манипулировать» текстами законов: к примеру, *declaratio* может опираться на заголовок, на содержание нормы, узус и расхожее значение терминов, их этимологию — все эти инструменты, которые, в свою очередь, разбиваются на более мелкие, позволяя ей [*declaratio*] играть на противоречиях между заголовком и текстом, отталкиваясь от одного, чтобы дать понимание второго, либо наоборот (см.: *Sbriccoli M. L'interpretazione dello statuto, Contributo allo studio della funzione dei giuristi nell'eta comunale. Milano: A. Giuffrè, 1969; Politique et interprétation juridiques dans les villes italiennes du Moyen-âge // Archives de philosophie de droit. 1972, XVII. P. 99–113*).

¹⁹ См.: *Bourdieu P. Ce que parler veut dire. Paris: Fayard, 1982; об эффекте придания формы — с. 20–21; и об эффекте институционализации — начиная со с. 125.*

²⁰ *Hoofst, Ph. V. La philosophie du langage ordinaire et le droit // Archives de philosophie de droit. 1972, XVII. P. 261–284.*

²¹ Так, например, слово «дело» («cause») используется юристами совсем не в его общеупотребительном значении (см.: *Hoofst Ph. V. Art. cit.*).

²² Во многих случаях обращение к закону влечет за собой признание такого определения форм отстаивания прав или борьбы, которое отдает преимущество индивидуальной (или легальной) борьбе за счет других ее форм.

²³ «Таким образом, право рождается из процесса — происходящего по правилам диалога, чьим методом является диалектика» (*Villey M. Philosophie du droit. II. Paris: Dalloz, 1979. P. 53*).

²⁴ Представления о юридической практике (понимаемой как рациональное решение или как дедуктивное применение правовой нормы), как и сама юридическая доктрина, стремящаяся представить социальный мир как простую сумму действий, совершенных рациональными, равными и свободными субъектами права, — все это предрасполагало юристов, некогда зачарованных Кантом и Гадамером, искать в теории рационального действия (*Rational Action Theory*) инструменты для *aggiornamenti* [актуализации] традиционных оправданий права (Вечное обновление техник увековечения...).

²⁵ Философская традиция (и, в частности, Аристотель в «Топике») почти эксплицитно упоминает структуру социального поля в качестве принципа вербального обмена или *эвристической дискуссии*, очевидно направленной — в противоположность *полемическому спору* — на поиск утверждений, действительных для универсальной аудитории.

²⁶ Из этих требований, составляющих юридическое мировоззрение, проистекает, как пишет Остин, тот факт, что юристы не дают обычным выражениям их обычный смысл и что, помимо изобретения технических терминов или технических значений для обычных слов, они обладают особым отношением к языку, склоняющим их производить странные обобщения и ограничения (см.: *Austin J.-L. Philosophical Papers. Oxford: Clarendon Press, 1961. P. 136*).

²⁷ См.: *Kayris D. Legal Reasoning // The Politics of Law / Ed. D. Kayris. NY: Pantheon Books, 1982. P. 11–17*.

²⁸ Некоторые *правовые реалисты* (*legal realists*), отказывающие закону во всякой специфической действенности, сводят право до простой статистической закономерности, гарантирующей предсказуемость функционирования юридических инстанций.

²⁹ Об этой практике *расширения* см.: *Mather L., Yngvesson B. Language, Audience and the Transformation of Disputes // Law and Society Review. 1980–1981. Vol. 15; 3–4. P. 776–821*.

³⁰ По всем этим вопросам см.: *Felstiner W. L. F., Abel R. L., Sarat A.* The Emergence and Transformation of Disputes: Naming, Blaming, Claiming // *Law and Society Review*. 1980–1981. Vol. 15; 3–4. P. 631–654; *Coates D., Penrod S.* Social Psychology and the Emergence of Disputes // *Ibid.* Н. 654–680; *Mather L., Yngvesson B.* Art. cit.

³¹ О последствиях роста числа *lawyers* [юристов, адвокатов] в США см.: *Abel R. L.* Toward a Political Economy of Lawyers // *Wisconsin Law Review*. 1981. № 5. P. 1117–1187.

³² См.: *Cam P.* Juges rouges et droit du travail // *Actes de la recherche en sciences sociales*. 1978, №19. Janvier. P. 2–27; *его же*: Les prud'hommes, juges et arbitres. Paris: FNSP, 1981; и особенно: *Bonafé-Schmitte J.-P.* Pour une sociologie du juge prud'homal // *Annales de Vaucresson*. 1985. № 23, 2^e semestre. P. 27–50.

³³ См.: *Dezalay Y.* De la médiation au droit pur: pratiques et représentations savantes dans le champ du droit // *Annales de Vaucresson*. 1984. № 21. Octobre. P. 118–148.

³⁴ Это типичный пример одного из тех процессов, при описании которых, отказавшись от наивного языка «присвоения» [«récupération»], мы будем склонны принять сторону худшего формализма, согласно которому любая форма сопротивления интересам господствующих осуществляет функцию сохранения порядка, лежащего в основе поля, и что любая ересь лишь упрочивает сложившийся строй, который, сражаясь с ней, поглощает ее и переваривает, и выходит более сильным из этого противостояния.

³⁵ См.: *Dhoquois R.* La vulgarisation du droit du travail. Réappropriation par les intéressés ou développement d'un nouveau marché pour les professionnels? // *Annales de Vaucresson*. 1985. № 23. 2^e semestre. P. 15–26.

³⁶ См.: *Dezalay Y.* Des affaires disciplinaires au droit disciplinaire: la juridictionnalisation des affaires disciplinaires comme enjeu social et professionnel // *Annales de Vaucresson*. 1985. № 23. 2^e sem. P. 51–71.

³⁷ Арханческий *rex* обладает властью назначать границы (*regere fines*), «устанавливать правила, определять, в собственном смысле слова, что есть “закон”» (*Benveniste E.* Le vocabulaire des institutions indo-européennes. II. Paris: Minuit, 1969. P. 15).

³⁸ То же соотношение габитусов и закона, или доктрины, мы встречаем в религии. В этом случае было бы настолько же неверно представлять практики результатом действия литургии или догмы (переоценивая эффективность религиозного действия, что было бы эквивалентно юридизму), насколько и отри-

цать это действие, полностью объясняя их при помощи диспозиций и тем самым игнорируя собственную эффективность деятельности клерикального корпуса.

³⁹ Привычка односторонне рассматривать сложные системы (свойственная, к примеру, лингвистам, которые ищут в том или ином секторе социального пространства всегда только принцип языковых изменений) порой приводит к простому ниспровержению во имя социологии старой идеалистической модели чистого юридического творчества (которая в ходе внутри-профессиональной борьбы проявлялась одновременно или последовательно в деятельности законодателей и юристов или же с руки публицистов и общественников — в актах юриспруденции): «Центр тяжести в развитии права в нашу эпоху <...>, как и во все времена, следует искать не в законодательстве, не в доктрине, не в юриспруденции, но в самом обществе» (*Eugen Ehrlich*; цит. по: *Carbonnier J. Flexible droit, Textes pour une sociologie du droit sans rigueur*. Paris: LGDJ, 1983. P. 21).

⁴⁰ Макс Вебер, видевший в свойствах *формальной* логики рационального права действительное основание его *эффективности* (основанной, в частности, на его способности к генерализации как принципе всеобщей применимости), связывал формирование профессионального корпуса специалистов права и юридической науки, способных создавать абстрактный и логически обоснованный правовой дискурс, с развитием бюрократии, основанной на обезличенных отношениях.

⁴¹ Эта схожесть еще более усилилась во Франции после создания Национальной школы администрации (ENA), обеспечивающей необходимый минимум юридической грамотности высшим управленческим кадрам и доброй части руководителей государственных или частных предприятий.

⁴² Результаты профсоюзных выборов (проведенных заочно с 12 по 21 мая 1986 года) выявляют довольно заметную поляризацию политических предпочтений судейства, которое до 1968 года было объединено в одну-единственную ассоциацию, Федеральный союз судей, предшествовавший Профсоюзному объединению судей [USM]: этот последний, умеренного толка, значительно теряет поддержку, в то время как входит в силу Профсоюз судей, исповедующий скорее левую идеологию, а также вновь созданная Профессиональная ассоциация судей, принадлежащая скорее правому политическому спектру и набравшая более 10% голосов.

⁴³ Как показывают Ален Банко и Ив Дезале, даже те юристы, которые принадлежат к критическому направлению и вы-

сказывают самые еретические мысли, привлекая социологию и марксизм с целью добиться больше прав для обладателей таких доминируемых форм юридической компетенции, как социальное право, — даже они продолжают в действительности отстаивать монополию «юридической науки» (*Bancaud A., Dezalay Y. L'économie du droit, Impérialisme des économistes et résurgence d'un juridisme // Communication au Colloque sur le modèle économique dans les sciences. 1980, décembre. P. 19).*

⁴⁴ *Ellul J. Le problème de l'émergence du droit // Annales de Bordeaux I. 1976. № 1. P. 6–15.*

⁴⁵ *Ellul J. Deux problèmes préalables // Annales de Bordeaux I. 1978. № 2. P. 61–70.*

⁴⁶ Таким образом, становится ясно, что связь между выбором юридического факультета и правой политической ориентацией отнюдь не случайна (*Bourdieu P. Homo Academicus. Paris: Minuit, 1984. P. 93–96).*

⁴⁷ *Ellul J. Le problème de l'émergence du droit. Art. cit.*

⁴⁸ Среди собственно символических эффектов права особое место занимает эффект официализации как публичного признания, придающего табуированному поведению статус нормы, того, о чем можно говорить, думать, открыто заявлять (в качестве примера можно вспомнить меры, легализующие гомосексуальность). Официально изданный закон, расширяя пространство возможного (или, проще говоря, «наталкивая на идею»), может также создавать эффект символического навязывания. Так, крестьяне, отстаивавшие право первородства и потому сопротивлявшиеся Гражданскому кодексу, в конечном счете усвоили те процедуры, которые им предлагало юридическое изображение и которые они яростно отвергали. И хотя некоторые из этих норм (нередко зафиксированных в нотариальных актах, на которые опираются историки, чтобы реконструировать «обычай») лишены всякой связи с реальностью, как, например, возвращение приданого в случае развода в те времена, когда его возможность была фактически исключена, нельзя отрицать, что юридическое предложение оказывает реальное воздействие на представления. В этом универсуме, как и в других (к примеру, в области трудового права), представления, образующие то, что можно было бы назвать «практическим правом», формируются как более или менее искаженное отражение кодифицированного права. Судя по всему, порождаемый им универсум возможностей, — даже посредством их нейтрализации — готовит в умах почву для радикальных перемен, которые произойдут тогда, когда возникнут условия для реализации этих теоретичес-

ких возможностей (можно предположить, что именно в этом заключается наиболее общий эффект юридического воображения, которое, к примеру, предугадывая, исходя из некой разновидности методологического пессимизма, все возможные случаи нарушения закона, способствует тому, чтобы они произошли в действительности, в более или менее широкой фракции социального пространства).

⁴⁹ *Lenoir R. La sécurité sociale et l'évolution des formes de codification des structures familiales // Thèse. Paris, 1985.*

⁵⁰ Анализ «книг обычаев» и архивов заседаний нескольких беарнских «коммун» (Арюди, Беска, Данген, Лакомманд, Ласеб) позволил мне увидеть, что «универсальные» нормы процедур коллективного принятия решения, как, например, право большинства, получили распространение во время Революции в ущерб старинному обычаю, требовавшему единогласного решения «глав семьи», и благодаря тому доверию, созданию которого способствовал сам факт их объективации, способной рассеивать, как свет рассеивает сумерки, неясности «само собой разумеющегося» (мы знаем, что одной из существенных особенностей «обычаев», как в Кабилии, так и в Беарне или любом другом месте, является то, что их наиболее фундаментальные принципы никогда не произносятся вслух, и что только анализ может выделить эти «неписанные законы» из списка санкций, накладываемых в случае практического нарушения этих принципов»). Можно предположить, что эксплицитно выраженное, письменное, кодифицированное правило, обладающее социальной очевидностью в силу своего повсеместного применения, постепенно получило признание, поскольку благодаря эффекту аллодоксии [когда одну вещь принимают за другую] сумело предстать в качестве верной, но при этом более экономичной, более строгой формулировкой принципов, которые регулировали поведение на практике, хотя в действительности оно представляло собой их отрицание. К примеру, смысл принципа единогласного решения заключался в том, чтобы исключить институциональную возможность деления (особенно длительного) на враждующие лагеря, а также, на более глубоком уровне, делегирования решения выборному органу. (В связи с этим показателен тот факт, что образование «муниципального совета» сопровождалось прекращением какого бы то ни было участия агентов, заинтересованных в выработке решений, и что роль самих депутатов на протяжении всего XIX века ограничивалась ратифицированием исходящих из префектуры предложений.)

ПОЛЕ ЭКОНОМИКИ*

Целью проведенных нами несколько лет назад исследований, посвященных строительству и коммерциализации домов индивидуальной застройки, была проверка теоретических и, в частности, антропологических предположений, на которых покоится экономическая ортодоксия.¹ Это было настоящей эмпирической конфронтацией по поводу четко обозначенного и строго сконструированного объекта исследования, а не просто предвзятым теоретическим спором, стерильным и недейственным, который может лишь укрепить веру в собственные убеждения. В силу того, что экономическая наука представляет собой сильно диверсифицированное поле, то невозможно найти такие ее предположения или недостатки, к критике которых она не обращалась бы сама.² Подобно лернейской гидре, у нее столько разных голов, что всегда найдется одна, которая уже поднимала, более или менее успешно, вопрос, который пытаются перед ней поставить, и всегда найдется одна — не обязательно та же самая голова, — у которой найдутся кое-какие элементы ответа на поставленный вопрос. Потому ее критики обречены выглядеть невеждами или несправедливо осуждающими.

Эта ситуация подтолкнула меня на создание экспериментальных условий настоящего теоретического пересмотра не какого-то одного изолированного аспекта экономической теории (к примеру, теории договора, теории

* © Bourdieu P. Le champ économique // Actes de la recherche en sciences sociales. 1997. № 119. P. 48–66.

рационального предвидения или теории ограниченной рациональности), но самих принципов экономического построения: представление об агенте или действии, о предпочтениях и потребностях, — короче, все то, что составляет антропологическое воззрение, которое — часто сами не зная того — экономисты применяют в своей практике.

Однако желание сохранять сдержанность, из-за которой я отказался от теоретических манифестов, и эпистемологическая осмотрительность, не допускающая преждевременных обобщений, привели к тому, что полученные эмпирические результаты и теоретические проблемы, рассмотренные в наших исследованиях, прошли незамеченными. Так, не все увидели, что строгое описание отношения между покупателями и продавцами, а также почти неизменный сценарий, по которому происходили переговоры и подписание контракта на покупку, содержит в себе разоблачение индивидуалистической философии микроэкономики агента, например, теории индивидуальных выборов, совершаемых взаимозаменяемыми и свободными от всяких структурных принуждений агентами, где выборы интерпретируются в логике простого сложения и механического объединения.³ И тем более не заметили, что структурные принуждения, воздействующие на экономических агентов, будь они простыми потребителями или ответственными работниками производственного (большого или малого) предприятия, нельзя редуцировать к потребностям, вписанным в определенный момент времени в непосредственные экономические возможности или в непосредственную данность взаимодействий. Помимо следов и влияний поля, включенных в диспозиции агентов, вся структура поля производителей индивидуальных домов воздействует на решения ответственных лиц, идет ли речь об определении цен или о рекламных стратегиях.⁴ Однако главный вклад этих исследований, свободных от какого бы то ни было технического аппарата экономического дискурса (они могут даже показаться наивными тем, кто не начинает исследований, не вооружившись экономическими абстракциями), состоит в демонстрации того, что принимаемые экономической ор-

тодоксией как непосредственная данность предложение, спрос, рынок суть продукты социального конструирования, в некотором роде исторический артефакт, смысл которому придает одна лишь история. Кроме того, настоящая экономическая теория может строиться только через разрыв с антигенетическим предубеждением и утверждение себя в качестве исторической науки. Это предполагает, что она в первую очередь должна стремиться подвергнуть исторической критике свои категории и концепты, которые по большей части заимствованы без специального рассмотрения из обыденной речи, а потому укрываются от подобного рода критики в убежище формализации.

Действительно, получилось, что рынок домов индивидуальной застройки (несомненно, так же как и любой другой рынок в той или иной мере) является продуктом двойного социального конструирования, в котором решающую роль играет государство. Оно участвует в конструировании спроса посредством формирования индивидуальной предрасположенности, а точнее — системы индивидуальных предпочтений в области собственности или найма жилья⁵ или посредством выделения необходимых ресурсов, т. е. с помощью выделения государственных субсидий на строительство или наем жилья, определяемых законами и постановлениями, генезис которых может быть описан отдельно.⁶ Конструирование предложения посредством политики государства (или банков) в области кредита строителям жилья участвует, наряду с природой используемых средств производства, в определении условий доступа на рынок, а конкретнее — в определении позиции в структуре крайне распыленного поля производителей домов. Следовательно, структурные ограничения воздействуют на выбор каждого из них как в отношении производства, так и в отношении рекламы.⁷ Если мы доведем до конца работу по исторической реконструкции онтогенеза и филогенеза того, что экономическая ортодоксия полагает — посредством восхитительной абстракции и под практически неопределенным именем — рынком, мы сможем еще открыть, что спрос уточняется и

определяется в полной мере соотношением не только с определенным состоянием предложения, но и с социальными условиями и, в частности, с юридическими (например, регламентация в области жилищного строительства, разрешение на застройку и т. п.), позволяющими этот спрос удовлетворить.⁸

В отношении «субъекта» экономических действий трудно не заметить, особенно в связи с покупкой такого символически нагруженного продукта, каким является дом, что в нем нет ничего от чистого сознания, не прошедшего через теорию, и что экономическое решение — это решение не отдельного экономического агента, а коллектива, группы, семьи или предприятия, функционирующих на манер поля. Помимо того, что экономические стратегии глубоко укоренены в прошлом в форме диспозиций или привычек, через инкорпорированную историю ответственных за нее агентов, они (экономические стратегии) чаще всего интегрированы в сложную систему стратегий воспроизводства, а следовательно, — отягощены всей историей того, что они намерены продолжить.

Ничто не позволяет абстрагироваться от генезиса экономических диспозиций экономического агента и особенно его предпочтений, вкусов, потребностей и способностей (к расчету, к бережливости и т. п.), а также от генезиса самого поля экономики, т. е. от истории процесса дифференциации и автономизации, который завершился формированием такой специфической игры, как экономическое поле, отдельного космоса, подчиняющегося собственным законам.⁹ Сфера товарных обменов лишь очень постепенно отделилась от других областей существования и утвердилась как свой специфический *potos* («Бизнес есть бизнес»). Экономические транзакции перестали восприниматься по модели домашних обменов, т. е. продиктованных социальными или семейными обязанностями, а расчет личной выгоды, т. е. экономический интерес, утвердился в качестве господствующего, если не сказать исключительного, принципа (несмотря на подавление диспозиции к расчету).

Рынок как научный миф

Многие комментаторы уже отмечали, что понятие рынка до сих пор практически не дано определение и дискуссий о нем почти нет. Например, Дуглас Норт замечает: «странно, что литература по экономике содержит очень мало дискуссий относительно главного института, лежащего в основании неоклассической экономики, — рынка».¹⁰ В самом деле, такое ритуальное обвинение не имеет никакого смысла, поскольку после маржиналистской революции рынок перестал быть чем-то конкретным и стал абстрактным концептом, не имеющим эмпирического референта, математической функцией, отсылающей к абстрактному механизму ценообразования, описываемому теорией обмена (за счет сознательного и открыто требуемого выведения за скобки юридических и государственных институций). Наиболее законченную форму это понятие принимает у Вальраса с введением понятия совершенного рынка, характеризующегося совершенной конкуренцией и совершенной информацией, и понятия общего равновесия в мире взаимосвязанных рынков. Проблемы с определением все же остаются, как мы можем убедиться, обратившись к признанному учебнику «industrial organization theorists»: «Понятие рынка отнюдь не простое. Очевидно, мы не хотим ограничивать себя только хорошими примерами. Если мы утверждаем, что два товара принадлежат одному и тому же рынку, если и только если они абсолютно замещают друг друга, тогда почти все рынки обслуживались бы одной компанией, в то время как компании производят товары, которые хоть в чем-то различаются (или физически, или с точки зрения их местоположения, доступности, наличия информации у покупателя или какого-то другого фактора). И большинство предприятий на данный момент не обладают полной монополией на власть. Рост цен заставляет покупателей заменять один товар на другой, альтернативный ему. Тем не менее, определение рынка не должно быть слишком узким. Однако не стоит его делать и слишком широким.

Любой товар является потенциальным заменителем другого, если они хоть чем-то схожи. В то же время рынок не стоит отождествлять со всей экономикой. В частности, предполагается некоторый сбалансированный анализ. Он должен давать унифицированное описание основных интеракций между компаниями. Также важно понимать, что «правильное» определение рынка зависит от того, как оно будет использоваться». ¹¹ Приняв решение не замечать «эмпирических затруднений» при определении рынка, автор полагает, что рынок «содержит либо схожие товары, либо группу различных товаров, являющихся довольно хорошей заменой (или дополнением), по крайней мере, для одного товара в группе, и ограниченно взаимодействуют со всей остальной экономикой». Можно видеть, как для спасения рынка в качестве простого механизма встречи спроса и предложения автор вынужден оставить конструирование рынка на произвол решений *ad hoc*, без теоретического объяснения и эмпирической проверки (за исключением, может быть, только мер гибкости, предназначенных для показа разрыва в цепи субститутов). В действительности, условия, которые должны быть выполнены, чтобы равновесие на рынке было оптимальным (качество продукции хорошо определено, информация симметрична, покупатели и продавцы достаточно многочисленны, чтобы исключить монополизацию), никогда не осуществляются, а те редкие рынки, что соответствуют модели, являются социальными артефактами, базирующимися на условиях жизнеспособности совершенно исключительных, наподобие сетей общественного или организационного регулирования. В силу своей двойственности или полисемии понятие рынка позволяет обращаться поочередно или одновременно к абстрактному смыслу, т. е. математике и всеми связанными с ней научными следствиями, или к тому или иному конкретному смыслу, более или менее близкому к обыденному опыту: место, где происходят обмены (*marketplace*), договор о конечных целях транзакции при обмене (заключение сделки), сбыт продукции (завоева-

ние рынка), совокупность транзакций, допустимых для отдельного вида продукции (нефтяной рынок), характерный для «рыночных экономик» экономический механизм. Таким образом, это понятие оказывается предрасположенным играть роль «научного мифа», который оказывается открытым для любого идеологического применения, использующего семантический сдвиг. Так, последователи Чикагской школы, и в особенности Милтон Фридман¹², обосновывали свои усилия по реабилитации рынка (в частности, против интеллектуалов, предположительно враждебных ему¹³) с помощью отождествления рынка и свободы, делая из экономической свободы условие политической свободы.

История истоков, от которых берут начало капиталистические диспозиции, одновременно с учреждением поля, где они осуществляются, а также наблюдение за положением (часто колониальным), в котором наделенные диспозициями соответствующими докапиталистическому порядку агенты оказываются «вброшенными» в капиталистический мир, позволяет утверждать, что экономические диспозиции, требуемые полем экономики в том виде, в каком мы его знаем, не имеют ничего естественного и универсального. Они являются результатом всей коллективной истории, бесконечно воспроизводящейся в индивидуальных историях. Игнорировать факты статистической зависимости показателей экономических практик, например в области кредита, сбережений и инвестиций, от объема наличных экономических и культурных ресурсов, указывающих на существование экономических и культурных условий доступа к действиям, считающимся рациональными в экономической теории, — значит утверждать в качестве всеобщей меры и нормы любого экономического поведения диспозиции, сформированные в частных экономических и социальных условиях. Это значит утверждать рыночный экономический порядок как исключительную цель, *telos*, всякого процесса исторического развития.¹⁴ Более широко: знать и признавать одну лишь логику рационального цинизма — значит препятствовать

пониманию наиболее фундаментальных экономических актов, начиная с самого труда.¹⁵

Поле экономики отличается от других полей тем, что в нем санкции особенно грубы, а действия могут публично демонстрировать стремление к максимизации индивидуальной материальной выгоды. Однако возникновение такого рода универсума вовсе не означает, что можно распространять на все сферы человеческого существования логику товарообмена, которая, действуя через *commercialization effect* и *pricing*, полностью исключаемые логикой обмена дарами, стремится свести всякую вещь к состоянию продаваемого и покупаемого товара и разрушить все ценности. (Как показал Ричард Титмус в «*The Gift Relationship*», «обмены» кровью при переливании более эффективны, когда они основаны на даре, а не на чисто коммерческой логике, а рассмотрение в качестве товара благ такого рода, как кровь или человеческие органы, имеет моральные последствия и способствует упадку альтруизма и солидарности.¹⁶) Целые области человеческого существования и, в частности, семья, искусство или литература, науки и даже в некотором отношении бюрократия остаются в основном чуждыми этому стремлению к увеличению материальной прибыли. Да и в самом экономическом поле рыночная логика так никогда и не сумела полностью заменить неэкономические факторы производства или потребления (например, в домашней экономике символические аспекты, сохраняющие свою исключительную значимость, могут эксплуатироваться экономически). Обмены никогда полностью не сводятся к их экономической стороне и, как напоминает Э. Дюркгейм, каждый договор содержит внедоговорные пункты.

Экономический интерес (к которому обычно редуцируют любой вид интереса) представляет собой всего лишь специфическую форму, в которую облекается *illusio* — инвестиция в экономическую игру, — когда поле воспринимается агентами, наделенными адекватными диспозициями, приобретенными благодаря раннему и продолжительному опыту усвоения требований поля и в процессе его (как, например, ученики маленькой школы в Англии, учредившие общество страхования от наказаний).¹⁷ Са-

мые фундаментальные экономические диспозиции, потребности, предпочтения, склонности: к труду, к накоплению, к инвестициям, — являются не *экзогенными*, т. е. зависящими от универсальной человеческой природы, а *эндогенными* и зависят от истории, той же самой, что и история экономического универсума, в котором эти диспозиции востребованы и получают подкрепление. Отсюда: вместо канонического различения целей и средств экономическое поле навязывает каждому (в разной степени и в зависимости от их экономических способностей) свои цели (индивидуальное обогащение) и «разумные» средства их достижения.

Структура поля

Чтобы разорвать с господствующей парадигмой, которая тщится достичь уровня конкретного через комбинацию двух абстракций: теории всеобщего равновесия и теории рационального субъекта, — нужно, осозная основополагающую историчность агентов и их пространства действия, при расширенном рационалистическом взгляде, постараться сконструировать реалистическое определение экономической рациональности как встречи социально сформированных диспозиций (в отношении поля) и структур этого поля, также социально конституированных.

Агенты создают пространство, т. е. поле экономики, которое существует лишь посредством агентов, находящихся в нем и деформирующих окружающее их пространство, придавая ему определенную структуру. Иначе говоря, посредством связи между различными «источниками поля», т. е. между разными производящими предприятиями, порождается поле и характерные для него силовые отношения.¹⁸ Конкретнее, именно агенты (предприятия), определенные по объему и структуре имеющегося у них специфического капитала, детерминируют структуру поля и тем самым состояние сил, воздействующих на совокупность предприятий (обычно называемый сектором или отраслью), включенных в производство сходных благ. Предприятия оказывают потенциальные воздействия, варьирующие по интенсивности, закону их убывания и

направленности. Они контролируют тем большую часть поля (долю рынка), чем внушительнее их капитал. Что же касается потребителей, то их поведение могло бы полностью редуцироваться к эффекту поля, если бы они не вступали в определенное взаимодействие с ним (соответственно их инерции, совсем минимальной). Вес, придаваемый агенту, зависит от всех других точек и отношений между ними, т. е. от всего пространства, понимаемого как констелляция отношений.

Несмотря на то что основной упор здесь делается на константах, мы не забываем, что капитал в его разных видах меняется согласно особенностям каждого субполя, иначе говоря, в зависимости от истории этого поля, состояния развития (и, в частности, уровня концентрации) рассматриваемой области промышленности, особенностей продукции.¹⁹ В итоге обширного обследования практики ценообразования на различных американских промышленных предприятиях Гамильтон²⁰ пришел к выводу о идиосинкразическом характере разных отраслей (т. е. субполей), обладающих собственной историей становления, своим способом функционирования, специфическими традициями, особой манерой принятия решения о назначении цены.²¹

Сила отдельного агента зависит от его разного рода достоинств, иногда называемых *strategic market assets* — совокупности дифференциальных факторов успеха (или провала), которые могут ему обеспечить преимущество в конкуренции, а точнее, объема и структуры капитала, имеющегося в наличии у агента, в различных его формах: финансовый капитал, актуальный или потенциальный; культурный капитал (не путать с «человеческим»); технологический капитал; юридический капитал; организационный капитал (включающий информационный и капитал знания поля); торговый капитал; символический капитал. Финансовый капитал есть прямое или косвенное (посредством доступа к банкам) овладение денежными ресурсами, что является главным условием (наряду со временем) накопления и сохранения всех других видов капитала. Технологический капитал — это портфель разного рода научных ресурсов (исследовательский потенциал)

или техники (способы действия, способности, привычки и навыки уникальные и взаимоувязанные, позволяющие сократить затраты на рабочую силу или на капитал или повысить доходность), которые можно использовать в разработке и производстве продукции. Торговый капитал (торговая мощность) основан на овладении сетью распространения (склады, транспорт), маркетинга и послепродажных услуг. Символический капитал состоит в обладании символическими ресурсами, основанными на знании и признании имиджа марки (*goodwill investment*), верность марке (*brand loyalty*) и т. п.²² Этот вид власти работает как кредит, он предполагает доверие или веру тех, на кого он воздействует, поскольку они предрасположены давать такой кредит (именно о такой символической власти говорит Кейнс, выдвигая предположение, что денежная эмиссия действительна тогда, когда агенты верят в ее действенность, а отсюда и теория спекулятивных пузырей).

Структура распределения капитала и структура распределения затрат (связанная в основном с размером и степенью вертикальной интеграции) определяют структуру поля, т. е. силовые отношения между фирмами, владение значительной частью капитала (глобальной энергии), дающего власть над полем, а следовательно, над мелкими владельцами капитала. Она задает также размер платы за вход в поле и распределение шансов на получение прибыли. Различные виды капитала действуют не только опосредованно, через цены, но производят структурный эффект, поскольку применение новой техники, контроль за все большей долей рынка и т. п. изменяют соотношение позиций и производительность всех видов капитала, имеющих во владении других фирм.

Интеракционистскому подходу, — который не признает никаких других форм социальной действенности, кроме непосредственно оказываемого «влияния» одной фирмы (или ее представителя) на другую путем «интервенции» в какой-либо форме, — нужно противопоставить структурный подход. Для этого необходимо принять в расчет эффекты поля, иначе говоря, те принуждения, которые посредством структуры поля, определяемой нерав-

номерным распределением капитала, т. е. специфических орудий (или козырей), постоянно воздействуют — помимо какой-либо интервенции или прямой манипуляции — на совокупность входящих в поле агентов путем ограничения пространства их возможностей и доступной им гаммы выбора. Все это в тем большей степени, чем хуже место агента в распределении капитала. Именно благодаря своему весу в этой структуре, а не одним лишь прямым интервенциям, которые они могут осуществлять (например, с помощью сетей перекрестного участия в советах директоров — *interlocking directorates*, — являющихся их более или менее искаженным выражением²³), главенствующие фирмы оказывают давление на фирмы, занимающие более низкие позиции, и на их стратегии. Доминирующая позиция в структуре (т. е. структура) позволяет главенствующим фирмам определять порядок и порой правила игры и ее границы, а также менять самим фактом своего существования в не меньшей степени, чем своими действиями (решение об инвестициях или изменение цены), всю среду существования других предприятий и систему действующих ограничений или же пространство предоставляемых им возможностей, посредством определения границ пространства возможных тактических и стратегических перемещений. Решения (как доминирующих, так и доминируемых) являются лишь выборами из возможностей (в их границах), определяемых структурой поля. «Интервенции» же, когда они происходят, обязаны своим существованием и эффективностью структуре объективных связей внутри поля между теми, кто осуществляет интервенцию, и теми, на кого она направлена.

Типичным примером структурных эффектов, нередуцируемых к целенаправленным и пунктуальным интервенциям отдельных агентов, служит международное поле финансового капитала. Оно, конечно же, дает видимость фатальности (по крайней мере, в журналистской трактовке «финансового рынка»), поскольку не нуждается в обращении к национальным правительствам, чтобы заставить их или запретить им проведение какой-то политики. Осуществляемая им структурная власть реализуется через

эффекты, не всегда желательные, которые может оказать на цену политики этих правительств изменение размера премии за риск на национальные процентные ставки или изменение обменного курса валют. Издержки политики правительств могут меняться в зависимости от позиции конкретной страны в структуре распределения капитала и в иерархии власти: от ограничений в выдаче кредитов, которым могут подвергаться бедные страны, до «безнаказанности» богатых стран, которые, особенно когда их валюта служит международной резервной валютой, могут, как США, избегать последствий политики бюджетного и торгового дефицита.

Структура поля и неравномерное распределение преимуществ (масштабные производства, технологическое превосходство и т. п.) участвуют в воспроизводстве поля с помощью «барьеров на входе», в виде постоянно действующих неблагоприятных для новичков факторов или в виде высоких затрат на эксплуатацию, которые необходимо покрывать. Подобные имманентные структуре поля тенденции (например: структура благоприятствует агентам с наибольшим капиталом) только усиливаются от действия всякого рода «институтов, отвечающих за сокращение неопределенности» (*uncertainty-reducing institutions*). Согласно Яну Крегелю,²⁴ контракты о найме рабочей силы, долговые контракты, регулируемые цены, торговые соглашения или «механизмы, предоставляющие информацию о возможных действиях других экономических агентов», приводят к тому, что поле приобретает некую *продолжительность* во времени, а также прогнозируемое и просчитываемое будущее. Закономерности, вписанные в структуру поля и в постоянно возобновляемые в нем игры, действуют таким образом, что агенты получают рецепты, навыки и диспозиции, передаваемые по наследству, что составляет фундамент практической антиципации, обоснованной хотя бы в общем виде.

В силу особенности поля экономики, допускающей и благоприятствующей расчетливости и соответствующие стратегические диспозиции, нам нет нужды выбирать между собственно структурным подходом и подходом

стратегическим. Самые сознательно разработанные стратегии могут реализовываться только в границах и направлениях, определенных структурными ограничениями и знанием этих ограничений, распределенным в поле неравномерно. (Информационный капитал занимающих господствующие позиции обеспечивается благодаря, в частности, их участию в административных советах или, в случае банков, благодаря информации, предоставляемой клиентами, желающими получить кредит, что составляет один из ресурсов, позволяющих выбрать наилучшую стратегию управления капиталом). Неоклассическая теория, которая отказывается принимать во внимание эффекты структуры и, тем более, объективные властные отношения, могла бы объяснить преимущества, получаемые наиболее богатыми тем фактом что они более разносторонние, что у них больше опыта или выше репутация (т. е. им есть что терять), а потому они могут дать гарантии, позволяющие предоставлять капитал с меньшими издержками, — и все это вследствие простого экономического расчета. Несомненно, это приводит нас к несогласию с теми экономистами, которые, считая, что они более строго объясняют реалии экономических практик, говорят о «дисциплинирующей» роли рынка как инстанции, обеспечивающей оптимальную координацию предпочтений (индивиды вынуждены подчинять свой выбор логике максимизации прибыли под угрозой быть изгнанными, как те менеджеры, что плохо защищают интересы акционеров во время передачи контроля над фирмой) или эффект цены (когда один производитель наращивает выпуск продукции или увеличивает производительность, то следствием является эффект цены, затрагивающей всех других производителей).

В действительности, вопреки распространенному представлению, которое, пользуясь весьма приблизительными концептами, принятыми у экономистов, ассоциирует «структурализм», понимаемый как некоего рода «холизм», с приверженностью радикальному детерминизму,²⁵ — рассмотрение структуры поля и его эффектов ни в коей мере не приводит к отрицанию свободной игры агентов.

Напротив, построить поле производства как таковое — значит восстановить в полном объеме ответственность производителей как *price makers*, которых ортодоксальная теория, безраздельно подчиняя производителей (также как и потребителей) детерминирующей роли рынка, т. е. действующему фактору динамики и самой формы производства, — редуцирует к незначущей роли *price takers*.²⁶

Отбросить типично схоластическое понятие равновесия (рынка или игры), перейдя к понятию поля, значит уйти от абстрактной логики *price taking*, т. е. автоматического, механического и моментального определения цены на рынке, предоставленного неограниченной конкуренции, и принять точку зрения *price making*, т. е. власти (дифференциальной) определять цены при покупке (материалов, труда и т. п.) и цены при продаже (т. е. прибыль). Такая власть на некоторых крупных предприятиях делегируется специалистам, прошедшим особую подготовку, — *price setters*. Это значит вместе с тем вернуть структуру силовых отношений, являющихся составной частью поля производства и участвующих существенным образом в определении цен, определяя дифференциальные шансы оказать давление на *pricing* и, в более общем виде, управляющих тенденциями, присущими механизмам поля и одновременно контролирующим границы свободы, предоставленной стратегиям агентов.²⁷

Таким образом, теория поля противостоит атомистическому и механистическому видению, которое гипотезирует эффект цены как *deus ex machina* и редуцирует, подобно ньютоновской физике, агентов (акционеров, менеджеров или предприятия) к материальным взаимозаменяемым точкам, чьи предпочтения включены в функцию внутренней полезности, а в крайних вариантах — неперменной полезности, и детерминируют механическим образом действия. (Понятие «представительный агент» стирает всякую разницу между агентами и их предпочтениями и является удобной выдумкой для построения моделей, способных осуществлять прогнозы, сходные с теми, что встречаются в классической механике.) Кроме того, наш подход противостоит — но по-другому — интеракционизму: принципиальная двойственность представле-

ния об агенте как расчетливом атоме позволяет совместить интеракционистское воззрение с механистическим, а экономический и социальный порядок сводит к множеству взаимодействующих (часто на договорной основе) индивидов. Благодаря ряду постулатов, влекущих тяжелые следствия, в частности, постулату о необходимости рассматривать фирмы как изолированные *decision makers*, стремящиеся увеличить свои прибыли²⁸, современная теория организации промышленности переносит на уровень коллектива, каким является фирма (далее мы увидим, что она сама функционирует как поле), модель индивидуального решения (которой приписывают ирреализм, не делая из этого никаких выводов) как результата сознательного расчета, осознанно ориентированного на максимизацию прибыли (фирмы). Эта теория допускает редукцию конституирующего поле отношения сил к совокупности взаимодействий, причем эти взаимодействия не имеют какого-либо превосходства относительно тех, кто в них задействован в данный конкретный момент, и могут быть описаны в терминах теории игр. Полностью совпадая по своим главным постулатам с интеллектуалистской философией, которую мы находим в основании теории неомаржинализма, эта математическая теория, — о которой забывают, что она была открытым и явным образом сконструирована против логики практики, а именно на базе постулатов, лишенных всякого антропологического обоснования, вроде того, что требует, чтобы система предпочтений была заранее сформирована и транзитивна²⁹, — неявным образом сводит эффекты, местом которых является поле, к игре взаимных антиципаций.

Многие социологи, как Марк Грановеттер, верят в то, что им удастся избежать представления об экономическом агенте как об эгоистической монаде, ограниченной «узким преследованием собственного интереса», или как об «атомизированном акторе, принимающем решения без какого-либо социального принуждения». Однако, вырываясь из рамок бентамовского воззрения и «методологического индивидуализма», они попадают в рамки интеракционизма, который, игнорируя структурное принуждение поля, не хочет (или не может) знать ничего, кроме

эффекта осознанной и просчитанной антиципации своих воздействий каждым агентом на всех других агентов. Об этом говорил теоретик интеракционизма Ансельм Стросс, упоминая об *awareness context*³⁰ и устраняя тем самым все эффекты структуры и все объективные властные отношения, как если бы он хотел изучить стратегии *mutual deterrence*, забыв о том, что они устанавливаются только между обладателями ядерного оружия. Либо эффект понимается как «влияние», как в *social network*, когда все другие агенты или социальные нормы влияют на каждого агента.³¹

Мы не уверены, что течение, привычно называемое «гарвардской традицией» (т. е. индустриальная экономика, основанная Джо Бейном и его коллегами), не заслуживает большего, нежели слегка снисходительный взгляд, которого его удостаивают «теоретики промышленной организации». Возможно, мы сможем продвинуться дальше в направлении *loose theories*, если сделаем упор на эмпирическом анализе промышленных секторов, а не будем следовать по тупиковому пути, имеющему все внешние признаки научной строгости, в попытке представить «элегантный и общий анализ». Я сошлюсь на Жана Тироля, который писал: «Первая волна, связанная с именами Джо Бейна и Эдварда Мэйсона, и иногда называемая «Гарвардской традицией», была в основе своей эмпирической. Эти авторы разработали известную парадигму «структура-поведение-продуктивность», в соответствии с которой рыночная структура (число продавцов на рынке, уровень дифференциации продукции, ценовая структура, уровень вертикальной интеграции с поставщиками и т. д.) определяет поведение (которое складывается из цены, затрат на проектно-конструкторские работы, инвестиции, рекламу и т. п.), а поведение приводит к продуктивности рынка (эффективности, установлению соотношения цены и маргинальной стоимости, ассортимента товаров, уровня инновационности, прибыли и распределения). Хотя внешне эта парадигма вполне убедительна, она всегда покоилась на необязательных теориях, и делала акцент на эмпирическом изучении различных отраслей промышленности».³²

Заслугой Эдварда Мэйсона по праву можно назвать установление основ настоящего структурного анализа

(по противоположности стратегическому или интеракционистскому) функционирования поля экономики. Во-первых, он полагает, что только анализ, учитывающий одновременно структуру каждого предприятия, представляющую принцип предрасположенности реагировать на особую структуру поля, и структуру каждой отрасли (*industry*), может дать представление обо всех различиях между фирмами в области конкуренции и, в особенности, ценовой политики, производства и инвестиций. Заметим, что теория игр игнорирует и ту и другую структуру, о чем Мэйсон критически замечает: «Думаю, что спекулировать относительно возможного поведения А, допуская, что Б будет вести себя определенным образом, — бесполезное занятие». ³³ Во-вторых, он пытается установить теоретические и эмпирические факторы, детерминирующие относительную силу предприятия в поле, абсолютный размер, число предприятий, дифференциацию продукции. Редуцируя структуру поля к пространству возможностей, каким оно видится агентам, он стремится обозначить «типологию» «ситуаций», определенных совокупностью «соображений, которые продавец учитывает при определении своей политики и своих практических действий» (*«The structure of a seller's market includes all those considerations which he takes into account in determining his business policies and practices»*). ³⁴

Поле экономики как поле борьбы

Поле сил — это также и поле борьбы за сохранение или изменение поля сил; социально сконструированное поле действия, где сталкиваются агенты, наделенные различными ресурсами. Цели действий фирм, втянутых в эту борьбу, и их эффективность зависят прежде всего от их позиции в структуре распределения капитала во всех его формах. Мы, таким образом, далеки от универсума, свободного от давлений и ограничений, где агенты могли бы развивать свои стратегии в собственное удовольствие. Напротив, они сталкиваются с пространством возможностей, очень тесно связанных с позицией, занимаемой агентами в поле. Доля свободы остается для игры, в смысле

умения играть при имеющемся раскладе (набора козырей). Эта доля здесь, несомненно, больше, чем в других полях, в силу особо высокой степени, в какой — помимо самой экономической теории, используемой в качестве инструмента легитимации, — средства и цели действия, а следовательно, и стратегии, направлены на разъяснение³⁵, принимающее форму «домашних теорий» стратегического действия (менеджмент), разработанных специально, чтобы помочь агентам, особенно управленцам, в их решениях и открыто преподаваемых в школах, обучающих будущих руководителей (*business schools*).³⁶

Этот сорт учрежденного цинизма, полностью противоположного отрицанию и сублимации, необходимым в мире символического производства, размывает границу между «аборигенным», «домашним» представлением и научным описанием. Такое истолкование маркетинга говорит о *product market battlefield*.³⁷ В поле, где цены являются одновременно ставками в игре и ее оружием, стратегии спонтанно становятся «прозрачными» — как для тех, кто их придерживается, так и для других, — чего не бывает в мире литературы, искусства или науки, где санкции остаются в значительной мере символическими, т. е. нечеткими и варьирующими по каким-то субъективным критериям. В самом деле, как подтверждается трудом, который необходимо затратить, чтобы замаскировать в логике дара то, что порой называют «истина цен» (например, при дарении всегда удаляют ценник с подарка), цена в денежном выражении обладает некой грубой объективностью и всеобщностью, которые не оставляют места для субъективной оценки (хотя и говорят «дороговато для этого» или «оно того стоит»). Из этого следует, что стратегии блефа — сознательные или неосознанные, как, например, претензия в чистом виде, — будут менее успешны в поле экономики, где они тоже встречаются, но чаще под видом стратегий устрашения (и реже — соблазна).

Стратегии зависят, прежде всего, от формы структуры поля или же от особой конфигурации характерных для него властных отношений, согласно степени концентрации, т. е. распределения секторов рынка между большим или меньшим числом предприятий, предельными случая-

ми которого являются совершенная конкуренция и монополия. Если верить Альфреду Чэндлеру, экономика крупных индустриальных стран пережила в период 1830–1960 годов процесс концентрации (в частности, через слияния), который постепенно уничтожил пространство мелких конкурирующих между собой предприятий, на которые ссылаются классические экономисты. «Отчет Маклэйна (*MacLane*) и другие источники показывают, что американская мануфактурная промышленность состоит из большого числа мелких производственных единиц, чей персонал составляет менее пятидесяти человек и основан на использовании традиционных источников энергии... Решения об инвестициях — долгосрочных и краткосрочных — принимались сотнями мелких производителей, реагирующими на сигналы рынка, согласно схеме Адама Смита».³⁸ С тех пор, в итоге эволюции, отмеченной, в частности, длинным рядом слияний и глубоким преобразованием структуры предприятий, можно видеть, как в отдельных отраслевых полях конкурентная борьба сводится к небольшому числу мощных предприятий, которые вовсе не стремятся пассивно приспособиться к «рыночной ситуации», но способны активно менять ее.

Эти поля организованы более или менее одинаково вокруг главной оппозиции между теми, кого иногда называют *first-movers* или *market leaders*, и *challengers*.³⁹ Главенствующее предприятие обычно выступает с инициативой в сфере изменения цен, введения новой продукции, распространения и продвижения; оно способно навязать наиболее благоприятные для собственных интересов представления о принятых манерах играть и сами правила игры, а следовательно, участия в игре и ее продолжения. Оно становится необходимой точкой отсчета для своих конкурентов, которые, чтобы они ни делали, вынуждены позиционироваться — активно или пассивно — по отношению к этому предприятию. Оно постоянно находится под угрозой: появление новой продукции, способной вытеснить их собственную, или чрезмерное повышение себестоимости, сокращающее прибыль, подталкивает его к постоянной бдительности (особенно в случае разделенно-

го господства, когда существует координация, призванная ограничить конкуренцию). Против этих угроз доминирующее предприятие может предпринимать две различные стратегии: работать над улучшением глобальной позиции поля, пытаясь увеличить глобальный спрос, или же защищать или улучшать свои позиции в поле (свою долю рынка).

Доминирующие неразрывно связаны с общим состоянием поля, определяемого, помимо прочего, средними шансами на получение прибыли, которые предлагаются полем и которые во взаимосвязи с другими полями определяют его притягательность. Доминирующие заинтересованы в увеличении спроса, от которого они получают значительную долю прибыли, поскольку она пропорциональна их доле рынка, и пытаются стимулировать новых потребителей, новые способы использования или более интенсивное использование предлагаемой ими продукции (при необходимости воздействуя на политические власти). Но главное, — они должны защищать свою позицию от соперников с помощью постоянных инноваций (новая продукция, новые услуги и т. п.) и снижений цен. В силу разного рода преимуществ, которые они имеют в соревновании (в первую очередь, благодаря крупномасштабному производству, связанному с размером предприятия), они могут снижать затраты и, параллельно, — цены, не сокращая своей маржи и весьма затрудняя приход новых предприятий и устраняя наиболее обделенных конкурентов. Короче говоря, благодаря определяющему вкладу господствующих предприятий в структуру поля (и в ценообразование, через которое он выражается), когда структурные эффекты проявляются в виде барьеров на входе для новичков или как экономические ограничения, *first-movers* обладают решающим преимуществом как в отношении конкурентов уже действующих в поле, так и в отношении новых потенциальных претендентов.⁴⁰

Силы поля направляют доминирующих к стратегиям, нацеленным на удвоение их господства. Имеющийся у них символический капитал, связанный с их первенством и «выслугой лет», позволяет с успехом применять страте-

гии, ориентированные на запугивание конкурентов, как если бы они вывешивали знак, запрещающий атаковать их (к примеру, организуя «утечки» о будущем снижении цены или об открытии нового завода). Эти стратегии могут быть чистым блефом, но символический капитал делает их достоверными, а значит — эффективными. Может статься так, что уверенные в своей силе и способности удерживать длительную осаду, когда время играет на них, они воздерживаются от немедленного ответного удара и вынуждают противников втянуться в дорогостоящую атаку, осужденную на провал. В общем виде, предприятия-гегемоны способны навязать свой темп трансформаций в различных областях, производстве, маркетинге, исследованиях и прочем, а дифференциальное использование времени есть один из главных способов реализации их власти.

Предприятия второго ранга в поле могут либо атаковать господствующее предприятие (или других конкурентов), либо избегать конфликта. Соперники могут вступать во фронтальное противоборство, пытаясь, например, снижать затраты и цены, в частности, в пользу технологической инновации, а могут атаковать «сбоку», пытаясь заполнить пробелы в действиях доминирующего предприятия, и занять ниши благодаря специализации своей продукции или же обращая стратегии господствующих против них самих. По всей видимости, относительная позиция в структуре распределения капитала, а тем самым — в поле, играет очень важную роль: тогда как очень крупные фирмы реализуют большие прибыли благодаря крупномасштабному производству, мелкие могут получить высокие прибыли, специализируясь на узких сегментах рынка, а средние предприятия часто имеют слабую прибыль вследствие того, что они слишком большие для узкоспециализированной продукции и слишком маленькие для широкомасштабной экономики.

Принимая во внимание, что силы поля стремятся усилить господствующие позиции, можно спросить себя, как возможны настоящие преобразования соотношения сил внутри поля? Действительно, технологический капитал

играет детерминирующую роль. Можно обнаружить множество примеров, когда доминирующие предприятия были вытеснены вследствие технологического изменения, дающего преимущество более мелким конкурентам благодаря снижению затрат. Но на деле технологический капитал эффективен лишь в сочетании с другими видами капитала. Именно этим объясняется, что победившие предприятия редко являются мелкими, только что созданными, и если они не произошли от слияния уже упрочившихся предприятий, то, скорее всего, представляют другие нации или другие субполя. В действительности, революции чаще всего выпадают на долю крупных предприятий, которые могут через диверсификацию своей продукции получить выигрыш от своей технологической компетенции и выйти на рынок с конкурентоспособным предложением в новом субполе или поле. Изменения внутри поля часто связаны с изменениями отношений с внешним окружением поля. Как только границы преодолены, тут же появляется новое определение границ между полями. Некоторые поля могут быть разбиты на более узкие сектора. Так, самолетостроение разделилось на производителей боевых самолетов (истребителей, бомбардировщиков) и пассажирских самолетов. Вместе с тем технологические новшества могут ослабить границы между отдельными самостоятельными отраслями, как в случае с информатикой, телекоммуникацией и офисной техникой, что вызывает нарастающую путаницу между ними, так что предприятия, которые до той поры не присутствовали ни в одном из этих трех субполей, стремятся в нарастающей степени вступить в конкуренцию во вновь формирующемся пространстве отношений. В таком случае может произойти, что одно предприятие вступит в конкуренцию не только с другими предприятиями в своем поле, но и предприятиями, принадлежащими другим полям. Заметим, что в экономических полях, как и в любой другой категории полей, границы поля являются предметом борьбы внутри каждого поля (в частности, через решение вопроса о возможных заместителях и вызванной этим конкуренции), так что один лишь эмпирический анализ может их опре-

делить. (Часто поля обладают квазиинституционализированным существованием в форме отраслей деятельности, имеющих профессиональные организации, функционирующие одновременно как *клубы* промышленных руководителей, группы защиты действующих границ, а значит, и подразумеваемых ими принципов исключения, и как *представительства* перед лицом государственных органов власти, профсоюзами и другими аналогичными инстанциями, имеющими постоянные органы и выражения.)

Среди всех обменов с внешним окружением поля самыми важными являются обмены с государством. Соревнование между предприятиями часто принимает форму борьбы за власть над властью государства — особенно над властью регламентировать и решать вопросы о правах собственности⁴¹ — и за преимущества, обеспечиваемые различными государственными интервенциями в области льготных тарифов, патентов, регулирования, кредитов на развитие, госзаказов на оборудование, помощь в создании рабочих мест, дополнительное финансирование инноваций, модернизации, эксплуатации, жилищной программы и т. д. Предприятия, занимающие подчиненное положение, борясь за изменения в свою пользу действующих «правил игры» и за признание определенных своих достоинств, способных функционировать как капиталы при новом состоянии поля, могут использовать свой социальный капитал для оказания давления на государство с целью добиться от него благоприятных изменений игры.⁴² Так называемый рынок есть лишь последняя пружина в социальной конструкции — структуре специфических отношений, в строительстве которой разные агенты поля участвуют в различной мере посредством изменений, которые им удается внести, используя власть государства, которую они могут контролировать и направлять.

Действительно, государство не является только регулятором, призванным поддерживать порядок и доверие и управлять рынками, или арбитром, ответственным за контроль над предприятиями и их взаимодействия, как это иногда представляют.⁴³ Оно участвует — как мы это

уже показали на примере производства домов индивидуальной застройки — и иногда в решающей мере в формировании спроса и предложения, причем обе эти формы воздействия осуществляются под прямым или опосредованным влиянием наиболее заинтересованных сторон (мы уже видели на деле, как при посредничестве комиссий, банкиров, высших чиновников, промышленников-предпринимателей и политиков локального уровня может обеспечиваться рынок, идет ли речь о выдаче кредитов частным лицам и предприятиям в случае банкиров, или о домах в случае застройщиков).

Другими внешними факторами, способными внести свой вклад в преобразование силовых отношений в поле, являются изменения сырьевых источников (например, открытие крупных нефтяных источников в начале XX века) и изменения спроса, вызванные демографическими процессами (снижение рождаемости или увеличение продолжительности жизни), или изменениями стилей жизни (рост числа работающих женщин, который вызывает снижение спроса на определенные продукты, и создание новых рынков, например замороженных продуктов или микроволновых печей). В действительности эти внешние факторы оказывают влияние на соотношение сил внутри поля только при посредстве логики этих самых силовых отношений, т. е. в той мере, в какой они обеспечивают преимущество соперникам, позволяя им занять пустующие ниши или специализированные рынки, где *first movers*, сосредоточенные на производстве стандартной продукции большого объема, испытывают трудности в удовлетворении очень узкоспециальных требований, например, какой-то определенной категории потребителей или регионального рынка, которые могут послужить опорными конструкциями для последующего развития.

Предприятие как поле

Очевидно, мнение о том, что решения в области цен или любой другой области не зависят от одного отдельного актора, есть миф, маскирующий игры и властные

ставки внутри предприятия, функционирующего как поле, а точнее говоря, внутри поля власти, характерного для каждой фирмы. Так, если проникнуть в «черный ящик», который представляет собой каждое предприятие, то мы найдем там не индивидов, но — повторим в очередной раз — структуру: структуру поля предприятия, обладающего ограниченной автономией в отношении принуждений, связанных с его позицией в поле предприятий. Если объединяющее поле влияет на структуру входящих в его состав полей, то включаемое поле, понимаемое как специфическое соотношение сил и пространство игры и конкурентной борьбы, определяет цели и ставки борьбы, наделяя их идиосинкразией, которая делает их непонятными, по крайней мере со стороны.

Стратегии предприятий (особенно в области цен) зависят не только от позиций, которые они занимают в структуре поля. Помимо прочего, стратегии зависят от структуры властных позиций, составляющих внутреннее управление фирмой, или, более точно, от диспозиций (сформированных социально) руководителей, действующих под принуждением поля власти внутри фирмы и поля фирмы в целом. (Последнее можно было бы охарактеризовать с помощью таких показателей, как иерархический состав наемных работников, образовательный и особенно научный капитал персонала, ответственного за кадры, степень бюрократической дифференциации, вес профсоюзов и т. п.). Система ограничений и требований, вписанная в позицию внутри поля, заставляет доминирующие предприятия действовать в направлении наиболее благоприятном для сохранения их собственного положения, что нельзя считать фатальностью или некоего рода инстинктом самосохранения, ориентирующим предприятия и их руководителей на выбор, позволяющий сохранить имеющиеся преимущества. Очень часто приводят пример Генри Форда, который вслед за блестящим успехом в производстве и продаже автомобилей, сделавших его лучшим производителем автомобилей в мире, после Первой мировой войны разрушил соревновательные способности своего предприятия, уволив почти всех самых компетент-

ных и опытных менеджеров, которые впоследствии стали источниками успеха для его конкурентов.

Таким образом, несмотря на обладание относительной независимостью от сил поля, структура поля власти внутри фирмы тесно *коррелирует* с позицией фирмы в поле. Посредником здесь выступает соответствие между, с одной стороны, объемом капитала фирмы (зависящего от возраста предприятия и его положения в жизненном цикле, а следовательно, *grasso modo*, от его размера и интегрированности) и его структурой (относительные доли финансового, торгового и технического видов капитала в общем объеме капитала фирмы); а с другой стороны — структурой распределения капитала между руководящими лицами фирмы: собственниками (owners) и «функционарами» (managers), а среди этих последних — между обладателями разных форм культурного капитала при доминанте финансового, технического или коммерческого (т. е. в случае Франции речь идет о выпускниках престижных высших школ: Национальная школа администрации, Высшая политехническая школа, Высшая школа коммерции, и о представителях больших профессиональных корпораций).⁴⁴

Можно наметить бесспорные тенденции в длительной перспективе касательно эволюции соотношения сил между главными действующими лицами поля власти на предприятии. В частности, вначале превосходство имеют предприниматели, владеющие новыми технологиями и способные собрать необходимые средства для их запуска, затем вступают в действие банкиры, уйти от которых становится все труднее, и другие финансовые институты, затем следует возвышение менеджеров⁴⁵. Заметим, что так же, как при анализе своеобразной формы, которую принимает в каждом поле конфигурация распределения власти между предприятиями, нужно анализировать на каждом предприятии и в каждый отдельный момент форму, которую принимает конфигурация властных отношений внутри поля власти на предприятии, — так мы получим средства для понимания логики борьбы, детерминирующей цели предприятия.⁴⁶ Очевидно, что эти цели являются ставками в борьбе и что «рациональный расчет» про-

свещенного «лица, принимающего решения», нужно заменить в анализе на политическую борьбу между агентами, которые стремятся отождествить свои специфические интересы (связанные с их позицией на предприятии) с интересами предприятия. Власть этих «лиц» может измеряться их способностью отождествлять — во благо или во зло — интересы предприятия со своей заинтересованностью в предприятии (вспомним пример Генри Форда).

Структура и конкуренция

Принимать в расчет структуру поля — значит понимать, что конкуренция за доступ к обмену с клиентами не может быть соперничеством, сознательно и открыто ориентированным на прямых конкурентов или, по формуле Харрисона Уайта, на самых опасных из них: «Производители одного рынка наблюдают друг за другом».⁴⁷ Или, в еще более явном виде, у Макса Вебера: «Два потенциальных партнера безотчетно ориентируют свои предложения в зависимости от возможного действия многих других конкурентов, реальных или воображаемых, а не только в зависимости от возможного действия партнеров по обмену». Наиболее наглядно это проявляется при торге — «самой последовательной форме рыночного действия» — и при заключении сделки как «компромиссе интересов». Макс Вебер описывает форму рационального расчета, однако совершенно отличного по своей логике от ортодоксальной экономики: это не те агенты, что делают выбор, исходя из полученной информации о ценах (предполагающих равновесие на рынке), а те, что учитывают действия и реакции своих конкурентов и «ориентируются в зависимости от них», а следовательно, — обладают информацией о них и способны действовать либо против, либо за. Но если и есть какая-то заслуга в том, чтобы замещать *связь с совокупностью производителей* одной лишь сделкой с клиентом, то он ее редуцирует к сознательной и продуманной *интеракции* между конкурентами, занимающимися одной продукцией. То же и у Харрисона Уайта: если он видит в рынке «самовоспроизводящуюся соци-

альную структуру» (*self-reproducing social structure*), то ищет действующую причину стратегий производителей не в ограничениях и принуждениях, которые накладывает их структурная позиция, а в наблюдении и расшифровке сигналов, подающихся поведением других производителей. «Рынки — это самовоспроизводящиеся структуры, образованные особыми группировками предприятий и других акторов, выстраивающих свои роли, наблюдая поведение друг друга». ⁴⁸ Производители, вооруженные знанием стоимости производства, пытаются увеличить свои прибыли путем определения «правильного» объема производства «на основе наблюдаемых позиций всех производителей» и поиска своей ниши на рынке.

Соревнование небольшого числа стратегически взаимодействующих агентов за доступ к обмену (только части агентов) с отдельной категорией клиентов нужно заменить встречей производителей, занимающих различные позиции в структуре специфического капитала (различных его видов), с клиентами, занимающими гомологичные позиции в социальном пространстве. То, что обычно называют «нишами», есть не что иное, как сегмент клиентуры, который структурное сродство предназначает разным предприятиям, в особенности второстепенным. Как мы уже показывали на примере культурных благ, которые — как со стороны производства, так и со стороны потребления — распределяются в двумерном пространстве, определяемом экономическим и культурным капиталами, велика вероятность того, что в каждом поле существует гомология между пространством производителей (и продукции) и пространством клиентуры, распределенной согласно релевантным принципам дифференциации. Заметим, принуждения, порой смертельные, которые господствующие производители оказывают на своих действительных или возможных конкурентов, действуют только при посредничестве поля: соревнование никогда не бывает простым «опосредованным конфликтом» (в смысле Зиммеля), не направленным против конкурента. В экономическом поле, как и в любом другом, борьбе не обязательно стремиться разрушить, чтобы произвести свои опустошительные результаты.

Экономический габитус

Homo economicus, так, как он понимается в ортодоксальной экономике (в явном или неявном виде) есть некий антропологический монстр. Этот практик с головой теоретика воплощает образцовую форму *scholastic fallacy*, интеллектуалистскую или интеллектоцентристскую ошибку, очень распространенную в социальных науках (особенно в лингвистике и антропологии), в силу которой ученый помещает в голову изучаемого агента (менеджера или хозяйства, предпринимателя или предприятия) теоретические доводы и конструкции, которые он должен был разработать для понимания его практик.⁴⁹

Заслугой Гари Беккера — автора самых смелых попыток экспортировать во все социальные науки модель рынка и технологию, предположительно самую мощную и эффективную, неоклассического предприятия — является открытое провозглашение того, что часто скрывается в неявных предположениях научной рутины: «Экономический подход <...> сегодня признает, что индивиды максимизируют свою полезность, исходя из базовых предпочтений, медленно изменяющихся во времени, и что поведение различных индивидов координируется явными и неявными рынками... Экономический подход не ограничивается материальными товарами и потребностями, или рынками с монетарными транзакциями, и концептуально не различает главные и второстепенные решения или «эмоциональные» решения и все остальные. В действительности... экономический подход задает рамки, применимые к любому человеческому поведению: для всех типов решения и любого социального положения».⁵⁰ Ничто более не ускользает от объяснения через «агента-преумножателя»: ни организационные структуры, как предприятия и контракты (по Оливеру Уильямсону), ни парламенты и муниципалитеты, ни институт брака (понимаемый как экономический обмен услугами по производству и воспроизводству) с домашним хозяйством и отношениями между родителями и детьми (по Джеймсу Коулману), ни государство. Такой универсальный способ объяснения, базирующийся на универсальном принципе объяснения,

(когда индивидуальные предпочтения считаются экзогенными, упорядоченными и стабильными, а потому не имеют ни предполагаемого начала, ни возможного будущего) более не знает лимитов. Для Гари Беккера нет даже тех ограничений, которые признавал Парето в его основополагающем тексте, где он отождествлял рациональность экономического поведения с рациональностью вообще, но различал типы собственно экономического поведения, вытекающие из «логических рассуждений», опирающихся на опыт, и типы поведения «детерминированного обычая», как привычка снимать шапку при входе в дом.⁵¹

Первая функция концепта «габитус» состоит в разрыве с картезианской философией сознания, а тем самым и с разрушительной альтернативой между механицизмом и финализмом, т. е. детерминацией посредством причин и детерминацией посредством разума; а также между методологическим индивидуализмом и тем, что иногда называют (главным образом «индивидуалисты») холизмом — той квазинаучной оппозицией, представляющей собой эвфемизированную форму альтернативы (несомненно, наиболее могущественную в политическом плане) между индивидуализмом или либерализмом, который рассматривает индивида как конечную элементарную единицу автономии, и коллективизмом или социализмом, который отдает примат коллективному.

В силу обладания габитусом, т. е. вследствие инкорпорации, индивидуальный агент является коллективной индивидуальностью или индивидуальной коллективностью. Индивидуальность, субъективность есть социальность, коллективность. Габитус — это социализированная субъективность, историческое трансцендентальное, чьи категории восприятия и оценки (система предпочтений) суть продукт коллективной и индивидуальной истории. Разум (или рациональность) является *bounded*, ограниченным не только потому, как то думал Герберт Саймон, что разум в общем ограничен (это не открытие), но потому, что он социально структурирован и имеет заданные рамки.⁵² Эти рамки свойственны всякому *walk of life*, как говорил Беккер, поскольку связаны с позицией в социальном пространстве. Если существует всеобщее свойство, то

оно состоит в том, что агент не универсален, поскольку свойства каждого из них и, в частности, их предпочтения и вкусы суть продукты их размещения и перемещения в социальном пространстве, а следовательно — коллективной и индивидуальной истории.

Отсюда следует, что габитус не имеет ничего от механического принципа действия, акции, а точнее — реакции, по принципу рефлексивной дуги. Он есть *спонтанность обусловленная и ограниченная*. Это тот принцип автономии, который преобразует действие из простой и непосредственной реакции на реальность вообще в «умный» ответ на активно выбранный аспект реальности. Связанный с историей, чреватой возможным будущим, габитус являет собой инерцию, след прошлой траектории, который агент противопоставляет непосредственно воздействующим силам поля, вследствие чего стратегии агента не могут быть прямо выведены из его положения или из наличной ситуации. Он дает ответ, чей принцип не вписывается в стимулы, ответ, который нельзя предвидеть, исходя из знания одной лишь ситуации, но в то же время он не может быть совершенно непредсказуемым. Этот ответ связан с каким-то аспектом реальности, с определенными стимулами, выделенными избирательным восприятием, частичным и частным (но не «субъективным» в строгом смысле), благодаря вниманию, направленному на отдельную сторону явления, о которой мы могли бы индифферентно сказать, что она «вызывает интерес» или что она порождена интересом. Такого рода действие мы можем назвать одновременно детерминированным и спонтанным, что не будет противоречием, поскольку оно детерминировано *обусловленными и условными* стимулами, которые так таковые существуют лишь для агента, predisposed и способного их воспринимать.

Преграда, которую ставит габитус между стимулом и реакцией, действует в течение какого-то времени, поскольку, будучи продуктом истории, габитус относительно устойчив и постоянен, а значит — *относительно* свободен от истории. Продукт прошлого опыта, накопленного коллективно или индивидуально, габитус может быть правильно объяснен только средствами генетического

анализа, в равной мере применимого и к коллективной истории (например, история вкуса, описанная Сидни Минцем, который показал, как сахар, вначале экзотический и редкий продукт, предназначенный для богатых привилегированных классов, позже стал необходимым элементом ежедневного питания народных слоев³³), и к индивидуальной истории (анализ экономических и социальных условий формирования индивидуальных вкусов в области питания, декора, одежды, музыки, театра, кино и т. д.³⁴).

Концепт «габитус» позволяет уйти от альтернативы *финализма* — который считает действие детерминированным сознательной отсылкой на осознанно поставленную цель и потому рассматривает всякое поведение как результат чисто инструментального, если не сказать циничного, расчета — и *механицизма* — для которого действие редуцируется к простой реакции на недифференцированные причины. Ортодоксальные экономисты и философы, сторонники теории рационального действия, балансируют между этими двумя логически несовместимыми теориями действия. С одной стороны, *финалистская* направленность на принятие решения (*décisionnisme*), согласно которой агент есть чистое рациональное сознание, реагирующее при полном осознании причин, а основанием его действия являются разум или рациональное решение, вытекающее из рациональной оценки шансов. С другой стороны, *физикализм*, делающий из агента частицу, которая без задержки или инерции механически ведется силой причин (известных одним лишь ученым) и реагирует на комбинацию сил. Однако сторонники теории рационального действия не испытывают трудностей в совмещении несовместимого, поскольку обе стороны альтернативы составляют одно общее: в обоих случаях, принося жертву *scholastic fallacy*, осуществляется перенос с ученого субъекта, обладающего прекрасными знаниями относительно причин и шансов, на действующего агента, который, как полагается, рациональным образом склонен ставить перед собой цели, соответствующие шансам, определяемым действием причин. (Стоит ли говорить о том, что именно при полном осознании причин сами экономисты поступают — во имя «права на абстракцию» — подобным паралогизмом, однако не могут отменить его следствий.)

Воображаемая антропология Rational Action Theory

Эклектические теоретические конструкции, обоснованные более социально, нежели научно, которые обычно помещают под именем *Rational Action Theory* или Методологического индивидуализма и которые ссылаются на так называемую «неоклассическую экономику» — боевое знамя и цель борьбы аннексии и экскоммуникации⁵⁵ за создание антропологической теории общего применения, — покоятся в конечном итоге на картезианской философии науки, агента (понимаемого как субъект) и социального мира.

Прежде всего, именно дедуктивная экономика, отождествляющая строгость с математической формализацией, считает необходимым выводить «законы» или значимые «теоремы» из совокупности фундаментальных аксиом, строгих, но ничего не говорящих о реальных функциях экономики. Здесь можно процитировать Э. Дюркгейма: «Политическая экономия... это наука абстрактная и дедуктивная, которая занята не столько тем, чтобы наблюдать за реальностью, сколько тем, чтобы конструировать более или менее желательный идеал, поскольку человек, о котором говорят экономисты, этот последовательный эгоист, является всего лишь человеком искусственного разума. Человек, которого мы знаем, действительный человек, гораздо сложнее: он принадлежит эпохе и стране, он где-то живет, у него есть семья, страна, религиозная вера и политические идеи».⁵⁶

Далее следует интеллектуалистская философия, понимающая агентов как чистые сознания без истории, способные свободно и в любой момент поставить себе цели и действовать при полном осознании причин (или в варианте, соседствующем без проблем с предыдущим, как отдельные атомы, не обладающие ни автономией, ни инерцией, и механически детерминированные причинами). Здесь можно вспомнить Веблена, когда он показывает, как гедонистическая философия, поддерживающая экономическую теорию, при-

водит к тому, что агенты — эти атомы, не обладающие инерцией, эти «молниеносные калькуляторы» — наделяются «натурой пассивной, по существу инертной и неизменной». Веблен пишет: «Гедонистическая концепция понимает человека как молниеносный калькулятор удовольствия и боли, который колеблется как глобула жажды счастья, под действием стимулов, изменяющих его положение в пространстве, но оставляющих его невредимым. У такого человека нет ни прошлого состояния, ни будущего. Он является изолированной, конкретной человеческой данностью, находящейся в стабильном равновесии, за исключением ударов разнонаправленных сил, сдвигающих его то в одну, то в другую сторону. Балансируя в пространстве элементов, такой человек симметрично вращается вокруг своей собственной оси до тех пор, пока параллелограмм сил давит на него, вследствие чего он движется по результирующей траектории. Когда сила удара растрочена, он приходит в состояние покоя, вновь становясь самодостаточной глобулой желания».⁵⁷ Наконец и главное, узко атомистическое и дисконтинуальное (или «моменталистское») воззрение на социальный мир, составляющее базис модели идеальной конкуренции или идеального рынка, идеализированное описание абстрактного механизма, который должен обеспечивать моментальную подгонку цен в мире, где, в предельном случае, нет трения, т. е. равновесие рынка призвано координировать индивидуальные действия посредством изменения цен.⁵⁸

В еще большей степени, чем философия сознания в экономической ортодоксии, которая находит принцип действия в эксплицитных намерениях или разуме (и шире — в психологии, как у Ф. Хайека), философия экономического порядка, к которой обращается экономическая ортодоксия, непосредственно указывает на физический мир, как его описывает Декарт, а именно мир, не имеющий какой-либо имманентной ему силы, а потому обреченный на крайнюю прерывистость актов божественного творца. Такая атомистическая и механическая философия

полностью исключает историю. Сначала она исключает ее из агентов, чьи предпочтения никак не связаны с их прошлым опытом, а потому недоступны флуктуациям истории; функция индивидуальной полезности объявляется неизменной или, того хуже, не имеющей аналитической ценности.⁵⁹ Парадоксальным образом она заставляет исчезнуть все вопросы об экономических условиях экономического поведения, тем самым мешая самой себе увидеть, что существует индивидуальный и коллективный генезис экономического поведения общественно признанного как рациональное в определенных областях определенных обществ в определенный период времени, а потому и других ее базовых, как бы абсолютных понятий: потребности, расчет, предпочтения.

Габитус — это очень экономный принцип действия, который обеспечивает огромную экономию расчета (в частности, расчета затрат на исследование и измерение) и времени, этого особо редкого ресурса действия. Он особенно хорошо адаптирован к обычным условиям существования, которые — либо в силу спешки, либо по причине недостатка необходимых знаний — не позволяют сознательно и расчетливо оценить шансы на получение прибыли. Непосредственно вытекающий из практики и связанный с ней как по своей структуре, так и по функционированию, подобного рода практический смысл не поддается измерению вне рамок практических условий его применения. Иначе говоря, испытания, которым подвергает субъектов «эвристика принятия решения»⁶⁰, вдвойне неадекватны, поскольку они пытаются измерить в искусственно созданной ситуации способность к сознательной и просчитанной оценке шансов, применение которых на деле предполагает разрыв со склонностями практического смысла. (Действительно, забывают о том, что расчет вероятности формировался наперекор стихийным тенденциям первоначальной интуиции.)

Особо сложная для объяснения, поскольку остается в рамках дуализма субъекта и объекта, активности и пассивности, средств и целей, детерминизма и свободы, связь

габитуса с полем, посредством которой определяется габитус, определяя то, что его определяет, — это расчет без расчета, намеренное действие без интенции, чему есть множество эмпирических подтверждений.⁶¹ Поскольку габитус является продуктом объективных условий, сходных с теми, в которых он действует, он порождает типы поведения отлично адаптированные к этим условиям, не нуждаясь при этом в осознанном поиске и преднамеренной адаптации. (Потому стоит остерегаться и не путать «адаптивную антиципацию» по Кейнсу с «рациональной антиципацией», даже если агент, чей габитус хорошо приспособлен, воспроизводит в некотором роде агента как производителя рациональных антиципаций). В этом случае эффект габитуса остается как бы незаметным, а объяснение с помощью габитуса может выглядеть излишним по отношению к объяснению через ситуацию (может даже показаться, что речь идет об объяснении *ad hoc*, в логике «снотворной способности»⁶²). Однако можно отчетливо наблюдать собственное действие габитуса во всех тех ситуациях, где условия его актуализации отличаются от условий его формирования (чаще всего, когда само общество изменяется). Например, когда агенты, сформированные в обществах с докапиталистической экономикой, сталкиваются с требованиями капиталистического мира, не обладая необходимыми инструментами⁶³; или когда индивиды в пожилом возрасте сохраняют, в духе Дон Кихота, свои устаревшие диспозиции; или когда диспозиции агента, поднявшегося или опустившегося в социальной иерархии, диссонируют с занимаемой им актуальной позицией. Подобные эффекты гистерезиса, запаздывание с адаптацией и антиадаптивные отклонения объясняются относительно устойчивым характером (что не означает не способным к изменениям) габитусов, устойчивостью, служащей основанием относительной стабильности во времени уровней потребления.

Постоянству (относительному) диспозиций соответствует постоянство (относительное) социальных игр, в которых они сформировались. Экономические игры, так же как и все социальные игры, не являются играми случая: они представляют регулярности и повторения сходных

конфигураций с конечным числом, придающим им некую монотонность. Как следствие, габитус производит *разумные* (а не рациональные) антиципации, которые, являясь результатом действия диспозиций, происходящих от неощутимой инкорпорации опыта постоянных или возвращающихся ситуаций, непосредственно приспособлены к ситуациям новым, но не совсем необычным. В качестве диспозиции к действию, являющейся продуктом усвоения предшествующего опыта сходных ситуаций, габитус обеспечивает практическое овладение неопределенными ситуациями и фундирует отношение к будущему. Это отношение — не проект, не прицеливание к возможностям, которые могут реализоваться или нет, а практическая антиципация, которая открывает в самой объективности мира то, сделать что представляется единственно возможным, и рассматривая предстоящее как почти настоящее (а не как вероятность); оно совершенно чуждо логике чисто спекулятивной, оперирующей расчетом риска, способной назначить цену различным существующим возможностям. Вместе с тем габитус — это еще и принцип дифференциации и отбора, который пытается сохранить все, что с ним согласуется, утверждаясь, таким образом, как потенциальность, стремящаяся обеспечить условия собственного воплощения.

Так же как интеллектуалистское воззрение в русле экономической ортодоксии редуцирует практическое освоение неопределенных ситуаций к рациональному расчету риска, так же — вооружившись теорией игр — оно и выстраивает антиципацию поведения других, как определенного рода расчет намерений противника, изначально воспринимаемых как намерения обмануть, в частности, обмануть относительно своих намерений. В действительности, проблема, которую экономическая ортодоксия решает с помощью ультраинтеллектуалистской гипотезы *common knowledge* (я знаю, что ты знаешь, что я знаю), решается на практике посредством *согласования габитусов*, которое позволяет предвосхитить поведение других тем лучше, чем более конфигурация габитусов совпадает. Парадоксы коллективного действия разрешаются на прак-

тике, базируясь на негласном постулате, что другие будут действовать ответственно и с тем постоянством или верностью самим себе, которые вписаны в устойчивый характер габитусов.

Хорошо обоснованная иллюзия

Таким образом, теория габитуса позволяет *объяснить кажущуюся истину теории, которую она разоблачает*. Если гипотеза, настолько же нереалистичная, как та, что фундирует теорию действия или рациональной антиципации, может показаться обоснованной фактами, то лишь потому, что агенты, в силу соответствия диспозиций позициям, в большинстве случаев формируют разумные ожидания, т. е. согласующиеся с объективными шансами, и почти всегда контролируемые и подкрепляемые прямым действием коллективного контроля, например, того, что осуществляет семья. (Исключение составляют такие очевидные случаи, как субпролетарии, деклассированные элементы и перебежчики, впрочем, модель может объяснить и их.) Теория габитуса позволяет также понять, что даже столь фиктивная и натянутая теория, какой является «теория репрезентативного индивида», основанная на гипотезе, что суммарная совокупность выборов всех различных агентов одной категории, например, потребителей, несмотря на их крайнюю разнородность, ведет себя как стандартный выбор «репрезентативного индивида», стремящийся максимизировать свою полезность, или который можно считать таковым, — не опровергается полностью фактами. Так, Ален Кирман показывает, что эта фикция покоится на вынужденных и очень специфических гипотезах и ничто не позволяет нам утверждать, что индивидуальное стремление к максимизации дает в итоге коллективную максимизацию, и наоборот, тот факт, что коллектив представляет определенную степень рациональности, не означает, что индивиды будут действовать рационально. Затем он утверждает, что функцию глобального спроса можно обосновать не однородностью, а разнородностью агентов: поведение индивидуального спроса, очень разбросанного, может завершиться поведением

агрегированного спроса, очень унифицированным и стабилизированным.⁶⁴ Эта гипотеза находит реалистическое основание в теории габитуса и в представлениях потребителей как совокупности разнородных агентов, имеющих разные диспозиции и интересы (так же как и условия существования), которые, однако, всякий раз оказываются приспособленными к условиям существования, предполагающим различные шансы, и в силу этого испытывают принуждения, вписанные в структуру поля, например, экономического поля в целом или, для руководителей предприятия, — структуру поля предприятия. В поле экономики не остается места для «сумасбродств», а те, кто им предается, раньше или позже платят своим исчезновением цену своего пренебрежения правилами или закономерностями, присущими экономическому порядку.

Придавая эксплицитную и систематическую форму философии денег и действия, которую экономическая ортодоксия часто принимает неявным образом (в частности, потому, что, используя такие понятия, как предпочтение или рациональный выбор, она лишь рационализирует представления здравого смысла), приверженцы теории рационального действия (среди них много экономистов, как Гари Беккер) и методологического индивидуализма (как Д. Коулман, Д. Элстер и их французские эпигоны) выносят на всеобщее обозрение всю абсурдность типично схоластического воззрения на условия человеческого существования. Их узко интеллектуалистский (или интеллектуалоцентристский) ультрарационализм напрямую противоречит — уже самой своей чрезмерностью и своим безразличием к опыту — самым обоснованным результатам исторических исследований относительно человеческой практики. Если мы сочли необходимым показать, что многие достижения экономической науки, этого колосса на глиняных ногах, полностью совместимы с философией денег, действия, времени и социального мира, несмотря на то, что ее утверждения полностью отличаются от тех, что обычно производят и принимают большинство экономистов, то не затем, чтобы воздать хвалу философии, а лишь пытаясь объединить социальные науки, стремясь вернуть экономике ее научно-историческую истину.

Примечания

¹ Bourdieu P. & al. L'économie de la maison // Actes de la recherche en sciences sociales. 1990. № 81–82. P. 1–96.

² Представление о дифференциации французского поля экономической науки дает статья Фредерика Лебарона «Отрицание власти» (Lebaron F. La dénégation du pouvoir // Actes de la recherche en sciences sociales. 1997. № 119.)

³ Bourdieu P. & Bouhedjia S., Gitry C. Un contrat sous contrainte. Loc. cit. P. 34–51.

⁴ Bourdieu P. & Bouhedjia S., Christin R., Gitry C. Un placement de père de famille. La maison individuelle, spécificité du produit et logique du champ de production. Loc. cit. P. 6–33.

⁵ Bourdieu P., Saint Martin M., de. Le sens de la propriété. La genèse sociale des systèmes de préférence. Loc. cit. P. 52–54.

⁶ Bourdieu P., Christin R. La construction du marché Le champ administratif et la production de la «politique du logement». Loc. cit. P. 65–85.

⁷ Bourdieu P. & Bouhedjia S., Christin R., Gitry C. Op. cit.

⁸ Bourdieu P. Droit et passe-droit. Le champ des pouvoirs territoriaux et la mise en œuvre des règlements. Loc. cit. P. 86–96.

⁹ Возможно, мне стоит повторить здесь снова для неискушенного читателя вещи, о которых я уже писал ранее, что мой анализ может быть применен совершенно особым способом к исследованию предмета экономики.

¹⁰ North D. Market and other Allocations Systems / History: The Challenge of Karl Polanyi // Journal of European Economic History. 1977. № 6. P. 703–716. Можно припомнить два часто цитируемых случая нарушения этого закона молчания: Marshall. Principles of Economics. 1980 (особенно глава «О рынках»); Robinson J. Market // Encyclopaedia Britannica; Collected Economic Papers.

¹¹ Tirole J. The Theory of Industrial Organization. Cambridge: The MIT Press. 1988. P. 12.

¹² Friedman M. Capitalism and Freedom. Chicago: Chicago University Press, 1962.

¹³ Stigler G. J. The Intellectual and the Marketplace. Cambridge: Harvard University Press, 1963. P. 143–158.

¹⁴ Об экономических условиях доступа к экономическому расчету см., например: Bourdieu P. (avec Darbel A., Rivet J. P., Siebel C.). Travail et travailleurs en Algérie. P.: La Haye, Mouton, 1963; Bourdieu P. Algérie 60. Structures économiques et structures temporelles. P.: Ed. de Minuit, 1977. Условия культурного досту-

па можно найти в описании постепенного возникновения *market culture* — стихийной социальной теории, описывающей социальные отношения «исключительно в терминах товара и обменов, тогда как они продолжают содержать гораздо больше» (*Reddy W. The Rise of Market Culture. The Textile Trades and French Society, 1750–1900. Cambridge: Cambridge University Press, 1984.*)

¹⁵ О двойной истине труда см.: *Bourdieu P. Méditations pascaliennes. Paris: Seuil, 1997. P. 241–244.*

¹⁶ *Titmus R. M. The Gift Relationship. From Human Blood to Social Policy. New York: Pantheon, 1971.*

¹⁷ Некоторые сторонники теории рационального предвидения утверждают, что наилучшее использование имеющейся информации, с учетом специфики ставки, которую стремятся увеличить, достигается постепенно в процессе обучения методом проб и ошибок. Теория диспозиций (габитуса) позволяет обосновать существование *разумного* предвидения в отсутствии какого бы то ни было рационального расчета.

¹⁸ В ожидании появления необходимой для исследования формализации, подчиняющейся указанным принципам, можно обратиться к анализу соответствий, чьи теоретические основания, по всей видимости, могут дать представление о полях. См., например: *Bourdieu P., Saint Martin M., de. Le Patronat // Actes de la recherche en sciences sociales. 1978. № 20/21. P. 3–82, introduction.*

¹⁹ Экономическое поле состоит из совокупности субполей, соотносимых с тем, что обычно называют сектором или отраслью промышленности.

²⁰ *Hamilton W. H. Price and Price Policies. N.Y.: Mac-Graw Hill, 1938.*

²¹ *Tool M. R. Contributions to an Institutional Theory of Price Determination // Hodgson G. M., Screpanti E. Rethinking Economics, Markets, Technology and Economic Evolution. European Association for Evolutionary Political Economy. 1991. P. 29–30.*

²² Финансовый, технический и торговый капиталы существуют одновременно в объективированной форме (оборудование, инструменты и т. п.) и в инкорпорированной форме (компетенция, ручные навыки и др.). У Веблена мы можем найти некоторого рода антиципацию различия двух состояний капитала, объективированного и инкорпорированного, когда он упрекает ортодоксальную теорию капитала в переоценке материально осязаемых активов и недооценке неосязаемых активов. (*Web-len Th. The Instinct of Workmanship. N. Y.: Augustus Kelley, 1964.*)

²³ *Minth B., Schwartz M. The Power Structure of American Business. Chicago: The University of Chicago Press, 1985.*

²⁴ Kregel J. A. Economic Methodology in the Face of uncertainty // *Economic Journal*. 1976. № 86. P. 209–225.

²⁵ Пренебрегая при этом «принципом стратифицированного детерминизма», выдвинутого П. Вайсом, который утверждает «детерминацию — *determinacy* — в целом — *in the gross* — несмотря на неопределенность — *indeterminacy* — просматриваемую в деталях — *in the small*» (Weiss P. A. The living system: determinism stratified // Koestler A., Smythies J. R. (eds.) *Beyond Reductionism: New Perspectives in the Life Sciences*. London: Hutchinson, 1969. P. 3–42.)

²⁶ Как показал Р. Коаз, гипотеза нулевых затрат на транзакцию (*zero transaction costs*), которой неявно пользуется ортодоксальная теория, подразумевает обмен как одномоментные акты: «Another consequence of the assumption of zero transaction costs, not usually noticed, is that, when there are no costs of making transactions, it costs nothing to speed them up, so that eternity can be experienced in a split second». (Coase R. H. *The Firm, the Market and the Law*. Chicago: The University of Chicago Press, 1988. P. 15.)

²⁷ Заменить рынок на поле — значит вернуться к специфической социальной структуре (в полную противоположность анти-историческому понятию рынка), которая практически осуществляет координацию и агрегацию индивидуальных выборов.

²⁸ Tirole J. *Op. cit.* P. 4.

²⁹ Классические работы А. Тверски и Д. Канемана пролили свет на совершаемые агентами недочеты и ошибки в сфере теории вероятностей и статистики (Tversky A., Kahneman D. Availability, A Heuristic for Judging Frequency and Probability // *Cognitive Psychology*. 1973. № 2. P. 207–232; Sutherland S. Irrationality. The Enemy Within. London: Constable, 1972). Интеллектуалистское допущение, поддерживающее эти исследования, может привести к неучету того факта, что логика диспозиций делает агентов способными дать практический ответ в ситуациях, когда трудно оценить будущие шансы и невозможно решить задачу в абстрактном виде. (Bourdieu P. *Le Sens pratique*. Paris: Ed. de Minuit, 1980; см. также на русс. яз.: Бурдьё П. *Практический смысл*. М.: Институт экспериментальной социологии; СПб.: Алетейя, 2000.)

³⁰ Strauss A. *Continual Permutations of Action*. — N. Y.: Aldine de Gruyter, 1993.

³¹ См.: Granovetter M. Economic institutions as social constructions: A framework for analysis // *Acta Sociologica*. 1992. № 35. P. 3–11. В этой статье мы находим в измененном виде альтернативу «индивидуализму» и «холизму», свирепствующую в орто-

доксальной экономике (и социологии), в форме заимствованной у Д. Понга (*Wrong D. The Oversocialized Conception of Man in Modern Sociology // American Sociological Review. 1961. № 26. P. 183–196.*) оппозиции между *undersocialized view*, предполагающим, что агенты являются настолько «чувствительными к мнению других, что они автоматически подчиняются общепринятым нормам поведения» или что они настолько глубоко усвоили нормы и ограничения, что их уже не затрагивают актуальные отношения (именно так и, к сожалению, полностью ошибочно понимают иногда понятие «габитус»). Мы можем, следовательно, заключить, что в конце концов *over* и *under* сходятся во взгляде на агентов как на монады, закрытые для «влияний» *concrete ongoing systems of social relations* и *social network*. Таким образом, «ситуационизм» или методологический индивидуализм показывает всего лишь ложное преодоление альтернативы, ложной самой по себе, между индивидуализмом и холизмом.

³² *Triole J.* Op. cit. P. 2–3. Немного дальше автор приводит показатели затрат и прибылей, связанных с различными категориями продукции (в частности, теоретическими и эмпирическими) на рынке экономической науки, что позволяет понять сравнительные судьбы «гарвардской традиции» и новой «теории промышленной организации», которую он отстаивает. «Until the 1970¹, economic theorists (with a few exceptions) pretty much ignored industrial organization, which did not lend itself to elegant and general analysis the way the theory of competitive general equilibrium analysis did. Since then, a fair number of top theorists have become interested in industrial organisation».

³³ *Mason E. S.* Price and Production Policies of Large-scale Enterprise // *The American Economic Review. 1939. XXIX. № 1. P. 61–74; 64.*

³⁴ *Mason E. S.* Op. cit. P. 68. Обращаю внимание на постоянные переходы от языка структуры и структурного принуждения к языку сознания и преднамеренного выбора.

³⁵ Макс Вебер замечает, что товарообмен является исключительным примером самой инструментальной и самой рассчитанной из всех форм действия, это «архетип рационального действия», представляющий «мерзость для всей системы братской морали» (*Weber M. Economie et société. P.: Plon. 1971. P. 633*).

³⁶ Теория менеджмента, специальная учебная «бизнес-литература» для бизнес-школ, выполняет функцию, очень похожую на функцию юридических текстов XVI и XVII веков, которые под видом описания государства участвовали в его становлении. Так, разработанная для менеджеров, актуальных или по-

тенциальных, теория менеджмента постоянно колеблется между позитивным и нормативным и основывается на переоценке доли сознательно преследуемых стратегий относительно доли структурных ограничений и диспозиций руководителей.

³⁷ Kotler Ph. *Marketing Management, Analysis, Planning, Implementation, and Control*. Englewood Cliffs, Prentice Hall, 1988. P. 239.

³⁸ Chandler A.D. *La main visible des managers*. Trad. F. Lander. P.: *Economica*, 1988. P. 70–72.

³⁹ Несмотря на то что этот взгляд порой оспаривается, в последние годы, поскольку в периоды после кризиса иерархии постоянно меняются и слияния-передачи позволяют малым предприятиям покупать большие или действительно конкурировать с ними, мы тем не менее наблюдаем достаточно значительное постоянство списка 200 самых крупных предприятий в мире.

⁴⁰ Chandler A. D. *Scale and Scope, The Dynamics of Industrial Capitalism*. Cambridge: Harvard University Press, 1990. P. 589–599.

⁴¹ Cappbell J., Linberg L. *Property Rights and the Organization of Economic Action by the State* // *American Sociological Review*. 1990. № 55. P. 634–647.

⁴² Нейл Флигштейн показал, что нельзя понять изменения в управлении фирмами без тщательного анализа отношений с государством, которые складываются на предприятии в течение долгого времени, — и все это при самом благоприятном отношении к либеральной теории, в Соединенных Штатах, где государство оказывается решающим агентом структурирования промышленности и рынков. См.: Fligstein N. *The Transformation of Corporate Control*. Cambridge: Harvard University Press, 1990.

⁴³ Государство вовсе не является одним лишь механизмом координации спроса и предложения. Если роль государства очевидна в примере продажи домов, то другие институты и другие агенты тоже могут вмешиваться, как, например, сети по знакомству при продаже крэка (*Bourgeois Ph. Searching for Respect : Selling Crack in El Bario*. Cambridge: Cambridge University Press, 1996), или «сообщества», формируемые завсегдатаями аукционов (*Smith C. Auctions*. — Berkeley: University of California Press, 1990), или агенты специально назначенные отвечать за связь предложения и спроса (как *matchmaker* в экономике кулачных боев) (*Wacquant L. A Flesh Peddler at Work: Power, Pain, and Profit in the Prizefighting Economy* // *Theory and Society*. 1997. № 27.)

⁴⁴ Для крупных французских предпринимателей можно установить достаточно тесное соответствие пространства предприятий и пространства их руководителей по критерию объема и структуры их капитала (см.: Bourdieu P., Saint Martin M., de. *Le*

patronat // *Actes de la recherche en sciences sociales*. 1978. № 20/21. P. 3–82.)

⁴⁵ В уже процитированной нами выше работе Н. Флигштейна (*Fligstein N. The Transformation of Corporate Control*. Op. cit.) описывается, как управление фирмой постепенно переходит под давлением руководителей отделов от производства к маркетингу, а затем к финансам. См. также на эту тему: *Fligstein N., Markowitz L. The Finance Conception of the Corporation and the Cause of the Reorganization of Large American Corporations*, 1979–1988 // *Wilson W. J. (ed.) Sociology and Social Policy*. Beverly Hills: Sage, 1993; *Fligstein N., Dauber K. Structural Change in Corporate Organization* // *Annual Review of Sociology*. 1989. № 15. P. 73–96; *The Intraorganizational Power Struggle: The Rise of Finance Presidents in Large Corporations* // *American Sociological Review*. 1987. № 52. P. 44–58.

⁴⁶ Мы исследовали, как силовые отношения между обладателями разных видов компетенции связаны с разными видами образования (Национальная школа администрации, Высшая политехническая школа, Высшая школа коммерции), а тем самым — отношения между соответствующими им функциями администрирования, технологии, коммерции и конкуренцией или соперничеством, которые ставят их исполнителей в оппозицию друг другу внутри поля власти на предприятии. Можно видеть, как эти силовые отношения детерминируют принятие наиболее важных для предприятия решений.

⁴⁷ *White H. Where do markets come from?* // *American Journal of Sociology*. 1981. № 87. P. 517–547.

⁴⁸ Ibid.

⁴⁹ *Bourdieu P. Méditations pascaliennes*. Op. cit.

⁵⁰ *Becker G. S. A Treatise on the Family*. Cambridge: Harvard University Press, 1981. P. ix; *Becker G. S. The Economic Approach to Human Behaviour*. Chicago: The University of Chicago Press, 1976.

⁵¹ *Pareto V. Manuel d'économie politique*. Genève: Droz, 1964. P. 41. Можно заметить, что в отличие от методологического индивидуализма, для которого есть только одна альтернатива сознательного и волевого действия, удовлетворяющего определенным условиям эффективности и последовательности, и «социальной нормы», действенность которой также определяется выбором, — Парето признает, по крайней мере, существование другого принципа действия: обычай, традицию, привычку.

⁵² Уже Веблен защищал идею, что экономический агент не является «мешком желаний» (*a bundle of desires*), но «согласованной структурой склонностей и привычек» (*a coherent structure of*

propensities and habits). (Veblen Th. Why is Economics not an Evolutionary Science? // The Quartetly Journal of Economics. July 1898. P. 390.) Джеймс С. Дьюсенберри также отмечал, что основание решения о потреблении нужно искать не в рациональном планировании, а скорее в обучении и формировании привычек. Он установил, что потребление зависит от прошлых доходов в той же степени, что и от настоящих. (Duesenberry J. S. Income. Saving and the Theory of Consumer Behavior. Cambridge: Harvard University Press, 1949.)

⁵³ Mintz S. Sweetness and Power. The Sugar in Modern History. New York: Viking Penguin, 1985.

⁵⁴ Bourdieu P. La Distinction. Critique sociale du jugement de goût. Op. cit.; Levine L. High Brow: The Emergence of Cultural Hierarchy in America. Cambridge: Harvard University Press, 1988. Анализ социальных и экономических детерминаций предрасположенности к покупке или к найму жилья, отход от антиисторического определения предпочтений вовсе не обрекают исследователя на релятивизм, который мог бы воспрепятствовать рациональному познанию вкусов, обычно оставляемых исследователями на простой и чистый социальный произвол (как это пытается утвердить старая формула «*de gustibus non est disputandum*», упоминаемая также и Гари Беккером). Напротив, это приводит нас к необходимости обнаружить эмпирически статистические связи, устанавливаемые между вкусами в разных областях практики и экономическими и социальными условиями их формирования, т. е. настоящей и прошлой позициями (траекториями) агентов в структуре распределения экономического капитала и культурного капитала (или, если угодно, состоянием в рассматриваемый момент и эволюцией во времени объема и структуры их капитала).

⁵⁵ Трудности всякой попытки свободно переосмыслить основания экономики происходят оттого, что экономическая ортодоксия сегодня является несомненно самым сильным дискурсом в социальном мире, чему способствует, в частности, математическая формализация, придающая видимость строгости и нейтральности. Несмотря на то что экономическая теория далеко не едина и что можно в ней различить социологически доминантный *core hard*, организованный вокруг отдельного индивида и абстрактного рынка, дополнительные и корректирующие теории (теория игр, институциональная теория, эволюционистская теория) и антагонистические теории, она организуется в социальном плане согласно модели длинных цепей бытия (*great chain of being*), столь дорогих Артуру Ловежуа, где с одного конца

помещаются чистые и возвышенные математики, приверженцы теории общего равновесия, а с другого конца — авторы малых моделей прикладной экономики. Причем первые служат залогом легитимности для вторых, тогда как вторые придают первым видимость влияния на реалии мира как он есть.

⁵⁶ *Durkheim E. Cours de sciences sociales // Durkheim E. La science sociale et l'action. Paris : PUF, 1970 (1éd. 1888). P. 85.*

⁵⁷ *Veblen Th. Why is Economics not an evolutionary Science ? // The Quarterly Journal of Economics. July 1898. P. 373–397.*

⁵⁸ Критику подобной идеалистической претензии можно найти у А. Хиршмана: *Hirschman A. Rival Interpretations of Market society: Civilizing, Destructive or Feeble? // Journal of Economic Literature. 1982. № 20 (4). P. 1463–1484.*

⁵⁹ *Stigler G. J., Becker G. S. De Gustibus non est disputandum // American Economic Review. 1977. № 67. P. 76–90.*

⁶⁰ См.: *Tversky A., Kahneman D. Op. cit.*

⁶¹ Можно взять в качестве примера результаты, полученные бихевиористами, в частности Гербертом Симоном, не разделяя, однако, их философии действия. Так, Г. Симон обращал внимание на величину неопределенности и неполноты знаний, которые влияют на процесс принятия решения, а также на ограниченные возможности человеческого мозга. Он отвергал общую гипотезу о максимизации, но пользовался понятием «bounded rationality»: агенты могут быть не способны собрать и переработать всю необходимую информацию для принятия общих решений о максимизации, но могут сделать рациональный выбор из ограниченного множества возможностей. Предприятия и потребители не максимизируют, а стремятся достичь приемлемого минимума (*satisficing*), принимая во внимание невозможность собрать и обработать всю необходимую информацию, чтобы достичь максимума. (*Simon H. Reason in Human Affairs. Stanford: Stanford University Press, 1984.*)

⁶² Намек на шутку в духе Мольера: «Почему опиум вызывает сон?.. Потому что у него снотворная способность». Выражение используется, чтобы высмеять сугубо словесное объяснение. — *Прим. перев.*

⁶³ См. *Bourdieu P. Algérie 60. Op. cit.*

⁶⁴ *Kirman A. P. L'hypothèse de l'individu «représentatif»: une analyse critique // Problèmes économiques. 1993. Vol. 2325. P. 5–14.*

ПРОИЗВОДСТВО ВЕРЫ. ВКЛАД В ЭКОНОМИКУ СИМВОЛИЧЕСКИХ БЛАГ*

Еще раз, слово «предприниматель»
меня смущает.

Свен Нильсен, генеральный директор
издательства «Presse de la Cité»

Я имел честь, если не сказать
удовольствие, потерять деньги,
отдавая на перевод два
монументальных тома
Карлоса Бейкера о Хемингуэе.

Робер Лаффон

Отрицание «экономики»

Торговля искусством, торговля тем, что не продается, относится к классу практик, где смогла выжить логика докапиталистической экономики (как при другом режиме — экономика обменов между поколениями). Функционируя как практическое *отрицание*, эти практики могут делать то, что они делают, только так, как если бы не делали. Бросая вызов обычной логике, такие двоякие прак-

* © *Bourdieu P.* La production de la croyance. Contribution à l'économie des biens symboliques // Actes de la recherche en sciences sociales. 1977. № 13. P. 3-43.

тики допускают две противоположные, но одинаково ложные интерпретации, которые избавляют их от сущностной двойственности и двуличности путем редукции либо к отрицанию, либо к тому, что отрицается, к бескорыстию или к корысти. Вызов, который экономики, основанные на отрицании «экономики», бросают всем разновидностям экономизма, заключается как раз в факте, что они функционируют и могут практически (а не только в представлениях) функционировать только за счет постоянного и коллективного вытеснения из сознания собственно «экономического» интереса и истины практик, которую обнажает «экономический» анализ.¹

В таком экономическом универсуме, определенном в самом своем функционировании через «отказ» от «торгов», который есть не что иное, как коллективное отрицание интересов и коммерческих прибылей, самые «антикапиталистические» поступки, самые очевидно «бескорыстные», те, что в обычном «экономическом» мире были бы безжалостно осуждены, заключают в себе форму экономической рациональности (даже в узком смысле) и ни в коей мере не исключают получение авторами прибылей, даже «экономических», достигающих тем, кто ведет себя в соответствии с законом универсума. Иначе говоря, в стороне от поиска «экономической» прибыли — которая, превращая торговлю культурными благами в рядовую торговлю, «экономически» не самую прибыльную (как об этом напоминают самые продвинутые, т. е. самые «бескорыстные» из торговцев искусством), довольствуется тем, что подлаживается под спрос изначально подготовленной клиентуры — остается место для *накопления символического капитала*, как отрицаемого экономического или политического капитала, неузнанного и признанного, а потому легитимного «кредита», способного при определенных условиях и всегда в свой срок гарантировать «экономические» выгоды. Производители и продавцы культурных благ, занимающиеся «торговлей», сами себе выносят приговор, причем не только с моральной или эстетической точки зрения, поскольку они лишают себя возможностей, дарованных тем, кто — *умея признавать спе-*

цифические требования универсума или, если угодно, не признавать самим и не давать признавать другим существующие выгоды от их практики — получает средства для извлечения прибылей из бескорыстия. Короче говоря, когда единственным полезным и производительным капиталом является такой неузнанный, признанный, легитимный капитал, который называют «престижем» или «авторитетом», тогда экономический капитал, наличие которого обычно подразумевают предприятия культуры, может обеспечить специфические прибыли, производимые полем (и тем самым «экономические» прибыли, которые они всегда подразумевают), лишь при условии его обращения в символический капитал. Для автора, как и для критика или продавца картин, для издателя или директора театра, единственным легитимным накоплением будет получение известности, узнаваемого и признанного имени, ведь капитал известности заключает в себе власть освящать как предметы (эффект марки или подписи), так и личности (через публикацию, организацию выставок и т. п.), а следовательно, — придавать им ценность и получать прибыли с этой операции.

Отрицание не является ни действительным отказом от «экономического» интереса, который неотвязно следует за самыми «незаинтересованными» практиками, ни простой «маскировкой» меркантильных аспектов практики, как могли бы подумать наиболее внимательные наблюдатели. Экономическое предприятие, отрицаемое продавцом картин или издателем, «культурными банкирами», в которых на практике встретились искусство и бизнес, обрекая их на роль «козлов отпущения», — не может быть успешным даже в «экономическом» плане, если оно не руководствуется освоенными на практике законами функционирования поля производства и обращения культурных благ, тем совершенно невероятным (во всяком случае, редко бывающим удачным) сочетанием реализма, который предполагает хотя бы минимальные уступки отрицаемым, но не отвергаемым «экономическим» потребностям, и убеждения, которое их исключает.¹ Именно потому что отрицание экономики не является ни простой идеологической маской, ни полным презрением эконо-

мических интересов, новые производители, обладающие только одним капиталом — своей убежденностью, могут, с одной стороны, заставить признать себя на рынке, требуя признания за собой ценностей, от имени которых господствующие уже накопили свой символический капитал, а с другой стороны, только те из новичков, кто умеет входить в сделку с «экономическими» требованиями, вписанными в эту экономику лицемерия, могут рассчитывать в полной мере на получение «экономических» прибылей с их символического капитала.

Кто творит «творца»?

Харизматическая идеология, лежащая в основе веры в ценность произведения искусства и, таким образом, самого функционирования поля производства и циркуляции культурных благ, без сомнения, представляет главное препятствие на пути строгой науки о производстве ценности предметов культуры. В действительности, именно эта вера направляет взгляд на видимого производителя: художника, композитора, писателя — короче говоря, «автора», не давая задаться вопросом, что «авторизует» автора, на чем основан авторитет, на который опирается автор. Если совершенно очевидно, что стоимость картины не определяется суммой расходов на производство, исходные материалы, время работы художника, и если произведение искусства является золотым эталоном для тех, кто хочет опровергнуть марксистскую теорию трудовой стоимости (которая, впрочем, придает художественному производству статус исключения из правил), то потому, может быть, что мы плохо определяем единицу производства или, что одно и то же, производственный процесс.

Мы можем поставить вопрос в самом его конкретном виде: кто — художник или продавец, писатель или издатель или же директор театра — является настоящим производителем ценности произведения? Идеология творчества, подающая автора как первую и последнюю причину ценности произведения, утаивает, что торговец предметами искусства (продавец картин, издатель и пр.) — это неизбежно тот, кто использует труд «создателя», торгуя

«святым»; это тот, кто, вынося его на рынок благодаря выставке, публикации или постановке, *освящает* продукт, который иначе оставался бы в состоянии природных ресурсов; это тот, кто умеет «открывать», и тем успешнее, чем больше он сам признан.³ Торговец искусством — это не просто тот, кто придает произведению коммерческую ценность, соотнося ее с неким рынком; он не просто представитель, импресарио, который, как говорится, «защищает своих любимых авторов». Он — тот, кто может объявить ценность защищаемого автора (не без помощи фиктивных каталогов или отдельных листовок, якобы бы в дополнение к каталогу), а главное, он «вкладывает свой престиж» в его пользу, действуя как «символический банкир», давая обещание под гарантию всего своего накопленного символического капитала (который он может действительно потерять в случае «ошибки»).⁴ Такое вложение, относительно которого другие, «экономические», инвестиции выступают просто гарантиями, позволяет ввести производителя в круг посвященных. В литературу входят не так, как в религию, но как в клуб избранных: издатель выступает одним из престижных поручителей (давая предисловия, критику и т. п.), а члены клуба обеспечивают старательные свидетельства признания. Еще более ясна роль торговца, который должен реально «вводить» художника и его творчество в компанию все более и более избранную (групповые выставки, персональные выставки, престижные коллекции, музеи) и в места все более и более редкостные и изысканные. Однако закон данного универсума, гласящий, что инвестиция тем продуктивнее в символическом плане, чем менее открыто о ней объявляют, приводит к тому, что действия по продвижению товара, которые в деловом мире принимают открытую форму рекламы, в нашем случае должны принимать эвфемизированную форму: торговец произведениями искусства может пользоваться своим «открытием», только если он поставит себе на службу всю свою убежденность, которая исключает «низкие торгашеские» приемы, манипуляцию и «давление», отдавая приоритет более мягким и скромным формам «связей с общественностью» (являющимся высоко эвфемизированными

формами рекламы), приемам, светским раутам, — очень разумно размещенной конфиденциальности.⁵

Круг веры

Продвигаясь от «создателя» к «открывателю» как «творцу творцов», мы только сдвинули с места первоначальный вопрос, и теперь нужно определить, откуда черпает торговец искусством признаваемую за ним власть посвящения. Здесь сразу возникает готовый харизматический ответ: «крупные» торговцы, «большие» издатели являются «первооткрывателями» от бога, их ведет бескорыстная и бездумная страсть к творчеству, а потому они «создают» художника или писателя или дают ему возможность реализоваться, поддерживая его в трудные моменты своей верой в него, направляя его своими советами и избавляя от материальных забот.⁶ Если мы не хотим бесконечно подниматься по цепочке причинных связей, то нам, наверное, нужно перестать думать в логике «первоначала», которая поощряется всей существующей традицией, но неизбежно приводит к вере в «творца». Недостаточно указать, как это часто делается, что «открыватель» никогда не открывает ничего, что бы не было уже открыто как минимум некоторыми: художник, уже известный небольшой группе художников или знатоков, автор, «введенный» другими авторами (известно, например, что рукописи, отобранные для публикации, почти никогда не приходят «с улицы», но почти всегда через известных посредников). «Авторитет» «открывателя» сам по себе является доверительной ценностью, которая существует лишь в связи со всем ансамблем поля производства. Здесь речь идет о связи с художниками и писателями, входящими в его «запасники» («издатель, — сказал один из них, — это его каталог»), и с теми, кто туда не входит, но хотел бы или не хотел бы там оказаться. Кроме того, о связи с другими коммерсантами или другими издателями, которые более или менее завидуют ему из-за «его» авторов или писателей и способны этих авторов у него «украсть». А также о связи с критиками, доверяющими более или менее его мнению и говорящими о его «продукции» с боль-

шим или меньшим уважением. И наконец, о связи с клиентами, которые более или менее воспринимают его «марку» и более или менее ей доверяют. Такой «авторитет» есть не что иное, как «кредит» у множества агентов, которые образуют «связи» тем более ценные, чем большими кредитами они обеспечены. Далеко не очевидно, что критики сотрудничают с торговцами искусством в их работе по признанию, которая дает репутацию и, хотя бы со временем, денежную ценность произведениям. «Открыватели» «новых талантов», критики, своими текстами или советами направляют выбор продавцов и покупателей; они часто бывают рецензентами или ответственными за серию в издательстве, или постоянными авторами предисловий к каталогам; с их приговором, якобы чисто эстетическим, связаны значительные экономические последствия (жюри и т. п.). Наконец, среди тех, кто создает произведение искусства, нужно упомянуть клиентов, которые участвуют в придании ему ценности, присваивая его материальным образом (коллекционеры) или символически (зрители, читатели), а также тем, что отождествляют субъективно или объективно часть ценности произведения с таким присвоением. Итак, тот, кто «создает репутации», это не та или иная «влиятельная» персона, как наивно думают провинциальные растиньяки, тот или иной институт, журнал, еженедельник, академия, объединение, торговец, издатель; это даже не группа тех, кого порой называют «влиятельными лицами из мира искусства и литературы», — это поле производства как система объективных связей между этими агентами или институтами и место борьбы за монополию власти признания, место, где постоянно порождаются ценность произведений искусства и вера в эту ценность.⁷

Вера и недоверие

Основой эффективности любых действий по признанию является само поле — место аккумулированной социальной энергии, которую агенты и институты прикладывают, для воспроизводства поля в борьбе, которой они пытаются завладеть и в которую вводят все, что смогли

приобрести на предыдущих этапах борьбы. Ценность произведения искусства вообще, служащая фундаментом ценности каждого отдельного произведения, а также вера, на которой она основана, рождаются в непрекращающихся и бесчисленных битвах за придание особой ценности тому или иному отдельному произведению. Иначе говоря, она формируется не только в конкуренции между агентами (авторами, актерами, писателями, критиками, режиссерами, издателями, торговцами и т. д.), интересы которых (в самом широком понимании) связаны с различными культурными благами (буржуазный театр или «интеллектуальный», признанная живопись или авангард, литература академическая или «продвинутая»), но и в конфликтах между агентами, занимающими различные позиции в производстве продукции одного вида (между художниками и торговцами живописью, авторами и издателями, писателями и критиками и т. п.). В этих битвах, даже если «коммерческое» и «некоммерческое», «бескорыстие» и «цинизм» никогда открыто не ставятся в оппозицию, почти всегда признаются высшие ценности «незаинтересованности» и осуждаются меркантильный компромисс с противником или расчетливые маневры. Именно отрицание «экономики» занимает центральное место в поле и возведено в принцип его функционирования и преобразования.

Двоякая истина об амбивалентных отношениях между художником и торговцем или между писателем и издателем особенно хорошо видна во времена кризисов, когда открывается объективная истина каждой позиции и их отношения, и в то же время заново подтверждаются ценности, являющиеся причиной ее сокрытия. Положение торговца искусством, как никакое другое положение, позволяет знать интересы производителей предметов искусства, стратегии, которые они используют, чтобы защитить свои интересы или замаскировать эти стратегии. Если он создает защитный барьер между художником и рынком, то он же и связывает его с рынком и самим своим существованием провоцирует беспощадное разоблачение правды о художественной практике: чтобы навязать свои интересы художнику, торговцу достаточно замкнуть того в рамках «бескорыстных» занятий. Достаточно открыть

глаза, чтобы обнаружить, что художники и писатели — за минусом некоторых ярких исключений, как будто сделанных специально, чтобы напомнить об идеале, — глубоко небескорыстны, расчетливы, одержимы мыслями о деньгах и готовы на все ради успеха. Артисты не могут даже заявить о том, что их эксплуатируют, чтобы не признаться в своих корыстных мотивах, хотя именно они могли бы вывести на свет божий стратегии торговцев искусством, то чутье на рентабельную (экономически) инвестицию, которое направляет их эстетически-аффективные инвестиции. Соперничающие соучастники, производители предметов искусства и торговцы их произведениями, как можно видеть, опираются на один и тот же закон, требующий подавления любых прямых проявлений личной заинтересованности, по крайней мере в ее откровенно «экономическом» виде. Этот закон обладает всеми внешними признаками трансцендентального, высшего закона, хотя является всего лишь продуктом перекрестной цензуры, в равной мере распространяющейся на обе стороны: цензора и цензурируемого.

Сходный механизм действует при получении известности и признания неизвестным ранее художником, не имеющим никакого кредита и неплатежеспособным: борьба за навязывание господствующего определения искусства — т. е. за навязывание некоего стиля, воплощенного одним отдельным производителем или группой производителей — превращает произведение искусства в ценность, делая его ставкой в игре как внутри самого поля производства, так и за его пределами. Каждый может оспорить претензию своих противников на определение того, что является, а что нет произведением искусства, однако само право на претензию никто под вопрос не ставит. Во имя убеждения в существовании хорошей и плохой живописи конкуренты взаимно исключают друг друга из поля живописи, наделяя его тем самым целью и движущими силами, без которых поле не могло бы существовать. Ничто другое не смогло бы лучше замаскировать объективный сговор, положенный в основу собственно художественной ценности, чем такой антагонизм, посредством которого он осуществляется.

Ритуальное святотатство

Этому анализу можно было бы противопоставить попытки разорвать круг веры, участвовавшие в шестидесятых годах XX века, главным образом, в живописи. Однако слишком очевидно, что такого рода попытки ритуального святотатства, десакрализации, еще более сакрализирующей, оскорбляют одних только верующих и обречены на то, что в свое время они будут сакрализированы и создадут новую веру. Вспомним Манцони с его линиями в дереве, его консервными банками с «дерьмом Артиста», его магическими пьедесталами, способными превращать в произведение искусства помещенные на них вещи, или наложение подписей на живых людей, трансформированных тем самым в предметы искусства. Или Бена, умножившего эти провокационные «деяния» и насмешки, как, например, экспозиция куска картона, снабженного этикеткой «уникальный экземпляр», или холста с подписью «холст длиной 45 см». Парадоксально, но именно судьба таких с виду радикальных, субверсивных попыток лучше, чем что-либо другое, показывает логику функционирования художественного поля. Примененное к акту художественного творения намерение надсмеяться, уже закрепленное Дюшаном за артистической традицией, немедленно превращает такие попытки в художественные «акции», которые именно так и регистрируются и таким образом освящаются инстанциями признания. Искусство не может донести правду об искусстве, не обнажая его при этом и не делая из этого раздевания художественного представления. Напротив, знаменательно, что все попытки поставить под вопрос само поле художественного производства, логику его функционирования и выполняемые им функции средствами высоко сублимированного и двусмысленного дискурса или артистических «акций» — как у Макьюнаса или Флинта — все с той же необходимостью обречены на осуждение даже среди самых неортодоксальных хранителей художественной ортодоксии. Отказываясь играть игру, оспаривать искусство по правилам (т. е. художественно), их авторы ставят под вопрос не манеру

игры, а саму игру и веру, которая ее питает, а это — единственное преступление, которое нельзя искупить.

Коллективное неузнавание

Почти магическое действие подписи есть ничто другое как власть, признанное за отдельными людьми право мобилизовать символическую энергию, произведенную функционированием всего поля. Иначе говоря, это вера в игру и ее ставки, которую порождает сама игра. М. Мосс хорошо видел, что вопрос не в том, чтобы узнать, какими специфическими свойствами обладает маг или каковы магические действия и представления, но в том, чтобы определить основы коллективной веры, а точнее, *коллективного неузнавания*, коллективно произведенного и поддерживаемого, которое лежит в основе власти, присвоенной магом. «Невозможно понять магию вне магической группы», поскольку власть мага, наилучшим примером которой является магия подписи или грифа, это хорошо обоснованный обман, злоупотребление легитимной властью, коллективно неузнаваемое, следовательно, признаваемое. Художник, ставящий свою подпись на *реди-мейд*, производит предмет, рыночная цена которого совершенно несоразмерна с его себестоимостью. Он коллективно уполномочен осуществить магическое действие, которое ничего бы не значило без всей той традиции, воплощением которой является его деяние, вне мира священников, совершающих богослужение, и верующих, придающих ему смысл и ценность через соотнесение с традицией. Не стоит искать где-либо еще, кроме как в самом поле — т. е. в системе образующих его объективных связей, в борьбе, местом которой оно является, и в специфическом виде энергии или капитала, который в нем порождается, — начало власти «творца», этой разновидности *mana* и невыразимой *charisma*, восхваляемой традицией.

Таким образом, и верно и неверно будет сказать, что рыночная стоимость произведения искусства совершенно несоразмерна с его себестоимостью. Верно, если мы при-

нимаем в расчет только изготовление материального предмета, за которое отвечает один лишь художник. Неверно, если мы понимаем создание произведения искусства как священного и освященного предмета, произведенного огромным предприятием социальной алхимии, в котором участвуют с одинаковой убежденностью, но с разной прибыльностью, множество агентов, включенных в поле производства: неизвестных художников и писателей и признанных «мэтров», критиков и издателей, авторов, воодушевленных клиентов и убежденных продавцов. Каждый, включая самых непросвещенных, вносит свою лепту, которую не учитывает частичный материализм приверженцев экономизма. Достаточно принять это в расчет, чтобы понять, что произведение искусства, т. е. произведение артиста, не составляет исключения из правила сохранения социальной энергии.⁴

Господствующие и претендующие

Поскольку поля производства культурных благ представляют собой универсумы веры, которая действует лишь в силу того, что может производить одновременно продукт и потребность в нем в процессе практик, представляющих собой отрицание обычных «экономических» практик, постольку разворачивающиеся в них битвы суть крайние конфликты, которые вовлекают целиком все отношение к «экономике». «Верующие», чей капитал состоит в одной лишь вере в принципы экономики недоверия, ратуют за возврат к истокам, за абсолютный и непреклонный отказ от начальников и осуждают скопом торговцев в храме, которые приносят на территорию веры и сакрального коммерческие практики и интересы, и фарисеев, извлекающих свои земные прибыли с капитала признания, накопленного ценой образцового подчинения требованиям поля. Благодаря этому фундаментальный закон поля оказывается непрерывно востребованным и подтвержденным «новичками», входящими в поле, которые более других заинтересованы в отрицании заинтересованности.

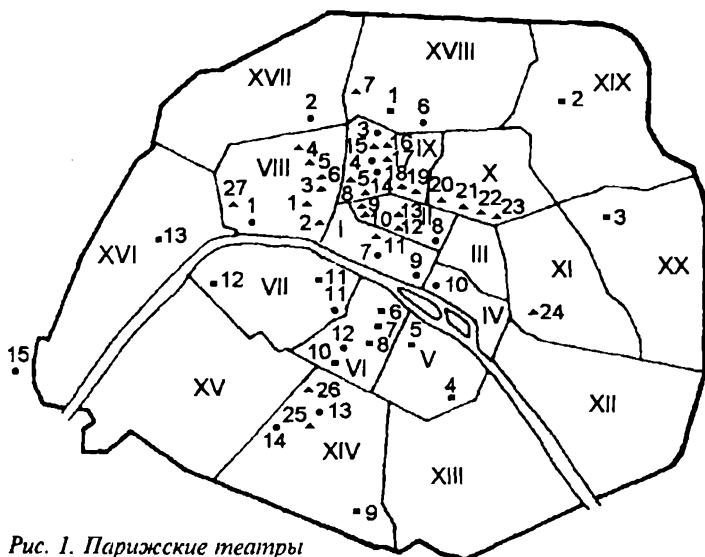


Рис. 1. Парижские театры

▲ Бульварные театры	● Нейтральные театры
1. Marigny	1. Studio Champs Elysées
2. Ambassadeurs P. Cardin	2. Hébertot
3. Madeleine	3. 347
4. Charles de Rochefort	4. Mogador
5. Michel	5. Opéra
6. Mathurins	6. Atelier
7. Européen	7. Comédie Française
8. Athénée. Comédie Caumartin.	8. Biothéâtre
Edouard VII	9. Th. du Châtelet
9. Capucines	10. Th. de la Ville
10. Daunou	11. Récamier
11. Palais Royal	12. Act. Alliance française
12. Michodière	13. Montparnasse
13. Bouffes Parisiens	14. Plaisance
14. Th. de Paris. Théâtre moderne	15. Ouest Parisien
15. Oeuvre	
16. Fontaine	■ Интеллектуальные театры
17. La Bruyère. St. Georges	1. Tertre
18. Variétés	2. Th. présent la Villette
19. Nouveautés	3. T.E.P.
20. Gymnase	4. Mouffetard
21. Antoine	5. Huchette
22. Renaissance	6. St. André des Arts
23. Porte de St. Martin	7. Odéon
24. Cyrano	8. Petit Odéon
25. Gaîté Montparnasse	9. Cité internationale
26. La lucernaire	10. Poche montparnasse
27. Comédie Champs Elysées	11. Orsay. 12. Mécanique
	13. T.N.P.

Правый берег — левый берег

Структурообразующие позиции и оппозиции в различных полях часто проявляются в делении пространства, но это не должно нас обманывать. Физическое пространство — это всего лишь пустая рамка для социальных свойств агентов и институтов. Распределяясь в ней, они формируют социально упорядоченное социальное пространство. В обществе, где есть классовые деления, всякое отдельное распределение в пространстве оказывается социально квалифицированным через его связь с распределением в пространстве классов и групп и с их имущественными характеристиками (владением землей, домами и пр.). Поскольку распределение агентов и институтов, связанных с различными позициями, составляющими какое-то определенное поле, носит неслучайный характер, то занимающие господствующие позиции в отдельных полях имеют тенденцию ориентироваться на господствующие позиции в социальном пространстве (т. е. позиции, занятые господствующими). При этом пространственные распределения разных полей имеют тенденцию накладываться друг на друга. Это хорошо видно в Париже с его оппозицией между правым берегом и левым берегом, которая подходит практически для всех полей (за исключением издательств: почти все они находятся на левом берегу). Невозможно понять наиболее специфические характеристики концентрации в пространстве торговли предметами роскоши (улица Фобур Сент-Оноре и улица Руайаль в Париже или Мэдисон Авеню и Пятая Авеню в Нью-Йорке), если не принимать во внимание, что разные классы агентов и институтов, которые они учреждают (например, антиквары или художественные галереи), занимают гомологичные позиции в разных полях и что локальный рынок, сформированный объединением таких институтов, предлагает совокупность отличительных символов «класса», соответствующих системе вкусов. Таким образом, картографирование рас-

пределения в пространстве некоего класса агентов и институтов представляет собой очень сильную технику наблюдения, если уметь читать связи, установившиеся между структурой системы позиций, входящих в поле, и структурой социального пространства, где последнее само определяется связью между благами, распределенными в пространстве, и агентами, определенными по их неравной способности к присвоению этих благ.

Распределение в городском пространстве театров и галерей наиболее наглядно приближается к распределению в поле (см. схему распределения театров). Издатели концентрируются на левом берегу (нужно учитывать существование оппозиций между шестым, более «интеллектуальным», округом и пятым, более «учебным»). Органы прессы избегают пространственной поляризации, поскольку все концентрируются в одном округе (квартал Бон Нувель), но те из них, кто не размещается в этом округе, распределены не случайным образом: в 16-м и в 8-м округах расположены в основном экономические еженедельники («Экспансьон», «Эко») и журналы правой ориентации; в периферийных округах на севере расположены главным образом органы прессы левой ориентации или крайне левые («Секур Руж», «Ля Пансе», «Нувель Ревю Социалист» и др.); на левом берегу — «интеллектуальные» еженедельники и журналы.

Торговля предметами роскоши концентрируется в очень ограниченном ареале вокруг улицы Фобур Сент-Оноре, на которой собраны все институты, занимающие господствующие позиции в соответствующих полях. Так, на одной только этой улице насчитывается: 9 заведений высокой моды, 19 — парикмахерского искусства, 19 ателье по пошиву костюмов и рубашек, 37 институтов красоты, 14 торговцев мехом, 15 ателье по пошиву обуви, 11 ателье по изготовлению седел и кожгалантереи, 9 ювелиров, 28 антикваров, 25 художественных галерей и торговцев картинами, 17 декораторов, 13 художников, 3 школы эстети-

ческого воспитания, 5 издателей роскошных книг и рекламной продукции, 2 ателье проката предметов для организации приемов, 1 кулинария, 2 концертных зала, 2 школы и клуб верховой езды и т. д. Таким образом, мы можем понять символизм различия, который характеризует эти институты, только в связи с совокупностью учреждений каждой категории коммерции: ссылка на уникальность и эксклюзивность «творения» («создатель», «эксклюзивный создатель» и т. п.), которая часто подчеркивается упоминанием произведений искусства или художника-творца, графическое оформление логотипа, ссылка на традицию (готические шрифты, даты основания, преемственность), благородные имена, использование английских слов и оборотов или инверсий (французский язык играет ту же роль в англоязычной среде), *hair-dresser* или *haut-coiffeur* для парикмахерского искусства, *coupe styling* или *haut couture* для высокой моды, *shirtmaker* для закройщика мужских рубашек, галерейщик для антикваров, бутик для обозначения магазина, дизайнер или декоратор для продавца мебели и т. п.

Противопоставление «коммерческого» и «некоммерческого» обнаруживается повсюду. Оно служит порождающим принципом большинства суждений в области театра, кино, живописи, литературы, которые претендуют на установление границ между тем, что является искусством, а что нет. На практике это деление между «буржуазным» и «интеллектуальным» искусством, между «традиционным» искусством и «авангардом», между «правым берегом» и «левым берегом».⁹ Если такая оппозиция может изменить главное содержание и указать на очень различные реалии в зависимости от поля, она все же сохраняется как структурный инвариант в разных полях и в одном и том же поле в разные периоды. Она всегда устанавливается между узким производством и широким («коммерческим») производством, т. е. между, с одной стороны, приматом производства и поля производителей или даже приматом «производства для производителей»,

и, с другой стороны, приматом сбыта, публики, продаж, успеха, измеряемого тиражом. Или же оппозиция между долгим и прочным успехом «классики» и сиюминутным и преходящим успехом бестселлеров. Наконец, между продукцией, базирующейся на отрицании «экономики» и прибыли (тиражи и пр.), которая игнорирует или бросает вызов ожиданиям организованной публики и не может иметь никакого другого спроса, кроме того, что может создать со временем она сама, и продукцией, которая обеспечивает свой успех и соответствующие прибыли, примеряясь к уже существующему спросу. Характеристики коммерческого предприятия и характеристики культурного предприятия, как более или менее отрицающего отношение к коммерческому предприятию, неразрывно связаны. Различия в отношении к «экономике» и публике составляют одно целое с различиями официально признанными и зафиксированными в таксономиях, действующих в поле. Так, оппозиция между «истинным» и «коммерческим» искусством перекрывает оппозицию между простыми предпринимателями, стремящимися к немедленной экономической прибыли, и культурными предпринимателями, борющимися за накопление собственно культурной прибыли ценой временного отказа от экономической выгоды. Что же касается противопоставления этими предпринимателями признанного искусства авангарду, иначе говоря, ортодоксии — ереси, то оно сталкивает тех, кто господствует в поле производства и на рынке благодаря экономическому и символическому капиталу, который они смогли накопить в процессе предшествующей борьбы и с помощью особо удачной комбинации противоречивых специфических способностей, требующихся законом поля, и тех, кто только вошел в поле, новообращенных, которые не могут, да и не хотят иметь других клиентов, кроме собственных конкурентов среди признанных производителей, которых они стремятся дискредитировать, предлагая новые продукты, или среди новичков, с которыми они соперничают за новинки.

Позиция в структуре силовых отношений, неразрывно экономических и символических, которые определяют

поле производства, т. е. позиция в структуре распределения специфического капитала (и соответствующего ему экономического), через посредство практической или сознательной оценки шансов на получение прибыли, задает характеристики агентов или институтов и стратегии, применяемые ими в борьбе друг с другом. Со стороны доминирующих в поле, стратегии в основном защитные, они направлены на сохранение занимаемой позиции и *status quo*, пытаются продлить действие принципов, на которых основано их господство: мир такой, каким он должен быть, поскольку доминирующие господствуют и они такие, какими должны быть, чтобы господствовать. Иными словами, после выполнения жизненного предназначения господствующие сохраняют свое совершенство, оставаясь такими, какие они есть, без хвастовства и высокопарности демонстрируя безграничность своих средств посредством экономии средств, отказываясь от видимых стратегий отличительности и поиска эффектов, которые выдают претензии претендентов. Господствующие внутренне связаны с тишиной, скромностью, тайной, сдержанностью и ортодоксальным дискурсом, на которые их вынуждают угрозы пересмотра позиций со стороны вновь прибывших и необходимость платить за их постоянное подстраивание, — все это лишь еще одно явное подтверждение исходных достоверностей, которые идут сами собой и еще лучше без лишних слов. «Социальные проблемы» суть социальные связи: они определяются в конфронтации двух групп, двух систем интересов и антагонистических положений; в образующих их отношениях инициатива борьбы и определение охваченных ею территорий выпадают на долю претендентов, которые разрушают доксу, нарушают тишину и ставят под вопрос бесспорность беспроблемного существования господствующих. Что же касается подчиненных, то единственным их шансом заставить рынок признать себя становятся субверсивные стратегии, которые в конечном итоге могут принести им отрицаемые ими прибыли, при условии ниспровержения иерархии поля, но с сохранением ее основополагающих принципов. Таким образом, они обречены на частичные

революции, смещающие границы цензуры и нарушающие принятые условности, — все это во имя принципов, выдвигаемых этими революциями. Поэтому стратегией *par excellence* является возврат к истокам, который лежит в основе всех еретических ниспровержений и всех интеллектуальных революций. Возврат к истокам позволяет обратиться против господствующих оружие, которым они смогли добиться своего господства: аскеза, смелость, отвага, непреклонность, бескорыстие. Игра на повышение ценности, всегда немного агрессивная, требовательность, которая якобы должна напоминать об уважении к основополагающему закону универсума, отрицание «экономики» могут быть успешными, только если они служат образцовым подтверждением искренности отрицания.

В силу того, что институты производства и распространения культурных благ (как в живописи, так и в театре, как в литературе, так и в кино) базируются на отношении к культуре, неотделимом от отношения к «экономике» и рынку, то они стремятся организовать себя между собой в систему, обладающую структурным и функциональным подобием с полем, разделенным на подклассы господствующего класса (из которых рекрутируется наибольшее число их клиентов). Такая гомология между полем инстанций производства и полем фракций господствующего класса наиболее очевидна в случае театра. Оппозиция между «буржуазным театром» и «театром авангарда», эквиваленты которой можно найти в живописи или в литературе, действует как принцип деления, позволяющий практически классифицировать авторов, произведения, стили, сюжеты. Она базируется на реальности. Ее можно одинаково наблюдать через социальные характеристики публики разных парижских театров (возраст, профессия, место жительства, частота посещений, желаемая цена и т. п.), а также через структурно подобные им характеристики актеров, занятых в постановке (возраст, социальное происхождение, место жительства, стиль жизни и т. п.), произведений и самих театральных учреждений.

Действительно, «экспериментальный театр» во всех отношениях противостоит «бульварному

театру». С одной стороны, большие дотационные театры (Одеон, Восточный парижский театр, Национальный народный театр) и некоторые небольшие театры на левом берегу (Вьё Колобье, Монпарнас, Гастон Бати и др.)¹⁰, рискованные в экономическом и культурном плане предприятия, под постоянной угрозой краха, которые по относительно низкой цене за билет предлагают спектакли, порвавшие с условностями (и по содержанию, и по режиссуре) и предназначенные для молодой и «интеллектуальной» публики (студенты, преподаватели, интеллектуалы). С другой стороны, «буржуазные» театры (цитируя в порядке возрастания соответствующих качеств: Гимназия, Театр Парижа, Антуан, Амбассадор, Амбигю, Мишодьер, Варьете), обычные коммерческие предприятия, чья забота об экономической рентабельности принуждает к чрезвычайно осторожным культурным стратегиям; они не рискуют и не подвергают риску своих клиентов и предлагают проверенные спектакли (адаптированные английские или американские пьесы, репризы бульварной «классики») или спектакли, подобранные согласно известным и признанным рецептам для пожилых, для «буржуа» (управленческих кадров, представителей свободных профессий, руководителей предприятий), которые расположены платить более высокую цену за билет, чтобы присутствовать на развлекательном спектакле, построенном как по содержанию, так и по режиссуре согласно канонам эстетики, не меняющейся от века.¹¹ Между «бедным театром» в экономическом и эстетическом смысле, который адресуется к фракциям господствующего класса, обладающим наибольшим культурным капиталом и наименьшим экономическим капиталом, и «богатым театром», который ориентирован на фракции, имеющие самый большой экономический капитал и относительно бедные в плане культурного капитала, помещаются классические театры (Комеди Франсез, Ателье). Они «обмениваются» зрителями со всеми другими театрами¹² и представляют собой нейтральные

места, притягивающие примерно в равной пропорции публику из всех фракций господствующего класса. Классические театры предлагают нейтральную или эклектическую программу, «бульварный авангард» (по выражению одного из критиков в «Ля Круа»), главным представителем которого является Жан Ануй, или авангард, получивший широкое признание.¹³

Игра отражений

Эта структура возникла не сегодня. Когда Франсуаз Дорен в «Повороте», одном из самых успешных бульварных спектаклей, ставит авангардного автора в наиболее типичные водевильные ситуации, то она всего лишь заново открывает — одни и те же причины и одинаковые следствия — стратегии, которые с 1836 года Скриб использовал в «Товариществе» против Делакура, Гюго и Берлиоза. Чтобы защитить добродетельную публику от смелых выпадов и экстравагантности романтиков, он показывал Оскара Риге, знаменитого своей траурной поэзией, как бонвивана, человека непригодного, чтобы иметь дело с буржуазией «бакалейщиков», — короче, один за другого, квипрокво.¹⁴

Подобно социологическому тесту, пьеса Ф. Дорен, которая реализовала на сцене попытку бульварного автора превратиться в авангардного, позволяет наблюдать за тем, как оппозиция, структурирующая все пространство культурного производства, функционирует одновременно в умах, в форме систем классификации и категорий восприятия, и в реальности, через механизмы, производящие дополнительные оппозиции между авторами и их театрами, критиками и их газетами. Сама пьеса выводит контрастные портреты двух театров: с одной стороны, ясность и техническое совершенство, веселость, легкость и непринужденность — очень «французские качества»; с другой — «замаскированная показным самоотречением претензия», «блеф представления», серьезность, отсутствие юмора и обманчивая значительность, унылые речи и декорации («черный занавес и строительные леса, прямо скажем, сильно помогают»).

Распределение зрительской аудитории по театрам (сезон 1963/64 г.)

Названия театров	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1 TEP	X	57	48	35	35												
2 TNP		X	48		32		36										
3 Odéon		56	X				48	36									
4 Athénée		50	45	X	36												
5 Vieux Colombier		49	47		X			43									
6 Montparnasse G.Baty			49			X		48			47						
7 Comédie Française		40	48				X	35									
8 Atelier			39				38	X			41						
9 Ambigu			48					49	X		46						
10 Michodière			38		41			47		X							
11 Théâtre de Paris							37	49		38	X						
12 Comédie Champs Elysées							49	55			49	X					
13 Ambassadeurs								58		39	46		X				
14 Moderne								57			56		40	X			
15 Antoine								43			40		42		X		
16 Gymnase							36	40			37					X	
17 Variétés							38	42			46						X

* По горизонтали и вертикали в таблице дается один и тот же список театров.

** В строке для аудитории каждого театра приведены три других, наиболее часто посещаемых театра (помимо данного), указанных опрошенными зрителями.

Итак, авторы, пьесы, аргументы, слова, являющиеся или желающие казаться «смело легкими», радостными, веселыми, живыми, беспроблемными, как в жизни, стоят в оппозиции к «тяжеловесным», т. е. грустным, скучным, проблематичным и темным. «У нас, у нас будет веселая полка. У них, у них будет задумчивый зад».¹⁵ Оппозиция эта непреодолима, поскольку разделяет «буржуа» и «интеллектуалов» вплоть до самых базовых и общих, казалось бы, интересов. Все контрасты, которые Франсуаз Дорен и «буржуазные» критики применяют в своих суждениях о театре (в форме оппозиций между «черным занавесом» и «красивыми декорациями», «хорошо освещенными и удачно украшенными стенами», «чистыми и хорошо одетыми артистами») и, более широко, во всем своем восприятии мира, оказываются сконцентрированными в оппозиции между «жизнью в черном свете» и «жизнью в розовом свете». Мы увидим далее, что эта оппозиция находит свое основание в двух сильно отличающихся манерах *отрицания социального мира*.¹⁶

Можно было бы отнести на счет правил комедии грубость использованных противопоставлений и наивную прозрачность используемых стратегий, если бы мы не обнаружили на протяжении страниц некий эквивалент привычного дискурса, сопровождающего критику. К примеру, похвалив однажды в качестве исключения труппу авангардного театра (Восточный парижский театр), Жан-Жак Готье воспользовался множеством оппозиций, вокруг которых выстраивается пьеса Франсуаз Дорен: «Редко спектакль, поставленный молодым аниматором, работающим для культурного центра, бывает таким легким и радостным. Нечасто увидишь как кто-нибудь из этого нового поколения покидает скорбную юдоль, чтобы добровольно направиться в сторону радости. Обычно вкус и тщательность служат идеалу, который оплакивает нищенство, столь дорогое сердцу шикарных левых, и погрязает в нем. Здесь же, напротив, все сделано для того, чтобы отдать должное радости жизни и создать

хорошее настроение» (*Le Figaro*, 27 mars 1964). Продолжение статьи позволяет выделить целый ряд ключевых слов «буржуазной» эстетики: веселость, радость жизни, хорошее настроение, а также воодушевление, живость, подвижность, дух («spirituel»), движение («оживленность»), жизнерадостность, гармония («костюмы очень гармоничны»), цвета («счастливые цвета»), чувство меры, отсутствие претензии, уверенность, тонкость, честность, благородство, ловкость, ум, такт, жизнь, смех. Представьте «Сирано де Бержерака» в Комеди Франсез, чтобы почувствовать в полной мере и без задней мысли аксиоматику «буржуазного вкуса»: «замечательная техника», «забавно», «весело», «шарм слов», «праздник для глаз, ушей и сердца», «ликование», «поток изобретательности, находок», «кусочек радости», «роскошная согласованность», «ласкающая элегантность», «динамическое действие», «фуга», «чистота», «свежесть», «блестящие мизансцены», «радость и равновесие великолепного декора и восхитительных костюмов». И как не процитировать финальный гимн осуществленному идеалу буржуазного театра: «Это пир гордости, соревнование талантов, фестиваль пылкости, балет романтических огней, брызги радости и фантазии, фейерверк духа, радуга вкуса, гамма жизнерадостности, духовой оркестр цветов, лирическое очарование, нежное чудо, где встречаются гарцевание и благородная нетерпеливость молодости всех времен» (*Le Figaro*, 15 février 1964).

Те же категории восприятия и оценки, но приводящие к негативному заключению, применяются в статье Мориса Рапена, другого критика, работающего в той же газете. Это рецензия на спектакль «Тартюф» в постановке Планшона: «Трудно показать в одном спектакле больше претензии, дурного вкуса и некомпетентности. Быть оригинальным любой ценой — опасное искушение. Когда такое желание реализуется за счет Марлоу или Брехта, это только полбеды. Но когда жертвой становится Мольер, то не стоит ждать и малейшего снисхождения» (*Le Figaro*, 11 mars

1964). Все, что буржуазная эстетика ненавидит в «театре HLM»¹ (Морис Рапен говорит о «Тартюфе HLM») и что годится для мелких буржуа из предместий (действие пьесы Ванцовича — sic! — авангардного автора, которого в карикатурном виде выводит Франсуаз Дорен, разворачивается в ангаре на юго-восточной окраине Парижа), — это *претензия* (которую также клеймят Ф. Дорен и Ж.-Ж. Готье), главное слово для выражения буржуазного презрения к «судорожной тяжело-весности» и «вымученного изыска» глубины или оригинальности, составляющих полную противоположность непринужденности и скромности искусства, уверенного в своих средствах и целях.¹⁸

Критики, находясь перед объектом столь четко организованным согласно канонической оппозиции, сами занимают определенные позиции в пространстве прессы в соответствии со структурой, лежащей в основании классифицируемого объекта и применяемой ими системы классификации. Критики воспроизводят в пространстве суждения, посредством которых они классифицируют объекты, и тем самым классифицируют самих себя в пространстве, в котором они уже классифицированы. (Идеальный круг, выход из которого возможен только путем объективации.) Иначе говоря, различные суждения по поводу «Поворота» варьируют по содержанию и форме в зависимости от печатного органа, в котором они выступают: начиная с самого большого расстояния от критики и ее публики до «интеллектуального» мира, вплоть до максимальной дистанции в случае с пьесой Франсуаз Дорен и ее «буржуазной» публикой, и кончая самым маленьким расстоянием до «интеллектуального» мира.¹⁹

¹ HLM (Habitation à Loyer Modéré) — жилье по умеренным ценам; так сокращенно называют программу социального жилья для малоимущих во Франции. — *Прим. перев.*

Игра гомологии

Едва ощутимые изменения смысла и стиля, которые от «Авроры» к «Фигаро» или от «Фигаро» к «Экспрессу» приводят к нейтральному дискурсу «Монда», а отсюда — к молчанию (выразительному) «Нувель Обсерватор», могут быть правильно поняты, только если мы учтем постоянно повышающийся уровень образования читателей (что служит хорошим индикатором уровня передачи или предложения соответствующих сообщений) и рост доли фракций кадров из государственного сектора и преподавателей. Представители этих фракций читают больше всех остальных и отличаются особо высокой долей читающих газеты с самым высоким уровнем подачи материала («Монд», «Нувель Обсерватор»). И напротив, отмечается сокращение представительства таких фракций, как крупные коммерсанты и промышленники, которые читают меньше всех остальных и особо отличаются относительно большой долей читающих газеты с самым низким уровнем подачи материала («Франс Суар», «Аврора»). Проще говоря, пространство дискурсов воспроизводит в собственном порядке пространство печатных органов и читательскую публику каждого из них, причем с одного края этого поля располагаются крупные коммерсанты и промышленники, «Франс Суар» и «Аврора», а с другого края — кадры из госсектора и преподаватели, «Монд» и «Нувель Обсерватор». ¹⁹ Центральные позиции поля занимают кадры из частного сектора, инженеры и представители свободных профессий, а со стороны печатных органов — «Фигаро» и особенно «Экспресс», которые читают примерно одинаково все фракции (за исключением крупных коммерсантов). Они представляют некое нейтральное место в этом универсуме. ²⁰ Таким образом, пространство суждений о театре гомологично пространству газет, для которых эти суждения произведены и которые их распространяют, а также пространству театров и пьес, по поводу которых они сформулированы. Эти гомологии и все те игры, которые они допускают, становятся возможны только благодаря гомологии каждого из рассмат-

риваемых пространств с пространством господствующего класса.

Коротко рассмотрим пространство суждений, вызванных неким экспериментальным стимулом, предложенным Франсуаз Дорен. Будем двигаться «справа» или с «правого берега» «налево» или на «левый берег». Сначала «Аврора»:

«Бесцеремонная Франсуаз Дорен рискует не поладить с нашей интеллигенцией одновременно *марксистского* и *снобистского* пошиба. Дело в том, что автор «Мерзкого эгоиста» не демонстрирует никакого почтения к торжественной скуке, глубокой пустоте, головокружительному небытию, столь характерному для многих театральных постановок, называемых «авангардными». Она осмеливается подавить своим святотатственным смехом знаменитую «невыразимость бытия» — альфу и омегу современной сцены. Эта извращенная реакционерка, которая потакает самым низким аппетитам общества потребления, вовсе не собирается признавать свои ошибки и покорно сносить репутацию бульварного автора. Она позволяет себе предпочитать фантазию Саше Гитри и эротические «кальционады» Фейдо вместо смутной ясности Маргерит Дюрас или Д'Аррабалья. Это преступление вряд ли ей когда-либо простят. Тем более что оно совершается весело и радостно, с использованием всех осуждаемых приемов, которые обеспечивают прочный успех» (*L'Aurore*, 12 janvier 1973).

Помещая Ф. Дорен на краю интеллектуального поля, так что о ней рассказывается почти как об иностранке («наша «интеллигенция»»), критик из «Авроры» не подыскивает слова и не маскирует свои стратегии (называя реакционера реакционером). Риторический прием — приводить слова противника, но в таком контексте, что его речь, функционируя как ироническая антифраза, означает объективно противоположное тому, что хотели сказать, — предполагает и использует саму структуру поля критики и отношение прямого соглашения, основанного

на гомологии позиций, которые критик поддерживает со своей публикой.

От «Авроры» перейдем к «Фигаро». В совершенной гармонии с автором «Поворота», которую предполагают хорошо настроенные друг на друга габитусы, критик всего лишь подвергает проверке опыт полного наслаждения пьесой, полностью соответствующей его категориям восприятия и оценки, его взглядам на театр и на мир. Вместе с тем, вынужденный прибегать к эвфемизмам в большей степени, он избегает открыто политических суждений, чтобы не выйти за пределы эстетики или этики:

«Необходимо признать, что мадам Франсуаз Дорен *“отважно легкий”* автор, что означает *остроумно драматический и серьезный с улыбкой*, непринужденный без неубедительности, доводящий комедию до самого откровенного водевиля, но в самой *тонкой* из всех возможных манере. Автор оперирует сатирой с *элегантностью*, она ежеминутно доказывает приводящую в смущение виртуозность... Франсуаз Дорен знает *значительно больше всех нас о пружинах драматического искусства, комических выразительных средствах, ресурсах ситуации*, власти забавного или уколах верно найденного слова... Да, какое мастерство разбора, какая ирония в сознательном использовании пируэтов, какое уверенное использование двусмысленных уловок! В *“Повороте”* есть все, чтобы понравиться, и ни капли потворства или вульгарности. Ни тем более потакания, а ведь всем нам известно, что теперь *конформизм полностью принял сторону авангарда*, смешное — на стороне серьезности, обман — на стороне скуки. Мадам Франсуаз Дорен приносит облегчение *уравновешенной публике*, подводя ее к *равновесию* со здоровым весельем... Спешите посмотреть этот спектакль, и я уверен, что вы *посмеетесь от чистого сердца*, что забудете и думать о том, насколько страшно может быть для писателя спрашивать себя, все ли он еще в согласии со своим временем. Это в конечном итоге тот же вопрос, который каждый человек задает себе, и лишь юмор и *неисправимый опти-*

мизм избавляют от него!» (Jean-Jacques Gautier.
Le Figaro, 12 janvier 1973).

Распределение газет и еженедельников по группам господствующего класса

(доля читателей на момент опроса
из расчета на 1000 глав семьи по каждой группе)

	Франс Суар	Авро- ра	Ля Круа	Фига- ро	Экс- пресс	Монд	Ну- вель Обсер- вер	Итого*
Крупные коммерсанты	170	70	-	102	190	77	44	463
Промышленники	111	75	-	152	309	78	28	449
Кадры частного сектора	139	111	51	197	368	221	82	750
Инженеры	99	23	70	218	374	270	71	681
Свободные профессии	87	37	54	167	371	163	131	585
Кадры госсектора	121	100	22	234	375	385	103	943
Преподаватели, литераторы и ученые	64	62	29	173	398	329	217	845
Итого	118	72	31	178	335	231	99	

* Итоговая цифра по строке для каждой категории читателей, конечно, не точная, поскольку не учитывается чтение других членов семьи.

** По каждому столбцу выделены жирным шрифтом два самых больших показателя.

*** Источник данных: CESP. Etude sur les lecteurs de la presse dans le milieu d'affaires et cadres supérieures. Paris, 1970.

От «Фигаро» естественным образом переходим к «Экспрессу», который балансирует между поддержкой и отстранением, достигая вследствие этого значительно более высокой степени эвфемизации:

«Это должно было бы привести прямиком к успеху... Ловко сработанная и забавная пьеса. Персонаж. Актер, которому роль подошла как собст-

венная перчатка: Жан Пья... С безукоризненной виртуозностью, за минусом нескольких длиннот, с хитроумием, совершенным владением профессиональным мастерством, Франсуаз Дорен сочинила пьесу о повороте Бульвара, которая по иронии сама является наиболее традиционной пьесой театра Бульвара. Одни лишь суровые педанты станут спорить о сути оппозиции между двумя театрами, а также между лежащими в их основе двумя пониманиями политической жизни и частной жизни. Блестящий диалог, полный удачных слов и формул, часто приправлен мстительным сарказмом. Однако Ромен — не карикатура, он гораздо менее глуп, чем средний профессионал в области авангарда. У Филиппа — чудная роль, поскольку он в своей области. То, что автор «Как в театре» хочет осторожно внушить, так это, что на Бульваре говорят, действуют «как в жизни». И это правда, но лишь отчасти. И не только потому, что это правда класса» (*Robert Kanters. L'Express, 15-21 janvier 1973*).

Уже здесь, несмотря на полное одобрение, возникают определенные нюансы из-за постоянного обращения к двусмысленным формулировкам, даже с точки зрения используемых оппозиций: «это должно было бы привести прямоком к успеху», «хитроумие», «совершенное владение профессиональным мастерством», «у Филиппа чудная роль» — все эти формулировки могут быть поняты в уничижительном смысле. Можно даже заподозрить, через отрицание, несколько иную правду («Одни лишь суровые педанты станут спорить о сути...») или просто правду, но вдвойне нейтрализованную посредством двусмысленности и отрицания («и не только потому, что это правда класса»).

«Монд» дает отличный пример дискурса подчеркнуто нейтрального, ставя спиной к спине, — как выражаются спортивные комментаторы, — приверженцев двух противоположных позиций: открыто политический дискурс «Авроры» и пренебрежительное молчание «Нувель Обсерватор».

«Простое или упрощенное доказательство запутывается очень тонкой формулировкой на разных уровнях, как если бы переплетались две пьесы. Одна написана Франсуаз Дорен — автором, соблюдающим условности. Вторая придумана Филиппом Русселем, который пытается сделать “поворот” к современному театру. Игра описывается как бумеранг, движение по кругу. Франсуаз Дорен намеренно использует бульварные клише, а Филипп их пересматривает и позволяет себе, со своего голоса, яростно критиковать буржуазию. На втором уровне она сталкивает эту речь с речью молодого автора, с которым она яростно воюет. Наконец, по ходу пьесы оружие переносится на бульварную сцену, тщетные усилия механизма разоблачены средствами традиционного театра, которые вследствие этого отнюдь не потеряли своей значимости. Филипп может объявить себя “отважно легким” автором, изображая персонажи, разговаривающие “как все”, он может выдвигать требование “искусства без границ”, т. е. аполитического. Однако демонстрация совершенно извращена моделью авангардного автора, выбранного Франсуаз Дорен. Ванкович — эпигон Маргерит Дюрас, запоздалый экзистенциалист и слегка милитант. Он карикатурен до крайности, как театр, который мы здесь разоблачаем (“Черный занавес и строительные леса — это помогает!” или название одной из пьес “Возьмите немного бесконечности из вашего кофе, господин Карсов”). Публика радуется этому уничижающему изображению современного театра; критика буржуазии приятным образом провоцирует в той мере, в какой она переходит на ненавистную жертву и приканчивает ее... В той мере, в какой он отражает состояние буржуазного театра и открыто показывает всем его системы защиты, “Поворот” можно считать *значительным произведением*. Немного найдется пьес, позволяющих ощутить “внешнюю угрозу” и снимающих это беспокойство с таким *безотчетным увлечением*» (Louis Dandrel. Le Monde, 13 janvier 1973).

Двусмысленность, культивируемая уже Робером Кантером, достигает здесь вершины: доказательство «простое или упрощенное», на выбор; пьеса раздваивается, давая на выбор читателя два разных произведения, т. е. «яростную», но приносящую облегчение критику буржуазии и защиту аполитичного искусства. Тому, кто будет столь простодушным, чтобы не задаться вопросом, «за или против» выступает критик, оценивает ли он пьесу как «хорошую или плохую», мы даем два ответа. Прежде всего, доведение до кондиции «объективного информатора», который должен во имя правды напомнить, что авангардный автор «карикатурен до крайности» и что «публика радуется» (однако невозможно узнать, как критик определяет свое место относительно публики, а потому не ясен смысл «радости»). Далее, в конце ряда двусмысленных суждений — из-за осторожности, нюансов и полутонов («в той мере, в какой», «может считаться») — утверждение, что «Поворот» — это «значительное произведение», но только, как мы хорошо понимаем, в качестве свидетельства кризиса современной цивилизации, как могли бы выразиться в Институте политических наук (Sciences Po).²¹

Хотя молчание «Нуфель Обсерватор» само по себе что-то значит, можно составить себе приблизительное представление, какой должна быть позиция этого еженедельника. Например, читая критику, появившуюся в «Нуфель Обсерватор» по поводу пьесы Фелисьена Марсо «Доказательство вчетвером», или критику на «Поворот» Филиппа Тессона, бывшего в свое время главным редактором «Комба», опубликованную в «Канар аншене»:

«Думаю, что не стоит называть театром эти светские собрания коммерсантов и бизнес-дам, во время которых знаменитый актер в хорошем окружении читает тонко проработанный одухотворенный текст знаменитого автора посреди сценических декораций, вращающихся и нарисованных с умеренным юмором Фолона... Здесь нет никакой "церемонии" и еще меньше "катарсиса" или "разоблачения", и совсем мало импровизации. Просто готовые блюда из буржуазной кухни для желтков, пробовавших и другие... Зал, как все бульварные залы в Париже, взрывы смеха, когда надо,

в самых конформистских местах, где действует этот дух снисходительного рационализма. Царит полное согласие и актеры в сговоре. Эта пьеса могла быть написана десять, двадцать, тридцать лет тому назад.» (M. Perrei. Le Nouvel Observateur, 12 février 1964, по поводу пьесы «Доказательство вчетвером» Фелисьена Марсо).

«Франсуаз Дорен ужасно хитрая. Первейшая специалистка по вторичной переработке, к тому же мастерица по отделке. Ее "Поворот" есть образцовая комедия Бульвара, главные пружины которой — недобросовестность и демагогия. Дама хочет доказать, что авангардный театр это какая-то белиберда. Для этого она пользуется грубыми уловками, и ясное дело, как только она делает трюк, публика складывается пополам от смеха и кричит: "Еще, еще!" Автор, который только этого и ждал, добавляет еще. Она выводит на сцену молодого драматурга левого толка, которого она называет Ванцовичем и — следите за моими руками! — ставит его в смешные, неудобные, не слишком честные ситуации, чтобы доказать, что этот господинчик не менее бескорыстен и не менее буржуазен, чем вы и я. Сколько здравого смысла, мадам Дорен, какая прозорливость, какая искренность! Вы, по крайней мере Вы, имели смелость высказать свое мнение, очень здравое и очень домашнее» (Philippe Tesson. Canard enchaîné, 17 mars 1973).

Речевые предположения и неуместные речи

Объективная поляризация поля приводит к тому, что критика с двух краев может обнаруживать одни и те же особенности и использовать для их обозначения одни и те же концепты (хитрая, уловки, здравый смысл, здоровый и т. п.), но приобретающие ироническую окраску («сколько здравого смысла...»), а потому действующие в обратном смысле, когда они обращены к публике, не поддерживающей с ними отношения сговора и, более того, осуждающего его («как только она делает трюк, публика складывается пополам», «автор только этого и ждет»).

Ничто не показывает лучше, чем театр, который функционирует только на базе этого полного сговора между автором и зрителями (именно поэтому соответствие между категорией театра и делениями господствующего класса столь тесное и наглядное), что смысл и значение слов (особенно «острот») зависят от рынка, на котором они помещены. Одни и те же фразы могут принимать противоположный смысл, когда они обращены к группам, исходящим из антагонистических предположений. Франсуаз Дорен всего лишь использует структурную логику поля господствующего класса, когда, представляя на суд бульварной публики злоключения авангардного автора, она оборачивает против авангардного театра оружие, которое он любит использовать в борьбе с «буржуазной» болтологией и «буржуазным» театром, воспроизводящим ее трюизмы и клише. (Вспомним Ионеско, описывающего «Лысую певицу» или «Жака» как «некую пародию или карикатуру бульварного театра, разлагающегося бульварного театра, сходящего с ума».) Разбивая этический и эстетический симбиоз, объединяющий «интеллектуальный» дискурс с его публикой, Франсуаз Дорен превратила его в «неуместные» рассуждения, поражающие или вызывающие смех, поскольку они произносятся не в том месте и не перед той публикой, т. е. в истинном смысле в *parodie* — речь, которая может установить со своей публикой непосредственное согласие через смех, только при условии, что она смогла получить от нее (если об этом не было предварительной договоренности) отказ от предположений пародируемого дискурса.

Основания сговора

Необходимо опасаться считать достаточным объяснением буквальную связь между дискурсом критиков и особенностями публики. Если полемическое представление о своем противнике в каждом из двух полей оставляет мес-

ческий выбор противника. Например, показывая, что в его основании лежит циничный расчет (поиск успеха любой ценой, пусть даже через провокацию или скандал), что характерно скорее для «правого берега», или же корыстный сервилизм «прислужника буржуазии» — речи, характерные для «левого берега». В действительности, частичная объективация заинтересованной полемики (из которой вышли практически все работы, посвященные «интеллектуалам») упускает главное, описывая как результат сознательного расчета то, что на самом деле является результатом почти чудесной встречи двух систем интересов (которые могут сосуществовать в личности «буржуазного» писателя) или, точнее, структурной и функциональной гомологии позиции определенного писателя или художника в поле производства и позиции его публики в поле классов и их фракций. Так называемые «писатели на службе» уполномочены думать и проповедовать, что они не служат кому-либо в собственном смысле слова. Объективно они служат лишь потому, что делают это совершенно искренне, не осознавая причин и собственных интересов, т. е. интересов специфических, высоко сублимированных и эвфемизированных, как, например, «интерес» к какой-то форме театра или философии, который логически связан с определенной позицией в определенном поле и который будто создан, чтобы скрыть (даже в глазах своих защитников) содержащиеся в нем политические послышки. Благодаря логике гомологий, практики и произведения агентов поля специализированного и относительно автономного производства с необходимостью оказываются сверхдетерминированными. Функции, которые они выполняют во внутренней борьбе, неизбежно дублируются внешними функциями, теми, что они получают в символической борьбе между фракциями доминирующего класса и, по крайней мере со временем, между классами.²² Критики так хорошо служат своей публике только потому, что гомология между их позицией в интеллектуальном поле и позицией их публики в поле господствующего класса выступает основанием объективного согласия (базирующегося на тех же принципах, которых тре-

бует театр, особенно комический). Как следствие, они никогда так искренне и так эффективно не защищают интересы своей клиентуры, как тогда, когда они защищают свои собственные интересы интеллектуалов от своих специфических соперников, занимающих противоположные позиции в поле производства.²³

Конкретно критик из «Фигаро» никогда не судит о спектакле: он судит суждение критика из «Ну-вель Обсерватор», которое прописано в нем еще до того, как тот его сформулирует. Эстетика «буржуазии», которая в этой области занимает подчиненное положение, редко выражается напрямую без опасения и сожаления: похвала «бульвару» почти всегда принимает форму защиты и раскрытия ценностей тех, кто отказывает ему в ценности.²⁴ Так, в критике пьесы Х. Гарднера «Клоуны тысячами», которую он завершает восхвалением, насыщенным ключевыми словами («Какая естественность, какая элегантность, какая свобода, какая человеческая теплота, какая гибкость, какая тонкость, какая живость и какой такт, а еще какая поэзия, какое искусство»), Жан-Жак Готье пишет: «Он заставляет смеяться, он забавляет, у него есть душа, дар делиться, чувство комического, он веселит, он радует, он очаровывает. Он не выносит серьезности, являющейся формой пустоты, серьезности, указывающей на отсутствие изыщества... Он цепляется за юмор как за последнее оружие против конформизма. Из него брызжет сила и здоровье, он воплощенная фантазия и, под вывеской смеха, хочет дать тем, кто его окружает, урок достоинства и мужественности. Но главным образом он хочет, чтобы окружающие его люди не стеснялись бы смеяться в мире, где смех вызывает подозрение» (*Le Figaro*, 11 décembre 1963).

Речь идет о доказательстве, что конформизм принял сторону авангарда²⁵ и что настоящая отвага за теми, кто осмеливается бросить ему вызов, хотя они рискуют обеспечить себе таким образом аплодисменты «буржуазии»... Такая перемена плюса на минус доступна не всякому первому по-

павшемуся «буржуа». Благодаря ей «правый интеллеktуал» может пережить двойной поворот на 180 градусов, который приведет его к начальной точке, но отличающейся (как минимум субъективно) от точки зрения «буржуа», как высшее свидетельство интеллектуального мужества и отваги.²⁶ «Буржуазный» интеллеktуал, пытаясь перебороть ситуацию и оборачивая против противника его же оружие или, по меньшей мере, отделяя противника от объективного образа, который тот распространяет («доводя комедию до самого откровенного водевиля, но в самой тонкой из всех возможных манере»), решительно принимает этот образ вместо того, чтобы просто подвергнуть испытанию («отважно легкий»). «Буржуазный» интеллеktуал выдает себя тем, что под угрозой отрицания себя как интеллеktуала он в своей борьбе вынужден признавать «интеллектуальные» ценности, против которых выступает.

Поскольку на карту поставлены собственные интересы «интеллектуалов», то критики, чьей первой функцией является успокоение буржуазной публики, не могут довольствоваться пробуждением в них стереотипного образа, который те имеют об «интеллектуалах». Несомненно, они не лишают себя удовольствия внушить «буржуазии», что исследования, заставляющие сомневаться в их эстетической компетентности, или смелые выпады, способные подорвать их этические или политические убеждения, на самом деле вдохновляются вкусом к скандалам и любовью к провокациям или мистификациям, если, конечно, это не просто озлобление неудачника или стратегическая инверсия бессилия или некомпетентности.²⁷ Несмотря ни на что, они не в состоянии выполнить свою функцию, если у них нет возможности говорить в кругу своих, «интеллектуалов», которые не подвластны расчету, которые первыми поймут, если будет что понимать²⁸, и которые не боятся противостоять авангардным авторам и их критикам на их же территории: отсюда значение, придаваемое институциональным знакам и указателям интеллектуального авторитета, которые особенно при-

знают неинтеллектуалы, например, членство в академиях. Отсюда и стилистическое и концептуальное кокетство у критиков театра, которое должно свидетельствовать, что они знают, о чем говорят, или у публицистов — высокая ценность марксологической эрудиции.²⁹

Власть убеждения

«Искренность» (одно из условий символической действительности) возможна и реализуема лишь в ситуации полного, непосредственного согласия между ожиданиями, вписанными в занимаемую позицию (в менее освященном мире сказали бы «по должностному определению»), и диспозициями занимающего ее человека. Невозможно понять согласование диспозиций с позициями (на котором основана, например, подгонка журналиста к газете и тем самым к публике данной газеты или подгонка читателей к газете и тем самым к журналисту), если не принимать в расчет, что объективные структуры поля производства лежат в основе категорий восприятия и оценки, которые структурируют восприятие и оценку своей продукции. Именно так обстоит дело с антитетическими парами персоналий («властителей дум») или институтов, газет («Фигаро» / «Нувель Обсерватор» или по другой шкале и с отсылкой на другой практический контекст «Нувель Обсерватор» / «Юманите», и т. д.), театров (Правый берег / Левый берег, частные / дотационные и т. п.), галереи, издательства, журналы, кутюрье, — которые могут функционировать как классификационные схемы, существующие и имеющие значение только в их взаимоотношениях и позволяющие определить свое место и место других. Как это можно видеть на примере авангардной живописи, лучше чем где бы то ни было, только практическое овладение такими реперами, разновидностью умения социальной ориентации, помогает продвигаться в иерархизированном пространстве, где перемещения всегда содержат угрозу утраты класса, где *места*: галереи, театры, издательства — составляют все различие (например, между «коммерческой порнографией» и «качественной эроти-

кой»), потому что именно через них очерчивается публика, которая — на основе гомологии между полем производства и полем потребления — квалифицирует потребляемый продукт, внося свой вклад в определение его как «редкостной» или «вульгарной» вещи (расплата за распространение). Такое практическое овладение позволяет чувствовать и предчувствовать — *без какого-либо циничного расчета*, — «что нужно делать», а также где это делать, как и с кем, учитывая все то, что уже было сделано, что делается, всех тех, кто это делает и где они это делают.³⁰ Выбор места публикации, издателя, журнала, галереи, газеты важен лишь потому, что каждому автору, каждому виду производства и продукции соответствует *естественное место* в поле производства; что производители и продукты, занимающие не подходящее им место, как говорится, «неуместные», в большей или меньшей степени обречены на неуспех. Все эти гомологии, обеспечивающие публику «по размеру», понимающую критику и пр. тому, кто нашел свое место в структуре, будут, напротив, действовать против него, если он сбился с дороги и оказался вне своего естественного места. Так же как издатели авангарда и производители бестселлеров соглашаются друг с другом, говоря, что для них было бы большим риском выпустить книгу, предназначенную для противоположного полюса в издательском пространстве (бестселлер у Жерома Ландона, новый роман у Лаффона), — также и в соответствии с законом, предписывающим проповедовать только перед обращенными, критик может оказывать влияние на своих читателей, только если они признают за ним власть, в силу того, что они структурно согласуются с ним в представлениях о социальном мире, вкусах и в габитусе в целом. Жан-Жак Готье хорошо описывает такое избирательное сродство, связывающее журналиста с его газетой, а через нее — с его публикой. Некий директор издательства «Фигаро», выбирающий и выбранный согласно одному и тому же механизму, выбирает литературного критика для газеты: «его тон подходит, чтобы обращаться к нашим читателям», он «*не делает это нарочито*», но «естественным образом говорит на языке «Фи-

гаро"», он станет «типичным редактором» газеты. «Если завтра в "Фигаро", — говорит Готьё, — я начну говорить на языке "Ле там модерн", например, или "Сен-Шапель де леттр", меня никто не будет ни читать, ни понимать, ни слушать, поскольку я буду в этом случае опираться на некие понятия и аргументы, на которые читателю в высшей степени наплевать».³¹ Каждой позиции соответствуют *пресуппозиции* (предположения), т. е. докса, а гомология между занимаемыми производителями позициями и их клиентами является условием такого соучастия (как в театре), которое тем больше требуется, чем более существенные вещи оказываются втянутыми, чем более затронуты личные интересы. Поскольку практическое овладение законами поля ориентирует выборы, посредством которых индивиды собираются в группы, а группы кооптируют индивидов, постольку так часто осуществляется чудодейственное согласие между объективными и инкорпорированными структурами, позволяющее создателям культурных благ совершенно свободно и искренне производить вещи объективно необходимые и сверхдетерминированные.

Искренний обман и эвфемизация, придающие собственную символическую эффективность идеологическому дискурсу, являются результатом действия двух факторов. С одной стороны, специфические и относительно автономные от классовых интересы, связанные с позицией в специализированном поле, могут легитимно (а значит, эффективно) удовлетворяться только ценой полного подчинения специфическим законам поля, т. е. в частном случае, ценой отрицания интереса в его обычной форме. С другой стороны, отношение гомологии, установленное между всеми полями борьбы, организованной на основе неравного распределения определенного вида капитала, приводит к тому, что высоко цензурированные, т. е. эвфемизированные, практики и дискурсы, к тому же произведенные в соответствии с «чистыми» и исключительно «внутренними» целями, постоянно предрасположены к выполнению помимо основных еще и дополнительных, «внешних» функций. Эффективность этих практик и дискурсов тем более высока, что они игнорируют эти «внеш-

ние» функции, а их соответствие спросу является не продуктом сознательного поиска, но результатом структурного соответствия.

Долгое время и короткое время

Фундаментальный принцип различий между «коммерческими» предприятиями и «культурными» предприятиями заключается в характеристиках культурных благ и рынка, на котором они предлагаются. Предприятие тем ближе к «коммерческому» полюсу (или, наоборот, тем дальше от «культурного» полюса), чем более полно и непосредственно предлагаемые им на рынке продукты отвечают сложившемуся спросу (*demande préexistante*), т. е. уже существующим интересам и в сложившихся формах. Таким образом, с одной стороны, мы имеем короткий производственный цикл, обоснованный желанием минимизировать риски посредством изначального подлаживания под видимый спрос, имеющий уже налаженную систему коммерциализации и процедур предъявления продукта на рынке (обложка более или менее броская, реклама, служба PR и пр.), предназначенных обеспечить быстрое получение прибыли от быстрого оборота продуктов, обреченных на быстрое устаревание. С другой стороны — долгий производственный цикл, где допускается риск, присущий инвестициям в культуру,³² и требуется подчинение специфическим законам торговли предметами искусства. Так, в настоящий момент эта продукция может не иметь рынка, но быть полностью ориентированной на будущее, что предполагает очень рискованные инвестиции при тенденции накапливать большие запасы продукции, о которой нельзя заранее сказать, приобретет ли она статус материальных объектов (оцениваемых в таком качестве, т. е., например, на вес) или статус культурных объектов, обладающих непропорционально высокой ценностью относительно использованных при изготовлении материальных составляющих.³³

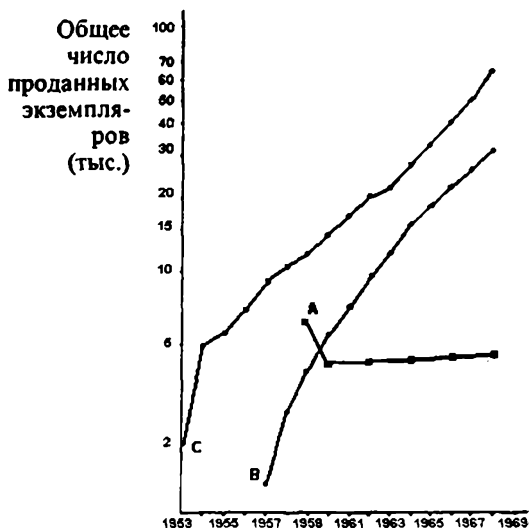


Рис. 2. Рост продаж трех книг, опубликованных Edition de Minuit

Неопределенность и риск, характерные для производства культурных благ, прочтываются в кривых продаж трех произведений, выпущенных издательством «Эдисон де Минюит». На кривой А представлен случай книги, получившей литературную премию: после периода больших продаж (в 1959 г. — 6143 экземпляра и в 1960 г. — 4298 экземпляров), наступил период слабых ежегодных продаж (примерно 70 экземпляров в год). На кривой В представлен роман Роб-Грийе «Революция», вышедший в 1957 году. В первый год было продано всего 746 экземпляров, и только на четвертый год, в конце 1960 г., продажи достигли начального уровня продаж книги, получившей литературную премию, однако, благодаря постоянному росту ежегодных продаж, начиная с 1960 года (в среднем на 29% в год между 1960 г. и 1964 г. и на 19% в период 1964–1968 гг.), сум-

марный итог продажи книги достиг в 1968 году 29462 экземпляров.³⁴ На кривой С показаны продажи книги Сэмюэля Беккета «В ожидании Годо», опубликованной в 1952 году. Ее суммарные продажи достигают 10 тысяч экземпляров только по истечении пяти лет, но, начиная с 1959 года, отмечается постоянный рост продаж примерно на 20% (исключение составляет 1963 год). Только за 1968 год было продано 14298 экземпляров, а суммарный итог продаж за 1953–1969 гг. составил 64897 экземпляров.

Время и деньги

Можно, таким образом, охарактеризовать различные издательства по той доле, которую они выделяют на рискованные долгосрочные инвестиции («В ожидании Годо») и на надежные краткосрочные инвестиции,³⁵ а вместе с тем соотношение среди авторов писателей «долгосрочных» и писателей «краткосрочных»; журналистов, которые помимо основной работы пишут тексты о «современности»; «известных личностей», публикующих свои «свидетельства» в форме эссе или автобиографических рассказов; профессиональных писателей, не выходящих за рамки проверенных эстетических канонов (литература «для премий», романы «для успеха» и т. п.).³⁶

Характерные для двух противоположных полюсов издательского поля издательства «Робер Лаффон» и «Минюи» позволяют понять во всем многообразии их аспектов оппозиции, которые делят поле на два сектора. С одного полюса, крупное предприятие (700 служащих), ежегодно публикующее большое число новых книг (примерно 200 названий) и открыто ориентированное на поиск успеха (в 1976 году оно объявило о семи тиражах выше 100 тысяч экземпляров, четырнадцати — свыше 50 тысяч, пятидесяти — свыше 20 тысяч), что предполагает большие службы по распространению, значительные расходы на рекламу и связи с общественностью (особенно в направлении книготорговцев, владельцев книжных магазинов), а также целую политику выбора, диктуемую нюхом на надежное раз-

мещение средств (вплоть до 1975 года почти половину всех публикуемых произведений составляли переводы книг, имевших успех за границей) и поиском бестселлера (среди «лауреатов», которых издатель противопоставляет тем, кто «все еще упорствует в нежелании принимать его издательство за литературу», мы находим имена Бернара Клавеля, Макса Галло, Франсуаз Дорен, Жоржа-Эммануэля Клансье, Пьера Рея). С другого края — издательство «Минюи», маленькое ремесленное издательство, где работает десяток человек, которое публикует менее двадцати названий в год (что в области романа или театра дает примерно сорок авторов за 25 лет) и выделяет на рекламе минимальную часть бюджета (даже выигрывая стратегически от своего отказа от самых грубых форм PR), которое привыкло к продажам ниже 500 экземпляров и к тиражам меньше трех тысяч (по отчету за 1974 год из 17 новых произведений, опубликованных за период 1972–1974 гг., т. е. за три года, 14 вышли тиражом ниже 3000 экземпляров, а тиражи трех других не превышали 5000 экземпляров). Постоянно в дефиците, если рассматривать только новые публикации, издательство выживает только благодаря имеющемуся у него фонду, т. е. прибылям, которые ему регулярно обеспечивают те из его публикаций, которые стали знаменитыми (например, «В ожидании Годо» продали в 1952 году только 200 экземпляров, а спустя 25 лет совокупный тираж достиг 500 тысяч экземпляров).

Эти две временные структуры соответствуют двум очень разным экономическим структурам. Акционерное общество должно давать прибыль, несмотря на большие общие расходы: «Лаффон», «Ашетт» или «Пресс де ля Ситэ», как и другие акционерные общества, должны быстро «прокручивать» капитал, главным образом экономический, не теряя времени на его реконверсию в культурный. Напротив, «Эдиссон де Минюи» не слишком заботится о прибыли (часть которой распределяется между сотрудниками) и реинвестирует в долгосрочные проекты доходы, полученные от эксплуатации собственного постоянно растущего фонда.

Предприниматель (*)

Руководя своим предприятием как деловой человек, преобразуя его в настоящую финансовую империю непрерывной серией покупок и слияний (между 1958 и 1965 годами), он говорит без обиняков и эвфемизмов языком управленца и организатора: «Я просто сказал ответственным за эти издательства: "Мы будем объединяться, чтобы совместными усилиями развить наше дело." ...Каждый издатель хотел покрыть сразу много секторов. Как только группа была сформирована, мы стали специализироваться. Например, у Амьё-Дюмона были такие авторы, как Андре Кастело и Ален Деко, историки с большой аудиторией. Мы их направили в "Перрен", который мы специализируем на истории». «Некоторые издательства интегрировались в нашу группу и стали нашими внутренними подразделениями. ...В других мы оказываемся в абсолютном большинстве. ...Между этими различными предприятиями, ставшими в некотором роде нашими филиалами, мы осуществили взаимные слияния». Издатель заказывает книги, подсказывает сюжеты, выбирает названия: «Мы считаем, что творческая составляющая работы издателя намного выросла за послевоенные годы. Я мог бы вам рассказать тысячи историй на эту тему. Последняя касается книги Эмиля Серван-Шрайбера. Это друг, чудесный человек, полный всяких историй. Я ему говорю: "Пишите об этом так, как Вы рассказываете"». «Реми? Мы сначала попросили его написать предисловие к тому про "Атлантический вал". Некоторое время спустя он приносит рукопись. Однажды он пришел к нам в поисках сюжета, и мы ему предложили "демаркационную линию". Он их написал десять. Все бестселлеры».

(*) Все цитаты приведены по интервью со Свенем Нильсеном, генеральным директором «Пресс де ля Ситэ», опубликованному в: *Priouret R. La France et le Management*. Paris: Denoël, 1968. P. 268-292.

Заказ часто сопровождается авансом: «Писатель приходит к нам. Он приносит с собой книгу, дает вам резюме. Вы находите его интересным. Он добавляет: "Мне нужен аванс, чтобы жить, пока книга не будет написана." ... Вот так издатель большую часть времени работает банкиром. ... Уже известные авторы, случается, набирают авансом значительные суммы». Внимательный к спросу издатель извлекает выгоду из случаев, которые преподносит сегодняшняя жизнь и, в частности, работа крупных средств коммуникации: «Покажите виды Гонконга, и сразу же фермер, который никогда ничего о нем не слышал и которому Вы только что открыли дверь в мир, пойдет искать книгу про Гонконг. Телевидение дает ему образ мечты, а мы наполняем эту мечту». Чтобы привлечь клиента, он не отступает ни перед какими возможностями показать товар лицом, что в коммерции обычное дело: «Презентация, несмотря ни на что, является очень важным элементом продаж, поскольку в настоящее время, в переживаемый нами период повышенного напряжения, нужно уметь притягивать взгляд. Книга, какой бы она ни была, должна быть представлена как своего рода афиша, притягивающая публику как магнитом». «Конечно, "Галимару" удалось создать определенный шик, с его ткаными белыми обложками, окаймленными красной нитью, в стиле ночной рубашки: сколько еще найдется способных пользоваться таким методом?» Чтобы дать возможность каждой категории товара легко найти своих клиентов, он должен провести ясную маркировку своей продукции, а следовательно — специализацию своих подразделений. «Нужно, когда публика думает о мемуарах или биографиях, то она бы думала "Плон". Современная литература — "Жюлиар". Для автора, я бы сказал почти академического, — "Перрен". ... Спорт, телевидение, современность — "Солар". Книги для детей и подростков — "Руж э Ор". Комиксы — "Артима". Большие романы и документальные книги — "Пресс де ля Ситэ". Если она хочет книгу карманного формата, нужно чтобы она думала о "Пресс-Покет". Есть даже авангардное изда-

тельство с Кристианом Буржуа. Мы хотим дойти вплоть до того, чтобы уже на витрине потенциальный покупатель узнавал каждую из наших серий. Публика гораздо больше, чем мы думаем, следит за маркой издательства». Ничто так ярко не показывает понимание Свенон Нильсоном роли издателя, как его проект книг карманного формата: «Мы выпускаем сначала книгу за 15 франков, хорошо оформленную, притягивающую взгляд в прямом смысле слова, т. е. высвечивается содержание и название издательства. Спустя два года, когда обычный тираж распродан, Вы выпускаете эту книгу в карманном формате, но по еще более низкой цене, близкой к цене за газету, на обычной бумаге с обычной обложкой. При необходимости, с рекламой внутри. Вещь, которую выбрасывают после прочтения. Поскольку даже у частного лица книга за 2 франка занимает место книги за 15 франков. Наконец, нужно найти путь для параллельного распространения, помимо книжных магазинов. Конечно, каждый тираж будет на уровне прогнозируемых продаж. И никаких обновлений ассортимента. Как для газет, что не продано — бросают в макулатуру».

Размер предприятия и объем продукции задают не одну лишь культурную политику через долю накладных расходов и усилия по обороту капитала, они напрямую влияют на практику ответственных лиц в работе с рукописями: мелкий издатель, в отличие от крупного, может при поддержке нескольких советников, являющихся в то же время авторами издательства, лично знать все публикуемые им книги. Все факторы соединяются, чтобы воспрепятствовать крупному издательскому предприятию делать рискованные инвестиции и на долгий срок: финансовая структура предприятия, экономические принуждения, вызванные требованием рентабельности, а значит упором на продажи, — все эти условия, в которых он работает, практически не дают ему войти в прямой контакт с рукописями и авторами.³⁷

«Открыватель» (*)

Однажды в 1950 году один мой друг, Робер Карлье, говорит мне: «Вам нужно прочесть рукопись одного ирландского писателя, который пишет по-французски. Его зовут Сэмюэл Беккет. Шесть издателей его уже отвергли». В то время я уже десять лет руководил «Эдисон де Минюи». Несколько недель спустя я заметил у нас на одном из столов три рукописи: «Моллой», «Мэллон умирает», «Неназываемое», — с неизвестным именем автора, которое мне показалось знакомым. Именно в этот день я понял, что, может быть, стану издателем, я хочу сказать — настоящим издателем. Начиная с первых строк: «Я нахожусь в комнате моей матери. Это я там сейчас обретаюсь. Не знаю, как я сюда попал», — с первой строки подавляющая красота этого текста обрушилась на меня. Я прочитал «Моллоя» за несколько часов, как я никогда не читал ни одной книги. И это был не роман, вышедший у одного из моих братьев, один из признанных шедевров, к которому я как издатель никогда не был бы допущен. Это была неизданная рукопись, и не просто не изданная — отвергнутая многими издателями. Я не мог поверить. На следующий день я увиделся с Сюзанной, его женой, и сказал, что хочу издать эти три книги как можно быстрее, но что я не богат. Она взялась передать контракты Сэмюэлу Беккету и принесла мне их назад подписанными. Это было 15 ноября 1950 года. Позже через несколько недель Сэмюэл Беккет пришел встретиться с нами. Сюзанна рассказала мне потом, что он вернулся домой мрачный. Поскольку она удивилась и подумала, что он был разочарован своим первым контрактом, то он заверил ее, что, напротив, считает нас очень симпатичными, но его мучит мысль, что публикация «Моллоя» приведет нас к разоре-

(*) Этот текст Жерома Ландона о Сэмюэле Беккете, вышедший в свет в «Cahiers de l'Herne» в 1976 году, был написан в 1969 году для специального номера журнала Джона Кэлдера, посвященного вручению Нобелевской премии, на английском языке.

нию. Книга вышла 15 марта. Владелец типографии, эльзасец католик, из опасения, что книгу будут преследовать за нападки на добрые нравы, осмотрительно не указал свое имя в выходных данных.

Что же касается авангардного издателя, то он может пойти на финансовый риск (во всяком случае, объективно не такой значительный), на который он идет, инвестируя в проекты, которые могут принести в лучшем случае только символические прибыли, только при условии полного признания специфических ставок игры в поле производства и — на том же основании, что и публикуемые им писатели или интеллектуалы, — получения единственной специфической выгоды, которую дает поле, по крайней мере на короткое время, а именно, — «реноме» и соответствующего «интеллектуального авторитета».³⁸ Стратегии, которые он применяет в отношениях с прессой, отлично приспособлены (без особого обдумывания их как именно стратегий) к объективным требованиям наиболее продвинутой фракции поля, т. е. к «интеллектуальному» идеалу отрицания, предполагающему отказ от временных компромиссов и стремящемуся установить негативную корреляцию между успехом и собственно художественной ценностью. Действительно, в то время как производство с коротким циклом, по типу «от кутюр», оказывается тесно зависящим от всей совокупности агентов и институтов по «продвижению» его продукции (рецензии в газетах и еженедельниках, радио и телевидение и т. д.), с которыми нужно постоянно поддерживать связи и периодически их мобилизовать («премии» выполняют функцию, аналогичную «сериям»),³⁹ производство с длинным циклом практически не пользуется бесплатной рекламой, которую представляют собой статьи в прессе, вызванные гонкой за премиями и самими премиями; они полностью зависят от «окрывателей». Иначе говоря, авторы и критики авангарда, работающие на авангардное издательство, дают ему своего рода кредиты (например, публикуясь там, принося рукописи, благоприятно высказываясь об авторах, публикуемых в издательстве) и ожидают, что

оно оправдывает их доверие и постарается не дискредитировать себя слишком очевидно «светскими» успехами («Минюи» потеряло бы в глазах некоторых из квартала Сен-Жермен, если бы получило Гонкуровскую премию), а через это дискредитировать тех, кто там публиковался, и тех, кто хвалил его публикации («премии убавляют ценность писателя в глазах интеллектуалов»; «идеалом молодого писателя должна быть медленная карьера»).⁴⁰ Авангардное издательство зависит также и от системы образования, которая одна лишь может даровать проповедующим в пустыне праведников и верующих, способных признать их добродетели.

Тотальная оппозиция между бестселлером без будущего и классикой — бестселлерами на долгое время, обзаванными своим признанием, а значит, широким и прочным рынком, системе образования⁴¹, — лежит в фундаменте не только двух совершенно разных организаций производства и коммерциализации, но и двух противоположных представлений о деятельности писателя и даже издателя, простого торговца или смелого «открывателя». Причем последний может преуспеть, только если умеет предвосхищать *специфические законы* еще формирующегося рынка, т. е. соединять интересы и требования тех, кто творит эти законы, писателей, которых он печатает.⁴² Два противоположных представления и о критериях успеха: для «буржуазных» писателей и их публикации успех сам по себе является гарантией ценности. На рынке это приводит к тому, что успех следует за успехом: чтобы сделать бестселлер, публикуют цифры его тиража, критики могут ничего не делать, а просто «предсказать успех» книги или пьесы («Это должно было привести напрямую к успеху», — R. Kanters, *L'Express*, 15 janvier 1973 ; «Я могу поспорить с закрытыми глазами, что “Поворот” будет иметь успех», — P. Marcabru, *France-Soir*, 12 janvier 1973). Провал, естественно, это приговор, который обжалованию не подлежит: у кого нет публики — у того нет таланта (тот же Робер Кантер говорит об «актерах без таланта и без публики как у Аррабаля»).

На взгляд противоположного полюса успех считается подозрительным,⁴³ а аскеза в этом мире — залогом спа-

сения в ином. Такое представление обосновывается самой экономикой культурного производства, предполагающей, что инвестиции не будут оплачены с возвратом, что эти вклады сделаны в некотором роде в невосполнимые фонды, по типу дара, что они могут обеспечить себе более ценный ответный дар — признательность, только если не будут ждать возврата. Как в даре, который превращают в акт чистой щедрости, скрывая будущий ответный дар, который раскрыла бы синхронизация «баш на баш», именно *время паузы* ставит барьер и маскирует прибыль, ожидаемую от самых бескорыстных инвестиций.

Ортодоксия и ересь

Выступая принципом оппозиции между авангардным и буржуазным искусством, между материальной аскезой как гарантом духовного посвящения и светским успехом, отмеченным помимо прочих отличий признанием со стороны институтов (премии, академии и пр.) вкупе с финансовым успехом, — такое эсхатологическое видение участвует в сокрытии истины отношения между полем культурного производства и полем власти, воспроизводя в специфической логике интеллектуального поля, т. е. в превращенной форме, конфликт между двумя эстетиками. Это оппозиция (которая не исключает взаимодополнительности) между доминируемыми и доминирующими фракциями господствующего класса, т. е. между культурной властью (ассоциирующей с минимальным экономическим богатством) и экономической и политической властью (ассоциирующей с минимальным культурным богатством). Чисто эстетические конфликты на почве легитимного взгляда на мир, т. е. в конечном итоге на то, что заслуживает быть показанным и в какой манере его надо показывать, — это конфликты политические (в высшей степени эвфемизированные) за навязывание господствующего определения реальности и, в частности, социальной реальности. Построенное в соответствии с порождающими схемами прямого (и правого) представления реальности, особенно социальной реальности, одним сло-

вом, ортодоксально, искусство воспроизведения (образцом которого служит «буржуазный театр»)⁴⁴ хорошо подходит для того, чтобы доставить тем, кто его воспринимает согласно этим схемам, опыт, подкрепляющий непосредственную достоверность представления, т. е. необходимость способа представления и представляемого мира. Такое ортодоксальное искусство было бы вне времени, если бы не соотносилось постоянно с прошлым через движение, которое вносит в поле производства претензия доминируемых фракций на применение власти, полученной ими, чтобы изменить видение мира и перевернуть светские (*temporelles*) и временные (*temporaires*) иерархии, к которым привязан «буржуазный» вкус. Обладая в сфере культуры делегированной (всегда частично) легитимностью, культурные производители и особенно те из них, кто производит только для производителей, всегда пытаются обернуть в свою пользу имеющийся у них авторитет и, следовательно, навязать как единственно легитимный их собственный вариант господствующего видения мира. Но оспаривание установившихся художественных иерархий и еретическое смещение социально принятой границы между тем, что заслуживает сохранения, любования и передачи, и тем, что не заслуживает, может оказывать собственно художественный эффект низвержения только при условии молчаливого признания факта и легитимности этого разграничения, только превращая смещение границы в художественный акт и требуя, таким образом, для артиста монополии на нарушение границы между сакральным и профанным и, следовательно, на революционные изменения художественных систем классификации.

Поле культурного производства — область столкновения *par excellence* между доминирующими фракциями господствующего класса (которые иногда лично вступают в противоборство, но чаще посредством производителей, ориентированных на защиту их «идей» и удовлетворение их «вкусов») и доминируемыми фракциями, целиком втянутыми в эту борьбу.⁴⁵ Через этот конфликт осуществляется интеграция в одно и то же поле разных социальных специализированных субполей, особых рын-

ков, полностью разделенных в социальном пространстве и даже географически, где разные фракции господствующего класса могут найти продукцию, адаптированную к их вкусу, как в области театра, так и в живописи, как в высокой моде, так и в украшениях.

«Полемическое» воззрение, объединяющее в одном осуждении все экономически могущественные предприятия, игнорирует различия между предприятиями, которые, обладая одним лишь большим экономическим капиталом, занимаются предметами культуры: книгами, спектаклями или картинами, — как простыми продуктами, источником немедленной прибыли, и такими предприятиями, которые извлекают экономическую прибыль, порой очень значительную, из культурного капитала, который они вначале накопили с помощью стратегий, основанных на отрицании «экономики». Различия в размере предприятия, измеряемом объемом годового оборота или численностью персонала, перекрываются столь же решающими различиями в отношении к «экономике». Здесь можно видеть среди недавно созданных и небольших по размеру предприятий маленькие «коммерческие» издательства, часто обещающие быстрый рост (как «Латтэ» — простой «Лаффон» в уменьшенном размере, или «Орбан», «Отье», «Менжес»⁴⁶), маленькие издательства авангарда, зачастую обреченные на быстрое исчезновение («Галилей», «Франс Адель», «Антант», «Фебус»), которые различаются так же, как и на другом краю шкалы, «большие издательства» и «крупные издательские дома», большой признанный издатель как Галимар и крупный «торговец книгами» как Нильсен.

Не обращаясь к детальному анализу поля галерей, который в силу гомологии с полем издательств свелся бы к повторению сказанного, отметим только, что здесь снова различия, делящие галереи по их возрасту (их авторитету) и, следовательно, по уровню признания и рыночной цене произведений, которыми они обладают, перекрываются различиями в отношении к «экономике». Не обладая собственным «запасником», «галереи продаж» (в том числе Бобур) выставляют в отно-

сительно эклектической манере художников очень разных эпох, школ и возрастов (абстракционисты и постсюрреалисты, некоторые европейские гиперреалисты и новые реалисты), иначе говоря, произведения, которые, имея менее высокий уровень эмиссии (в силу их более продвинутой канонизации или их «декоративной» доступности), могут найти покупателей не только из среды профессиональных или полупрофессиональных коллекционеров (среди «купающихся в золоте управленцев» или представителей «индустрии моды», как сказал один из респондентов). Они также в состоянии найти и привлечь группу уже замеченных авангардных художников, предложив ей слегка компрометирующую их форму признания, т. е. рынок, где цены значительно выше, чем в галереях авангарда.⁷ Напротив, такие галереи, как «Зоннабенд», «Дениз Рене» или «Дюран-Рюель» отмечают даты истории живописи, поскольку каждая из них в свое время смогла собрать «школу»; они характеризуются *постоянством выбора*.⁸ Таким образом, можно узнать в последовательности художников, представленных галереями «Зоннабенд», логику художественного развития, которая ведет от «новых американских художников» и поп-арта с такими художниками, как Раушенберг, Дж. Джонс, Дж. Дайн, к таким как К. Олденбург, Р. Лихтенштайн, Вессельман, Розенквист, Уорл, иногда помещенных под этикеткой «минимального искусства», и далее к более свежим поискам в области бедного искусства, концептуального искусства и заочного искусства. Точно так же прослеживается явная связь между геометрической абстракцией, которая сделала имя галерее Дениз Рене (созданной в 1945 году и инаугурированной выставкой Вазарели), и кинетическим искусством; такие артисты, как Макс Билл и Вазарели, связывают в некотором роде визуальные поиски в период между двумя войнами (особенно в случае «Баухауса») с оптическими и технологическими поисками нового поколения.

Способы старения

Противопоставление двух экономик, точнее, двух отношений к «экономике», принимает вид оппозиции между двумя циклами жизни предприятия культурного производства, двумя способами старения предприятий, производителей и продукции.⁴⁹ Траектория, которая приводит авангард к признанию, и та, что ведет от малого предприятия к «крупному производству», полностью исключают друг друга: маленькое коммерческое предприятие имеет не больше шансов стать крупным и признанным, чем большой «коммерческий» писатель (Ги де Гар или Сесил Сен-Лоран) занять признанное положение в среде авангарда. Для «коммерческих» предприятий, задающихся целью накопить «экономический» капитал, которые могут только расти или исчезать (разорение или слияние), единственным релевантным различием будет размер предприятия, увеличивающийся со временем. Для предприятий, определяющихся высокой степенью отрицания «экономики» и подчинения специфической логике экономики культурных благ, «светская» оппозиция между «новичками» и «ветеранами», претендентами и обладающими, авангардом и классикой имеет тенденцию путаться с «экономической» оппозицией между бедными и богатыми, «дешевым» и «дорогим», а старение почти неизбежно сопровождается «экономической» трансформацией, способной детерминировать изменение отношения к «экономике», т. е. ослабление отрицания «экономики», которое состоит в диалектическом отношении с объемом производства и размером предприятия. Единственной защитой от «старения» является отказ «расти» посредством увеличения прибыли и для прибыли, входить в диалектику прибыли, которая, увеличивая размер предприятия, а значит и общие расходы, заставляет искать прибыль и приводит к разглашению тайны, всегда связанной с разглашением, происходящим при всякой популяризации.⁵⁰

Предприятие, входящее в фазу эксплуатации накопленного культурного капитала, сочетает две разные экономики: одна ориентирована на про-

изводство, авторов и поиск (как серия Жоржа Ламбриша у «Галимара»), вторая направлена на эксплуатацию собственного фонда и распространение признанной продукции (серия «Плеяды» или «Фолио» и «Идеи» у «Галимара»). Можно легко заметить противоречия, проистекающие из несовместимости этих двух экономик: организация, подходящая для производства, распространения и продвижения на рынке одной категории продукции совершенно не приспособлена для другой категории. Помимо прочего, тяжесть, с которой требования управления и распространения давят на институт и на категории мышления, заставляет освобождаться от рискованных инвестиций, к которым могут привести авторы, если их нельзя с самого начала переадресовать к другим издателям из-за престижа издательства (если, конечно, речь не идет о том, чтобы серия не осталась незамеченной на общем фоне, когда ее вписывают в ансамбль, где она выглядит «неуместной» и даже «неприличной», как «Расхождение» или «Обмен» у «Лаффона»). Такой процесс, который, конечно, ускоряется со смертью основателя, не может объясняться только этой причиной: он вписывается в логику развития предприятий производства культуры.

Различия, отделяющие мелкие авангардные предприятия от «крупных предприятий» и «больших издательств», пересекаются с различиями, которые можно провести со стороны продукции между «новым», пока еще не имеющим «экономической» ценности, «устаревшим», окончательно потерявшим ценность; и «старым», или «классическим», имеющим постоянную или постоянно возрастающую ценность. Или со стороны производителя — между авангардом, объединяющим молодых (биологически), но не ограниченных одним поколением, «конченных» или «устаревших» авторов или артистов (которые биологически могут быть еще молодыми), и признанным авангардом, «классиками». Чтобы убедиться в этом, достаточно рассмотреть связь возраста (биологического) художников и их «артистического возраста», измеряемого по положению нераз-

рывно синхронному и диахронному, которое поле им назначает в своем пространстве-времени в зависимости от его структуры и законов ее трансформации или, иначе говоря, в зависимости от дистанции, которую прошли художники к настоящему моменту в специфической истории, порожденной борьбой и художественными революциями, отмечающими ее этапы. Художники из авангардных галерей противостоят как художникам своего возраста (биологического), выставленным в галереях на правом берегу, так и художникам много старше себя или уже умершим, чьи полотна выставляются в этих галереях: отделенные друг от друга артистическим возрастом, который также измеряется поколениями, а точнее — художественными революциями, они не имеют ничего общего с первыми, за исключением биологического возраста, в то время как со вторыми их объединяет то, что они занимают позицию, гомологичную той, которую они занимали в прошлом, при прежних состояниях поля, и то, что они обречены занимать гомологичные позиции при будущих состояниях (об этом свидетельствуют такие показатели признания, как каталоги, статьи или книги, уже связанные с их творчеством).

Рассмотрим распределение возрастов внутри совокупности попавших в нашу выборку художников в зависимости от галерей⁵¹. Прежде всего, наблюдается отчетливая связь (отмечающаяся также и у писателей) между возрастом выставляемых художников и позицией галереи в поле производства. Наиболее часто встречающийся возраст (модальный) для авангардных галерей проходит по группе 1930–1939 года рождения в «Зоннабенд» и по группе 1920–1929 года рождения в «Тамплон». В галереях признанного авангарда «Дениз Рене» и «Галерея Франции» модальный возраст проходит по группе 1900–1909 года рождения, а в галереях «Друан» или «Дюран-Рюель» — до 1900 года рождения. В таких же галереях, как «Бобур» или «Клод Бернар», занимающих промежуточную позицию между авангардом и признанным авангардом, а также между «галереей продаж» и «школой», два наиболее часто встречающихся возраста: первый с модой до 1900 года рождения и второй — 1920–1929 года рождения.⁵²

Согласующиеся в случае художников-авангардистов (выставляемых в «Зоннабенде» или «Тамплон») биологический и артистический возраста, наилучшее соотношение которых, несомненно, дает эпоха появления соответствующего стиля в относительно автономной истории живописи, эти два возраста могут расходиться в случае живущих художников, продолжателей академизма разных канонизированных в прошлом жанров. Они выставляются рядом с полотнами прославленных художников прошлого века в галереях на правом берегу, часто помещенных в атмосферу торговли роскошью, как «Друан» или «Дюран-Рюель», «торговцы импрессионистами». Как окаменелости из другой эпохи, эти художники, делающие то, что было авангардом в прошлом, занимаются искусством, если можно так выразиться, не по своему возрасту. Для художника-авангардиста, делающего артистический возраст мерой возраста, «буржуазный» художник всегда «старый», независимо от его реального биологического возраста, так же как и «буржуазный» вкус стар для его творчества. Однако артистический возраст сам выдает себя в формах практикуемого искусства: он является проекцией всей манеры жить «жизнью художника» и, в особенности, отрицать «экономику» и вступать в «светские» компромиссы, которые, собственно, эту манеру и определяют. Авангардные артисты в некотором роде «молоды» вдвойне: по артистическому возрасту, естественно, но также и по отказу (временному) от «светского» признания, от которого приходит художественное старение. Напротив, «окаменевшие» артисты как бы вдвойне старые: по возрасту используемых ими производительных схем, а еще по всему стилю жизни, проекцией которого является стиль их творчества, требующий непосредственного и прямого подчинения обязанностям и наградам века.⁵³

Оставляя в стороне чисто художественное признание и высокие прибыли, которые обеспечивает буржуазная клиентура, авангардные художники имеют значительно больше общего с авангардом прошлого, чем с арьергардом современного им авангарда. Речь идет, прежде всего,

об отсутствии знаков внехудожественного или «светского» признания, которыми широко наделены «окаменевшие» артисты, упрочившиеся художники, нередко окончившие художественные школы, награжденные премиями, члены академий, украшенные орденами Почетного легиона, обеспеченные официальными заказами: как если бы принадлежность эпохе, т. е. экономической и политической форме времени, и принадлежность художественному полю исключали друг друга. Если исключить авангард прошлого, то действительно можно заметить, что характеристики художников, выставляющихся в галерею «Друан», по всем пунктам противоположны образу артиста, который признают художники-авангардисты и те, кто их прославляет. Часто приезжие или живущие в провинции, эти художники получают в лице «открывшей» их галереи единственную зацепку, чтобы связать свою художественную жизнь с Парижем. Многие впервые выставились там и были «выпущены в жизнь» с помощью премии Друан для молодых художников. Среди них значительно больше, чем среди художников-авангардистов, выпускников высших художественных школ (примерно одна треть окончили *Ecole des Beaux-Arts*, *Ecole des Arts Appliqués*, *Ecole des Arts Décoratifs* в Париже, в провинции или в своей родной стране), они охотно называют себя «учениками» того или иного мастера и практикуют академическое искусство в своей манере (чаще всего постимпрессионистской), их сюжеты (морские пейзажи, портреты, аллегории, крестьянские сценки, ню, пейзажи Прованса и т. п.) и заказные работы (театральные декорации, иллюстрации к роскошным изданиям книг и пр.) часто обеспечивают им настоящую карьеру, отмеченную вехами наград и разных повышений, как премии и медали (в нашей выборке из 133 художников их имеют 66), и в довершение всего, имеющие доступ к властным позициям в инстанциях посвящения и легитимации (многие из них являются социетариями, президентами или членами комитетов больших традиционных выставок) или в инстанциях воспроизводства и легитимации (директора высших школ искусства в провинции, профессора в парижских художественных школах, хранители музеев и т. п.).

Вот несколько примеров:

«Родился 23 мая 1914 г. в Париже. Учился в Высшей школе искусств. Персональные выставки в Нью-Йорке и Париже. Иллюстрировал два произведения. Участник выставок Grands Salons в Париже. Премия за рисунок на Общем конкурсе 1932 года. Серебряная медаль на IV Биеннале в Ментоне в 1957 г. Работы в музеях и частных коллекциях».

«Родился в 1905 г. Учеба в Высшей школе искусств в Париже. Социетарий Салонов Независимых и Осеннего салона. Гран При Высшей школы искусств города Парижа в 1958 г. Работы в Парижском Музее современного искусства и во многих музеях Франции и за границей. Хранитель в Музее Онфлер. Многочисленные персональные выставки по всему миру».

Многие из них получили менее двусмысленные знаки светского признания, обычно исключаемые из стиля жизни художника, как, например, орден Почетного легиона, несомненно, за то, что они вписались в эпоху посредством политико-административных контактов, приносящих заказы, или с помощью круга светских знакомств, подразумеваемых положением «официального художника».

«Родился в 1909 г. Пейзажист и портретист. Выполнил портрет Его Святейшества Иоанна XXIII, а также знаменитых людей нашего времени (Сесиль Сорель, Мориак и др.), представленные галереей "Друан" в 1957 и 1959 годах. Премия Художников — свидетелей своего времени. Участвует в крупных выставках Салонов, где является одним из организаторов. Участвовал в Парижском салоне, организованном галереей "Друан" в Токио в 1961 г. Его полотна представлены во многих музеях Франции и коллекциях во всем мире».

«Родился в 1907 г. Дебютировал на Осеннем салоне. Его первое путешествие в Испанию оказало на него сильное влияние, а Первая Главная премия в Риме в 1930 г. была итогом его длительного пребывания в Италии. Его работы связаны главным образом со Средиземноморьем: Испания, Италия, Прованс. Автор иллюстраций ко многим

роскошным изданиям книг, макетов театральных декораций. Член Института Франции. Выставки в Париже, Лондоне, Нью-Йорке, Женеве, Ницце, Бордо, Мадриде. Работы во многих музеях современного искусства и частных коллекциях во Франции и других странах. Офицер ордена Почетного легиона». ⁵⁴

Такие же закономерности наблюдаются со стороны писателей. Так, «интеллектуалы, имеющие интеллектуальный успех» (т. е. список авторов, упомянутых в «выборке» журнала «Кензен литтерер» за 1972–1975 годы), моложе авторов бестселлеров (т. е. совокупности авторов, упомянутых в еженедельном рейтинге «Экспресс» за 1972–1974 гг.), они менее часто награждаются литературными премиями (31% против 63%) и в особенности самыми «компрометирующими» в глазах «интеллектуалов» премиями; они имеют меньше наград (22% против 44%). В то время как бестселлеры издают в основном большие издательства, специализирующиеся на быстрых продажах: «Грассе», «Фламмарин», «Лаффон» и «Сток», — почти половина «авторов, имеющих интеллектуальный успех» публикуется в трех издательствах, продукция которых по большей части ориентирована на интеллектуальную публику: «Галимар», «Сёй», «Эдисон де Минюи». Эти оппозиции станут еще нагляднее, если мы сравним более однородные подвыборки писателей в «Лаффоне» и в «Минюи». Эти писатели, значительно более молодые, реже получают премии (если они соглашаются, то на премию Медичи, самую интеллектуальную из них), а главное — они имеют намного меньше наград. В самом деле, эти два издательства группируют вокруг себя две практически несовместимые категории писателей: с одной стороны, господствующей моделью является «чистый» писатель, увлеченный поисками формы вне связи со своей «эпохой»; с другой — первое место отдается писателям-журналистам и журналистам-писателям, которые производят свои труды, «строго придерживаясь принципов истории и журналистики», «внося свой вклад в биографию и социологию, в личные дневники и приключенческие рассказы,

в киносценарии и свидетельства перед правосудием» (*R. Laffont. Op. cit. P. 302*). «Если посмотреть на список моих авторов, то видно, что та часть, которая пришла в книгу из журналистики: Гастон Бонер, Жак Пошмор, Анри-Франсуа Рей, Бернар Кламель, Оливье Тодд, Доминик Лапьер и др., и те, кто начинал как университетские преподаватели: Жан-Франсуа Ревель, Макс Гало, Жорж Бельмон, — проделали встречный путь. Остается мало места для жизни, заключенной в литературе» (*R. Laffont. Op. cit. P. 216*). К этой категории писателей, очень типичных для «коммерческого» издательства, нужно добавить авторов документальных свидетельств, которые часто пишут под заказ и иногда с помощью журналиста-писателя.⁵⁵

Логически связан с анализом представленных выше схем распределения театров в пространстве вывод о том, что социальная ценность места проживания определяется социальными характеристиками квартала и проживающего там населения (эффект клуба), а также социальными характеристиками общественных и профессиональных мест: бирж, офисов компаний, школ, эlegantных мест, где необходимо показываться, театров, ипподромов, галерей, мест для прогулок. Конечно социальная ценность разных кварталов зависит еще и от представления, формирующегося у агентов о социальном пространстве, которое в свою очередь зависит как от их положения в господствующем классе, так и от их социальной траектории. Чтобы понять распределение исследованной выборки писателей в пространстве, нужно помимо имущества и финансовых ресурсов учитывать множество диспозиций, которые выражаются в художественном стиле и своеобразной манере воплощать положение писателя. Например, забота о том, чтобы «бывать» в местах, куда ходят нужные люди, которая предполагает, что можно до бесконечности использовать себе на пользу встречи, одновременно случайные и предвидимые. Близость в физическом пространстве позволяет близости в социальном пространстве проявлять все свои эффекты, облегчая и поощряя накопление социального капитала (отношения, связи).

Бестселлеры и интеллектуальный успех (*)

	Экспресс n=92	Кензен литтерер n=106
	1	2
Год рождения:		
До 1900	4	7
1900–1909	10	27
1910–1919	17	15
1920–1929	33	28
1930–1939	11	15
1940 и позже	5	5
Нет ответа	12	9
Социально-профессиональная категория		
Литератор	35	32
Преподаватель	5	48
Журналист	26	6
Психоаналитик, психиатр	—	2
Другое	10	7
Нет ответа	16	11
Место жительства		
Провинция	5	13
— недалеко от Парижа	2	5
— Юг	1	4
— другое	2	4
Иностранное государство	2	4
Париж и пригороды	62	57
— 6 и 7 округа	19	19
— 8 и 16 округа, Запад. пригород	23	11
— 5, 13, 14, 15 округа	11	11
— другие округа	7	9
— Пригород (за исключ. Запада)	2	7
Нет ответа	23	32
Литературные премии		
Нет	28	68
Есть	48	31
Из них: Ренодо	—	—
— Гонкур	—	—
— Интералье	25	6
— Фемина	—	—
— Медичи	—	4

	1	2
-- Нобель		2
Нет ответа	16	7
Награды		
Нет	44	79
Есть	35	22
Из них: о. Почетного легиона или орден За заслуги	28	18
Нет ответа	13	5
Издатели (**)		
Галимар	8	34
Сёй	7	12
Деноэль	3	6
Фламмарион	11	5
Грассе	14	8
Сток	11	1
Лаффон	18	3
Плон	1	4
Файяр	5	4
Кальман-Леви	1	2
Альбен Мишель	5	—
Другие	11	33
— из которых Минюи		8

* При формировании выборки авторов, признанных интеллектуальной публикой, мы включили совокупность ныне живущих французских авторов, имена которых упоминались журналом «Кензен литтерер» в ежемесячной рубрике «“Кензен” рекомендует» в период 1972–1974 годов. В отношении авторов, пишущих для широкой публики, мы включили живущих французских писателей, вышедших наибольшими тиражами в 1972–1973 годах, и дополнили список именами, информация о которых регулярно появляется в «Экспресс», выбранными на основе опроса продавцов 29 крупных книжных магазинов в Париже и провинции. Большая доля публикаций в «Кензен литтерер» посвящена переводам (43% упомянутых названий) и канонизированным авторам (Колет, Достоевский, Бакунин, Роза Люксембург), но с попытками следить и за современными авторами, особенно, из интеллектуальной среды. Список публикаций в «Экспресс» дает только 12% переводных произведений, являющихся к тому же интернациональными бестселлерами (Десмонд Моррис, Микки Спилейн, Перл Бак и др.).

** Итоговая сумма превышает численность выборки, поскольку один автор может публиковаться в разных издательствах.

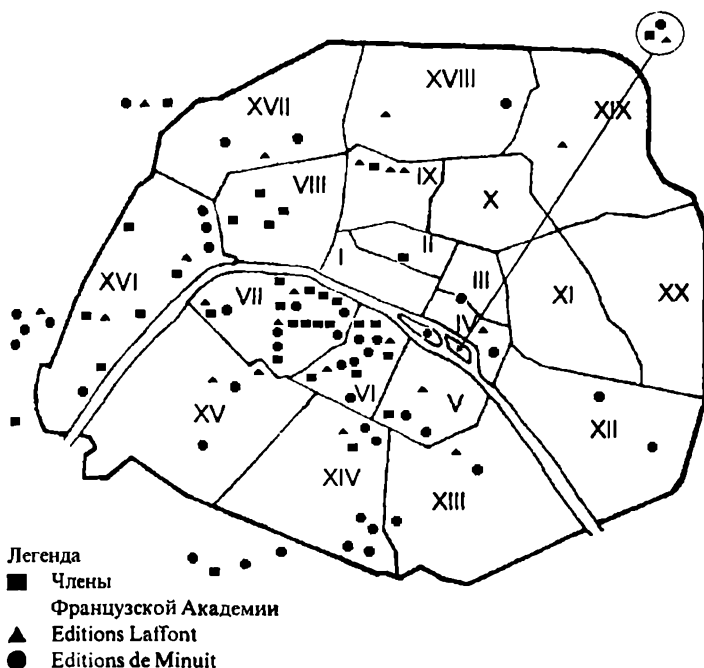


Рис. 3. Пространство писателей

Члены Французской академии почти все живут в самых типично буржуазных кварталах (8-й, 16-й, 7-й и 6-й округа, а точнее, — Фобур Сен-Жермен, улицы Варен, Бонапарт, Бак, Сен, Гренель). С противоположной стороны: авторы «Эдиссон де Минюи»⁵⁶ и, в частности, «интеллектуалы» (в оппозиции к романистам, оказавшимся в основном в 7-м, 6-м и 16-м округах) группируются в основном в южных кварталах Парижа (14-й, 13-й, 12-й и 5-й) и в пригородах (южные пригороды и не самые «шикарные» западные). Авторы в «Лаффон», несмотря на то, что они более других разбросаны, группируются в 16-м округе и «шикарных» западных пригородах (они реже, чем академики, проживают в 6-м округе) и на бульварах или удаленных от центра округах, где проживают также и «интеллектуалы» (14-й и 15-й округа). Эта оппозиция соответствует, по всей видимости, различным — актуально или потенциально — подгруппам писателей «на пути к признанию» и журналистов-писателей.⁵⁷

Классики или деклассированные

Ясно, что примат, который поле культурного производства отдает молодости, соотносится — повторим еще раз — с отношением отрицания власти и «экономики», лежащей в ее основании. Если по их внешним атрибутам и телесному экзису в целом «интеллектуалы» и художники всегда стремятся примкнуть к «молодым», то потому, что и по представлениям, и в реальности оппозиция между «молодыми» и «старыми» гомологичная оппозиции между властью и солидностью «буржуа», с одной стороны, и безразличием к власти или деньгам и «интеллектуальным» отторжением духа солидности — с другой. «Буржуазное» представление, измеряющее возраст властью и соответствующим отношением к власти, использует эту оппозицию на свой счет, когда оно отождествляет «интеллектуала» с молодым «буржуа», подчеркивая их общий статус «подчиненных господ» (*dominants-dominés*), временно удаленных от денег и власти.³⁸

Однако привилегия молодости и связанных с ней ценностей изменения и оригинальности не может полностью объясняться одним лишь отношением «художников» к «буржуазии»: она выражает специфический закон изменения поля производства, а именно диалектику различия, которая обрекает институты, школы, произведения и артистов, неизбежно ассоциирующихся с каким-то моментом истории искусства, представляющим «великую дату» или отмеченным «великой датой», на уход в прошлое, на то, что они станут «классиками» или «деклассированными», поставленными *вне истории* или выброшенными на «свалку истории»; они обречены на вечное присутствие в культуре, где тенденции и школы, совершенно несовместимые «при жизни», могут мирно сосуществовать в силу их канонизации, академичности, нейтральности.

Старение настигает также предприятия и авторов, когда они остаются привязаны (активно или пассивно) к определенным формам производства, которые, если они «сделали свое время», с неизбежностью датированы сами; когда они замыкаются на схемах восприятия или оценки,

препятствующих — особенно если превратились в высшие и вечные нормы — восприятию и принятию нового. Таким образом, торговец или издатель-открыватель может остаться замкнутым в своей *институционализированной концепции* (например, «новый роман» или «новая американская живопись»), в создании которой он принимал участие, т. е. ограниченным социальной дефиницией, с которой должны соотноситься критики, читатели, а также более молодые авторы, довольствующиеся тем, что применяют схемы, произведенные поколением «открывателей», и потому имеющие тенденцию замыкать предприятие в его образе.

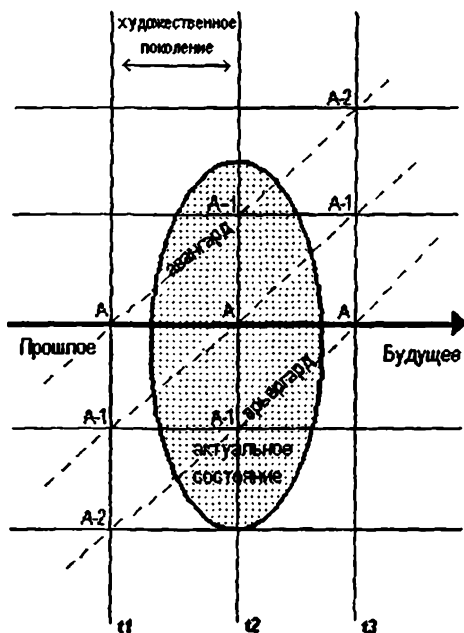
«Я хотела *нового*, сойти с проторенных троп. Вот почему, — пишет Дениз Рене, — моя первая выставка была посвящена Вазарели. Это *исследователь*. Потом я выставила Атлана в 1945 году, потому что он тоже был *необычным, другим, новым*. Однажды пятеро неизвестных: Хартинг, Дейрол, Девасне, Шнайдер, Мари Реймон — пришли показать мне свои полотна. В один момент, при виде этих *строгих, аскетических* произведений, мой путь оказался намеченным. Здесь было достаточно *динамита*, чтобы придать страсть и *по-новому поставить вопрос* о художественных проблемах. Тогда я организовала выставку "Молодая абстрактная живопись" (январь 1946 г.). Для меня началось *время борьбы*. Вначале, до 1950 года, за признание абстракции в целом, чтобы *опрокинуть традиционные позиции* фигуративной живописи, которая — об этом *сегодня почти все забыли* — занимала в то время главные позиции. Потом, в 1954 году, неформальный шквал: стихийно появилась многочисленная генерация артистов, которые с *готовностью погружались* в материю. Галерея, с 1948 года *боровшаяся за абстракцию*, отказалась от генерализованного поклонения и *придерживалась строгого отбора*. Нашим выбором стала конструктивная абстракция, вышедшая из *больших пластических революций* начала века и развитая сегодня новыми исследователями. Искусство *благородное, строгое*, постоянно подтверждающее свою жизнеспособность. Почему

времени, в увековечивании настоящего состояния; между доминирующими, составляющими единое целое с непрерывностью, идентичностью, воспроизводством, и доминируемыми, новичками, заинтересованными в прерывности, разрыве, различии, революции. *Определить время* — значит навязать свою марку, заставить признать свое различие с другими производителями и, главное, с самыми известными среди них; значит в то же время *создать новую позицию* помимо уже существующих и впереди них, в авангарде. Ввести различие — значит произвести время. В этой борьбе за жизнь, за выживание, понятно, особое место отводится *отличающим знакам*, которые в лучшем случае призваны лишь указать на самые поверхностные и наглядные свойства некоего множества произведений или производителей. Слова, названия школ или групп, имена собственные так важны, поскольку они делают вещи: действуя как отличительные знаки, они вызывают к существованию в мире. Иначе говоря, существовать — значит различаться, «сделать себе имя», собственное или общее (группы). Имена школ или групп, расцветшие полным цветом в современной живописи: поп-арт, *minimal art*, процесс-арт, боди-арт, концептуальное искусство, *arte povera*, Fluxus, новый реализм, новая фигуративность, бедное искусство, оп-арт, мобили, — это *ложные концепты*, практические инструменты классификации, создающие сходства или различия, называя их. Они являются продуктами *борьбы за признание* в среде самих артистов и их титулованных критиков и выполняют функцию *знаков признания*, по которым различаются галереи, группы и художники и вместе с тем продукты, которые они создают или предлагают.⁶⁰

Новички могут лишь *постоянно отсылать к прошлому* того движения, которое привело к существованию, т. е. к легитимному различию или даже, для более или менее длительного периода, к исключительной легитимности, тех признанных производителей, на которых они равняются, и, как следствие, их продукция и вкус тех, кто остается им привержен. Таким образом, различные галереи или издательства, как разные художники или писатели, распределяются в каждый момент времени в соответствии

с их артистическим возрастом (т. е. стажем их формы художественного производства) и степенью их канонизации и секуляризации от такой порождающей схемы, являющейся в то же время схемой восприятия и оценки. Поле галерей воспроизводит в некотором роде в *синхронном* плане историю художественных движений, начиная с конца XIX века: все заметные галереи были в более или менее отдаленном времени галереями авангарда. Они тем более признаны и обладают тем большей способностью давать признание (или, что одно и то же, продавать дороже), чем дальше период их расцвета, чем более широко известна и признана их «марка» («геометрическая абстракция» или «американский поп-арт»), но также чем более окончательно определены границы этой «марки» («Дюран-Рюель — это торговля импрессионистами»), этого ложного концепта, являющегося еще и судьбой.

Время художественного поля



В любое время в любом поле борьбы (поле классовой борьбы, поле господствующего класса, поле культурного производства и пр.) вовлеченные в нее агенты и институты являются одновременно современниками и расходящимися во времени. *Поле настоящего* есть другое имя поля борьбы. Так, автор из прошлого присутствует в настоящем в той мере, в какой он становится ставкой в борьбе. Современность как присутствие в настоящем, в настоящем других, в присутствии других, практически существует лишь в борьбе, синхронизирующей расходящиеся времена. (Мы покажем в дальнейшем, что одним из важнейших эффектов крупных исторических кризисов, событий, отмечающих даты, является синхронизация времен различных полей, определяемых специфическими структурными длительностями.) Вместе с тем борьба, которая производит современность как столкновение различных времен, может осуществляться, только если агенты и группы, которые она сталкивает, не присутствуют в одном и том же настоящем. Достаточно представить себе какое-то определенное поле (живописи, литературы или театра), чтобы увидеть, что агенты и институты, сталкивающиеся в нем как минимум объективно в конкурентной борьбе или конфликте, отделены друг от друга временем и отношением ко времени. Одни располагаются, как мы уже говорили, в авангарде, и у них нет современников, которых бы они признавали и которые признавали бы их (за исключением других производителей авангарда), и следовательно, их публика в будущем. Другие, обычно называемые консерваторами, признают за своих современников авторов прошлого (на графике горизонтальными пунктирными линиями отмечены такие скрытые современности). Движение времени, которое производит появление группы, способной «стать событием времени», создавая новую передовую позицию, приводит к перемещению структуры поля настоящего. Иначе говоря, происходит смещение временной иерархии позиций, противостоящих друг другу в данном поле (например, поп-арт, кинетическое искусство, фигуративное искусство), при этом каждая позиция меняет свое место в ранге временной иерархии,

которая в то же время является социальной иерархией⁶¹ (на графике диагональные пунктирные линии соединяют структурно равнозначные позиции, например между авангардом в разные эпохи). Авангард в каждый отдельный момент времени отделен артистическим поколением (понимаемым как расхождение между двумя формами художественного производства) от признанного авангарда, который в свою очередь отделен поколением от того, что было признанным авангардом в момент его вхождения в поле. Благодаря этому в пространстве художественного поля, как и в социальном пространстве дистанция между стилями или стилями жизни, лучше всего измеряется в терминах времени.⁶²

Господствующие в поле производства признанные авторы господствуют также и на рынке. Они не только самые дорогие или самые рентабельные, но также и наиболее легко читаемые и наиболее приемлемые, поскольку в результате более или менее длительного процесса ознакомления, связанного или не связанного со специальным обучением, они банализировались. Это значит, что через них стратегии, направленные против их господства, всегда достигают еще и потребителей, различающихся в зависимости от потребляемой продукции. Внедрить в определенный момент на рынок нового производителя, новый продукт и новую систему вкусов — значит сместить в прошлое множество производителей, продуктов и систем вкусов, иерархизированных в зависимости от степени полученной легитимности. Движение, которым поле производства обретает временные характеристики, определяет также темпоральность вкуса. Поскольку различные позиции в иерархизированном пространстве поля производства (которые могут определяться индифферентно, по названиям институтов, галерей, издательств, театров или по именам артистов или школ) в то же самое время являются социально иерархизированными вкусами, то любое изменение структуры поля влечет за собой смещение структуры вкусов, т. е. системы символических различий между группами. Существует гомология складывающихся сегодня оппозиций между вкусом артистов авангарда,

вкусом «интеллектуалов», вкусом развитой «буржуазии» и вкусом провинциальной «буржуазии», которые находят свои выразительные средства на рынке в лице галерей «Зоннабенд», «Дениз Рене» или «Дюран-Рюель», и оппозиций, существовавших в 1945 году, когда эти вкусы могли бы столь же эффективно найти свои выразительные средства в пространстве, где Дениз Рене представляла авангард, или в 1875 году, когда такую передовую позицию занимал Дюран-Рюель.

Необходимость такой модели сегодня ощущается с особой ясностью, поскольку в силу почти совершенного единения художественного поля с его историей любой художественный акт, становящийся событием, «датирует» поле, вводя новую позицию, и «смещает» целый ряд предшествующих художественных актов. В силу того, что последний акт включает в себя целую последовательность соответствующих «приемов», как при наборе шестой цифры в номере телефона пять уже оказываются набранными, так и эстетический акт нельзя свести к какому-то другому по порядку акту из последовательности, а сама последовательность стремится к целостности и необратимости. Этим объясняется, — как замечает Марсель Дюшан, — что возвраты к стилям прошлого никогда не были столь частыми, как во времена усиленного поиска оригинальности:

«Для уходящего века характерна фигура двустволки (barreled gun): Кандинский, Купка изобрели абстракцию. Потом абстракция умерла. О ней перестали говорить. Спустя 35 лет она снова появилась вместе с американскими абстрактными экспрессионистами. Можно сказать, что после войны кубизм вернулся в обедненной форме с Парижской школой. Дадаизм тоже снова появился. Двойной выстрел, второе дыхание. Это свойственный нашему веку феномен. Такого не было в восемнадцатом или девятнадцатом веке. После романтизма появился Курбе. И романтизм уже никогда не возвращался. Даже прерафаэлиты не являются новым вариантом романтиков».⁶³

Парадокс художника Бена:
может ли искусство выразить
истину искусства?

Положение нового реалиста, положение поп — это положение Дюшана... То, чего от нас хотят, это пост-Дюшан. Положение пост-Дюшан — это когда осознали положение и хотят его изменить. <...> Новое в Моцарте было прекрасно, новое в Вагнере было прекрасно, когда это появлялось... Именно новое в искусстве было прекрасно. <...> На выставке картины, все без исключения, хотят сказать: «Посмотрите на меня, пожалуйста»... когда они отличаются чем-то от других. И вот однажды меня попросили дать картину для групповой выставки... Тогда я написал «посмотрите на меня, пожалуйста, не смотрите на другие» <...> Один тип говорит: «Вся картина обман». Другой сказал: — «Давай что-нибудь покруче», «ты делаешь мазки, а я нет». Один говорит: «Давай покруче, я делаю деревянное дерьмо». «Давай покруче, я вообще ничего не делаю». — «Что я могу сделать покруче? Совсем ничего не делать? Я убиваю зрителей». — «Давай покруче, я взорву земной шар». Это невозможная вещь... Искусство — это игра в мегаломанию, я хочу быть самым крутым. <...> Я заметил, чтобы быть сильнее других, нужно быть совсем слабым. Мы поняли, что для того, чтобы быть самыми большими, совсем не нужно быть большими. Потому что все хотят быть большими. <...> Что есть в произведении искусства? Есть доска: я беру доску. Есть рама: я беру раму. Есть холст: я беру холст. Есть краски: я беру краски. Есть колер: я беру колер. Но есть еще художник. Я беру художника. Есть его мать, его связи, его влияния, есть идеология, политика, есть страна. Есть всё. Я все взял. Есть еще его зависть, его амбиции. <...> Что интересно, так это сказать, как только перенес все что есть на полотно: «Посмотрите на это». Но теперь, какую часть нужно изменить, чтобы изменить искусство, чтобы привнести нечто, ведь я никогда не подвергал сомнению понятие красоты, творчества... Чтобы сделать что-то новое, больше не нужно делать

ничего нового. И все же, когда нужно сделать новое, но не нужно больше делать ничего нового — нет никаких сомнений... Когда ты художник, то не можешь не быть художником. Вот что мне интересно... Не можешь изменить. Это *mea culpa* я отправил в Рим под видом самокритики. Что плачевно, поскольку я не должен был это выставить.

(Отрывок из телевизионного интервью
Бена Вотье, 1975 г.)

На самом деле эти возвраты всегда только *внешние*, поскольку их отделяет от того, что они обнаруживают, негативное отношение к чему-то, что само было отрицанием (отрицанием отрицания и т. п.) того, что они обнаруживают (когда речь не идет просто о подражании или намерении пародировать, что предполагает совсем иную передаточную историю).⁶⁴ В художественном поле на современном этапе его истории нет места для наивных, а все поступки, жесты, манифестации являются, — по меткому выражению одного художника, — «своего рода подмигиванием, понятным для своих»⁶⁵. Эти подмигивания, негласные и скрытые отсылки на других артистов, настоящих или прошлых, утверждают в процессе игры в различие и посредством ее соучастие, которое исключает профана, постоянно обреченного на то, что упустит главное, а точнее говоря, взаимоотношения и взаимодействия, безмолвным следом которых является произведение. Никогда еще структура поля не была так практически представлена в каждом акте производства.

Тем более никогда нередуцируемость производительного труда к процессу изготовления, осуществляемому художником, не проявлялась с такой очевидностью. Прежде всего потому, что новое определение художника и художественного труда сближает труд художника с трудом «интеллектуала» и делает его как никогда ранее зависимым от «интеллектуальных» комментариев. «Интеллектуал» — критик, а также глава школы (например, в случае Рестани и новых реалистов) или попутчик, средства-

ми рефлексивного дискурса участвующий в производстве произведения, которое всегда является отчасти его собственным комментарием, или в размышлениях об искусстве вообще, содержащих в себе размышления о данном искусстве, — еще никогда так непосредственно не участвовал своими работами об искусстве и о художнике в художественном труде, который всегда отчасти состоит в том, чтобы *трудиться над собой* как художником. В сопровождении историков, пишущих хроники открытий, философов, комментирующих «акты» и интерпретирующих и сверхинтерпретирующих произведения, художники не имеют другой возможности постоянно изобретать стратегии различия, от которых зависит их артистическое выживание, если не будут прибегать на практике к практическому овладению истиной своей практики при помощи такой комбинации хитрости и наивности, расчетливости и невинности, веры и обмана. Такого овладения требует участие в *играх мандаринов*, этих *культивированных играх* с культурным наследием, общим для которых является отождествление «творчества» с введением осязаемого только для посвященных *различия* от известных всем форм и формул. Появление такого нового определения искусства и ремесла художника не может быть объяснено в отрыве от трансформаций поля художественного производства. Формирование небывалого сочетания институтов по обучению, сохранению и анализу произведений (репродукций, каталогов, журналов об искусстве, музеев, принимающих самые современные произведения и т. п.), рост персонала, занимающегося полный рабочий день или неполное время *служением* искусству, а также интенсификация циркуляции произведений и артистов, связанная с организацией крупных международных выставок и ростом числа галерей, имеющих отделения в разных странах, и т. п., — все это способствует установлению беспрецедентного отношения между корпусом интерпретаторов и произведением искусства, которое можно сравнить только с отношением, сложившимся в больших эзотерических традициях. Так что нужно быть совсем слепым, чтобы не замечать, что рассуждения о произведении

искусства это не просто сопровождение, предназначенное содействовать его восприятию и оцениванию, но момент производства произведения, его смысла и ценности. Протицируем в этой связи еще раз Марселя Дюшана:

« — Возвращаясь к вашим реди-мейд, я думала, что Р. Мат — подпись на "Фонтане" — это имя производителя. Но в статье Розалинды Краус я прочитала: "R. Mutt, a pun on the German, Armut, or poverty". Бедность, это меняло бы весь смысл "Фонтана" ».

— Розалинда Краус? Рыжая девица? Нет, это совсем не то. Вы можете дать опровержение. Mutt идет от Mott Works, крупного производителя сантехники. Но Мот было бы слишком близко, а потому я взял Мат, поскольку в это время ежедневно печатался комикс, где появлялись Мат и Джеф, которых все знали. И следовательно, с самого начала возникал резонанс. Мат — смешной толстячок, а Джеф — длинный и худой... Я хотел, чтобы имя отличалось. Я добавил Ричард... Ричард — это хорошо для писсуара. Как видите, противоположность бедности... Но даже не так. Только Р.: Р. Мат.

— Какую интерпретацию можно дать вашему «Велосипедному колесу»? Можно ли видеть в этом интеграцию движения в произведение искусства? Или главную исходную точку, как у китайцев, которые изобрели колесо?

— Эта машина не имеет никакой интенции, если только не избавить меня от всяких внешних признаков произведения искусства. Это фантазия. Я не стал бы называть ее произведением искусства. Я хотел покончить с желанием создавать произведения искусства. Почему произведения должны быть статичными? Вещь, велосипедное колесо, пришла раньше идеи. Не было намерения приготовить из нее нечто, чтобы сказать: "Именно я сделал это. И никто до меня." Оригиналы, впрочем, никогда и не были проданы.

— А книга по основам геометрии, предоставленная воле времен года? Можно ли сказать, что здесь идея интегрировать время в пространство? Играя на словах "геометрия в пространстве" или

“время” в смысле дождя или солнца, которые трансформируют книгу?

— Нет. Не более чем идея интегрировать движение в скульптуру. Это было просто шуткой. Откровенный юмор, юмор. Чтобы раскритиковать серьезность книги основ».

Здесь можно видеть в прямой и неприкрытой форме внедрение смысла и ценности, которые производятся интерпретацией и комментариями к интерпретации и в котором, в свою очередь, принимает участие разоблачение — одновременно наивное и лукавое — ошибочности интерпретаций. Идеология создания произведения искусства неисчерпаема. «Прочтение» как со-творчество скрывает посредством псевдораскрытия, которое часто наблюдается в области веры, что произведение создается не два раза, но сто, тысячу раз всеми, кто им интересуется, кто материально или символически заинтересован в том, чтобы читать его, систематизировать, разбирать, комментировать, воспроизводить, критиковать, бороться, изучать, обладать им. Старение сопровождается обогащением, если произведению удастся войти в игру, стать ее ставкой, вобрать в себя часть энергии, произведенной в борьбе, где оно является ставкой. Борьба, относящая произведение к прошлому, может стать гарантией его выживания: выводя его из состояния мертвой буквы, простой материальной вещи, подчиняющейся обычным законам старения, она может обеспечить ему по меньшей мере унылую вечность академических споров.⁶⁴

Примечания

¹ Кавычки здесь и далее указывают, что речь идет об «экономике» в узком понимании, т. е. в смысле «экономизма».

² «Крупный» издатель, как и «крупный» торговец, сочетает «экономическую» осторожность (часто подсмеиваются над таким «отцовским» управлением) с интеллектуальной смелостью, отличаясь, таким образом, от тех, кто обрекает себя по крайней мере «экономически», потому что они действуют с одинаковой смелостью или даже бесцеремонностью в коммерческих делах и в интеллектуальном предприятии (не говоря уже о тех, кто соче-

тает экономическую неосмотрительность с художественной осторожностью). «Ошибка в себестоимости или в тираже не может вызвать катастрофу, даже если продажи исключительно высоки. Когда Жан-Жак Повер замыслил переиздание Литтре, затея казалась плодотворной, учитывая неожиданное число подписчиков. Но после выхода в свет оказалось, что допущена ошибка в расчете себестоимости, приводящая к потере 15 франков с каждого экземпляра. Издатель был вынужден уступить операцию собрату» (*Demory B. Le livre à l'âge de l'industrie // L'Expansion. Octobre 1970. P. 110*). Становится ясно, как Жером Ландон смог получить одновременно широкое одобрение как крупный «коммерческий» издатель и как мелкий издатель авангарда: «Издатель с очень небольшим коллективом и небольшими накладными расходами может жить, целиком полагаясь на свою личность. Это требует очень строгой дисциплины с его стороны, поскольку он оказывается зажатым с двух сторон. С одной стороны, необходимость поддерживать финансовое равновесие, а с другой — искушение расширить дело. Я глубоко уважаю Жерома Ландона, директора Editions de Minuit, который умел поддерживать это хрупкое равновесие в течение всей своей жизни издателя. Он умел отстаивать то, что любил сам, и только это, не позволяя себе отвлекаться по дороге. Нужны такие издатели, как он, чтобы смог родиться новый роман, и нужны такие издатели, как я, чтобы отразить все стороны жизни и творчества» (*Laffont R. Editeur. Paris: Laffont, 1974. P. 291–292*). «Была война в Алжире, и я могу сказать, что жил три года как борец Фронта национального освобождения, и в то же время я стал издателем. В Editions de Minuit Жером Ландон, который всегда был для меня примером, открыто осуждал попытки» (*Maspero F. Maspero entre tous les feux // Nouvel Observateur. 17 septembre 1973*).

³ Наш анализ касается главным образом произведений новых, неизвестных авторов, но может быть распространен и на непризнанные или забытые произведения, даже «классику». Они могут в любой момент стать объектами нового «открытия», «рийейками» или «новыми трактовками» (отсюда берется такое количество философских, литературных или театральных произведений, неподдающихся классификации, общей схемой которых является авангардная постановка традиционных текстов).

⁴ Неслучайно роль поручителя, выпадающая торговцу искусством, особенно наглядна в случае живописи, где «экономические» инвестиции покупателя (коллекционера) несравнимо больше, чем в литературе или театре. Реймон Мулен отмечает: «Контракт, подписанный с крупной галереей имеет коммерчес-

кую ценность», а продавец в глазах любителей искусства выступает «гарантом качества произведений» (*Moulin R. Le Marché de la peinture en France. Paris: Ed. de Minuit, 1967. P. 329*).

⁵ Разумеется, в зависимости от позиции в поле производства представительские акции могут варьировать от открытого обращения к рекламным приемам (реклама в прессе, каталоги и т. д.) и экономическому и символическому давлению (например, на жюри, присуждающие награды или на критиков) до высокомерного и немного показного отказа от каких бы то ни было уступок времени, что может стать в конечном итоге высшей формой навязывания ценности (доступной лишь немногим).

⁶ Идеологическое представление преобразует действительные функции. Издатель или продавец, посвящая этому свое основное время, может сам организовать и рационализировать сбыт произведения, который, особенно в случае живописи, является очень непростым делом и предполагает информированность (о местах проведения «интересных» выставок, особенно за границей) и материальные средства. Но главное, он один, действуя как посредник и как заслон, может позволить производителю поддерживать харизматическое — т. е. вдохновенное и «незаинтересованное» — представление о собственной персоне и своей деятельности, не допуская его контактов с рынком и освобождая от задач одновременно нелепых, деморализующих и недейственных (по меньшей мере, символически), связанных с предъявлением его произведения публике. (Вероятно, ремесло писателя или художника и соответствующие представления были бы совсем другими, если бы производители должны были бы сами заниматься коммерциализацией своих произведений и если бы их условия существования напрямую зависели от санкций рынка или от инстанций, которые знают и признают только эти санкции, как в случае «коммерческих» издательств.)

⁷ Для тех, кто не упустит случая противопоставить этому анализу миротворческое представление о «братских» отношениях между производителями, стоит напомнить о непорядочных формах конкуренции, из которых *плагиат* (более или менее умело замаскированный) просто самая известная и наглядная форма, или еще насилие, конечно, совершенно символическое, выпады, с помощью которых производители стремятся *дискредитировать* своих конкурентов (сошлемся на пример из живописи, которая доставляет их во множестве: отношения между Ивом Клейном и Пьеро Манзони).

⁸ Представленные в данной статье материалы продолжают и уточняют результаты исследования, посвященного миру *haute couture*, где экономические ставки и стратегии их отрицания

проявляются еще более наглядно. (См.: *Bourdieu P., Delsaut Y. Le couturier et sa griffe: contribution à une théorie de la magie // Actes de la recherche en sciences sociales. № 1, janvier 1975. P. 7–36*). В исследовании о философии акцент был сделан на вклад, который интерпретаторы и комментаторы вносят в признание (*reconnaissance*) произведения в форме нового неузнавания (*re-méconnaissance*). (*Bourdieu P. L'ontologie politique de Martin Heidegger // Actes de la recherche en sciences sociales, № 5–6, novembre 1975. P. 109–156*. См. также на русском языке: *Бурдьё П. Политическая онтология Мартина Хайдеггера / Пер. с франц. А. Т. Бикбова, Т. В. Анисимовой. М.: Праксис, 2003*.) Здесь не идет речь о том, чтобы приложить к новым полям знание общих свойств полей, исследованных ранее, но попытаться довести до уровня объяснения и большей широты неизменяемые законы функционирования и трансформации полей борьбы через сравнение многих полей (живописи, театра, литературы, журналистики). В этих полях, по причине, связанной либо с природой имеющихся данных, либо с какими-то специфическими свойствами, различные законы раскрываются с разной степенью достоверности. Наш подход оппонирует как теоретическому формализму, который сам для себя является предметом, так и идиографическому эмпиризму, обреченному на схоластическое накопление фальсифицируемых пропозиций.

⁹ Вот несколько примеров из тысяч других. «Я знаком с художником, у которого много хороших качеств в плане ремесла, профессионализма и т. п., но то, что он делает, считаю чистой коммерцией. У него производство, как если бы он булки пек <...> Когда художники становятся очень известными, то они часто скатываются к производству» (из интервью с директором галереи). Авангардизм часто не даст никакого подтверждения своей убежденности, кроме безразличия к деньгам и бунтарского духа: «Деньги не имеют для меня значения. За стенами госучреждений культуру воспринимают как средство протеста» (*A. de Baecque. Faillite au théâtre // L'Expansion. Décembre 1968*).

¹⁰ Чтобы не выходить за рамки имеющейся у нас информации (например, материалов исследования Пьера Гетта о театре и его публике [*Guetta G. Le théâtre et son public. 2 vol. Paris : Ministère des affaires culturelles, 1966*]), мы ограничились рассмотрением театров, представленных в данном исследовании. Из 43 обследованных в 1975 году парижских театров (исключая дотационные театры), 29, или две трети, предлагают зрителям спектакли из репертуара бульварного театра; 8 театров ставят классические произведения или нейтральные пьесы (в смысле неопределенного жанра) и 6 театров (расположенные все на левом берегу)

предлагают произведения, которые можно отнести к репертуару интеллектуального театра.

¹¹ Здесь, как и в других местах на протяжении всего текста, «буржуа» означает «относящийся к доминирующим группам господствующего класса», когда речь идет о действующем лице. В случае прилагательного «буржуазный» это значит «структурно связанный с данными социальными группами». То же самое относится и к терминам «интеллектуал» и «интеллектуальный», но касательно «подчиненных (доминируемых) групп господствующего класса».

¹² Анализ распределения зрительской аудитории между разными театрами подтверждает наши выводы. На одном конце Восточный парижский театр (ТЕР), чью аудиторию составляют в основном доминируемые фракции господствующего класса, «делит» свою публику с другими «интеллектуальными» театрами (Национальный народный театр [TNP], Одеон, Старых голубятен, Храм Афины). На другом конце бульварные театры (Антуан, Варьете), чья публика примерно наполовину состоит из владельцев предприятий и их высших управляющих кадров с женами. Между ними — Комеди Франсез и Ателье, «обменивающиеся» зрителями со всеми театрами.

¹³ Более тонкий анализ мог бы наметить целое множество оппозиций (по различным основаниям, рассмотренным нами выше) внутри пространства авангардного театра или же бульварного театра. Внимательное рассмотрение статистики посещений показывает, что можно противопоставить «шикарные» буржуазные театры и буржуазные театры, рассчитанные на широкую публику. Первые, например Театр Парижа, Амбассадор, дают постановки, подобные «Как преуспеть в делах» или «Фотофиниш» Питера Устинова, получающие хвалебные рецензии в «Фигаро» и даже в «Нувель Обсерватор», и принимают у себя публику из образованной буржуазии, в основном парижан и больших любителей театра. Вторые, рассчитанные на более широкую публику, дают «парижские» спектакли (Мишодьер: «Доказательство вчетвером» Фелисьена Марсо; Антуан: «Мэри, Мэри»; Варьете: «Избранник судьбы» Ж. Дюваля), жестко раскритикованные парижанами (первый в «Нувель Обсерватор», а два других в «Фигаро»), они получают более благосклонный прием у провинциалов, которые, с одной стороны, менее хорошо знают театр, а с другой — представляют в основном мелкую буржуазию (управляющие кадры среднего уровня, а также ремесленники и коммерсанты). Хотя у нас нет возможности статистически проверить (как это было сделано для живописи и литературы), мы предполагаем, что авторы и актеры этих различ-

ных категорий театров образуют оппозиции по тем же принципам. Например, большие звезды успешных бульварных пьес (часто имеющие процент со сборов) зарабатывали в 1972 году до 2000 франков за вечер, а «известные» актеры от 300 до 500 франков за спектакль; актеры из Комеди Франсез (социетарии, почетные социетарии и стипендиаты) получали за спектакль меньше, чем главные актеры в частных театрах, но имели фиксированную месячную зарплату, к которой добавлялся заработок за сыгранный спектакль, кроме того, социетарии получали долю из годовой прибыли, которая менялась в зависимости от стажа; актеры небольших театральных залов с левого берега обречены на нестабильную занятость и очень низкие доходы.

¹⁴ См.: *Descotes M. Le public de théâtre et son histoire. Paris : PUF, 1964. P. 298.* Такого рода шаржи не стали бы столь частыми в театральных произведениях (вспомним пародию на новый роман в «Высокой точности» Мишеля Перрена, 1963 г.) и еще менее в текстах критиков, если бы «буржуазные» авторы не чувствовали поддержки со стороны «буржуазной» публики. Сводя счеты с авангардными авторами, они возвращали «интеллектуальный» комфорт «буржуа», чувствовавшим, что «интеллектуальный театр» бросает им вызов или приговаривает их.

¹⁵ *Descotes M. Ibid. P. 36.*

¹⁶ Чтобы дать представление о мощи и стойкости этих табу, можно дать один пример. Из статистических обследований вкусов различных классов известно, что предпочтения «интеллектуалов» и «буржуа» могут быть сгруппированы во круг оппозиции Гойя—Ренуар. Франсуаз Дорен нужно было описать противоположные судьбы двух дочерей консьержки: одна должна была «навсегда породниться с комнатой для прислуги», а вторая стала «хозяйкой седьмого этажа с террасой». Первую автор сравнивает с Гойей, а вторую — с Ренуаром. (*Dorin F. Le Tournant. Paris: Juillard, 1973. P. 115.*)

¹⁷ Жан Дютур, многолетний критик искусства в газете «Франс Суар», выражается еще яснее: «Искать в январе в восемь часов вечера по заснеженным улочкам Дом культуры в Нантере, Курнёве, Обервильере или Булони несказанно тоскливое занятие. Тем более что заранее известно, что нас там ожидает: вовсе не праздник, не прелестный спектакль, поставленный душевными людьми, но, наоборот, поставленная неким мрачным светским покровителем глуповатая прогрессистская пьеса, прочитанная с запинками актерами-любителями перед публикой из мелких буржуа и местных коммунистов, которые благонаравно слушают, но слегка расслабляются во время антракта» (*Dutourd J. Le paradoxe du critique. Paris: Flammarion, 1971. P. 17.*)

(Любопытно, что статистика дает объективное подтверждение связи, подмеченной в «буржуазной» полемике, между авангардным театром [т. е. театром в предместье или на левом берегу Парижа] и его публикой, жителями предместий и мелкими буржуа [т. е. левыми или с левого берега]. Рабочие, мастера и технические служащие составляют всего лишь 4% совокупной театральной аудитории. Значительная часть аудитории: служащие, среднее управленческое звено, преподаватели — распределяются по театрам вовсе не случайным образом.) Такое же намерение, движимое одной лишь социальной интуицией, отмечается у тех, кто берет на себя труд напомнить, что если музеи и доступны для преподавателей, то в отношении галерей можно сказать, что их посещает только «шикарная публика».

¹⁸ Покупают не газету, а порождающий принцип формулирования собственной позиции, определяемой относительно некоторой различимой позиции в поле институционализированных порождающих принципов формулирования позиций. Можно предположить, что читатель чувствует, что его позиция тем полнее и адекватнее выражается газетой, чем больше гомология между позицией этой газеты в поле прессы и позицией, которую он [читатель] занимает в поле социальных классов (или фракций класса), фундаменте порождающего принципа его мнений.

¹⁹ Анализ распределения читательской аудитории подтверждает, что «Франс Суар» очень близок к «Авроре», а «Фигаро» и «Экспресс» располагаются примерно на одинаковой дистанции от всех других («Фигаро» чуть ближе к «Франс Суар», а «Экспресс» к «Нувель Обсерватор»). «Монд» и «Нувель Обсерватор» образуют последнее множество.

²⁰ Кадры из частного сектора, инженеры и представители свободных профессий характеризуются средним уровнем чтения вообще и относительно высокой долей читателей «Монда», выше, чем коммерсанты и промышленники. Кадры из частного сектора ближе к промышленникам по доле читателей газет низкого уровня, как «Франс Суар» и «Аврора», в совокупности их читателей. Их отличает также высокая доля читающих органы экономической информации: «Эко», «Информасьон», «Антреприз», а представители свободных профессий приближаются к преподавателям по доле читающих «Нувель Обсерватор».

²¹ Подобное искусство примирения и компромисса достигает виртуозности искусства для искусства у журналиста «Ля Круа». Он соединяет, с одной стороны, свое безоговорочное одобрение столь тонко сформулированной мотивировки, литот с их двойным отрицанием, нюансов и, с другой стороны, свою сдержанность и поправки к самому себе, так что в итоге столь просто-

душно иезуитское *conciliatio oppositorum* формы и содержания (по его собственному выражению), выглядит как нечто совершенно естественное. «“Поворот”, — как я уже говорил, — кажется мне восхитительным произведением по содержанию и форме. Стоит ли писать, что у многих оно вызовет зубовой скрежет. Случайно оказавшись в стане безусловной поддержки авангарда, весь вечер я ощущал свой сдерживаемый гнев. Вместе с тем я не делаю вывода, что Франсуаз Дорен была неверна некоторым вызывающим уважение — даже если зачастую и тоскливым — поискам современного театра... И если она приходит к заключению — легкий блошинный укус — о триумфе “Бульвара”, но бульвара самого по себе авангардного, то именно потому, что такой мэтр, как Ануй уже с давних времен стал проводником на перекрестке этих двух дорог» (*Jean Vigneron. La Croix, 21 janvier 1973*).

²² Логика функционирования полей производства культурных благ, взятых как поля борьбы в пользу стратегий различия, приводит к тому, что продукты их функционирования — идет ли речь о создании моды или романа — предрасположены функционировать *различно* (дифференциально), в качестве средств различия между фракциями, в первую очередь, и между классами, во вторую.

²³ Можно верить критикам, известным за их верность ожиданиям публики, когда они утверждают, что никогда не поддерживали мнение своих читателей и что им часто приходится бороться с ним. Так, Жан-Жак Готье (*J.-J. Gautier. Théâtre d'aujourd'hui. Paris: Julliard, 1972. P. 25–26*) прямо говорит, что принцип действенности его критики заключается не в демагогической поддержке публики, но в объективном согласии, которое предполагает между критиком и публикой совершенную искренность, к тому же необходимую, чтобы быть *жестоким*, а значит — эффективным.

²⁴ В этом отношении симметрия между двумя полюсами не полная. «Интеллектуалы» в обычном смысле (т. е. *grosso modo* производители, создающие в основном для других производителей) могут более легко игнорировать противоположные позиции, хотя — по меньшей мере в качестве вытеснения и свидетельства «преодоленного» состояния — эти позиции продолжают негативно ориентировать то, что интеллектуалы называют своими «исследованиями».

²⁵ Одинаковая позиция в гомологичной структуре порождает одинаковые стратегии. А. Друан, продавец картин, разоблачает «левых спасителей, псевдогениев, ложную оригинальность которых принимают за талант» (*Galerie Drouant. Catalogue 1967. P. 10*).

²⁶ Как замечает Луи Дандрель в своей рецензии на «Поворот», интересен тот факт, что стратегии, ранее закрепленные за

философско-политическими полемиками публицистов и более непосредственно сталкивавшиеся с объективирующей критикой, сегодня начинают появляться на сценах бульварных театров — областью *rag excellence* уверенности и самоутверждения буржуазии. «Имеющий репутацию нейтральной территории или деполитизированной зоны, бульварный театр вооружается для защиты своей целостности. Большинство представленных в начале этого сезона пьес затрагивают политические или социальные темы, использованные, по всей видимости, в качестве неких пружин (как адюльтер и т. п.) незыблемого механизма комедии: домашняя прислуга, объединенная в профсоюз у Фелисьена Марсо, забастовщики у Ануя, молодое, свободное от предрассудков поколение у всех авторов» (*Le Monde*, 13 janvier 1973). Тот факт, что оппозиция между арьергардом и авангардом, — как хорошо показывает «Поворот», — этой эвфемистической формой оппозиции между правым и левым, переживается под видом оппозиции между модерном (живущим-в-ногусо-временем) и устарелым, т. е. между молодыми и старыми, указывает на то, что беспокойство, способное породить защитные стратегии, проникает при посредничестве молодого поколения, непосредственно заинтересованного в переменах действующего способа производства.

²⁷ «Здесь речь идет о таланте определенного рода, который очерняет новое кино, имитирующее в этом новую литературу. Враждебность эта понятна. Когда какое-то искусство требует определенного таланта, самозванцы прикидываются, что презирают его, находя его слишком тяжелым; посредственности выбирают более доступные пути» (*Louis Chauvet. Le Figaro*, 5 décembre 1969).

²⁸ «Фильм не заслуживает звания “новое кино”, если спорное понятие не фигурирует в изложении его содержания. Уточним, что оно может совершенно ничего не означать» (*Louis Chauvet. Le Figaro*, 4 décembre 1969).

²⁹ «Не получает ли он удовольствие, собирая самые грубые провокации эротико-мазохистского толка, заявленные в самых напыщенных лирико-метафизических символах веры, и видя, как парижская псевдоинтеллигенция млеет перед этими гнусными банальностями?» (*C. B. Le Figaro*, 20–21 décembre 1969).

³⁰ «Никто об этой информации не дает, эту штуку надо чувствовать... Я в точности не знал, что делаю. Есть люди, которые были застрельщиками, я их не знал... Информация — это когда что-то неясно чувствуешь, хочешь что-то сказать и попадаешь на это... Это целая куча всякой всячины, ощущения, не информация» (Из интервью с художником).

³¹ *Gautier J.-J. Op. cit.* P. 26. Издатели также прекрасно осознают, что успех книги зависит от места издания. Они знают,

что «сделано для них», а что нет; они наблюдают за тем, как книга «сделанная для них» (например, для «Галимар»), плохо идет у другого издателя (например, у «Лаффон»). Взаимоподгонка автора, издателя, а затем книги и читателя является, таким образом, результатом ряда выборов, которые совершаются с учетом образа или марки издательства. Именно в зависимости от этого образа авторы выбирают издателя, который выбирает их в зависимости от его представления о своем издательстве; читатели также в их выборе автора учитывают сложившийся у них образ издательства (например, «Минюи» — это трудно). Все это, несомненно, вносит свой вклад в объяснение провала «неуместных» книг. Именно этот механизм заставляет издателя говорить, причем очень верно: «Каждый издатель лучший в своей категории».

³¹ Рассказывают, что Жан-Жак Натан (Фернан Натан), известный прежде всего как «управляющий», дает определение издательскому делу как «в высшей степени спекулятивному ремеслу»: действительно, доля случайности очень велика и шансы на возврат затраченных средств при издании молодого писателя очень незначительны. Длительность жизни неудачного романа может быть меньше трех недель, а после — это уже потерянные экземпляры, порванные или слишком грязные, чтобы возвращать их из магазина в издательство, а те, что возвращаются, — бумага, не имеющая никакой ценности. В случае среднего успеха книги в короткий срок необходимо вычесть затраты на производство, авторские права, затраты на распространение, и издателю остается примерно 20% от продажной цены, что должно покрыть непроданные экземпляры, затраты на их хранение на складе, накладные расходы и налоги. Но когда жизнь книги продолжается по истечении первого года, когда она входит в «фонд», то книга становится финансовым «маховиком», который дает базу для прогнозирования и долговременной инвестиционной «политики»: первое издание покрывает фиксированные затраты, ее допечатка стоит намного дешевле и обеспечивает, таким образом, регулярные денежные поступления (как прямые, так и доход от косвенных, дополнительных прав: переводов, переизданий в карманном формате, экранизации на телевидении или в кино), что позволяет финансировать более или менее рискованные инвестиции, которые в свою очередь могут со временем обеспечить увеличение «фонда».

³³ Очень неравная длительность производственного цикла полностью лишает смысла сравнение годовых финансовых отчетов разных издательств. Годовой отчет дает тем более неадекватное представление о реальном положении предприятия, чем

более мы удаляемся от предприятий с быстрым оборотом. Иначе говоря, по мере того как доля продукции с длинным циклом растет в совокупности продукции предприятия. Действительно, если речь идет, например, об оценке имеющейся на складе продукции, то можно принимать в расчет либо *себестоимость*, либо ненадежную *продажную цену*, либо *цену бумаги*. Эти разные способы оценки очень по-разному подходят к разным издательствам: в «коммерческих» издательствах запасы продукции быстро приходят к состоянию «использованной бумаги», а в других издательствах они могут представлять собой постоянно возрастающий капитал.

³⁴ Следовало бы добавить еще случай, который нельзя отразить на диаграмме, — случай полного провала книги. Например, если бы карьера книги «В ожидании Годо» остановилась в конце 1952 года, то итог был бы с большим дефицитом.

³⁵ К надежным краткосрочным инвестициям нужно отнести и издательские стратегии, позволяющие эксплуатировать «фонды»: допечатки, переиздания в карманном формате (как, например, в издательстве «Галимар» серия «Фolio»).

³⁶ Никогда не стоит игнорировать «*муаровый эффект*», который стремится произвести во всяком поле тот факт, что разного типа возможные структуры поля (например, по возрасту или размеру предприятия, уровню политической или эстетической авангардности) никогда полностью не совпадают. Вместе с тем, можно было бы взять в качестве доминирующего принципа структурирования поля относительный вес долгосрочных и краткосрочных проектов. В этом отношении мы можем увидеть, что небольшие авангардные издательства, как «Повер», «Масперо», «Минион» (можно было бы добавить «Буржуа», но оно занимает двойственную позицию как в культурном, так и в экономическом плане в силу своей принадлежности группе «Пресс де ля Ситэ»), противостоят «большим издательским домам» типа «Лаффон», «Пресс де ля Ситэ», «Ашетт», а центральную позицию занимают такие издательства, как «Фламмармон» (где встречаются публикации научных серий и сборников по заказу), «Альбен Мишель», «Кальман-Леви» — старые «традиционные» издательства, где дела ведут наследники, для которых доставшееся им достояние и сила, и тормоз; сюда же относится «Грассе» — бывший «крупный издательский дом», а теперь поглощенный империей «Ашетт», и «Галимар» — бывшее авангардное издательство, стоящее сегодня на вершине канонизированной литературы и объединяющее проекты, ориентированные на управление собственными фондами, и долгосрочные проекты (которые стали возможными только на базе накопленного культурного капитала, подобные издательским коллекци-

ям «Шмен» или «Библиотека социальных наук»). Субполе издательств, ориентированных в основном на выпуск долгосрочной продукции, а следовательно, на «интеллектуальную» публику, поляризуется оппозицией между «Масперо» и «Минюи» (авангард на пути канонизации), с одной стороны, а с другой — «Галимар», занимающий доминирующую позицию, и «Сей», представляющий нейтральное место в поле (как мы увидим далее, «Галимар», чьи авторы одинаково фигурируют как в списке бестселлеров, так и в списке интеллектуальных бестселлеров, тоже образует нейтральное место, но относительно поля в целом). Практическое овладение этой структурой, — которая направляет не только издателей, но и создателей периодических изданий, когда они чувствуют, что «появилось вакантное место», или «метят в оставленный свободным просвет» посредством существующих выразительных средств, — выражается в сугубо топологическом взгляде молодого издателя Делорма, основателя издательства «Галилей», которое пытается найти свое место между издательствами «Минюи», «Масперо» и «Сей» (цитируется по статье J. Jossin, L'Express, 30 août — 5 septembre 1976.)

³⁷ В профессиональных кругах хорошо известно, что директор одного из самых крупных французских издательств практически никогда не читает рукописей, которые он публикует; его рабочий день проходит в решении чисто управленческих задач (соборания производственного комитета, встречи с адвокатами, директорами филиалов и т. п.).

³⁸ На самом деле, его профессиональные действия являются «интеллектуальными акциями», аналогично подписи под литературным или политическим манифестом или под петицией (с некоторыми дополнительными рисками), приносящими ему обычные благодарности «интеллектуалов» (интеллектуальный престиж, интервью, дебаты на радио и пр.).

³⁹ Робер Лаффон признает эту зависимость, когда, объясняя снижение доли переводов относительно оригинальных произведений, он упоминает наряду с повышением платы за права на перевод «решающее влияние медиа, в частности телевидения и радио, в продвижении книги». «Личность автора и его умение свободно высказываться представляют весомый элемент в выборе медиа и, следовательно, в ожиданиях публики. Иностранные авторы в этой области, за исключением нескольких настоящих монстров, оказываются в невыгодном положении» (*Vient de paraître. Bulletin d'information des éditions Robert Laffont. № 167, janvier 1977*).

⁴⁰ Здесь снова культурная логика и логика «экономическая» пересекаются. Судьба издательства «Павуа» показывает, что литературная премия может быть катастрофой со строго «эко-

номической» точки зрения для маленького начинающего издательства. Внезапно оно оказывается перед необходимостью огромных инвестиций, требующихся для оплаты допечатки тиража и распространения награжденной книги.

⁴¹ Это особенно хорошо видно на примере театра, где рынок классики («классические утренники» в Комеди Франсез) подчиняется совершенно особым законам в силу его зависимости от системы образования.

⁴² Подобная оппозиция наблюдается во всех полях. Андре де Бек описал оппозицию, характеризующую, на его взгляд, поле театра, — между «деловыми людьми» и «борцами за идею»: «Люди, работающие в театре, бывают всякого рода. Общий у них риск, при каждой постановке, часты значительные вложения денег и таланта в непредсказуемый рынок. Но на этом сходство кончается: их мотивы черпаются из самых разных идеологий. Для одних театр — это спекулятивная операция, как другие, только немного пожизненнее, однако допускающая такую же холодную стратегию выбора из имеющихся опций, просчитанный риск, трудное сведение концов с концами в конце месяца, эксклюзивы по договорам, выходящим за рамки. Для других театр — это вестник или средство осуществления миссии. Иногда, конечно, случается, что «борец за идею» получает хороший деловой результат...» (*A. de Baecque. Loc. cit.*).

⁴³ Не доходя до того, чтобы делать из провала гарантию качества, как пытается это показать полемик «буржуазных» писателей: «Теперь, чтобы преуспеть, нужно иметь провалы. Провал внушает доверие. Успех выглядит подозрительно» (*Dorin F. Op. cit. P. 46*).

⁴⁴ «Увы, я всего лишь воспроизвожу, аранжирую, адаптирую то, что я вижу и слышу. Не везет! То, что я вижу, всегда красиво, а то, что слышу — часто забавно. Я живу в роскоши и брызгах шампанского» (*Dorin F. Op. cit. P. 27*). Нет нужды вспоминать о таком искусстве, как репродукция, воплощенном сейчас «импрессионистами», о которых известно, что все их бестселлеры попали в специализирующиеся на репродукциях издательства: Ренуар («Девушка с цветами»), «Мулен де ла Галет»), Ван Гог («Церковь в Овере»), Моне («Маки»), Дега («Репетиция балета»), Гоген («Крестьяне»). (Информация получена в отделе открыток Лувра в 1973 г.) В области книг можно вспомнить об огромном производстве биографий, мемуаров, воспоминаний, свидетельств, которые от Лаффона до Латте, от Нильсена до Орбана предлагают «буржуазным» читателям альтернативный «жизненный опыт» (например, у Лаффона серия «Пережитое» — с «мемуарами» Мадам Эмиль Поллак, или Мадам Морис Реймс,

или Судьи Батинь, или Марселя Блештейн-Бланше, или серия «Человек и его профессия»).

⁴⁵ В литературе, как и повсюду, производители на полной ставке (тем более производители для производителей) далеки от обладания монополией на производство. Из 100 персоналий, упомянутых в «*Who's Who*» как занимавшиеся литературным творчеством, более трети непрофессионалы: промышленники — 14%, высшие руководители — 11%, медики — 7% и т. д. Доля производителей на неполной ставке еще выше: в сфере политических произведений — 45%, среди работ на общие темы — 48%.

⁴⁶ Можно провести различие дальше и выделить среди них тех, кто пришел в книгоиздание с чисто «коммерческим» проектом, как Жан-Клод Латте, который прежде был пресс-атташе у Лаффона, а потом замыслил свой проект, вначале в виде серии («Специальное издание») в издательстве «Лаффон»; или Оливье Орбан (и тот и другой вдруг поставили на рассказы по заказу), и тех, кто за неимением лучшего стал довольствоваться проектами «на пропитание», как Ги Отье или Жан-Поль Менжес.

⁴⁷ Та же логика приводит к тому, что издатель-открыватель всегда рискует увидеть, как его «открытия» переманивают более богатые или более известные издатели, которые предлагают им свое имя, репутацию, влияние на членов жюри по присуждению премий, а также рекламу и большие отчисления за авторские права.

⁴⁸ В противоположность галерее «Зоннабенд», которая объединяет молодых художников (самому старшему 50 лет), но уже достаточно признанных, а галерея «Дюран-Рюель» собирает только умерших и знаменитых художников — галерея Дениз Рене удерживается на этой своеобразной точке пространства-времени художественного поля, где прибыли, обычно очень редкие, от авангарда и его признания, удастся сложить вместе (как минимум в настоящий момент). Она собирает вместе художников уже широко признанных (абстракционисты) и группу авангардистов или арьер-авангардистов (кинетическое искусство), как если бы ей удалось уйти от диалектики различения, которая уводит школы в прошлое.

⁴⁹ Выстраиваемая в исследовании оппозиция между двумя экономикami не содержит никакого ценностного суждения, хотя в обычных внутренних баталиях художественной жизни она всегда выражается именно в форме ценностных суждений. Несмотря на все усилия дистанцироваться и объективировать ее, сохраняется опасность, что наш анализ будет прочитан именно сквозь очки полемики. Как мы уже показывали ранее, категории восприятия и оценки (например, темный/ ясный или про-

стой, глубокий/поверхностный, оригинальный/банальный и т. п.), действующие в области искусства, являются оппозициями практически универсального применения, основанными — в конечном итоге и при посредничестве оппозиции между редким и распространенным, популярным, вульгарным; между уникальностью и множественностью, качеством и количеством — на чисто социальной оппозиции между «элитой» и «массами», между продукцией «элитарной» (или «качественной») и «массовой» продукцией.

⁵⁰ Такой эффект очень нагляден в сфере высокой моды или парфюмерии, где известные дома могут держаться на протяжении многих поколений (как Карон, Шанель, а особенно Герлан) лишь ценой политики, нацеленной на искусственное сохранение редкости их продукции (контракты эксклюзивной концессии ограничивают число точек продаж только такими местами, которые сами являются редкостью: магазины больших кутюрье, парфюмерии в шикарных кварталах, международные аэропорты). Старение здесь рассматривается как синоним популяризации, а потому большие старые марки (Коти, Ланком, Уорт, Молино, Буржуа и др.) делают вторую карьеру на доступном («популярном») рынке.

⁵¹ Мы отдаем себе отчет в том, что наша характеристика галерей по имеющимся в ней полотнам может показаться произвольной, приводящей к приравниванию художников, которых галерея «сделала» и чьи полотнами владеет, и тех, от кого у нее есть только несколько полотен и нет монополии. Относительный вес этих двух категорий художников сильно меняется в зависимости от галереи, что позволяет различать, независимо от каких-либо ценностных суждений, «галереи продаж» и «галереи-школы».

⁵² Все заставляет предполагать, что клиентура галерей имеет характеристики, гомологичные характеристикам выставленных там художников. Так, галереи авангарда, как «Тамплон», «Зоннабенд» и «Ламбер» (две из которых располагаются на левом берегу), выставляют передний край авангарда, т. е. молодых художников, чей авторитет не выходит за рамки круга профессиональных художников и критиков. Они продают лишь небольшому числу профессиональных коллекционеров, большей частью иностранцев, и привлекают публику из числа художников и «интеллектуалов», служащих им «попутчиками», а также из критиков авангарда и маргинальных университетских преподавателей. В галереях правого берега можно встретить два сорта публики, в соответствии с двумя предлагаемыми категориями продукции: с одной стороны, очень богатые крупные кол-

лекционеры, которые одни только и могут покупать самых знаменитых художников XIX века, а с другой стороны — менее обеспеченные и менее подготовленные буржуа, медики и промышленники из провинции, которых удовлетворяют именно каноническая манера и конвенциональная тематика академических художников, особенно когда они сочетаются с «гарантией цены и качества», обеспечиваемых большими традиционными галереями (как говорится в каталоге «Друан»).

⁵⁵ Как мы уже показывали ранее, само собой разумеется, что «выбор» между рискованными инвестициями, которых требует экономика отрицания, и верными инвестициями в «светскую» карьеру (как между художником и художником-преподавателем рисования или между писателем и писателем-преподавателем) зависит от социального происхождения и от склонности противостоять рискам, которая поощряется в большей или меньшей степени этим происхождением в соответствии с гарантируемой им мерой безопасности.

⁵⁴ Cf.: *Peintres figuratifs contemporains*. Paris: Galerie Drouant, 4^e trimestre 1967.

⁵⁵ Менее 5% «интеллектуалов, имеющих интеллектуальный успех», оказываются также и в списке авторов бестселлеров (а те, кто есть, очень высоко признанные авторы: Сартр, Симона де Бовуар, Солженицын и др.).

⁵⁶ В случае авторов «Минюи» и «Лаффон», информация отражена только по 4/5 и 1/2 авторов (соответственно), адреса которых мы смогли получить.

⁵⁷ Отличительная черта членов Гонкуровской академии — большая доля провинциалов (почти половина), тогда как среди членов Французской академии их менее 1/5. Для сравнения: среди авторов «Лаффон» их также 1/5, а в «Эдисьон де Минюи» — 1/3. Те члены Гонкуровской академии, что проживают в Париже, занимают в городском пространстве места, как другие академики.

⁵⁸ Можно выдвинуть гипотезу, что доступ к социальным показателям зрелого возраста, являющийся в одно и то же время условием и результатом доступа к властным позициям, и отказ от безответственных поступков, ассоциирующихся с подростками (к которым относят культурные и даже политические практики «авангардистов»), должен становиться все более и более ранним, если идти в направлении от артистов к преподавателям, а от преподавателей к представителям свободных профессий и хозяев предприятий. Иначе говоря, представители одного возрастного (биологически) класса, например совокупность студентов *grandes écoles*, имеют разный социальный возраст, от-

личающийся атрибутами и символическими поступками в зависимости от объективно ожидающего их будущего: студенты Высшей школы искусств должны быть *моложе*, чем студенты Высшей нормальной школы, а эти в свою очередь моложе «политехников» или студентов Национальной школы управления. В этой же логике нужно проанализировать отношение между полами внутри доминирующей фракции господствующего класса и, в частности, последствия разделения труда (в области культуры и искусства), двигаясь от позиции «господ-подчиненных» (*dominants-dominés*), выпадающей на долю женщин из «буржуазии», что *относительно* сближает их с молодыми «буржуа» и «интеллектуалами», склоняя их выполнению роли *медиатора между доминирующей и доминируемой фракциями* (которую они всегда играли, в частности через «салоны»).

⁵⁹ René D. Présentation // Catalogue du 1er Salon international des Galeries pilotes. Lausanne: Musée Cantonal des Baux-Arts, 1963. P. 150.

⁶⁰ Университетская критика обрекает себя на бесконечные дискуссии о понимании и области распространения этих ложных концептов, которые чаще всего просто являются названиями, описывающими практические объединения художников, собранных на заметной выставке или в известной галерее; или писателей, опубликованных в одном издательстве. Все они значат не больше и не меньше, чем удобные ассоциации типа: «Дениз Рене — это геометрические абстракции», «Александр Йолас — это Макс Эрнст»; или в отношении художников: «Арман — это мусорные корзины», «Кристо — это упаковка». А сколько концептов литературной или художественной критики представляют собой всего лишь «ученые» обозначения подобного рода практических множеств! Например, «литература опровержения» для «нового романа», а «новый роман» для обозначения «множества романистов, опубликованных издательством “Ми-нюи”».

⁶¹ Таков фундамент гомологии между оппозицией, установившейся в поле между авангардом и арьергардом, и оппозицией между фракциями господствующего класса. Так, овладение авангардными произведениями требует больше культурного, нежели экономического капитала, и, следовательно, предлагается, главным образом, доминируемым фракциям господствующего класса. А овладение признанными произведениями требует больше экономического, нежели культурного капитала, и, следовательно, они более доступны (относительно) доминирующим фракциям господствующих.

⁶² Вкусы могут быть «датированы» относительно того, что считалось авангардным вкусом в разные эпохи. «Фотография устарела. — Почему? — Потому что она уже не в моде, потому что она связана с концепцией двух-трехгодичной давности». «Кто мог бы сказать: "Когда я смотрю на картину, то не интересуюсь, что на ней изображено?" Теперь люди мало понимают в искусстве. Подобные высказывания типичны для людей, не имеющих ни малейшего представления об искусстве. *Двадцать лет назад*, и даже не знаю, было ли это двадцать лет назад, художники-абстракционисты могли бы так сказать, но я в это не верю. Это очень типично для того, кто ничего не знает и говорит: "Я не старый дурак. Главное, чтобы было красиво"» (Художник-авангардист, 35 лет).

⁶³ Из интервью, опубликованного в «*VN 101*», № 3, automne 1970, p. 55–61.

⁶⁴ Поэтому наивно было бы думать, что отношение между давностью и доступностью произведений исчезает, когда логика различия приводит к возврату (на втором уровне) к старой выразительной форме (как сегодня с «неодадаизмом», «новым реализмом» или «гиперреализмом»).

⁶⁵ В такую игру с подмигиванием нужно играть очень быстро и очень «натурально», что еще более безжалостно исключает «неудачника», который вроде бы делает то же, что и другие, но не вовремя, обычно слишком поздно, и попадает во все ловушки, неловко шутит и служит для того, чтобы выгодно оттенять тех, кто его берет против его воли и по неведению своим ассистентом. Если только он не понимает наконец смысл игры и не превращает в сознательный выбор свой статус «неудачника», делая из постоянного промаха художественное «решение». По поводу одного такого художника, прекрасно иллюстрирующего подобную траекторию, другой художник сказал: «Раньше это был просто плохой художник, который стремился преуспеть, теперь он делает работу о плохом художнике, который хочет преуспеть. Значит, все хорошо».

⁶⁶ Нужно бы показать то, что экономика художественного произведения, рассматриваемая как пограничный случай (а не как исключение из законов экономики), в котором лучше просматриваются механизмы отрицания и их следствия, дает понимание обычных экономических практик, где также бывает необходимо, в большей или меньшей степени, скрывать голую правду сделки (как об этом свидетельствует обращение к целому аппарату символических агентов).

ОБЩЕСТВЕННОЕ МНЕНИЕ НЕ СУЩЕСТВУЕТ*

Прежде всего хотел бы уточнить, что в мои намерения входит не простое и механическое разоблачение опросов общественного мнения, но попытка строгого анализа их функционирования и назначения. Это предполагает, что под сомнение будут поставлены три постулата, имплицитно задействованные в опросах. Так, всякий опрос мнений предполагает, что все люди могут иметь мнение или, иначе говоря, что производство мнения доступно всем. Этот первый постулат я оспарю, рискуя задеть чьи-то наивно демократические чувства. Второй постулат предполагает, будто все мнения значимы. Я считаю возможным доказать, что это вовсе не так и что факт суммирования мнений, имеющих отнюдь не одну и ту же реальную силу, ведет к производству лишенных смысла артефактов. Третий постулат проявляется скрыто: тот простой факт, что всем задается один и тот же вопрос, предполагает гипотезу о существовании консенсуса в отношении проблематики, т. е. согласия, что вопросы заслуживают быть заданными. Эти три постулата предопределяют, на мой взгляд, целую серию деформаций, которые обнаруживаются, даже если строго выполнены все методологические требования в ходе сбора и анализа данных.

Опросам общественного мнения часто предъявляют упреки технического порядка. Например, ставят под со-

* © Bourdieu P. L'opinion publique n'existe pas // Les Temps modernes, janvier 1973. P. 1292-1309.

мнение репрезентативность выборок. Я полагаю, что при нынешнем состоянии средств, используемых службами изучения общественного мнения, это возражение совершенно необоснованно. Выдвигаются также упреки, что в опросах ставятся хитрые вопросы или что прибегают к уловкам в их формулировках. Это уже вернее, часто получается так, что ответ выводится из формы построения вопроса. Например, нарушая элементарное предписание по составлению вопросника, требующее «оставлять равновероятными» все возможные варианты ответа, зачастую в вопросах или в предлагаемых ответах исключают одну из возможных позиций или к тому же предлагают несколько раз в различных формулировках одну и ту же позицию. Есть разнообразные уловки подобного рода, и было бы интересно порассуждать о социальных условиях их появления. Большей частью они связаны с условиями, в которые поставлены составители вопросников. Но главным образом уловки возникают потому, что проблематика, которую прорабатывают в институтах изучения общественного мнения, подчинена запросам особого типа.

Так, в ходе анализа инструментария крупного национального опроса французов о системе образования мы подняли в архивах ряда бюро этой службы все вопросы, касающиеся образования. Оказалось, что более 200 из них было задано в опросах, проведенных после событий Мая 1968 г., и только 20 — в период с 1960 г. по 1968 г. Это означает, что проблематика, за изучение которой принимается такого рода организация, глубоко связана с конъюнктурой и подчинена определенному типу социального заказа. Вопрос об образовании, например, мог быть поставлен институтом общественного мнения только тогда, когда он стал политической проблемой. В этом сразу же видно отличие, отделяющее подобные институты от центров научных исследований, проблематика которых зарождается если и не на небесах, то, во всяком случае, при гораздо большем дистанцировании от социального заказа в его прямом и непосредственном виде.

Краткий статистический анализ задававшихся вопросов показал нам, что их подавляющая часть была прямо

связана с политическими заботами «штатных политиков». Если бы мы с вами решили позабавиться игрой в фанты и я бы попросил вас написать по пять наиболее важных, на ваш взгляд, вопросов в области образования, то мы, несомненно, получили бы список, существенно отличающийся от того, что нами обнаружен при инвентаризации вопросов, действительно задававшихся в ходе опросов общественного мнения. Вариации вопроса «Нужно ли допускать политику в лицей?» ставились очень часто, в то время как вопросы «Нужно ли менять программы?» или «Нужно ли менять способ передачи содержания?» задавались крайне редко. То же самое с вопросом «Нужна ли переподготовка преподавателей?» и другими важными, хотя и с иной точки зрения, вопросами.

Предлагаемая исследованиями общественного мнения проблематика подчинена политическим интересам, и это очень сильно сказывается одновременно и на значении ответов, и на значении, которое придается публикации результатов. Зондаж общественного мнения в сегодняшнем виде — это инструмент политического действия; его, возможно, самая важная функция состоит во внушении иллюзии, что существует общественное мнение как императив, получаемый исключительно путем сложения индивидуальных мнений, и во внедрении идеи, что существует нечто вроде среднего арифметического мнений или среднее мнение. «Общественное мнение», демонстрируемое на первых страницах газет в виде процентов («60% французов одобрительно относятся к ...»), есть попросту чистейший *артефакт*. Его назначение — скрывать то, что состояние общественного мнения в данный момент есть система сил, напряжений и что нет ничего более неадекватного, чем выражать состояние общественного мнения через процентное отношение.

Известно, что любое использование силы сопровождается дискурсом, нацеленным на легитимацию силы того, кто ее применяет. Можно даже сказать, что суть любого отношения сил состоит в проявлении всей своей силы только в той мере, в какой это отношение как таковое остается сокрытым. Проще говоря, политик — это тот,

кто говорит: «Бог на нашей стороне». Эквивалентом выражения «Бог на нашей стороне» сегодня стало «Общественное мнение на нашей стороне». Таков фундаментальный эффект опросов общественного мнения: утвердить мысль о существовании единодушного общественного мнения, т. е. легитимировать определенную политику и закрепить отношения сил, на которых она основана или которые делают ее возможной.

Высказав с самого начала то, что хотел сказать в заключении, я постараюсь хотя бы в общем виде обозначить те приемы, с помощью которых достигается *эффект консенсуса*. Первый прием, отправной точкой имеющий постулат, по которому все люди должны иметь мнение, состоит в игнорировании позиции «отказ от ответа». Например, вы спрашиваете: «Одобряете ли Вы правительство Помпиду?» В результате регистрируете: 20% — «да», 50% — «нет», 30% — «нет ответа». Можно сказать: «Доля людей, не одобряющих правительство, превосходит долю тех, кто его одобряет, и в остатке 30% неответивших». Но можно и пересчитать проценты «одобряющих» и «не одобряющих», исключив «неответивших»; Этот простой выбор становится теоретическим приемом фантастической значимости, о чем я и хотел бы немного порассуждать.

Исключить «неответивших» значит сделать то же самое, что делается на выборах при подсчете голосов, когда встречаются пустые, незаполненные бюллетени: это означает навязывание опросам общественного мнения скрытой философии голосования. Если присмотреться повнимательнее, обнаруживается, что процент не дающих ответа на вопросы анкеты выше в целом среди женщин, нежели среди мужчин, и что разница на этот счет тем существеннее, чем более задаваемые вопросы оказываются собственно политическими. Еще одно наблюдение: чем теснее вопрос анкеты связан с проблемами знания и познания, тем больше расхождение в доле «неответивших» между более образованными и менее образованными. И наоборот, когда вопросы касаются этических проблем, например, «Нужно ли быть строгими с детьми?», процент лиц, не дающих на них ответа, слабо варьирует в зави-

симости от уровня образования респондентов. Следующее наблюдение: чем сильнее вопрос затрагивает конфликтогенные проблемы, касается узла противоречий (как с вопросом о событиях в Чехословакии для голосующих за коммунистов), чем больше напряжения порождает вопрос для какой-либо конкретной категории людей, тем чаще среди них будут встречаться «неответившие». Следовательно, простой анализ статистических данных о «неответивших» дает информацию о значении этого вопроса, а также о рассматриваемой категории респондентов. При этом информация определяется как предполагаемая в отношении этой категории *вероятность иметь мнение* и как условная вероятность иметь благоприятное или неблагоприятное мнение.

Научный анализ опросов общественного мнения показывает, что практически не существует проблем по типу «омнибуса»; нет такого вопроса, который не был бы переистолкован в зависимости от интересов тех, кому он задается. Вот почему первое настоятельное требование для исследователя — уяснить, на какой вопрос различные категории респондентов дали, по их мнению, ответ. Один из наиболее вредоносных эффектов изучения общественного мнения состоит именно в том, что людям предъявляется требование отвечать на вопросы, которыми они сами не задавались. Возьмем, к примеру, вопросы, в центре которых моральные проблемы, идет ли речь о строгости родителей, взаимоотношениях учителей и учеников, директивной или недирективной педагогике и т. п. Они тем чаще воспринимаются людьми как этические проблемы, чем ниже эти люди находятся в социальной иерархии, но эти же вопросы могут являться проблемами политическими для людей высших классов. Таким образом, один из эффектов опроса заключается в трансформации этических ответов в ответы политические путем простого навязывания проблематики.

На самом деле, есть множество способов, при помощи которых можно предопределить ответ. Прежде всего, есть то, что можно назвать *политической компетенцией* по аналогии с определением политики, являющимся одно-

временно произвольным и легитимным, т. е. доминирующим и завуалированным. Эта политическая компетенция не имеет всеобъемлющего распространения. Она варьирует *grosso modo*¹ соответственно уровню образования. Иначе говоря, вероятность иметь мнение по всем вопросам, предполагающим политические знания, в достаточной мере сравнима с вероятностью быть завсегдатаем музеев. Обнаруживается фантастический разброс: там, где студент, принадлежащий к одному из левацких движений, различает 15 политических направлений, более левых, чем Объединенная социалистическая партия, для управляющего среднего уровня нет ничего. Из всей шкалы политических направлений (крайне левые, левые, левые центристы, центристы, правые центристы, правые и т. п.), которую «политическая наука» применяет как нечто само собой разумеющееся, одни социальные группы интенсивно используют только небольшой сектор крайне левых направлений, другие — исключительно «центр», третьи используют всю шкалу целиком. В конечном счете, выборы — это соединение совершенно разнородных пространств; механическое сложение людей, измеряющих в метрах, с теми, кто измеряет в километрах, или, того лучше, людей, использующих шкалу с отметками от 0 до 20 баллов, и тех, кто ограничивается промежутком с 9-го по 11-й балл. Компетенция измеряется в числе прочего тонкостью восприятия (то же самое в сфере эстетики, когда кто-то может различать пять, шесть последовательных стилей одного художника).

Это сравнение можно продолжить. В деле эстетического восприятия прежде всего должно соблюдаться условие, благоприятствующее восприятию: нужно, чтобы люди рассуждали о конкретном произведении искусства как о произведении искусства вообще; далее, восприняв его как произведение искусства, нужно, чтобы у них в распоряжении оказались категории восприятия его композиции, структуры и т. п. Представим себе вопрос, сформулированный таким образом: «Вы сторонник директивно-

¹ в общих чертах, приблизительно (лат.).

го или недирективного воспитания?». Для некоторых он может обернуться вопросом политическим, относящим представление об отношениях между родителями и детьми к системе взглядов на общество, для других — это вопрос чисто моральный. Итак, вопросник, составленный таким образом, что людей спрашивают, считают или не считают они для себя политикой забастовки, участие в поп-фестивалях, отращивание длинных волос и т. д., обнаруживает очень серьезный разброс в зависимости от социальной группы. Первое условие адекватного ответа на политический вопрос состоит в способности представлять его именно как политический; второе — в способности, представив вопрос как политический, применить к нему чисто политические категории, которые, в свою очередь, могут оказаться более или менее адекватными, более или менее изощренными и т. д. Таковы специфические условия производства мнений, и опросы общественного мнения предполагают, что эти условия повсюду и единообразно выполняются, исходя из первого постулата, по которому все люди могут производить мнение.

Второй принцип, согласно которому люди могут производить мнение, это то, что я называю «классовым этосом» (не путать с «классовой этикой»), т. е. система латентных ценностей, интериоризированных людьми с детства, в соответствии с которой они вырабатывают ответы на самые разнообразные вопросы. Мнения, которыми люди обмениваются, выходя со стадиона по окончании футбольного матча между командами Рубэ и Валансьена, большей частью своей понятности и своей логики обязаны классовому этосу. Масса ответов, считающихся ответами по поводу политики, на самом деле производится в соответствии с классовым этосом, а потому эти ответы могут приобретать совершенно иное значение, когда подвергаются интерпретации в политической сфере. Здесь я должен сослаться на социологическую традицию, распространенную главным образом среди некоторых социологов политики в Соединенных Штатах, которые говорят обычно о консерватизме и авторитаризме народных классов. Эти утверждения основаны на сравнении полученных в разных странах данных исследований или выборов, ко-

торые в тенденции показывают, что всякий раз, в какой бы ни было стране, когда опрашивают народные классы по проблемам, касающимся властных отношений, личной свободы, свободы печати и т. п., их ответы оказываются более «авторитарными», чем ответы других классов. Из этого делают обобщающий вывод, что существует конфликт между демократическими ценностями (у автора, которого я имею в виду, — Липсета — речь идет об американских демократических ценностях) и ценностями, интериоризированными народными классами, ценностями авторитарного и репрессивного типа. Отсюда извлекают нечто вроде эсхатологического видения: поскольку тяга к подавлению, авторитаризму и т. п. связана с низкими доходами, низким уровнем образования и т. п., надо поднять уровень жизни, уровень образования, и таким образом мы сформируем достойных граждан американской демократии.

На мой взгляд, под сомнение надо поставить значение ответов на некоторые вопросы. Предположим блок вопросов типа: «Одобряете ли Вы равенство полов?», «Одобряете ли Вы сексуальную свободу супругов?», «Одобряете ли Вы нерепрессивное воспитание?», «Одобряете ли Вы новое общество?» и т. д. Теперь представим блок вопросов типа: «Должны ли преподаватели бастовать, если их положение под угрозой?», «Должны ли преподаватели быть солидарными с другими государственными служащими в период социальных конфликтов?» и т. п. На эти два блока вопросов даются ответы, по структуре их распределения прямо противоположные в зависимости от социального класса опрашиваемых. Первый ряд вопросов, затрагивающий некоторый тип инноваций в социальных отношениях, в символической форме социальных связей, вызывает тем более одобрительные ответы, чем выше положение респондента в социальной иерархии и в иерархии по уровню образования. И наоборот, вопросы, затрагивающие действительные перемены в отношениях силы между классами, вызывают ответы тем более неодобрительные, чем выше респондент стоит в социальной иерархии.

Итак, утверждение: «Народные классы склонны к репрессиям» ни верно, ни ложно. Оно верно в той степени, в

какой народные классы проявляют тенденцию показывать себя гораздо большими ригористами, чем другие социальные классы, в столкновении с комплексом проблем, затрагивающих семейную мораль, отношения между поколениями или полами. Напротив, в вопросах политической структуры, ставящих на кон сохранение или изменение социального порядка, а не только сохранение и изменение типов отношений между индивидами, народные классы в гораздо большей степени одобряют инновацию, т. е. изменение социальных структур. Вы видите, как некоторые из поставленных в мае 1968 г. проблем, и часто поставленных плохо, в конфликте между коммунистической партией и гошистами, оказываются непосредственно связанными с центральной проблемой, которую я здесь пытаюсь поднять, проблемой природы ответов, т. е. принципа, исходя из которого эти ответы производятся. Осуществленное мною противопоставление двух групп вопросов в действительности приводит к противопоставлению двух принципов производства мнения: принципа собственно политического и принципа этического, проблема же консерватизма народных классов — результат игнорирования данного различия.

Эффект навязывания проблематики, эффект, производимый любым опросом общественного мнения и просто любым вопросом политического характера (начиная с избирательной кампании) — результат того, что в ходе исследования общественного мнения задаются не те вопросы, которые встают в реальности перед всеми опрошенными, и того, что интерпретация ответов осуществляется вне зависимости от проблематики, действительно отраженной в ответах различных категорий респондентов. Таким образом, *доминирующая проблематика*, представление о которой дает список вопросов, которые задавались институтами опросов в последние два года, т. е. проблематика, интересующая главным образом властей предрежащих, желающих быть информированными о средствах организации своих политических действий, весьма неравномерно усвоена разными социальными классами. И, что очень важно, эти последние более или менее склонны вырабатывать контрпроблематику. По поводу теле-

дебатов между Сервен Шрайбер и Жискар Д'Эстеном один из институтов изучения общественного мнения задавал вопросы типа: «С чем связана успешная учеба в школе и институте: с дарованиями, интеллектом, работоспособностью, наградами за успехи?» Полученные ответы предоставляют в действительности информацию (те, кто ее сообщает, не отдают себе в этом отчета) о степени, осознания разными социальными классами законов наследственной трансляции культурного капитала. Приверженность мифам об одаренности, о продвижении благодаря школе, о школьной справедливости, об обоснованности распределения должностей в соответствии с дипломами и званиями и т. п. очень сильна в народных классах. Контрпроблематика может существовать для нескольких интеллектуалов, но она лишена социальной силы, несмотря на то, что подхвачена некоторым числом партий и группировок. Научная истина подчинена тем же законам распространения, что и идеология. Научное суждение — это как папская булла о регулировании деторождения, которая обращает в веру только уже обращенных.

В опросах общественного мнения идею объективности связывают с фактом формулирования вопросов в наиболее нейтральных терминах ради того, чтобы уравнивать шансы всех возможных ответов. На самом деле, опрос оказался бы ближе к тому, что происходит в реальности, если бы в полное нарушение правил «объективности» предоставлял респондентам средства ставить себя в такие условия, в каких они фактически находятся в реальности, т. е. апеллировал бы к уже сформулированным мнениям. И если бы вместо того, чтобы спрашивать, например, «Существуют люди, одобряющие регулирование рождаемости, есть и другие — неодобряющие. А Вы..?», предлагался бы ряд позиций, явно выраженных группами, облеченными доверием на формирование и распространение мнений, люди могли бы определиться относительно уже сформировавшихся ответов. Обычно говорят о «выборе позиции»: позиции уже предусмотрены и их *выбирают*. Между тем их выбирают не случайно. Останавливают свой выбор на тех позициях, к избранию которых предрасположены в соответствии с позицией, уже занимаемой

в каком-либо поле. Строгий анализ как раз нацелен на объяснение связей между структурой смысловых позиций и структурой поля объективно занимаемых позиций.

Если опросы общественного мнения плохо ухватывают потенциальные состояния мнения, точнее — его движение, то причиной тому, в числе прочих, совершенно искусственная обстановка, в которой мнения людей регистрируются опросами. В обстановке, когда формируется общественное мнение, особенно в обстановке *кризиса*, люди оказываются перед сформировавшимися мнениями, перед мнениями, поддерживаемыми отдельными группами, и таким образом выбирать между мнениями со всей очевидностью означает выбирать между группами. Таков принцип *эффекта политизации*, производимого кризисом: приходится выбирать между группами, определившимися политически, и все более определять выбор эксплицитно политическими принципами. Действительно, мне представляется важным то, что опрос общественного мнения трактует это мнение как простую сумму индивидуальных мнений, сбор которых происходит в ситуации, подобной процедуре тайного голосования, когда индивид направляется в кабину, чтобы без свидетелей, в изоляции выразить свое отдельное мнение. В реальной обстановке мнения становятся силами, а соотношение мнений — силовыми конфликтами между группами.

Еще одна закономерность обнаруживается в ходе этого анализа: мнений по проблеме тем больше, чем более в ней заинтересованы. Так, доля ответов на вопросы о системе образования сильно связана со степенью близости респондентов к самой системе, а вероятность наличия мнения колеблется в зависимости от вероятности иметь право распоряжаться тем, по поводу чего выражается мнение. Мнение, выражаемое как таковое, спонтанно — это суждение людей, мнение которых, как говорится, имеет вес. Если бы министр национального образования действовал в соответствии с опросами общественного мнения (или хотя бы исходя из поверхностного знакомства с ними), он не поступал бы так, как поступает в действительности, действуя как политик, т. е. исходя из полученного телефонного звонка, визита такого-то профсоюзного деятеля,

такого-то декана и т. д. На деле он поступает в зависимости от реально сложившейся расстановки сил общественного мнения, которые воздействуют на его восприятие только в той мере, в какой они обладают силой, и в той мере, в какой они обладают силой, — они мобилизованы.

Вот почему, касаясь предвидения того, чем станет Университет в ближайшие десять лет, я полагаю, что мобилизованное общественное мнение представляет собой наилучшую основу. Как бы там ни было, факт, о котором свидетельствуют «неответившие», факт того, что склонности ряда категорий не достигают статуса общественного мнения, иначе говоря, сформировавшегося высказывания, претендующего на связность выражения, на общественный резонанс, признание и т. д., — не должен давать основания для вывода, будто люди, не имеющие никакого мнения, станут в обстановке кризиса выбирать случайно. Если проблема будет представляться им как политическая (проблема зарплаты, ритма труда для рабочих), то они сделают выбор в терминах политической компетенции; а если проблема не формулируется для них политически (репрессивность внутрипроизводственных отношений) или находится в стадии оформления, то они окажутся ведомыми системой глубоко подсознательных диспозиций, которая направляет их выбор в самых разных областях, от эстетики или спорта до экономических предпочтений. Традиционный опрос общественного мнения игнорирует одновременно и группы давления, и возможные предрасположенности, которые могут не выражаться в виде эксплицитных высказываний. Вот почему он не в состоянии обеспечить сколько-нибудь обоснованное предвидение того, что случится в обстановке кризиса.

Предположим, что речь идет о проблемах системы образования. Можно задать вопрос так: «Что Вы думаете о политике Эдгара Фор?»ⁱⁱ Такой вопрос очень бли-

ⁱⁱ С именем Эдгара Фор, министра национального образования, связана реформа по демократизации и модернизации высшего образования Франции, последовавшая за социально-политическими событиями Мая 1968 г. Соответствующий закон был принят Национальным собранием в октябре того же года. — *Прим. перев.*

зок к вопросу избирательного бюллетеня в том смысле, что ночью все кошки серы: все согласны *grosso modo* (сами не зная с чем), всем известно, что означало единодушное голосование по закону Эдгара Фора в Национальном собрании. Далее спрашивают: «Одобряете ли Вы допуск политики в лицей?» Здесь уже обнаруживается четкое разграничение в ответах. То же самое отмечается, когда задают вопрос «Могут ли преподаватели бастовать?» В этом случае представители народных классов, привнося свою специфическую политическую компетенцию, знают, что отвечать. Можно также спросить: «Нужно ли изменять программы?», «Одобряете ли Вы постоянный контроль?», «Одобряете ли Вы включение родителей учащихся в педагогические советы?», «Одобряете ли Вы отмену конкурса на степень агреже?» и т. д. Так вот, все эти вопросы присутствуют в вопросе: «Одобряете ли Вы Эдгара Фора?», и отвечая на него, люди делали выбор одновременно по совокупности проблем, для постановки которых хороший вопросник должен был бы состоять не менее чем из 60 вопросов, и по каждому из них обнаружались бы колебания в ответах во всех направлениях. В одном случае в распределении ответов была бы положительная связь с позицией в социальной иерархии, в другом — отрицательная, в ряде случаев — связь очень сильная, в ряде других — слабая либо вовсе отсутствовала бы.

Достаточно уяснить, что выборы представляют предельный случай таких вопросов, как «Одобряете ли Вы Эдгара Фора?», чтобы понять: специалисты в политической социологии могли бы отметить следующее. Связь, наблюдаемая обычно почти во всех областях социальной практики между социальным классом и деятельностью либо мнениями людей, очень слаба в случае электорального поведения. Причем эта связь слаба настолько, что некоторые, не колеблясь, делают заключение об отсутствии какой-либо связи между социальным классом и фактом голосования за «правых» или за «левых». Если вы будете держать в голове, что на выборах одним синкретическим вопросом охватывают то, что сносно можно уловить только двумя сотнями вопросов, причем в ответах одни будут мерить сантиметрами, а другие — кило-

метрами, что стратегия кандидатов строится на невнятной постановке вопросов и максимальном использовании затушевывания различий ради того, чтобы заполучить голоса колеблющихся, а также множество других последствий, вы придете к заключению о том, что, видимо, традиционный вопрос о связи между голосованием и социальным классом нужно ставить противоположным образом. Видимо, следует спросить себя, как же так происходит, что эту связь, пусть и слабую, несмотря ни на что констатируют. И спросить себя также о назначении избирательной системы — инструмента, который самой своей логикой стремится сгладить конфликты и различия. Что несомненно, так это то, что изучение функционирования опросов общественного мнения позволяет составить представление о способе, каким действует такой особый тип опроса общественного мнения, как выборы, а также представление о результате, который они производят.

Итак, мне хотелось рассказать, что общественное мнение не существует, по крайней мере в том виде, в каком его представляют все, кто заинтересован в утверждении его существования. Я вел речь о том, что есть, с одной стороны, мнения сформированные, мобилизованные и группы давления, мобилизованные вокруг системы в явном виде сформулированных *интересов*; и с другой стороны — предрасположенности, которые по определению не есть мнения, если под этим понимать, как я это делал на протяжении всего анализа, то, что может быть сформулировано в виде высказывания с некой претензией на связность. Данное определение мнения — вовсе не мое мнение на этот счет. Это всего лишь объяснение определения, которое используется в опросах общественного мнения, когда людей просят выбрать позицию среди сформулированных мнений и когда путем простого статистического агрегирования произведенных таким образом мнений производят артефакт, каковым является общественное мнение. Общественное мнение в том значении, какое скрыто ему придается теми, кто занимается опросами, или теми, кто использует их результаты, именно такое, уточняя, общественное мнение не существует.

МУЖСКОЕ ГОСПОДСТВО*

Но что же сделать можем мы разумного
И славного, мы, женщины, нарядницы,
В шафрановых платочках, привередницы,
В оборках кимберийских, в полутуфельках.

Аристофан

Лисистрата (Пер. А. Пиотровского)

...Ведь женщины (судя по моему собственному недолгому опыту) не то чтобы от природы покорны, стыдливы, благоуханны и прелестно облачены. И сколько надо биться для обретения этих качеств, без которых и наслаждений им не видать! На прическу одну, — думала она, — утром целый час уходит. Потом в зеркало глядеться — еще час, потом мыться, шнуроваться, пудриться, переоблачаться из шелка в кружева, из кружев в гроденапль, из года в год хранить целомудрие...

Вирджиния Вулф. Орландо

Заведомая подозрительность, с которой феминистская критика относится к мужским рассуждениям о различии полов, вполне оправдана. Не только потому, что аналитик, запутавшийся в том, что, по его мнению, он понимает, способен выдавать свои собственные предпосылки и предрассудки (в силу невольного желания оправдать) за

* © Bourdieu P La domination masculine // Actes de la recherche en sciences sociales. 1990. № 84. P. 2–31.

разоблачение предпосылок и предрассудков анализируемых им агентов. Эта подозрительность оправдана еще и потому, что, имея дело с социальным институтом, на протяжении тысячелетий встроенным в объективность социальных структур и в субъективность структур ментальных, такой аналитик предрасположен использовать эти категории восприятия и мышления как инструменты познания вместо того, чтобы рассматривать их как объекты исследования. Возьмем лишь один пример такого рассуждения, который, учитывая имя его автора, позволит рассуждать *a fortiori*: «Можно сказать, что данное означающее [фаллос] выступает как самое *заметное* (*saillant*) из того, что можно *схватить* (*attraper*) в ситуации совокупления (*copulation*), а также как наиболее символическое в буквальном смысле слова, поскольку он играет роль логической связки (*copule*). Можно также сказать, что он является образом жизненной силы благодаря своей способности увеличиваться во время полового акта».¹ Не надо быть адептом «симптоматического чтения», чтобы увидеть за словом «заметное» (*saillant*) слово «спаривание» (*saillie*)ⁱⁱ — властный и животный сексуальный акт, а за словом «схватить» (*attraper*) — наивную мужскую гордость перед жестом женского подчинения, гордость от присвоения себе *вожделенного*, а не просто желаемого атрибута. Термин «атрибут» выбран специально, чтобы еще раз напомнить, что означает здесь игра слов (*совокупление* и *связка*)ⁱⁱⁱ, часто служащих ориентирами научных мифов: эти осознанные слова, являющиеся одновременно, как указывал Фрейд, бессознательными, работают на то, чтобы придать видимость логической и даже научной необходимости социальным фантазмам, которым они позволяют проявиться только в сублимированной научной форме.² Важно, чтобы интуиция антрополога, знакомого

ⁱⁱ Во французском языке используются слова *saillant* (выступающий, заметный) и *saillie* (спаривание), имеющие общий корень. Происходят от лат. *salire* — покрывать самку, прыгать. — *Прим. перев.*

ⁱⁱⁱ Во французском слова совокупление (*copulation*) и связка (*copule*) тоже имеют общий корень. — *Прим. перев.*

со знаками средиземноморской ультрамаскулинности, подкреплялась бы интуицией аналитика, который, следуя традиции, введенной Сандозом Ференчи (*Sándor Ferenczi*) и Микаелем Баланом (*Michaël Balint*), решится применять исследовательские техники к практикам самого аналитика. Так, Роберто Специале-Баглика рассматривает Лакана как пример «фаллонарциссической» личности, для которой свойственно «акцентировать свои мужские качества, умаляя при этом такие свойства, как инфантильность, женственность или чувство зависимости», и «уступать обожанию».³ Поэтому можно задаться вопросом: не пронизан ли дискурс психоаналитика, вплоть до самых своих базовых понятий и проблематики, непроанализированным бессознательным, которое играет с ним, так же как и с теми, кого он анализирует, особенно при помощи игры теоретических понятий? Не заимствует ли он, *сам того не зная*, из непроанализированной области своего бессознательного мыслительные инструменты, используемые им, чтобы размышлять о бессознательном?

Очевидно, что нужно идти много дальше в таком *антропологическом* прочтении психоаналитических текстов, их подтекста, допущений и оговорок. В качестве иллюстрации я отсылаю к двум отрывкам известного текста З. Фрейда, где достаточно простого сопоставления, чтобы увидеть, как в ходе рассуждения биологическое различие становится *недостатком*, и даже *этической неполноценностью*: «Она [маленькая девочка] замечает большой хорошо выделяющийся пенис своего брата или приятеля по игре, сразу же признает его как превосходящую копию своего собственного спрятанного органа, и с этих пор становится жертвой желания пениса».⁴ И далее: «У нас есть сомнения, но мы не можем удержаться от мысли, что у женщин иной уровень морали. Ее сверх-Я никогда не будет столь непреклонным, столь безличным, столь независимым от ее эмоций, как мы этого требуем от мужчины».⁵ Теоретическая двусмысленность психоанализа, возникающая как следствие некритического восприятия фундаментальных постулатов мужского взгляда на мир, который в силу этого может функционировать в

качестве оправдательной идеологии, затрудняет задачу феминисток-теоретиков, ориентирующихся на него, даже если это и происходит в виде критики. Они балансируют между двумя точками зрения и двумя противоположными способами использования этого неоднозначного послания, поскольку сталкиваются с мужским бессознательным как внутри себя, так и в инструментах анализа. Поэтому трудно определить, что отрицают феминистки-теоретики: само содержание психоаналитического послания и связанного с ним эссенциалистского понимания положения женщин (т. е. натурализацию социального конструкта), или то, что оно раскрывает приниженное положение, которое социальный мир объективно предназначает женщинам.⁶

Чтобы выйти из этого круга, можно, прибегнув к своего рода методологической уловке, применить антропологический анализ к структурам коллективной мифологии, обратившись к чужой (и в то же время близкой) традиции берберских горцев Кабилии, которые, несмотря на все завоевания и перемены — и, несомненно, в противовес им, — сделали из своей культуры запасник старых средиземноморских представлений, организованных вокруг культа мужественности.⁷ Это пространство дискурса и ритуальных действий, полностью ориентированных на воспроизводство социального и мирового порядка, основанного на чрезвычайно последовательном утверждении примата мужественности, предлагает исследователю систематизированный и необработанный пример «фалло-нарциссической» космологии, сохраняющей власть и над нашим бессознательным. Именно посредством социализированного тела (т. е. габитуса) и ритуальных практик (частично вырванных из временного контекста с помощью стереотипизации и бесконечного повторения), прошлое продолжает воспроизводиться, пока существует коллективная мифология, относительно независимая от непостоянства индивидуальной памяти.⁸ Это значит, что принцип деления, управляющий этим видением мира, проявляется со всей очевидностью и в максимально согласованной форме лишь в предельном (и потому — парадигматиче-

ском) случае того социального универсума, где он получает постоянное подкрепление объективных структур и может быть *выражен коллективно и публично*. В действительности упорядоченная свобода, предоставляемая большими ритуальными церемониями для манифестации легитимирующей мифологии, имеет мало общего с теми узкими и контролируруемыми просветами, которые наши общества оставляют в виде поэтической вольности или приватного психоаналитического сеанса.

Можно убедиться в культурном единстве средиземноморских обществ (как в настоящем, так и в прошлом, например, Древняя Греция) и в специфическом положении Кабилии, обратившись к работам, посвященным проблемам чести и бесчестия в различных обществах Средиземноморья: Греции, Италии, Испании, Египте, Турции, Кабилии и т. д.⁹ Принадлежность традиционной европейской культуры к этому культурному ареалу, мне кажется, вполне логично следует из сравнения ритуалов, наблюдаемых в Кабилии, с ритуалами, собранными Арнольдом Ван Геннепом во Франции в начале XX века.¹⁰ Элементы этого средиземноморского бессознательного, бесспорно, можно было бы найти в греческой традиции, из которой, не стоит забывать, психоанализ позаимствовал свои основные интерпретативные схемы. В этом смысле особенно интересны последние работы Пажо дю Буа и Ясперса Свенбро¹¹, а также французских историков античной религии, таких как Жан-Пьер Вернан, Марсель Детьен или Пьер Видаль-Наке. Но это культурное бессознательное, которое все еще живет в нас, никогда не получает своего прямого и открытого выражения в западной ученой традиции. В этой традиции, например, замыкается Мишель Фуко, когда во втором томе «Истории сексуальности» начинает свое исследование сексуальности и понятия субъекта с Платона, оставляя в стороне таких авторов, как Гомер, Гесиод, Эсхил, Софокл, Геродот или Аристофан, не говоря уже о досократиках, у которых старые средиземноморские представления проявляются еще отчетливее.

В исследовательских целях предпочтительнее обращаться к системе, которая все еще функционирует, т. е. непосредственно наблюдаема как таковая, когда с ней взаимодействуешь, и которая позволяет методично изучить весь универсум отношений, чем, как я это уже показал ранее¹², обращаться к литературным источникам, созданным в разное время. Эти источники способны искусственно для целей анализа синхронизировать последовательные и различные этапы развития системы и, особенно, приписывать одинаковый эпистемологический статус текстам, которые подвергли более или менее глубокой переработке старые мифоритуальные представления. Действительно, интерпретатор, пытающийся действовать в качестве этнографа, рискует принять за информаторов тех, кто, как и он сам, действует в качестве этнографа и чьи заметки и признания, даже, казалось бы, самые древние, такие как тексты Гомера и Гесиода, предполагают искажения, пропуски или толкования. Главное достоинство работы Пажа дю Буа в том, что он описывает эволюцию мифоритуальных сюжетов, которая получает свой смысл, когда мы ее соотносим с развитием художественного текста, идущего в том же направлении. С этой точки зрения мы лучше понимаем, что женщина, о которой сначала думали, используя известные аналогии между женским телом и обрабатываемой с помощью «мужского плуга» землей, или между женским животом и печью, в итоге стала восприниматься через совершенно книжную аналогию между женским телом и грифельной доской.

Вообще, использование документов, которые интегрировали в научное рассуждение мифологизированный опыт тела¹³, сопряжено со многими трудностями, поскольку они сильно подвержены «эффекту Монтескье». Так, совершенно бесполезно пытаться определить, что в этих текстах позаимствовано у авторитетных авторов (например, у Аристотеля, который в основных пунктах сам воспроизводит старую мужскую мифологию), а что является интерпретацией бессознательных структур, по возможности одобренных чужим знанием.

Символическое насилие: контроль через тело

Мужское господство гарантировано настолько надежно, что у него нет необходимости искать оправдания. Ему достаточно быть и казаться на практике и в дискурсе, который утверждает бытие как очевидность, чтобы это бытие соответствовало сказанному.¹⁴ Господствующее видение разделения полов выражается в речевых практиках в виде пословиц, поговорок, загадок, песен, стихов, а также в графических представлениях: настенных рисунках, орнаментах на горшках или тканях. Но оно также находит свое выражение и в технических объектах и практиках: в структуре пространства, например, и особенно — внутреннего устройства дома, или в оппозиции между домом и полем, а также в организации времени, аграрного года или дня, а в более общем виде — в любых практиках, почти всегда одновременно технических и ритуальных, и особенно во всех техниках тела, позах, манерах, умении себя держать.¹⁵

Деление полов, кажется, соответствует самому «порядку вещей» (как иногда говорят о том, что нормально, естественно, неизбежно), потому что оно присутствует как в социальном мире, в объективированном состоянии, так и в габитусе, т. е. в инкорпорированном состоянии, где это деление функционирует как универсальный принцип видения и деления, как система категорий восприятия, мышления и действия. Именно согласованность объективных и когнитивных структур делает возможным то отношение к миру, которое Э. Гуссерль описал под именем «естественной установки» (или докситического опыта), правда, без упоминания социальных условий, делающих ее возможной. Именно согласие между строением бытия и формами познания, между внутренними ожиданиями и внешними событиями мира формирует докситический опыт. Этот опыт, исключенный из любой эретической критики, представляет собой самую абсолютную форму признания легитимности: он воспринимает социальный мир и его произвольные деления, начиная с социально сконструированного деления полов, как естественные, очевидные и неизбежные.

Нететические «тезисы» доксы никогда не ставятся под вопрос. Оказываясь «выбором», который не замечают, эти тезисы рассматриваются как нечто само собой разумеющееся и полагаются вне той системы отношений, где они могут подвергнуться критике: фактическая универсальность мужского господства¹⁶ на практике исключает эффект «денатурализации», или, если хотите, релятивизации, который, как показывает история, происходит почти всегда при столкновении с различными образами жизни, способными показать, что «выбор», натурализованный традицией, является произвольным, исторически установленным (*ex instituto*), что он основан на привычке или законе (*nomos, nomф*), но не на природе (*phusis, phusei*). Мужчина (*vir*) — это особое существо, которое живет как существо универсальное (*homo*) и фактически и юридически обладает монополией на понятие человека вообще, т. е. на универсальность; он социально уполномочен чувствовать себя носителем всех форм человеческого существования.¹⁷ Чтобы это проверить, достаточно проанализировать, что в Кабилии (и в других местах) воспринимается как высшая форма проявления человеческого. Человек чести (*homme d'honneur*) — это по определению мужчина (*homme*), в смысле мужского (*vir*), и все добродетели, которые его характеризуют и которые нераздельно являются силой^{iv}, способностью, возможностью, обязанностью или качеством, являются исключительно мужскими свойствами. Добродетель (*virtus*) — это чтойность мужчины (*vir*). Именно дело чести (*nif* — доблесть) имеет очевидную связь с героической горячностью, воинственной смелостью, а также — напрямую с сексуальной силой.

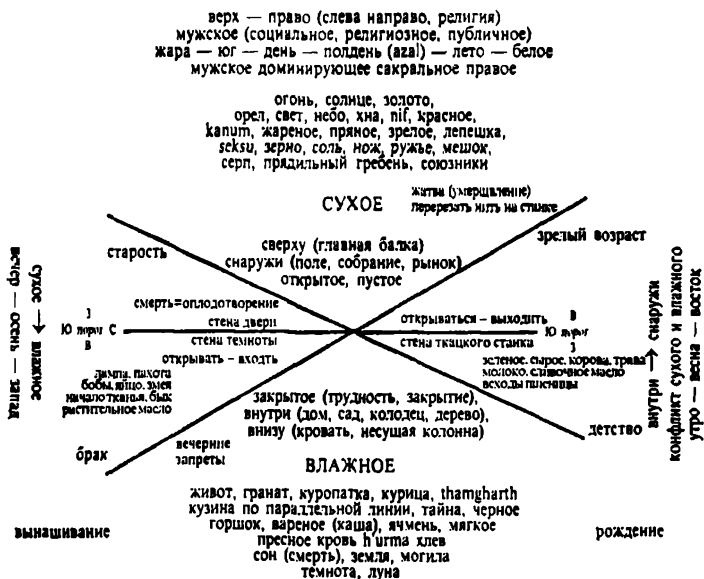
Мифоритуальная система вписана в деления социального мира или, точнее, в социальные отношения доминирования и эксплуатации, установленные между полами, а также в систему представлений, существующую в виде

^{iv} Существительное «*vir*» также употреблялось в значении «сила» (*C. Valerius Catullus*), а производное от него «*virtus*» — в значениях «сила», «энергия», «превосходное качество», «отличные свойства», «добродетель» (при основном значении «мужество», «храбрость»). — *Прим. перев.*

принципов видения (*vision*) и деления (*di-vision*), которые заставляют классифицировать все вещи мира и все практики согласно делениям, сводимым к оппозиции мужского и женского. В силу этого данная система постоянно подтверждается и легитимируется теми практиками, которые сама же определяет и легитимирует. Поскольку в рамках официальной таксономии женщинам атрибутируются такие свойства, как внутреннее, влажное, низкое, согнутое, постоянное, постольку они воспринимают как свои все домашние работы, т. е. внутренние и спрятанные, и даже невидимые и постыдные, такие, как растить детей и животных, но также и большую часть внешних работ, особенно тех, что связаны с водой, травой, зеленью (прополка и уход за огородом), молоком, деревом, а также самых грязных (переносить навоз), самых монотонных, самых тяжелых и самых унижительных. Что касается мужчин, то, занимая полюс внешнего, официального, публичного, правого, сухого, высокого, прерывистого, они присваивают себе все действия, одновременно быстрые, рискованные и зрелищные. Такие действия, как резать скотину, пахать или жать, не говоря уже об убийстве или войне, которые вносят разрывы в обычное течение жизни и заставляют пользоваться инструментами, сделанными с помощью огня.

Деление вещей и практик в соответствии с оппозицией мужского и женского, которое в изолированном состоянии воспринимается как произвольное, получает свою объективную и субъективную необходимость, поскольку встроено в систему гомологичных оппозиций: высокий/низкий, сверху/снизу, впереди/сзади, правый/левый, прямой/согнутый (и коварный), сухой/влажный, твердый/мягкий, острый/пресный, светлый/темный и т. д., которые, будучи схожи в своем различии, достаточно согласованы, чтобы поддерживать друг друга *в и посредством* неисчерпаемой игры переносов и метафор, и при этом достаточно различны, чтобы наделять каждую из оппозиций семантической силой, основанной на тесной связи обертонов, коннотаций и соответствий.¹⁸ Эти универсально применяемые схемы мышления, казалось бы, всегда фиксируют различия, вписанные в саму природу вещей (это справедливо и для различий между полами), и посто-

янно подтверждаются самим ходом вещей, и особенно биологическими и космическими циклами, а также согла- сием всех тех, в чьи представления они вписаны. В силу этого остается непонятным, как можно было бы обнару- жить социальные отношения доминирования, лежащие в основании данных схем, поскольку для этого надо поме- нять местами причины и следствия, кажущиеся результа- том — среди многих прочих — системы смысловых отно- шений, независимой от соотношения сил.



окультуренная природа — сакральное левое — доминируемое

холод — север — ночь — зима
женское (тайное, магическое, обычное)
низ — левое (справа налево) искаженное

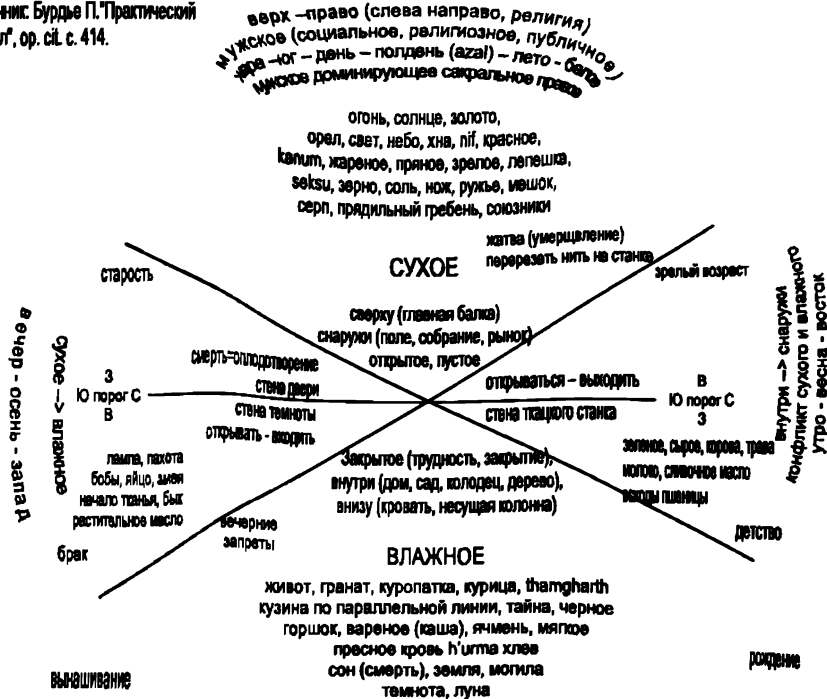
Дикая природа
непарное

нагота, девушка, стоячая вода,
людоедка, коварство, колдунья, хитрый,
чернокожий, кузнец, шакал (разделение), кабан

Сводная схема основных оппозиций

Источник: Бурдье П. «Практический смысл», op. cit. с. 414.

Сводная схема основных оппозиций
 Источник: Бурдые П. Практический
 смысл, оп. с. 414.



окультуренная природа — сакральное левое - доминируемое

холод — север - ночь - зима
женское (тайное, магическое, обычное)
из - левое (справа налево) искаженно в

Дикая природа

напарное

нагота, девушка, стоячая вода,
 людоедка, коварство, колдунья, хитрый,
 чернокожий, кузнец, шакал (разделение), кабан

Разделение труда между полами
(Источник: П. Бурдьё. Практический смысл. С. 419)

Виды мужского труда	Виды женского труда
1	2
ВНУТРЕННИЕ РАБОТЫ	
кормить скот по ночам	запасать еду и воду, сохранять запасы, привязывать скот после возвращения с пастбища
(запрещается подметать)	готовить (кухня, огонь, горшки, кускус) кормить детей, животных (коровы, курицы) ухаживать за детьми подметать (содержать в чистоте)
	ткать (и прясть шерсть) молоть зерно месить землю (лепить гор- шки из глины и штукату- рить стены) донть корову (сбивать масло)
НАРУЖНЫЕ РАБОТЫ	
выгонять стадо ходить на базар	
работать в поле (далеко, открыто, желтый, злаки) пахать (лемех, обувь) сеять жать (серп, фартук) молоть веять зерно	ухаживать за садом (близко закрыто, зелень, овощи) (запрет на обмолот хлеба)
переносить и вкапывать балки (мужская «каторга»), крыть крышу на спине скотины вывозить в поле навоз	переносить зерно, навоз (на собственной спине), воду, дрова, камни (жен- ские «каторжные» работы на строительстве дома)

1	2
сбрасывать (залезать на деревья и сбивать маслины, трясти деревья — для дома)	сбирать (сбор плодов) маслины (запрещается сбивать плоды палкой),
	финики, миндаль, дерево (хворост, ветки, сучья) и связывать их (в охапки) собирать колоски полоть (босиком, в длинном платье)
рубить дрова (мастерить деревянную утварь для кухни топором или ножом)	давить ногами маслины (ср.: мять)
резать скотину, птицу	(запрещается резать скотину) мять глину руками (для дома и гумна — с коровьими лепешками) (предварительно ее добыв)

Постепенная соматизация* фундаментальных отношений, конституирующих социальный порядок, приводит к формированию двух типов «природы», т. е. двух систем натурализованных социальных различий, которые одновременно вписаны как в телесный экзис (в форме двух противоположных и взаимодополняющих типов поз, походки, осанки, жестов и т. п.), так и в рассудок, воспринимающий все это сквозь серию дуалистических оппозиций. Эти оппозиции чудесным образом согласуются с различиями, в производстве которых они сами участвуют (как те, что существуют между прямым или стройным и кривым или сгорбленным) и которые позволяют воскресить все различия, зарегистрированные в теле и в этических диспозициях.

* Соматизация — психологический термин, означающий физические и телесные, а не психические реакции на стимулы (включая влечения, защиты и конфликты между ними). — Прим. перев.

Символическая эффективность *негативных предрассудков*, социально установленных в общественном порядке, в действительности во многом определяется тем, что они подтверждают сами себя, действуя как *self-fulfilling prophecy*^{vi} посредством *amor fati*^{vii}, которая заставляет своих жертв посвящать и обрекать себя на судьбу, к которой они в любом случае социально предназначены. Это же, естественно, верно и для позитивных предрассудков, действующих через, казалось бы, более понятный механизм: «положение обязывает». Таким образом, получив в удел, как мы это видели, такие свойства, как маленький, обиденный, кривой, именно женщины, склоненные к земле, собирают оливки или ветки, в то время как мужчины, вооруженные шестом или топором, режут и заставляют падать. Именно женщины, уполномоченные заниматься вульгарными проблемами ежедневного управления домашней экономикой, находят мелочное удовольствие в экономике обменов, учете платежей и расчетливости, как это делают все, но человек чести, имеющий возможность ими играть и пользоваться благодаря своему посреднику, должен научиться это презирать.¹⁹ Посредством такого поведения, на которое мужчины взирают свысока и снисходительно, кабийские женщины неизбежно воспроизводят образ, приписываемый им мужчинами, и таким образом создают видимость природного основания для социально навязываемой им идентичности. Подкрепление, порождаемое антиципациями негативных предрассудков, установленных внутри социального порядка и практик, которые эти антиципации порождают и лишь усиливают, замыкает мужчин и женщин в зеркальный круг, где бесконечно отражаются противоположные, но годные для взаимного признания образы. Не имея возможности понять фундамент общей веры, находящийся в основании самой игры, они могут воспринимать только отрицательные свойства,

^{vi} *Self-fulfilling prophecy* (англ.) — самосбывающееся пророчество. — Прим. перев.

^{vii} *Amor fati* (лат.) — любовь к судьбе. — Прим. перев.

которыми господствующая точка зрения наделяет женщин. К ним относится, например, хитрость, или, если взять более положительную характеристику — интуиция.²⁰ В действительности они навязываются женщинам посредством силовых отношений, которые объединяют и разделяют так же, как и приписываемая женщинам негативная добродетель. Дело представляется так, как будто в самом понятии согнутого кроется понятие коварства, а женщина, которая символически обречена на подчинение и покорность, может получить некоторую власть в домашней борьбе, лишь используя такую силу, как хитрость, способную обратить против сильного его же собственную силу. Например, женщина может действовать как серый кардинал, согласный оставаться в стороне и в любом случае не признающий за собой какой бы то ни было власти, чтобы управлять по доверенности. И как не видеть, что совершенно негативная, т. е. определенная через запреты, соответствующие разным типам нарушений, идентичность, которая была на них возложена, заранее приговаривает женщин постоянно доказывать свою вредность, оправдывая, таким образом, запреты и всю символическую систему, которая им приписывает зловредную природу?²¹

Очевидно, что эту специфическую форму доминирования можно адекватно понять, лишь преодолев наивную оппозицию между насилием и подчинением или принуждением и согласием. В действительности, принуждение, производимое символическим насилием, реализуется посредством вынужденного признания, которое доминируемые не могут не даровать доминирующим, поскольку, чтобы мыслить самих себя и доминирующих, они располагают лишь теми мыслительными инструментами, что являются общими как для доминируемых, так и для доминирующих. Причем данные мыслительные инструменты представляют собой всего лишь инкорпорированную форму отношений господства. Это приводит к тому, что скрытые, или лучше — *вытесненные* (в смысле З. Фрейда) — формы господства и эксплуатации, особенно получающие свою эффективность от специфической логики

отношений родства (т. е. от опыта и языка долга и чувств, часто связанных с логикой аффективного самопожертвования), таких как отношение между супругами или между старшим и младшим (или младшей)²², или даже отношение господина и раба, или патрона и рабочего, когда говорят о патернализме — все они представляют неразрешимую трудность для экономизма любого рода. Они вводят в игру совсем другую экономику, а именно экономику символической власти, которая реализуется, *как по волеизъявлению*, вне всякого физического принуждения и благодаря видимой бескорыстности в противовес обычным экономическим законам. Но эта видимость исчезает, как только мы замечаем, что условиями возможности этой символической эффективности и ее экономических следствий (в широком смысле слова) является громадная предварительная работа по внушению и длительной трансформации тела, которая необходима, чтобы произвести постоянные и переносимые в другие области диспозиции, на которые в действительности опираются символические действия, способные их приводить в действие или пробуждать.

Любая власть имеет символическое измерение: она должна получить от подчиненных согласие, основанное не на продуманном решении просвещенного сознания, но на непосредственном и дорефлексивном подчинении социализированного тела. Доминируемые применяют ко всем вещам мира, и в особенности к отношениям господства, в которые они интегрированы, к индивидам, посредством которых эти отношения реализуются, и, как следствие, к самим себе, неотрефлексированные схемы мышления. Данные схемы, будучи продуктом инкорпорирования отношений власти в виде ансамбля различий (пар оппозиций), функционирующих как категории восприятия, оценивания и действия, конструируют властные отношения с точки зрения именно тех, кто утверждает в них свое господство, и тем самым представляют эти отношения как естественные. Так, например, каждый раз, когда подчиненный использует по отношению к себе одну из категорий, входящих в господствующую систему различий

(например, блестящий/серьезный, изящный/вульгарный, уникальный/общий и т. д.)^{viii}, он применяет к себе, сам того не зная, господствующую точку зрения, в определенном смысле принимая для самооценки логику негативных предрассудков. К тому же, в силу интеллектуалистских коннотаций, использование категорий может скрывать, что символическое доминирование действует не на чистую логику, что привычно для познающего сознания, а на практические схемы [габитуса], куда вписаны отношения доминирования, часто недоступные для рефлексивного сознания и волевого контроля.

Соматизация отношений господства

Итак, символическое насилие, являющееся элементом любого отношения господства и составляющее сущность мужского господства, можно понять, лишь введя понятие габитуса и поставив вопрос о социальных условиях его производства, которые в конечном итоге и являются скрытым условием действительной эффективности такого по видимости магического действия, как символическое насилие. Поэтому необходимо восстановить всю воспитательную работу, осуществляемую либо через знакомство с символически структурированным миром, либо через коллективное внушение, скорее скрытого, чем явного, частью которого являются важные коллективные ритуалы, и посредством которой производится длительная трансформация тела и привычных способов его использования. Эта работа, похожая на все виды терапии с помощью практики или дискурса, не сводится к внушению знаний или воспоминаний. Говорить о габитусе — значит вводить такой способ закрепления и запоминания прошлого, который совершенно невозможно помыслить в рамках старой бергсоновской альтернативы памяти-образа и памя-

^{viii} См.: Bourdieu P. Catégories d'entendement professoral // Actes de la recherche en sciences sociales. 1975. № 3. В этой статье изучается система категорий, сквозь призму которых оцениваются ученики в школе. — Прим. перев.

ти-привычки, первая из которых — «духовная», а вторая — «механическая». Боксер, уклоняющийся от удара, импровизирующий пианист или оратор, просто женщина, которая идет, садится, держит нож (правой рукой...), или мужчина, приподнимающий шляпу или наклоняющий голову в знак приветствия, — все они отнюдь не воскрешают в памяти образ, записанный в уме после первого опыта того действия, которое они собираются выполнить. В то же время нельзя сказать, что это всего лишь результат свободной игры химических, физических или материальных механизмов. Поэтому не случайно, что у нас возникает столько проблем при создании роботов, способных механически подражать говорящему человеку, который произносит только одну простую, но действительно адекватную фразу, из всех тех, что возможны в ситуации (и это даже еще труднее, в противоположность иерархии, которую неявно ввел А. Бергсон, чем воспроизвести образ театрального события или политической манифестации). Все эти агенты используют обобщенные формы, порождающие схемы, которые — в противоположность альтернативе, в которую их желает втиснуть механицизм или интеллектуализм, — не являются ни суммой локальных механически агрегированных рефлексов, ни согласованным результатом рационального расчета. Эти схемы, имеющие самое общее применение, позволяют конструировать ситуацию как целостность, наделенную смыслом, в виде практических действий почти телесного предвосхищения, и давать подходящий ответ, который, никогда не являясь простой реализацией некоторого плана или модели, представляет собой связанное и моментально понимаемое единство.

Этот экскурс полезен, поскольку мне хотелось бы попытаться предотвратить ошибочное чтение, возможное из-за применения к моему анализу оппозиций, которые, бесспорно, существуют и будут продолжать существовать в академическом габитусе, так как внушены системой образования и схожи с главными оппозициями общественного разделения труда (теория/практика, замысел/выполнение, интеллектуальный/ручной и т. д., т. е. в конечном

итоге — благородный/вульгарный). Но самое важное — это постараться воссоздать способ действия, свойственный *габитусу*, который приобрел определенные половые характеристики и навязывает их другим¹⁸, а также условия его формирования. Габитус производит структуры мира и тела, имеющие определенную половую принадлежность. Данные структуры, не будучи рациональными представлениями, оттого не менее действенны. Они суть синтетические и адекватные ответы, которые, с одной стороны, не опираются на явный расчет сознания, обращающегося к памяти, но с другой — не являются и продуктом слепой работы физических или химических механизмов, способных освободить разум от работы. Посредством постоянной работы по воспитанию (*Bildung*) социальный мир конструирует тело одновременно и как вещь, имеющую определенные половые характеристики (*réalité sexuée*), и как хранилище категорий восприятия и оценивания, способных воспринять объект сквозь призму половых признаков (*catégories de perception et d'appréciation sexuantes*), которые применяются к самому телу в его биологической ипостаси.

Социальный мир обращается с телом так, как мы — с неким запоминающим устройством¹⁹: он записывает на нем, особенно в форме социальных принципов деления, которые обыденный язык сводит в пары оппозиций, фундаментальные категории видения мира (или, если хотите, системы ценностей или предпочтений). Заставляя его притворяться, или «глупеть», согласно выражению Б. Паскаля, социальный мир дает ему некую возможность стать ангелом или принять совсем другую культурную идентичность, всегда более или менее противостоящую (биологи-

¹⁸ В тексте используется словосочетание *habitus sexué et sexuant*, которое играет почти роль формулы. Та же самая грамматическая структура используется в выражениях «структурирующие и структурированные структуры» (*structures structurées et structurantes*). Это выражение нельзя перевести на русский язык столь же компактно, как это сделано во французском, поэтому мы переводим его в соответствии с контекстом. — Прим. перев.

ческой) природе, которую социальный мир требует от тела. Социализировать животное, окультурировать природу в виде и посредством безусловного подчинения тела часто неявным приказам социального порядка, поскольку они не проговариваются и не декларируются, — значит дать животному возможность думать в соответствии со своей собственной логикой, совершенно отличной от той, что мы спонтанно ассоциируем с идеей мышления после двух тысячелетий многословного платонизма. Это означает дать ему возможность мыслить себя самого, т. е. мыслить тело и практику с той точки зрения (точки зрения практики), которую нам трудно помыслить, потому что это в принципе трудно, но также и потому что мы воспроизводим в нашем уме и в нашем ученом габитусе очень специфическое понимание мышления, унаследованное от традиции, введенной Р. Декартом: представление о таком действии, как мышление, исключает возможность мыслить в действии.

Насилие, осуществляемое социальным миром по отношению к каждому из своих *субъектов*, состоит в том, чтобы запечатлеть в каждом теле (метафора буквы здесь получает свой полный смысл^х) настоящую программу восприятия, оценивания и действия. Эта программа, когда речь идет о ее способности придавать телу половые характеристики и, как следствие, — способности этого тела производить половые характеристики других тел, функционирует как вторая (окультуренная) природа, т. е. как неизбежная и слепая сила страстей или фантазмов (правда, социально сконструированных). Применяемая ко всем объектам мира, начиная с биологической природы тела (старые гасконцы называли половые органы женщины «природой»), эта натурализованная социальная программа конструирует или конституирует различие между биологическими полами в соответствии с принципами деления, свойственными мифическому видению мира. Данные

^х Во французском варианте используется слово *caractère* имеющее несколько значений: 1) характер, нрав; 2) свойство, признак, отличительная черта; 3) буква, литера. — *Прим. перев.*

принципы сами являются продуктом произвольного отношения доминирования мужчин над женщинами, которое вписано в реальность мира как его фундаментальная структура. И уже в рамках этой программы *биологическое* различие между мужским и женским телом, и особенно *анатомическое* различие между половыми органами, которое, как любой объект мира, дает возможность (в определенных пределах) для нескольких способов интерпретации, *оказывается* неоспоримым обоснованием социально сконструированного различия между полами.

Сексизм — это эссенциализм, так же как этнический или классовый расизм. Он стремится свести исторически сформированные социальные различия к биологической природе, функционирующей как некоторая сущность, из которой неумолимо выводятся все жизненные акты. И среди других форм эссенциализма, несомненно, труднее всего искоренить сексизм. Труд, направленный на то, чтобы сделать «природой» произвольный продукт истории, в данном случае находит очевидное основание во внешних телесных различиях, а также в совершенно реальных результатах, произведенных в телах и умах (т. е. в реальности и в представлениях о реальности) тысячелетней работой по социализации биологического и биологизации социального. Такая работа, меняя местами причины и следствия, представляет натурализованную социальную конструкцию (т. е. разные габитусы, произведенные различными социальными условиями, которые сами являются социальными конструктами) как оправдание природой произвольного представления о природе, лежащее в основании как самой реальности, так и представлений о ней.

Аналитик, стремящийся избежать *легитимации* реальности под видом ее научного описания, сталкивается с огромными трудностями. Это верно как при исследовании женщин, так и других экономически или символически подчиненных групп, предельным случаем которых являются группы, стигматизированные в силу своего национального или религиозного происхождения, имеющего (или нет) внешнее выражение, как, например, цвет кожи. Проблема в том, что ради попу-

листского гуманизма он может замалчивать те или иные социально сформированные и установленные различия. Как, например, некоторые американские антропологи представляют их под именем «культуры бедности», когда речь идет об афроамериканцах (это выбор, который более или менее сознательно делают те, кто, стремясь к реабилитации, хотят во что бы то ни стало говорить о «народной культуре»). Это происходит потому, что они боятся дать оружие расизму, который как раз и вписывает эти культурные различия в природу агентов (например, самих бедных), оставляя за скобками условия их существования, т. е. бедности как таковой, продуктом которой они являются, и таким образом создавая для себя средства, чтобы «наказывать жертв». Это же можно наблюдать и в случае сексизма, особенно когда, как в Кабилии, он установлен социально.

Являясь продуктом записи на теле отношений господства, структурирующие и структурированные структуры габитуса выступают основанием практических действий познания и признания магической границы, которая производит различие между доминирующими и доминируемыми, т. е. их социальную идентичность, полностью содержащуюся в этом отношении. Именно это знание тела заставляет доминируемых работать на свою доминируемую позицию, неявно признавая, вне всякого сознательного решения и указаний воли, границы, которые им навязаны, или даже производя и воспроизводя своими собственными практиками юридически отмененные ограничения.

Это означает, что освобождение жертв от символического насилия не может осуществиться благодаря указу. Можно даже наблюдать, что наиболее сильно инкорпорированные ограничения проявляются именно тогда, когда исчезают внешние принуждения и достигается формальное равенство (право голоса, право на образование, доступ к любым профессиям, в том числе политическим): самоисключение и «призывание» (как негативное, так и позитивное) занимают место от-

крытого исключения. Схожие процессы можно наблюдать у всех жертв символического господства. Например, среди детей из экономически или культурно обделенных семей, когда им формально и реально открыт доступ к среднему и высшему образованию, или среди членов групп, наиболее обделенных культурно, когда им предлагают воспользоваться их формальным правом доступа к культуре. Но как это можно было наблюдать во множестве революций, предвещавших создание «нового человека», габитус подчиненных часто стремится воспроизвести структуры (продуктом которых эти габитусы являются), временно измененные революцией.

Это практическое знание/признание границ, исключаящее саму возможность их нарушения, спонтанно переводится в зону невысказанного. Сильно цензурированное поведение, навязанное женщинам, особенно в присутствии мужчин и в публичных местах, — это не просто позы или манеры, заготовленные и исполняемые по случаю, но постоянный способ существования. О нем нельзя сказать, производит ли этот способ существования восприятие субъективного опыта женщинами (в виде стыда, скромности, застенчивости, целомудрия, тоски) или, наоборот, сам способ существования является продуктом опыта. Телесные реакции, способные возникать и вне тех ситуаций, где они требуются, — это и формы предчувствия негативных предрассудков, и способ невольного подчинения господствующей точке зрения, а также способ ощутить, иногда в виде внутреннего конфликта и спора с самим собой, тайный сговор, который тело, уклоняющееся от указаний сознания и воли, устанавливает с социальной цензурой.

Давление габитуса таково, что от него нельзя избавиться с помощью простого усилия воли, опирающегося на сознательное стремление к свободе. Тело предает того, кто следует чувству застенчивости, поскольку оно узнает запреты и призывы к порядку, тормозящие реакции, там, где другой габитус произведенный в других условиях

странства, которое, когда оно утверждается так открыто, как у кабиллов, обрекает женщин на существование в закрытых зонах и на безжалостную вербальную или телесную цензуру относительно всех форм публичного выражения, когда любой проход через мужское пространство, например, место перед ассамблеей (*thajmaâth*), становится ужасным испытанием. Это исключение может почти столь же эффективно действовать и вне этой системы: оно принимает форму своего рода социально навязанной *агорофобии*, существующей еще долго после отмены явных запретов и приводящей к самоисключению женщин из публичной жизни (*агоры*).

Известно, что даже сегодня женщины чаще, чем мужчины, отказываются участвовать в опросах, относящихся к общественным проблемам (и разрыв этот тем больше, чем ниже уровень образования опрашиваемых женщин). Компетенция, социально признанная за некоторым агентом, способствует формированию склонности приобрести соответствующую техническую компетенцию и посредством этого — управляет шансами на обладание той или иной компетенцией. Это происходит особенно благодаря тенденции соответствовать той компетенции, к которой толкает официальное признание права обладать ей. Можно сказать, что женщины реже, чем мужчины, признают за собой право обладать легитимной компетенцией. Например, во время исследования публики музеев было замечено, что множество опрашиваемых женщин, особенно обладавших небольшим культурным капиталом, выражали желание, чтобы вместо них отвечал на вопросы их спутник. Отказ от привычного образа себя вызывал беспокойство. На это указывали взгляды, которые в ходе интервью послушные жены время от времени бросали то на своих мужей, то на интервьюера. В более общем виде, необходимо было бы перечислить все виды практик, свидетельствующие о чуть ли не физических трудностях, которые испытывают женщины перед необходимостью участия в публичных делах или необходимостью преодолеть свое подчиненное положение

по отношению к мужчине, который воспринимается одновременно как защитник, судья и лицо, принимающее решения.²⁴ И подобно тому, как кабилские женщины используют принципы господствующего видения в магических ритуалах, прямо направленных на его подрыв (как, например, ритуал закрытия, направленный на то, чтобы вызвать половое бессилие мужчин, или ритуалы любовной магии, способные подчинить любимого и сделать его послушным), женщины, казалось бы, наиболее свободные от фаллоцентрического мышления, часто выказывают подчинение этим принципам в тех самых действиях и словах, что направлены на опровержение их эффекта (например, доказывая, что некоторые черты характера являются по природе своей либо женскими, либо неженскими).

Посредничество габитуса, predisposing наследника принять свое наследство (мужчины, старшего или аристократа), т. е. свою социальную судьбу, столь же необходимо и в случае тех, кому предназначены доминирующие позиции. В отличие от иллюзий здравого смысла, диспозиции, заставляющие требовать или осуществлять ту или иную форму господства, как, например, в фаллоцентрическом обществе мужское *libido dominandi*, не являются чем-то естественным. Они должны быть сконструированы в ходе длительной работы по социализации, столь же необходимой, что и работа, которая готовит к подчинению. Выражение «положение обязывает» (*noblesse oblige*) означает, что аристократическое положение (*la noblesse*), вписанное в тело аристократа в виде набора диспозиций, которые воспринимаются как естественные (посадка головы, осанка, походка, так называемый аристократический этос и т. п.), управляет аристократом вне всяких внешних принуждений. Эта высшая сила (способная заставить его принимать как неизбежные или само собой разумеющиеся, т. е. без намерения и рассуждения,

²⁴ См.: *Moi* T. Simone de Beauvoir: the making of an intellectual woman. Cambridge: Blackwell, 1994. — Прим. перев.

действия, которые другими будут восприниматься как невозможные или немыслимые) есть социальное трансцендентальное, ставшее телом и функционирующее как *amor fati*, это телесная предрасположенность осуществлять свою самость, ставшую социальной сущностью, и таким образом превращенная в судьбу. Аристократизм, понимаемый как набор диспозиций, которые в определенном социальном мире считаются аристократическими (дело чести, моральная или физическая храбрость, щедрость, великодушие и т. п.), есть продукт социальной работы по номинации и внушению, в ходе которой социальная идентичность, установленная с помощью одного из этих магических разрывов, всем известных и всеми признанных, которыми оперирует социальный мир, вписывается в биологическую природу и становится габитусом.

Все происходит так, как будто с возникновением произвольной границы, этого *potos*'а, устанавливающего два объективных класса («мужчин» и «женщин»), потребовалось создать условия для постоянного согласия с ним. Речь идет о том, чтобы способствовать его закреплению в умах (в виде категорий восприятия, применимых к любым объектам мира, начиная с тела и его собственно половых признаков) и в теле (понимаемом как диспозиции, принявшие определенные половые характеристики благодаря социализации).²⁵ Произвольный *potos* принимает вид *phusis*'а — закона природы (поэтому часто говорят о «противоестественной» сексуальности) — лишь в результате *соматизации социальных отношений господства*. Именно благодаря огромной продолжительной и невидимой коллективной работе по социализации определенные типы социальной идентичности, формируемые культурным *potos*'ом, воплощаются в форме габитусов, четко дифференцированных в соответствии с господствующим принципом и способных воспринимать мир согласно этому принципу деления. Например, в нашем социальном пространстве это может принимать форму «естественных различий» и «чувства дистанции».

Социальное конструирование пола

Можно бесконечно долго перечислять действия, дифференцированные и дифференцирующие по половому признаку, которые направлены на акцентуацию в каждом агенте внешних признаков, лучше всего согласующихся с социальным определением его половой принадлежности, или на поощрение практик, соответствующих его полу и полностью запрещающих или отучающих от неподобающего поведения, особенно в отношениях с представителями другого пола. Хотя эти практики относятся только к внешнему поведению индивида, благодаря настоящему *психосоматическому действию* они, в конечном итоге, производят диспозиции и схемы, управляющие наиболее неконтролируемыми позами и привычками телесного экзиса, а также наиболее загадочными импульсами бессознательного (в том виде, в каком их потом открывает психоанализ). Так, например, логика всего социального процесса, где формируется фетиш мужественности, раскрывается со всей ясностью в ритуалах назначения, которые, как я уже показал ранее, стремятся установить непроницаемую границу отнюдь не между теми, кто их уже прошел, и теми, кто *еще не* прошел, как заставляет думать понятие ритуала перехода (*от чего-то к чему-то*). В действительности, они устанавливают границу между теми, кто социально достоин того, чтобы подвергаться этим испытаниям, и теми, кто из них в принципе исключен, т. е. женщинами.²⁶

Мужские и женские тела, и особенно половые органы, которые, в силу того, что конденсируют в себе различия между полами, предрасположены символизировать эти различия, воспринимаются и конструируются в соответствии со схемами габитуса и таким образом становятся исключительной символической опорой значений и ценностей, согласующихся с принципами фаллоцентрического видения мира. Не фаллос (или его отсутствие) выступает производящей основой этого видения мира. Наоборот, именно это видение мира, которое в силу *социальных причин* (заслуживающих специального исследования) организовано в соответствии с делением на *взаимозависи-*

мые категории мужского и женского, может представлять фаллос, определенный как символ мужественности и исключительно мужской чести (*nif*), основой различения между полами (в смысле принадлежности к мужскому или женскому роду) и оправдывать социальное различие между двумя иерархизированными существами объективными природными различиями между биологическими телами.

Мужское первенство, утверждаемое в легитимном определении разделения полового труда и половом разделении труда (в обоих случаях мужчина согласно этим представлениям «берет верх», в то время как женщина «подчиняется»), стремится навязать себя, через систему схем, составляющих габитус, в качестве матрицы любых представлений, мыслей и действий всех членов общества, а также в качестве бесспорного основания, поскольку оно расположено вне сознания и критики, андроцентрического представления о биологическом и социальном воспроизводстве одновременно. Не только потребности биологического воспроизводства детерминируют символическую организацию полового разделения труда (и постепенно всего социального и природного порядка), но и произвольное конструирование представлений о биологической природе, в частности, мужского и женского тела, его использования и функций, особенно при биологическом воспроизводстве. Это создает основания для восприятия в качестве естественной именно мужской точки зрения на разделение полового труда и на половое разделение труда, а посредством этого — всего мужского видения мира. Особая сила мужской социодиицы в совмещении двух операций: она легитимирует отношения доминирования, вписывая их в биологическую природу вещей, которая, в свою очередь, есть не что иное, как биологизированная социальная конструкция.

Определение собственно тела, живого носителя работы по натурализации, представляет собой продукт всей социальной работы по конструированию, особенно в том, что касается сексуальности. Именно вознося на вершину символической иерархии понятие дела чести, это основание сохранения и увеличения чести, т. е. символи-

ческого капитала, который вместе с социальным капиталом отношений родства представляет основную (если не единственную) форму накопления, возможную в этом пространстве, кабилы пришли к признанию бесспорного превосходства мужской силы. Даже применительно к этическим аспектам мужская сила всегда продолжает ассоциироваться, по крайней мере неявно, с физической силой, особенно посредством оценивания признаков мужественности (дефлорации невесты, количества потомков мужского пола и т. д.), которые ожидаются от настоящего мужчины, а также с фаллосом, который, кажется, создан для того, чтобы служить носителем всех коллективных фантазмов об оплодотворяющей силе.²⁷

Благодаря способности увеличиваться, столь дорогой Ж. Лакану, фаллос есть то, что набухает и заставляет полнеть. Самое обычное слово для обозначения пениса — *abbuch*, в женском роде слово имеет форму *thabbuchth* и обозначает грудь, в то время как фаллос «раздутый» называется *atbul*, т. е. большая колбаса.²⁸ Схема набухания является порождающим принципом ритуалов плодородия, особенно если речь идет о пище, когда, стремясь имитировать набухание, обращаются к продуктам, которые набухают и от которых полнеют (как, например, пирожки) и которые принято подавать в тех ситуациях, когда должно осуществляться оплодотворяющие действие мужской силы, как во время свадьбы, а также во время начала пахоты, т. е. в ситуации, гомологичной дефлорации.²⁹ Те же ассоциации, что преследуют Ж. Лакана (набухание, жизненные соки), можно найти в словах, обозначающих сперму (*zzel*), и особенно в понятии *laâmara*, означающем полноту, благодаря своему корню *aâmar* (наполнять, развиваться, и т. д.), т. е. то, что полно жизни, и то, что наполняет жизнь. В ритуалах плодородия схема *наполнения* (полный/пустой, плодовитый/бесплодный и т. д.) постоянно комбинируется со схемой набухания.³⁰

Именно категории восприятия, сконструированные вокруг оппозиций, отсылающих в конечном итоге к раз-

делению полового труда, которое само организовано в соответствии с этими оппозициями, структурируют восприятие сексуальных органов и в еще большей мере сексуальную активность. Символическая сила коллективных представлений объясняется тем, что — как это хорошо показывает социальная трактовка фаллического «набухания», отождествляющая фаллос с жизненной энергией роста вообще, имманентной любому процессу естественного размножения (всходы растений, беременность и т. п.) — социальное *конструирование* способов восприятия половых органов и полового акта регистрирует и ратифицирует «прегнантность»^{xii} объективных форм, таких как набухание и эрекция фаллоса.³¹ Поскольку культурная «селекция» семантически адекватных признаков заботится о том, чтобы взять в качестве символов самые бесспорные естественные свойства, постольку она превращает произвольный социальный *потос* в природную необходимость (*phusis*). Эта логика *символического освящения* объективных процессов, особенно космических и биологических, задействована в любой мифоритуальной системе. Например, когда прорастание зерна воспринимается как возрождение, событие, гомологичное продолжению деда в своем внуке, закрепляющееся в виде передачи имени. Именно эта логика дает квазиобъективное основание этой системе представлений, и вместе с ней — вере в нее, подкрепленной общим согласием.

Естественно, какой бы тесной ни была связь между реальностью (или процессами природного мира) и принципами видения и деления, которые к ней применяются, и каким бы сильным ни был круговой процесс взаимной ратификации, всегда существует место для *когнитивной борьбы* по поводу смысла предметов социального мира и, в частности, по поводу отношения полов. Когда доминируемые применяют к механизмам или силам, которые над

^{xii} Прегнантность — тенденция каждого психологического феномена принимать более определенную, отчетливую, завершенную форму. Одно из основных понятий гештальтпсихологии. — *Прим. перев.*

ними господствуют (или просто к самим доминирующим), категории, являющиеся продуктом этого господства, другими словами, когда их сознание и бессознательное структурированы в соответствии со структурами навязанного им отношения господства, их познавательные действия неизбежно становятся актами признания произвола, объектом которого они являются, навязываемого им объективно и субъективно. Это означает, что частичная неопределенность некоторых элементов мифоритуальной системы, даже с точки зрения деления на мужское и женское, лежащая в основании символизма, может служить точкой опоры при антагонистических интерпретациях, с помощью которых доминируемые пытаются защитить себя от этого символического навязывания.¹² Например, женщины, применяя иначе фундаментальные схемы мифопоэтического видения (высокий/низкий, твердый/мягкий, прямой/согнутый и т. п.), могут воспринимать мужские органы по аналогии с безжизненно свисающими предметами (слова *laâlaleg* и *asaâlag*, используемые также для обозначения связок лука или подвешенного мяса, или *acherbub*, иногда ассоциируемый с *ajerbub*, т. е. лохмотьями).¹³ Хотя в их представлениях продолжают жить категории господствующего восприятия, они могут извлекать пользу из своего униженного состояния, дабы утверждать превосходство женского пола, напоминая таким образом, что социальные свойства двух *родов* являются продуктом доминирования и могут быть всегда использованы в борьбе полов. (Как в кабийской поговорке, используемой женщинами: «У тебя все висит снаружи (*laâlaleg*), у меня же все хорошо спрятано».) Заметим по ходу, что подобное рассуждение верно для любого отношения символического доминирования. Бесполезно противопоставлять символическое доминирование, осуществляемое посредством легитимной культуры, и *сопротивление*, которое могут оказывать ей доминируемые, часто вооружаясь теми же категориями легитимной культуры, но в виде пародии, насмешки, или карнавального переодевания.

Не будучи уверенным, что мои выводы не вызваны ограниченностью имеющейся у меня информации, я по-

лагаю возможным утверждать, что пол женщин является продуктом работы по конструированию, стремящейся сделать из них своего рода негативное существо, определенное в основном через лишение мужских свойств и наделение уничижительными характеристиками, как, например, липкий (*achermid* — одно из берберских слов, означающее влагалище, одновременно является одним из самых уничижительных для обозначения липкого человека).

Как здесь не упомянуть в качестве удивительного антропологического документа сартровский «анализ» женских половых органов как липкой дыры, который часто разоблачается в феминистской литературе. «Непристойность женского полового органа, — пишет Ж.-П. Сартр, — является непристойностью всякой *зияющей* вещи; это — зов бытия, как, впрочем, все отверстия; в себе женщина призывает чужое тело, которое должно ее преобразовать в *полноту* бытия посредством проникновения и растворения. И наоборот, женщина чувствует свое положение как призыв и именно потому, что она «продырявлена» <...> Вне всякого сомнения, женский половой орган является ртом, и ртом прожорливым, который глотает пенис, что хорошо может подвести к идее кастрации; любовный акт является кастрацией мужчины; но прежде всего женский половой орган является дырой».³⁴ И эта бессознательная объективация мужского бессознательного продолжается дальше в анализе понятия *липкого*. «Это деятельность мягкая, уклончивая, как женственное дыхание. Липкое смутно живет под моими пальцами, и я чувствую его как головокружение; оно привлекает к себе, как может привлекать дно пропасти. Присутствует осязаемое очарование липкости. Я не являюсь больше господином, чтобы остановить процесс присвоения. Он продолжается. В одном смысле он предстает перед нами в виде высшей покорности овладеваемого объекта, покорности собаки, которая *привязывается*, даже если ее больше не хотят. А в другом смысле именно под этой покорностью происходит скрытое обратное присвоение владеющего *владемым*».³⁵

И последняя метафора, бесспорно наиболее разоблачающая, а именно, «осы, которая погрузилась в варенье и в нем утонула», и которая «символизирует сладкую смерть Для-себя» и отмишение В-себе «подслащенное и женственное»³⁶ — превосходно завершает воскрешение фундаментальных оппозиций мужской мифологии (мужской/женский, пенис/вагина, чистый/грязный, твердый/мягкий, сухой/влажный, полный/пустой, [соленый]/сладкий и т. д.) и форм, которые эти оппозиции принимают в философском дискурсе (для-себя/в-себе, сознание/материя и т. д.). Можно даже указать тот момент, когда коллективный миф трансформируется в личные фантазмы (очень оригинальное представление полового акта), непосредственно сублимированные в форму *фундаментальной интуиции* философской системы: «Итак, это растворение само по себе уже устрашающе, поскольку оно есть поглощение Для-себя посредством В-себе, как чернила поглощаются промокательной бумагой <...> ужасное в-себе становится липким для сознания».³⁷

Представление о влагалище как об инвертированном фаллосе, как показывает Мари-Кристин Пушель, изучавшая работы средневекового хирурга, подчиняется тем же фундаментальным оппозициям между позитивным и негативным, лицевой и изнаночной стороной, и которое навязывается, как только мужское оказывается мерой всех вещей.³⁸ Чтобы убедиться, что социальное определение пола через половые органы не есть простая констатация природных признаков, непосредственно данных восприятию, но результат систематического подчеркивания или замалчивания различий и сходств, осуществляемых в соответствии с социальным статусом, признаваемым за мужчиной и женщиной, как будто для того, чтобы обосновать господствующее представление о женской природе³⁹, достаточно проследить историю «открытия» клитора, как это представляет Томас Лакер⁴⁰, и потом продолжить ее вплоть до теории Зигмунда Фрейда о развитии женской сексуальности от клитора к влагалищу, что может служить еще одним примером эффекта Монтескье, т. е. научного преображения социального мифа.

Все тело целиком также воспринимается сквозь призму основных культурных оппозиций. Оно имеет свой верх и низ, граница которых отмечена поясом, знак закрытости и символической границы, по крайней мере для женщин, между чистым и нечистым. Тело также имеет свою переднюю часть, *место половой дифференциации* (естественно, выбираемое системой, стремящейся все время дифференцировать), и свою заднюю часть, сексуально нейтральную и потенциально женскую, т. е. подчиненную (о чем напоминает, в виде жеста или слова, южное оскорбление, направленное преимущественно против гомосексуалистов). Комбинация двух схем формирует оппозицию между благородными и постыдными частями тела. Так, лоб, глаза, усы и рот — это органы представления себя, где концентрируется социальная идентичность, представление о социальной чести (*nif*), требующее умения оказывать сопротивление и смотреть в прямо лицо. Но есть также и частные, скрытые или постыдные части, которые понятие чести приказывает прятать.

Верхняя часть тела (мужская) и ее легитимное использование: оказывать сопротивление, смело выступать против (*gabel*), смотреть в лицо, в глаза, выступать *публично* и т. д. — являются исключительной монополией мужчины. Это значит, что именно посредством полового разделения легитимного использования тела устанавливается связь (сформулированная психоанализом) между фаллосом и логосом. Доказательством этого может служить, например, то, что женщина, которая в Кабилии спрятана от взглядов, если она без вуали, должна в некотором смысле отказаться от использования своего взгляда (в публичном месте она ходит опустив глаза к земле) и своей речи: единственное слово, которое ей подходит, — это *wissen* (не знаю) как своего рода антитеза мужской речи, которая есть утверждение — решительное, резкое и вместе с тем продуманное и взвешенное.

И как не видеть, что сам половой акт, хотя он постоянно функционирует как своего рода первоначальная матрица, на основе которой конструируются все формы объединения противоположных принципов лемеха и бо-

розды, земли и неба, огня и воды и т. п., постоянно представляется в соответствии с принципом мужского превосходства? Так же как влагалище обязано своим пагубным и зловредным характером тому факту, что является дырой и чем-то пустым, но также негативной формой фаллоса, любовная поза, в которой женщина помещается сверху мужчины, переворачивая отношение, считающееся нормальным, когда мужчина «берет верх», явно осуждается во множестве цивилизаций.⁴¹ Хотя кабилы не очень склонны к оправдательному дискурсу, но и они обращаются к нему в своего рода мифе о происхождении, чтобы легитимировать позы, приписываемые представителю каждого пола в разделении сексуального труда. Более широко, эти позы легитимируются посредством полового разделения труда по биологическому производству и воспроизводству, но также и социальному, в общем социальном порядке и даже — космическом. «Именно у источника (*itala*) первый мужчина встретил первую женщину. Когда она набирала воду, надменный мужчина подошел к ней и попросил напиться. Но она пришла первой, и ей тоже хотелось пить. Недовольный, мужчина ее толкнул. Она оступилась и упала на землю. Так мужчина увидел чресла женщины, которые не были похожи на его. Он застыл от удивления. Женщина, как более опытная, научила его множеству вещей. «Ложись, — сказала она, — я расскажу тебе, к чему пригодны твои органы» Он лег на землю, и она начала ласкать его пенис, который стал в два раза больше. Тогда она легла на него. Мужчина испытал большое удовольствие. Он везде преследовал женщину, чтобы повторить его. Ведь она знала больше, чем он, умела зажигать огонь и др. Однажды мужчина сказал женщине: «Я тоже хочу тебе показать, что умею делать разные вещи. Ложись и я лягу на тебя» Женщина легла на землю, и мужчина лег на нее. Он испытал ничуть не меньшее удовольствие и сказал женщине: «У источника ты (кто господствует); дома — я» В уме у мужчины главными всегда являются последние слова, и с тех пор мужчины любят всегда ложиться на женщин. Так они стали первыми. И именно они должны править».⁴²

Смысл этой социодидеи утверждается здесь без обиняков: в самую основу социального порядка, где господствует мужчина, базовый миф вводит элементарную оппозицию (в действительности уже встроенную в ожидания, которые служат, чтобы ее оправдать, например, с помощью противопоставления источника и дома) между природой и культурой, между природной и культурной «сексуальностью». ⁴³ Аномичному акту, свершившемуся у источника (по определению женское место) и по инициативе женщины, порочной соблазнительницы, которая самой природой посвящена в любовные дела, противопоставляется акт, соответствующий *nomos*'у, акту домашнему и одомашненному, совершающемуся по просьбе мужчины в соответствии с порядком вещей (т. е. в соответствии с фундаментальной иерархией социального и космического порядка) и в доме — месте окультуренной природы, легитимного доминирования мужского начала над женским, которое символизируется превосходством несущей балки (*asalas alemmas*) над вертикальным столбом (*thigejdith*), имеющим форму вил, направленных вверх.

Но то, что мифический дискурс проповедует в конечном итоге в очень наивной форме, ритуалы назначения, являющиеся в действительности символическими актами по дифференциации, выполняют более скрыто и, несомненно, символически более эффективно. Достаточно указать на практику обрезания — специфически мужской ритуал посвящения, утверждающий различие между теми, кого он наделяет мужественностью, полностью символически подготавливая его быть мужественным, и теми, кто в принципе не приспособлен к тому, чтобы участвовать в этом ритуале, и кто обречен воспринимать себя через призму отсутствия того, что служит поводом и основанием ритуала, подтверждающего мужественность. И психосоматическая работа, проводимая постоянно, особенно посредством ритуалов, нигде не проявляется столь открыто, как в так называемых ритуалах «отделения», функцией которых является эмансипация мальчика от матери и постепенное формирование мужских качеств, побуждая и подготавливая его к столкновению с внешним миром.

Это объективное «намерение» упразднить женское в мужском (которое Мелани Кляйн предлагала анализировать как операцию, обратную ритуальной), желание уничтожить связь и привязанность к матери, земле, влажному, темному, природе — другими словами, ко всему женскому, обнаруживает себя со всей очевидностью в ритуалах, проводимых в момент так называемого «отделения в январе» (*el áazla gennayer*)^{xiii}, как, например, первая стрижка волос мальчика, и во всех церемониях, отмечающих переход порога мужского мира, которые венчает ритуал обрезания. Эти ритуалы принимают форму целой серии актов, направленных на отделение мальчика от матери, когда используются объекты, сделанные с помощью огня и способные символизировать разрезание: нож, кинжал, лемех и т. п. Так, после рождения мальчика кладут справа от матери (мужская сторона), она сама лежит на правом боку и между ними кладут типично мужские объекты, как-то: чесалку, большой нож, лемех, камень от печи. По той же логике, значимой является первая стрижка, потому что волосы, женский признак, есть один из символов, связывающих мальчика с миром матери. Это инаугурационная стрижка с помощью бритвы — мужского инструмента, — доверяемая отцу, проводится в день «отделения в январе» и незадолго до первого похода на рынок, т. е. в возрасте от 6 до 10 лет. Работа по воспитанию у мальчика мужских качеств продолжается в связи с первым выходом на рынок — этим введением в мир мужчин, мир дела чести и символической борьбы. Ребенок, одетый во все новое, с шелковой повязкой на голове, получал кинжал, висячий замок и зеркало, а в капюшон его бурнуса мать клала яйцо. У ворот рынка он разбивал яйцо и открывал замок (мужские акты дефлорации) и смотрелся в зеркало (инструмент переворачивания, как порог). Отец вел его по рынку, исключительно мужскому миру, и всем представлял.

^{xiii} Подробнее о зимних ритуалах см.: Бурдье П., Практический смысл. Ор. cit. С. 397–398. — Прим. перев.

По возвращении они купали голову быка: как и рога, это фаллический символ, связанный с понятием *nif*.

Та же психосоматическая работа, которая по отношению к мальчикам направлена на воспитание у них мужских качеств, очищая их от всего, что может у них остаться женского, как, например, у «сына вдовы», принимает еще более радикальную форму, когда речь идет о девочках. Женщина, формируемая как негативная сущность, определяется через лишение ее тех или иных признаков. Поэтому ее собственные добродетели могут существовать только в виде двойного отрицания, например, как отвергнутый или преодоленный порок или минимизированное зло. Вся работа по социализации направлена на интериоризацию ограничений, касающихся в первую очередь тела (поскольку самое святое, *h'aram*, связано с использованием тела). Молодая кабийская женщина усваивала фундаментальные принципы женского искусства жизни, одновременно телесные и моральные правила поведения, учась одеваться и носить различные одежды, соответствующие различным этапам жизни (маленькой девочки, девственницы, достигшей половой зрелости, жены, матери семьи), незаметно для себя усваивая — как через бессознательное подражание, так и через открытое подчинение — правильный способ завязывания пояса или волос, правильную походку, взгляд и манеру показывать свое лицо.⁴ Это обучение, остающееся по преимуществу неявным, поскольку сами ритуалы действуют с помощью изоляции тех, кто им подвергается, от тех, кто из них исключен, стремится вписать в самые глубокие пласты бессознательного антагонистические принципы мужской и женской идентичности, эти зарубки на теле, даже сегодня управляющие выбором призвания в соответствии с делениями, схожими с половым разделением труда в кабийском обществе.

Несмотря на изменения, вызванные промышленной революцией, по-разному повлиявшей на женщин, занимавших разные позиции в разделении труда, система фундаментальных оппозиций сохраняется, хотя и претерпевает некоторые трансформации. Так, деление на мужское и жен-

ское продолжает структурироваться вокруг оппозиции внутреннего и внешнего, между домом, предполагающим воспитание детей, и работой. Канонической формой можно считать буржуазную семью с ее делением на пространство предприятия, ориентированного на производство и прибыль, и пространство дома, предназначенного для биологического, социального и символического воспроизводства семьи, т. е. безвозмездной и пустой, на первый взгляд, траты денег и времени, направленных на демонстрацию символического капитала и удвоение его благодаря этому. С момента вхождения женщин в рынок труда границы сместились, но не исчезли, поскольку внутри мира труда сформировались защищенные сектора. Традиционные принципы видения и деления стали постоянно оспариваться, что привело к пересмотру и частичной ревизии распределения свойств и тех преимуществ, которые за ними признаются.

Поскольку сексуальность — это слишком важная вещь, чтобы оставить ее на произвол индивидуальных импровизаций, группа предлагает и навязывает официальное определение легитимного использования тела, исключая как из представлений, так и из практик все (особенно когда речь идет о мужчинах), что может намекать на свойства, приписываемые другой категории. Работа по символическому конструированию, завершаемая в виде работы по практическому конструированию (*Bildung*) и образованию, логически действует с помощью отделения от другого социально сконструированного пола. Как следствие, она стремится исключить из пространства мыслимого и возможного все, что указывает на принадлежность к противоположному полу, в частности, все возможности, биологически вписанные в этот «первертивный полиморф», каким является, если верить З. Фрейду, совсем маленький ребенок, чтобы произвести такой социальный артефакт, как мужественный мужчина или женственная женщина.

Таким образом, социально сформированное биологическое тело есть тело политизированное, или, если хотите,

инкорпорированная политика. Фундаментальные принципы андроцентрического видения мира натурализуются в форме элементарных позиций и диспозиций тела, которые воспринимаются как естественное проявление естественных тенденций. Вся мораль чести может, таким образом, выразиться в слове *gabel*, тысячу раз повторявшемся нашими информаторами. Оно означает умение противостоять, смотреть в лицо, а также соответствующие телесные позы.⁴⁵ Казалось бы, подчинение находит естественное выражение в том, чтобы быть внизу, подчиняться, наклоняться, унижаться, склоняться и т. п., и напротив, честность ассоциируется с прямым положением, что является монополией мужчины, в то время как склоненная, гибкая поза и соответствующая покорность считаются свойствами женщин.⁴⁶

Поэтому базовое воспитание по сути своей является политическим. Оно стремится внушить способ управления телом в целом или какой-то его частью (правая рука — мужская, левая — женская), манеру ходить, держать голову или направлять взгляд (в лицо, в глаза или, наоборот — на ноги и т. п.), которые полны этического, политического или космологического смысла. Это возможно потому, что они все дифференцированы по половому признаку и посредством этих различий, они [манеры] практически выражают фундаментальные оппозиции видения мира. Телесный экзис, дублируемый и закрепляемый одеждой, тоже дифференцированной по половому признаку, это вечное и всегда имеющееся под рукой запоминающее устройство, которое регистрирует так, что это доступно зрительному восприятию и чувствам, все возможные мысли и действия, все практические возможности и невозможности, определяющие габитус. Соматизация культурных навыков есть конструирование бессознательного.

Musio и социальный генезис *libido dominandi*

Если женщины, подчинившись работе по социализации, направленной на то, чтобы их ослабить и исключить, усваивают негативную добродетель самоотречения,

смирения и молчания, то и мужчины являются пленниками и тайными жертвами господствующего представления, хотя оно хорошо сочетается с их интересами. Когда мифоритуальная система полностью утверждается в объективности социальных структур и в субъективности структур ментальных, организующих восприятие, мышление и деятельность всей группы, то она функционирует как самореализующееся представление и не может быть опровергнута ни снаружи, ни изнутри. Безудержное восхваление мужских ценностей имеет свою темную сторону в виде страха, вызываемого женственностью, лежащего в основании подозрительного отношения к женщинам, поскольку они могут представлять опасность для мужского дела чести. В силу того, что женщина воплощает в себе опасность для чести (*h'urma*), святое левое, всегда чревато грехом и несет в себе возможность дьявольской хитрости (*thah'raymith*) — этого оружия слабых, всегда противопоставляющего силе и прямолинейности такие приемы, как обман и магия, — женщина потенциально несет в себе опасность бесчестия и несчастья.⁴⁷ Поэтому эта привилегия имеет обратную сторону в виде постоянного напряжения или усилия (иногда доводимого до абсурда), навязываемого каждому мужчине необходимостью доказать свою мужественность.⁴⁸

Чтобы похвалить мужчину, достаточно ему сказать: «Вот это мужчина».⁴⁹ Итак, можно сказать, что мужчина — это существо, заключающее в себе понятие «должен», которое навязывается как нечто само собой разумеющееся и принимается без обсуждения: быть мужчиной — значит сразу оказаться в позиции, содержащей в себе власть и привилегии, но одновременно обязанности и все обязательства, вписанные в понятие мужественности как своего рода аристократизм. Речь идет не о том, чтобы перевернуть обязанности (как это может предположить поверхностное феминистское чтение), но постараться понять, что предполагает эта специфическая форма доминирования, рассмотрев ситуацию именно с позиции мужских привилегий, являющихся одновременно ловушкой. Исключить женщин с агоры и всех публичных мест, где иг-

рают в игры, считающиеся самыми серьезными в человеческой жизни, такие как политика или война, в действительности значит запретить им присваивать себе подобные диспозиции (например, понятие о деле чести), приобретаемые благодаря посещению таких мест и участию в таких играх, которые ведут к соперничеству с другими мужчинами.

Главный принцип деления, классифицирующий человеческие существа на мужчин и женщин, предписывает первым только игры, достойные того, чтобы в них играли, при этом настраивая их на усвоение установки воспринимать серьезно те игры, которые социальный мир утверждает как серьезные. Это самое привычное *illusio*, которое делает из человека мужчину. Его можно назвать чувством чести, мужественностью, *manliness*^{xiv}, или, на языке кабиллов «быть кабиллом» (*kabilité, thakbaylith*). Оно есть неоспоримое основание всех обязанностей по отношению к самому себе, движущая сила или мотор всех действий, которые воспринимаются как обязательные для выполнения. Иными словами, указанное *illusio* есть то, что нужно сделать, чтобы быть в согласии с самим собой и в своих собственных глазах оставаться достойным принятого представления о мужчине. Итак, с одной стороны, мы имеем габитусы, сконструированные в соответствии с фундаментальным делением на прямое и кривое, открытое и скрытое, полное и пустое, — короче говоря, на мужское и женское. С другой стороны, существует социальное пространство, организованное в соответствии с этими же делениями и полностью подчиненное оппозиции между мужчинами, готовыми к тому, чтобы войти в борьбу за накопление символического капитала, и женщинами, готовыми к исключению из нее или, точнее, к вхождению в нее после брака лишь в качестве объектов обмена, переодетых в одежды возвышенной символической функции. Во взаимодействии таких габитусов и такого социального пространства формируются боевые инвестиции мужчин и женские добродетели, полные воздержания и умеренности.

^{xiv} *Manliness* (англ.) — мужественность. — Прим. перев.

Таким образом, доминирующий тоже подчинен, но он зависит от своего собственного статуса господствующего, что, естественно, сильно меняет ситуацию. Чтобы проанализировать этот парадоксальный аспект символического доминирования, почти всегда игнорируемый феминистской критикой, необходимо, сделав резкий переход от одного культурного полюса к другому, т. е. от кабилских горцев к блумсберийской группе, обратиться к Вирджинии Вулф, но не как к автору постоянно цитируемых классических феминистских текстов («Своя комната», «Три гинеи»), а как к романистке, которая благодаря письму и производимому им анамнезу открывает вещи, ранее скрытые от взора представителей господствующего пола «гипнотической властью доминирования».⁵⁰ Роман «На маяк» предлагает описание отношений между полами, очищенное от всех стереотипов и лозунгов, от понятия денег, культуры или власти, которые все еще транслируются более теоретическими текстами. Одновременно мы находим здесь бесподобный анализ того, каким может быть женской взгляд на этот вид отчаянного и достаточно трогательного, из-за всепобеждающей бессознательности, усилия, которое каждый мужчина должен совершать, чтобы быть на высоте своей инфантильной идеи о том, кто такой мужчина.

В школьном пересказе роман «На маяк» — это история семьи Рэмзи, которая живет на даче с друзьями на Гебридских островах. Миссис Рэмзи пообещала самому младшему из своих детей, шестилетнему Джеймсу, пойти с ним на следующий день на маяк, зажигающийся каждый вечер. Но мистер Рэмзи объявляет, что завтра точно будет плохая погода. Это становится предметом спора. Проходит время. Миссис Рэмзи умирает. Возвращаясь снова в тот дом, который они надолго оставили, мистер Рэмзи и Джеймс совершают не состоявшуюся когда-то прогулку.

Возможно, в отличие от миссис Рэмзи, которая боится, как бы кто-нибудь не услышал ее мужа, большинство читателей, особенно мужчин, при первом чтении не пони-

мают странную ситуацию, с которой начинается роман: «Вдруг дикий вопль, как полуразбуженного сомнамбулы: “Под ярый снарядов вой!”^{xv}» ворвался в ее слух и заставил в тревоге оглядеться, чтоб проверить, не слышал ли кто [ее мужа].⁵¹ И возможно, они не понимают и продолжение, когда, несколькими страницами дальше, мистер Рэмзи захвачен врасплох другими персонажами, Лили Бриско и ее другом: «Вот сейчас, например, когда Рэмзи неся на них, жестикулируя, с воплем, мисс Бриско ведь безусловно все поняла. “Кто-то ошибся!”^{xvi}». Только постепенно, через различные аспекты, которые воспринимаются разными персонажами, поведение мистера Рэмзи становится понятным: «А эта его манера говорить с самим собой вслух или ни с того ни с сего громко раздражаться стихами — ведь с годами все хуже; иногда ужасно неловко...».⁵² Так, тот же самый мистер Рэмзи, который уже на первых страницах представляется как в высшей степени мужественный и ответственный герой, оказывается уличенным в откровенном ребячестве.

Вся логика данного персонажа заключается в этом видимом противоречии. Мистер Рэмзи, подобно архаичному королю, которого упоминает Бенвенист в «Словаре индоевропейских социальных терминов»^{xvii}, — это тот, чьи слова являются *вердиктом*; тот, кто может одной фразой убить «безмерную радость» своего сына, полностью поглощенного намеченной прогулкой к маяку («Да, но только, — сказал его отец, становясь под окном гостиной, — погода будет плохая»). Его прогнозы имеют способность самосбываться, становиться реальностью: либо они действуют как приказ, как благословение или проклятие, которые волшебным образом заставляют произойти то, что они предвещают; либо, что еще ужаснее,

^{xv} Строка из стихотворения Альфреда Теннисона «Атака легкой кавалерийской бригады». — *Прим. перев.*

^{xvi} Из того же стихотворения. — *Прим. перев.*

^{xvii} Бенвенист Э. Словарь индоевропейских социальных терминов // Пер. с фр., общ. ред. и вступ. ст. Ю. С. Степанова. — М.: Прогресс, 1995. — *Прим. перев.*

они выражают то, что еще только намечается, то, что написано знаками, которые постижимы только в виде прозрений почти божественных мистиков, способных наделять мир смыслом, удваивать силу законов социальной и естественной природы, переводя их в законы разума и опыта, в высказывания науки и мудрости, одновременно рациональные и мистические. Научный прогноз и императивное утверждение отцовского предсказания превращает будущее в прошлое. Мудрое предвидение придает этому еще несостоявшемуся событию одобрение опыта и абсолютного согласия, которое оно подразумевает. Безусловное подчинение порядку вещей и абсолютное утверждение принципа реальности он противопоставляет материнскому понимаю, которое признает бесспорное подчинение закону желания и удовольствия, но удвоенное двойной условной уступкой по отношению к принципу реальности: «Да, непременно, если завтра погода будет хорошая, — сказала миссис Рэмзи. — Только уж встать придется пораньше, — прибавила она».⁵³ Достаточно сравнить эту фразу с отцовским вердиктом⁵⁴, чтобы увидеть, что «нет» отца не нуждается в выражении или оправдании. Это «но» («Да, но только <...> погода будет плохая») присутствует здесь, чтобы указать, что для рационального существа («будь разумным», «позднее ты поймешь») нет другого решения, чем просто подчиниться силе вещей. Именно этот брюзжащий и пособнический реализм порядка мира вызывает ненависть к отцу, ненависть, которая, как в подростковом протесте, направлена не столько против необходимости, на открытие которой претендует отцовский дискурс, сколько против произвольного согласия, которое всемогущий отец за ней признает, доказывая, таким образом, свою слабость. Это покорная соглашательская слабость, которая принимается без сопротивления, та попустительская слабость, хвастающаяся и получающая удовольствие от жестокого удовольствия разочаровывать, т. е. заставлять разделять свое собственное разочарование, свою собственную покорность, свое собственное поражение.⁵⁵ Самые радикальные детские или подростковые протесты направлены не столь-

ко против отца, сколько против самого факта спонтанного подчинения, против того, что первым движением габитуса является подчинение отцу и признание его доводов.

Благодаря неопределенности, которую позволяет использование свободного стиля, мы незаметно переходим от точки зрения детей на отца к его восприятию самого себя. Эта точка зрения в действительности совершенно безличная, поскольку является доминирующей и легитимной точкой зрения. Она есть не что иное, как возвышенная идея о самом себе, которую имеет право и обязан иметь о себе самом тот, кто намерен реализовать в своем существе моральный принцип, приписываемый ему социальным миром, в данном случае — идеал мужчины и отца, который он обязан реализовать: «То, что он сказал, была правда. Вечно была правда. На неправду он был неспособен; никогда не подтасовывал фактов; ни единого слова неприятного не мог опустить ради пользы или удовольствия любого из смертных, тем паче ради детей, которые, плоть от плоти его, с молодых ногтей обязаны были помнить, что жизнь — вещь нешуточная; факты неумолимы; и путь к той обетованной стране, где гаснут лучезарнейшие мечты и утлые челны гибнут во мгле (мистер Рэмзи *распрямился* и маленькими сощуренными голубыми глазами *обшаривал горизонт*), путь этот прежде всего требует мужества, правдолюбия, выдержки».^{xviii56} С этой точки зрения, немотивированная жесткость мистера Рэмзи — это уже не эгоистические намерения и не удовольствие разочаровывать, а свободное утверждение выбора, выбора справедливости, а также правильно понятой отцовской любви, которая, не доверяясь всепрощению женской снисходительности и материнской слепоте, должна стать

^{xviii} Во французском варианте предложение в скобках имеет несколько иную структуру, чем в русском: «Mr Ramsay *se redressait et fixait l'horizon*», т. е. «мистер Рэмзи *распрямился и уставился вдаль*». Бурдьё подчеркивает выражения *распрямиться* (*se dressait*) и *уставиться* (*fixait*), акцентируя таким образом, что в описании персонажа используются понятия основной схемы деления на мужское и женское. — Прим. перев.

выражением необходимости мира, применительно к тому, что в нем есть самого безжалостного. Именно это означает метафора ножа или лезвия, которую наивно фрейдистская интерпретация упростила и которая, как у кабилов, наделяет мужскую роль свойствами разрыва, жестокости, убийства, т. е. со стороны культурного мира, сконструированного в противовес первоначальному слиянию с материнской природой и против подчинения логике попустительства и распушенности, подчинения стремлениям и импульсам женской природы. Мы начинаем понимать, что палач одновременно выступает жертвой, и отцовские слова как раз потому обладают силой, что способны (даже в самой попытке предотвратить и изгнать судьбу, пронося ее имя) сделать возможное действительным.

И это чувство только усиливается, когда мы узнаем, что непреклонный отец, только что одной неумолимой фразой похоронивший мечты своего сына, оказывается замечен играющим, как ребенок, и таким образом выдает фантазмы *libido academica*, метафорически выражающиеся в военных играх.⁵⁷ Прочитируем целиком отрывок о мечтах мистера Рэмзи, в которых воспоминания о военных приключениях, об атаке в долине смерти, о проигранной битве и героизме полководца («Но нет, он не намерен умирать лежа; он найдет выступ в скале и там, *вглядываясь в бурю, не сдаваясь, прорываясь сквозь тьму, он встретит смерть стоя*») смешиваются с беспокойным воспоминанием о посмертной судьбе философа («Единственный в поколении [достигает последней буквы алфавита]», «Никогда ему не добраться до Р.»): «Да сколько же человек из тысячи миллионов достигали последней буквы? Разумеется, предводитель обреченной надежды может задать себе этот вопрос и ответить, не подводя соратников-землепроходцев: «Наверно, единственный» *Единственный в поколении*. Так можно ль его упрекать, что он — не этот единственный? Если он честно трудился, отдавая все силы, покамест стало уже нечего отдавать? Ну, а *славы его* — надолго ли станет? Даже умирающему герою позволительно перед смертью подумать о том, что о нем скажет потомство. Слава может держаться две тыся-

чи лет <...> И кто упрекнет предводителя обреченной кучки, которая все же вскарабкалась достаточно высоко и видит пустыни лет, угасание звезд, кто его упрекнет, если, покуда смерть не сковала совсем его члены, он не без умысла поднимает онемелые пальцы ко лбу, *расправляет плечи*, чтобы, когда подоспеют спасатели, его нашли мертвого на посту *безупречным солдатом*? Мистер Рэмзи широко развернул плечи и очень прямо стоял возле урны. Кто упрекнет его, если, стоя вот так подле урны, он размышлял на миг о спасателях, *славе*, мавзолее, который возведут над его костями *благодарные продолжатели*? Кто, наконец, упрекнет вождя безнадежной экспедиции, если...».⁵⁸

Техника наплыва, любимая Вирджинией Вулф, здесь просто превосходна: военные приключения и освящающая их слава выступают метафорой интеллектуальных приключений и символического капитала известности, к которому стремится интеллектуальная работа. Это игровое *illusio* позволяет воспроизвести на более высоком уровне условности, т. е. с меньшими усилиями, *illusio* повседневного существования с его жизненными ставками и эмоциональными инвестициями — все то, что подстегивает дискуссии мистера Рэмзи и его учеников. Это же *illusio* позволяет частичный и контролируемый выход из игры, который необходим, чтобы принять и преодолеть разочарование («Он не гений; он на это не посягает»⁵⁹), полностью сохраняя фундаментальное *illusio*, т. е. инвестиции в саму игру; убеждение, что игра стоит того, чтобы в нее играли несмотря ни на что, до конца и по правилам (поскольку, в конце концов, даже рядовой может всегда «встретить смерть стоя»). Эта исключительно внутренняя захваченность, выражающаяся преимущественно в положениях тела, реализуется в позах, манерах и жестах, содержащих такие характеристики, как прямолинейность, правота, напряжение тела или в их символических субститутах: пирамида, статуя.

Illusio, конституирующее мужественность, лежит в основании всех форм *libido dominandi*, т. е. всех специфических форм *illusio*, формирующихся в разных полях. Имен-

но это первоначальное *illusio* приводит к тому, что мужчины (в отличие от женщин) так социально устроены, что, как дети, постоянно увлекаются социально предписанными играми, высшей формой которых является война. Оказавшись захваченным врасплох в своих настороженных мечтаниях, раскрывающих детскую тщетность его самых глубоких привязанностей, мистер Рэмзи вдруг открывает для себя, что игры, которым он, как и другие мужчины, всецело отдается, всего лишь детские игры. Мы не видим их в истинном свете лишь потому, что именно коллективный *сговор* приписывает им необходимость и реальность, очевидность которой разделяется всеми. Поскольку среди игр, конституирующих социальный мир, игры, признаваемые серьезными, закреплены за мужчинами, в то время как женщинам уготованы дети и «детские» проблемы⁶⁰, мы забываем, что мужчина — это тоже ребенок, играющий в мужчину. В основе этой специфической привилегии лежит родовое отчуждение: мужчина обладает монополией на господство, потому что он приучен узнавать социальные игры и ставки, где разыгрывается господство. Именно потому, что он очень рано определен как господствующий, особенно ритуалами назначения, и на этом основании наделен *libido dominandi*, он обладает двойной привилегией посвящать себя играм в господство, которые именно для него и предназначены.

Прозорливость исключенных

Женщины обладают привилегией (совершенно негативной) не поддаваться соблазну играть там, где борются за привилегии, и быть свободными от увлеченности игрой, по крайней мере лично. Они могут даже воспринимать это как тщетное занятие и до тех пор, пока не окажутся вовлеченными в нее «по доверенности», взирая с ироничной снисходительностью на отчаянные усилия «мужчины-ребенка» быть мужчиной и на разочарование, в которое его повергают неудачи. По отношению к самым серьезным играм они могут занять позицию зрителя, наблюдающего бурю с берега, за что их могут считать легкомысленны-

ми и неспособными интересоваться серьезными вещами, например политикой. Поскольку эта дистанция является результатом их доминируемого положения, то чаще всего они обречены участвовать в этих играх *«по доверенности»*, в виде эмоциональной солидарности с игроком, что не означает настоящего интеллектуального и эмоционального участия в игре. Поэтому часто они являются преданными, но плохо информированными о реальности игры и ее ставках сторонниками.⁶¹

Именно в силу этого миссис Рэмзи моментально понимает всю неловкость ситуации, в которой оказался ее муж, декламируя в полный голос «Атаку бригады легкой кавалерии». Она боится, что та смешная ситуация, в которой его застигли, вызовет у него страдание. Но еще больше ее страшит страдание, лежащее в основе его странного поведения, действительные причины которого она сразу понимает. Все его поведение говорит об этом, когда обиженный и, таким образом, сведенный к своей истинной позиции большого ребенка, жестокий отец, который только что ради собственного (компенсаторного) удовольствия «огорчил сына и выставил в глупом свете жену», приходит просить сочувствия к миссис Рэмзи: «Она гладила Джеймса по голове; перенеся на него свое отношение к мужу».⁶² Благодаря одному из переносов, допускаемых практической логикой, миссис Рэмзи, в виде любящего защитного жеста, к которому ее предназначает и готовит вся ее социальная природа⁶³, отождествляет будущего мужчину, только что открывшего для себя невыносимую негативность реального, и уже ставшего мужчину, согласного поведать первому всю истину с виду преувеличенного замешательства, в которое его повергает его «разгром».⁶⁴ Даже заботясь о том, чтобы скрыть свою прозорливость, чтобы защитить честь своего мужа, миссис Рэмзи превосходно знает, что безжалостно вынесенный вердикт происходит от жалкого существа, которое, также являясь жертвой неумолимых решений, само заслуживает жалости.⁶⁵ Но, возможно, она не устоит перед стратегией несчастного мужчины, которому гарантировано, что, становясь ребенком, он разбудит диспозиции мате-

ринского сочувствия, предписанные женщинам согласно социальным правилам игры.

Здесь нужно было бы процитировать весь необыкновенный диалог намеков, в котором миссис Рэмзи все время щадит своего мужа, с самого начала создавая видимость, что только заботится о бытовых вещах, вместо того, чтобы указать, например, на то, что гнев мистера Рэмзи не соответствует декларируемой причине этого гнева.^{xix} Каждая с виду невинная фраза двух говорящих затрагивает более важные и глубокие смыслы, и каждый из двух соперников-партнеров это знает, поскольку глубоко и почти абсолютно знает своего собеседника, что позволяет при минимальном наличии недобрых намерений затеять с ним из-за *ничего* самые жестокие конфликты обо *всем*. Эта логика *ничего* и *всего* оставляет собеседникам свободу в любой момент выбирать либо самое полное непонимание, сводящее речь соперника к абсурду, путем редукции ее смысла к непосредственному предмету (в данном случае, предполагаемой погоде), либо такое же абсолютное понимание, выступающее неявным условием споров с помощью намеков, а также примирения. «Нет ни малейшей вероятности, что завтра они выберутся на маяк», — раздраженно отрезал мистер Рэмзи. «Откуда ему это известно? — спросила она. — Ветер ведь меняется часто» Совершеннейшая неразумность ее замечания, удивительная женская нелогичность взбесили его. Он скакал долиной смерти, он дрогнул, он сдался; а тут еще она не считается с фактами, подает детям абсолютно несбы-

^{xix} Ср.: «Он молча стоял перед нею. Очень смиренно он сказал наконец, что готов пойти, расспросить береговую охрану, если угодно. Никого она так не чтילה, как чтילה его. Ей и его слова вполне довольно, — сказала она. Просто тогда надо сказать им, чтоб бутербродов не делали, вот и все! Они ведь все спрашивают, поминутно к ней прибегают, естественно, — за одним, за другим, на то она женщина; каждому что-нибудь нужно» (Там же, С. 155. — *Прим. перев.*).

точные надежды, попросту, собственно, лжет. Он топнул ногой по каменной ступеньке. "Фу-ты, черт!" — сказал он ей. *Но что она такого сказала? Только* — что завтра, может быть, будет хорошая погода. Так ведь и правда, может быть, будет. Нет, если барометр падает и резко западный ветер». ⁶⁶

Откуда у миссис Рэмзи ее необычайная проницательность, та, например, что позволяет ей «обводя всех сидящих вокруг стола» высвечивать «без труда их мысли и чувства»⁶⁷, когда она слушает одну из мужских дискуссий о таких бесполезно серьезных предметах, как квадратный или кубический корень, Вольтер или мадам де Сталь, характер Наполеона или французская система земельной аренды? Являясь чужой в этих мужских играх, в этом неудержимом восхвалении себя и социальных устремлений, навязываемых ими, она видит, что такие, казалось бы, безупречно чистые и наиболее страстные позиции, как «за» или «против» Вальтера Скотта, часто основаны всего лишь на желании «постоять за себя» (вновь одно из основных движений тела, близкое к понятию «противостоять» у кабилов), по примеру Тэнсли, еще одному воплощению мужского самолюбия: «И так будет вечно, пока он не сделается профессором, не подыщет жену, когда уж не нужно будет твердить без конца "Я, я, я" Вот к чему его недовольство бедным сэром Вальтером (или это Джейн Остин?) и сводится. "Я, я, я" Он думает о себе, о том, какое впечатление он производит, она все понимала по его голосу, по взвинченности, запальчивости. Ему пойдет на пользу успех».⁶⁸

Указание на чудовищное отчуждение, встроенное в это доминирование, можно найти и в другой работе Вирджинии Вульф: «Если вы добьетесь успеха в вашей профессии, слова "За Бога и Империю" будут, возможно, выгравированы, как адрес на ошейнике собаки. И если слова имеют тот смысл, который они должны были бы иметь, вам нужно будет принять этот смысл и сделать все, что в ваших силах, чтобы навязать его».⁶⁹ Она рас-

смаатривает как ловушку упорядоченные игры, где возникает мужское *illusio*, которое заставляет мужчин делать то, что они делают, и быть тем, кем они являются. Она явным образом связывает сегрегацию женщин и «мистические демаркационные линии», ответственные за это, с данными ритуалами назначения, из которых женщины по определению исключены, поскольку они именно для этого и созданы: «Мы неизбежно воспринимаем общество как место заговора, отнимающее брата, которого многие из нас имеют все основания уважать в частной жизни, и навязывающее вместо него ужасного самца с громогласным голосом и тяжелыми кулаками, и по-детски рисующее мелом на полу знаки, эти мистические демаркационные линии, между которыми зажаты суровые, одинокие и искусственные человеческие существа. В этих местах, украшенный золотом и пурпуром, обрамленный перьями как дикарь, он выполняет свои мистические ритуалы и наслаждается сомнительным удовольствием власти и господства, в то время как мы, "его" женщины, мы остаемся в семейном доме, поскольку нам не разрешено участвовать ни в одном из этих многочисленных сообществ, из которых состоит общество». ⁷⁰

В действительности женщины редко настолько свободны от любой зависимости, разве что от социальных игр, по крайней мере с точки зрения мужчин, которые в них играют, чтобы доводить разочарование до этого своего рода немного концентрированного сострадания мужскому *illusio*. Напротив, все воспитание готовит их к тому, чтобы участвовать в этой игре *по доверенности*, т. е. с позиции одновременно внешней и подчиненной и, как миссис Рэмзи, наделять мужские заботы своего рода трогательным вниманием и доверчивым пониманием, служащих одновременно источником глубокого чувства безопасности. Исключенные из игр власти, они подготовлены участвовать в них через посредничество вовлеченных в них мужчин, идет ли речь о муже, как в случае миссис Рэмзи, или о сыновьях. ⁷¹

Основанием этих любящих диспозиций является статус, приписываемый женщине в разделении труда по доминированию, представляемый И. Кантом на ложно описательном языке, который на самом деле является теоретической моралью, переодетой в науку о нравах: «Женщины, так как их полу не пристало идти на войну, не могут лично отстаивать в суде свои права и самостоятельно вести гражданские дела, а могут это только через своего *представителя*. И эта основанная на законах недееспособность в общественных делах делает женщину более влиятельной в делах домашнего обихода, так как здесь вступает право более слабого, уважать и защищать которое мужчина считает себя призванным самой своей природой».⁷² Отречение и послушность, приписываемые Кантом женской природе, тщательно встроены в самые глубокие диспозиции, конституирующие габитус, эту вторую природу, которая никогда не выглядит столь естественной и инстинктивной, как в случае, когда социально определенное *libido* реализуется в специфической форме желания, в обычном значении слова *libido*. Дифференциальная социализация, настраивающая мужчин любить игры власти, а женщин — любить мужчин, которые в них играют, — мужская харизма есть отчасти очарование властью, оболечение, которое сам факт обладания властью осуществляет в отношении тел, чья сексуальность социализирована политически.⁷³ В силу того, что социализация вписывает политические диспозиции в диспозиции тела, то сам сексуальный опыт политически ориентирован. Мы не можем не замечать, что существует обаяние власти, стремление или любовь к сильным, искренний и наивный результат, оказываемый властью, когда она воспринимается телом, социально подготовленным ее распознавать, желать и любить, т. е. как харизма, шарм, изящество, блеск или как красота. Мужское господство находит одну из своих лучших опор в незнании, которому способствует применение к доминирующим категориям мышления, возникших в самом отношении доминирования (большой/маленький, сильный/слабый и т. п.). Это незнание производит ту предельную форму *amor fati*, какой является лю-

бовь к доминирующему и к его доминированию, это *libido dominantis*, подразумевающее отказ использовать *libido dominandi* от первого лица.

Кант прав, когда говорит, что «делать себя недееспособным, как бы это ни было унижительно, все же очень удобно».⁷⁴ Доминирующий всегда хорошо видит интересы доминируемых, хотя это не означает, что любое заявление об этих интересах будет им дискредитировано или отклонено. Как постоянно указывает Вирджиния Вулф, будучи исключенными из участия в играх власти, являющихся одновременно привилегией и ловушкой, мы получаем спокойствие, возникающее благодаря безразличному отношению к игре, и безопасность, гарантированную делегированием полномочий тому, кто в этой игре участвует. Впрочем, безопасность эта довольно иллюзорна и всегда может обернуться самой ужасной бедой, поскольку мы никогда полностью не забываем о действительной слабости большого защитника, и, будучи страстным наблюдателем смертельного трюка, мы эмоционально, посредством дорогого нам человека, вовлечены в действие, не имея действительного влияния на игру.⁷⁵ Миссис Рэмзи слишком хорошо знает, что дает делегирование полномочий божественному Отцу и к чему приведет его символическое убийство. Она хочет защитить своего сына от жестокого отцовского решения, не разрушив при этом образ всеведущего отца.

Именно через посредничество того, кто обладает монополией на легитимное символическое насилие (а не только на сексуальную силу) внутри элементарной социальной группы, осуществляется психосоматическое действие, приводящее к соматизации политики. Как напоминает «Превращение» Ф. Кафки, отцовские слова оказывают магическое действие номинации потому, что обращаются непосредственно к телу, которое, как указывает З. Фрейд, воспринимает метафоры буквально («ты — жалкий паразит»). Если производимое этими словами дифференцированное распределение социального либидо оказывается столь поразительно подогнано к тем позициям, которые достанутся различным агентам (в соответствии с

полом, последовательностью рождения и множеством других переменных) в разнообразных социальных играх, то это происходит во многом в силу того, что отцовские решения, подчиненные, казалось бы, исключительно произволу удовольствия, исходят от того, кто сформирован посредством жизненной необходимости и для ее контроля и потому рассматривает принцип реальности как принцип удовольствия.

Женщина-объект

Мужской габитус конструируется и реализуется только через отношение с закрепленными пространствами, где между мужчинами играют серьезные игры компетенции. Это могут быть игры чести, предельным случаем которых является война, или, как в дифференцированных обществах, игры, предлагающие всевозможные пространства для различных форм *libido dominandi*: экономического, политического, религиозного, художественного, научного. Поскольку женщины юридически и фактически исключены из этих игр, им отводится роль зрительниц, или, как говорит Вирджиния Вулф, *лестивого зеркала*, предлагающего мужчине увеличенный образ его самого, на который он должен и хочет равняться, и усиливающего его нарциссические инвестиции в идеализированный образ самого себя.⁷⁶ Женское подчинение обращается (или кажется, что обращается) к некоторой личности в ее неповторимости, вплоть до каких-то странностей или несовершенств, или даже к телу, т. е. к природе в ее искусственности, которую оно выдергивает из произвола, устанавливая ее как *дар*, харизму, свободу. В силу этого подчинение женщины дарует незаменимое специфическое признание, оправдывая существование того, кто является его объектом, и его право существовать так, как он существует. Процесс воспитания мужественности, которому способствует весь социальный порядок, может полностью осуществиться только при соучастии женщин, т. е. в и через ее жертвенное подчинение, подтверждаемое принесением в дар тела (говорят же: «отдаваться»), что является, бес-

спорно, высшей формой признания мужского господства в его самых специфических аспектах.

Тем не менее, фундаментальным законом всех серьезных игр, особенно всех обменов чести, является принцип изотимии (*isotimia*), т. е. равенства чести двух соперников. Поскольку вызов делает честь, постольку он имеет смысл лишь в том случае, если адресован человеку чести, способному дать отпор, что в свою очередь делает честь, поскольку сам отпор несет в себе определенную форму признания. Другими словами, лишь признание со стороны мужчины (в отличие от женщины), и именно со стороны мужчины чести, т. е. того, кто может быть воспринят как соперник в борьбе за честь, действительно может сделать честь. Признание, к которому стремятся мужчины в играх, где накапливается и инвестируется символический капитал, имеет тем больше символической ценности, чем большим объемом символического капитала обладает тот, кто это признание дарует.

Таким образом, женщины буквально поставлены вне игры.⁷⁷ Волшебная граница, что отделяет их от мужчин, совпадает с «мистической демаркационной линией», о которой говорит Вирджиния Вулф. Эта линия разделяет культуру и природу, публичное и частное, предоставляя мужчинам монополию на культуру, т. е. на универсальное и человеческое. Поскольку женщины помещены на полюсе частного, т. е. исключены из публичных и официальных форм действия, они не могут участвовать как субъекты, т. е. от первого лица, в играх, где утверждается и осуществляется мужественность. Мужественность реализуется в виде актов взаимного признания, подразумевающего изотимичные обмены, т. е. обмены вызовами и ответами, дарами и ответными дарами, и в первую очередь — обмен женщинами.

Основанием этого первоначального исключения (которое ратифицируется и усиливается мифоритуальной системой вплоть до того, чтобы сделать из него принцип деления всего универсума) является фундаментальная асимметрия, устанавливаемая между мужчиной и женщиной в области символического обмена, т. е. отношение

субъекта и объекта, агента и инструмента. Поле отношений производства и воспроизводства символического капитала, парадигматическим примером которого является матримониальный рынок, опирается на своего рода первоначальный переворот, приводящий к тому, что женщины не могут на нем появиться иначе как в виде объекта или символа. Смысл этого символа формируется вне данного поля, а его функция заключается в том, чтобы способствовать продолжению или увеличению символического капитала, которым обладают мужчины.

Решение вопроса об основаниях деления между полами и мужского доминирования состоит в следующем. В логике экономики символических обменов, точнее, в социальном конструировании отношений родства и брака, которое *универсально* приписывает женщинам социальный статус объектов обмена, определенных согласно интересам мужчин (т. е. преимущественно как сестры и дочери), и, таким образом, предназначенных для воспроизводства символического капитала мужчин, кроется объяснение признаваемого во всех культурных таксономиях примата мужественности. Запрет на инцест (в котором К. Леви-Строс видит начало общества) как императив обмена, понимаемого в логике равной коммуникации между людьми, в действительности есть обратная сторона первоначального акта символического насилия. Посредством этого акта женщины не воспринимаются как субъекты брака и обмена, осуществляемого при их посредничестве, но сведены к состоянию объекта: женщины рассматриваются как *символические инструменты*, которые, циркулируя и заставляя циркулировать социально значимые знаки, основанные на общественном доверии, производят и воспроизводят символический капитал, а также, объединяя и поддерживая отношения между агентами, производят и воспроизводят социальный капитал.

Поразительно, что важные ритуалы назначения, посредством которых группы приписывают *определенную идентичность*, часто содержащуюся в имени, почти всегда несут в себе закрепление магического различия между полами (в рамках

этой же логики стоит понимать изменение имени, почти всегда навязываемое женщине при вступлении в брак). Это выполняется, идет ли речь о коллективных и публичных церемониях, направленных на присвоение имени собственному (например, крещение), т. е. титула, дающего право на символический капитал группы и составляющего уважать некоторый набор обязательств, связанных с увеличением и сохранением этого капитала, или, шире, о любых официальных актах номинации, осуществляемых легитимными держателями бюрократической власти.

Навязанное женщинам исключение будет самым грубым и строгим, если единственной формой настоящего накопления является накопление символического капитала. Примером этого может служить Кабилия, где существование социальной чести, т. е. ценности, общественно признаваемой за той или иной группой в виде коллективного суждения, выносимого в соответствии с фундаментальными категориями общего видения мира, зависит от способности группы заключать браки, обеспечивающие социальный и символический капитал. С этой точки зрения, женщины не только знаки, но и ценности, которые нужно оберегать от оскорблений и подозрений и которые в процессе обмена могут создавать связи, т. е. социальный капитал, и престижных союзников, т. е. символический капитал. Ценность этих браков, т. е. символическая прибыль, которую они могут дать, в значительной мере зависит от символической ценности женщин, имеющих для обмена. Они несут в себе потенциальные символические барыши, поэтому дело чести братьев или отцов, доходящее до бдительности, столь же ревнивой, и даже параноидальной, что и у мужей, является формой хорошо понятного интереса.

Поскольку основанием и социальными условиями воспроизводства мужского господства является относительно автономная логика обменов, посредством которых обеспечивается воспроизводство символического капитала, постольку оно может сохраняться, несмотря на изменение способов экономического производства. На-

пример, промышленная революция относительно слабо повлияла на традиционную структуру разделения труда между полами.⁷⁸ Тот факт, что даже сегодня семьи крупной буржуазии для сохранения своей позиции в социальном пространстве сильно нуждаются — помимо экономического — еще и в символическом и социальном капитале, объясняет, почему они продолжают поддерживать (больше, чем можно было ожидать) фундаментальные основания мужского видения мира.⁷⁹

Главенствующая роль экономики *символических благ*, которая посредством фундаментального принципа видения и деления (*di-vision*) организует все восприятие социального мира, навязывается всему социальному пространству, т. е. не только экономике материального производства, но и экономике *биологического воспроизводства*. Именно так можно объяснить, почему в Кабилии, как и во множестве других традиций, собственно женская функция по вынашиванию и рождению как будто аннулируется в пользу собственно мужской функции оплодотворения. В цикле производства потомства, так же, как и в аграрном, мифоритуальная логика отдает предпочтение мужской роли, всегда отмечаемой, или в связи со свадьбой, или с началом пахотных работ, в виде публичных, официальных и коллективных ритуалов, в ущерб периодам вынашивания, идет ли речь о земле в зимний период, или о женщине, в отношении которых происходят необязательные и почти тайные ритуалы. С одной стороны, это [мужское] вмешательство, прерывистое и необыкновенно важное для всего течения жизни, рискованное и опасное действие открытия, совершаемое торжественно, иногда, как в случае первой бороны, публично и в присутствии группы, с другой — своего рода естественный и пассивный процесс постепенного наполнения. В таком процессе женщина или земля являются местом, основанием, носителем или вместилищем (например, метафора печи или горшка), который требует только технических или ритуальных сопровождающих практик (логически приписываемых женщинам), «скромных и легких» действий, предназначенных сопровождать работу природы (таков, на-

пример, сбор трав для животных или прополка). В силу этого женские процессы дважды осуждены оставаться незамеченными, в первую очередь, самими мужчинами: привычные, постоянные, повседневные, повторяющиеся и монотонные действия в большинстве своем осуществляются незаметно, в безвестности дома и в мертвый период аграрного цикла.⁸⁰

Хотя практики, связанные с биологическим и социальным воспроизводством рода, казалось бы, признаны и иногда даже сопровождаются праздничными ритуалами, они все еще очень сильно недооцениваются нашими обществами. Если данные практики могут быть возложены исключительно на женщин, то лишь потому, что они как будто аннулированы и остаются подчиненными производству, которое только и достойно настоящего социального одобрения и признания. Известно, что вхождение женщин в профессиональную жизнь предоставило неопровержимые доказательства того, что домашний труд социально не признан как настоящая работа: незамечаемый или отрицаемый, в силу самой своей очевидности, домашний труд продолжал сверх того навязываться женщинам. Джоан Скотт прекрасно анализирует работу по символической трансформации, которую проделали «идеологи», даже самые явные сторонники женщин (например, Жюль Симон), чтобы интегрировать в систему представлений такую немыслимую реальность, как «работница», и чтобы не признать за этой женщиной, участвующей в публичных делах (*femme publique*), ту социальную ценность, которую ей должно было бы дать участие в экономической жизни. Благодаря удивительному сдвигу Симон переводит ее собственную ценность и ее ценности в область духовности, морали и чувств, т. е. выводит из сферы экономики и власти, что позволяет лишить ее работу как в общественном производстве, так и в невидимом домашнем хозяйстве, переставшем быть реальностью благодаря экзальтации, единственного настоящего признания, которым отныне является экономическое вознаграждение.⁸¹ Нет нужды далеко ходить, чтобы увидеть эту работу по отрицанию социального существования. На-

пример, отказ женщинам в профессиональных амбициях. Достаточно их высказать женщине, и то, что естественным образом призналось за мужчинами — особенно во времена, когда восхвалялись ценности мужского самоуверждения, — моментально получало статус нереального посредством иронии или мягко снисходительной любезности. Даже в тех областях социального пространства, где мужские ценности доминируют меньше всего, женщины, занимающие властные позиции, тайно подозреваются в том, что это произошло благодаря интригам или сексуальной любезности (источник мужского покровительства): настолько неподобающими по статусу представляются властные позиции, что неизбежно воспринимаются как полученные нечестным путем.

Отрицание и опровержение вклада, вносимого женщинами не только в экономическое производство, но и в биологическое воспроизводство, сопровождается восхвалением тех функций, которые им вменяются в производстве и воспроизводстве символического капитала скорее как объекту, нежели субъекту. Так же как в примитивных обществах женщины рассматривались в качестве средства обмена, позволявшего мужчинам накапливать социальный и символический капитал с помощью брака (этой настоящей инвестиции, более или менее рискованной и продуктивной, позволявшей устанавливать более или менее обширные и престижные альянсы), так и сегодня они включаются в экономику символических благ прежде всего как символические объекты, предрасположенные и работающие на циркуляцию символов. Будучи символами, в которых утверждается и демонстрирует себя символический капитал домохозяйства (семья, род и т. д.), женщины должны представлять символический капитал группы с помощью всего того, что улучшает их внешность (косметики, одежды, манер и т. п.). В силу этого, и еще сильнее, чем в архаичных обществах, женщины ассоциируются с такими понятиями, как «казаться», «нравиться», «привлекать взгляды». Им внушается необходимость быть соблазнительными благодаря работе по самоукрашению, которая, особенно в среде мелкой буржуазии,

составляет важную часть их дополнительной домашней работы.

Будучи социально предрасположены рассматривать себя как эстетический объект, предназначенный вызывать восхищение и желание и, как следствие — обращать постоянное внимание на все то, что касается красоты, элегантности, эстетики тела, одежды, манер, в домашнем разделении труда женщины совершенно естественно берут на себя заботу о том, что относится к эстетике и, шире, к управлению общественным имиджем и социальным восприятием членов семейной единицы, естественно, детей, но также и мужей, которые очень часто делегируют им выбор одежды. Они принимают обязанности по украшению повседневной жизни и дома от имени щедрости и бескорыстия, которым всегда находится место, даже среди самых обездоленных. Как некогда на крестьянском огороде всегда отводился уголок под декоративные цветы, так и сегодня самые бедные квартиры рабочих кварталов имеют свои цветочные горшки, свои безделушки и свои лубочные картинки. Именно они, в конечном итоге, обеспечивают управление ритуалами и семейными торжествами, организуют приемы, праздники, церемонии (от первого причастия до свадьбы, включая празднование дней рождения и приглашение друзей), которые предназначены поддерживать социальные отношения и распространять влияние семьи.

Уполномоченные управлять символическим капиталом семьи, женщины совершенно логично призваны транслировать эту роль в лоно предприятия. Оно почти всегда доверяет женщинам работу по демонстрации и представлению, встречи и приемы, а также управление важными бюрократическими ритуалами, которые, как и семейные ритуалы, способствуют поддержанию и увеличению социального и символического капитала. Эти действия по символическому представлению, служащие для предприятия тем же, чем являются стратегии представления себя для индивидов, ради соблюдения всех приличий требуют предельного внимания к физической внешности и диспозициям соблазнения, соответствующим роли, которая

чаще всего приписывается женщинам. Только в виде простого расширения их традиционной роли можно доверить женщинам функции (чаще всего подчиненные, хотя культура является почти единственной областью, где они могут занимать руководящие посты) в производстве или потреблении символических благ и услуг или, шире, *знаков различия*, начиная с косметических продуктов или услуг (парикмахерша, косметичка, маникюрша и т. п.), до собственно культурных благ.

Превращая экономический капитал в символический благодаря таким действиям, как украшение жилища, покупка товаров культуры (картины, мебель и т. д.), управление ритуалами и церемониями, демонстрирующими социальный статус семьи, из которых самым типичным является *литературный салон*⁸², женщины играют определяющую роль в диалектике производства и присвоения различий, выступающей двигателем всей культурной жизни. Именно с помощью женщин, или точнее, посредством чувства различия, заставляющего одних занимать дистанцию по отношению к продуктам культуры, потерявшим ценность из-за слишком широкого распространения, и посредством притязаний, заставляющих других постоянно присваивать себе самые заметные для данного периода знаки различия, постоянно поддерживается вся эта «адская машина», где нет действия, которое бы не было реакцией на другое действие, и нет агента, который был бы настоящим субъектом действия, ориентированного явным образом на утверждение его уникальности. Женщины из мелкой буржуазии, о которых известно, что они доводят до предела свою заботу о теле и внешнем виде⁸³ и, более широко, заботу об этической и эстетической респектабельности, являются избранными жертвами символического господства, но одновременно агентами, уполномоченными транслировать его влияние на подчиненные классы. Попавшись на удочку желания походить на доминирующих (именно им свойственна языковая гиперкорректность), они особенно склонны приобретать любой ценой (чаще всего в кредит) отличительные признаки доминирующих (поскольку они выделяют) и навязывать их другим с горячностью новообращенного. Тем

самым женщины из мелкой буржуазии всегда усиливают существующую в данный момент символическую власть, которую им дает их позиция в производстве или обращении культурных благ.⁸⁴ Необходимо воспроизвести в деталях исследование эффектов символического господства, осуществляющихся посредством безжалостных механизмов экономики культурных благ, чтобы увидеть: женщины, которые могут достигнуть (более или менее заметной) эмансипации лишь при условии более или менее активного участия в работе этих механизмов, обречены на понимание, что они в состоянии добиться реального освобождения лишь посредством разрушения фундаментальных структур производства и обращения символических благ. Все обстоит так, как будто поле символических благ создает у них видимость освобождения лишь затем, чтобы вернее добиться от них поспешного подчинения и активного участия в системе эксплуатации и доминирования, где они являются первыми жертвами.⁸⁵

Страсть назначения (*libido d'institution*)

Забота об истине, особенно в областях, обреченных на мистифицирующее преобразование (как это происходит с отношениями полов), заставляет говорить вещи, которые часто убивают и которые имеют все шансы быть неправильно понятыми, особенно когда кажется, что они лишь признают и повторяют господствующий дискурс. Те, кто тесно связан с господствующими интересами, будут воспринимать такое *разоблачение* как *пристрастное и корыстное обвинение*. При этом оно может быть отвергнутым и теми, кто выступает с критикой положения, поскольку они будут его воспринимать как *ратификацию установленного порядка*. Это связано с тем, что наиболее распространенный способ описывать или *регистрировать* события часто вызван желанием (объективным или субъективным) оправдать, а консервативный дискурс часто подает свои нормативные указания в виде констатации положения дел.⁸⁶ Научное знание политической реальности с необходимостью имеет политические последствия, ко-

торые, правда, могут иметь разную направленность. Изучение форм господства, в данном случае мужского, может привести к усилению этого господства, особенно в той мере, в какой доминирующие могут его использовать, чтобы в некотором смысле «рационализировать» механизмы, способствующие его существованию. Но оно может и помешать ему, как разглашение государственной тайны, поскольку создает условия для осознания ситуации и мобилизации тех, кто является жертвами данного порядка. Чтобы создать реальные условия для становления «школы-освободительницы», как говорили раньше, а не для воспроизводства школы, консервирующей сложившееся положение вещей, в свое время понадобилось раскрыть, что на деле школа была консервативной. Подобно этому, сегодня надо пойти на риск кажущегося «оправдания» актуального положения женщин, чтобы показать, в чем и как женщины, такие, какие они есть (т. е. такие, какими их сделал социальный мир), могут способствовать воспроизводству своего собственного подчиненного положения.

Известны опасности, которым неизбежно подвергается любой научный проект, определяемый по отношению к предконструированному объекту, особенно когда речь идет о доминируемой группе, т. е. о «деле», которое, казалось бы, заменяет любое эпистемологическое оправдание и освобождает от собственно научной работы по конструированию объекта. Различные *women's studies*, *black studies*, *gay studies*^{xx}, занявшие сегодня место популистских исследований «народных классов», бесспорно, предрасположены к наивности «добрых чувств». Эта наивность с необходимостью не исключает хорошо понятого интереса выгоды, связанной с «добрыми делами», которые освобождают подобные исследования от оправдания их собственного существования. Тот, кто владеет данными прибылями, получает

^{xx} *Women's studies* (англ.) — женские исследования; *black studies* (англ.) — «черные исследования», т. е. исследования, посвященные жизни и культуре народов Африки; *gay studies* (англ.) — гомосексуальные исследования. — Прим. перев.

фактическую монополию (часто стремящуюся к юридической), хотя это приводит их к замыканию в своего рода научном гетто. Просто перевести социальную проблему, поставленную доминируемой группой, в проблему социологическую — это значит сразу лишиться того, что составляет саму реальность объекта, это значит поставить на место социального отношения доминирования понятия «субстанция», «сущность» или «мышление-в-себе-и-для-себя» (что уже произошло с *men's studies*). Это также означает обречь себя на изоляционизм, имеющий пагубные последствия, когда, например, некоторые образцы «активистской» продукции снабжают основательниц феминистских движений «открытиями», являющимися частью самых старых и давно признанных достижений социальных наук (как тот факт, что различия между полами есть натурализованные социальные различия). Речь не идет о том, чтобы во имя утопической *Wertfreiheit*^{xxi} исключить из науки индивидуальную и коллективную мотивацию, приводящую к политической и интеллектуальной мобилизации, и именно отсутствие которой хорошо объясняет относительную слабость *men's studies*. Тем не менее самое лучшее из политических движений обречено на плохую науку и, в конечном итоге, на плохую политику, если оно не сумеет конвертировать свои разрушительные импульсы в критическое вдохновение и в первую очередь — по отношению к самому себе.

Это действие по разоблачению имеет все шансы быть символически и политически эффективным, поскольку относится к таким формам господства, которые почти исключительно опираются на символическое насилие, т. е. на неузнавание, и именно в силу этого более, чем другие, чувствительны к обновлению, вызываемому освобожда-

^{xxi} *Wertfreiheit* (нем.) — свобода от оценки. См., например: Parsons T. Evaluation et objectivité dans le domaine de sciences. Une interpretation des travaux de Max Weber // *Revue internationale des sciences sociales*. 1965. Vol. 17. № 1. P. 49–69. — Прим. перев.

ющим социоанализом. Конечно, это справедливо лишь в определенных пределах, поскольку данные обстоятельства относятся к телу, а не к сознанию. Тело же, в свою очередь, не всегда понимает язык сознания или это происходит крайне медленно. Кроме того, трудно разорвать непрерывную цепь бессознательных навыков, передающихся от тела к телу через намеки и реализующихся в непрозрачных порой отношениях поколений.

Лишь коллективное действие, направленное на организацию символической борьбы, способной поставить под вопрос практически все предпосылки фаллонарциссического видения мира, может внести разлад в почти непосредственную согласованность инкорпорированных и объективированных структур. Именно эта символическая борьба является условием действительной коллективной конверсии ментальных структур, не только для представителей доминируемого пола, а также и для представителей пола доминирующего, которые могут способствовать освобождению, только освободясь от западни привилегий.

Блеск и нищета мужчины, в смысле *vir*, состоит в том, что его *libido* формируется обществом как *libido dominandi*, как желание господствовать над другими мужчинами, и уже во вторую очередь — над женщинами, которые понимаются как инструменты символической борьбы. Символическая борьба управляет миром. Все социальные игры, от борьбы за честь кабильских крестьян до научного, философского или художественного соперничества мистеров рэмзи всех стран и времен, включая и войну, представляющую собой предельный случай всех возможных игр, устроены так, что мужчина не может в нее войти, не поддавшись желанию играть, т. е. желанию победить или, по крайней мере, быть на высоте идеи и идеала игрока, требуемых игрой. Это *libido* назначения, принимающее форму сверх-Я, может одновременно вести как к предельной жестокости мужского самолюбования, так и к предельным формам самопожертвования и бескорыстия. *Pro patria mori*^{xxii} всегда была лишь пределом всех возможных способов, более или менее благородных или признанных,

^{xxii} Смерть за Родину (лат.). — Прим. перев.

умереть или жить ради дела или цели, универсально признанных благородными, т. е. универсальными.

Часто не замечают, что в силу того, что женщины, полностью исключенные из больших мужских игр и социального либидо, которое там формируется, часто склонны к представлению, близкому к безучастности, проповедуемой всеми мудрецами. Но данная безучастная точка зрения, позволяющая им, по крайней мере, в виде редких вспышек озарения, понимать иллюзорный характер *illusio* и его ставок, имеет мало шансов противостоять согласию, которое навязывается им, особенно когда они отождествляют себя с делом мужчин. И война против войны, предложенная Лисистратой Аристофана, в которой женщины производят разрыв между обычно объединяемыми *libido dominandi* (или *dominantis*) и просто *libido*, является столь откровенно утопичной программой, что достойна служить только поводом для комедии.

Мы не стали бы недооценивать значение символической революции, направленной на разрушение в реальности и в представлениях фундаментальных принципов мужского видения мира, поскольку мужское господство безусловно является парадигмой (а часто — моделью и ставкой) любого господства. Ультрамаскулинность почти всегда соседствует с политическим авторитаризмом, в то время как социальное злопамятство, совершенно очевидно пронизанное политическим насилием, питается одновременно сексуальными и социальными фантазмами (как это доказывают сексуальные коннотации расистской ненависти или частые обвинения в «порнокрапии» со стороны сторонников авторитарных революций). Не стоит ожидать от простого социоанализа (пусть даже коллективного) и от общего осознания положения вещей какого-либо длительного изменения ментальных диспозиций и реальной трансформации социальных структур, до тех пор пока женщины продолжают занимать в производстве и воспроизводстве символического капитала приниженную позицию, являющуюся действительным основанием низкого статуса, приписываемого им символической системой, а посредством этого — всей социальной организацией. Предварительным условием освобождения женщин

является настоящий коллективный контроль за социальными механизмами господства, заставляющими воспринимать культуру, т. е. аскезу и сублимацию, в которой и посредством которой формируется человечество, исключительно как социальное различие, устанавливаемое в противоположность тому, что понимается как природа, которая в действительности есть не что иное, как натурализованная судьба доминируемых групп (женщин, бедных, колонизированных, наций-изгоев и т. п.). Очевидно, что, не будучи всегда и полностью связанными с природой, служащей фоном для всех культурных игр, женщины входят в диалектику производства и присвоения различий скорее как объекты, нежели субъекты действия.

Примечания

¹ Lacan J. Ecrits. Paris: Seuil, 1966. P. 692.

² В действительности, в этой игре слов, совершенно типичной для логики научного мифа, *конденсируется* (в соответствии с логикой сна) связь между фаллосом и логосом. Известное описание оппозиции между Севером и Югом, где можно видеть первое выражение географического детерминизма, мне кажется парадигмальным примером научного мифа, стремящегося произвести «эффект научности», который я назвал «эффектом Монтескье». См.: Bourdieu P. Le Nord et la Midi: contribution à une analyse de l'effet Montesquieu // Actes de la recherche en sciences sociales. 1980. № 35. P. 21–25. Так же как социальные фантазмы философов находят свое выражение, оставаясь при этом неузнанными благодаря игре слов и особенно двойному смыслу, имеющему подтекст (См.: Бурдьё П. Политическая онтология Мартина Хайдеггера / Пер. с франц. А. Т. Бикбова, Т. В. Анисимовой. М.: Праксис, 2003.).

³ Speziale-Bagliacca R. Sulle spale di Freud. Psicoanalisi e ideologia fallica. Roma: Astrolabio, 1982. P. 43 и далее. (Я благодарю Annina Viacava Migone, внимательно прочитавшую первую версию этого текста, за то, что она указала мне на существование этой книги и помогла понять отношение между психоанализом и антропологическим анализом социального формирования мужских и женских аспектов личности.)

⁴ Freud S. Quelques conséquences psychiques de la différence anatomique entre les sexes / Trad. D. Berger // La vie sexuelle. Paris: PUF, 1977. P. 126.

⁵ Freud S. Op. cit. P. 131.

⁶ Стоит заметить, что феминистский дискурс часто сам впадает в эссенциализм, в котором вполне оправданно упрекает «мужское знание» (см.: *Féral J. Towards a Theory of Displacement // Sub-stance. 1981. № 32. P. 54–64*): можно долго перечислять высказывания, одновременно констатирующие и перформативные (например: женщина множественна, неопределенна и т. д.), зависящие от внутренней логики отвергаемой ими мифологии. (Также см.: *Irigaray L. Speculum. De l'autre femme. Paris: Ed. de Minuit, 1975. P. 284; Ce sexe qui n'est pas un. Paris: Ed. de Minuit, 1977; Kristeva J. La femme, ce n'est jamais ça // Tel Quel. № 59. Automne 1974. P. 19–25.*)

⁷ Сравнительная антропология, к которой также можно обратиться (например, см.: *Héritier-Augé F. Le sang du guerrier et le sang des femmes. Notes anthropologiques sur le rapport des sexes // Cahier du Grif. Paris: Editions Tierce. Hiver 1984–1985. P. 7–21*), рискует потерять логику системы основных оппозиций, которая реализуется и полностью раскрывает себя только в исторических рамках конкретной культурной традиции. Но зато она позволяет выявить произвольность оппозиций, выполняющих гомологичные функции в рамках той или иной культуры, в пространстве которых формируется (и натурализуется, в силу системной согласованности) оппозиция между мужским и женским. Так, например, у эскимосов Луна — это мужчина, а Солнце — его сестра; в свою очередь средиземноморская традиция приписывает женщине такие характеристики, как холодное, сырое, природное (приписываемые у эскимосов мужчине), а мужчине — такие характеристики, как жаркое, приготовленное, культурное (приписываемые женщине у эскимосов). Хотя это не мешает эскимосам помещать женщин в домашний универсум и предельно минимизировать их роль в воспроизводстве (*Saladin d'Anglure*, цитировано по F. Héritier-Augé, *ibid.*).

⁸ Относительно тела и ритуальных практик, понимаемых как хранилище (а не как «память»), благодаря которому прошлое транслируется и консервируется см.: *Бурдые П. Практический смысл / Пер. с франц. А. Т. Бикбова, К. Д. Вознесенской, С. Н. Зенкина, Н. А. Шматко; Отв. ред. пер. и послесл. Н. А. Шматко. М.: Институт экспериментальной социологии; СПб.: Алетейя, 2001, особенно 4 главу I части («Верование и тело»).*

⁹ См.: *Honour and Shame: the Values of Mediterranean Society / Ed. by J. Peristiany. Chicago: University of Chicago Press, 1974*, а также: *Pitt-Rivers J. Mediterranean Countrymen. Essays in the social anthropology of the Mediterranean. Paris—La Haye: Mouton, 1963.*

¹⁰ См.: *Gennep A., van. Manuel de Folklore français contemporain. Paris: Picard. 3 vol. 1937–1958.*

¹¹ См.: *Bois P. du. Sowing the body. Psychoanalysis and Ancient Representation of Women.* Chicago, London: Chicago University Press, 1988; *Svenbro J. Phrasikleia: anthropologie de la lecture en Grèce ancienne.* Paris: La Découverte, 1988.

¹² *Бурдьё П. Чтение, читатели, ученые, литература // Бурдьё П. Начала. Choses dites / Пер. с франц. Н. А. Шматко. М.: Socio-Logos, 1994. С. 167–177.*

¹³ Как, например, в хирургическом трактате, который проанализировала Мари-Кристин Пушель. См.: *Pouchelle M.-C. Corps et chirurgie à l'apogée du Moyen-Age.* Paris: Flammarion, 1983.

¹⁴ Понятие *идеологии* в данном случае совсем не уместно. Если ритуальные практики и мифологический дискурс бесспорно выполняют функцию легитимации, то они никогда не основаны — в отличие от того, что утверждают некоторые антропологи — на намерении легитимировать социальный порядок. Интересно, например, что кабилская традиция, которая полностью основана на иерархическом делении полов, практически не предлагает мифов, оправдывающих это различие (за исключением, может быть, мифа о рождении ячменя: см. *Бурдьё П. Практический смысл... С. 149*; и мифа, направленного на рационализацию «нормальной» позы мужчины и женщины во время полового акта, который я даю чуть ниже). Известно, что концепция, которая приписывает легитимирующий эффект действиям, намеренно ориентированным на оправдание установленного порядка, не работает даже для дифференцированных обществ, в которых наиболее эффективные действия по легитимации оставлены на долю таких институтов, как школьная система, и механизмов, обеспечивающих наследственную передачу культурного капитала. Но она совершенно ошибочна, когда применяется к социальному миру, примером которого может служить Кабия, где весь социальный порядок функционирует как огромная символическая машина, основанная на мужском господстве.

¹⁵ О структуре внутреннего пространства дома см.: *Бурдьё П. Практический смысл... С. 518–541*; об организации дня: с. 489–496; аграрного года: с. 424–479.

¹⁶ Хотя не все общества были изучены, а в тех, что были проанализированы, исследования не всегда проводились именно с целью изучения отношений между полами, мы все же можем допустить, что все указывает на то, что превосходство мужчин является универсальным (см.: *Héritier-Augé F. Op. cit.*).

¹⁷ На это указывает и язык, который с помощью слова «человек» (*homme*) обозначает не только человека мужского пола, но и человеческое существо вообще; так же, говоря о человечестве, используют мужской род. Сила этой докисической очевид-

ности проявляется в том, что грамматическая монополизация универсального, признанная сегодня, стала восприниматься именно так лишь после феминистской критики.

¹⁸ См. таблицу «Разделения труда между полами».

¹⁹ Интервью и наблюдения, проведенные в рамках исследований рынка жилья, предоставили нам массу возможностей убедиться, что еще и сегодня и совсем рядом с нами логика распределения обязанностей — благородных и вульгарных — между полами часто приводит к такому разделению ролей, при котором за женщиной признается обязанность выполнять неприятные обязанности: спрашивать цену, проверять счета, торговаться и т. п. (см.: *Bourdieu P. Un contrat sous contrainte // Actes de la recherche en sciences sociales. 1990. № 81–82. P. 34–51.*).

²⁰ Так называемая «женская интуиция» есть не что иное, как особая форма прозорливости подчиненных, которые видят господствующих лучше, чем последние их. Например, голландские женщины, приняв интересы доминирующих, которых они понимают лучше, чем те — их, способны описать своего мужа очень детально, в то время как мужья могут описать свою жену только через очень расхожие стереотипы, подходящие для «женщин вообще» (см.: *Stolk A. van, Wouters C. Power changes and self-respect: a comparison of two cases of established—outsiders relations // Theory, Culture and Society. 1987. Vol. 4. № 2–3. P. 477–488.*). Те же авторы предполагают, что гомосексуалисты, воспитывавшиеся как гетеросексуалы и интериоризировавшие господствующую точку зрения, могут применять эти представления к себе (что обрекает их на своего рода когнитивный и оценочный диссонанс, способный объяснить их особую проницательность), и, таким образом, они понимают лучше точку зрения доминирующих, в то время как последние не могут понять их точку зрения.

²¹ Можно задаться вопросом, не отождествляется ли добродетель женщин даже сегодня, как подсказывает определение словаря, с «целомудрием» или «эмоциональной и супружеской верностью» — значение, которое применимо «особенно к женщинам» (см.: «*Petit Robert*»). Как всегда, отношения между доминирующими и доминируемыми асимметричны: чем более привилегированное социальное положение занимает мужчина, тем большая сексуальная сила и ее легитимное использование признается за ним (за исключением, может быть, США, как показывают недавние скандалы), в то время как для женщин верно обратное: чем более высокое социальное положение они занимают, тем строже контролируется их целомудрие.

²² Подробнее об этом типе отношения и условиях его функционирования см.: *Бурдьё П. Практический смысл... С. 307–308.*

²³ Я уже указывал на это в работе: *Esquisse d'une théorie de la pratique*. Genève: Droz, 1972, особенно Р. 195–196, и «Практический смысл»... С. 134–135.

²⁴ Здесь можно было бы привести пример отношений Жана-Поля Сартра и Симоны де Бовуар, как они анализируются Ториллом Мон.

²⁵ О формировании *аристократии образования* через систему конкурсов и работы по навязыванию и внушению, осуществляемой системой образования, см.: *Bourdieu P. La noblesse d'Etat*. Paris: Ed. de Minuit, 1989.

²⁶ О причинах, заставивших меня использовать понятие «ритуал назначения» (это слово необходимо понимать в двух смыслах: как то, что устанавливается, например институт брака, и как действие назначения, например назначение наследника) вместо ритуала перехода, см.: *Bourdieu P. Les rites d'institution // Bourdieu P. Ce que parler veut dire*. Paris: Fayard, 1982. Р. 121–134. Понятие «ритуал перехода» получило столь быстрое признание лишь потому, что это конвертированное в наукообразное понятие предпонятие здравого смысла.

²⁷ Европейская традиция, продолжающая жить в современном мужском бессознательном, ассоциирует моральную и физическую смелость с мужественностью и, как берберская традиция, явно устанавливает связь между размером носа (*nif*) — символом дела чести, и предполагаемым размером фаллоса.

²⁸ На первый взгляд удивительная морфологическая связь между словами *abbuch* (пенис) и *thabbucht* (грудь) может объясняться тем фактом, что оба органа являются манифестацией жизненной полноты, символом всего живого, дающего жизнь посредством спермы и молока. По такой же логике можно понять отношение между *thamellalis* (яйцо) — высший символ женской плодовитости, и *imellalen* (мужские яички).

²⁹ О продуктах, которые набухают, как *ufithyen*, и от которых полнеют, см.: *Бурдьё П. Практический смысл...* С. 483–486.

³⁰ О схеме полный/пустой и понятии заполнения см.: *Бурдьё П. Практический смысл...* С. 529–530, о змее см.: С. 466–467.

³¹ Здесь видно, что мы можем понять истину обыденного мышления лишь в том случае, если избавимся от альтернативы номиналистский конструктивизм / реалистский объективизм.

³² Подробнее о неопределенности и нечеткой логике см.: *Бурдьё П. Практический смысл...* С. 503 и далее.

³³ Естественно, все эти слова табуированы, так же как и термины, с виду безобидные, например, *duzan* (дела, инструменты), *laqlul* (посуда), *lah'wal* (ингредиенты), *azaákuk* (хвост), которые часто используются как эвфемизмы.

³⁴ Сартр Ж.-П. Бытие и ничто: Опыт феноменологической онтологии / Пер. с фр., предисл., примеч. В. И. Колядко. М.: Республика, 2000. С. 615.

³⁵ Там же. С. 699–701, подчеркнуто мной. — П. Б.

³⁶ Там же. С. 611.

³⁷ Там же. С. 612.

³⁸ Pouchelle M.-C. Corps et chirurgie à l'appogée du Moyen-Age. Paris: Flammarion, 1983. Подобно Мари-Кристин Пушель, которая показывает, что мужчина и женщина полагались двумя вариантами — совершенным и несовершенным — одной и той же физиологии, Томас Лакер устанавливает, что вплоть до Ренессанса не существовало анатомических терминов подробного описания женских половых органов, т. к. они полагались состоящими из тех же элементов, что и мужские, только организованными иначе. См.: Laqueur Th. *Orgasm, Generation and the Politics of Reproductive Biology* // *The Making of the Modern Body: Sexuality and Society in the Nineteenth Century* / Ed. by C. Gallagher, Th. Laqueur. Berkeley, Ca.: University of California Press, 1987.

³⁹ Ивон Книбьеде показывает, как, развивая дискурс моралистов вроде Русселя (Roussel), анатомы начала XIX века, особенно Вирей (Virey), стремятся найти в теле женщины оправдание ее социального статуса, который они ей приписывают, опираясь на традиционные оппозиции между внутренним и внешним, чувством и разумом, пассивностью и активностью. См.: Knibiehler Y. *Les médecins et la «nature féminine» au temps du Code civil* // *Annales*. Vol. 31. № 4. P. 824–845.

⁴⁰ Laqueur Th. *W* «Amor Veneris, Vel Dulcedo Appeletur» // M. Feher with R. Naddaf and N. Tazi, eds. *Zone*. Part III. New York: Zone, 1989.

⁴¹ По словам Шарля Маламу, в санскрите для обозначения такой позы употребляется слово *Viparita*, что значит перевернутый, используемой также для обозначения мира наоборот, перевернутый с ног на голову (устное сообщение).

⁴² Это миф был записан в 1988 году госпожой Тассадди Ясин (Tassadit Yacine), которой я искренне благодарен за это сообщение.

⁴³ Простое использование слова «сексуальность» может стимулировать этноцентрическое чтение. Несомненно, что в этом мире, о котором мы могли бы сказать, что он полностью сексуален, ничто не является сексуальным и секуляризированным в современном смысле слова. Помимо всего прочего, реальность, связанная с половыми отношениями, не существует изолированно, сама по себе (например, ради эротических намерений), а вплетена в систему социальных оппозиций, организующих весь универсум.

⁴⁴ Как хорошо показала Иветт Делсо в неопубликованном тексте, с помощью очень схожей работы по обучению или по преобразованию и использованию тела (в особенности навязывания эстетического выбора или выбора одежды и косметики) школьная система стремилась навязать определенные устремления (содержащие свои собственные *ограничения*) девочкам из «простых» социальных слоев, которых она предназначала на роль учительниц начальных классов. (Также см.: *Delsaut Y Carnets de socioanalyse-2: Une photo de classe // Actes de la recherche en sciences sociales*. 1988. № 75. P. 83–96.)

⁴⁵ Подробнее о слове *gabel*, связанном с наиболее фундаментальными ориентациями всего видения мира, см.: *Бурдьё П. Практический смысл...* С. 176.

⁴⁶ Вся этика (не говоря уже об эстетике) уместается в системе фундаментальных прилагательных (возвышенный/низкий, прямой/кривой, жесткий/мягкий и т. п.), значительная часть которых обозначает также положение или расположение тела или некоторых его частей (например, «высокий лоб»).

⁴⁷ Как это хорошо видно в мифе происхождения, где мужчина с удивлением узнает о половых органах женщины и получает удовольствие (без взаимности), которое она ему открывает, в системе оппозиций, объединяющих его с женщиной, мужчина находится на полюсе прямодушия и наивности (*niya*), который противопоставляется дьявольской хитрости (*thih'raymith*).

⁴⁸ Особенно в том, что касается физической стороны дела. По крайней мере, это верно для североафриканских обществ, как подтверждают сообщения, собранные мною в 1962 году. Так, алжирский фармацевт утверждает, что мужчины часто прибегают к использованию возбуждающих средств, которые к тому же всегда очень хорошо представлены в рецептурных книгах традиционных аптекарей. Мужественность в действительности постоянно подвергается проверке со стороны более или менее замаскированного коллективного мнения, например, в связи с дефлорацией невесты, но также в женских разговорах, в которых, как показывают мои записи 60-х годов, уделяется много внимания вопросам отношения полов, подвигам и поражениям, подтверждающим или умаляющим мужественность. В дифференцированных обществах чем выше мы поднимаемся по социальной лестнице (или, по крайней мере, движемся к доминирующим в поле власти), тем половые различия становятся менее заметными. Бремя мужественности давит особенно сильно на доминируемых, которые все чаще и чаще сталкиваются с невыполнимыми требованиями.

⁴⁹ Вся мораль, связанная с понятием чести, есть всего лишь развитие этой фундаментальной формулы мужского *illusio*.

⁵⁰ Вирджиния Вулф понимала этот парадокс, который удивит только тех, кто имеет упрощенное представление о литературе и ее собственных способах раскрытия истины: «Там, где истина важна, я предпочитаю обращаться к воображению» (*Woolf V The Pargiters*, New York: Harcourt Brace Jovanovich, 1977. P. 9). Или в другом месте: «Воображение, возможно, содержит больше истины, чем факты» (*Вулф В. Своя комната // Эти загадочные англичанки // Пер. с англ., сост. и предисл. Е. Ю. Гениевой. М.: Рудомино; Текст, 2002. С. 82.*).

⁵¹ Вулф В. На маяк / Пер. с англ. Е. Сурни // Вулф В. Избранное. М.: Художественная литература, 1989. С. 145.

⁵² Там же. С. 178.

⁵³ Там же. С. 137. — Отцовские слова естественным образом содержат логику просящего или профилактического пророчества, предсказывающего опасное будущее, чтобы его избежать, а также содержащего угрозу («ты плохо кончишь», «ты нас всех обесчестишь», «ты никогда не получишь свой аттестат» и т. п.). Когда оно сбывается, то это дает возможность ретроспективного триумфа («я же тебе говорил»), как разочарованной компенсации за страдание, вызванное отчаянием, оттого что предсказание сбылось («я все-таки надеялся, что ошибусь»).

⁵⁴ Например, ответ миссис Рэмзи, который противостоит отцовскому вердикту, отвергая необходимость и утверждая случайность, основанную исключительно на вере: «Но погода еще, может быть, будет хорошая — я надеюсь, она будет хорошая» (*Вулф В. На маяк... С. 138.*).

⁵⁵ «Окажись под рукой топор, кочерга или другое оружие, каким бы можно пробить отцовскую грудь, Джеймс бы его прикончил на месте. Так выводило детей из себя само присутствие мистера Рэмзи; когда он так вот стоял, узкий, как нож, острый, как лезвие, и саркастически усмехался, не только довольный тем, что огорчил сына и выставил в глупом свете жену, которая в сто тысяч раз его во всех отношениях лучше (думал Джеймс), но и тайно гордясь непогрешимостью своих умозаключений» (*Вулф В. На маяк... С. 137.*).

⁵⁶ Там же. С. 138. — Выделено П. Б.

⁵⁷ «Мистер Рэмзи на них глянул. Глянул дико, не видя. Обоим стало несколько не по себе. Оба [Лили Бриско и ее друг] подсмотрели то, что не предназначалось их взорам. Будто вынудили чужую тайну» (*Вулф В. На маяк... С. 146.*).

⁵⁸ Там же. С. 156–157. Выделено П. Б.

⁵⁹ Там же. С. 157.

⁶⁰ «Удивительное пренебрежение к чувствам другого во имя истины, резкий, грубый выпад против простейших условностей показали ей таким чудовищным поправлением всех человечес-

ких правил, что, огорошенная, ошарашенная, она склонила голову без ответа, будто безропотно подставляясь колкому граду, мутному ливню. Ну что на такое сказать?» (Вулф В. На маяк... С. 155.).

⁶¹ Это хорошо видно на примере участия молодых женщин из народных слоев в спортивных страстях «своих» мужчин, которое, в силу своего аффективного характера, может восприниматься мужчинами только как легкомысленное, и даже абсурдное, так же как противоположное отношение, чаще всего после свадьбы, завистливой враждебности по отношению к увлечению темн вещами, к которым у них нет доступа.

⁶² Там же. С. 154.

⁶³ Указание на защитную функцию миссис Рэмзи встречается неоднократно, особенно в виде метафоры курицы, простирающей свои крылья над выводком цыплят: «Впрочем, она вообще брала под крыло представителей противоположного пола; она не собиралась объяснять почему» (Вулф В. На маяк... С. 139.).

⁶⁴ Там же. С. 154. — Явно вновь возвращаясь к вердикту о прогулке к маяку и прося прощения у миссис Рэмзи за жесткость его тона во время этого разговора (он щекочет «голую ногу сына»; он «очень смиренно» предлагает пойти узнать у береговой охраны их мнение), мистер Рэмзи полностью выдает себя: это грубое возражение имеет связь с той нелепой сценой, игрой *illusio* и разочарованием.

⁶⁵ Чуть позже мы видим, что она отлично знает, что является слабым местом ее мужа, куда его всегда можно уязвить: «Ну, и надолго ли, вы полагаете, это останется? — спросил кто-то. У нее словно работали щупальца, выхватывая отдельные фразы, настораживая внимание. Вот и сейчас. Она учуяла опасность для мужа. Вопрос почти неминуемо повлечет какое-нибудь замечание, которое ему напомнит о собственной несостоятельности. Он сразу подумает — долго ли его самого будут читать» (Вулф В. На маяк... С. 201.).

⁶⁶ Там же. С. 154. — Выделено П. Б.

⁶⁷ Там же. С. 200.

⁶⁸ Там же. С. 200.

⁶⁹ *Woolf V Trois guinées / Trad. par V Forester. Paris: Eds. des Femmes, 1977. P. 142.*

⁷⁰ *Woolf V Trois guinées... P. 200.*

...Мать, следившая за аккуратным продвижением ножиц, воображала его вершителем правосудия в горностаях и пурпуре либо вдохновителем важных и неумолимых государственных перемен» (Вулф В. На маяк... С. 137.).

⁷² Кант И. Антропология с прагматической точки зрения / Пер. с нем. СПб.: Наука, 1999. С. 263. Далее Кант в ходе одного из этих «наплывов», которые выдают ассоциации бессознательного, переходит от женщин к «массам», от отречения, вписанного в необходимость делегирования, к «покорности», ведущей народы к самоисключению в пользу «отцов нации».

⁷³ Это утверждение противоречит тенденции рассматривать все сексуальные обмены мира офисов и бюро, особенно между шефом и его секретарем (см.: *Pingle R. Secretaires Talk, Sexuality, Power and Work*. London; New York: Allen and Unwin, 1988, особенно Р 84–103.), сквозь призму альтернативы «сексуальных домогательств» (*sexual harassment*), бесспорно, все еще недооцененных даже в самых «радикальных» разоблачениях, и циничного и инструментального использования женского обаяния как инструмента власти. Сама работа обаяния, свойственного власти, состоит в том, чтобы помешать распознать в любовном (или сексуальном) отношении между индивидами, занимающими разные статусные позиции, ту часть, что принадлежит принуждению, и ту, что связана с очарованием.

⁷⁴ Кант И. Цит. соч. С. 263.

⁷⁵ «Он говорит — будет дождь; говорит — дождя не будет; и ей открывается безоблачное, беззаботное небо. Никого никогда она так не чтילה» (*Вулф В. На маяк... С. 155*).

⁷⁶ «Все эти века женщина служила мужчине зеркалом, способным вдвое увеличивать его фигуру» (*Вулф В. Своя комната... С. 99*).

⁷⁷ Само собой разумеется, что в той мере, в какой это упоминание женского видения своего места руководствуется намерением разрыва с поверхностным впечатлением, «поворачивая палку другим концом». Оно соответствует разделению труда между полами, которое во многом уже преодолено, особенно с отменой половой сегрегации в школах и других публичных местах, с открытием все большему и большему количеству женщин доступа к высшему образованию и профессиям (часто на те позиции, которые традиционно считались мужскими), а также с изменениями, которые вызывают разрушение традиционной модели женщины-домохозяйки и семейной жизни, не говоря уже о неоспоримом, хотя и социально очень дифференцированном результате борьбы феминисток, которые рассматривают как *политические*, т. е. как заслуживающие пересмотра и трансформации, натурализованные различия старого порядка.

⁷⁸ См.: *Thomas J. Women and Capitalism: Oppression or Emancipation? // Society and History*. 1988. Vol. 30. № 4. P. 534–549.

⁷⁹ См.: *Bourdieu P., de Saint Martin M. Le patronat // Actes de la recherche en sciences sociales. 1978. № 20–21. P. 3–82.*

⁸⁰ Утверждение Мари О'Брайн о том, что мужское господство есть продукт усилий мужчин для преодоления их отчуждения от инструментов воспроизводства рода и восстановления приоритета отцовства путем ретуширования реальной работы женщин по вынашиванию (см.: *O'Brien M. The Politics of Reproduction. London: Routledge and Kegan Paul, 1981.*), затрагивает нечто очень важное. Однако оно забывает соотносить эту «идеологическую» работу с ее основаниями, т. е. с принуждениями рынка символических благ, точнее, с необходимым подчинением биологического воспроизводства потребностям воспроизводства символического капитала. С точки зрения этой логики можно проанализировать уловки, на которые идут кабилы, чтобы разрешить противоречие, возникающее, когда ради продолжения рода семья, не имеющая наследника мужского пола, отдает свою дочь за мужчину, *awrith*, который рассматривается как женщина, т. е. как объект: «он — замужем» — говорят кабилы. (См.: *Бурдьё П. Практический смысл... С. 347.*)

⁸¹ См.: *Scott J. W. «L'ouvrière, mot impie, sordide». Le discours de l'économie politique française sur les ouvrières (1840–1860) // Actes de la recherche en sciences sociales. 1990. № 83. P. 2–15 (особенно P. 12).*

⁸² Здесь необходимо было бы добавить, по крайней мере для самых благородных и богатых, все виды активности, связанные с благотворительностью и милосердием.

⁸³ См.: *Bourdieu P. La distinction. Critique sociale du jugement. Paris: Ed. de Minuit, 1979. P. 226–229; Bourdieu P. Ce que parler veut dire. Paris: Fayard, 1982.*

⁸⁴ См.: *Bourdieu P., Bouhédja S., Christin R., Givry C. Un placement de père de famille. La maison individuelle: Spécificité du produit et logique du champ de production // Actes de la recherche en sciences sociales. 1990. № 81–82. P. 6–33.*

⁸⁵ Можно было бы показать, что целая серия стратегий, предложенных феминистским движением (например, защита *natural look* или разоблачение использования женщины в качестве символического демонстрационного инструмента, особенно в рекламе), опирается на интуитивное понимание раскрываемых здесь механизмов. Но эта частичная интуиция должна распространиться на ситуации, в которых женщины могут иметь полную видимость того, что действуют как ответственный агент, но при этом полностью остаются пленницами инструментального отношения.

⁸⁶ Цитированный выше текст И. Канта является отличным примером этого риторического действия.

ПОЛЕ ЛИТЕРАТУРЫ*

Предисловие

В этой статье, написанной в 1982 году¹, я попытался изложить в систематической форме метод анализа произведений культуры, на который опирается целый ряд эмпирических исследований, проведенных мною самим и моими коллегами. Я осознаю, что, за невозможностью привести все примеры и иллюстрации, способные прояснить эвристическую ценность и внутреннюю логику представленной здесь модели, этот текст рискует показаться догматичным, схематичным, а иногда и утомительным. Между тем во многих случаях простого обращения к тому или иному конкретному примеру из интеллектуальной действительности было бы достаточно, чтобы убедить читателя в том, что, несмотря на возможную сухость или отвлеченность, в статье затрагиваются самые животрепещущие реалии литературной жизни.

Но это еще не все. Логика исследования заставляла меня пользоваться тяжеловесным и корявым языком и противоречить требованиям и ожиданиям — особенно литературным — читателя. Я имею в виду, например, неуклюжие перифразы: «интеллектуалов» мне приходилось называть «агентами, занимающими политически и экономически подчиненные позиции в поле власти». Эти пе-

* © Bourdieu P. Le champ littéraire // Actes de la recherche en sciences sociales. 1991, № 89. P. 3–46. (Сокращенный перевод.)

рифразы казались мне совершенно необходимыми, чтобы подтолкнуть читателя к разрыву с рутинной ординарного мышления и восприятия, постоянно напоминая о логике научного построения объекта. Минимального знакомства с интеллектуальными приличиями достаточно, чтобы предугадать: многие сочтут подобные «оборотцы» излишними и припишут их стремлению «запугать наукообразностью», на манер мольеровского Днафуаруса. И нужно совершенно не замечать наиболее очевидных закономерностей эволюции поля, чтобы не предсказать, что как раз тем, кто в другое время усерднее всех практиковал самый дремучий язык, несомненно привидятся магические литании худшей теоретической риторики в способе выражения, к которому просто невозможно не прибегнуть, если намерен вызвать и совершить радикальный переворот в привычном взгляде интеллектуалов на интеллектуальные материи.

Не довольствуясь обманом, я вынужден был еще и оскорбить слух и воспользоваться, без малейшего стремления к ниспровержению или редукционизму, превосходно отрезвляющим языком экономики и индустрии. Я обратился к языку, в оппозиции к которому выстроены все «чистые» теории искусства, литературы, науки или философии, и пошел на риск быть отождествленным с самыми примитивными палеомарксистами в науке или в политике, применяя именно против них (игнорирующих специфический смысл этого языка), так же как и против зачарованных слугителей литературного культа, все эти грубые, строго запрещенные в «приличном обществе» слова: спрос и предложение, капитал, рынок, выгода, пост, карьера, прибыль. Зачем? Чтобы в конце концов сделать очевидным тот факт, что самые «чистые» манифестации — даже и наиболее критичных интеллектуалов — всегда чем-нибудь обязаны мотивам и причинам «нечистым» и, во всяком случае, часто сокрытым от этих профессионалов ясности.

И конечно, меня не покидала мысль, что я иду на что-то смутно саморазрушительное, принимая на себя вот так — без иллюзий — столь неблагоприятную роль. Поскольку мне приходилось думать и говорить, что позиции, наиме-

нее благоприятные социально, часто оказываются наиболее благоприятными научно, я мог бы сказать себе, что такой ценой, по крайней мере в данном случае, приобретается научное знание. Однако наука и знания, которые я так или иначе приобрел, обязывают меня признать, что искусство ставить себя в невозможные положения является, быть может, не чем иным, как крайним, немного отчаянным способом выдавать нужду за добродетель.

Три ступени анализа

Примечательно, что исследователи культуры, придерживающиеся самых разных теоретических и методологических установок и интенций, как правило, обходят стороной само существование социальных пространств, в которые помещены агенты, принимающие участие в культурном производстве, — пространств, которые я называю полями (литературным, артистическим, научным, философским и т. д.).

Явное исключение представляют работы Говарда С. Беккера,² достоинством которых является отказ от наивного представления об индивидуальном творце и анализ артистического производства как коллективного действия. Тем не менее его подход представляет собой шаг назад по сравнению с предложенной мною теорией поля. Беккер утверждает, что «произведение искусства может быть понято как результат координированной деятельности всех людей, чье сотрудничество необходимо для того, чтобы данный объект стал произведением искусства». Затем он приходит к заключению, что анализ должен быть распространен на всех, кто способствует достижению этого результата, т. е. на «авторов идеи произведения (например, на композиторов или драматургов), исполнителей (музыкантов или актеров), поставщиков необходимого оборудования (изготовителей музыкальных инструментов), аудиторию (“театралов”, критиков и т. д.)». Не входя в методическое рассмотрение всего, что отделяет это видение «мира искусства» от теории артистического или литературного поля, замечу только, что последнее несводимо к популяции, т. е. к сумме индивидуальных агентов,

связанных простым отношением взаимодействия, или, точнее, кооперации. В приведенном выше чисто описательном перечне у Беккера не хватает, помимо прочего, объективных отношений, которые образуют структуру поля и направляют борьбу за сохранение или изменение этой структуры.

Литературное (и тому подобное)³ поле представляет собой поле сил, воздействующих на всех вступающих в поле по-разному, в зависимости от занимаемой позиции (укажем для примера наиболее удаленные друг от друга точки: позиция автора бестселлера или позиция поэта-авангардиста). В то же время литературное поле является еще и полем конкурентной борьбы, направленной на консервацию или трансформацию этого поля сил.

Более всего приближается к понятию литературного поля старинное понятие «Республики словесности» [*République des lettres*], фундаментальный закон которого был хорошо распознан и выражен уже Бейлем: «Республикой словесности правит свобода. Эта республика является наисвободнейшим государством. Здесь признается только владычество истины и разума, под сенью которых здесь простодушно ведется война между всем и вся. Приятелю следует остерегаться приятеля, отцу сына, и тестю зятя: как в железном веке <...> Здесь каждый одновременно и независим от всех, и держит перед всеми отчет».⁴ Но, как видно из полупозитивного-полунормативного тона этого литературного напоминания о литературной среде, мы имеем дело с понятием спонтанной социологии и ни в коей мере не с научно выстроенным концептом. Понятие «Республика словесности» никогда не было положено ни в основание строгой науки о функционировании мира литературы, ни тем более в основание методической интерпретации производства и обращения произведений (в чем нас иногда пытаются убедить вновь открывшие это понятие сегодня).

Но многие практики и проявления художников и писателей (например, их амбивалентное отношение как к «простому народу», так и к «буржуазии») нельзя объяснить, не обращаясь к полю власти, внутри которого литературное (и т. п.) поле занимает подчиненную позицию.

Поле власти представляет собой пространство силовых отношений между агентами и институциями, обладающими капиталом, необходимым для того, чтобы занять доминирующие позиции в различных полях (в частности, в экономическом и культурном). В поле власти идет борьба между держателями различных видов власти (или разновидностей капитала). Эти сражения (например, символическая война между людьми искусства и буржуазией в XIX веке) ведутся за изменение относительной ценности разных видов капитала или за сохранение *status quo*.

Итак, наука о произведениях культуры предполагает три операции, столь же необходимые — и необходимо взаимосвязанные, — как и три уровня социальной действительности, к которым они приложимы:

— Во-первых, анализ позиции литературного (и т. п.) поля внутри поля власти, к которому оно относится как микрокосм к макрокосму;

— Во-вторых, анализ внутренней структуры литературного (и т. п.) поля, — универсума, подчиняющегося своим собственным законам функционирования и трансформации; иными словами, анализ структуры отношений между позициями индивидуумов или институтов, соперничающих за артистическую легитимность;

— В-третьих, анализ того, как сформировались габитусы занимающих эти позиции агентов — т. е. анализ становления диспозиций, которые, будучи продуктом некоторой социальной траектории и некоторой позиции внутри литературного (и т. п.) поля, находят в этих позициях более или менее благоприятную возможность реализации.

Такова реальная иерархия объяснительных факторов, и она требует переворота в принимаемой обычно исследователями последовательности. Не следует, рискуя впасть в иллюзию ретроспективно воссозданной логической стройности, искать ответа на вопрос: «Как тот или иной писатель стал тем, кем он стал?» Вместо этого нужно поставить вопрос о том, каким образом, исходя из социального происхождения писателя и социально конституированных свойств, которые он извлек из своего происхождения, данный писатель смог занять (а в некоторых случаях

и произвести) уже существующие (или ожидающие, чтобы их произвели) позиции, предлагаемые определенным состоянием поля, и тем самым дать более или менее полное выражение потенциально заложенным в этих позициях манифестациям [*prises de position*]*.

Литературное поле в поле власти: автономия под угрозой

Наперекор всем формам экономического редукционизма, литературный мир, устройство которого складывалось в течение длительного и постепенного процесса автономизации, представляет собой «мир экономики наоборот»: входящие в него заинтересованы в незаинтересованности. Так же как аутентичность *пророчества*, особенно пророчества о несчастьи, подтверждается, согласно Веберу, тем, что пророк не требует за свое искусство никакого вознаграждения, еретический разрыв с господствующей артистической традицией обретает свой критерий аутентичности в «материальной» незаинтересованности.⁵ Отсюда вовсе не следует, что эта харизматическая экономика, в основании которой лежит социальное чудо — деяние, не обусловленное ничем, кроме собственно эстетической интенции, — лишена экономической логики. Как мы увидим, существуют экономические условия, обеспечивающие безразличие к экономике, которое позволяет занимать наиболее рискованные позиции в интеллектуальном и артистическом авангарде; существуют экономические условия, дающие возможность в течение долгого времени оставаться на этих позициях без всякой экономической компенсации; и, наконец, существуют экономические условия, обеспечивающие доступ

* Термин «*prise de position*» — «занятие, выработка позиции» можно переводить контекстуально, однако это нарушает терминологическое единство. «Манифестация», на наш взгляд, передает самое важное: различие между объективно существующими позициями и их объективацией в культурных продуктах. — *Прим. перев.*

к символическим прибылям, которые, в свою очередь, могут быть рано или поздно обращены в прибыли экономические.

С этой точки зрения, следовало бы проанализировать отношения между, с одной стороны, писателями и художниками и, с другой стороны, издателями и кураторами галерей. Последние являются двойными агентами, посредством которых «экономическая» логика проникает в самую сердцевину элитарного субполя (т. е. субполя производства для производителей). Издателям и кураторам приходится совмещать совершенно противоположные диспозиции: экономические диспозиции, которые, в некоторых секторах поля, всецело чужды производителям; и интеллектуальные диспозиции, близкие диспозициям самих производителей, на труде которых нельзя нажить, не обладая умением оценить этот труд и придать ему ценность. На деле логика структурных гомологий между полем издателей и «галерейщиков» и полем соответствующих писателей и художников приводит к тому, что каждый из «торговцев в храме» искусства обладает свойствами, близкими к свойствам «своих» писателей или «своих» художников. Это благоприятствует отношениям взаимного доверия, на которых зиждется эксплуатация (как видно, например, в тех случаях, когда «торговец» извлекает выгоду из «профессионального» бескорыстия [*désintéressement statutaire*] писателей и художников, просто «подыгрывая» им и признавая правила их собственной игры).

В силу иерархии, установившейся в отношениях между различными видами капитала и их держателями, поля культурного производства занимают политически и экономически подчиненную позицию в поле власти. Как бы свободны от внешних ограничений и требований ни были культурные поля, они пронизаны действием законов окружающего поля: т. е. стремлением к прибылям, экономическим или политическим. Следовательно, поле производства культуры в каждый момент своей истории представляет собой поле борьбы между двумя принципами иерархизации:

— гетерономным принципом, который благоприятствует тем, кто экономически и политически доминирует в поле (например, «буржуазному искусству»),

— и автономным принципом (например, «искусство для искусства»), самые радикальные приверженцы которого видят в провале знак избранничества, а в сиюминутном успехе знак компромисса с «веком сим». ⁶

Баланс сил в этой борьбе зависит от того, насколько автономно поле вообще, т. е. в какой мере ему удастся навязать свои законы и санкции всему ансамблю производителей культурной продукции, включая и тех, кто, занимая политически и экономически доминирующую позицию в поле культурного производства (авторы пользующихся успехом пьес или романов) или стремясь ее занять («угнетенные» производители, готовые к коммерциализации), стоят ближе всего к занимающим гомологичные (доминирующие) позиции в поле власти и, следовательно, наиболее чутки к внешним запросам и наиболее гетерономны.

Степень автономности поля производства культуры зависит от того, насколько внешний (гетерономный) принцип иерархизации подчинен внутреннему (автономному) принципу иерархизации. Чем автономнее поле, тем более благоприятен баланс символической власти для независимых от спроса производителей и тем четче граница между двумя полюсами поля:

— субполем узкого производства [*sous-champ de production restreinte*], в котором производители производят для других производителей — своих непосредственных конкурентов,

— и символически исключаемым и дискредитируемым субполем широкого производства [*sous-champ de grande production*].

В субполе узкого, фундаментальным законом которого является независимость от требований извне, экономика практик основывается, как в игре в поддавки, на инверсии фундаментальных принципов экономического поля и поля власти. Она исключает преследование материальных выгод и не гарантирует соответствия между вложениями и денежной прибылью; она порицает стремление к почестям и «преходящему» величию. ⁷

В соответствии с внешним (гетерономным) принципом иерархизации, который действует в поле власти (и в экономическом поле), т. е. в соответствии с критерием «сиюминутного» успеха, измеряемого при помощи показателей коммерческого успеха (таких, как тираж книги, количество постановок пьесы) или известности в обществе (таких, как награждения, заказы), первенство отдается авторам, которых знает и признает «широкая публика».

Внутренний (автономный) принцип иерархизации, т. е. степень специфического признания, благоприятствует тем авторам, которых, по крайней мере на первых порах, знают и признают только подобные им же и которые обязаны своим престижем тому факту, что они не идут на уступки запросам широкой публики.

Размер (и социальное качество) аудитории, позволяя точно измерить степень независимости («чистое искусство») или зависимости («коммерческое, прикладное искусство») от запросов широкой публики и требований рынка и тем самым степень предполагаемой приверженности ценностям бескорыстия, является самым точным и недвусмысленным индикатором занимаемой в поле позиции. Гетерономия порождает спрос, который может принять форму персонального заказа, сформулированного «патроном» — спонсором или заказчиком, — или форму анонимных ожиданий и санкций рынка. Таким образом, ничто не разграничивает производителей яснее, чем их отношение к «светскому», «сиюминутному» или коммерческому успеху (и к средствам достижения этого успеха, таким, как, в наши дни, сотрудничество с прессой и телевидением): в то время как одни признают и принимают успех и даже в открытую стремятся к нему, другие — защитники автономного принципа иерархизации — отвергают успех как свидетельство «шкурной» заинтересованности в политических и экономических выгодах.

Взгляды гетерономных и автономных производителей на «сиюминутный» успех и экономическое поощрение диаметрально противоположны: ни в каких других полях (за исключением поля власти) отношения между занимающими полярные позиции не достигают столь пол-

ного (в пределах интересов, связанных с принадлежностью к полю) антагонизма, как в поле культуры. Писатели и художники, относящиеся к противоположным полюсам, могут, в крайних случаях, не иметь между собой ничего общего, кроме факта участия в борьбе за навязывание противоположных определений того, что есть литературная и артистическая продукция. Прекрасной иллюстрацией различия между отношениями взаимодействия и конституирующими поле структурными отношениями служит то обстоятельство, что агенты культурного поля, занимающие полярно противоположные позиции, могут никогда не встречаться, даже систематически игнорировать существование друг друга, но тем не менее их практики глубоко обусловлены отношением взаимоотрицания, которое их объединяет.

Итак, во второй половине девятнадцатого столетия, в момент, когда литературное поле достигло непревзойденной с тех пор степени автономии, складываются две иерархии:

— во-первых, существует иерархия по степени реальной или предполагаемой зависимости от успеха, аудитории и экономики. Эта иерархия приблизительно соответствует лестнице жанров: наиболее независима поэзия; далее следуют роман и театр⁸;

— во-вторых, во втором измерении того же социального пространства выстраивается еще одна иерархия, частично перекрывающая первую. Критерием этой, дополнительной, иерархии служит социальное и культурное качество целевой аудитории, которое можно измерить по тому, насколько близка или удалена данная аудитория от «очага» специфических ценностей, и по тому, насколько велик объем символического капитала, приносимый признанием в этой аудитории.

Первая иерархия противопоставляет субполе массового производства субполю элитарного производства. Вторая иерархия, внутри субполя элитарного производства (которое, имея дело исключительно с производством для других производителей, признает только специфический критерий легитимности), противопоставляет тех, кто

уже заслужил признание своих коллег, считающееся залогом посмертного признания (канонизированный авангард), тем, кто не достиг (или еще не достиг) той же степени признания с точки зрения специфических критериев. Эта низшая позиция объединяет писателей и художников разного возраста и разных артистических поколений, которые бросают вызов канонизированному авангарду, следуя одной из двух моделей ереси: либо во имя нового принципа легитимности, либо во имя возвращения к какому-либо старому принципу.

Неуспех сам по себе двусмыслен. Во-первых, потому что «провал» — в реальности или в восприятии агентов — может быть и добровольно избираем, и претерпеваем поневоле. Во-вторых, потому что показатели признания среди коллег (которое отделяет «проклятых» поэтов от «неудавшихся») всегда неопределенны и амбивалентны как для наблюдающих со стороны, так и для самих поэтов. Последние могут пользоваться этой объективной неопределенностью как средством для поддержания своей субъективной неопределенности и неуверенности в собственной судьбе; в этом им помогает коллективный самообман [*la mauvaise foi collective*], снабжающий их разнообразными формами институциональной поддержки. Кроме того, благодаря воцарению перманентной революции, признанной в качестве легитимного, и даже обязательного, способа трансформации полей производства культуры, авангардные писатели и художники могли, начиная с конца XIX века, обращать себе на пользу благоприятный по отношению к ним предрассудок, основывающийся на памяти об «ошибках» в восприятии и оценке, совершенных критиками и публиками прошлого. Оправдание неудаче всегда могло быть найдено в институтах, к появлению которых привела длительная историческая работа: например, в понятии «проклятого поэта», институционализация которого закрепила статус общественного признания за реальным или предполагаемым разрывом между сиюминутным успехом и «вневременной» артистической ценностью. В более широком смысле, тот факт, что в соперничество за власть оценивать и «освя-

щать» вовлечены агенты и инстанции, которые борются за собственное «освящение» и, стало быть, сами уязвимы, объективно подпитывает коллективный самообман: писатели без публикаций или без публики, художники без заказчиков и т. п. могут скрыть от себя свою неудачу, играя на двусмысленности критерия (не)успеха, не позволяющего отличить провал «не по своей воле» несостоятельных авторов от сознательно избранного и «временного» неуспеха «проклятых поэтов». Однако прибегать к этому самообману становится все труднее и труднее, по мере того как писатели стареют и сужение сферы возможного (на которое указывают вновь и вновь повторяющиеся негативные санкции по отношению к ним) делает все более болезненным добровольное продление подростковой неопределенности.

Так же обстоит дело и у противоположного полюса поля, в субполе массового производства, всецело обращенного к рынку и экономическим выгодам: авторы, которым удалось добиться успеха в «высшем обществе» и буржуазной «освященности» (особенно принятые в Академию), противопоставлены тем, кто обречен на так называемую «популярность», — т. е. авторам романов из сельской жизни, артистам мюзик-холла, шансонье и т. п. На основании размера и социального качества публики (от которых отчасти зависит объем прибылей) и тем самым на основании того, насколько ценна «освященность», которую приносит одобрение публики, устанавливается оппозиция между «буржуазным» искусством и искусством «коммерческим» (гомологичная противопоставлению канонизированного и неканонизированного авангарда в элитарном субполе). В то время как «буржуазное» искусство защищено всеми буржуазными правами, искусство «коммерческое» страдает от двойной девальвации: как «меркантильное» и как «популярное».

Мерилом автономности поля может служить эффект перевода или преломления, который поле оказывает на внешние влияния и заказы, и степень трансформации, вызывающей собственно символические эффекты неузнавания [*méconnaissance*], которому подвергаются в поле ре-

лигиозные или политические представления. (Механическая метафора «преломления», явно очень приблизительная, обладает только негативной ценностью: она позволяет вытеснить из сознания еще менее адекватную модель «отражения».)⁹ Чем автономнее поле, тем жестче негативные санкции (дискредитация, «отлучение» и т. д.), применяемые к гетерономным практикам, таким как прямое подчинение политическим директивам или даже эстетическому или этическому спросу; тем интенсивнее стимулируется сопротивление или даже открытая борьба против властей (при этом одно и то же стремление к автономии может привести к противоположным выражениям [*prises de position opposées*] в зависимости от характера власти, автономия от которой отстаивается).

Степень автономности поля (и тем самым установленный в нем баланс сил) различна в разные исторические периоды и в разных национальных традициях. Она связана с размером символического капитала, аккумулируемого со временем сменяющимися поколениями производителей. По мере того как растет в символической цене статус писателя или философа и укрепляется «полагающаяся по статусу», почти институционализированная возможность оспаривать власти, производители культуры чувствуют право и обязанность игнорировать запросы и требования «преходящих» властей или даже бороться с этими властями во имя своих собственных принципов и норм. Когда свобода и дерзость входят как объективная потенция, или даже как необходимость, в специфический конструктивный принцип [*la raison spécifique*] поля, эти качества, неуместные или просто немыслимые в другом состоянии поля или в другом поле, становятся нормальным, а иногда и тривиальным явлением.¹⁰

Символическая власть и символический капитал приобретаются соблюдением правил игры автономного поля. Символическая власть противопоставлена всем формам гетерономной власти, доступ к которым писатели и художники и, шире, все держатели символического капитала — эксперты, администраторы, инженеры, журналисты — могут получить в награду за оказываемые властям услу-

ги (особенно за участие в воспроизводстве существующего символического порядка). Влияние гетерономной власти ощущается в самой сердцевине культурного поля: агенты, наиболее преданные автономным истинам и ценностям, существенно ослаблены вероломством «пятой колонны» писателей и художников, уступивших давлению внешнего спроса. Автономные производители часто просто-напросто отказываются признать за гетерономными статус писателя или художника: таким образом, борьба между «художниками» и «буржуа» приобретает внутри поля производства культуры вид внутреннего конфликта (не менее ожесточенного, чем гражданская война) между «чистыми» художниками и художниками «буржуазными», или, в категориях прошлого века, между «искусством для искусства» и «буржуазным искусством».

Борьба дефиниций

Борьба за монополию на легитимный способ культурного производства неизбежно принимает форму конфликта дефиниций. В этом конфликте каждый агент пытается навязать другим границы поля, в наибольшей степени удовлетворяющие его интересам, или, иными словами, навязать определение условий принадлежности к полю (или права на получение статуса писателя, художника или ученого), которое лучше всего оправдывает избранный им способ существования. Итак, когда защитники самой строгой, т. е. самой «чистой», ригористичной и узкой дефиниции принадлежности к полю утверждают, что такой-то художник (и т. п.) не является истинным, настоящим художником, или не является художником на самом деле, они отказываются признать, что этот последний вообще существует как художник, — с точки зрения, которую они, как «истинные» художники, хотят навязать полю в качестве легитимной точки зрения на поле, в качестве фундаментального закона поля, принципа видения и разделения [*de vision et de division*] (номоса), определяющего артистическое (и др.) поле как таковое в качестве пространства искусства как искусства.

Именно это «видение как» (по выражению Витгенштейна), которое «чистые» художники стремятся утвердить наперекор обычному видению, является основополагающей точкой зрения, при помощи которой конституируется поле как таковое и которая тем самым определяет правило допуска в поле: «да не войдет тот», кто не обладает точкой зрения, согласующейся или совпадающей с основополагающей точкой зрения поля; тот, кто, отказываясь играть в игру искусства как искусства (правила которой определяются отталкиванием от обычного видения и от меркантилизма и расчетливости тех, кто поставил себя на службу обычному видению), пытается свести «дела искусства» к «денежным делам» (привнося в поле культуры чужеродный принцип экономического поля, гласящий: «бизнес есть бизнес»). Мы принимаем сегодня (по крайней мере, когда речь идет о прошлом) самую строгую и ограниченную дефиницию писателя за нечто само собой разумеющееся. На самом же деле эта дефиниция явилась результатом длинной серии символических исключений и отлучений, настоящих символических убийств, направленных на изъятие права на существование в качестве истинного писателя у самых разнообразных производителей, которые вполне могли осознавать себя писателями, пользуясь более широким и расплывчатым определением профессии.

Одним из центральных объектов притязания в литературных схватках является монополия на литературную легитимность. Агенты и институты сражаются за монопольное право на авторитетное определение круга лиц, имеющих право называть себя писателями, или высказывать суждения о том, является ли кто-либо писателем. Иначе говоря, речь идет о монополии на власть «освящать» производителей и производимое: агенты, расположенные у противоположных полюсов культурного поля, ведут борьбу за монополию на легитимную дефиницию писателя (и т. п.), и борьба эта организуется вокруг оппозиции между гетерономией и автономией. Литературное поле является, универсально, полем борьбы за дефиницию писателя. Однако универсальной дефиниции писателя не

существует: научному анализу доступны лишь частные дефиниции, соответствующие некоторым частным эпизодам в истории борьбы за легитимную дефиницию.

Это означает, что центральная для любого исследования проблема вычленения материала и определения объекта не может быть разрешена на основании невежественного произвола так называемых «рабочих дефиниций» (которые почти всегда оказываются неосознанным приложением частной исторической, а когда речь идет об отдаленных эпохах — и анахроничной, дефиниции). Семантическая размытость таких понятий, как «писатель» или «художник», является одновременно и продуктом и условием борьбы за навязывание дефиниции. Следовательно, она является частью той самой реальности, которую эти понятия интерпретируют. «Рабочие дефиниции» разрешают на бумаге, более или менее произвольным образом, споры, которые не нашли разрешения в реальности, такие, например, как вопрос о принадлежности той или иной группы («буржуазный» театр, «народный» роман [*le roman «populaire»*]) или того или иного претендента на титул писателя (и т. п.) к писательской популяции. Такой анализ не учитывает важнейшего свойства культурного поля — борьбы дефиниций, направленной на ограничение круга лиц, обладающих правом участия в этой борьбе. Борьба за определение границ популяции и условий принадлежности вовсе не абстрактна: расширения круга лиц, имеющих право голоса в том, что касается литературы, достаточно для радикальной трансформации реалий культурного производства и самой идеи «писательства».¹¹ Отсюда следует, что результаты любого опроса, в цели которого входит установление свойств писателей или художников в момент обследования, предопределены отбором субъектов статистического анализа.¹²

Разорвать замкнутый круг можно, только распознав его как таковой. В задачи исследования должен входить сбор соперничающих друг с другом дефиниций, анализ расплывчатости, присущей их применению в социуме, и разработка средств описания социальных оснований этих дефиниций. Например, статистический анализ того, как

разнообразные показатели признания (такие, как номинации, премии, включение в разного рода «списки рекомендуемой литературы»), санкционируемые канонизирующими инстанциями (академиями, системой образования, комиссиями по номинации и т. д.), распределяются по социально охарактеризованным группам производителей, может прояснить, какие именно факторы контролируют доступ к тем или иным формам писательского статуса, и следовательно, каково имплицитное или эксплицитное содержание примененных в каждом конкретном случае дефиниций.

Но есть и другой способ вырваться из замкнутого круга. Он предполагает создание модели процесса канонизации, превращающего писателей в институты. Такую модель можно создать на основе анализа того, какие формы в разные эпохи приобретает литературный пантеон. Материалом такого исследования должны стать как документы: перечни лауреатов, учебники, пособия, антологии и т. д., — так и монументы: статуи, портреты, бюсты, медальоны с изображениями «великих людей» (вспомним, какое значение придает Фрэнсис Гаскелл написанной Деларошем в 1837 году и помещенной в амфитеатре Школы изобразительных искусств картине, изображающей пантеон «освященных» художников того времени).¹³ Можно было бы, комбинируя различные методы, проследить процесс канонизации во всем разнообразии его форм и выражений (открытие памятников и мемориальных досок, называния улиц в честь писателей, создание обществ памяти писателей, включение в университетские программы и т. д.), описать флуктуации «рыночных котировок» различных авторов (по кривым продаж их книг и по количеству написанных о них статей), прояснить логику борьбы за реабилитацию и т. д. Не в последнюю очередь, такая работа помогла бы нам эксплицировать процесс сознательной или неосознанной индоктринации, благодаря которому установившаяся иерархия представляется чем-то само собой разумеющимся.¹⁴

Объектом притязаний в борьбе дефиниций (или классификаций) являются границы (между жанрами, между

дисциплинами или между способами производства внутри одного и того же жанра). Защита существующего в поле порядка предполагает охрану границ и контроль за доступом в поле. Расширение круга производителей является одним из важнейших медиаторов, посредством которых внешние изменения сказываются на соотношении сил внутри поля: приток «новобранцев» вызывает великие потрясения поля. Новые агенты, уже в силу эффекта, производимого их количеством и социальным качеством, приносят инновации в материал и технику производства и пытаются — или заявляют о попытке — навязать полю производства культуры новые критерии оценивания продукции.

Тот, кто вызывает в поле некоторый эффект, уже существует в поле, даже если речь идет о простейших реакциях сопротивления или отторжения. Поэтому доминирующим агентам трудно бороться с угрозой, которая содержится в любой попытке переопределить негласные или эксплицитные условия допуска в поле: самый факт борьбы против «новичков», существования которых они не хотят признавать, дает «новичкам» право на существование. «Свободный театр» [*«Théâtre libre»*] активно вошел в субполе драмы только после того, как подвергся атаке со стороны официальных защитников буржуазного театра; более того, они существенно помогли «Свободному театру» добиться скорейшего признания. И можно множить до бесконечности примеры ситуаций, в которых маститые культурные производители обречены, как в «делах чести» и во всех символических конфликтах, на колебания между жестом презрения (и риском, что такой жест будет неправильно прочитан как признак постыдного бессилия или трусости) и открытым осуждением и призывом «не допустить», которые поневоле содержат в себе некоторую форму признания и, в определенном смысле, «делают честь» противнику.

Одним из важнейших свойств поля является степень институционализации его границ — т. е. то, в какой степени динамические пределы, охватывающие все пространство, в котором ощущается действие эффектов поля,

обращены в юридическую границу, защищенную эксплицитно кодифицированным правом доступа (например, научные титулы, успехи в конкурсах и т. д.) или мерами исключения и дискриминации (например, все ограничения, призванные обеспечить *numerus clausus*). Высокая кодифицированность допуска в игру говорит о существовании эксплицитных правил игры и минимального консенсуса в отношении этих правил; напротив, низкая степень кодификации соответствует состояниям поля, в которых правила игры являются одновременно и ставкой в игре. Для литературных и артистических полей, в отличие от поля университетской науки, характерна очень слабая кодификация. Эти поля отличает чрезвычайная проницаемость границ, крайнее разнообразие дефиниций предлагаемых постов и множественность соперничающих принципов легитимности. Слабая кодифицированность допуска в поля культуры подтверждается статистическим анализом свойств агентов, из которого видно, что эти поля не требуют от входящих в них ни такого объема унаследованного экономического капитала, как поле экономики, ни такого объема образовательного капитала, как университетское субполе или как некоторые секторы поля власти (например, высшая бюрократия).¹⁵

Именно в силу того, что литературное и артистическое поле представляет собой одну из неясно очерченных областей в социальном пространстве и предлагает плохо определенные «лосты» (не «готовые», а такие, которые еще предстоит учредить, и потому крайне эластичные и не предъявляющие слишком строгих требований), а также карьерные пути, размытые и полные неясностей (в отличие от бюрократических карьер, предлагаемых, например, университетской системой), оно притягивает и собирает агентов, совершенно различных в своих свойствах и диспозициях, а следовательно, и в амбициях. Часто эти агенты бывают достаточно уверены в себе и материально независимы, чтобы пренебречь университетской карьерой или карьерой администратора и пойти на риск, связанный с выбором рода занятий, не являющимся «работой» в собственном смысле слова (поскольку ее почти всегда

приходится совмещать с рентой или с профессией, которая «кормит»).

«Профессия» писателя или художника, несмотря на все усилия писательских ассоциаций, пен-клубов и т. д. — одна из наименее кодифицированных. Эта «профессия» также одна из наименее способных полностью определить (и прокормить) агентов, связавших с ней свою жизнь: для того чтобы заниматься тем, что они рассматривают в качестве своего главного дела, им часто приходится находить дополнительное занятие — источник основного дохода. Но символические выгоды, которые приносит этот двойной статус, очевидны; осознающий себя писателем может довольствоваться скромными работами «ради куса хлеба», предлагаемыми либо самой профессией (например, редактор или корректор), либо смежными институтами: журналистикой, телевидением, радио, кинематографом и т. д. Достоинством всех этих работ, для каждой из которых находится эквивалент в профессиональном искусстве, является то, что занимающиеся ими попадают в самую гущу «среды», туда, где циркулирует информация, входящая в специфическую компетенцию писателя и художника, где заводятся знакомства и приобретаются «связи», помогающие добиться публикаций, и где иногда завоевываются позиции обладания специфической властью — статус издателя, редактора журнала, составителя сборника или коллективного труда; в свою очередь, эти позиции могут способствовать росту специфического капитала (в виде обязательных знаков почтения, которыми новички платят за помощь с публикациями, опеку, советы и т. д.).

По этим же причинам литературное поле столь притягательно для агентов, которые обладают почти всеми, но все-таки не всеми, свойствами доминирующих, и столь гостеприимно по отношению к этим агентам: «бедным родственникам» знаменитых буржуазных династий, разорившимся или выродившимся аристократам, представителям угнетенных меньшинств, например евреям или иностранцам; всем, кого уязвимость и внутренне противоречивая социальная идентичность так или иначе предрас-

полагает к противоречивой позиции угнетенного, слабейшего из господствующих.¹⁶

Так, например, расовая дискриминация в интеллектуальном и артистическом поле (за исключением «буржуазного» театра, предполагающего непосредственный контакт между автором и публикой) в целом значительно слабее, чем в других полях. Представители «гонимых» меньшинств, для которых закрыты другие доминирующие — в частности, политические — позиции, склонны к инвестициям в образование и карьеры, дающие доступ к открытым позициям в культурном поле. В любом случае, из-за того, что в персонаже интеллектуала или писателя очень большое значение придается стилю и «стилю жизни», расовая дискриминация в этих полях выражена намного слабее чисто социальной дискриминации (особенно против провинциалов), о чем свидетельствуют бесчисленные проявления классового расизма в интеллектуальной полемике.

Ни Маркс, ни Гегель

В конфликтах литературного поля формулируются специфические интересы, которые определяют собственно литературную позицию [*prises de position littéraires*], и даже политические взгляды литераторов [*prises de position politiques*] за пределами литературного поля. Историки (например, Роберт Дарнтон), привыкшие двигаться в противоположном направлении, в результате обнаруживают то, в чем политическая революция может быть обязана противоречиям и конфликтам в Республике словесности.¹⁷ В действительности же отношение к буржуазии реально переживается писателями и художниками только через посредство отношения к «буржуазному искусству» или, в более общем смысле, к агентам и институтам, выражающим или воплощающим «буржуазное» принуждение внутри поля (таким, как торговец картинами или «буржуазный художник»). Именно об этом напоминает нам Бодлер: «Если и бывает что-то отвратительнее, чем буржуа, то это — буржуазный художник». Внешние детерми-

нирующие факторы оказывают влияние только через посредство специфических сил и форм поля, т. е. только претерпев реструктурирование.¹⁸ Эффект реструктурирования тем более значителен, чем автономнее поле и чем агрессивнее оно утверждает свою специфическую логику, которая есть не что иное, как объективация в механизмах и институтах всей истории поля.

Понимая поле культурного производства как автономный социальный универсум, мы избегаем редукции, присущей всем более или менее утонченным разновидностям теории «отражения». Теория «отражения» лежит в основе марксистского анализа произведений культуры, в частности у Лукача и Гольдмана, — чаще всего имплицитно, видимо, потому, что в эксплицитном виде она совершенно беззащитна. В самом деле, предполагается, что для понимания произведения искусства необходимо понять мировоззрение некоторой социальной группы, на которую опирался или которую имел в виду автор, работая над произведением. Эта группа, заказчик или адресат, или то и другое вместе, якобы выражает себя посредством художника, который, как некий медиум, способен высказывать, не ведая о том, истины и ценности группы, необязательно осознаваемые самой группой. Но о какой именно группе идет речь? О той ли, из которой происходит художник? Но она может не совпадать с группой, к которой принадлежит его публика. Или о группе, являющейся основным или предпочитаемым адресатом? Но всегда ли существует такой адресат и всегда ли только один? Нет никаких оснований полагать, что «явный» адресат, если таковой имеется (заказчик, объект посвящения и т. д.), является истинным адресатом произведения, и, в любом случае, что причина или цель производства сводимы к адресату. В лучшем случае адресат может послужить лишь случайным поводом; общий конструктивный принцип литературного предприятия определяется всей структурой и историей культурного поля и, через посредство этого поля, всей структурой и историей рассматриваемого социального мира.

Исследователи, забывающие о внутренней логике и истории поля и стремящиеся «привязать» произведение к

группе, для которой оно объективно предназначалось, превращают художника в бессознательный рупор социальной группы, впервые узнающей из произведения о своих собственных мыслях и чувствах. Этот подход волеиневолей приводит к заключениям, уместным скорее в метафизике. Вот пример подобного рассуждения: «Может ли быть сосуществование такого искусства и такой общественной ситуации простой случайностью? Конечно, Форе не стремился к этому сознательно, но появление его "Мадригала" в том самом году, когда тред-юнионизм завоевал общественное признание и 42 тысячи рабочих устроили сорокашестидневную забастовку в Анзене, бесспорно послужило своего рода отвлекающим маневром: уход в сферу индивидуальных любовных переживаний предлагается в качестве альтернативы классовой борьбе. Высшая буржуазия обращается к своим музыкантам и к их "фабрикам иллюзий" для того, чтобы обеспечить себя политически и социально необходимыми фантазиями».¹⁹

Чтобы понять произведение «чистого искусства», например этуод Форе, Дебюсси или стихотворение Малларме, не сводя его к примитивному компенсаторному эскапизму и отрицанию социальной реальности, следовало бы прежде всего прояснить все, что заложено в позиции «чистого» литератора (или музыканта), и следовательно, в том, как поэзия (или музыка) определяет себя в 1880-х годах. Эта позиция венчает длительный процесс рафинирования и сублимации, начатый в 1830-х предисловием к «Мадемуазель де Мопен» Теофиля Готье; продолженный Бодлером и парнасцами; доведенный до крайности, до области бесконечно малых величин, Стефаном Малларме.

Нужно было бы также определить в этой позиции все привнесенное «отталкиванием» от натуралистического романа и сближением со всеми формами реакции против натурализма, сциентизма и позитивизма: с психологическим романом, находящимся, конечно, на передовой линии в этом сражении; с антипозитивистским движением в философии (Фуйе, Лашелье и Бутру); с «открытием» русского «мистического» романа (Вогюэ); с волной обращений в католицизм и т. д.

Затем следовало бы изучить персональную и семейную траекторию Малларме и выделить факторы, в силу которых Малларме смог занять социальный пост «чистого поэта» и завершить труд всех своих предшественников, участвовавших в формировании этого «поста». К таким факторам, по наблюдениям Реми Понтонна,²⁰ относится, в частности, нисходящая социальная траектория, обрекшая Малларме на «уродливый труд педагога» и обусловившая его пессимизм и герметичность (т. е. антипедагогичность) его языка — еще один способ вырваться из неприемлемой социальной реальности.

Наконец, осталось бы объяснить «совпадение» продукта этого набора специфических факторов с разнообразными ожиданиями и настроениями слабеющей аристократии и напуганной буржуазии, в частности, с ностальгией по былому величию, выразившейся как в пристрастии к XVIII столетию, так и в уходах в мистицизм и иррационализм. Пересечение двух независимых друг от друга каузальных серий и создаваемая этим пересечением видимость предустановленной гармонии между свойствами произведения и социальным опытом привилегированных потребителей является своего рода ловушкой. В нее попадают те, кто, стремясь избежать внутреннего чтения текста и внутренней истории искусства, приходят к прямому взаимоотношению эпохи и произведения: при этом и произведение, и период сводятся к нескольким схематичным характеристикам, подобранным для доказательства избранного тезиса.

Короче, тщетны все попытки установить непосредственную связь между произведением и социальной группой, которая производит производителя или потребляет культурную продукцию. Произведение и группу разделяет целый социальный мир, который переопределяет смысл запросов и требований и закрепляет за габитусами производителей сферы их приложения, устанавливая пространство возможностей, в которых и посредством которых реализуются и приводятся в действие габитусы. Чтобы ухватить суть этого эффекта поля, которое действует как «проявитель» габитусов, достаточно (последовав при-

меру тех логиков, которые допускают существование у каждого индивидуума набора своего рода «двойников» в других возможных мирах: людей, каждым из которых он мог бы быть, если бы мир был другим)²¹ попытаться представить себе, кем могли бы быть Баркос, Флобер или Золя, если бы они в другом состоянии поля нашли другую возможность проявить свои диспозиции. Эта операция проделывается спонтанно всякий раз, когда мы задаемся вопросом о том, какое исполнение старинного музыкального произведения уместнее: на клавишине — инструменте, для которого оно изначально предназначалось, — или на фортепьяно, которым воспользовался бы «двойник» автора, сочиняющий в наше время, т. е. в мире, содержащем новый инструмент. При этом мы понимаем, что воображаемый композитор, сочиняя он для фортепьяно, несомненно реализовал бы свои интенции иначе, да и сами интенции были бы иными.

Итак, только принимая во внимание специфическую логику поля, можно адекватно понять форму, которую принимают внешние детерминирующие факторы при переводе на язык этой логики. Это относится как к социальным детерминирующим факторам, в течение длительного времени формирующим габитус производителей, так и к факторам, действующим в поле непосредственно в момент создания произведения: экономический кризис, расширение рынка сбыта, революция или эпидемия.²² Иными словами, экономические и морфологические факторы воздействуют только через посредство специфической структуры поля и могут претерпеть при этом самые неожиданные трансформации; например, эффекты экономической экспансии общества ощущаются в поле посредством таких медиаторов, как увеличение количества производителей или рост читательской или зрительской аудитории.

В более широком смысле, понимание каждого из пространств культурного производства как поля означает отказ от всех разновидностей редукционизма. Любой редукционизм является уплощающей проекцией одного пространства на другое, которая приводит к осмыслению

различных полей и их продукции в чуждых им категориях (как в случае с теми, кто видит в философии «отражение» науки, выводя, например, метафизику из физики).

Точно так же нужно подвергнуть научному испытанию понятие «культурной общности» периода или общества, наличие которойистики литературы и искусства принимают в качестве негласного постулата. Причем в основе теорий «культурных единств» или «культурных общностей» лежит что-то вроде «разбавленного» гегельянства²³ или (но не одно ли это и то же?) более или менее подновленный извод культурализма (пусть даже такая версия, для которой Фуко нашел теоретическую опору в понятии эпистемы — т. е. в своего рода *Wissenschaftswollen*, очень близкой к «старой доброй» *Kunstwollen*²⁴).

Применительно к каждой из рассматриваемых исторических конфигураций, нужно проанализировать:

— с одной стороны, структурные гомологии между различными полями; именно эти гомологии (а не заимствования из поля в поле) часто оказываются источником схождений и соответствий,

— и, с другой стороны, прямые обмены между полями. Само существование этих обменов и то, какие формы они принимают, зависит от позиций, занимаемых в соответствующих полях агентами — участниками обмена; следовательно, от структуры этих полей и от их места в иерархии полей.²⁵

Исследователь, выбирающий в качестве основания для определения границ и построения объекта географическое единство (Базель, Берлин, Париж или Вена), рискует вернуться к определению единства через *Zeitgeist*. При этом предполагается, что члены одного «интеллектуального сообщества» разделяют общие проблемы, связанные с некоторой общей ситуацией (например, проблема отношений между видимым и реальным), и влияют друг на друга.

Если мы осознаем, что каждое поле — поле музыки, поле живописи, поле поэзии и т. д. — обладает автономной историей, которая определяет его специфические правила и ставки, мы увидим, что интерпретация в рамках

уникальной для данного поля (или дисциплины) истории должна предшествовать интерпретации в современном для исследуемого явления контексте, идет ли речь о контексте других полей культурного производства или о контексте политического и экономического поля. Тогда фундаментальным становится вопрос о том, достаточно ли значительны социальные эффекты пространственного единства, — такие, как совместное пользование специфическими местами встреч (литературные кафе, журналы, кружки, салоны и т. п.) или влияние одних и тех же культурных фактов (произведений, служащих общим источником, насущных вопросов, знаменательных событий) — для того, чтобы обусловить, за пределами автономии различных полей, общую проблематику. При этом общая проблематика понимается не как *Zeitgeist* — духовная общность или общность стиля жизни, но как пространство возможного, система возможных проявлений, в отношении к которой каждый агент должен определить свое место. И только затем можно внятно сформулировать вопрос о специфике национальных традиций.

Разные национальные традиции в разной степени благоприятствуют формированию культурного центра, культурной столицы; в разной степени поощряют специализацию (жанров, дисциплин и т. п.) или, наоборот, взаимодействие между представителями различных полей; некоторые традиции не препятствуют или даже способствуют производству интеллектуальной позиции, расположенной над всеми культурными полями — позиции тотального интеллектуала (например, Сартр во Франции); разные традиции канонизируют разные конфигурации иерархии искусств (с постоянным или обусловленным ситуацией приматом музыки, живописи или литературы и т. п.) или научных дисциплин.²⁶

Позиции, диспозиции и манифестации

Поле представляет собой сеть объективных отношений (господства или подчинения, взаимодополнительности или антагонизма и т. д.) между позициями. Позиции

могут соответствовать определенному жанру (например, роману) или, внутри жанра, частным подразделениям («светский» роман); в другой логике, к позициям относятся журналы, салоны, кружки и т. п.

Каждую позицию объективно определяет ее объективное отношение к другим позициям. Или, в других терминах, каждая позиция объективно определяется на основании системы существенных (т. е. действенных) свойств, которые позволяют соотнести ее место в структуре глобального распределения свойств со всеми остальными позициями. Само существование любой позиции и те принуждения и ограничения, которые она накладывает на агентов, зависят от действительного или возможного расположения этой позиции в структуре поля. Структура поля — это структура распределения разновидностей капитала (или власти), обладание которыми приносит специфические выгоды (например, литературный престиж), «разыгрываемые» в поле. Различным позициям (о границах которых во вселенной столь слабо институционализированной, как литературное поле, можно судить только по свойствам занимающих их агентов⁷¹) соответствуют гомологичные им манифестации [*prises de position*, буквально «вырабатывание» или «занимание» позиций]. К манифестациям относятся, в первую очередь, произведения литературы или живописи, но также и политические акции и выступления, манифесты, полемика и т. п. Гомология позиций и манифестаций освобождает нас от необходимости выбирать между «внутренним» чтением и поиском объяснения в общественных условиях производства или потребления произведения.

Сеть объективных отношений между позициями определяет и ориентирует стратегии, которыми пользуются агенты в борьбе за сохранение или улучшение своих позиций: эффективность и конкретное содержание этих стратегий зависят от места каждого агента в структуре силовых отношений. Позиции и манифестации находятся в состоянии неустойчивого равновесия, при этом пространство позиций, в общем случае, определяет пространство манифестаций. Радикальные трансформации пространства ма-

нифестаций (литературные или артистические революции) возникают только в результате изменения силовых отношений, конституирующих пространство позиций; эти изменения сами, в свою очередь, становятся возможными благодаря встрече бунтарских устремлений некоторой фракции производителей с ожиданиями некоторой фракции внешней или внутренней публики, т. е. благодаря трансформациям в отношениях между культурным полем и полем власти. Когда новая литературная или артистическая группа заявляет о своем присутствии в поле, вся проблематика оказывается видоизмененной: появление группы (т. е. утверждение ее отличий от всего существующего) трансформирует пространство возможностей выбора; например, ранее доминирующая продукция может быть вытеснена в область «старья» или может приобрести статус классики.

Поле сил является одновременно и полем боя за изменение соотношения сил. Манифестации (произведения, манифесты, политические выступления и т. д.) могут и должны быть в целях анализа представлены как «система» оппозиций. Однако «системность» в данном случае — отнюдь не продукт некоей «связующей» интенции [*d'une intention de coherence*] и тем более не результат объективно существующего консенсуса. Манифестации являются предметом притязаний в непрекращающейся борьбе и порождением этой борьбы. Иначе говоря, порождающим и унифицирующим принципом этой «системы» оппозиций — и противоречий — является сама борьба: до такой степени, что факт вовлеченности в борьбу в качестве повода, объекта или субъекта нападков, критики, полемики, аннексий и т. д. может служить главным критерием принадлежности произведения к полю манифестаций, а автора — к полю позиций.

Пространство манифестаций обладает автономной логикой. Следовательно, соответствие между той или иной позицией и той или иной манифестацией устанавливается не напрямую, а через посредство двух систем отличий, дифференциальных расхождений, релевантных оппозиций, в которые они помещены (и мы увидим, что различ-

ные жанры, стили, формы и манеры относятся друг к другу так же, как пользующиеся ими авторы). Каждая манифестация (тематическая, стилистическая и т. д.) определяет себя (объективно, а иногда и сознательно) в отношении пространства манифестаций (соответствующих различным позициям) и в отношении к проблематике как к пространству возможностей, указанных или «подсказанных» этой вселенной. При этом отличительную ценность придает манифестации ее негативное отношение ко всем остальным, сосуществующим с ней манифестациям, с которыми она объективно соотносится и которые, гранича с нею, определяют ее границы. Из этого следует, например, что несмотря на то, что сама манифестация (будь то жанр или некоторое произведение) остается неизменной, ее смысл и ценность изменяются автоматически при любом изменении пространства возможностей, из которых могут выбирать, и производители и потребители культурной продукции.

Этот эффект сказывается прежде всего на так называемых классических произведениях, которые постоянно изменяются по мере того, как изменяется универсум сосуществующих с ними текстов. Он особенно наглядно проявляется в тех случаях, когда простое повторение произведения искусства прошлого, осуществленное в радикально трансформированном поле возможностей, автоматически воспринимается как пародия (в театре, например, в силу действия этого эффекта, актерам приходится давать понять зрителю, что от текста, который уже невозможно принять за чистую монету в том виде, в каком он был написан, их отделяет некоторая дистанция). Очевидно, что попытки писателей контролировать восприятие своих произведений всегда отчасти обречены на неудачу: сам эффект, произведенный текстом, изменяет условия его восприятия, и они не стали бы писать многое из того, что написали, или написали бы это иначе (например, не впадая в крайности, противоположные тем, от которых они отталкивались), обладай они с самого начала тем, что дается им ретроспективно.

Таким образом, мы избегаем увековечивания и абсолютизации, в которые впадает теория литературы, пре-

вращающая в трансгисторическую сущность жанра все свойства, которыми он обязан своей позиции в (иерархической) структуре различий. Но это не обрекает нас тем самым на историцистскую погруженность в единичность некоторой частной ситуации: на самом деле, только сравнительный анализ того, как варьируются реляционные свойства различных литературных объектов, в частности жанров, в различных полях, может привести к установлению подлинных инвариантов. К инвариантам относится, например, тот факт, что иерархия жанров (или, в другом универсуме, дисциплин) является одним из важнейших факторов, определяющих, всегда и везде, практики производства и восприятия произведений.

Следовательно, поле манифестаций нельзя рассматривать в качестве вещи в себе и для себя, т. е. независимо от реализуемого в нем поля позиций. Именно этот недостаток свойствен всем формам «системного» анализа произведений искусства, основывающимся на переносе фонологической модели. Необходимо осмыслить реляционно не только символические системы — что уже сделано применительно к языку (Соссюр), мифу (Леви-Строс), любому другому набору символических объектов, — но также и социальные позиции, которые находят свое выражение в различных социальных применениях этих символических систем.

Следуя всецело характерной для символического структурализма логике и осозная, что никакой культурный продукт не может существовать сам по себе, вне отношений взаимозависимости, связывающих его с другими продуктами, Мишель Фуко предлагает называть «полем стратегических возможностей» «упорядоченную систему различий и наложений», внутри которой определяется место любого индивидуального произведения.²⁸ Однако — и в этом отношении Фуко очень близок к семиологам, таким как Трир, и к их интерпретации идеи «семантического поля» — он отказывается искать за пределами «поля дискурса» принцип, который прояснил бы каждый из дискурсов внутри этого поля: «если анализ “физиократов” принадлежит к тому же типу дискурса, что

и анализ “утилитариев”, то причина этого вовсе не в том, что они жили в одну и ту же эпоху, сталкивались друг с другом внутри одного и того же общества, и не в том, что их интересы были переплетены в одной и той же экономике. Причина в том, что обе возможности предоставляются общим для тех и для других распределением точек выбора, общим стратегическим полем». ²⁹ Короче, Фуко переносит в плоскость потенциальных манифестаций стратегии, которые порождаются и осуществляются в социологической плоскости позиций; таким образом, он отказывается от любого соотнесения произведений с общественными условиями их производства. Фуко эксплицитно отвергает как «доксологическую иллюзию» любые попытки обнаружить в «поле полемики» и в «расхождениях интересов и ментальностей индивидуумов» детерминирующий принцип происходящего в «поле стратегических возможностей», ³⁰ который, согласно его концепции, содержится исключительно в «стратегических возможностях концептуальных игр». Бессмысленно отрицать специфическое влияние, оказываемое возможностями, заложенными в определенном состоянии пространства манифестаций, — в объяснении этого феномена как раз и состоит одна из функций понятия относительно автономного и обладающего собственной историей поля. Тем не менее, невозможно, даже говоря о научном поле и о наиболее абстрактных науках, рассматривать строй культуры («эпистему») в качестве некоей автономной, трансцендентной системы, наделенной имманентной склонностью к видоизменениям, которые осуществляются под воздействием таинственного *Selbstbewegung*'а и принцип которых лежит (как у Гегеля) во внутренних противоречиях самой системы.

Это возражение относится и к русским формалистам. ³¹ Формалисты рассматривают исключительно систему произведений, т. е. «систему отношений между текстами» (и, во вторую очередь, отношения, определяемые, впрочем, очень абстрактно, между этой системой и другими системами, входящими в «систему систем», образующую общество, — в этом они приближаются к Талкотту Парсонсу). Тем самым и эти теоретики культурной семиоло-

гии или культурологии вынуждены внутри самой литературной системы искать принцип ее динамики. От их внимания не ускользает тот факт, что то, что они называют «литературной системой», — отнюдь не гармоничная и сбалансированная структура на манер соссюрковского языка, — является в каждый момент ареной конфликтов между соперничающими школами, между канонизированными и неканонизированными авторами и пребывает в состоянии неустойчивого равновесия противоположных тенденций. Однако формалисты (особенно Тынянов) продолжают верить в имманентное развитие литературной системы и, как и Фуко, остаются очень близки к соссюрковской философии истории, утверждая, что все литературное (или, у Фуко, научное) определяется исключительно внутренними условиями литературной (или научной) системы.³² В отличие от Вебера, формалисты не считают, что принцип изменений нужно искать в борьбе между «рутинизирующей» ортодоксией и «дебанализирующей» ересью. Поэтому им не остается ничего другого, как сделать из процесса автоматизации и деавтоматизации (дебанализации, остранения) что-то вроде естественного закона изменений в поэтике и вообще в культуре. Формалисты утверждают, что «износ», связанный с многократным повторным использованием одних и тех же литературных средств выражения (обреченных на превращение в нечто «столь же мало осязаемое, как грамматические формы языка»), приводит к их «автоматизации», которая затем с необходимостью вызывает «деавтоматизацию». «Требование непрерывной динамики, — пишет Тынянов, — и вызывает эволюцию, ибо каждая динамическая система автоматизируется обязательно, и диалектически обрисовывается противоположный конструктивный принцип».³³ Почти тавтологический характер этих пропозиций, напоминающих мольеровское «усыпляющее свойство сновотворного», неизбежно вытекает из смешения двух планов: плана произведений, которые формалисты, обобщая теорию пародии, описывают как ссылающиеся друг на друга, и плана объективно существующих в поле производства позиций и антагонистических интересов, связанных

с этими позициями. (Это смешение, совершенно тождественное тому, которое допускает Фуко, говоря о поле произведений как о «стратегическом поле», находит свое символическое и сконцентрированное выражение в двусмысленности понятия «установка»: термин может быть переведен на французский и как *position* <«позиция»>, и как *prises de position* <«заяние, выбор, выражение позиции», «манифестация»>, в смысле «установления позиции по отношению к чему-либо».¹⁴)

Несомненно, форма и направление изменения действительно зависят от «состояния системы», т. е. от конкретного репертуара реальных или потенциальных возможностей, предоставляемых в некоторый момент пространством культурных манифестаций (произведениями, школами, культовыми фигурами, наличествующими жанрами и формами и т. д.). Но они также — и прежде всего — зависят от баланса символических сил между агентами и институтами. Агенты и институты жизненно заинтересованы в возможностях, которые являются одновременно и целью и орудием борьбы; они пользуются всеми имеющимися в их распоряжении силами для того, чтобы привести в действие, актуализовать те возможности, которые более всего соответствуют их намерениям и специфическим интересам.

Итак, собственным объектом науки о произведениях искусства является отношение между двумя структурами:

— структурой объективных отношений между позициями в поле производства (и между производителями, занимающими эти позиции),

— и структурой объективных отношений между манифестациями [*prises de position*] в пространстве произведений.

Вооружившись гипотезой о гомологии этих структур, исследователь может, восстановив осцилляцию между двумя пространствами и между одними и теми же данными, принимающими в этих пространствах различные облики, собрать информацию, которую предоставляют одновременно и тексты, прочитанные в контексте их взаимоотношений, и свойства агентов и их позиций, также

понятые в контексте их объективных отношений. В той или иной стилистической стратегии можно найти отправную точку для анализа траектории ее автора; та или иная биографическая подробность может побудить к новому прочтению некоторой формальной особенности произведения или некоторого свойства его структуры.

Только разрешив противоречия, оставленные в трудах тех, кто ближе всего подошел к строгой науке о символических системах — русских формалистов и членов пражского кружка,³⁵ — можно обосновать науку о произведениях культуры, которая преодолевает альтернативу внутреннего понимания и внешнего объяснения. Точнее, избежать выбора между имманентной философией эволюции литературных систем (науки, искусства, литературы и т. д.) и концепцией, называемой иногда социологической, которая объявляет движущей причиной изменений «социальные силы», можно только при условии ясного различения между:

— с одной стороны, пространством произведений, понимаемых в их взаимоотношениях, т. е. понимаемых как историческая структура осуществляемых в определенный момент манифестаций,

— и, с другой стороны, пространством социально институционализированных позиций, которые конституируют поле производства как силовое поле и поле борьбы за трансформацию сил.

Принцип изменений, претерпеваемых произведениями, бесспорно лежит в поле культурного производства, понимаемом как социальное пространство. Этот принцип нужно искать в схватках между агентами и институтами, чьи стратегии продиктованы заинтересованностью в сохранении или изменении структуры распределения специфического капитала, и следовательно, в абсолютизации или, напротив, в ниспровержении существующих конвенций. Но ставки в борьбе между обладателями и соискателями, между «правоверными» и «еретиками», и само содержание стратегий, которыми они могут воспользоваться для продвижения своих интересов, зависят от пространства уже осуществленных манифестаций. Последнее,

функционируя как проблематика, определяет пространство возможных манифестаций и направляет, таким образом, поиск решений, а следовательно, и эволюцию продукции. И с другой стороны, как бы велика ни была автономия поля, шансы на успех консервативных или субверсивных стратегий всегда отчасти зависят от поддержки, которую тому или другому лагерю удастся привлечь извне (например, от новой клиентуры).

«*Illusio*» и производство искусства как фетиш

Каждое поле подразумевает и производит свою особую форму *illusio*, т. е. вовлеченности в игру [*investissement dans le jeu*]. *Illusio* выводит агентов из состояния безразличия и побуждает к приведению в действие тех различий, которые существенны с точки зрения логики поля, к распознаванию того, что важно (то, что «меня задевает», *inter-est*, в противоположность тому, что «все равно», безразлично, *in-différent*) с точки зрения фундаментального закона поля. Столь же верно и то, что никакая игра невозможна без некоторой формы приверженности к игре, веры в ценность «разыгрываемого», благодаря которой игра оказывается стоящей затраченных на нее усилий. На «тайном сговоре», «сыгранности» [*collusion*] агентов в *illusio* основывается конкуренция, которая, противопоставляя агентов друг другу, собственно и составляет сущность игры. Таким образом, *illusio* является необходимым условием функционирования игры и, по крайней мере отчасти, ее продуктом.

Эта заинтересованная вовлеченность в игру устанавливается в спонтанном и исторически обусловленном взаимодействии между габитусом и полем, двумя историческими институтами, в которых действует один и тот же (за исключением некоторых деталей) фундаментальный закон; она является сущностью этого взаимодействия. Следовательно, она не имеет ничего общего с той эманацией человеческой природы, которую часто имеют в виду, говоря о понятии интереса.³⁶

Каждое поле (религиозное, артистическое, научное, экономическое и т. д.), навязывая особую форму регуляции практик и репрезентаций, предлагает агентам легитимную форму реализаций их желаний, основывающуюся на присущей данному полю форме *illusio*. Именно в отношении между, с одной стороны, чувством игры — системой диспозиций, произведенной полностью или частично структурой и функционированием поля, и, с другой стороны, системой объективных возможностей, предлагаемых полем как пространством игры, определяется в каждом случае система (действительно) искомых удовлетворений и зарождаются стратегии (которые могут сопровождаться или не сопровождаться эксплицитным осознанием игры).³⁷

Производителем ценности книги или картины является не автор, а поле производства, которое, в качестве универсума веры, производит ценность произведения искусства как фетиша, продуцируя веру в творческую силу автора. Произведение искусства существует как символический объект, представляющий ценность, только когда оно распознано и признано, т. е. социально институционализировано как произведение искусства читателями или зрителями, обладающими диспозицией и эстетической компетентностью, необходимой для того, чтобы распознать и признать его в этом качестве. Следовательно, наука о произведениях искусства должна рассматривать в качестве своего объекта не только материальное, но и символическое производство, т. е. производство ценности произведения, или, иными словами, производство веры в ценность произведения. Эта наука должна учитывать не только непосредственных изготовителей произведения в его материальности (художников, писателей и т. п.), но также и целый ансамбль агентов и институтов, участвующих в производстве ценности произведения посредством производства веры в ценность искусства вообще и веры в отличительную ценность того или иного шедевра. Сюда входят критики, историки искусства, издатели, арт-дилеры, владельцы галерей, музейные кураторы, покровители, коллекционеры, канонизирующие инстанции (салоны,

академии, жюри конкурсов и т. п.). Нужно также учесть систему политических и административных органов, уполномоченных заниматься делами искусства (различных, в зависимости от эпохи, министерств, таких как Управление национальных музеев или Управление изящных искусств), которые могут воздействовать на рынок искусств либо посредством вердиктов о канонизации, связанных или не связанных с экономическими поощрениями (заказами, пенсиями, премиями, стипендиями), либо посредством регламентации (налоговых льгот для меценатов или коллекционеров). И наконец, нельзя упускать из вида представителей институций, занятых в производстве производителей (школы изящных искусств и т. п.) и в производстве потребителей, способных признать произведение искусства как таковое, т. е. как ценность, начиная с учителей и родителей, ответственных за первоначальное усвоение артистических диспозиций.³⁸

Это означает, что для того чтобы дать науке об искусстве ее подлинный объект, нужно разорвать не только с традиционной историей искусств, даже и не пытающейся оказать сопротивление «фетишизму имени мэтра», о котором говорил Беньямин, но также и с социальной историей искусств, которая только внешне отказывается от традиционного построения объекта. В самом деле, ограничивая анализ социальными условиями производства отдельного автора (сводимыми чаще всего к происхождению и образованию), социальная история искусств смиряется с существом традиционной модели художественного «творения», согласно которой художник является единственным производителем произведения и его ценности. И хотя в рамках этой науки и проявляется интерес к адресатам и заказчикам, вопрос об их вкладе в сотворение ценности произведения и самого творца не ставится никогда.

Коллективная вера в игру (*illusio*) и в сакральную ценность того, что разыгрывается, является одновременно и необходимым условием и продуктом игры; она лежит в основе власти «освящения», позволяя «освященным» художникам превращать чудом подписи определенные

продукты в сакральные объекты. Чтобы получить представление о коллективном труде, затрачиваемом на производство этой веры, было бы необходимо восстановить циркуляцию бесчисленных актов кредита, которыми обмениваются все агенты, вовлеченные в артистическое поле. Речь идет, в первую очередь, об актах взаимного кредита между авторами, осуществляемых на групповых выставках или в предисловиях, при помощи которых канонизированные авторы «освящают» младших, «освящаясь» ими взамен как главы школ или мэтры; между художниками и покровителями или коллекционерами; между художниками и критиками, в особенности авангардными критиками, которые «освящаются» либо когда добиваются «освящения» для опекаемых ими авторов, либо когда «открывают» и по-новому оценивают малоизвестных авторов, активизируя и доказывая тем самым свою власть «освящать», и т. д.

Бессмысленно искать абсолютного гаранта или гарантии для ничем не обеспеченной валюты, каковой является власть «освящения», в каком-нибудь «центральной банке», который гарантировал бы все акты кредита — за пределами системы взаимообменов, где эта «валюта» одновременно производится и обращается. До середины XIX века в роли такого центрального банка выступала Академия, которой принадлежало исключительное право на легитимную дефиницию искусства и художника, на номос — принцип легитимного видения и разделения [*vision et division*], позволяющий отделять искусство от «неискусства», «истинных» художников, достойных публичных и официальных выставок, от остальных, отправляемых в небытие решением жюри. Образование поля соперничающих за артистическую легитимность институций привело к институционализации аномии. Институционализация аномии исключила саму возможность суждения в последней инстанции и обрекла художников на непрекращающуюся борьбу за власть «освящения» — власть, которая отныне могла быть приобретена или «освящена» только в процессе и посредством самой борьбы.

Подлинная наука о произведениях искусства возможна только при условии отстранения исследователя от собственного *illusio*. Для того чтобы конституировать культурную игру в качестве объекта анализа, нужно приостановить отношения соучастия и потворства, связывающие любого культурного человека с этой игрой. При этом нельзя забывать, что *illusio* является частью той самой реальности, которую мы стремимся понять, и, следовательно, входит в объясняющую эту реальность модель наряду со всеми факторами, участвующими в производстве и поддержании *illusio*. К таким факторам относятся и критические дискурсы, которые кажутся лишь фиксирующими ценность произведения искусства, а на самом деле участвуют в ее производстве. Конечно, необходимо отказаться от «апологетического» дискурса [*discours de célébration*], который осознает себя как «повторное творение» и «сотворчество».³⁹ В то же время нельзя забывать о том, что такой дискурс и идеология творения, утверждению которой он способствует, входят в полную дефиницию этого очень своеобразного процесса производства в качестве условий, необходимых для коллективного сотворения «творца» как фетиша.

Структура и изменение: внутренняя борьба и перманентная революция

Бесконечные изменения, которые происходят в поле узкого производства, вызывает к жизни сама структура поля, т. е. синхронные оппозиции между антагонистическими позициями (доминирующие vs. подчиненные, канонизированные vs. «новички», «старые» vs. «молодые», и т. д.). Поэтому их принцип в основном не зависит от изменений внешних, хотя одновременность изменений, происходящих внутри поля узкого производства и за его пределами — в социуме, — может создать иллюзию такой зависимости.

Позиции объективно определяются отделяющими их друг от друга дистанциями: любое изменение в простран-

стве позиций вызывает всеобщее изменение. Поэтому бессмысленно искать особое, привилегированное место изменения. Верно, что инициатива изменения почти по определению принадлежит «новичкам», самым молодым, обладающим наименьшим объемом специфического капитала. В универсуме, где «быть» значит «быть отличным, непохожим», т. е. занимать особую, отличную от всех остальных позицию, новички существуют лишь в той мере, в какой им удалось — не обязательно сознательно преследуя эту цель — утвердить свою индивидуальность, т. е. «отличность» от остальных, добиться того, чтобы о ней узнали и ее признали (т. е. «сделать себе имя»). И достичь этого можно, только навязав полю новые формы мысли и экспрессии, которые, не совпадая с господствующим способом выражения, не могут не приводить в замешательство своей «неудобопонятностью» и «немотивированностью».

Поскольку манифестации определяются в основном негативно, отношением отталкивания от других манифестаций, они часто остаются почти пустыми, сводимыми к «позе» [*parti-pris*] отказа, отличия, разрыва. «Структурно младшие» писатели, т. е. менее продвинувшиеся в процессе легитимации (а биологически иногда почти сверстники «старых» писателей, которых они стремятся вытеснить), отвергают все, что делают, и все, что представляют собой их более «освященные» предшественники; они отвергают (и иногда пародируют) все, что отмечает с их точки зрения литературное «старье» и выказывают пренебрежение ко всем показателям социального старения, начиная со знаков внутренней (академии и т. п.) или внешней (успех) «освященности». «Освященные» писатели, в свою очередь, видят в волюнтаристском, надуманном характере некоторых попыток их вытеснить «гигантскую и пустую претензию» (Золя). И действительно, по мере того как поле развивается и добивается все большей автономии, все чаще содержание литературных манифестов (вспомним хотя бы Манифест сюрреализма) оказывается сводимым к чистому заявлению об отличности (из чего, однако, не следует заключать, что их авторы движимы циничным поиском того, что их отличило бы).

История поля — продукт борьбы между «держателями» и «претендентами». Старение авторов, школ и произведений является результатом борьбы тех, кто уже составил эпоху, «занял место в истории» и борется за его сохранение, с теми, кто может «занять свое место» и «составить свою эпоху», только вытолкнув в прошлое пытающихся «остановить мгновение», защитить и сохранить существующий символический порядок⁴⁰. «Заявить о себе», «составить эпоху» — значит заставить других признать и распознать свою отличность и создать новую позицию в авангарде, за пределами и впереди уже занятых.

Появление автора, школы, произведения, способных «составить эпоху», вызывает сдвиг всего ряда предшествующих авторов, школ, произведений: учреждение новой позиции «впереди» смещает темпоральную иерархию позиций, каждая из которых сдвигается на одну ступень вниз. Произведение или эстетическое движение не сводимо ни к каким иным произведениям или движениям, занимающим другую ступень в ряду: возвраты к стилям прошлого (частые в современной живописи) всегда лишь кажутся таковыми, поскольку они отделены от стиля прошлого, к которому возвращаются, отрицанием того, что в свое время отрицало этот стиль (или отрицало отрицание и т. д.). Таким образом, каждое новое произведение неизбежно оказывается помещенным в историю поля, т. е. в исторически конституированное пространство сосуществующих и, следовательно, соперничающих произведений. Взаимоотношения между уже существующими произведениями очерчивают пространство возможных манифестаций: продолжение предшествующего, разрыв, вытеснение в прошлое.

Как не распознать эффекта поля, связанного с необходимостью отмежеваться для того, чтобы существовать, в том, например, факте, что Бретон предпочитает пойти на разрыв с Нувель Ревю Франсез Жида и Валери, чтобы избежать аннексии, которою чреваты покровительство и опека; или в том, как ожесточенно он отстаивает свою отличность в отношениях с конкурирующими группами — группой Тцара или группой Голля и Дэрме,

также претендующих на название «сюрреализм». ⁴¹ С того момента, как некоторому произведению удастся расположить себя в этом пространстве, занять отличную от других, узнаваемую позицию, это узнанное и признанное произведение начинает смещать соседние и самим фактом своего (замеченного) существования включается в процесс оценивания.

В этой перспективе нужно было бы переписать заново историю поэтических движений, которые поочередно восставали против сменявших друг друга реинкарнаций Образцового Поэта: Ламартина, Гюго, Бодлера, Малларме; опираясь на основные учредительные и законополагающие тексты (предисловия, манифесты, программы), попытаться восстановить объективную конфигурацию пространства форм и фигур, каким оно представало перед каждым из великих новаторов; выяснить, как каждый из них представлял себе свою революционную миссию: какие формы (александрийский стих, сонет, поэтическая «монотонность») или риторические фигуры (сравнение, метафора) подлежали уничтожению; на какие темы и переживания (лиризм, психология, излияния чувств) накладывался запрет. Все происходит так, как если бы поэтические революции, изгоняя из мира легитимной поэзии те приемы, которые тривиализуются под влиянием «износа», участвуют в своего рода историческом анализе поэтического языка, призванном отделить и устранить наиболее специфические эффекты и приемы (например, фоновосемантический параллелизм) ⁴².

История романа, начиная, по крайней мере, с Флобера, также может быть описана как череда попыток «убить романность», по выражению Эдмона де Гонкура. ⁴³ Речь идет о стремлении очистить роман от всего, что кажется определяющим жанр: от интриги, действия, героя. Флобер мечтает о «книге ни о чем». Гонкуры стремятся к роману «без перипетий, без интриги, без низменных развлечений». ⁴⁴ В «новом романе» растворяется линейное повествование; Клод Симон вводит квазиживописную (или музыкальную) композицию, построенную на модуляциях, периодических возвратах и внутренних соответствиях

ограниченного набора нарративных элементов: ситуаций, персонажей, мест, действий.

Этот «чистый» роман со всей очевидностью апеллирует к новому типу чтения, зарезервированному до сей поры за поэзией. Идеальным «пределом» такого чтения являются схоластические упражнения в расшифровке или в реконструкции, в основе которых лежит многократное перечитывание. Письмо содержит в себе расчет на столь трудоемкий тип чтения только потому, что в поле уже реализованы необходимые для этого условия. «Чистый» роман — продукт поля, в котором стирается граница между, с одной стороны, писателем, столь умело теоретизирующим по поводу своих текстов именно потому, что в них заложены критическая рефлексия и история жанра, и, с другой стороны, критиком, избирающим миссию читать романы не «как повествование о случившемся, но как случившееся с повествованием».⁴⁵

Замкнутость на себе сопровождается возвращением к себе, к средствам и целям той практики, за которую производитель, с того момента как он социально институционализируется в качестве «творца», осознает ответственным исключительно самого себя. Воспринимая себя как единственного творца ценностей и истин, которые он исповедует, художник не может претендовать ни на какую трансцендентную функцию или миссию, ни на какую универсальную программу или проект. Таким образом, в пределе его дискурс уже не может существовать, не заключая в себе метадискурса, который декларирует или изобличает произвольную природу дискурса. Таковы без конца напоминающие о собственной фиктивности романы Пенже, Роб-Грийе или Симона; таков (чтобы воспользоваться более отдаленным во времени примером) Манифест дада — парадоксальный дискурс, который стремится быть одновременно и тем, что он есть, т. е. манифестом, и критической рефлексией о том, что он есть, — антиманифестом, саморазрушительным манифестом.⁴⁶

Рост автономии поля культурного производства сопровождается нарастанием *рефлексивности*, которая приводит каждый из жанров к критической обращенности на

себя, на свой собственный принцип и предпосылки: и произведение искусства — *vanitas*, заявляющая о себе как о *vanitas*, — все чаще и чаще содержит своего рода самоосмеяние. Так же как череда поэтических восстаний против поэзии или лиризма привела к появлению всецело анти-поэтической поэзии, театр все в большей степени стремится избавиться от «театрального», а роман — от «романного». По мере того как поле замыкается на себе, практическое владение специфическими приобретениями всей истории жанра, которые объективированы в произведениях прошлого и зафиксированы, кодифицированы и канонизированы целым корпусом профессиональных хранителей и апологетов (историками искусства и литературы, экзегетами, комментаторами), становится одним из условий допуска в поле узкого производства. История поля необратима; и продуктам этой относительно автономной истории присуща своего рода *кумулятивность*: любой синхронный срез содержит в себе все предыдущие срезы.

Парадоксальным образом, присутствие специфического прошлого более всего заметно у авангардных производителей. Прошлое детерминирует их даже в стремлении преодолеть прошлое, потому что это стремление связано с определенным состоянием истории поля. Поле обладает направленной и кумулятивной историей именно потому, что само стремление преодолеть (которым исчерпывающе определяется сущность авангарда) является продуктом длительного исторического процесса; это стремление неизбежно помещается в контекст отношений с объектом преодоления, т. е. в контекст отношений со всеми предшествующими преодолениями, имевшими место в структуре поля и в пространстве возможностей, открывающемся перед новичками. Поэтому происходящие в поле события все теснее и теснее связаны со специфической историей поля и их все труднее предсказать или вывести из общего социального контекста. Сама логика поля отбирает и «освящает» легитимные разрывы с объективированной в структуре поля историей. При этом легитимными являются разрывы, порожденные такой диспозицией, которая

сформирована историей поля, учитывает эту историю и, следовательно, не нарушает преемственности. Таким образом, вся история поля имманентно присутствует в каждом из ее срезов, и производителю (так же, как и потребителю), для того, чтобы быть на высоте объективных требований поля, необходимо обладать практическим и теоретическим мастерством обращения с этой историей.

В артистическом поле, достигшем высокой ступени эволюции, нет места для тех, кто не знает истории поля и всего, к чему она привела, начиная с определенного, совершенно парадоксального, отношения к историческому наследию. «Наивные» художники, названные так из-за их неосведомленности в логике игры, на самом деле создаются и «освящаются» в качестве «наивных» самим полем. Чтобы убедиться в этом, достаточно провести методическое сравнение между Таможенником Руссо — своего рода «художником-объектом», творением и марионеткой поля, и, с другой стороны, Марселем Дюшаном (который вполне мог бы «открыть» Руссо, как открыл он философа Бриссе — «Таможенника Руссо от филологии»), создателем искусства живописи, состоящего не только из умения произвести шедевр, но также и из умения произвести себя как художника. Руссо и Дюшан обладают свойствами столь противоположными, что сопоставление между ними не пришло бы в голову ни одному биографу; однако и тот и другой существуют как художники в глазах последующих поколений только благодаря эффекту совершенно специфической логики достигшего высокой степени автономии поля, в котором действует традиция перманентного разрыва с эстетической традицией.

У Таможенника Руссо нет «биографии», его жизнь лишена событий, достойных изложения или фиксации.⁴⁷ Он был мелким чиновником, жил размеренной жизнью, был влюблен в Эжени Леони В., продавщицу из магазина хозяйственных товаров; его клиентура состояла исключительно из «людей среднего достатка, которые невысоко ценили его картины». Эти пародийные черты, будто позаимствованные из водевилей Куртелина или Лабиша, обрекли Руссо на роль жертвы в бурлескных обрядах «освя-

щения», устраиваемых его «друзьями» — художниками (Пикассо) или поэтами (Аполлинер), — причем пародийный характер этих жестоких сцен не полностью от него ускользал.⁴⁸ Лишенный «биографии», он лишен также культуры и профессии: фактически его эстетика в существе своем была сформирована Всемирной выставкой 1889 года. Его эстетические решения, как в вопросах сюжета, так и в вопросах манеры изображения, являются реализацией простонародной или мелкобуржуазной эстетики, типичной для фотографической продукции среднего уровня. Однако у Руссо эту эстетику ориентирует глубоко аллодоксическая интенция поклонника академических художников — Клемана, Бонна, Жерома. Руссо полагал, что он воспроизводит аллегорические и мифологические сцены этих художников, такие как «Львица встречающаяся с ягуаром», «Любовь в клетке диких животных», «Святой Иероним, спящий на льве». (К его восхищению перед академической живописью несомненно причастно среднее образование, начатое — т. е. преждевременно приобретенное — Таможенником).⁴⁹

Часто указывалось на то, что Таможенник Руссо «копировал» свои картины или что он получал при помощи пантографа рисунки, которые затем «раскрашивал», следуя технике детских «картинок-раскрасок». Были также найдены «оригиналы» этих «копий»: в народных изданиях, иллюстрированных журналах, иллюстрациях к «романам с продолжением» (особенно для картины «Война» [*«La Guerre»*]), и в детских альбомах, фотографиях (в частности, для «Артиллеристов» [*«Les Artilleurs»*] в коллекции музея Гуггенхайма, и для «Свадьбы в предместье» [*«Une Noce à la Campagne»*], и для «Повозки папаши Жюнье» [*«La Cariole du père Juniet»*]).⁵⁰ Меньше внимания обращалось на тот факт, что наиболее характерные для творчества Таможенника стилистические и тематические особенности соответствуют «эстетике», нашедшей свое выражение в фотографической практике простонародья и мелкой буржуазии. Помещаемые часто в центр картины, в соответствии с жесткой, подчас брутальной фронтальностью («Девочка в розовом» [*«Jeune fille en rose»*], в Фи-

ладельфии), персонажи наделены всеми символами и эмблемами своих сословий. Эти символы, вместе с почти всегда присутствующими пояснительными надписями, призваны объяснить, зачем картина написана. Так, в картине с «наивным» названием «Я сам» [*Moi-même*], как в популярных фотографиях, «освящающих» встречу эмблематического места и персонажа, художник снабжен всеми атрибутами «художничества» — палитрой, кистями и беретом; и Париж обозначен всеми надлежащими символами (мосты над Сеной, Эйфелева башня). Руссо фиксирует воскресные пикники мелких буржуа; его персонажи, наделенные всеми аксессуарами праздника (безупречные накладные воротнички, набриолиненные усы, черные рединготы), позируют перед фотографом, призванным запечатлеть торжественные мгновения, во время которых закрепляются или создаются социальные отношения. Для того чтобы дать понять, о каких именно отношениях идет речь, Руссо пользуется символами: например, в «Свадьбе в предместье» руки всех персонажей спрятаны (т. к. руки вообще сложно вырисовывать), за исключением руки невесты, сжимающей руку жениха. Руссо внедряет свое «функциональное» видение даже в копии с моделей, заимствованных из ученой традиции. Так, в «Счастливом квартете» [*Heureux Quatuor*] Руссо, как показала Дора Валье, использует различные элементы «Невинности» [*L'innocence*] Жерома: фигуру мужчины, женщины, херувима, животного; при этом Руссо изменяет функциональный статус элементов: херувим становится непосредственным участником сцены, лань превращается в собаку — символ верности, уместный в контексте этой любовной аллегии.⁵¹ И эти стыдливые заимствования-кражи совершает плагиатор-бриколер, не имеющий ни малейшего представления о сдержанно пародийных и утонченно остранных «присвоениях», охотно практикуемых наиболее рафинированными из его современников.

Однако эти продукты артистической интенции, типичной для народной эстетики, приносят самим фактом своей «наивности» своего рода соскальзывание [*écarts*], способное увлечь самых изощренных художников: «Я любил, —

говорит Рембо, — идиотские изображения, намалеванные над дверьми; декорации и занавесы бродячих комедиантов, вздорные куплеты, наивные рифмы».⁵²

Итак, в соответствии с логикой, которая позже найдет свое крайнее выражение в продукции, объединяемой под рубрикой «сырое искусство», т. е. в своего рода естественном искусстве, существующем в этом качестве только благодаря произвольному декрету самых рафинированных знатоков, Таможенник Руссо, как и все наивные художники — «живописцы по воскресеньям», нашедшие свое призвание выйдя на пенсию или во время оплачиваемого отпуска, — буквально сотворен полем. «Творец-творение», который должен быть произведен в качестве легитимного творца как персонаж «Таможенника Руссо», для того чтобы его продукция получила легитимный статус,⁵³ он, не ведая о том, дает полю повод реализовать определенные возможности, объективно существующие в поле: «Живи он двадцатью годами раньше, т. е. если бы он умер не в 1910-м, а в 1882-м, до основания Салона независимых, мы бы никогда о нем не услышали».⁵⁴ Критики и художники наделили статусом существования в изобразительном искусстве этого «живописца», ничем не обязанного истории живописи, «воспользовавшегося — по словам Доры Валье — плодами эстетической революции, которой он даже не заметил». Это стало возможным только благодаря применению к Руссо исторического взгляда, который поместил Таможенника в артистическое пространство возможного. При этом творчество Руссо связывали с произведениями и авторами, ему, по всей видимости, неизвестными и, в любом случае, глубоко чуждыми его интенциям: лубочными «эпинальскими» картинками, вышивкой из Байе, Паоло Учелло, голландцами.

Не случайно история поля почти одновременно предлагает и парадигматический пример «наивного» художника, и его полную, столь же парадигматическую противоположность — художника искушенного *par excellence*. Марсель Дюшан происходит из семьи художников (его дед по материнской линии Эмиль-Фредерик Николь был гравером; старший брат Жак Вийон — художником; дру-

гой брат, Ремон Дюшан-Вийон — скульптором-кубистом; старшая из сестер — художницей) и чувствует себя в артистическом поле как рыба в воде. Получив в 1904 году степень бакалавра (титул редкий среди художников того времени), Дюшан перебирается в Париж к своему брату Жаку, посещает Академию Жюллиан и часто бывает на собраниях авангардных писателей и художников у Ремона. К двадцати годам он уже перепробовал все стили. Его творчество — непрерывное нарушение конвенций, даже конвенций авангарда, таких, например, как отказ кубистов от обнаженный натуры (в «Обнаженном, спускающемся по лестнице» [*Nu descendant un escalier*])). Дюшан неустанно утверждает свою волю к перманентной артистической революции, стремление «пойти еще дальше», превзойти все эксперименты прошлого и настоящего.

Речь идет об опирающейся на непосредственное знание всех экспериментов прошлого и настоящего и, следовательно, сознательной и «вооруженной» интенции реабилитировать живопись отказом от «физического, строго ретинального аспекта», и переходом к «воссозданию идей» (отсюда важность названий картин). «У меня сидит в печенках, — говорит Дюшан, — выражение “туп как художник”». Часто, для того чтобы избежать «пошлостей кафе или студии», он апеллирует к четырехмерному пространству и неевклидовой геометрии. Зная игру как свои пять пальцев, он производит объекты, производство которых в качестве художественных предполагает производство производителя в качестве художника. Он изобретает «реди-мейд», промышленный объект, возводимый в достоинство «объекта искусства» символической властью художника, которую часто выражает каламбур. Для Дюшана, знакомого с работами Бриссе и Руссея, каламбур, своего рода словесный реди-мейд, является средством обнаружения неожиданных связей между обычными словами, так же как собственно реди-мейды выявляют скрытые аспекты предметов, изымая их из повседневного контекста, определяющего их обычное значение и функцию.

Несколько вызывающая свобода, с которой реди-мейд утверждает неограниченную власть творца, и дистанция

от собственной продукции, которую декларирует его производитель, делают дюшановские реди-мейды диаметральной противоположностью «обработанным реди-мейдам» стыдливо скрывающего свои источники Руссо. Подобно тому как хороший шахматист, знаток имманентных закономерностей игры, вкладывает в каждый ход предвидение последующих ходов, Дюшан предусматривает возможные интерпретации с тем, чтобы опровергнуть или «переиграть» интерпретаторов. Когда, как в «Новобрачной, раздетой холостяками» [*La Mariée mise à nu par les célibataires*], Дюшан пользуется мифологической или сексуальной символикой, он сознательно «подыгрывает» интерпретаторам, ссылаясь на эзотерический, мифологический, алхимический или психоаналитический дискурс. Virtuоз искусства игры со всеми предоставляемыми игрой возможностями, он либо делает вид, что возвращается к простому здравому смыслу, для того чтобы опровергнуть изощренные интерпретации наиболее ревностных комментаторов, либо иронизирует, поддерживая атмосферу неясности вокруг значения преднамеренно многозначного произведения. Усиливая таким образом амбивалентность, которая делает произведение трансцендентным по отношению ко всем интерпретациям (включая и интерпретации самого автора), Дюшан с пользой для себя играет на возможности умышленной многозначности, которая, с появлением корпуса профессиональных интерпретаторов (т. е. интерпретаторов, полных профессиональной решимости обнаружить необходимый смысл, какого бы труда такая интерпретация и сверхинтерпретация им ни стоила), становится неотъемлемой частью поля и, следовательно, учитывается творческой интенцией производителей. Мы понимаем, почему Дюшан был назван «единственным художником, который завоевал себе место в мире искусства в равной мере тем, что он сделал, и тем, что он не сделал».⁵⁵ Отказ рисовать (уход от живописи после незавершенного «Большого стекла» [*«Grande Verge»*] в 1923 г.) становится артистическим актом, и даже предельным артистическим актом, в одном ряду с созерцательным молчанием пастуха Бытия в «Письме о гуманизме» у Хайдеггера.

Итак, относительная автономия поля все более и более утверждается в произведениях, обязанных своими формальными особенностями и своей ценностью исключительно структуре и, следовательно, истории поля. Этот процесс все в большей мере препятствует «прямому контакту», т. е. возможности прямого перехода от происходящего в социальном мире к происходящему в культурном поле. Объект искусства, произведенный в соответствии с логикой поля, требует различающего, отличительного восприятия — восприятия, внимательного к тому, что отделяет это произведение от других произведений настоящего и прошлого. Зритель, не способный к историческому взгляду, неизбежно оказывается безразличным, и его безразличие — это безразличие человека, не обладающего инструментами различения. Отсюда следует, что, парадоксальным образом, адекватное восприятие и оценка этого перманентно порывающего с собственной историей искусства становятся все более и более историческими. Получаемое зрителем удовольствие все чаще предполагает в качестве предварительного условия способность распознать исторические игры и ставки, продуктом которых является произведение, и определить так называемый «вклад», внесенный этим произведением, который не может быть оценен иначе как в историческом сравнении и соотношении.⁵⁶

Таким образом оказывается разрешенной непреодолимая, на первый взгляд, проблема, которую ставят перед науками об обществе «чистые» теории (не только в области литературы и искусства, но также и в области права, философии и науки, в том числе и в социологии): возможна ли объективация практик и объектов, заключающих в себе сопротивление принципу объективации? Повидимому, формалистическая интенция «чистых» произведений настоятельно требует формалистического чтения, которое она в обмен легитимирует; произведения, в основании которых лежит чистая забота о форме, будто созданы для того, чтобы подтвердить адекватность внутреннего чтения, внимательного исключительно к формальным особенностям, и помешать попыткам свести эти

произведения к социальному контексту, наперекор которому они создавались.⁵⁷

Чтобы выйти из тупика, достаточно указать на тот факт, что присущий формалистической амбиции отказ от всех форм историзации покоится на неведении о социальных условиях самой возможности такого отказа. Точнее, отказ от историзации основан на «вытеснении» исторического процесса, в ходе которого институционализировались социальные предпосылки свободы от внешней обусловленности: относительно автономное поле производства и возможная только в таком поле «чистая» эстетика. В основании независимости от внешних условий лежит исторический процесс, который привел к появлению автономного универсума, т. е. такой социальной игры, где все производимое обязано своим существованием и смыслом прежде всего специфической логике и истории самой игры.

Только социальная история процесса автономизации прояснит сущность свободы от социального контекста — свободы, природа которой ускользает от анализа, прямо соотносящего произведение и социальные условия эпохи. Принцип свободы от истории следует искать в самой истории.

Все это вовсе не значит, что «чистое» искусство и «чистая» наука не способны выполнять самые что ни на есть «нечистые» функции — функцию классового различения и социальной дискриминации или, тоньше, функцию отрицания социального мира, которая пронизывает, в виде утонченно вытесняемого отречения, свободы и мятежи, строго ограниченные областью чистых форм.

Спрос и предложение

Гомология между пространством производителей и пространством потребителей, т. е. между полем литературы и полем власти, обуславливает непреднамеренное соответствие между спросом и предложением: у экономически подчиненного и символически доминирующего полюса расположены писатели, которые производят для дру-

гих писателей (т. е. для самого поля, или даже для наиболее автономной фракции поля); у противоположного полюса расположены те (например, «буржуазный театр»), кто производит для доминирующих секторов поля власти.

В противоположность тому, что предлагает Макс Вебер применительно к частному случаю религии, соответствие спросу никогда не бывает результатом сознательного договора между производителями и потребителями. В еще меньшей степени к такому соответствию приводит сознательное стремление удовлетворить спрос — за исключением наиболее гетерономных предприятий культурного производства (которые, как раз по этой причине, справедливо называются «коммерческими»). Поле культурного производства является пространством объективно отличных позиций (театры, издатели, журналы, дома «высокой моды», галереи), с которыми связываются различные интересы. Действие ограничений и принуждений, заложенных в занимаемые различными предприятиями культурного производства позиции, приводит к тому, что эти предприятия предлагают объективно дифференцированные продукты. Каждый продукт извлекает свой отличный смысл и ценность из позиции, которую он занимает в дифференциальное расхождение [*d'écarts différentiels*] и соответствует (без сознательного стремления к такому соответствию) ожиданиям тех, кто занимает гомологичные позиции в поле власти (к которому принадлежит большинство потребителей). Встреча произведения и его публики чаще всего представляет собой совпадение, непреднамеренный эффект схождения в основном независимых каузальных серий, который никогда не объясним полностью ни сознательным, ни тем более циничным расчетом, ни требованиями спроса или заказа.

Установившаяся в наши дни гомология между пространством производства и пространством потребления лежит в основе перманентной диалектики производства и потребления. Потребители находят возможность для удовлетворения самых разных вкусов в предлагаемых рынком продуктах (в которых эти вкусы как бы объективируются). Вкусы же дают возможность функциониро-

вать и вновь образовываться полям производства, т. к. гарантируют — немедленно или со временем — рынок сбыта для различной продукции этих полей. Соответствие между спросом и предложением может показаться столь похожим на предустановленную гармонию потому, что отношение между полем культурного производства и полем власти принимает форму почти безупречной гомологии между двумя перекрестными структурами. В господствующем классе объем экономического капитала возрастает, а культурного — уменьшается при переходе от подчиненных к доминирующим фракциям; точно так же в поле производства культуры экономическая прибыль увеличивается, а специфическая уменьшается при переходе от автономного к гетерономному полюсу поля, или, если угодно, от «чистого» к «коммерческому» искусству.

Эффект гомологии, который можно назвать автоматическим, также лежит в основе деятельности всех институций, способствующих контактам, взаимодействию и даже сделкам между, с одной стороны, различными категориями писателей и художников и, с другой стороны, различными категориями их буржуазной клиентуры. К таким институциям относятся, в частности, Академия, клуб и, конечно, салон — наиболее важный медиатор отношений между полем власти и интеллектуальным полем. Фактически, сами салоны образуют поле конкуренции за аккумуляцию символического и культурного капиталов. Количество и статус постоянных посетителей, политиков, художников, писателей, журналистов и т. д. позволяют точно судить о том, насколько велика притягательность салона для представителей различных социальных фракций, и о том, насколько значительно влияние, которое салон, пользуясь гомологией между полями, оказывает на поле культурного производства и на «освящающие» инстанции, такие как Академия. (Ср., например, проведенный Кристофом Шарлем анализ роли, которую сыграли салоны мадам де Луан и мадам Кайяве в соперничестве между Жюлем Леметром и Анатолем Франсом.⁵⁸) Оппозиции работы и досуга, искусства и денег, полезного и бесполезного закрепляют за аристократическими и бур-

жуазными дамами сферу искусств и вкуса, поддержание домашнего культа моральной и эстетической утонченности (что являлось, кроме того, еще и основным условием успеха на матримониальном рынке) и в то же время контроль за внутрисемейными социальными отношениями (в качестве «хозяек дома»). Поэтому они занимают в семейной структуре власти позицию, гомологичную той, которую занимают в поле власти художники и писатели, — подчиненные среди доминирующих. Эта гомология обусловила предрасположенность светских дам к функции посредника между миром искусства и миром денег, между художником и «буржуа». (Именно так нужно интерпретировать существование и эффекты связей между дамами из парижской высшей буржуазии и аристократии и, с другой стороны, писателями и художниками — выходцами из социальных низов.)

Представляется, что с исторической точки зрения образование относительно автономного поля артистического производства, предлагающего стилистически разнообразную продукцию, должно было происходить одновременно с появлением двух или более групп покровителей искусства, обладающих различными эстетическими ожиданиями.⁵⁹ Первоначальная диверсификация, лежащая в основе функционирования пространства производства как поля, стала возможной только благодаря диверсификации публик; причем, в свою очередь, дифференцирующее производство бесспорно способствует дальнейшей дифференциации публики. Точно так же, как сегодня экспериментальное кино нельзя представить без публики, состоящей из студентов, амбициозных интеллектуалов и «людей искусства», появление и развитие артистического и литературного авангарда в течение XIX столетия непредставимо без той аудитории, которую ему гарантировала сосредоточенная в Париже литературная и артистическая богема. И хотя представители богемы не могут ничего купить, они участвуют в развитии специфических инстанций распространения и «освящения», снабжающих новаторов своеобразными формами символического патронажа (будь то посредством полемики или скандала).

Гомология между позициями в поле литературы (и т. п.) и позициями в глобальном социальном поле никогда не бывает столь же полной, как гомология, установившаяся между полем литературы и полем «власть имущих», откуда рекрутируется большая часть клиентуры. Писатели и художники, расположенные у экономически подчиненного (а символически доминирующего) полюса в поле литературы (и т. п.), которое само находится в политически и экономически подчиненном положении, могут чувствовать солидарность (по крайней мере, в своих отречениях и мятежах) с теми, кто занимает и экономически и символически подчиненную позицию в социальном пространстве. Тем не менее, поскольку гомологии позиций, на которых основываются эти альянсы в мысли или в действии, не умаляют глубинных различий в условиях, такие альянсы чреваты недоразумениями или даже своего рода структурным самообманом. Структурная близость между литературным и политическим авангардом явилась основой для сближений, например, между интеллектуальным анархизмом и символистами, и схождениями, которыми писатели не прочь щегольнуть (Малларме, например, говорит о книге как о «террористическом акте»), соблюдая при этом благоразумную дистанцию.⁶⁰

Расхождения и взаимные недоразумения еще более очевидны в случае с доминирующими в поле власти и теми, кто занимают гомологичную им позицию в поле культурного производства. По отношению к производителям культуры — особенно к «чистым художникам» — «власть имущие» ощущают себя на стороне природы, инстинкта, действия, мужественности, а также на стороне здравого смысла, порядка и рассудка (и соответственно, в оппозиции к культуре, интеллекту, женственности и т. д.). Однако многими из этих оппозиций они уже не могут воспользоваться, осмысляя свое отношение к угнетенным классам, которым они сами противопоставлены как теория — практике, мысль — действию, культура — природе, разум — инстинкту, рассудочность — жизни и т. д. Оказывается, что господствующим нужны некоторые из предлагаемых им писателями и, в особенности, художниками

свойств, для того, чтобы осознать свое социальное существование и обосновать, прежде всего в своих собственных глазах, право существовать так, как они существуют. Таким образом, культ искусства во все большей степени входит в число необходимых составляющих буржуазного искусства жизни; при этом «бескорыстие» «чистого» потребления необходимо, в силу привносимого им «восполнения души», для дистанцирования от первичных «природных» нужд и от тех, кто подчинен этим нуждам.

Фактом остается то, что, особенно в периоды кризисов, способность выдвигать систематическую и критическую дефиницию социального мира дает производителям культуры власть, которую они могут направить на мобилизацию потенциальной мощи угнетенных и на подрыв установленного в поле власти порядка. Особая роль «пролетарствующих интеллектуалов» в ряде политических и религиозных, в той или иной степени субверсивных движений, связана, по-видимому, именно с тем, что гомология позиций, благодаря которой эти угнетенные интеллектуалы чувствуют солидарность с угнетенными классами, часто (особенно в случае с лидерами Французской революции, о которых писал Роберт Дарнтон) усиливается тождеством или, по меньшей мере, сходством материальных условий; следовательно, пролетарствующие интеллектуалы вдвойне расположены к тому, чтобы обратить свою способность к экспликации и систематизации на службу народному негодованию и бунту.

Итак, внешние санкции определенным образом участвуют в разрешении внутренних конфликтов. Принцип (т. е. детерминирующие причины и основания) борьбы, которая разворачивается внутри литературного (и т. п.) поля, по большей части независим от процессов, происходящих за пределами поля. Однако исход, благоприятный или неблагоприятный, этих схваток всегда зависит от их отношения к внешним конфликтам (т. е. к схваткам в поле власти или в социальном поле в целом) и от поддержки извне.

Таким образом, такие радикальные изменения, как перекройка иерархии внутри некоторого жанра или транс-

формация всей жанровой иерархии, затрагивающие структуру всего поля в целом, оказываются возможными благодаря соответствию между внутренними изменениями (непосредственно обусловленными модификацией шансов доступа в литературное поле) и внешними изменениями. Внешние изменения обеспечивают новых производителей (последовательно: романтиков, натуралистов, символистов и т. д.) и новую продукцию аудиторией, которая занимает в социальном пространстве позиции, гомологичные позициям производителей в поле производства, — т. е. потребителями, чьи диспозиции и вкусы соответствуют предлагаемым продуктам. Успешная революция в литературе или в живописи (как мы увидим на примере Мане) предполагает встречу двух относительно независимых процессов, из которых один происходит внутри поля, а другой — за пределами поля. Еретически настроенным «новичкам» (которые отказываются вписываться в цикл простого воспроизводства, основывающийся на взаимном признании «старых» «молодыми» и «молодых» «старыми», разрывают с действующими нормами производства и тем самым обманывают ожидания поля) чаще всего удастся навязать полю признание собственной продукции только благодаря внешним изменениям. Такими изменениями могут стать либо острые политические кризисы, которые изменяют расстановку сил внутри поля (так, например, революция 1848 года усилила подчиненный полюс и заставила писателей сдвинуться — конечно же, лишь на время — влево, к «социальному искусству»), либо появление новых категорий потребителей, которые, благодаря своей близости к новым производителям, гарантируют успех их продукции.

Альтернатива следования традиции и разрыва с традицией, часто становящаяся основой для исторических полемик, в реальности ни на чем не основана. С социологической точки зрения, абсолютное следование традиции столь же невозможно, как и полный разрыв. Эрудированная традиционность предполагает некоторую «управляемую», одновременно обязательную и ограниченную инновацию. Разрыв с непосредственными предшественника-

ми часто связан с возвратом к предшественникам предшественников, чье влияние продолжает сказываться подспудно. Так, например, известно, что парнасцы сохранили очень многое из наследия романтиков, против которых они восстали. Менее очевиден тот факт, что парнасцы опирались на эллинистическую традицию, пережившую отказ романтиков от имитаций античности. Эту традицию поддерживали, например, такие события, как публикация эллинистической поэзии Шенье в 1819-м году, открытие Венеры Милосской в 1820-м, греческая война за независимость и смерть Байрона, которые привлекли внимание к античной Греции. Сюда относятся также новые обращения к греческой мифологии в стихотворениях в прозе Балланша («Антигона», 1814 и «Орфей», 1827) и, во времена расцвета романтизма, произведения Поля-Луи Курье и Мориса де Герена. Подобным же образом, не составило бы труда показать, что пост-сартровское поколение очень во многом связано с писателями, чью деятельность заслонило владычество Сартра.

Авангард дискредитирует действующие конвенции, т. е. принятые эстетической ортодоксией нормы производства и оценки, представляя превзойденными и устаревшими произведения, реализованные согласно этим нормам. «Подрывная» деятельность авангарда находит объективную поддержку в стирании эффекта «освященных» шедевров. Это стирание происходит отнюдь не механически. К нему приводит, в первую очередь, рутинизация производства в деятельности эпигонов и в академизме — рутинизация, которой не удастся избежать даже авангардным течениям, и которая возникает при повторном и однообразном применении уже испытанных приемов, при нетворческой утилизации уже изобретенного способа изобретать. Кроме того, самые новаторские произведения имеют тенденцию производить, с течением времени, свою собственную публику, навязывая, благодаря эффекту привыкания, присущие им структуры в качестве легитимных категорий восприятия любого произведения (так что произведения искусства прошлого и даже, как заметил Пруст, природный мир начинают воспринимать-

ся через призму категорий, заимствованных из искусства, которое стало естественным). Распространение навязываемых новаторами норм восприятия и оценки, сопровождается банализацией их произведений или, точнее, банализацией эффекта остранения [*débanalisation*], который они были способны произвести первоначально. У разных читателей износ эффекта новизны протекает по-разному и происходит в разное время. Это особенно зависит от того, как давно читатель знаком с новаторским произведением, и тем самым, от его близости к «очагу» авангардных ценностей: естественно, чем осведомленнее потребитель, тем скорее, с привыканием, к нему приходит чувство стилистической усталости и умение распознать приемы, трюки и даже «странности», составившие первоначальную оригинальность движения. Само собой разумеется, что банализацию может только ускорить и интенсифицировать снобизм — сознательный поиск отличия от общих вкусов, который вводит в поле потребления логику, сходную с логикой стремления к непохожести в авангардном искусстве (еще один пример гомологии между производством и потреблением).⁶¹

Очевидно, что по мере того как культурные продукты завоевывают признание, они теряют свою отличительную редкость и, следовательно, «дешевеют». Канонизация неизбежно приводит к банализации, которая, в свою очередь, способствует все более широкому распространению продукта. Увеличение числа потребителей приводит к девальвации культурного товара: факт потребления продукта все менее отличает, все менее ценен. Девальвации продуктов канонизированного авангарда также способствует пропаганда «новичков», которые призывают к идеалам чистоты начал и указывают на харизматическую несовместимость искусства с материальным или символическим успехом для того, чтобы разоблачить конформизм «старших». Доказательством компромисса с «веком сим» служит распространенность близких к канонизации продуктов среди все более обширной клиентуры — клиентуры, расширившейся за сакральные пределы поля культурного производства и включающей «простецов», профа-

нирующих сакральный шедевр уже самим фактом своего восхищения.

Итак, к социальному старению произведения искусства, к незаметной трансформации, которая «деклассирует» произведение или делает его классическим, приводит встреча двух движений: внутреннего, связанного с борьбой внутри поля, которое подталкивает к производству непохожих произведений, и внешнего, связанного с социальным изменением (расширением) публики, которое санкционирует и усиливает, вынося на всеобщее обозрение, утрату редкости.

Дело обстоит так же, как со знаменитыми марками духов, которые, допуская избыточное расширение клиентуры, теряют часть своих первоначальных покупателей по мере того, как приобретают новую публику (широкое распространение продукции по сниженным ценам сопровождается снижением уровня продаж). Эти марки, подобно духам «Карвен» в 60-х, постепенно собирают разношерстную клиентуру, состоящую из элегантных, но стареющих дам, сохранивших привязанность к шикарным духам своей юности, и более молодых, но менее обеспеченных дам, обнаруживших эти духи уже после того, как они вышли из моды.⁶² Подобным же образом, поскольку различия в экономическом и в культурном капитале ретранслируются в разновременность доступа к редким товарам, высоко отличительный до сих пор культурный продукт, распространяясь и, следовательно, теряя «класс», теряет тем самым новых клиентов, наиболее заинтересованных в непохожести; его первоначальная клиентура стареет, а социальное качество публики снижается. Как показали недавно проведенные исследования, композиторы, подвергшиеся обесцениванию в силу распространенности, такие как Альбиниони, Вивальди, Шопен, нравятся тем больше, чем выше возраст и ниже уровень образования аудитории.

В литературном и артистическом поле «новые» авангардисты пользуются спонтанно устанавливающимся соотношением между качеством произведения и социальным качеством его публики в целях дискредитации про-

изведений, близких к канонизации; при этом снижение социального качества аудитории таких произведений объясняется отступничеством авторов, предавших первоначальную субверсивную интенцию. И новый еретический разрыв с формами, превратившимися в канонические, опирается на потенциальную публику, которая ожидает от новых продуктов того же, что первоначальная публика ожидала от продукта, ставшего с тех пор каноническим. Задача новых авангардистов, стремящихся занять позицию (или, говоря языком маркетинга, «нишу»), оставленную канонизированным авангардом, упрощается еще и тем, что, оправдывая свои собственные иконоборческие разрывы, они проповедуют возвращение к первоначальной и идеальной дефиниции практики: к нищете, неизвестности и чистоте истоков; литературные и артистические ереси формируются в борьбе с ортодоксией, но также и при помощи ортодоксии, во имя того, чем она некогда была.

Представляется, что речь здесь идет об очень общей модели, которая верна для всех предприятий, в основе которых лежит отречение от «мирских» выгод и отрицание экономики. Противоречие, присущее всем предприятиям, которые, как в случае с искусством или религией, предполагают отказ от материальных выгод, гарантируя при этом, в более или менее отдаленном будущем, всевозможные выгоды как раз тем, кто оказывал им наибольшее сопротивление, лежит в основе жизненного цикла, характеризующего такие предприятия. Первоначальная фаза аскезы и самоотверженности, т. е. фаза накопления символического капитала, сменяется фазой эксплуатации этого капитала, которая приносит «мирские» выгоды и вслед за ними — трансформацию стиля жизни; последняя влечет за собой утрату символического капитала и благоприятствует успеху конкурентов. В литературном и артистическом поле этот цикл только намечен: во-первых, потому, что когда (зачастую слишком поздно) основателя предприятия настигает успех, он не может, хотя бы в силу действия инерции габитуса, полностью отречься от обетов юности; во-вторых, потому, что в любом случае предприятие умирает вместе с его основателем. Однако

описанный цикл достигает полного развития в некоторых религиозных предприятиях, когда преемники и последователи могут пользоваться символическим капиталом, не являя аскетических добродетелей, которыми этот капитал был некогда нажит.

Встреча двух историй

С точки зрения логики потребления, культурные практики и социальные применения культуры, наблюдаемые в некоторый исторический момент, являются результатом встречи двух историй:

- истории полей производства, обладающих своими собственными, внутренними законами изменения,

- и истории социального пространства в его совокупности, которое посредством свойств, заложенных в некоторой позиции, и в особенности посредством социального обусловливания, связанного с конкретными материальными условиями существования и конкретным рангом в социальной структуре, определяет вкусы.

Подобным же образом, с точки зрения логики производства, практики писателей и художников (начиная с их произведений) являются результатом встречи двух историй:

- истории производства занимаемой позиции

- и истории производства диспозиций тех, кто ее занимает.

Позиции влияют на формирование диспозиций; последние, в той мере, в какой они являются продуктом независимых (внешних по отношению к полю как таковому) условий, обладают собственным, независимым существованием и действенностью и могут, в свою очередь, принять участие в формировании позиций.

Ни в каком другом поле взаимовлияние позиций и диспозиций не бывает столь тесным и постоянным, как в поле культуры. С одной стороны, пространство наличествующих позиций во многом предопределяет ожидаемые или даже требуемые от возможных кандидатов свойства и тем самым категории агентов, которые могут притя-

гиваться и, что важнее, удерживаться позициями. С другой стороны, восприятие пространства возможных позиций и траекторий и определение ценности, которую им придает их расположение в этом пространстве, зависит от диспозиций агентов. Предлагаемые культурным полем позиции слабо институционализированы, не передаются по наследству (хотя специфические формы преемственности и существуют), не предоставляют юридических гарантий и, следовательно, всегда могут быть оспорены символически. Поэтому культурное поле является парадигматическим примером поля боя за новую дефиницию «поста».

Как бы значителен ни был эффект поля, он никогда не срабатывает механически: переход от позиций к манифестациям (особенно к произведениям искусства) всегда опосредуется диспозициями агентов. Социальное происхождение не является, как иногда думают, линейной серией детерминаций, в которой профессия отца определяет позицию автора, которая, в свою очередь, определяет манифестации (произведения, мнения, выступления и т. п.). Необходимо учитывать эффекты поля, которые через его структуру, особенно через пространство предлагаемых возможностей, оказывают влияние на различных агентов, — эффекты, которые, прежде всего, зависят от интенсивности конкуренции, в свою очередь связанной с количественными и качественными характеристиками притока «новичков».

Пост «чистого» художника или писателя, так же как и пост интеллектуала, представляет собой институционализированную свободу. Эти посты формируются в оппозиции к «буржуазии» (в том смысле, какой вкладывают в это понятие «люди искусства») и, конкретнее, в оппозиции к рынку и государственной бюрократии (Академии, салонам и т. п.). К становлению этих постов привела отчасти кумулятивная серия символических переворотов — разрывов, которые часто осуществлялись только благодаря отвлечению ресурсов рынка и, стало быть, ресурсов «буржуазии», и даже ресурсов государственной бюрократии. «Чистые» посты венчают весь коллективный труд, сформировавший поля культурного производства в каче-

стве пространств, независимых от экономики и политики; но этот труд может быть совершен или продолжен только при условии, что на вновь образуемые посты находятся все новые претенденты — агенты, обладающие необходимыми диспозициями (такими, как склонность к рискованным инвестициям) и объективными свойствами (как, например, наличие ренты), обуславливающие возникновение и поддержание этих диспозиций. Процесс коллективного изобретения, продуктом которого являются сменяющие друг друга определения «писательства» или «художничества», должен всегда начинаться заново.

Однако канонизация открытий прошлого и растущий престиж самоцельного культурного производства и воли к эмансипации, которую такое производство подразумевает, постепенно удешевляют это перманентное переизобретение. Чем дальше заходит процесс автономизации, тем проще становится занять позицию «чистого» производителя, не обладая при этом свойствами — или обладая не всеми, или не в той же мере, — которые были необходимы для производства самой позиции; тем легче, иными словами, новичкам, претендующим на наиболее автономные позиции, обходиться без более или менее героических самопожертвований и бунтов прошлого (извлекая при этом символическую прибыль из обращения их в культ).

В силу объективно противоречивой интенции этих совершенно необычных постов, предлагаемых автономным полем, им присущ очень низкий уровень институционализации. Они существуют в виде терминов (например, «авангард»), в виде символических персонажей («проклятый» художник и его героическая легенда); но также, и прежде всего, в виде антиинституциональных институций (парадигматическим примером которых мог бы послужить «Салон отверженных» или небольшой авангардный журнал) и в виде механизма конкуренции, стимулирующего и поощряющего антиинституционные выступления, без которого последние были бы немыслимы. Так, например, акты профетического обличения, парадигмой которых является «Я обвиняю» Золя, стали после Золя и особенно после Сартра столь необходимой частью роли ин-

теллектуала, что любой претендент на позицию (особенно на доминирующую позицию) в интеллектуальном поле обязан устроить подобного рода акт. Таким образом, в развертывающейся в поле конкурентной борьбе сама свобода от институций оказывается парадоксальным образом институционализированной.

Пространство возможного

Аккумулятивное коллективным трудом наследие предстает перед каждым агентом как пространство возможного, т. е. как набор вероятных ограничений, которые соответствуют конечному репертуару возможных ходов и решений и обуславливают этот репертуар. Тем, кто привык мыслить простыми альтернативами, следует напомнить о том, что в искусстве абсолютная свобода, превозносимая сторонниками творческой спонтанности, — удел лишь наивных и несведущих. Входящий в поле культуры овладевает специфическим кодом поведения и выражения и обнаруживает конечное пространство ограниченных свобод и объективных потенций: планов, ожидающих осуществления, проблем, ожидающих разрешения, стилистических и тематических возможностей, ожидающих воплощения, и даже революционных разрывов, ждущих своего часа.⁶³

Для того чтобы кто-нибудь смог замыслить самую смелую инновацию или революционный эксперимент, необходимо чтобы они существовали в виде потенций внутри системы уже реализованных возможностей: как структурные лакуны, ожидающие и требующие заполнения, как потенциальные направления развития, возможные пути экспериментирования. Более того, должна существовать вероятность того, что они будут приняты,⁶⁴ т. е. восприняты и признаны как «имеющие смысл» в среде, по крайней мере, немногих — тех, кому могли бы прийти в голову такие же идеи.⁶⁵ Подобно тому, как вкусы отчасти детерминируются состоянием предложения на рынке (так что, как показал Гаскелл, любое важное изменение в природе или численности предлагаемых произведений при-

водит к изменениям в системе наблюдаемых предпочтений), любой акт производства отчасти детерминирован состоянием пространства возможных производств. Конкретным выражением этого пространства являются практические альтернативы между соперничающими проектами (именами авторов, школами или «измами»), каждый из которых в той или иной степени несовместим с остальными, и поэтому представляет вызов защитникам всех остальных проектов.

Всем, кто интериоризовал логику и принуждения поля, пространство возможного навязывает себя как некую историческую трансцендентальность, систему (социальных) категорий восприятия и оценки, социальных условий возможности и легитимности, которые (например, понятия жанров, школ, манер, форм) определяют и ограничивают вселенную мыслимого и немислимого. Эта система определяет одновременно и свободу: конечную вселенную потенций, которые могут быть помыслены и реализованы в рассматриваемый момент, — и необходимость: систему принуждений, внутри которых детерминировано то, что должно быть сделано или помыслено. Подлинное *ars obligatoria*, как говорили схоласты, оно, подобно грамматике, определяет возможное, представимое в пределах некоторого поля, конституируя каждый из сделанных «выборов» (в вопросах мизансцены, например) в качестве грамматически корректных возможностей (в отличие от выборов, создающих авторам репутацию занимающихся «невесельем»); но оно же — и *ars inveniendi*, т. к. позволяет изобретать разнообразие решений, приемлемых в пределах грамматичности (возможности, заложенные в изобретенной Антуаном грамматике мизансцены, еще до сих пор не исчерпаны). Именно таким образом производитель неизбежно «закрепляется» за определенным местом и временем, разделяя общую проблематику с совокупностью его (понимаемых социологически) современников. «Нового романа» не существует для Дидро, хотя Роб-Грийе и видел, анахронистически проецируя на прошлое свое пространство возможностей, предвосхищения «нового романа» в Жаке-фаталисте.

Система мыслительных схем, принципов видения и деления, разметки, рассечения и кадрирования, будучи отчасти продуктом интериоризации образующих структуру поля оппозиций, является общим достоянием всех производителей и большей или меньшей части публики. Поэтому эта система приобретает некоторую форму объективности, которая трансцендентно необходима, т. к. опирается на разделяемую всеми, т. е. принимаемую универсально (в пределах поля) за саму собой разумеющуюся очевидность.

Не вызывает сомнения тот факт, что, по крайней мере, в секторе производства для производителей, но, конечно, и за его пределами, собственно тематический или стилистический интерес, представляемый тем или иным эстетическим решением, и «чистые» (т. е. исключительно внутреннее) ставки собственно эстетического (или в другой сфере, научного) поиска маскируют, даже от тех, кто принимает эти решения, материальные или символические прибыли, которые они (по крайней мере, со временем) приносят и которые выступают в своем истинном виде только в логике циничного расчета. Объективная вероятность получения символической или экономической прибыли от того или иного решения может восприниматься только через призму специфических схем восприятия и оценки, которые воспроизводят в своей собственной логике фундаментальные противопоставления пространства позиций («чистое искусство»/«коммерческое искусство», «богема»/«буржуазия», «левый берег»/«правый берег») или жанровые противопоставления. В соответствии с этими схемами позиции предстают либо как приемлемые или притягательные (в логике «призвания»), либо, напротив, как невозможные, недопустимые или неприемлемые. Склонность к риску или к благоразумию в выборе, которая является фундаментальной составляющей их габитусов, подталкивает агентов либо к рискованным и долгосрочным вложениям в авангард, маленькие кружки без аудитории и журналы без публики, либо к надежным и краткосрочным вложениям в журналистику, серийную литературу или театр. Это чувство ориентации,

являющееся одновременно чувством перспективности вложения (инвестиции) и расположения, лежит в основе поразительно близкого соответствия между позициями и диспозициями, наблюдаемого как соответствие между социальными характеристиками «постов» и социальными характеристиками занимающих их агентов.

Отсюда следует методологически важное положение: для того чтобы получить адекватное и полное представление об установившемся в некоторый момент отношении между пространством позиций и пространством диспозиций, необходимо определить совокупность всего, что представляет собой (в рассматриваемый момент и в различные поворотные моменты в карьерах агентов) пространство наличествующих возможностей: школ, стилей, манер, тем, сюжетов и т. д. При этом возможности должны рассматриваться как с точки зрения их внутренней логики, так и с точки зрения социальной ценности, которую им придает их расположение в соответствующем пространстве и которая варьируется у разных агентов и групп агентов в силу разницы в социально конституируемых схемах восприятия и оценки, применяемых агентами к пространству возможностей.

Так, «пост» поэта, каким он предстает перед молодыми соискателями в 1880-х, отличается от «поста» поэта образца 1830, 1848 и, уж конечно, 1980 года. Прежде всего, этот «пост» — высшая позиция в иерархии литературных ремесел, которая, благодаря своего рода кастовости, дает поэтам уверенность (по крайней мере, субъективную) в превосходстве над всеми остальными литераторами; «последние» из поэтов (в это время — символисты) считают себя выше «первых» из романистов (т. е. натуралистов).⁶⁶ Это также набор «примеров для подражания» — Ламартин, Гюго, Готье и т. д. — поэтов, которые участвовали в формировании и распространении персонажа и роли поэта, и чьи произведения и установки (например, романтическое отождествление поэзии с лиризмом) определили те вехи, в отношении к которым должны были расположить себя все поэты. Это еще и набор нормативных представлений (например, «чистый художник», без-

различный к успеху и к мнению рынка) и механизмов, санкции которых поддерживают и придают реальную эффективность этим представлениям. Наконец, этот пост включает состояние стилистических возможностей — изношенность александрийского стиха, уже банализованные метрические эксперименты поколения романтиков и т. д., — которое ориентирует поиск новых форм.

Было бы совершенно несправедливо и неплодотворно отказываться от предлагаемой реконструкции на том (пусть и бесспорном) основании, что она трудновыполнима на практике. Научный прогресс может в некоторых случаях заключаться в идентификации всех принятых на веру предположений и всех сочтенных решенными спорных вопросов, которые содержатся в безупречных (ибо «неотрефлексированных») трудах «нормальной науки». Прогресса можно также достичь, предложив и разработав программу фундаментального исследования, которое бы поставило вопросы, считающиеся в обычных исследованиях разрешенными, просто потому, что исследователям не удастся заметить и сформулировать эти вопросы.

В действительности, если мы будем достаточно внимательны, мы обнаружим многочисленные свидетельства о восприятии пространства возможностей. Мы находим их, например, в образе великих предшественников, в соотношении с которыми себя определяют и осмысляют (например, взаимодополняющие фигуры Тэна и Ренана для одного поколения романистов и интеллектуалов; противоположные индивидуальности Малларме и Верлена для поколения поэтов).

Восприятие пространства возможностей фиксируется, например, в возвышенном представлении о писательской или художественной деятельности, которое может сформировать амбиции целой эпохи: «Новое литературное поколение росло, одержимое духом 1830-го года. В школах, несмотря на враждебность Университета, передавались из рук в руки стихи Гюго и Мюссе, пьесы Александра Дюма и Альфреда де Виньи; под партами составлялось бесконечное множество романов из жизни Средневековья, лирических исповедей и поэм, исполненных отчаяния и

безысходности». ⁶⁷ И следует также привести отрывок из романа «Манет Саломон», в котором Гонкуры показывают, что притягательным и зачаровывающим в профессии художника было не столько само искусство, сколько стиль жизни художника (в наши дни в соответствии с такой же логикой распространяется модель интеллектуала): «В глубине души искусство притягивало Анатоля меньше, чем жизнь художника. Он бредил мастерской. Он стремился к ней с воображением школьника и страстностью, присущей его натуре. Ему виделись в ней зачаровывающие на расстоянии горизонты Богемы; роман Нищеты; освобождение от обязанностей и правил; свободная, бесшабашная, беспорядочная жизнь; дни, полные случайностей, приключений и неожиданностей; побег из домашней аккуратности и размеренности, из семьи с ее непереносимо скучными воскресеньями; глумление над буржуа; чувственная тайна натурщицы; работа, не требующая никаких усилий; право одеваться весь год причудливо и прихотливо; какой-то нескончаемый карнавал. Такие образы и соблазны пробуждал в его сердце суровый труд художника». ⁶⁸

Эти и подобные им сведения, которыми изобилуют тексты, не прочитываются как таковые только потому, что литературная диспозиция стремится к дереализации и деисторизации всего, что напоминает о социальных реальностях. Этот нейтрализующий подход к текстам низводит аутентичные свидетельства о том, как переживалась среда и эпоха, и свидетельства об исторических институтах — салонах, кружках, богеме и т. п. — на уровень обязательных анекдотов о литературном младенчестве и юности. Тем самым подавляется чувство изумления, которое они должны были бы вызывать.

Итак, поле актуальных и потенциальных манифестаций предстает в форме некоторой структуры вероятностей, шансов потерять или приобрести, как в материальном так и в символическом плане. Эти шансы отрицаются как таковые и переживаются сублимированно: в форме повелительных зовов и непреодолимых соблазнов. Но структура вероятностей всегда содержит долю неопреде-

ленности, связанную, в частности, с тем фактом, что особенно в поле столь слабо институционализированном, как это, агенты, невзирая на жесткость заложенных в их позициях принуждений, всегда обладают объективным запасом свободы (которым они могут воспользоваться или не воспользоваться в соответствии со своими субъективными диспозициями). Эти свободы, сталкиваясь друг с другом, как бильiardные шары, в игре структурных взаимодействий, открывают, особенно в кризисные периоды, пространство для стратегий, способных перекроить установленное распределение шансов и прибылей в пользу доступной свободы маневра.

Следовательно, структурные лакуны системы возможного, которая (вопреки иллюзии, создаваемой ретроспективной реконструкцией) никогда не дается как таковая субъективному опыту агентов, заполняются отнюдь не в силу магического стремления системы к полноте. Зов, заключенный в этих лакунах, внятен лишь тому, кто, благодаря своей позиции, габитусу и отношению (часто противоречивому) между позицией и габитусом, оказывается достаточно свободным от принуждений структуры, чтобы воспринять как имеющую к нему прямое отношение виртуальную возможность, которая в определенном смысле ни для кого, кроме него, не существует. И это впоследствии придает всему процессу видимость предопределенности.

Построение траектории

Очевидно, что построение биографии может быть лишь завершающим этапом анализа: необходимо реконструировать социальную траекторию, которая определяется как серия позиций, последовательно занимаемых одним и тем же агентом или группой агентов в последовательных пространствах. (То же верно и для институций, которые обладают только структурной историей. Иллюзия неизменности содержания некоторого термина происходит от неведения того, что социальная ценность номинально все тех же позиций — поэта или романиста,

или в пространстве профессий — врача или инженера, или в пространстве институций — Государственного Совета или Коллеж де Франс, — различна в различные моменты внутренней истории поля.) Именно в их отношении к соответствующим состояниям структуры поля определяется в каждый момент смысл и социальная ценность биографических событий. События надо описывать как перемещения и размещения (инвестиции) в поле или, точнее, в последовательности состояний структуры различных видов капитала, «разыгрываемых» в поле: экономического капитала и специфического капитала «освященности». Не стоит пытаться понять жизнь или карьеру как уникальную и самодостаточную серию последовательных событий, не связанных ничем, кроме единого «субъекта», постоянство которого — не более чем постоянство признанного социумом личного имени. Это столь же абсурдно, как попытка понять смысл некоторого маршрута в метро, не принимая в расчет структуры сети, т. е. матрицы объективных отношений между различными станциями.

Любая социальная траектория должна быть понята как индивидуальная манера пересечения социального пространства, выражающая диспозиции некоторого габитуса. Любой переход на новую позицию, поскольку он подразумевает исключение более или менее обширной группы равновозможных позиций и, следовательно, необратимое сужение выбора, знаменует новую ступень в процессе социального старения. Последнее может быть измерено количеством этих радикальных альтернатив, разветвлений истории жизни — дерева с бесчисленным множеством засохших ветвей.

Итак, хаос индивидуальных историй можно заменить типами интрагенерационных траекторий в поле производства культуры (или, если угодно, типичными формами специфического старения):

— с одной стороны, мы сталкиваемся с перемещениями, которые происходят внутри одного и того же сектора поля и соответствуют более или менее значительной аккумуляции капитала: капитала признания у писателей (и т. п.) в символически доминирующем секторе или экономического капитала у гетерономных писателей;

— с другой стороны, существуют перемещения, которые подразумевают перемену сектора и перевод одного вида специфического капитала в другой (как, например, в случае с поэтами-символистами, обратившимися к психологическому роману), или даже конверсию специфического капитала в экономический (как при переходе от поэзии к театру, или, еще очевиднее, от поэзии к кабаре или серийному роману).

Подобным же образом можно выделить основные классы интергенерационных траекторий. К ним относятся:

— восходящие траектории, которые могут быть прямыми (у писателей, происходящих из рабочего класса и из состоящих на жаловании фракций средних классов) или перекрестными (у выходцев из коммерческой и ремесленной мелкой буржуазии или даже из крестьянства, обратившихся к писательству чаще всего вследствие критического разрыва в коллективной траектории родословной — например, вследствие банкротства или смерти отца);

— поперечные траектории: горизонтальные, но в определенном смысле, нисходящие — в пределах поля власти, — которые от политически и экономически доминирующих и культурно подчиненных позиций (высшая промышленная буржуазия) или от средних позиций, почти равно богатых экономическим и культурным капиталом («свободные» профессии, такие, как врачи, адвокаты), приводят к полю культурного производства;

— нулевые перемещения, т. е. передвижения внутри поля культурного производства. (Для полной точности необходимо также различать траектории по их конечным точкам в поле культурного производства; траектории могут приводить к экономически подчиненным и культурно доминирующим, экономически доминирующим и культурно подчиненным и нейтральным позициям. Оставаясь внутри поля, интеллектуалы второго поколения могут, например, перемещаться от одного к другому полюсу в поле культурного производства.)

И только после этого можно выделить внутри полной картины всех возможных сцеплений между интрагенера-

ционными и интергенерационными траекториями наиболее вероятные из них, например, такие, в соответствии с которыми восходящие, особенно перекрестные, интергенерационные траектории продлеваются интрагенерационными траекториями, ведущими от символически доминирующего к символически подчиненному полюсу, т. е. к низким жанрам и к низким формам основных жанров («областной» или «народный» роман).

Понимаемый таким образом биографический анализ может прояснить принципы творческой эволюции. Позитивные или негативные санкции, успех или провал, поощрения или предупреждения, которые являют каждому автору — и ансамблю его конкурентов — объективную истину занимаемой им позиции и его вероятное будущее, представляют собой один из медиаторов, посредством которых направляется непрестанная редифиниция «творческого проекта»: в то время как неудача подталкивает к реконверсии или к выходу из поля, «освящение» усиливает и высвобождает первоначальные амбиции.

Социальная идентичность включает в себе определенное право на пользование возможностями. В соответствии с символическим капиталом, признаваемым за ним как функция его позиции, каждый писатель (и т. п.) ощущает право на определенный набор легитимных возможностей, т. е. на некоторую долю объективно предлагаемых в данный момент и в данном поле возможностей. Социальная дефиниция того, что может быть позволено кому-либо, того, что можно себе позволить без риска показаться претенциозным или несведущим, устанавливается посредством всевозможных разрешений и требований, негативных и позитивных призывов к порядку (*noblesse oblige*), которые могут быть либо публичными и официальными, как все формы номинаций или гарантируемых государством вердиктов, либо, напротив, частными, даже негласными и почти неощутимыми. Это право на возможности лежит в основе стремлений и чаяний, которые переживаются как естественные, поскольку немедленно признаются легитимными. Оно обуславливает почти телесное чувство собственной значительности, в соответствии

с которым определяется, например, место, на которое можно рассчитывать внутри группы, т. е. расположение «на виду» или «в тени», центральное или маргинальное, высокое или низкое; объем пространства, который прилично удерживать, и время, которое позволено занимать (у других). Субъективное отношение писателя (и т. п.) к пространству возможного в очень сильной степени зависит от возможностей, которые ему в данный момент положены «по статусу», а также от его габитуса, первоначально сложившегося внутри некоторой позиции, которая сама дает право на определенные возможности. Все формы социального «освящения» и «статусных» привилегий — связаны ли они с высоким социальным происхождением, с научными достижениями, или, как в случае с писателями, с признанием среди себе подобных — приводят к тому, что право пользования распространяется на наиболее редкие возможности и, посредством этой гарантии, к увеличению субъективной способности реализовывать их на практике.

Габитус и возможности

Предрасположенность к наиболее рискованным с экономической точки зрения позициям и особенно способность удерживаться на них при полном отсутствии краткосрочной экономической прибыли в большой степени зависит от обладания значительным объемом экономического и социального капитала.

Во-первых, потому что обладание экономическим капиталом освобождает от экономических нужд и частный источник дохода — рента — является одним из лучших заменителей доходов от продаж. Как заметил Теофиль Готье в разговоре с Фейдо: «Флобер был умнее нас... Он сообразил явиться в этот мир с кое-каким состоянием — вещь совершенно необходимая для любого, кто хочет достичь чего-либо в искусстве».⁶

Большинство из тех, кому все-таки удастся продержаться на рискованных позициях в течение срока, достаточного для получения символических выгод, которые

эти позиции могут принести, принадлежат к категории наиболее состоятельных. Они обладают, помимо прочего, преимуществом не тратить время и энергию на дополнительную деятельность — заработки на «хлеб насущный». Иначе обстоит дело со многими поэтами — выходцами из мелкой буржуазии, которые либо рано или поздно оставляют поэзию и обращаются к более прибыльным видам литературной деятельности (например, к «нравоописательному роману»), либо с самого начала посвящают часть своего времени сочинению пьес или романов (например, Франсуа Коппе, Катюль Мендес, Жан Экар).⁷⁹ Подобным же образом, когда со старением, которое не оставляет места двусмысленностям, к писателям самого скромного происхождения приходит понимание того, что добровольные и временные отречения богемной юности оставили их у «разбитого корыта», они с большей готовностью обращаются к «рыночной словесности», в которой сочинительство становится такой же работой как и любая другая, — за исключением наиболее разочарованных, которые, восстав против интеллектуализма, круто поворачивают и ополчаются на собственное прошлое, что приводит их на самые низменные поприща политической полемики.

Во-вторых, и в-главных, потому что принадлежность к семье, обладающей экономическим капиталом, обеспечивает условия жизни, способствующие развитию таких диспозиций, как смелость, безразличие к экономической прибыли и специфическое чутье, способность предчувствовать возникновение новых иерархий. Эти диспозиции предрасполагают к занятию наиболее уязвимых позиций на передовой авангарда и к инвестициям наиболее рискованным, поскольку они опережают спрос, но довольно часто также и наиболее прибыльным символически и в долгосрочной перспективе, по крайней мере для первых инвесторов. Чувство перспективности вложения входит в число диспозиций, наиболее тесно связанных с социальным и географическим происхождением. Следовательно, это чувство, т. к. оно зависит от социального капитала, представляет собой один из медиаторов, по-

средством которых эффект различий в социальном происхождении, и прежде всего эффект оппозиции между парижским и провинциальным происхождением, проявляется в логике поля.⁷¹

Как правило, именно те, кто обладает наибольшим экономическим, культурным и социальным капиталом, первыми переходят на новые позиции (и это, по-видимому, верно для всех полей: как экономического, так и научного). Так обстояло дело с писателями, группировавшимися вокруг Поля Бурже, которые оставили символистскую поэзию и перешли к новой форме романа, противопоставленной натурализму и лучше отвечающей ожиданиям утонченной аудитории. Напротив, неверное чувство инвестиции, обусловленное социальной и географической периферийностью, подталкивает писателей из рабочего класса и мелкой буржуазии или писателей-провинциалов и иностранцев к занятию доминирующих позиций в тот самый момент, когда эти позиции — именно в силу их привлекательности (связанной с экономическими выгодами, как в случае с натуралистским романом, или с потенциальными символическими выгодами, как в случае с символистской поэзией), а также вследствие обостряющейся конкуренции — становятся менее прибыльными. Неверное чувство инвестиции заставляет хранить верность клонящимся к упадку позициям, в то время как наиболее осведомленные их покидают. Движимые неверным чувством инвестиции, агенты поддаются на соблазн господствующих позиций, несовместимых с привносимыми ими диспозициями, только потому что слишком поздно, т. е. упустив время, в силу эффектов поля и в порядке «отправки в ссылку», обнаружили «свой шесток».

Идеально-типическим примером такого развития событий служит Леон Кладель (1835–1892), сын монтобанского шорника, который прибыл в Париж в 1857 году, присоединился к Парнасскому движению и после семи лет вполне нищенского существования в богеме вернулся в родной Керси и посвятил себя жанру «областного» романа⁷². Творчество этого всегда и везде неуместного писателя пронизано противоречием между его диспозициями,

связанными с его отправной точкой, к которой он в конце концов вернулся, и позициями, которые он стремился занять и временно занимал: «Он хотел создать что-то вроде старинного, варварского эпоса, прославляющего его родной Керси — почву, пропитанную латинским духом, родину деревенских Гераклов. Высматривая в жестоких крестьянских потасовках надменные позы деревенских рыцарей, Кладель надеялся попасть в число скромных соперников Гюго и Леконта де Лиля. Так появились «*Ompdrailles*» и «*La Fête votive de Bartholomé-Porte-Glaive*», причудливый эпос, пастиш Илиады и Одиссея, написанный то на неуместно высокопарном, то на раблезианском языке». ⁷³ Писатели, которые «забираются» на позиции, на которых их присутствие совершенно неправдоподобно, подвергаются воздействию двойного структурного принуждения, которое, как в случае с Кладелем, продолжает сказываться и после их более или менее скорого изгнания с невозможного поста. Это двойное принуждение часто обрекает «факиров на час» на патетически непоследовательные начинания, саморазрушительные панегирики ценностям вселенной, отрицающей за ними всякую ценность. Такова, например, попытка Кладеля говорить о крестьянах Керси на языке Леконта де Лиля, колеблющаяся между пародией и неудержимым восхвалением: «Инстинкт влечет меня к исследованию плебейских типов и среды, — пишет Кладель в предисловии к роману «*Celui-de-la-croix-aux-boeufs*», — в то же время я — пылкий поклонник стилистических красот: рано или поздно грубое и возвышенное почти неизбежно должны были столкнуться». ⁷⁴ Никогда не попадающий в такт, Кладель был деревенщиной среди парнасцев (которые причисляли его, вместе с его другом Курбе, к «простонародью») и мелким буржуа среди крестьян своей родной области. Неудивительно, что в его романах из сельской жизни (жанр, которым ему пришлось довольствоваться) первоначальное намерение реабилитировать крестьян вытесняется снисходительным описанием крестьянской дикости и помрачения; и форма, и содержание этих романов выражают противоречия позиции, полностью predeterminedенные при-

ведшей к этой позиции траекторией: «Этот нищий мечтатель и сын нищего был наделен врожденной любовью к крестьянам и деревенскому быту. Если бы с самого начала, без колебаний, он попытался изобразить их с той святою грубостью мазка, которая отличает раннюю манеру мастеров, он, быть может, попал бы в число самых ярких молодых писателей своего поколения».⁷⁵

Конфронтация с парижскими художниками или художниками из высшей буржуазии заставляет художников из рабочего класса и мелкой провинциальной буржуазии осознать необоснованность своих претензий, отбрасывает их назад к «народу» и приводит к обнаружению того, что их негативно отличает, и даже (хотя и реже) к признанию и отстаиванию этой «отличности». Последнее случилось с Курбе, который поднял на щит свой провинциальный акцент, диалектизмы, «пролетарский» стиль и т. п. «Как описывает Шанфлери [реалистический романист, друг Курбе и Кладеля. — П. Б.], парижская “Брассерри Аллеманд”, в стенах которой реализм оформился как движение, напоминала протестантскую деревню: в ней царили простонародные манеры и откровенное веселье. Вожак реалистов, Курбе, вел себя как “поденщик”, он крепко пожимал руки, много ел и много говорил; сильный и упрямый, как крестьянин, он являл собою полную противоположность образу денди 30-х и 40-х годов. Его поведение в Париже было нарочито простонародным; он выставлял напоказ свой диалект, курил и шутил как простодуш. Свидетелей впечатляла плебейская и деревенская небрежность его техники. Дюкан писал, что Курбе кладет мазки, “как начищают ботинки”».⁷⁶

Эти неассимилируемые парвеню принимаются подчеркивать свои отличия тем более ревностно, чем неудачней были их первоначальные попытки ассимилироваться. Так, сам Шанфлери, писатель-провинциал очень скромного мелкобуржуазного происхождения, довольно долго «разрывался между двумя тенденциями, реализмом в манере Монье и романтической и сентиментальной поэзией в немецком духе»⁷⁷; затем он обнаружил, что неудачи первых попыток и, в особенности, осознание своей отлично-

сти возвращают его в «народ» и подталкивают к воинствующему реализму, т. е. к объектам, исключенным из легитимного искусства, и к манере обращения с ними, считавшейся в то время «реалистической». И этот вынужденный возврат к народу не менее двусмыслен и внушает не меньше опасений, чем возвращение к «почве» писателей-«областников»: враждебность по отношению к анархистским нововведениям и капризному, произвольному популизму буржуазных интеллектуалов может лечь в основу антиинтеллектуального популизма, в котором «народ», в очередной раз, является не более чем фантазматической проекцией внутренних отношений интеллектуального поля.

Типичный пример этого эффекта поля представлен в траектории того же Шанфлери. Он стоял во главе движения молодых писателей-реалистов в 1850 году и был «теоретиком» реалистического направления в литературе и живописи. Флобер, а затем Гонкуры и Золя оттеснили его на второй план. Получив место чиновника на фарфоровом заводе в Севре, он стал историком народной живописи и литературы и завершил свою карьеру в качестве официального (в 1867 г. награжден орденом Почетного Легиона) теоретика консервативной идеологии, основывающейся на превозношении народной мудрости и в особенности на смиренном следовании иерархиям, выраженным в народном искусстве и традициях.⁷⁸

Диалектика позиций и диспозиций

Итак, связанные с определенным социальным происхождением диспозиции реализуются, только специфицируясь:

— с одной стороны, в соответствии со структурой возможностей, которая явлена в наборе существующих в данный момент (уже занятых) позиций и соответствующих манифестаций,

— с другой стороны, в соответствии с позицией, занимаемой самим автором, который может переживать свою позицию как успех или как провал и в зависимости

от этого по-разному оценивать открывающиеся возможности.

Таким образом, в зависимости от конкретного состояния поля одинаковые диспозиции могут привести к противоположным политическим и эстетическим позициям⁷⁹. Поэтому заведомо обречены на неудачу попытки «привязать» реализм в литературе и живописи к характеристикам социальных групп — крестьянства, например, — из которых происходят основатели и адепты этого направления (Шанфлери или Курбе). Только внутри определенного состояния поля, и только в соотношении с другими, в свою очередь социально охарактеризованными, артистическими позициями и занимающими их агентами, диспозиции писателей и художников-реалистов приобретают свою специфическую форму; диспозиции, которые в другое время и при других обстоятельствах могли бы выразиться иначе, воплощаются в форме искусства, которая внутри данной структуры предстает как крайний способ выражения неразрывно эстетического и политического протеста против «буржуазного» искусства, против «буржуазных» художников и тем самым против «буржуа».⁸⁰

Очевидно, что позиции и диспозиции находятся в отношении взаимовлияния:

— с одной стороны, любой габитус как система диспозиций эффективно реализуется только в отношении к определенной структуре социально маркированных позиций (маркированных, помимо прочего, социальными характеристиками занимающих их агентов);

— но с другой стороны, именно посредством диспозиций, которые сами более или менее полно приспосабливаются к позициям, реализуются потенциально присутствующие в позициях возможности.

Так, например, наивно было бы пытаться свести разницу между «Театром творения» [*Théâtre de l'Oeuvre*] и «Свободным театром» [*Théâtre libre*] к разнице между габитусами их основателей: Люнье-По, сына парижского буржуа, и Антуана, провинциального мелкого буржуа. Но столь же невозможно объяснить разницу между этими театрами только различием в структурных позициях дан-

ных институций: если, по крайней мере, в начале отношения между их структурными позициями и воспроизводили, как кажется, отношения между диспозициями основателей, то только потому, что позиции и были реализациями этих диспозиций в состоянии поля, отмеченном конфликтом между символизмом, направлением преимущественно буржуазным (прежде всего, по социальным характеристикам его адептов), и натурализмом, направлением преимущественно мелкобуржуазным.

Антуан, который вместе с натуралистами и при их теоретической поддержке самоопределялся на основании оппозиции к буржуазному театру, предложил систематическую трансформацию мизансцены, специфическую театральную революцию, в основании которой лежал внутренне непротиворечивый тезис. Акцентируя среду в противовес персонажам, обуславливающий контекст в противовес обусловленному тексту, он сделал сцену «целостной, внутренне логичной и совершенной вселенной, над которой безраздельно властвует режиссер».⁸¹

Напротив, «эkleктичная, но изобретательная» манера Люнье-По, определившаяся не только в соотнесении с буржуазным театром, но также в соотнесении с инновациями Антуана, привела к появлению постановок, описанных современниками как «смесь изящных находок и неряшливости». На его спектакли, вызванные к жизни «отчасти демагогическим, отчасти элитарным проектом», собиралась смешанная аудитория, в которой анархисты соседствовали с мистиками.⁸²

Короче, оппозиция между диспозициями Антуана и Люнье-По получает свое законченное определение, т. е. полную историческую конкретность, только в конкретном пространстве. Она принимает форму системы обнаруживающихся повсеместно оппозиций — между писателями, газетами и критиками, поддерживающими тот или другой театр, между авторами, избираемыми для постановок, и между содержанием выбираемых пьес: с одной стороны — «кусочек жизни», кое в чем напоминающий водевиль, у Антуана; с другой стороны — изощренные интеллектуальные поиски, вдохновленные провозглашен-

ной Малларме идеей многоуровневого произведения, у Люнье-По.

Есть все основания полагать, что, как показывает рассмотренный случай, влияние диспозиций (и объяснительная сила «социального происхождения») особенно велико в тех случаях, когда речь идет о нарождающихся позициях, позициях, которые еще предстоит установить (но не в случае с позициями уже готовыми, установившимися и, следовательно, способными навязывать занимающим их агентам свои собственные нормы); и шире, что отпущенная диспозициям «свобода» варьируется в зависимости от состояния поля (в частности, от того, насколько оно автономно), от занимаемой в поле позиции и от степени институционализации соответствующего этой позиции «поста».

Манифестации невозможно вывести из диспозиций. Столь же невозможно их прямое соотнесение с позициями. Тождественности позиций еще недостаточно для образования литературных или артистических групп, хотя она и способствует сближениям и обменам. Примером могут служить приверженцы «искусства для искусства», которые, как показал Кассань (Ор. cit. P. 103–134), были связаны отношениями симпатии и взаимопочитания. Готье приглашает на свои «вторники» Флобера, Теодора де Банвиля, Гонкуров, Бодлера. Флобера и Бодлера сближают обстоятельства судебных процессов над ними и одновременность литературных дебютов. Флобер и Гонкуры очень высоко оценивали творчество друг друга, и именно у Флобера Гонкуры познакомились с Буйе. Теодор де Банвиль и Бодлер были старыми друзьями. Луи Менар, близкий друг Бодлера, Леконта де Лиля и Банвиля, становится частым посетителем Ренана. Барбе д'Оревильи был одним из самых горячих защитников Флобера. Эффект поля способствует сближению между теми, кто занимает идентичные или соседние позиции в объективном пространстве. Однако соседства позиций недостаточно для того, чтобы обусловить сосредоточение в единую группу — корпорацию, и вызвать эффект корпоративности, из которого самые знаменитые литературные и арти-

стические группы извлекают огромные символические прибыли — вплоть до (и даже посредством) более или менее скандальных разрывов, прекращающих их существование.

Формирование и распад групп

Агенты, занимающие доминирующие позиции (особенно экономически доминирующие: например, буржуазный театр), — очень гомогенны. Позиции в авангарде, определяемые в основном негативно — отталкиванием от доминирующих позиций, напротив, сводят вместе на некоторое время, в фазе первоначального накопления символического капитала, писателей и художников самых разных диспозиций и самого разного социального происхождения; их интересы сближаются на некоторое время, но затем, рано или поздно, расходятся.⁴³ Эти угнетенные группы — маленькие изолированные секты, удерживаемые вместе общей оппозиционностью и тесной эмоциональной сплоченностью (часто вокруг лидера), — по кажущемуся парадоксу вступают в пору кризиса как раз тогда, когда они достигают признания (символические выгоды от которого достаются немногим или даже только одному), и скреплявшие их силы совместного отталкивания ослабевают. Различия в позициях внутри группы и особенно различия в уровне образования и в социальном происхождении, которые поначалу преодолевались или вытеснялись благодаря оппозиционному единству группы, сказываются в неравном доступе к прибылям от накопленного символического капитала. Это особенно тяжело переживается непризнанными первооснователями еще и потому, что «освящение» и успех привлекают второе поколение адептов, которые очень отличаются своими диспозициями от начинающих, но пользуются, иногда в большей степени, чем первые акционеры, дивидендами.

Отличной иллюстрацией предложенной модели образования и распада авангардных групп, достигших «освящения», служит история импрессионистов⁴⁴ или постепенное размежевание между символистами и декадентами.

Символисты и декаденты начинали с одной и той же, едва заметной позиции в поле. Обе группы определялись на основании оппозиции по отношению к натуралистам и парнасцам, из среды которых были изгнаны Малларме, лидер символистов, и Верлен, лидер декадентов. Однако пути этих групп расходятся по мере того, как они обретают полную социальную идентичность. Символисты, происходившие из более комфортабельной социальной среды (т. е. из средней и высшей буржуазии и аристократии) и обладавшие значительным образовательным капиталом, противопоставлены декадентам, зачастую детям ремесленников, практически лишенным образовательного капитала — так, салон («Вторники» Малларме) противопоставлен кафе, правый берег — левому берегу и богеме, дерзость — благоразумию⁸⁵; и в эстетических терминах, так герметизм, основывающийся на эксплицитной теории и решительном отказе от старых форм, противопоставлен «ясности» и «простоте», основывающейся на «здравом смысле» и «наивности». В политике символисты выражают равнодушие и пессимизм, что, однако, не исключает отдельных всплесков анархического радикализма, декаденты же настроены прогрессивно и скорее реформаторски.

Очевидно, что эффект поля, порождаемый оппозицией между школами и усиливающийся в процессе институционализации, необходимой для того, чтобы сформировать настоящую литературную группировку — т. е. орудие аккумуляции и концентрации символического капитала (для чего принимаются наименования, пишутся программы и манифесты, устанавливаются ритуалы сборов, например регулярные встречи), приводит к выпячиванию первоначальных различий между группами и к канонизации этих различий. Верлен, мастерски превращая «нужду в добродетель», прославляет «наивность» (точно так же как Шанфлеры противопоставил «искусству для искусства» «откровенность в искусстве»), тогда как Малларме, провозгласивший себя теоретиком «загадки в поэзии», чувствует необходимость становиться все герметичнее, как бы в ответ на стремление Верлена к откровенности и простоте. И как бы специально для того, чтобы

снабдить решающим доказательством эффект диспозиций, именно наиболее обеспеченные из декадентов присоединились (Альберт Орье) или сблизились (Эрнест Рейно) с символистами, в то время как те из символистов, которые были ближе всего к декадентам по социальному происхождению, — Рене Гиль и Ажалбер — оказались «изгнанными» из символистской группы: первый — из-за своей веры в прогресс; второй, ставший впоследствии автором реалистических романов, по той причине, что его произведения были сочтены недостаточно «темными»⁸⁶.

В оппозиции между Малларме и Верленом представлено в парадигматической форме постепенно складывающееся и все более и более усиливающееся на протяжении всего девятнадцатого столетия разделение между:

— с одной стороны, писателем-профессионалом, обремененным по роду своей деятельности на размеренную, регулярную, почти буржуазную жизнь,

— и, с другой стороны, писателем-любителем, буржуазным дилетантом, который пишет в часы досуга и в качестве хобби, или нищим и эксцентричным «богемцем», который живет на случайные заработки от учительства, журналистики или редактуры.

Оппозиция между произведениями опирается на контраст стилей жизни, который она выражает и символически усиливает. Писатели-профессионалы (в первых рядах которых находятся приверженцы «искусства для искусства») всегда не в ладу с буржуазным миром и его ценностями; в то же время они многообразно противопоставлены богеме, ее претензиям, ее непоследовательности, самой ее хаотичности, которая несовместима с методическим производством. Здесь уместно процитировать Гонкуров: «Литература зачинается только в молчании, как бы во сне окружающих нас вещей и событий. Вызреванию воображения претят эмоции. Только покойные размеренные дни, буржуазное состояние всего существа, безмятежность лавочника могут привести к появлению на свет великого, мучительного, трогательного, патетического. Те, чьи силы истощаются страстью, нервным возбуждением, никогда не напишут книгу страсти».⁸⁷ Скорее

всего, хотя многие исследователи убеждены в обратном, именно эта оппозиция между двумя категориями писателей явилась источником собственно политических антагонизмов, проявившихся с особенной ясностью во время Коммуны⁸⁸.

Проходящая через всю жизнь конфронтация между усилиями создать «положение» и необходимостью соответствовать «положению», а также последовательные поправки, которые в результате серии «одергиваний» приводят оказавшихся «не на месте» к их «естественным местам», объясняют наблюдаемое регулярно, как бы далеко ни заходил анализ, соответствие между позициями и свойствами тех, кто их занимает. Так, например, внутри «народного» романа, который чаще, чем другие категории романа, является уделом писателей из угнетенных классов и женщин, различные, более или менее свободные манеры обращения с жанром — иными словами, различные субпозиции внутри позиции — связаны с различиями в происхождении и образовании; причем наиболее дистанцированные, полупародийные манеры (примером которых может служить восхищавший Аполлинера Фантомас) являются исключительным достоянием наиболее привилегированных авторов.⁸⁹ По наблюдениям Реми Понтонна, в соответствии с этой же логикой, среди бульварных авторов, находящихся в непосредственной зависимости от финансовых санкций буржуазного вкуса, почти нет выходцев из рабочего класса и мелкой буржуазии; однако последние широко представлены среди авторов водевиля, который, будучи комическим жанром, оставляет больше места для поверхностно-эффектных забавных или скабрёзных сцен и в то же время допускает своеобразную полукритическую свободу; по своим социальным свойствам авторы, работавшие одновременно в бульварной и водевильной литературе, занимают промежуточное положение между авторами этих двух жанров.⁹⁰ Короче, существует очень строгое — и неожиданное в этом мире, который стремится к свободе от всего, что предопределяет и вынуждает, — соответствие между наклонностями агентов и требованиями, заложенными в занимаемые ими по-

зиции. Эта социально установленная гармония как нельзя лучше подходит для поддержания иллюзии отсутствия всякой социальной детерминации.

Трансцендентность институтов

История искусства или литературы — как и история философии и, в несколько ином смысле, история науки — действительно принимает иногда видимость строго внутренней эволюции, и каждая из этих автономных систем репрезентаций действительно может показаться развивающейся в соответствии со своей собственной, независимой от деятельности художников, писателей, философов или ученых динамикой. Но это происходит только потому, что каждый вступающий в поле должен считаться с установленным в поле порядком, с имманентным игре правилом игры, знание и признание которого — *illusio* — негласно требуется от всех входящих в игру. «Никого не оправдывает незнание закона», номоса, который является одновременно причиной и смыслом существования поля.

Выразительный импульс или порыв, который придает интенцию и направление (зачастую негативное) поискам художника (и т. п.), должен соразмеряться со специфическим кодом, одновременно юридическим и коммуникативным. Умение распознать и готовность признать этот код и составляют подлинное право доступа в поле. Подобно языку, этот код является одновременно цензурой, т. к. исключает де-юре или де-факто определенные возможности, и средством выражения, т. к. заключает в конечные пределы предоставляемые им возможности бесконечного изобретения; он функционирует как исторически конкретная и датируемая система категорий восприятия, оценки и выражения, которая определяет общественные условия возможности — и в то же время границы — производства и циркуляции культуры и которая существует как объективно, в структурах поля, так и инкорпорированно, в ментальных структурах и диспозициях габитуса.

Именно в отношении между, с одной стороны, выразительным импульсом, в котором выражены интересы, заложенные в позиции, и, с другой стороны, этим специфическим кодом — пространством всего того, что можно сказать или сделать, универсумом проблем, ожидающих разрешения, — получают свое определение специфические (т. е. собственно музыкальные, философские, литературные, научные) интересы.

Строение поля, установленное одновременно в вещах (в документах, инструментах, нотах, картинах и т. д.) и в телах (в навыках, техниках, приемах), явлено как реальность, трансцендентная по отношению ко всем направленным на нее частным и «случайным» актам. Таким образом, он снабжает видимостью опоры декларативный или латентный платонизм тех, кто, подобно Гуссерлю или Мейнонгу, пытается основать собственно философскую деятельность на несводимости содержимого сознания (нозм) к актам сознания (ноззам) и несводимости числа к (психологическим) операциям исчисления, — или тех, кто, как Поппер и многие другие, утверждает независимость мира идей, независимость его функционирования и становления, от познающих субъектов.⁹¹ В действительности же, хотя строй культуры и обладает своими собственными, трансцендентными по отношению к индивидуальным волям и сознаниям, законами, материализованное и инкорпорированное (в виде габитуса, функционирующего как своего рода историческая трансценденция) культурное наследие проявляется активно, материально и символически только посредством и во время схваток, идущих на полях культурного производства; т. е. оно существует только в деятельности агентов, которые предрасположены и способны обеспечить его постоянную реактивацию и не существует ни для кого, кроме этих агентов.

Итак, тот «третий мир», не физический и не психический, в котором Гуссерль и другие после него полагали истинный предмет философии, существует и «выживает» за пределами всех индивидуальных апроприаций благодаря самому соперничеству за право его присвоить. Именно в процессе конкуренции и посредством конкуренции

между агентами, — которые могут участвовать в этом коллективном капитале, только инкорпорировав его (более или менее полно) в форме оценочных и когнитивных диспозиций специфического габитуса (приводимого ими в действие, когда они производят сами или оценивают продукцию других производителей), — продукт коллективной истории, трансцендентный по отношению к каждому, ибо имманентный по отношению ко всем, оказывается институционализированным в качестве нормы всех соотносимых с ним практик. И именно посредством системы перекрестного контроля и ограничений, которую распространяет на всех остальных каждый, кто этой системе подчинился, этот *opus operatum*, в других условиях обреченный на жалкую роль «мертвой буквы», снова и снова утверждается как коллективный *modus operandi*, как способ культурного производства, нормы которого обязательны в каждый момент для всех производителей. Трансцендентный мир произведений культуры не заключает в себе источника своей трансцендентности; не содержит он также и принципов своего собственного становления, хотя и принимает участие в структурировании мыслей и действий, которые вызывают его трансформации. Его структуры (логические, эстетические и т. д.) навязывают себя всем вступающим в игру (в которой он является одновременно продуктом, инструментом и ставкой); причем эти структуры сами подвергаются трансформации, которую не могут не произвести регулируемые ими мысли и действия (хотя бы потому, что последние оказываются пущенными в дело, что никогда не сводимо к простому исполнению).

Это означает, что когда речь идет о понимании некоторого поля культурного производства и того, что в нем может быть произведено, нельзя отделять экспрессивный импульс, источник которого лежит в самом функционировании поля и в фундаментальном *illusio*, без которого функционирование поля невозможно, от специфической логики поля, от объективных потенциальных возможностей, заложенных в нем. Иными словами, экспрессивный импульс нельзя отделять от всего, что одновременно при-

нуждает и авторизует его в специфическое решение, т. е. в «творение» — исторически конкретное и датируемое и в то же время не редуцируемое к историческим условиям своего появления. Именно в этом столкновении между тем, что Поппер называет «проблемной ситуацией» (*problem situation*), и агентом, предрасположенным к распознаванию этой «объективно существующей» проблемы и к превращению ее в свою собственную (можно вспомнить, например, об изученной Панофским проблеме окна в форме розы в западном фасаде собора, доставшейся по наследству от Сугерия архитекторам, которым предстояло изобрести готическое искусство), определяется характер специфического решения, которое обнаруживается исходя из уже изобретенного искусства изобретать или благодаря изобретению нового искусства изобретать. Возможное будущее поля содержится, в каждый момент, в структуре поля, и каждый агент творит свое собственное будущее — и вносит тем самым вклад в формирование будущего всего поля, — реализуя объективные потенции, которые определяются отношением между силами агента и объективно содержащимися в поле возможностями.

Кода

В заключение необходимо четко сформулировать вопрос, который просто не может не прийти в голову: насколько велика роль преднамеренности, циничного расчета в выявленных анализом объективных стратегиях, которые обеспечивают соответствие между позициями и диспозициями? Достаточно обратиться к литературным свидетельствам, переписке, дневникам и, пожалуй, более всего к эксплицитным выражениям взглядов [*prises de positions*] на литературный мир как таковой (собранным, например, в анкете Юрэ), чтобы убедиться в том, что простого ответа на этот вопрос не существует. Способность (всегда неполная) отдавать себе отчет о положении дел зависит, в очередной раз, от позиции и траектории внутри поля и различна в разное время у разных агентов.

Что касается осознания логики игры как таковой, осознания *illusio*, на которой основывается игра, то оно, как я был склонен полагать, исключается самим фактом принадлежности к полю; такая принадлежность предполагает (и порождает) веру во все, что обязано своим существованием существованию поля, т. е. в искусство, в «творца», в «творение» и т. д.: честность в этом вопросе превратила бы литературную и артистическую деятельность в циничную мистификацию, сознательное шарлатанство. Так я думал до тех пор, пока не наткнулся на принадлежащее перу Малларме рассуждение, из которого можно извлечь программу и одновременно итоговый отчет строгой науки о поле литературы: «Мы знаем, пленники абсолютной формулы, что, разумеется, существует только то, что существует. Однако немедленное, под каким-либо предлогом, разоблачение обмана изобличило бы нашу непоследовательность, лишая нас удовольствия, к которому мы стремимся. Ибо то, что вовне, есть агент этого удовольствия и его двигатель, — сказал бы я, если бы мне не был отвратителен публичный святотатственный демонтаж фикции, а стало быть, и литературного механизма, с выставлением на всеобщее обозрение его основной части — т. е. пустоты. Но я благоговею перед трюком, при помощи которого мы возносим на некую недостижимую высоту — и с громом! — осознанное отсутствие в нас того, что сверкает там наверху.

Чего ради?

Ради игры».⁹²

Итак, красота, в которой многим хотелось бы видеть платоновскую идею, наделенную объективным и трансцендентным существованием, оказывается не более чем проекцией в метафизическое «вовне» того, что отсутствует в «здесь и теперь» литературной жизни. Но достаточно ли такое понимание? Герметизм в данном случае полностью выполняет свою функцию. Предание гласности истинной природы поля и его механизмов, «демонтаж фикции» и «механизма литературы» представляет собою святотатство *par excellence*, непрощаемый грех, который стремятся пресечь все конституирующие поле цензуры. О таких вещах позволено говорить только так, чтобы ничего

не было сказано. И если Малларме и удастся, оставаясь внутри поля, высказать истину поля, запрещающего обнародование своей истины, то только потому, что он высказывает ее на языке, который несомненно будет признан полем, т. к. все в этом языке, и сама эвфемистическая форма высказывания, подтверждает, что автор признает цензуры поля. Точно так же поступит и Марсель Дюшан, когда превратит в артистические акции свои демистифицирующие мистификации, изобличающие в артистической фикции «просто фикцию» и разрушающие тем самым коллективную веру, на которой основывается это, как сказал бы Остин, легитимное самозванство.

Но герметизм Малларме, выдающий заинтересованность автора в сохранении *illusio*, имеет еще и другую причину: если платоновская иллюзия является «агентом» удовольствия, которое мы получаем только потому, что «стремимся к нему», если в основании удовольствия, получаемого любителем искусства, лежит его неведение о том, что он сам же производит причину своего удовольствия, то становится понятным, что можно при помощи еще одного сознательного самообмана предпочесть «благоговение» перед этим «мошенничеством без мошенника», которое выносит хрупкий фетиш за пределы досягаемости критической ясности.

Примечания

¹ Текст был представлен в марте 1983 на семинаре в Бад-Гомбурге.

² См.: Becker H. S. Art as Collective Action // American Sociological Review. 1974. № 39 (6). P. 767–776; Art Worlds and Social Types // American Behavioral Scientist. 1976. № 19 (6). P. 703–719.

³ На протяжении всего текста слово «писатель» можно заменить на «художник», «философ», «интеллектуал», «ученый», а слово «литературный» на «артистический», «философский», «интеллектуальный» и т. д. (Поэтому всякий раз, когда невозможно воспользоваться родовым обозначением «производитель культуры», избранным, без особого удовольствия, чтобы подчеркнуть разрыв с харизматической идеологией «творца», я прибегаю к сокращениям: «писатель и т. д.», «литературный и т. д.») Но это не означает, что разница между полями несущественна.

Так, например, напряженность борьбы, то, насколько видимы и, следовательно, сознательны принимаемые ею формы, несомненно зависит от вида деятельности и от того, насколько редка специфическая компетентность, требуемая различными видами деятельности в различные периоды, т. е. от того, насколько вероятна «нечестная конкуренция» и «нелегальная практика». (Именно поэтому на примере интеллектуального поля, всегда ощущающего угрозу со стороны гетерономии и гетерономных производителей, проще всего ухватить логику борьбы, присущую всем полям.)

⁴ Bayle Catius // Dictionnaire historique et critique. Rotterdam, 1720. P. 812. Цит. по: Koselleck R. Le règne de la critique. Paris: Minuit, 1979. P. 92.

⁵ См.: Weber M. Le Judaïsme antique. Paris: Plon, 1971. P. 499.

⁶ Статус представителей «социального искусства» в этом отношении более чем двусмысленен. С одной стороны, они подчиняют литературную и артистическую продукцию внешним функциям (в чем их не упускают случая упрекнуть приверженцы «искусства для искусства»); с другой стороны, они разделяют с «искусством для искусства» радикальное отрицание «внешнего» успеха и «буржуазного искусства», которое признает «внешний» успех и пренебрегает ценностями «незаинтересованности».

⁷ В этой логике становится понятным, как, по крайней мере, в определенных секторах поля живописи и в определенные моменты, отсутствие образования и академического одобрения могло восприниматься как признак величия.

⁸ О том, что к концу XIX века литературное поле добилось автономии, свидетельствует тот факт, что в это время иерархия по степени специфической освященности прямо противоположна иерархии доходов. Среди литераторов XVII века эти иерархии почти полностью совпадали, и наиболее «освященные», особенно поэты и ученые, вознаграждались пенсиями, аббатствами и епархиями. (См.: Viala A. Naissance de l'écrivain. Paris: Ed. de Minuit, 1984). Само собой разумеется, что этот период (конец XIX века), несомненно решающий, не является абсолютным началом, и отдельные признаки движения к автономии (например, учреждение специфических инстанций «освящения») наблюдаются значительно раньше. Но этот процесс долгое время оставался амбивалентным и даже противоречивым в той мере, в какой люди искусства должны были платить своего рода узаконенной зависимостью от государства за официальный статус и признание, которыми государство их наделяло. Только на рубеже XX века система конститутивных черт автономного поля складывается в законченном виде (при этом вовсе не исключается воз-

мжность регрессий к гетеронии, как, например, намечающаяся в наши дни тенденция, благоприятствующая возврату к новым, частным или государственным, формам меценатства).

⁹ Конкретная форма зависимости поля культурного производства от политической и экономической власти во многом определяется, во-первых, реальным расстоянием между этими универсумами (о котором можно судить по таким объективным показателям, как частота интер- и особенно интрагенерационных переходов из одного универсума в другой, или социальная дистанция между двумя популяциями, т. е. разница в социальном происхождении, местах образования, матримониальных или иных альянсах), и, во-вторых, дистанцией между взаимными репрезентациями (которая может варьироваться от англосаксонского антиинтеллектуализма до, в определенном смысле не менее угрожающих, интеллектуальных претензий французской буржуазии.)

¹⁰ Автономия не сводится к независимости от властей. Высокая степень предоставленной миру искусства свободы вовсе не автоматически сопровождается утверждением автономии (например, британские художники конца XIX века не пошли на разрывы, на которые пошли их французские современники, поскольку, в отличие от последних, они не находились под тираническим гнетом академии); точно так же и высокая степень принуждения и контроля — например, в форме очень строгой цензуры — вовсе не обязательно приводит к исчезновению всех попыток утвердить автономию, при условии, что коллективный капитал специфических традиций, особых институций (клубов, журналов) и соответствующих моделей достаточно велик.

¹¹ Узкая дефиниция универсума производителей, которую навязывают работающие в узком поле, т. е. символически доминирующие производители, некритично принимается почти всеми историками искусства, литературы и даже интеллектуальной жизни. Это значит, что даже самые эрудированные исследователи не замечают существования и эффектов всей продукции писателей и художников, работавших на рынок и часто напроць забытых, которые, как я показал на примере Флобера, участвуют, по крайней мере негативно, в формировании самых известных и признанных произведений. Это также значит, что исследователи пренебрегают продукцией непрофессионалов, которая представляет различную, в зависимости от эпохи и общества, но всегда значительную долю всего реально публикуемого (политические эссе, записи разговоров, мемуары, автобиографии), и которая (хотя интеллектуалу и приличествует ее не замечать) играет очень важную роль в формировании

интеллектуального духа эпохи и тем самым влияет на самые отвлеченные эстетические эксперименты, пронизанные этим духом.

¹² То же самое происходит с анкетами, на основании которых устанавливаются «списки самых влиятельных» писателей или художников, результаты которых предопределены отбором популяции опрашиваемых, т. е. достойных участвовать в построении таких списков.

¹³ См.: *Huskell F. Rediscoveries in Art // Some Aspects of Taste, Fashion and Collection in England and France. L.: Phaeton, 1976.*

¹⁴ Примером такого рода анализа применительно к американскому философскому пантеону служит: *Kuklick B. Seven Thinkers and How they Grew: Descartes, Spinoza, Leibniz, Lock, Berkeley, Hume, Kant // Philosophy in History: Essays on the Historiography of Philosophy / Eds. R. Rorty, J. Schneewind, Q. Skinner. Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1984. P. 125–139.*

¹⁵ Лишь чуть более трети писателей в статистической подборке, проанализированной Реми Понтоном, получили какое-либо (законченное или незаконченное) высшее образование. См.: *Ponton R. Le champ littéraire de 1865 à 1905. Paris: Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, 1977. P. 43.* См. в этом аспекте сравнение поля литературы с другими полями: *Charle C. Situation du champ littéraire // Littérature. 1982, № 44. P. 8–20.*

¹⁶ См.: *Miceli S. Division du travail entre les sexes et division du travail de domination: une étude critique des anatoliens de Brésil // Actes de la recherche en sciences sociales. 1975. № 5–6. P. 162–182.*

¹⁷ См. в особенности: *Darnton R. Policing Writers in Paris circa 1750 // Representations. 1984. № 5, Spring. P. 1–32.*

¹⁸ Социологические исследования, в которых отношения между социальным миром и произведениями культуры осмысляются в логике отражения и характеристики произведений, напрямую увязываются с социальным происхождением авторов (напр., *Escarpit R. Sociologie de la littérature. Paris: PUF, 1958*) или с реальными (заказчики) или предполагаемыми адресатами (как: *Antal F. Florentine Painting and its Social Background. Cambridge: Harvard Univ. Press, 1986*; или *Goldmann L. Le Dieu caché. Paris: Gallimard, 1956*), не учитывают эффект преломления, который оказывает поле производства культуры, функционирующее как призма.

¹⁹ *Faure M. L'époque 1900 et la résurgence de mythe de Cythère // Le mouvement social. 1979. № 109. P. 15–34.*

²⁰ *Ponton R. Le champ littéraire de 1865 à 1905 // Op. cit. P. 223–228.*

²¹ См.: *Lewis D. Counterpart Theory and Quantified Modal Logic // Journal of Philosophy. 1968. № 5. P. 114–115; и Pariente J.-C.*

Le nom propre et la prédication dans des langues naturelles // *Langages*. 1982. № 66 (juin). P. 37–65.

²² События, подобные черной чуме 1348 года, определяют общее направления глобального изменения тем в живописи (образ Христа, отношения между персонажами, возвеличивание Церкви и т. д.); однако сами эти темы реинтерпретируются и перетолковываются в соответствии со специфическими традициями, связанными с местными особенностями становящегося поля. Об этом свидетельствует тот факт, что одни и те же темы по-разному интерпретируются во Флоренции и в Сиене (см.: *Meiss M. Painting in Florence and Sienna after the Black Death*. Princeton: Princeton Univ. Press, 1951).

²³ См.: *Gombrich E. H. In Search of Cultural History*. Oxford: Clarendon Press, 1969. По-видимому, именно благодаря глубокому проникновению описанного Гомбричем «разбавленного» гегельянства в академические габитусы (возможно, отчасти под влиянием школы Анналов, по крайней мере во Франции, где идеей культурных единств руководствуются даже авторы пособий по истории,) стало возможным принятие и единодушное восхищение столь методологически невнятными трудами, как работа Рене Мози (не столь далекого, как кажется на первый взгляд, от Фуко) об «идее счастья в XVIII веке». О «методе» этого исследования заявляется следующее: «В определенной эпохе (XVIII век), в определенном, одновременно обширном и ограниченном поле исследования (ансамбль литературы, идей, свидетельств и воображения), в определенной, несомненно не случайно выбранной, теме (счастье) искались различные точки встречи между систематическим и экзистенциальным, и, исходя из этого, была сделана попытка описать определенное историческое состояние человеческого сознания» (*Mauzi R. L'idée du bonheur au 18e siècle*. Paris: Armand Colin, 1960. P. 12–13).

²⁴ Мистическая теория искусств превратила *Kunstwollen* Алоиса Ригля, «артистическую волю [vouloir]», свойственную целому ансамблю произведений определенной эпохи и определенного народа и трансцендентную, как показал Панофски, по отношению к единичным волям [volont(s)] исторически определяемого субъекта — в своего рода автономную силу. (См.: *Bourdieu P. Postface // Panofsky E. Architecture gothique et pensée scolastique / Trad. P. Bourdieu*. Paris: Ed. de Minuit, 1967. P. 135–167). На самом деле, эта воля существует, только воплощаясь в специфичности интересов и диспозиций художника (и т. д.); она всегда — не что иное, как полученная ретроспективным взглядом ученого сумма бесчисленных *Kunstler* — *Wollen* (или, если угодно, на языке Ницше, *Kunstler* — *Willen*).

²⁵ В этой перспективе интересно было бы заняться теми, кто принял более или менее «творческое» участие в различных полях и, в соответствии с Лейбницевой моделью возможных миров, произвел несколько реализаций одного и того же габитуса.

²⁶ Эти различия в иерархиях лежат в основе разногласий, часто относимых на счет «национальных характеров». Они также помогают прояснить формы, принимаемые международной циркуляцией идей, мод и интеллектуальных моделей. Примером может служить первенство, отдаваемое во Франции, по крайней мере до середины XX века, литературе и фигуре писателя (в противоположность критике или эрудиции, часто рассматриваемым как проявления педантизма). Первенство литературы проявляется в самой сердцевине академической жизни в виде серий оппозиций между литературой (*agregation de lettres*) и филологией (*agregation de grammaire*), самостоятельным дискурсом и эрудицией, «блеском» и «серьезностью», буржуазией и мелкой буржуазией, и структурирует все отношения с немецкой моделью, которые индивидуальным агентам удавалось поддерживать на протяжении XIX века. Иерархия дисциплин (литература/филология) столь прочно ассоциируется с иерархией народов (Франция/Германия), что те, кому хотелось бы «перевернуть» это сверхобусловленное политически отношение, подозреваются в чем-то вроде государственной измены (ср. националистическую полемику Агатона против Новой Сорбонны).

²⁷ Мы ничего не выгадаем, заменив понятие литературного поля понятием «институция». Во-первых, дюркгеймовские коннотации термина «институция» навязывают представление о согласии в этом чрезвычайно конфликтном универсуме. Кроме того, понятие «институция» скрадывает одно из самых существенных свойств литературного поля, а именно слабую степень институционализации. Помимо прочих показателей о слабой степени институционализации литературного поля свидетельствует полное отсутствие и юридических или институциональных гарантий в спорах о первенстве и авторитете, или шире, в борьбе за захват или удержание доминирующих позиций. Очень показателен в этой связи конфликт Бретона и Тцары. Бретону, в ходе организованного им «Конгресса для определения директив и защиты духа современности», не оставалось ничего иного, как обратиться в полицию за помощью на случай беспорядков; во время последней стычки с Тцарой (по случаю вечера в *Coeur à Barbe*) Бретон прибегает к оскорблениям и побоям (и ломает ударом трости руку Пьеру де Массо), а Тцара вызывает полицию. См.: *Bernard J. P., Dubois J., Durand P. Approche institutionnelle du premier surréalisme, 1919–1924 // Pratiques. 1983. № 38 (juin). P. 27–53.*

²⁸ Foucault M. Réponse au cercle d'epistemologie // Cahiers pour l'analyse. 1968. № 9. P. 9–40.

²⁹ Ibid. P. 29.

³⁰ Ibid. P. 37.

³¹ См., в частности: Tynyanov Y., Jacobson R. Le problème des études littéraires et linguistiques // Théorie de la littérature / Ed. Todorov T. Paris: Seuil, 1965. P. 703–719, 65–74; Erlich V. Russian Formalism. The Hague: Mouton, 1965; Steiner P. Russian Formalism. A Methapoetics. Cornell Univ. Press, 1984; Galan F.W. Historic Structures. The Prague School Project: 1928–1946. Austi, University of Texas Press, 1982; и наконец: Even-Zohar I. Polysystem Theory // Poetics Today. 1979, 1(93). P. 65–74.

³² См.: Steiner P. Op. cit., особенно с. 108–110, и у Ф. Джеймсона, который показал, что «Тынянов сохранил соссюровскую модель изменения, в которой в роли основных механизмов выступают крайние абстракции: тождество и различие» (Jameson F. The Prison-House of Language: A Critical Account of Structuralism and Russian Formalism. Princeton: Princeton Univ. Press, 1982. P. 96).

³³ Тынянов Ю. Литературный факт // Поэтика. История литературы. Кино. М.: Наука, 1977. С. 261.

³⁴ См.: Steiner P. Op. cit. P. 124 о двусмысленности понятия установка.

³⁵ В этом смысле можно сказать, что теория полей завершает эти теории (хотя по историческим причинам — особенно из-за лингвистических и иных обстоятельств, затруднивших доступ к этим работам — теория полей была разработана независимо от них).

³⁶ Как показывают данные сравнительной истории и социологии, особенно анализ докапиталистических обществ и полей производства культуры в наших обществах, подразумеваемая экономическим полем частная форма *illusio*, т. е. экономический интерес в смысле утилитаризма и экономии, является не более чем частным случаем в мире реально наблюдаемых форм интереса. Эта форма *illusio* — одновременно предпосылка и продукт возникновения экономического поля, становление которого связано с утверждением максимизации монетарной прибыли в качестве фундаментального закона поля. И хотя оно представляет собой историческую институцию точно так же, как *illusio* артистическое, экономическое *illusio*, как вовлеченность в игру, основанную на экономическом (в узком смысле) интересе, создает полную видимость логической универсальности. Мы должны быть благодарны Парето, столь ясно выразившему эту иллюзию, на которой зиждется вся экономическая теория, когда он противопоставил поведение, «детерминируемое обычаем»

(например, снятие шляпы при входе в помещение), типам поведения, к которым приводит опирающийся на опыт «логический расчет» (например, покупка большого количества зерна). (*Pareto V. Manuel d'économie politique. Genève: Droz, 1964. Ch. II. P. 41*).

³⁷ Только в исключительные моменты, особенно во времена кризисов, у отдельных агентов появляется сознательная и эксплицитная репрезентация игры как игры; это разрушает вовлеченность в игру, т.е. *illusio*, представляя его таким, каким оно всегда объективно (с точки зрения чуждого игре, индифферентного наблюдателя) и является — т.е. исторической фикцией, или, как сказал бы Дюркгейм, «хорошо обоснованной иллюзией».

³⁸ Бурный рост цен на живопись начиная с конца XIX века объясняется, с точки зрения Роберта Хьюза, помимо собственно экономических факторов (таких, как значительное повышение ликвидности состояний), еще и увеличением числа профессий, связанных с артистическим полем и с соответственной дифференциацией операций, направленных на конституирование произведения искусства как сакрального сокровища. (См.: *Hughes R. On Art and Money // The New York Review of Books. 1984. № 21 (19). P. 20–27*).

³⁹ Формирование эстетического взгляда как «чистого взгляда», способного к рассмотрению произведения искусства в себе и для себя, т.е. в качестве «цельности без цели», связано с институционализацией произведения искусства как объекта созерцания, с созданием сначала частных, а затем и публичных галерей и музеев, с параллельным развитием корпуса профессионалов, отвечающих за материальное и символическое сохранение произведений искусства, а также с постепенным изобретением «художника» и развитием представления об артистическом производстве как о «творении», свободном от всякой обусловленности и от всех социальных функций.

⁴⁰ В любом поле доминирующие являются партией преемственности, прочности и, соответственно, права, которое закрепляет и увековечивает некоторое состояние, тогда как подчиненные всегда на стороне перемен, переворота, подрыва.

⁴¹ *Bernard J. P., Dubois J., Durand P. Op. cit.*

⁴² См.: *Cohen J. Structure du langage poétique. Paris: Flammarion, 1966*. Заметим по ходу, что описанная здесь логика доказывает тщетность всех «анализов» сущности, направленных на выработку трансгисторических жанровых дефиниций: неизменность названий жанров маскирует тот факт, что они постоянно конструируются на основании разрыва с тем, что было их собственной дефиницией в предшествующий момент.

⁴³ «Я думаю, что, несмотря на все возрастающие продажи, роман является изношенным, выдохшимся жанром, который уже высказал все, что он мог сказать. Я сделал все, чтобы убить "романность", чтобы превратить роман в своего рода автобиографию для тех, у кого нет истории». (*Goncourt E. — Huret G. Enquête. Paris: Thot, 1982. P. 155.*)

⁴⁴ Этот фрагмент из предисловия к «Chérie» напоминает о том, что отказ от «романности» неотделим от усилий «облагородить» жанр. Стремление «облагородить» становится понятным, если принять во внимание позицию романа и романистов в поле (особенно в соотношении с поэзией) и связь между этим низшим жанром и вдвойне низкой (по крайней мере, с точки зрения писателей) — «женской», и «популярной», и/или «провинциальной» — аудиторией. Однако очевидно, что мы не можем видеть здесь лишь простой эффект стремления к «облагораживанию», поскольку последнее могло вести романистов — как, например, Поля Бурже и школу психологического романа — и в совершенно ином направлении, т. е. к «облагораживающему» (прежде всего, в силу композиционных эффектов — см.: *Bourget P. Note sur la roman français en 1921 // Nouvelles pages de critique et de doctrine. V. I. Paris: Plon. P. 126, sq.*) обращению к местам, среде, характерам или чувствам, которые «благородны» с социальной точки зрения.

⁴⁵ Когда история и теория литературы в такой степени входят в производство литературы, понятно, почему так часто обмениваются ролями критики и писатели, историки (и теоретики) литературы и литераторы (и, по крайней мере во Франции, кинематографисты и кинокритики).

⁴⁶ См.: *Lourau R. Le manifeste Dada du 22 mars 1918: essai d'analyse institutionnelle // La siècle éclaté. 1974. № 1. P. 9–30.*

⁴⁷ Так же обстоит дело с Бриссе, «наивным» философом, которому его первооткрыватели Андре Бретон и Марсель Дюшан тщетно пытались придать биографию: «О его жизни нам ничего неизвестно, за исключением дат одной конференции (1891, Алжир), лекции, прочитанной в Научном обществе (3 июня 1903) и семи других биографических мет — семи книг, подписанных неким Пьером Бриссе. Несмотря на предпринятые сюрреалистами (особенно Марселем Дюшаном) активные разыскания, ни потомков, ни наследников Пьера Бриссе обнаружить не удалось. Даты рождения и смерти неизвестны; у его издателей не сохранилось никакой информации о нем...» (из текста на суперобложке к «Grammaire logique, suivi de La science de Dieu», Paris, Tchou, 1970).

⁴⁸ О часто жестоком обращении признанных художников и писателей (особенно Пикассо и Аполлинера) с Таможенником

можно прочесть в: *Shattuck R. Les Primitifs de l'avant-garde. Paris: Flammarion, 1974. P. 66–93.* См. особо страницы, посвященные «банкету Руссо», из которых явствует, что художник — объект, превращенный в объект игровой мистификации, с абсолютной покорностью подчинялся игре (вплоть до того, что он терпеливо стоял под каплями горячего воска, стекающего с помещенных над ним светильников); однако его отношение к издевательствам и фарсам «друзей» было далеко не таким наивным, как они могли полагать. Об этом свидетельствуют некоторые наблюдения Фернана Оливье: «Он немедленно багровел, когда бывал раздосадован или раздражен. Обычно он соглашался со всем, что ему говорили, но чувствовалось, что он сдерживается и не осмеливается высказать своих мыслей». Другие отчеты о «банкетах» см.: *Siegel J. Bohemian Paris Culture and the Boundaries of Bourgeois life, 1830–1930. NY: Viking Penguin, 1986. P. 354.*

⁴⁹ Подчинение самым консервативным академическим нормам и конвенциям является постоянной чертой политических и частных (например, любовная переписка), опубликованных или неопубликованных произведений, написанных представителями низших классов. Так, несмотря на то, что начиная с конца девятнадцатого века наблюдается практически полный разрыв между поэзией и массовой читательской аудиторией (поэзия — один из секторов, в которых до сих многие книги издаются за счет автора), именно поэзия еще и по сей день продолжает воплощать идеальную модель литературы в глазах наименее культурных потребителей. Как показывает анализ любого словаря писателей (например, *Annuaire national des lettres*), авторы, происходящие из рабочего класса или из мелкой буржуазии, имеют слишком возвышенное представление о литературе, чтобы писать реалистические романы; их продукция состоит в основном из поэзии (очень конвенциональной по форме) и, во вторую очередь, из исторических этюдов.

⁵⁰ Об этих заимствованиях см.: *Vallier D. Tout l'oeuvre de douanier Rousseau. Paris: Flammarion, 1970.*

⁵¹ Здесь узнаются все черты «популярной эстетики», которая проявляется в фотографии. (См.: *Bourdieu P. Un art moyen, essai sur les usages sociaux de la photographie. Paris: Minuit, 1964. P. 116–121*)

⁵² *Рембо А. Стихи / Пер. М. Кудинова. М.: Наука, 1982. С. 167.*

⁵³ Канонизацию «сырого искусства» ограничило то обстоятельство, что в этом случае, в отличие от наивного искусства, конституировать производителей как художников было невозможно.

⁵⁴ *Vallier D. Op. cit. P. 5.*

⁵⁵ *Rubin W.S. Art Dada et surréaliste / Trad. de l'anglais par R. Revault d'Allones. Paris: Seghers. P. 2.*

⁵⁶ В науке уже отмечалась все нарастающая историзация эстетического суждения (см.: *Klein R. La forme et l'intelligible*. Paris: Gallimard, 1970. P. 378–379, 408–409). Однако этот процесс не связывали с логикой функционирования поля, достигшего высокой степени автономии, и с исторической спецификой поля.

⁵⁷ Тот факт, что в 1880-х годах музыка, по крайней мере для сторонников «искусства для искусства», становится парадигматическим искусством, несомненно связан с движением к эстетическому формализму, которое, по крайней мере в поэзии, сопровождает происходящую в соответствии с логикой специфических революций автономизацию поля. Превосходство «формы» и «музыки» над «содержанием», «идеей» или «функцией» тем более велико, чем автономнее поле или занимаемая в поле позиция.

⁵⁸ См.: *Charles Ch.* Op. cit. P. 181–182.

⁵⁹ См.: *Henning E.B.* Patronage and Style in Arts: a Suggestion concerning their Relations // *The Journal of Esthetics and art Criticism*. № 18 (4). P. 464–471.

⁶⁰ Воссоединение политического авангарда и авангардизма в искусстве и поведении в чем-то вроде суммы всех — социальной, артистической, социальной — революций, по-видимому, является вечной мечтой литературного и артистического авангарда. Но эта всегда возрождающаяся утопия, золотой век которой пришелся на период, предшествующий Первой мировой войне, сталкивается с тем обстоятельством, что на практике очень трудно преодолеть (иначе как посредством показного самозванства приверженцев «радикального шика») расхождение, и даже противоречие, между эстетической утонченностью и политическим прогрессизмом. (См., например, историю нью-йоркского авангарда, изложенную по поводу *Partisan Review*, в книге: *Gilbert James Burkhardt Writers and Partisans: A History of Literary Radicalism in America*. NY: John Wiley and Sons, 1968; или беспошадное свидетельство о «радикальном шике» в: *Wolfe, Tom. Radical Chic and Mau-Mauing the Falk Catchers*. NY: Farrar, 1970.)

⁶¹ Наряду с другими факторами трансформации спроса нужно также учитывать глобальное повышение уровня образования (и увеличение времени, затрачиваемого на обучение), которое действует независимо от разобранных выше факторов — в частности, посредством эффекта «должностного назначения»: обладатель некоторого научного титула должен — «noblesse oblige» — выполнять практики, «вписанные» в социальную дефиницию (статус), которым его наделяет этот титул.

⁶² *Bourdon F.* La haute parfumerie française. Paris, 1970. P. 95.

⁶³ Это относится ко всем полям производства культуры, в частности, к научному полю, в котором конфронтация «про-

грамм научного исследования» (по Лакатосу) оказывает мощный структурирующий эффект на научные практики и репрезентации.

⁶⁴ Пример группы *Incoherents* прекрасно иллюстрирует этот механизм. Они изобрели очень многое из того, что было впоследствии переизобретено концептуальными художниками. Однако не будучи принятыми всерьез, они не принимали всерьез и самих себя, и тем самым их изобретения остались незамеченными — в том числе и самими авторами. См.: *Groinowsky D. Une avant-garde sans avancée: les arts «incohérents», 1882–1889 // Actes de la recherche en sciences sociales. 1981. № 40. P. 73–86.*

⁶⁵ Чтобы «почувствовать» то, что представляют те или иные исторические изобретения, ставшие естественными — например, «салон отверженных», «вернисаж» или «петиция», — нужно мыслить о них по аналогии с таким феноменом, как введение слова джоггинг и соответствующей практики: присутствие этого персонажа в пестрых трусах, майке и кепке, бегущего по тротуару среди прохожих, которого еще 10 лет назад сочли бы за эксцентрика, если не за сумасшедшего, почти не замечается.

⁶⁶ Один из опрошенных Юрэ поэтов-символистов эксплицитно выразил это следующим образом: «В любом случае, я считаю что наихудший поэт-символист выше любого из писателей под знаменами натурализма» (*Huret. Enquête sur l'évolution littéraire. P. 329*). И другой символист, Мореас: «Стихотворение Ронсара или Гюго — это чистое искусство. Роман — будь это роман Стендаля или Бальзака — это искусство смешанное. Мне очень нравятся наши психологи [имеются в виду представители "психологического романа": Поль Бурже, Анатоль Франс, Морис Баррес], но они должны оставаться на своем месте, т. е. ниже поэтов» (*Huret. Op. cit. P. 92*). Другой пример, менее прямолинейный, но ближе к тому опыту, который реально влияет на выбор: «В пятнадцать природа говорит юноше, создан ли он для того, чтобы быть поэтом, или же ему следует удовлетвориться простой прозой» (*Ibid. P. 299*). Ясно, что должен был значить переход от поэзии к роману для того, кто глубоко интернализовал эти иерархии. (Разделение на касты, абсолютные границы между ними, пренебрегающие реальной непрерывностью и взаимоналожениями, производят повсюду — например, в отношениях между дисциплинами, между философией и науками об обществе, между чистыми и прикладными науками — одни и те же эффекты: *certitudo sui* и отказ уронить собственное достоинство, автоматические повышения и понижения в статусе и т. д.).

⁶⁷ *Cassagne A. La Théorie de l'art pour l'art en France chez les derniers romantiques et les premiers réalistes. Geneva: Slatkin Reprints, 1979. P. 75.* — следовало бы воспроизвести целиком страни-

цы, на которых Кассань рассказывает о подростковом энтузиазме Максима Дюхана и Ренана, Флобера, Бодлера и Фромантана.

⁶⁸ *Goncourt E., de, Goncourt J., de. Manette Salomon. Paris: Union générale d'éditions, 1979. P. 32.*

⁶⁹ *Feydeau, Th. Gautier // Cassagne. La Théorie de l'art pour l'art. P. 218.*

⁷⁰ *Ponton R. Le champ littéraire de 1865 à 1905. P. 69–70.*

⁷¹ Примером может послужить случай Анатоля Франса. Необычная позиция его отца (который был парижским букинистом) позволила ему приобрести социальный капитал и знакомство с литературным миром и возместить тем самым недостаток экономического и культурного капитала.

⁷² *Ponton R. Le champ littéraire de 1865 à 1905. P. 57.*

⁷³ *Vernois P. La fin de la pastorale // Histoire littéraire de la France. Paris: Editions Sociales, 1977. P. 272.*

⁷⁴ *Кладель*, цитируется там же, с. 272.

⁷⁵ *Кладель*, цитируется по: *Ponton R. Le champ littéraire de 1865 à 1905. P. 98.* Чтобы увидеть, сколь многим «областной» роман — парадигматическое выражение одной из форм популистской интенции — обязан тому факту, что он является продуктом негативного призвания, связанного с разочарованиями и вынужденным переходом в низшую категорию, следует сравнить тех, кого привела к популистскому роману описанная выше траектория, с теми, кто составляет исключение: напр., Эжен Ле Руа, мелкий чиновник из Перигора, иногда бывающий в Париже, автор романов «*Le Moulin de Frau*» (1895), «*Jacquou le Croquant*» (1899) и особенно Эмиль Гийоман, бурбонский фермер, автор романа «*La Vie d'un simple*» (1904).

⁷⁶ *Shapiro M. Courbet et l'imagerie populaire // Style, artiste et société. Paris: Gallimard, 1982. P. 293.*

⁷⁷ *Ibid. P. 299.* «Вообрази только, — писал Шанфлерн матери в 1850, — что, обладая природным остроумием, которое могло бы сделать меня автором забавных водевилей, я захотел забраться выше» (цит. по: *Martino P. La roman réaliste sous le Second Empire. Paris: Hachette, 1913. P. 129.*) Мы знаем, что после вынужденного поворота в карьере Шанфлерн заканчивает комическими сочинениями в духе Поля де Кока (см., например, его «*Les enfants du professeur Turck*» или «*Le secret de M. Ladureau*»).

⁷⁸ *Chapiro M. Op. cit. P. 315, sq.* Очень похожую эволюцию претерпевает Юссон в «Воспитании чувств».

⁷⁹ Среди факторов, детерминирующих диспозиции, нужно принимать во внимание, помимо определяемой синхронно и диахронно позиции семьи, еще и позицию (старший/младший) внутри семьи, понимаемой как поле.

⁸⁰ У Курбе фундаментальной самодефиницией реализма становится стремление изображать «вульгарное и современное». Шанфлери отстаивает право художника на правдивую репрезентацию современного мира (См.: *Martino P.* Op. cit. P. 72–78).

⁸¹ *Dort B.* Vers un nouveau théâtre. P. 617.

⁸² Ibid. P. 621. Можно видеть, что приписываемые деятельности Люнье-По качества характеризуют относительно «инвариантные» тенденции привилегированных габитусов.

⁸³ Солидарность между богатейшими и беднейшими, складывающаяся внутри артистических групп, является одним из средств, дающих возможность некоторым нуждающимся художникам и писателям продолжать занятия искусством в отсутствие предоставляемых рынком ресурсов.

⁸⁴ См.: *Rogers M.* The Battignoles Group: Creators of Impressionism // *The Sociology of Art and Literature* / Ed. M. C. Albrecht. New York: Praeger, 1970. P. 194–220.

⁸⁵ «Декаденты не хотели полностью отказываться от прошлого. Они были сторонниками методического и благоразумного проведения необходимых реформ. В отличие от них, символисты хотели избавиться от всех наших старых обычаев и стремились к созданию совершенно нового способа выражения». См.: *Reynaud E.* La Mêlée symboliste. Paris: La Renaissance de livre, 1918. Vol. 1. P. 118; *Ponton R.* Le champ littéraire de 1865 à 1905. P. 299. См. также: *Jurt J.* Symbolistes et Décadentes, deux groupes littéraires parallèles. (Мимеопр. издание). P. 12.

⁸⁶ Эволюция сюрреалистов ко все большей социальной гомогенности подчиняется той же логике (см.: *Bertrand J. P., Dubois J., Durand P.* Op. cit). Другой константой является повышение социального уровня новых участников группы после того, как она добивается признания.

⁸⁷ Дневник, цит. по: *Cassagne A.* La Théorie de l'art pour l'art. P. 308.

⁸⁸ См.: *Lidsky P.* Les écrivains contre la commune. Paris: Maspéro, 1970. P. 26–27.

⁸⁹ См.: *Thiesse A.* Les infortunes littéraires: Carrières des romanciers populaires (Belle Epoque) // *Actes de la recherche en sciences sociales*. 1986. № 60. P. 31–46.

⁹⁰ *Ponton R.* Le champ littéraire de 1865 à 1905. P. 80–82.

⁹¹ См. среди прочих: *Popper K.* Objective Knowledge: an Evolutionary Approach. Oxford: Oxford Univ. Press, 1972. Особенно 3-ю главу.

⁹² *Mallarmé S.* La musique et les lettres // *Oeuvres complètes*. Paris: Callimard-Pléiade, 1945. P. 647.

ПОЛЕ НАУКИ*

В ряде предыдущих работ мною предпринимались попытки описать закономерности функционирования полей символического производства (интеллектуального и художественного поля, религиозного поля, поля высокой моды и т. д.). В данной статье предлагается рассмотреть, как они проявляют себя в частном случае поля науки. Точнее, предстоит установить, при каком условии (т. е. при каких социальных условиях) порождающие механизмы — подобные тем, которые в любом поле определяют, будет ли входящий в поле новичок принят или исключен из него, а также конкуренцию между различными производителями — обеспечивают появление относительно независимых от социальных условий их производства социальных продуктов, каковыми являются научные истины. Нами движет убеждение (которое само является продуктом истории), что именно в истории кроются причины парадоксального прогресса разума, неотъемлемо исторического и вместе с тем несводимого к истории.

Социология науки основывается на постулате, что истина продукта — даже если речь идет о таком сугубо специфическом продукте, как научная истина — заключена в особом роде социальных условий производства, а точнее, в определенном состоянии структуры и функционирования научного поля. «Чистый» универсум самой «чистой» науки является таким же социальным полем, как

* © Bourdieu P. Le champ scientifique // Actes de la recherche en sciences sociales. 1976. № 2–3. P. 88–104.

и любое другое, со свойственным ему соотношением сил и монополиями, борьбой и стратегиями, интересами и прибылями, однако в этом поле все инварианты облекаются в специфическую форму.

Борьба за монополию научной компетенции

Поле науки как система объективных отношений между достигнутыми (в предшествующей борьбе) позициями является местом (т. е. игровым пространством) конкурентной борьбы, специфической ставкой в которой является монополия на научный авторитет, определяемый как техническая способность и — одновременно — как социальная власть, или, если угодно, монополия на научную компетенцию, понимаемую как социально признанная за определенным индивидом способность легитимно (т. е. полномочно и авторитетно) говорить и действовать от имени науки.

Два коротких замечания, дабы избежать возможных недоразумений. С одной стороны, не следует сводить объективные отношения, составляющие поле, к совокупности интеракций в духе интеракционизма, т. е. к совокупности стратегий, которые на самом деле определяются полем, как это будет показано ниже.¹ С другой стороны, надо уточнить, что означает «социально признанная»: в дальнейшем будет показано, что группа, обеспечивающая признание, постоянно — по мере того, как возрастают накопленные научные ресурсы и, соответственно, автономия поля — стремится ограничиться совокупностью ученых, т. е. соучастников.

Сказать, что поле есть место борьбы, значит не только разорвать с примиренческим образом «научного сообщества», как его описывает научная агиография и часто — вслед за ней — социология науки, т. е. с идеей своего рода «царства целей», которое будто бы не признает иных законов, кроме закона чистой и абсолютной борьбы идей, безошибочно направляемой внутренней силой истинной идеи. Это значит также утверждать, что само функционирование научного поля производит и предполагает спе-

цифическую форму интереса (научная практика выглядит «незаинтересованной» лишь относительно других интересов, производимых и востребованных другими полями).

Рассуждения о научном интересе и научном авторитете (или компетенции) позволяют отмежеваться от различий, которые в скрытом виде неотступно сопровождают все рассуждения о науке. Так, попытаться отделить в научной компетенции (или авторитете) то, что является чисто социальным представлением, символической властью, обеспеченной целым «аппаратом» (в смысле Паскаля) эмблем и знаков, от того, что является сугубо техническими свойствами, означает попасть в ловушку, свойственную всякой компетенции, этому социальному мышлению, которое легитимирует себя, представляясь чисто техническим мышлением (что можно видеть на примере технократического использования понятия компетенции).² Действительно, «августейший аппарат», которым окружено то, что в прошлом веке называлось «способностями», а сегодня — «компетенцией»: красные мантии, отделанные горностаем, сутаны и квадратные шапочки судей и докторов вчерашних дней, школьные дипломы и научные знаки отличия ученых, — весь этот «столь достоверный часовой механизм», как говорил Паскаль, вся эта социальная фикция, в которой нет ничего социально фиктивного, преобразует социальное восприятие чисто технической способности. Вот почему на суждения по поводу научных способностей студента или ученого на всех этапах его обучения всегда накладывается знание той позиции, которую он занимает в установленных иерархиях (например, иерархия высших школ во Франции или иерархия университетов в США).

Поскольку все практики ориентированы на достижение научного авторитета (престиж, признание, известность и т. д.), т. е. цели с внутренне присущей ей двойственностью, постольку так называемый «научный интерес» к дисциплине, отдельной области науки, методу и т. д. всегда имеет две стороны; то же самое можно сказать о стратегиях, направленных на удовлетворение этого интереса.

Анализ, который попытается выделить исключительно «политическое» измерение в конфликтах за господство в научном поле, будет принципиально неверен, как и противоположная — более частая — тенденция рассматривать научные конфликты в «чистых», сугубо интеллектуальных категориях. Например, сегодняшняя борьба специалистов за получение кредитов и научного оборудования никогда не сводится к простой борьбе за чисто «политическую» власть: верхушка крупнейших научных бюрократий может заставить воспринимать свою победу как победу науки только в том случае, если продемонстрирует свою способность навязать такое определение науки, согласно которому «правильно» заниматься наукой означает пользоваться услугами крупной научной бюрократии для получения кредитов, мощного технического оборудования, многочисленной рабочей силы. Эти бюрократии учреждают как универсальную и незыблемую методологию процедуры опросов общественного мнения, проводимых на больших выборках, статистический анализ данных и формализацию результатов, устанавливая, таким образом, эталон научной практики, наиболее благоприятствующий их личным и институциональным способностям. Точно так же эпистемологические конфликты всегда одновременно являются политическими конфликтами, поэтому исследование проблемы власти в научном поле могло бы вполне ограничиться лишь вопросами эпистемологического типа.

Из строгого определения научного поля как объективного пространства игры, где задействованы специфические ставки, следует, что бессмысленно проводить разграничение между сугубо научными и сугубо социальными детерминациями практик, по существу сверхдетерминированных. Можно привести описание Фреда Рифа, который практически помимо своей воли показывает, насколько искусственно и даже невозможно различие внутреннего и внешнего интереса к тому, что представляется важным для отдельного исследователя, а что для других: «Исследователь стремится проводить исследования, которые он считает важными. Но внутреннее удовлетворение и инте-

рес не являются единственными мотивами. Это становится очевидным, если посмотреть, что происходит, когда исследователь обнаруживает, что результаты, которые он ожидал получить сам, уже опубликованы другим. Как правило, он бывает потрясен, хотя внутренний интерес к его работе никак не должен был пострадать. Дело в том, что его работа должна быть интересна не только ему самому, но и быть важной для других». ³ Важным и интересным считается то, что имеет шансы быть признанным как важное и интересное другими, т. е. представить того, кто это производит, важным и интересным в глазах других (следовало бы заново проанализировать эту диалектику и условия, в которых она действует, но не как простой кружок взаимной легитимации, а с точки зрения выгоды, которую приносит эффект научного накопления).

Чтобы не впасть в идеалистическую философию, которая приписывает науке способность развиваться в соответствии с имманентной ей логикой (как это делает Т. Кун, когда утверждает, что «научные революции» происходят лишь тогда, когда исчерпаны все «парадигмы»), следует предположить, что инвестиции организуются в соответствии с предвосхищением — сознательным или неосознанным — средних шансов на извлечение прибыли (которые, в свою очередь, варьируют в зависимости от наличного капитала). Так, стремление исследователей сосредоточиться на проблемах, которые представляются им самыми важными (потому, например, что именно в таком качестве они были сформулированы производителями, наделенными высокой степенью легитимности), объясняется тем, что вклад или открытие в этих вопросах могут в принципе принести более существенную символическую выгоду. Развернувшееся таким образом активное соперничество с большой долей вероятности может привести к снижению среднего уровня материальной и/или символической выгоды и тем самым к переключению части исследователей на другие, менее престижные объекты, вокруг которых соперничество не столь велико и которые, следовательно, способны принести, по крайней мере, столь же существенную выгоду. ⁴

Различие, которое проводит Р. Мертон (говоря о социальных науках) между «социальными» конфликтами (по поводу «распределения интеллектуальных ресурсов между разными видами социологического труда» или «роли, предписываемой социологу») и «интеллектуальными» конфликтами, отражающими «оппозиции между строго сформулированными социологическими идеями»,⁵ само по себе составляет социальную и одновременно интеллектуальную стратегию, которая стремится установить поле легитимных предметов обсуждения. В этом различии можно видеть одну из тех стратегий, с помощью которых официальная американская социология стремится обеспечить себе академическую респектабельность и навязать свое определение научного и ненаучного, способное наложить запрет — под видом нарушения правил научного приличия — на всякий вопрос, который мог бы поставить под сомнение основание этой респектабельности.⁶

Подлинная наука о науке может формироваться лишь при условии решительного отказа от абстрактной оппозиции (которую можно обнаружить и в других областях, например, в истории искусств) между имманентным или внутренним анализом, чем, собственно, и занимается эпистемология и что отражает логику, в соответствии с которой наука порождает свои собственные проблемы, и внешним анализом, который соотносит эти проблемы с социальными условиями их возникновения. Именно поле науки, будучи местом политической борьбы за научное доминирование, предписывает каждому исследователю, в зависимости от занимаемой им позиции, соответствующие научные и, одновременно, политические проблемы, а также методы их изучения — те самые научные стратегии, которые, в силу их формального или объективного определения относительно имеющих в поле науки политических и научных позиций, являются в то же время политическими стратегиями. Нет такого научного «выбора», будь то выбор области исследований, используемых методов, печатного органа для публикации, или описанный Хагстромом⁷ выбор между поспешной публика-

цией частично проверенных результатов и поздней публикацией полностью контролируемых результатов, который не был бы — хотя бы в одном из своих аспектов, в котором, конечно, труднее всего признаться и который труднее всего распознать, — политической стратегией инвестиции, направленной — во всяком случае объективно — на увеличение чисто научной прибыли, т. е. признания, полученного со стороны коллег-конкурентов.

Накопление научного капитала

Борьба за научный авторитет, этот особый род социального капитала, который обеспечивает власть над действующими в поле механизмами и который может быть преобразован в другие виды капитала, обязана основными своими характеристиками тому, что производители стремятся (в тем большей мере, чем более автономно поле) рассматривать в качестве возможных потребителей их продукции одних лишь своих конкурентов. Это означает, что в поле с высокой степенью автономии отдельный производитель может достичь признания ценности своей продукции («репутация», «престиж», «авторитет», «компетентность» и т. д.) лишь через других производителей, которые, будучи одновременно конкурентами, менее всего расположены признавать заслуги коллеги без дискуссий и испытаний. Прежде всего *de facto*: только ученые, вовлеченные в одну и ту же игру, обладают средствами, позволяющими символически овладеть научным производением и оценить его достоинства. Но также и *de jure*: тот, кто обращается к внешнему по отношению к полю авторитету, может себя лишь скомпрометировать⁴ (поле науки, будучи чрезвычайно похожим в этом отношении на поле искусства с высокой степенью автономии, своей спецификой обязано, в частности, тому факту, что конкуренты не могут ограничиваться дистанцированием от их уже признанных предшественников, но вынуждены, чтобы не быть обойденными и «дисквалифицированными», интегрировать вклад предшественников в конструкцию — различную и различающую, — которая оставляет этих предшественников позади).

Борьба, в которую должен включаться каждый агент, чтобы иметь возможность самому устанавливать цену своей продукции и свой авторитет легитимного производителя, на деле всегда имеет целью достижение власти, позволяющей навязать собственное определение науки (иными словами, определение поля проблем, методов и теорий, которые могут считаться научными), наиболее отвечающее его специфическим интересам, т. е. наилучшим образом подходящее для того, чтобы вполне легитимно занять доминирующую позицию, обеспечивающую в иерархии научных ценностей самое высокое положение тем научным способностям, которыми он обладает лично или институционально (например, в качестве держателя определенного вида культурного капитала как бывший ученик особого учебного заведения, член определенного научного института и т. д.)⁹.

Так, дебаты о приоритетах в открытиях довольно часто противопоставляют того, кто открыл доселе неизвестный новый феномен часто в форме простой аномалии или исключения из существующих теорий, тому, кто превратил его в новый научный факт, включив в теоретическую конструкцию, несводимую к простым первичным данным. Эти политические споры о праве собственности в науке, которые одновременно являются научными дебатами о смысле того, что было открыто, а также эпистемологическими спорами о природе научного открытия, в действительности противопоставляют в лице отдельных своих представителей два принципа иерархизации научных практик. Первый отдает предпочтение наблюдению и эксперименту и, следовательно, соответствующим диспозициям и способностям, второй — теории и соответствующим научным «интересам». Этот спор постоянно находится в центре эпистемологической рефлексии.

Таким образом, определение цели научной борьбы само является составной частью целей научной борьбы, а доминирующими становятся те, кому удалось навязать такое определение науки, согласно которому наиболее полноценное занятие наукой состоит в том, чтобы иметь, быть и делать то, что они имеют, чем являются и что делают.

Мимоходом заметим, что *communis doctorio opinio*, как говорила схоластика, есть всего лишь официальная фикция, в которой нет ничего фиктивного, поскольку символическая действенность, которую придает ей ее легитимность, позволяет выполнять функцию подобную той, которую либеральная идеология сообщила понятию «общественное мнение». Официальная наука вовсе не является тем, чем ее чаще всего представляет социология науки, т. е. системой норм и ценностей, которую «научное сообщество», такая недифференцированная группа, навязывает и внушает всем своим членам, поскольку на революционную аномию способны лишь те, кто не смог пройти научную социализацию¹⁰. Такое «дюркгеймовское» видение научного поля являет собой лишь преобразованное представление о научном универсуме, которое приверженцы научного порядка заинтересованы навязать, и в первую очередь — своим конкурентам.

Примеры такого «функционализма» можно найти повсеместно, даже у такого автора, как Т. Кун, который в своей теории научной эволюции все же отводит место конфликту: «Сообщество специалистов (в науке) всегда будет делать все возможное для того, чтобы тщательно и скрупулезно преумножать накопление данных, к которым оно может обращаться»¹¹. Поскольку «функция», согласно «функционализму» американской школы, является не чем иным, как «интересом» господствующих (в том или ином поле, или интересом господствующего класса — в поле классовой борьбы), т. е. интересом господствующих в увековечении системы, соответствующей их интересам (или функцией, которую выполняет система для этого особого класса агентов), то можно легко впасть в «функционализм», просто обойдя молчанием интересы (иными словами, дифференцирующие функции) и представляя «научное сообщество» субъектом практик.

Именно потому, что определение целей борьбы является целью борьбы — даже в таких науках, где, как в математике, внешний консенсус относительно целей очень высок, — приходится без конца сталкиваться с антиномиями легитимности. (Только так можно понять тот страст-

ный интерес, который исследователи в области социальных наук испытывают к естественным наукам: в основе их стремления навязать — с помощью эпистемологии или социологии науки — легитимное определение самой легитимной формы науки, т. е. науки о природе, лежит определение принципов оценки их собственной практики.) В научном поле, как и в поле классовых отношений, не существует инстанции, легитимирующей инстанции легитимации; легитимность требований легитимности зависит от относительной силы групп, чьи интересы эти требования выражают: в той мере, в какой само определение критериев суждения и принципов иерархизации являются целью борьбы, никто не может быть хорошим судьей, будучи одновременно судьей и ответчиком по делу.

Совершенно очевидна наивность метода «судей», к которому обычно прибегает социологическая традиция для определения иерархий, свойственных определенному полю (иерархия агентов или институций — университеты в США, иерархия проблем, сфер, методов, сама иерархия полей и т. п.). Та же наивная философия объективизма заставляет обращаться к «международным экспертам». Как если бы положение иностранных наблюдателей освобождало их от предвзятости и необходимости принимать чью-то сторону в ситуации, когда в экономику идеологических обменов включено такое множество транснациональных обществ, и как если бы их «научный» анализ состояния науки может быть чем-то иным, кроме как научно замаскированным оправданием того особого состояния науки или научных институций, к которым эти эксперты причастны. Далее будет показано, что в социологии науки крайне редко удастся избежать такой стратегии экспертизы, как навязывание легитимности, подготавливающее завоевание рынка¹².

Следовательно, научный авторитет является особым типом капитала, который может — при соблюдении некоторых условий — накапливаться, передаваться и даже реконвертироваться в другие типы капитала. Можно воспользоваться описанием, данным Фредом Рифом, процесса накопления научного капитала и форм, которые при-

нимает его реконверсия. Рассматривается особый случай поля современной физики, где владение научным капиталом способствует накоплению дополнительного капитала, и потому «успешная» научная карьера представляется как постоянный процесс накопления, в котором начальный капитал, выраженный тем или иным дипломом, играет определяющую роль. «Начиная с “high school” будущий ученый осознает роль соперничества и престижа в своем будущем успехе. Он должен постараться получить самые высокие оценки, чтобы быть принятым в “college”, а затем — в “graduate school”. Он понимает, что получить образование в признанном “college” имеет для него решающее значение <...> Наконец, он должен завоевать уважение своих профессоров, чтобы заполучить рекомендательные письма, которые помогут ему при поступлении в “college”, при получении стипендии, премий <...> Когда же он приступит к поискам работы, его положение будет намного более выгодным, если до этого он учился в известном учебном заведении и работал с известным ученым. В любом случае главное для него, чтобы самые именитые лица согласились дать благоприятные отзывы о его работе <...> Доступ к более высоким ступеням высшего образования зависит от тех же условий. Университет вновь потребует рекомендательных писем от ученых со стороны, он может также созвать приемную комиссию, прежде чем принять решение о назначении кого-либо на должность штатного преподавателя». Этот процесс продолжается и при вступлении в административные должности, в правительственные комиссии и так далее. Ученый должен иметь также хорошую репутацию среди коллег для того, чтобы получать средства на проведение исследования, привлекать к работе хороших студентов, обеспечивать себя грантами и стипендиями, приглашениями и консультациями, знаками отличия (например, Нобелевская премия, National Academy of Science).

Социально обеспеченное и гарантированное признание (посредством целой системы специфических знаков отличия, которыми группа коллег-конкурентов наделяет каждого из своих членов) является производной от дис-

танцующей ценности его продукции и от коллективно признанной оригинальности (согласно теории информации) того вклада, который он внес в уже накопленные научные ресурсы. Тот факт, что капитал авторитета, приобретаемый благодаря сделанному открытию, становится монополией того, кто сделал это открытие первым, или, по крайней мере, первым сообщил о нем и обеспечил его признание, объясняет важность вопросов приоритета и ту частоту, с которой они поднимаются. Если первое открытие подписывается несколькими именами, то престиж, сообщаемый каждому имени, соответственно уменьшается. Тот, кто совершил открытие несколькими неделями или месяцами позже другого, напрасно потратил свои усилия, поскольку его работа становится никому не интересным дублированием уже признанной работы (этим объясняется поспешность, с которой некоторые стараются поскорее опубликовать свои материалы, опасаясь, что их опередят¹³). Концепция *visibility*, которой часто пользуются американские авторы (речь идет, как это часто бывает, о расхожем среди университетских профессоров термине), хорошо объясняет дифференцирующую, различительную ценность этого особого рода социального капитала: накопить капитал означает «сделать себе имя», имя собственное (а для некоторых — имя в прямом смысле слова), имя известное и признанное, знак, по которому сразу можно определить его носителя, выделяя его как некую форму, заметную на недифференцированном, неразличимом, темном фоне, в котором растворено все общее (отсюда безусловная важность для большинства школьных таксономий метафор восприятия, парадигмой которых можно считать оппозицию блестящего и невежественного)¹⁴. Логика различения действует в полной мере в случае коллективного авторства, когда подписи в качестве таковых ограничивают различительную ценность, выпадающую на долю каждого автора. Именно так можно понять совокупность наблюдений Х. А. Цукермана¹⁵ по поводу «моделей расположения имен авторов научных статей» как продукта стратегий, нацеленных на минимизацию потерь различительной ценности, которую

предписывает необходимость нового разделения научного труда. Так, чтобы объяснить, что имена лауреатов Нобелевской премии ставятся на первое место не чаще, чем другие, как можно было бы ожидать, учитывая, что порядок перечисления авторов обычно определяется степенью важности их вклада в работу, нет необходимости ссылаться на аристократическую формулу морали: «положение обязывает». Достаточно предположить, что заметность имени в ряду других есть производная в первую очередь от относительной заметности имени, определенной местом, которое имя занимает в ряду других, а во вторую очередь — от внутренне присущей ему заметности, которая вытекает из факта, что, будучи уже известным, имя легче узнается и запоминается (это один из механизмов, в соответствии с которым — и в данном случае также — «капитал идет к капиталу»), чтобы понять, что склонность уступать первое место другим именам возрастает по мере возрастания наличного капитала, а следовательно, символической выгоды, автоматически обеспечиваемой его владельцу, независимо от места, на котором стоит его имя¹⁶. Рынок научной продукции имеет свои законы, которые не имеют ничего общего с моралью. Для того чтобы избежать соблазна и не ввести в науку о науке под разными «учеными» словами то, что агенты называют иногда «ценностями» или «традициями» «научного сообщества», следует уметь различать в качестве таковых стратегии, которые в универсуме, заинтересованном в незаинтересованности, стремятся скрывать стратегии.

Эти стратегии второго уровня, посредством которых можно встроиться в порядок, преобразуя подчинение законам (которое является условием удовлетворения интересов) в избирательное следование нормам, позволяют совмещать удовлетворение правильно понятого интереса с выгодой, почти всегда сопутствующей действиям, не имеющим с виду никакого другого обоснования, кроме чистого и бескорыстного уважения порядка.

Научный капитал и склонность к инвестированию

Структура научного поля определяется в каждый данный момент соотношением сил между участниками борьбы, агентами или институтами, т. е. структурой распределения специфического капитала как результата предшествующей борьбы, который объективирован в институтах и диспозициях и который регулирует стратегии и объективные шансы различных агентов или институтов в борьбе нынешней. (Здесь — как, впрочем, везде, — чтобы преодолеть антиномию между синхронией и диахронией, структурой и историей, достаточно уловить диалектическую связь, которая посредством диспозиций устанавливается между структурами и стратегиями.) Структура распределения научного капитала лежит в основе трансформаций научного поля, которые она производит посредством стратегий сохранения или подрыва. С одной стороны, позиция, которую отдельный агент занимает в определенный момент времени в структуре научного поля, является результирующей — объективированной в институтах и инкорпорированной в диспозициях — совокупности предшествующих стратегий этого агента и его конкурентов. Эти стратегии, в свою очередь, зависят от структуры поля, поскольку они опосредованы структурными свойствами породившей их позиции. С другой стороны, трансформации структуры поля являются результатом стратегий сохранения или подрыва, направленность и эффективность которых заложены в свойствах позиции, занимаемой теми, кто применяет эти стратегии в границах структуры поля.

Это означает, что при определенном состоянии поля инвестиции ученых зависят, как по их значимости (определяемой, например, временем, посвященным исследованию), так и по их природе (в частности, по степени взятого на себя риска), от размеров наличного и потенциального капитала признания и от позиции — достигнутой и потенциальной — в поле (в соответствии с диалектическим процессом, наблюдаемым во всех областях практи-

ки). Согласно многократно наблюдаемой логике, ожидания, т. е. то, что обычно называют «научными амбициями», тем более высоки, чем более высок капитал признания. Так, обладание капиталом, который с самого начала научной карьеры обеспечивается системой образования в форме престижного диплома, предусматривает и предписывает — через сложную систему опосредований — достижение высоких целей, предполагающихся и гарантированных этим диплом в обществе. Так, пытаться измерить статистическую зависимость между престижем ученого и престижем его первоначальных дипломов (Гранд Эколь или университет во Франции; университет, где была присуждена докторская степень — в США), при условии проверки показателей его производительности¹⁷ — значит так или иначе согласиться с гипотезой, что производительность и престиж в настоящее время независимы (друг от друга) и не зависят от первого полученного диплома. В действительности, в той мере, в какой диплом в качестве школьного капитала, конвертируемого в университетский и научный капитал, заключает в себе вероятную траекторию, он управляет — через посредство поощряемых им «разумных ожиданий» — всем отношением к научной карьере (выбор более или менее «амбициозных» проектов, более или менее высокая продуктивность и т. д.). В результате, влияние престижа институций осуществляется не только напрямую, «накладываясь» на мнение о научных способностях, определенных по качеству и количеству работ, и не только косвенно — через посредство контактов с самыми именитыми мэтрами, что обеспечивается высоким школьным происхождением, чаще всего связанным с высоким социальным происхождением. Это влияние сказывается также через посредство «вероятностной причинности», т. е. в силу ожиданий, которые допускаются или поощряются объективными шансами (аналогичные замечания можно сделать по поводу влияния социального происхождения на первоначальный школьный диплом). Так, например, в оппозиции между высокими и низкими траекториями в образовательном поле и в научном поле воспроизводится оппозиция между

надежными вложениями в узко специализированное исследование и рискованными вложениями в широкомасштабное исследование, которое может привести к широким теоретическим обобщениям (революционным или эклектичным). Такие инвестиции, которые, как в проанализированном Фредом Рифом случае физики, состоят в том, чтобы получать научную информацию, выходящую за строгие рамки специальности, вместо того, чтобы следовать по проторенным дорожкам в надежно выверенном исследовательском направлении, могут оказаться полностью потерянными, но могут также принести и плодотворные аналогии¹⁸. Точно так же, чтобы понять часто описываемую трансформацию научных практик, которой сопровождается продвижение в научной карьере, следует соотнести различные стратегии (например, массированные и экстенсивные инвестиции только в исследовательскую деятельность или умеренные и интенсивные инвестиции в исследование в сочетании с инвестициями в научное администрирование) не столько с возрастными классами — поскольку каждое поле определяет свои собственные законы социального старения¹⁹, сколько с величиной наличного научного капитала, который, определяя в каждый момент объективные шансы на прибыль, определяет в качестве «разумных» как стратегии инвестиций, так и отказ от инвестиций. Нет ничего более искусственного, чем описывать общие черты различных фаз «научной карьеры»²⁰, даже если речь идет о «средней карьере» в специфическом поле²¹, ибо в действительности любая карьера определяется главным образом той позицией, которую она занимает в структуре системы возможных карьер²². Существует столько способов включиться в исследовательскую деятельность, удержаться в ней или уйти из нее, сколько существует классов траекторий, и любое описание, которое — в случае того или иного универсума — будет состоять из характерных черт «некой» карьеры, упускает главное, т. е. различия. Снижение с возрастом количества и качества научной продукции, которое наблюдается в случае «средних карьер», вероятно, можно легко понять, если допустить, что по мере того,

как капитал признания увеличивается, он ведет к снижению высоких темпов производительности, которые были необходимы для его приобретения. Однако полностью понять такое снижение можно только при соотнесении средних карьер с самыми высокими карьерами, поскольку только они и обеспечивают сполна символические выгоды, необходимые для постоянного возобновления склонности к новым инвестициям, постоянно откладывая, таким образом, момент прекращения инвестиций.

Установленный (научный) порядок

Форма, которую приобретает политическая и одновременно научная борьба за научную легитимность, зависит от структуры поля, т. е. от структуры распределения специфического капитала научного признания между участниками борьбы. Теоретически эта структура может меняться (как это и бывает в каждом поле) в пределах двух теоретических границ, впрочем, никогда не достигаемых: с одной стороны, ситуация монополии на специфический капитал научного авторитета, с другой — идеальная ситуация конкурентной борьбы, предполагающая равное распределение этого капитала между всеми конкурентами. Поле науки — это всегда место *более или менее неравной* борьбы между агентами, которые неравным образом наделены специфическим капиталом и которые, следовательно, неравны с точки зрения способности воспользоваться результатами научного труда (а также, в некоторых случаях, внешними прибылями, такими, как экономическое или чисто политическое вознаграждение), которую производит в результате *объективного сотрудничества* совокупность конкурентов, применяющая совокупность имеющихся в наличии средств научного производства. Во всяком поле с *более или менее неравной силой*, в зависимости от структуры распределения в нем капитала (степень однородности), противопоставляются доминирующие, которые занимают самые высокие позиции в структуре распределения научного капитала, и доминируемые, т. е. начинающие ученые, которые рас-

полагают тем более значительным (в абсолютном значении) научным капиталом, чем более значительны научные ресурсы, накопленные в поле.

Все указывает на то, что по мере роста накопленных научных ресурсов и соответственно увеличивающейся пошлины за вход в поле возрастает степень однородности между конкурентами (которые под воздействием независимых факторов становятся все многочисленнее), научное соперничество по своей форме и интенсивности все более дистанцируется от соперничества, которое можно наблюдать на более ранних стадиях в том же или других полях, где накопленные ресурсы менее значительны, а степень разнородности более высока. Социологи науки, забывающие (к тому же почти всегда) учитывать эти структурные и морфологические свойства различных полей, занимаются универсализацией частного случая. А ведь именно благодаря этим свойствам оппозиция между стратегиями сохранения и подрыва, которая будет проанализирована ниже, ослабевает по мере того, как однородность поля возрастает и соответственно уменьшается вероятность *великих периодических революций*, на смену которым приходят *бесчисленные мелкие перманентные революции*.

Доминирующие и, как говорят экономисты, претенденты, т. е. новички в поле, в противопоставляющей их борьбе прибегают к стратегиям, полностью противоположным как по логике, так и по основаниям. Движущими интересами (в двойном смысле) и средствами, которые они могут использовать для того, чтобы удовлетворять эти интересы, очень тесно зависят от их позиции в поле, т. е. от их научного капитала и от власти, которую он дает, над полем научного производства и обращения, а также над производимыми им прибылями. Доминирующие обречены на *стратегии сохранения* установленного научного порядка, частью которого они являются. Этот порядок не сводится только, как обычно полагают, к *официальной науке*, совокупности научных ресурсов, унаследованных от прошлого, которые существуют в *объективированном виде* (в форме инструментария, трудов, институций и т. д.)

и в *инкорпорированном виде* (в форме научных габитусов, т. е. систем, порождающих схемы восприятия, оценки и действия, которые являются продуктом специфической формы педагогического воздействия и которые делают возможными выбор объектов, решение проблем и оценку решений). Этот установленный порядок включает в себя также совокупность институтов, отвечающих за обеспечение производства и обращения научных благ, и в то же время — за воспроизводство и обращение производителей (или воспроизводителей) и потребителей этих благ, т. е. в первую очередь — систему образования, которая единственно и может обеспечить незыблемость и признание официальной науки, систематически внушая ее (научные габитусы) всей совокупности легитимных получателей педагогического воздействия и, в частности, всем вновь входящим в поле собственно производства. Помимо инстанций, специально предназначенных для обеспечения признания (академии, премии и т. д.), установленный порядок включает в себя также инструменты распространения. В частности, речь идет о научных журналах, которые путем селекции, осуществляемой в соответствии с господствующими критериями, обеспечивают признание продукции, отвечающей принципам официальной науки. Постоянно показывая пример того, что достойно называться наукой, они осуществляют фактическую цензуру еретической продукции, либо открыто отказывая публиковать материал, либо просто отбивая охоту публиковаться, выдвигая собственные критерии «публикуемости»²³.

Именно поле предписывает каждому агенту его стратегии, включая и такую стратегию, которая заключается в ниспровержении установленного научного порядка. В зависимости от позиции, которую новички занимают в структуре поля (и безусловно, в соответствии с такими второстепенными переменными, как социальная траектория, которая диктует оценку шансов), они могут быть ориентированы либо на надежные *стратегии преемственности*, способные обеспечить им на обозримое карьерное будущее доходы, ожидающие тех, кто соответствует офи-

циальному научному идеалу и чьи инновации не выходят за установленные границы, либо — на *стратегии подрыва*, эти бесконечно более дорогостоящие и рискованные вложения, которые могут принести доходы, причитающиеся монопольным держателям легитимности, лишь ценой полного переопределения принципов легитимации господства: новички, отказывающиеся следовать сложившимся типам карьеры, могут «победить господствующих в их собственной игре» лишь при условии дополнительного привлечения собственно научных инвестиций, не рассчитывая при этом на значительную прибыль, во всяком случае, не на скорую, поскольку против них направлена вся логика системы.

С одной стороны, научное изобретение по законам уже изобретенного искусства изобретать, решая только те проблемы, которые могут быть поставлены в рамках проблематики, установившейся с помощью проверенных методов (или трудясь над спасением принципов от еретического опровержения — можно, например, вспомнить Тихо Браге), заставляет забыть о том, что оно решает только те проблемы, которые может поставить, или ставит только такие проблемы, которые может решить; с другой стороны — еретическая изобретательность, которая ставит под сомнение сами принципы прежнего научного порядка, устанавливает жесткую альтернативу, исключаящую возможность компромисса между двумя взаимоисключающими системами. Основатели еретического научного порядка разрывают контракт о передаче полномочий, с которым соглашаются — пусть в скрытой форме — «кандидаты в наследники». Не признавая иного принципа легитимации, кроме того, который они сами предлагают установить, они отказываются от включения в цикл *обмена признанием*, обеспечивающий упорядоченный обмен научным авторитетом между держателями и претендентами (т. е. зачастую между представителями различных поколений, что заставляет многих обозревателей рассматривать конфликты легитимности как конфликты поколений). Отвергая все суждения и гарантии, которые предоставляет прежний порядок, а также участие (возра-

стающее) — в соответствии с установленными процедурами — в коллективно гарантированном капитале, они осуществляют первоначальное накопление силовым путем с помощью разрыва, обращая в свою пользу доверие, которым пользовались прежние господствующие, и не оставляя им взамен даже малой доли признания, в отличие от тех, кто соглашается включиться в непрерывный ход наследования²⁴.

Все свидетельствует о том, что склонность к стратегиям сохранения или подрыва тем менее независима от диспозиций по отношению к установленному порядку, чем менее независим сам научный порядок от социального порядка, в который он вписан. Вот почему есть все основания предполагать, что связь, которую установил Льюис Фейр между подрывными, с точки зрения науки и политики, пристрастиями молодого Эйнштейна и его революционными научными идеями, в каком-то смысле более значима для таких наук, как биология или социология, весьма далеких от той степени автономии, которой достигла физика во времена Эйнштейна. Оппозиция, которую устанавливает этот автор между революционными диспозициями Эйнштейна, во времена молодости — члена студенческой еврейской группы, взбунтовавшейся против установленного научного порядка и против установленного порядка вообще, и реформаторскими диспозициями, которые продемонстрировал Пуанкаре, типичный представитель «республики профессоров», человек порядка и «плановой» реформы как в политическом, так и в научном порядке, вызывает некоторую аналогию с оппозицией между Марксом и Дюркгеймом.

«Оригинальные рассуждения Эйнштейна поддерживал немногочисленный странный кружок молодых интеллектуалов, которых переполняло социальное и научное бунтарство, свойственное их поколению, и которые составляли научное контрсообщество вне официальной институции, группа космополитической богемы, стремящейся в те революционные времена взглянуть на мир по-новому»²⁵. Преодолевая наивную оппозицию между индивидуальными габитусами и социальными условиями их

воплощения, Льюис Фейр выдвигает гипотезу, которую подтверждают все последние работы о системе научного образования²⁶ и в соответствии с которой легкий и быстрый доступ к административным должностям, открывающийся во Франции перед выпускниками научных *Grandes Ecoles*, ослабляет протест против установленного (научного) порядка, и наоборот, этот протест находит благодатную почву в группах маргинальных интеллектуалов, занимающих шаткие позиции между системой образования и революционной богемой: «Можно смело предположить, что именно потому, что Франция была “республикой профессоров”, что самые блестящие выпускники Политехнической школы быстро занимали высокие должности в военных сферах и в гражданском строительстве, никакой вероятности радикального разрыва с установленными правилами быть не могло. Научная революция находит свою самую благодатную почву в контрсообществе. Когда молодой ученый очень быстро получает доступ к руководящим функциям, его энергия менее всего расположена к сублимации в научный радикализм. Что касается революционного творчества, то открытость французской администрации для научных талантов, возможно, является более важным фактором, объясняющим научный консерватизм, чем все другие факторы, обычно считающиеся ведущими»²⁷.

От инаугурационной революции к революции перманентной

Какие социальные условия должны быть выполнены для того, чтобы установилась такая социальная игра, в которой истинная идея обладает силой, поскольку те, кто участвуют в игре, имеют свой интерес к истине, а не — как в других играх — истину своих интересов? Безусловно, речь не идет о том, чтобы сделать из этого исключительного социального мира исключение из фундаментальных законов всякого поля, и, в частности, из закона интереса (выгоды), который может превратить в беспощадную войну самую «незаинтересованную» научную борьбу (по-

скольку «незаинтересованность» всегда есть не что иное, как система специфических интересов — будь то художественные, религиозные или научные, — которая предполагает и равнодушие — относительное — к обычным объектам интереса, к деньгам, почету и т. п.). Тот факт, что научное поле всегда содержит некоторую долю социального произвола, — в той мере, в какой он служит интересам тех, кто внутри и/или вне поля в состоянии извлечь из него выгоду, — не исключает, что при некоторых условиях логика самого поля и, в частности, борьба между господствующими в поле и новичками и протекающая отсюда перекрестная цензура могут вызывать *постоянное переопределение целей*, непрерывно меняющее баланс частных научных интересов (всегда понимаемых в двойном смысле) для прогресса науки²⁸.

Частичные теории науки и ее трансформаций predisposed к выполнению идеологических функций в борьбе внутри научного поля (или внутри полей, претендующих на научность, как, например, поле социальных наук), поскольку они сообщают всеобщность свойствам, связанным с особыми состояниями научного поля. Так, позитивистская теория приписывает науке власть решать все вопросы, которые она поднимает, при условии, что они ставятся по-научному, а также устанавливать, применяя объективные критерии, консенсус в отношении ее решений, вписывая, таким образом, прогресс в привычный ход «нормальной науки» и действуя, как если бы переход от одной системы к другой — например, от Ньютона к Эйнштейну — совершался путем простого накопления знаний, уточнения измерений и исправления правил. То же самое можно сказать о теории Куна: вполне применимая к инаугурационным революциям зарождающейся науки (парадигмой которых служит коперниканская революция — в подлинном значении этого слова), она полностью противоречит позитивистской модели²⁹. В самом деле, поле астрономии, где происходит коперниканская революция, противопоставляется полю современной физики аналогично тому, как рынок, «погруженный в социальные отношения» (*embedded in social relationships*) арха-

ических обществ, противопоставляется, согласно К. Полани, «саморегулирующемуся рынку» (*self-regulating-market*) капиталистических обществ. Не случайно коперниканская революция содержит ярко выраженное требование категорической автономии для научного поля, еще «погруженного» в религиозное поле и в поле философии, а через них — и в политическое поле, — требование, которое содержит в себе утверждение права ученых решать научные вопросы («математика — математикам») в силу специфической легитимности, которую сообщает им их компетенция.

Пока научный метод, а также цензура и/или содействие, которое он предлагает или предписывает, не объективированы в механизмах и диспозициях, научные разрывы вынужденно принимают вид революций против институции, а революции против научного порядка являются одновременно революциями против установленного порядка. Наоборот, когда благодаря этим первоначальным революциям оказывается невозможным какое-либо обращение к оружию или к власти — даже чисто символическое, но отличное от принятых в поле, то именно функционирование поля начинает все более полно определять не только обычный порядок «нормальной науки», но также и экстраординарные разрывы, те самые «плановые революции», как говорил Г. Башляр, которые вписаны в логику истории науки, т. е. в логику научной полемики³⁰. Когда метод вписан в механизмы поля, революция против институциональной науки осуществляется при содействии институции, которая предоставляет институциональные условия разрыва; поле становится местом перманентной революции, которая, однако, все более лишается политического эффекта. Именно потому этот универсум перманентной революции может быть — совершенно непротиворечивым образом — универсумом «легитимного догматизма»³¹: научный инструментарий, необходимый для осуществления научной революции, может быть получен лишь внутри и с помощью научного сообщества. По мере роста накопленных научных ресурсов, инкорпорированный научный капитал, требуемый

для их освоения и получения доступа к научным проблемам и инструментарию, а следовательно, к научной борьбе, все более и более возрастает (пошлина на вход в поле)³². Из этого следует, что научная революция является делом не самых обездоленных, а, наоборот, самых богатых в научном смысле среди вновь входящих в поле³³. Антиномия разрыва и непрерывности ослабляется в поле, которое, не делая различия между революционными фазами и «нормальной наукой», обретает в непрерывном разрыве истинный принцип своей непрерывности. Соответственно, все более теряет смысл оппозиция между стратегиями наследования и стратегиями разрыва, поскольку накопление капитала, необходимого для того, чтобы делать революции, и капитала, который эти революции обеспечивает, все в большей мере происходит в соответствии с установленными процедурами карьеры³⁴.

Превращение анархического антагонизма частных интересов в научную диалектику становится все более глобальным по мере того, как интерес каждого производителя символических благ в производстве продуктов, «которые были бы интересны не только ему самому, — как говорит Фред Риф, — но были бы важны и для других», т. е. могли бы заставить других признать их важность, а также значимость их автора, сталкивается с конкурентами, более искусными в использовании тех же средств для достижения тех же намерений, что все чаще приводит — при одновременных открытиях — к принесению в жертву интересов одного или обоих создателей³⁵. Иными словами частный интерес каждого отдельного агента, состоящий в том, чтобы победить и подчинить своих конкурентов и добиться от них признания, оснащается целой системой инструментов, которые обеспечивают полную эффективность его полемической интенции и сообщают ей универсальное значение методологической цензуры. Фактически, по мере того как возрастают накопленные ресурсы и капитал, необходимый для их присвоения, рынок, где может быть предложен научный продукт, все более ограничивается самими конкурентами, которые все лучше вооружены для рациональной

критики этого продукта и дискредитации его автора. Антагонизм, заложенный в основании структуры и изменения всякого поля, приобретает все более радикальный и всеобъемлющий характер, поскольку вынужденное согласие, порождающее коллективный разум, оставляет все меньше места для доксистически немислимого. Коллективный порядок науки вырабатывается в конкурентной борьбе и через анархию заинтересованных воздействий, когда каждый агент, а вместе с ним и вся группа подвержены внешне несогласованному пересечению индивидуальных стратегий. Стоит ли говорить, что оппозиция между «функциональными» и «дисфункциональными» аспектами функционирования научного поля, обладающего высокой степенью автономии, лишается смысла: самые «дисфункциональные» тенденции (например, склонность к секретности и к отказу от сотрудничества) заложены в тех самых механизмах, которые порождают самые «функциональные» диспозиции. По мере того как научный метод вписывается в социальные механизмы, регулирующие функционирование поля, и тем самым обретает высшую объективность имманентного социального закона, он может реально объективироваться не только в инструментах, способных контролировать тех, кто ими пользуется, а иногда и доминировать над ними, но и в устойчивых диспозициях, формируемых образовательной системой. Эти диспозиции непрерывно укрепляются социальными механизмами, которые, находя в свою очередь поддержку в рациональном материализме объективированной и инкорпорированной науки, осуществляют как контроль и цензуру, так и инновацию и разрыв³⁶.

Наука и доксософы

Наука не имеет иного основания, кроме коллективного верования в ее основы, которое производит и предполагает само функционирование научного поля. Объективное согласование практических схем, внушенных и усвоенных в процессе образования, составляет основание

практического консенсуса в отношении целей, предлагаемых полем, т. е. в отношении проблем, методов и решений, немедленно распознаваемых как научные. Вместе с тем объективное согласование практических схем само обосновано совокупностью институциональных механизмов, которые обеспечивают социальный и образовательный отбор научных сотрудников (в зависимости, например, от установившейся иерархии дисциплин), подготовку отобранных агентов, контроль над доступом к исследовательским средствам и публикациям и т. д.³⁷ Дискуссионное пространство, которое очерчивают своей борьбой ортодоксия и гетеродоксия, вычленяется на фоне пространства доксы, т. е. совокупности допущений, которые обе стороны воспринимают как само собой разумеющиеся, не зависящие от какой-либо дискуссии, поскольку они составляют скрытое условие дискуссии³⁸. Цензура, производимая ортодоксией и обличаемая гетеродоксией, скрывает более радикальный и менее заметный вид цензуры, которая является составной частью самого функционирования поля и распространяется на совокупность всего, что признается — вследствие самого факта принадлежности полю, — а что исключается даже из обсуждения; вследствие согласия о целях дискуссии, т. е. достижение консенсуса в отношении предмета разногласий, общего интереса на основе изначального конфликта интересов, негласное вынесение за границы борьбы всего необсуждаемого и немыслимого³⁹.

В зависимости от степени автономии поля по отношению к внешним детерминантам, доля социального произвола, заключенного в системе допущений, конституирующих верование, свойственное тому или иному полю, изменяется. Это означает, что в абстрактном пространстве теории всякое научное поле — как поле социальных наук или математики сегодня, так и поле алхимии или математической астрономии во времена Коперника — может быть размещено в промежутке между двумя границами. С одной стороны граница очерчена религиозным полем (или полем литературного производства), в котором официальная истина есть не что иное, как легитим-

ное навязывание (т. е. произвольное и нераспознаваемое как таковое) культурного произвола, выражающего специфический интерес доминирующих как внутри поля, так и вне его. С другой стороны проходит граница научного поля, откуда всякий элемент социального произвола (или немыслимого) исключается и в котором социальные механизмы будут с необходимостью навязывать универсальные нормы разума.

Таким образом, встает вопрос о степени социального произвола *верования*, порожденного функционированием поля и являющегося условием его функционирования, или — что одно и то же — вопрос о степени автономии поля (относительно, прежде всего, социального заказа доминирующего класса) и социальных условий — внутренних и внешних — этой автономии. В основании всех различий между научными полями, способными производить и удовлетворять чисто научный интерес и таким образом поддерживать непрерывный диалектический процесс, и *полями производства научного дискурса*, чьей единственной целью и функцией является коллективная работа по сохранению самотождественности поля посредством производимого как вовне, так и внутри верования в самостоятельную ценность его задач и объектов, — лежит отношение *зависимости под видимостью независимости* от внешних заказов. Доксософы, мнимые ученые и ученые мнимости, могут легитимировать и отлучение, которое они осуществляют путем произвольного формирования эзотерического знания, недоступного профанам, и полномочия, которых они требуют, монополизируя некоторые практики или рассуждения по их поводу, одним лишь путем навязывания веры в то, что их ложная наука совершенно независима от социальных заказов, которые они так хорошо выполняют именно потому, что во всеуслышание заявляют о своем отказе их обслужить.

От М. Хайдеггера, рассуждающего о «массах» и «элитах» на глубоко эвфемизированном языке «аутентичного» и «неаутентичного», до американских политологов, воспроизводящих официальное видение социального мира в *полуабстракциях* дескриптивно-нормативного дискурса, — всегда *ученый жаргон* (в противоположность

научному языку) определяется одной и той же стратегией *ложного разрыва*. Если научный язык ставит кавычки для обозначения того, как отмечает Г. Башляр, что используемые слова обыденного языка или прежнего научного языка полностью переопределяются и приобретают свой смысл только в новой теоретической системе⁴⁰, ученый язык употребляет кавычки или неологизмы лишь для того, чтобы символически продемонстрировать фиктивную дистанцию и разрыв с общепринятым смыслом: на самом деле, не обладая никакой реальной автономией, он может выполнять свою идеологическую задачу лишь в том случае, если будет оставаться достаточно прозрачным, чтобы продолжать ссылаться на опыт и обыденное выражение, которое он *отрицает*.

Стратегии ложного разрыва выражают объективную истину полей, обладающих лишь псевдоавтономией. В самом деле, если доминирующий класс сообщает естественным наукам автономию, соразмерную тому интересу, который этот класс находит в использовании научных методов в экономике, то от социальных наук ему ждать нечего, разве что — в лучшем случае — чрезвычайно дорогостоящего вклада в легитимацию установленного порядка и в укрепление арсенала символических инструментов доминирования. Запоздалое и всегда находящееся под угрозой развитие социальных наук свидетельствует здесь, что прогресс в направлении реальной автономии, которая обуславливает и одновременно предполагает установление механизмов, формирующих саморегулирующееся и авторитарное научное поле, обязательно наталкивается на препятствия, нигде более не известные. Иначе и быть не может, поскольку цель внутренней борьбы за научный авторитет в поле социальных наук, т. е. за право производить, навязывать и внушать легитимное видение социального мира, является одной из целей борьбы между классами в политическом поле⁴¹.

Из этого следует, что позиции во внутренней борьбе никогда не могут достичь той степени независимости по отношению к позициям во внешней борьбе, которая наблюдается в поле естественных наук. Идея нейтральности науки есть фикция, и фикция небескорыстная, ибо она

позволяет выдавать за научную, нейтрализованную и эвфемизированную, а потому особенно символически действенную — в силу полной неузнаваемости — форму господствующего представления о социальном мире⁴². Социальная наука, выявляя механизмы, которые обеспечивают поддержание установленного порядка, чья сугубо символическая эффективность заключена в незнании их логики и воздействия — этого принципа ненавязчиво выманиваемого признания, — неизбежно становится частью политической борьбы. Это значит, что когда социальной науке удастся утвердиться (что подразумевает выполнение некоторых условий, связанных с определенным соотношением сил между классами), борьба между наукой и ложной наукой доксософов (которые могут выставять себя сторонниками самых революционных теоретических традиций) непременно вносит свой вклад в борьбу между классами, которые — по крайней мере, в данном случае — также не заинтересованы в научной истине.

В социальных науках фундаментальный вопрос социологии науки принимает особенно парадоксальную форму: каковы социальные условия возможности развития науки, свободной от внешнего принуждения и социального заказа, если известно, что в этом случае прогресс в направлении научной рациональности не является прогрессом в направлении политической нейтральности. Этот вопрос можно проигнорировать, что и делают, например, те, кто приписывают все особенности социальных наук их последнему состоянию в духе наивной эволюционистской философии, описывающей официальную науку в терминах эволюции. Конечно, теория *запаздывания* верна, но парадоксальным образом лишь в случае официальной социологии, а точнее, официальной социологии социологии. Чтобы понять самые характерные черты этих особых форм ученого дискурса, каковыми являются ложные науки, достаточно вспомнить знаменитый анализ «экономического отставания» Александра Гершенкрона. Гершенкрон отмечает, что когда процесс индустриализации начинается с опозданием, он обнаруживает систематические отличия от того, что происходило в более развитых странах, не только по темпам развития, но

также в том, что касается «производственных и организационных структур», поскольку этот процесс использует оригинальные «институциональные инструменты» и развивается в ином идеологическом климате⁴³. Существование более продвинутых наук — крупных поставщиков не только методов и техник, используемых чаще всего без учета технических и социальных условий валидности, но также и примеров для подражания, — позволяет официальной социологии обрести все внешние признаки научности: парад автономии может принимать здесь беспрецедентную форму, по сравнению с которой искусно поддерживаемый эзотеризм ученых традиций былых времен представляется лишь бледным предвестником. Официальная социология стремится реализовать себя не как наука, а как официальный образ науки, которым официальная социология науки — эта своего рода правовая инстанция, которую создает для себя *сообщество* (чрезвычайно подходящее в данном случае слово) официальных социологов, — наделяет социологию путем позитивистской реинтерпретации научной практики естественных наук.

Для того чтобы полностью убедиться в функции оправдательной идеологии, которую выполняет социальная история социальных наук в том виде, в котором она используется американским *истеблишментом*⁴⁴, достаточно пересмотреть все работы, прямо или косвенно посвященные *соревновательности*, этому ключевому слову всей американской социологии науки, которое, являясь смутным, эндогенным понятием, возведенным в научное достоинство, концентрирует в себе все немыслимое (доксу) этой социологии. Тезис, согласно которому производительность и соревновательность непосредственно связаны между собой⁴⁵, вдохновляется функционалистской теорией соревновательности, являющейся социологическим вариантом верования в достоинства «свободного рынка», поскольку английское слово *competition* означает также то, что мы называем конкуренцией. Сводя всякую конкуренцию к *конкуренции между университетами* или превращая *конкуренцию между университетами* в условие конкуренции между исследователями, никогда не задаются вопросом о препятствиях одновременно экономического и на-

учного происхождения, возникающих в ходе научной конкуренции на *academic market place*.

Соревновательность, которую признает наука истеблишмента, — это соревновательность в рамках социального приличия, которое служит тем большим препятствием для настоящей научной соревновательности, способной усомниться в ортодоксии, что речь идет об универсуме, наиболее отягощенном социальным произволом. Понятно, что восхваление единодушия «парадигмы» может совпадать с восхвалением соревновательности, а кроме того, можно, в зависимости от автора, упрекнуть европейскую социологию либо в избытке, либо в недостатке соревновательности.

Помимо оборудования и методов — например, компьютеров и программ *автоматической* обработки данных — официальная социология заимствует модель научной практики, какой ее представляет себе позитивистское воображение, т. е. со всеми символическими атрибутами научной респектабельности, масками и париками, в виде технологических новинок и риторического китча, а также модель организации того, что она называет «научным сообществом», какую ей поставляет ее убогая социология организаций. Но официальная социология не обладает монополией на заинтересованную интерпретацию истории науки: специфическая трудность, которую испытывает социология в *научном* осмыслении науки, отчасти связана с тем, что она находится в самом низу социальной иерархии наук. Возвышается ли она до того, что начинает осмысливать «более научные науки» лучше, чем они это делают сами, или опускается до простой регистрации победного образа, который производит и распространяет научная агнография, — перед ней всегда встает одна и та же трудность: осмыслить себя как науку, т. е. осмыслить свою позицию в социальной иерархии наук.

Это совершенно очевидно вытекает из реакции, которую вызвала книга Томаса Куна «Структура научных революций», содержащая добротный экспериментальный материал для эмпирического анализа идеологий науки и их связи с позицией авторов в научном поле. Вместе с тем остается неясным, описывает или предписывает эта кни-

га логику научного изменения (пример такого скрытого предписания: существование парадигмы является признаком научной зрелости), когда предлагает своим читателям поискать в ней ответы на вопрос, что такое хорошая и плохая наука⁴⁶. Те, кого на языке сообщества называют «радикалами», находили в книге приглашение к «революции» против «парадигмы»⁴⁷ или оправдание либерального плюрализма *world-views*⁴⁸, хотя эти две точки зрения безусловно соответствуют различным позициям в поле⁴⁹. Сторонники же установленного научного порядка вычитывали в книге приглашение вырвать социологию из «допарадигматической» стадии, навязав ей унифицированную форму верований, ценностей и методов, символизируемых знаменитой триадой Парсонса и Лазарсфельда, примирившихся на Мертоне. Увлечение количественными методами, формализацией и этической нейтральностью, пренебрежение «философией» и отказ от претензии на систематизацию в пользу тщательной эмпирической верификации и слабой концептуализации, операционально называемой «теорией среднего уровня», — таковы черты, приобретенные, благодаря обескураживающе откровенному превращению «сущего» в «должное», и оправдываемые необходимостью участвовать в укреплении «ценностей сообщества» как условия «прорыва».

Ложная наука, предназначенная для производства и поддержания ложного сознания, — официальная социология (венцом творения которой сегодня является политология) должна демонстрировать объективность и «этическую нейтральность» (т. е. нейтралитет в борьбе между классами, существование которых она, впрочем, отрицает) и создавать полную видимость окончательного разрыва с доминирующим классом и его идеологическими требованиями, умножая внешние знаки научности. Таким образом, с «эмпирической» стороны имеет место *парад технологий*, а со стороны «теории» — *риторика «нео»* (также расцветающая в художественном поле). Пародируя научное накопление, подобная риторика применяет к произведению или к совокупности произведений прошлого (см. «Структуру социального действия» Т. Парсонса) типичную ученую процедуру «нового прочтения», эту

парадигматическую школьную операцию простого воспроизводства или воспроизводства простого, вполне подходящую для того, чтобы производить в границах поля и верования, которое оно порождает, все внешние признаки «революции». Следовало бы всесторонне проанализировать эту *риторику научности*, с помощью которой господствующее «сообщество» производит верование в научную ценность своих продуктов и в научный авторитет своих членов. Этому может служить совокупность стратегий, придающих *видимость эффекта накопления*, таких как ссылки на канонические источники, приведенные, как говорится, «к их самому простому виду» (таков посмертный удел «Самоубийства»), т. е. к формальному изложению, симулирующему холодную строгость научного дискурса, а также ссылки на самые свежие по возможности статьи на одну и ту же тему. Или, например, *стратегии закрытия*, которые должны установить границу между научной проблематикой и светскими спорами или дебатами профанов (всегда имеющими место, но на правах «призраков в машине»), с помощью чаще всего простого обратного перевода с одного языка на другой. Или, наконец, процветающие среди политологов *стратегии непризнания*, способные воплотить господствующий идеал «объективности» в аполитичном дискурсе о политике, где отвергаемая политика может появиться лишь под неузнаваемым, а следовательно, безупречным, видом ее политологического непризнания⁵⁰. Но эти стратегии выполняют, сверх того, основную функцию: циркуляция предметов исследования, идей, методов и особенно знаков признания внутри сообщества (следовало бы сказать клуба, открытого лишь для своих или импортируемых из лиги *l'уу*)⁵¹, производит, как всякий *кружок по легитимации*, универсум верования, эквивалент которого можно найти как в религиозном поле, так и в поле литературы или поле высокой моды⁵².

Тем не менее не следует придавать *ложной официальной науке* то значение, которое ей придает «радикальная» критика. Несмотря на разногласия относительно *ценности*, которую они сообщают «парадигме», понимаемой как принцип унификации, необходимый для развития

науки — в одном случае, или как произвольная репрессивная сила — в другом, либо, как у Куна, и то и другое, по очереди, — консерваторы и «радикалы», противники-сообщники, сходятся на самом деле в главном. Вследствие односторонней точки зрения, которую они непременно принимают по отношению к научному полю, выбирая, по меньшей мере несознательно, тот или иной лагерь противников, они не могут видеть, что контроль или цензура осуществляется не той или иной инстанцией, но *объективным отношением между противниками-заговорщиками*, которые уже одним своим антагонизмом ограничивают поле легитимной дискуссии, исключая как что-то нелепое, или эклектичное, или просто немыслимое, всякое поползновение занять непредусмотренную позицию (в частном случае, например, поставить на службу другой научной аксиоматике технические средства, разработанные официальной наукой)⁵³.

«Радикальная» идеология, слегка завуалированно выражающая интересы доминируемых в научном поле, стремится представить любое движение против установленного научного порядка как научную революцию, как если бы было достаточно, чтобы какая-нибудь «инновация» не входила в рамки официальной науки, как она сразу становилась бы «научно революционной». При этом даже не ставится вопрос о социальных условиях, благодаря которым революция против установленного научного порядка может быть также научной революцией, а не простой ересью, имеющей целью изменить установившееся соотношение сил в поле, не затрагивая оснований, на которых зиждется его функционирование⁵⁴. Что же касается доминирующих, склонных считать, что тот научный порядок, в который вложены все их инвестиции (в духе экономики и психоанализа) и прибыли от которых они могут присвоить, есть осуществленное «долженствование», то они вполне логично ориентированы на спонтанную философию науки, выраженную позитивистской традицией, этой формой либерального оптимизма, согласно которой наука прогрессирует благодаря внутренней силе истинной идеи, и что самые «сильные» являются по определению самыми «компетентными». Достаточно подумать о

прежних состояниях поля естественных наук или о современном состоянии поля общественных наук, чтобы обнаружить идеологическую функцию социодии подобной философии науки, которая, представляя идеал осуществившимся, снимает вопрос о социальных условиях его осуществления.

Соглашаясь с тем, что социология науки сама функционирует в соответствии с законами функционирования любого научного поля, которые устанавливает научная социология науки, социология науки вовсе не обрекает себя на релятивизм. Действительно, научная социология науки (и создаваемая при ее участии научная социология) может сформироваться только при условии ясного понимания того, что различные позиции в научном поле связаны с разными представлениями о науке. С помощью *идеологических стратегий*, загрированных под *эпистемологические воззрения*, занимающие определенную позицию стремятся оправдать свою собственную позицию и стратегии, которые они применяют для ее поддержания или улучшения и одновременно для дискредитации сторонников противоположной позиции и их стратегий. Каждый социолог является хорошим социологом своих конкурентов, поскольку социология знания или науки остается лишь наиболее безупречной формой стратегий дисквалификации противника до тех пор, пока берет в качестве объекта своих противников и их стратегии, а не *систему стратегий в целом, т. е. поле позиций, исходя из которых они родились*⁵⁵. Трудность социологии науки состоит в том, что социолог имеет свои ставки в игре, которую он берется описывать (будь то научность социологии в целом или научность практикуемой им формы социологии), а также в том, что он не может объективировать существующие ставки и соответствующие стратегии, если не возьмет в качестве объекта, помимо стратегий своих научных противников, игру как таковую, которая движет также его собственными стратегиями, подспудно управляя и его социологией, и его социологией социологии.

Примечания

¹ См.: *Bourdieu P. Une interprétation de la sociologie religieuse de Max Weber // Archives européennes de sociologie. 1971. Vol. 12. № 1. P. 3–21.*

² Конфликт, о котором говорил Саполски, между сторонниками «фторизации» (речь идет о кампании по обогащению фтором питьевой воды. — *Прим. перев.*), т. е. между держателями официальной власти (*health officials*), которые считают себя единственно «компетентными» в области здравоохранения, и противниками, в рядах которых насчитывается много ученых, но которые, по мнению официальных лиц, выходят «за рамки своей компетенции», позволяет со всей ясностью увидеть социальную истину компетенции как полномочного и авторитетного мнения, которое является ставкой в борьбе между группами (см.: *Sapolsky H. M. Science, Voters and the Fluoridation Controversy // Science. 1968. Vol. 162. № 25 (October) P. 427–433*). Проблема компетенции нигде не проявляется с такой остротой и с такой очевидностью, как во взаимоотношениях с «профанами» (См.: *Barnes B. S. On the Reception of Scientific Beliefs // Sociology of Science / Ed. S. B. Barnes. London: Penguin, 1972. P. 269–291; Boltanski L., Maldidier P. Carrière scientifique, morale scientifique et vulgarisation // Information sur les sciences sociales. 1970. Vol. 9. № 3. P. 99–118.*

³ *Reif F. The Competitive World of the Pure Scientist // Science. 1961. Vol. 134. № 15 (December). P. 1957–1962.*

⁴ Именно в этой логике следует понимать переносы капитала из одного определенного поля в другое — социально более низкое, в котором менее интенсивное соперничество дает держателю определенного капитала шанс на получение более высокой выгоды.

⁵ *Merton R. K. The Sociology of Science. Chicago and London: The University of Chicago Press, 1973. P. 55.*

⁶ Среди бесчисленных выражений этого «нейтрализаторского» кредо особенно типичным представляется следующее: «Будучи профессионалами — университетскими преподавателями или практикующими учеными, — социологи в основном считают себя способными отделить, осознавая свою социальную ответственность, личную идеологию от той профессиональной роли, которую они играют во взаимоотношениях с клиентами, публикой, коллегами. Ясно, что это наиболее полный результат приложения концепции профессионализации к социологии, особенно в период университетского общественного движения, который начинается в 1965 году (*Ben-David, 1972*). С самого на-

чала становления социологии как дисциплины многие социологи обладали очень активной личной идеологией, в соответствии с которой они стремились отдавать свои знания делу социальных преобразований, тогда как в качестве университетских профессоров они сталкивались с проблемой подчинения нормам, предписываемым преподавателю и исследователю» (*Janowitz M. The American Journal of Sociology. 1972. № 78 (1). July. P. 105–135.*)

⁷ *Hagstrom W. D. The Scientific Community. New York: Basic Books, 1965. P. 100.*

⁸ Фред Риф писал, что те, кто, стремясь как можно скорее опубликовать свои работы, обращаются к ежедневной прессе (так, сообщения о важных открытиях в физике могли быть опубликованы в «Нью-Йорк Таймс»), вызывают осуждение коллег-конкурентов, настаивающих на разнице между публикацией и публичностью, которая требует определенного отношения к некоторым формам популяризации, всегда подозреваемых в том, что являются завуалированными формами самопопуляризации автора. Достаточно процитировать издателя официального журнала американских физиков: «Проявляя уважение к своим коллегам, авторы, как правило, избегают разглашения содержания своих статей, прежде чем они будут опубликованы в научном журнале. Научные открытия — это не сенсация для газет, и все средства массовых коммуникаций должны иметь единовременный доступ к информации. Отныне мы не будем принимать статьи, содержание которых было уже опубликовано в газетной прессе» (*F. Reif, loc. cit.*).

⁹ В каждый момент времени существует социальная иерархия научных полей — дисциплин, — которая в значительной степени ориентирует практики и, особенно, «выбор» по «призыванию»; а внутри каждой из дисциплин действует социальная иерархия объектов и методов анализа (Об этом см.: *Bourdieu P. Méthode scientifique et hiérarchie sociale des objets // Actes de la recherche en sciences sociales. 1975. № 1. P. 4–6.*). (Столь многочисленные в данном тексте ссылки на самого себя имеют единственной целью избежать повторов уже сказанного).

¹⁰ Подобно социальной философии дюркгеймовского толка, описывающей социальный конфликт в терминах маргинальности, отклонения или аномии, эта философия науки стремится свести отношения соперничества между доминирующими и доминируемыми к отношениям между «центром» и «периферией», пользуясь расхожей метафорой, столь дорогой Хальбваксу, о расстоянии до «средоточия» центральных ценностей (См., например: *Ben-David J. The Scientist's Role in Society. N.Y.:*

Englewood Cliffs-Prentice Hall Inc., 1971; *Shils E. Center and Periphery // The Logic of Personal Knowledge. Essays Presented to Michael Polanyi on His Seventieth Birthday.* London: Routledge and Kegan Paul Ltd, 1961. P.117–130).

¹¹ *Kuhn T. The Structure of Scientific Revolutions.* Chicago: The University of Chicago Press, 1962. P. 168.

¹² Вследствие того, что американские социологи полагают на американский манер, что «либеральная демократия» является условием «научной демократии», за проблемой экспертной оценки относительной ценности университетских систем неизбежно кроется вопрос об оптимальных условиях развития науки и — тем самым — о лучшей политической системе. (См., например, работу: *Merton R.K. Science and Technology.* Vol. 1. 1942, повторно опубликованную в книге: *Merton R.K. Social Theory and Social Structure.* N.Y.: Free Press, 1976. P. 550–551, под заголовком «Science and Democratic Social Structure»; *Barber B. Science and the Social Order.* Glencoe: The Free Press, 1952. P. 73, 83.

¹³ Именно так можно объяснить очень разные стратегии ученых, когда они обращаются к таким формам публикации, как *препринт* или *репринт*. Легко можно показать, что все наблюдаемые различия, связанные с научной дисциплиной и возрастом исследователей или с институцией, к которой они принадлежат, могут быть поняты, исходя из очень разных функций, которые выполняют эти две формы научной коммуникации. Препринт обеспечивает очень быстрое распространение продукции, сокращая сроки, соблюдаемые при научной публикации (что является очень важным преимуществом в секторах с высокой конкуренцией) среди ограниченного числа читателей, которые также являются самыми компетентными конкурентами. Препринт, в отличие от официальной публикации, не обеспечивает полной защиты продукции от мошеннического присвоения, но, благодаря тому, что продукция запущена в оборот, степень ее защищенности все же повышается. Репринт обеспечивает более широкое распространение среди коллег или заказчиков продуктов, обеспеченных и социально закрепленных за определенным именем собственным. (См.: *Hagstrom W. Factors Related to the Use of Different Modes of Publishing Research in Four Scientific Fields // Communication Among Scientists and Engineers / eds. Nelson C. E.; Pollock D. K. Lexington (Mass.): Heath Lemington Books-D. C. Heath and Co., 1970).*

¹⁴ Отсюда трудности изучения интеллектуалов, ученых или художников, которые возникают как в ходе самого исследования, так и при публикации его результатов: предлагать соблю-

дение принципа *анонимности* людям, которые в первую очередь озабочены «деланием» своего имени, означает исключить главную мотивацию их участия в исследовании (в отличие от опросов в свободной форме или интервью); в то же время не предложить анонимность означает лишить себя возможности задавать «нескромные» вопросы, т. е. вопросы объективирующие и обобщающие. Публикация результатов ставит аналогичные проблемы, поскольку анонимность позволяет сделать дискурс вразумительным и прозрачным в зависимости от степени информированности читателя (тем более что в этом случае целый ряд позиций сводится к одному элементу — имени собственному).

¹⁵ *Zuckerman H. A. Patterns of Name Ordering among Authors of Scientific Papers: A Study of Social Symbolism and its Ambiguity // American Journal of Sociology. 1968. № 74 (3). November. P. 276–291.*

¹⁶ Предлагаемая здесь модель в полной мере учитывает — не обращаясь ни к каким моральным обоснованиям — тот факт, что лауреаты уступают первое место чаще всего после получения премии и что их вклад в отмеченное премией исследование обеспечен более очевидным образом, чем то участие, которое они принимали в других коллективных исследованиях.

¹⁷ См., например: *Hargens L. L., Hagstrom W. O. Sponsored and Contest Mobility of American Academic Scientists // Sociology of Education. 1967. № 40 (1). Winter. P. 24–38.*

¹⁸ См., например: *Bourdieu P., Boltanski L., Maldidier P. La défense du corps // Information sur les sciences sociales. № 10 (1). P. 45–86.*

¹⁹ Статистический анализ показывает, например, что для всей совокупности прошлых поколений в целом возраст максимальной научной продуктивности составлял от 26 до 30 лет — у химиков, от 30 до 34 лет — у физиков и математиков, от 35 до 39 — у бактериологов, геологов и физиологов (*Lehman H. C. Age and Achievement. Princeton: Princeton University Press, 1953*).

²⁰ См.: *Reif F., Strauss A. The Impact of Rapid Discovery upon the Scientist's Career // Social Problems. 1965. Winter. P. 297–311.* Всестороннее сопоставление этой статьи, для которой физик сотрудничал с социологом, со статьей, которую писал физик несколькими годами раньше, могло бы дать исключительную информацию о том, как функционирует американская социологическая мысль. Достаточно сказать, что за «концептуализацию» (т. е. перевод концепций сообщества на жаргон дисциплины) она расплачивается тем, что полностью исключает соотнесенность с полем в его целостности и, в частности, с *системой траекторий* (или карьер), сообщающей каждой отдельной карьере ее самые важные свойства.

²¹ См.: *Glaser B. G. Variations in the Importance of Recognition in Scientist's Careers // Social Problems. 1963, № 10 (3). Winter. P. 268–276.*

²² Чтобы избежать необходимости восстанавливать весь ход доказательств, ограничусь сноской на свою статью: *Bourdieu P. Les catégories de l'entendement professoral // Actes de la recherche en sciences sociales. 1975. № 3. P. 68–93.*

²³ О том, как редакционные комитеты научных журналов (по социальным наукам) «фильтруют» материалы, см.: *Crane D. The Gate-Keepers of Science: Some Factors Affecting the Selection of Articles for Scientific Journals // American Sociologist. II. 1967. P. 195–201.* Можно предположить, что в отношении научной и литературной продукции авторы сознательно или неосознанно выбирают печатный орган в зависимости от того, как они себе представляют его «нормы». Все заставляет думать, что самоисключение хотя и менее ошутимо, однако столь же существенно, что и явное исключение (не говоря уже о воздействии, которое оказывает навязывание норм «публикуемости» материала).

²⁴ В дальнейшем будет показана та оригинальная форма, которую принимает эта упорядоченная трансмиссия научного капитала в полях, где, как в современной физике, сохранение и разрыв практические не различимы.

²⁵ *Feuer L. S. The Social Roots of Einstein's Theory of Relativity // Annales of Science. 1971. Vol. 27. September. P. 278–298; 1971. № 4. December. P. 313–314.*

²⁶ См.: *Saint-Martin M., de. Les fonctions sociales de l'enseignement scientifique // Cahiers du Centre de sociologie européenne. Paris: La Haye-Mouton, 1971. № 8.*

²⁷ *Bourdieu P., Saint-Martin M., de. Agrégation et ségrégation. Le champ des Grandes écoles et le champ du pouvoir // Actes de la recherche en sciences sociales. 1987. № 69. P. 2–50.*

²⁸ Таким механизмом, который обеспечивает контроль над отношениями с внешним миром, с мирянами, является «научная популяризация» как самопопуляризация ученого. (См.: *Boltanski L., Maldidier P. Loc. cit.*)

²⁹ Нет сомнений в том, что философия истории науки, которую предлагает Кун и согласно которой монополистическая концентрация (парадигма) чередуется с революцией, многим обязана частному случаю «коперниканской революции» в том виде, в каком он ее рассматривает и которую считает «типичной для любого другого главного переворота в науке» (*Kuhn T. La révolution copernicienne. Paris: Fayard, 1973. P. 153, 162.*): поскольку относительная автономия науки от власти и, в частности, от власти Церкви еще очень невелика, научная революция (в математической астрономии) проходит через политическую

революцию и предполагает революцию всех научных дисциплин, которая может иметь политические последствия.

³⁰ Д. Блур (как и уже процитированные выше Г. Башляр и Ф. Риф) заметил, что преобразования в социальной организации науки определили преобразование природы научных революций. (См.: *Bloor D. Essay Review: Two Paradigms for Scientific Knowledge? // Science Studies*. 1971. № 1. P. 101–115).

³¹ *Bachelard G. Le Matérialisme rationnel*. Paris: PUF, 1953. P. 41.

³² Основная цензура формируется на основе этой пошлины на вход, т. е. на основе условий доступа в научное поле и в систему образования, которая обеспечивает этот доступ. Следовало бы задаться вопросом о свойствах, которыми науки о природе (не говоря уже о науках о человеке, где по причине слабости методов самая большая свобода предоставляется габитусам) обязаны их социальному рекрутированию, т. е., грубо говоря, условиям доступа к высшему образованию (См.: *Saint Martin de M. Op. cit.*).

³³ Известно, что сами *инаугурационные революции*, которые дают жизнь новому полю, формируя с помощью разрыва новую область объективности, почти всегда возлагаются на держателей большого научного капитала, которые в силу переменных второго порядка (таких, как принадлежность к социальному классу или этносу, маловероятных для данного универсума) оказываются в положении неустойчивости, благоприятствующем революционным наклонностям: таков, например, случай входящих, которые приносят в поле капитал, накопленный в научном поле, более высоком в социальном отношении (См.: *Ben-David J. Roles and Innovation in Medicine // American Journal of Sociology*. 1960. № 65. P. 557–568; *Ben-David J., Collins R. Social factors in the Origins of a New Science: the Case of Psychology // American Sociological Review*. 1966. № 31. P. 451–465).

³⁴ Выше уже приводилось данное Ф. Рифом описание формы, которую чаще всего принимает накопление капитала при таком состоянии поля.

³⁵ Действительно, все сходится на том, что научная борьба становится все более интенсивной (несмотря на эффект специализации, который постоянно сокращает универсум конкурентов путем деления на все более узко специализированные субполя) по мере того, как наука продвигается вперед, т. е. по мере того, как растут накопленные научные ресурсы, а капитал, необходимый для осуществления открытия, все более широко и равномерно распределяется между конкурентами по причине повышения «пошлины за вход» в поле.

³⁶ Совокупность процессов, которые сопровождают автономизацию научного поля, диалектически взаимосвязаны. Так, постоянное повышение пошлины за вход, предполагающее накопление специфических ресурсов, способствует в свою очередь автономизации научного поля, устанавливая социальный разрыв с невежественным миром непосвященных. Этот разрыв носит тем более радикальный характер, что к нему как таковому и не стремятся.

³⁷ Первичный габитус, сформированный классовым воспитанием, и вторичный габитус, внушенный школьным образованием, вносят неравный вклад в дорефлективное согласие с неявными допущениями поля в случае социальных и естественных наук (о роли социализации см.: *Hagstrom W. D. P. 9; Kuhn T. S. The Function of Dogma in Scientific Research // Scientific Change / ed. Crombie A. C. London: Heineman, 1963. P. 367–369.*

³⁸ Можно представить, чем могла бы стать этнометодология (и оставалась бы она этнометодологией?), если бы она знала, что признаваемое ей в качестве объекта — *taken for granted* Шюца — есть дорефлективное согласие с установленным порядком.

³⁹ В случае поля идеологического производства (частью которого являются поля производства ученого или просвещенного дискурса) основой достижения согласия в разногласиях, которое определяет доксу, является (как мы увидим далее) подцензурное отношение поля производства в целом к полю власти (т. е. в скрытой функции поля борьбы классов).

⁴⁰ *Bachelard G. P. 216–217.*

⁴¹ Именно поэтому социальные системы классификации (таксономии), которые являются главной целью идеологической борьбы между классами (см.: *Bourdieu P., Boltanski L. Le titre et le poste: rapports entre le système de production et le système de reproduction // Actes de la recherche en sciences sociales. 1975. P. 95–107*), составляют — через представления о существовании или не-существовании социальных классов — один из главных принципов деления социологического поля (*Bourdieu P. Classes et classement. P.: Minuit. 1973. № 5. P. 22–24; Coxon A. P. A., Jones C. L. Occupational Categorization and Images of Society // Working Paper. № 4. Project on Occupational Cognition. Edinburgh: Edinburgh University Press, 1974*).

⁴² Отсюда вытекает, что социология науки (и, в частности, отношение, которое социальная наука поддерживает с доминирующим классом) представляет собой не специализацию в ряду других, но одно из условий научной социологии.

⁴³ *Gershenkron A. Economic Backwardness in Historical Perspective. Cambridge: Harvard University Press, 1962. P. 7.*

⁴⁴ Философия истории, которая неотвязно преследует эту социальную историю социальной науки, находит свое парадигматическое выражение в работе Тьерри Кларка, социологическую характеристику которой Поль Фогт выразил двумя словами: «Terry N. Clark's long-awaited, much circulated in manuscript *Prophets and Patrons*» (см.: *Clark T. Prophets and Patrons. The French University and the Emergence of the Social Science. Cambridge: Harvard University Press, 1973; Chamboredon J. C. Sociologie de la sociologie et intérêts sociaux des sociologues // Actes de la recherche en sciences sociales. 1975. № 2. P. 2–17).*

⁴⁵ Заслуга Бен-Давида заключается в том, что он смог выразить этот тезис в самой простой форме: высокий уровень соревновательности, характерный для американского университета, объясняет его более высокую производительность и большую гибкость (*Ben-David J. Scientific Productivity and Academic Organization in Nineteenth Century Medicine // American Sociological Review. 1960. № 25. P. 828–843; Fundamental Research and the Universities. Paris: OCDE, 1968; Ben-David J., Zloczower A. Universities and Academic Systems in Modern Societies // European Journal of Sociology. 1962. № 3. P. 45–84).*

⁴⁶ Еще более, чем в этой книге, основные тезисы которой не содержат ничего принципиально нового, во всяком случае для читателей Г. Башляра, нормативная интенция просматривается в двух статьях, где Т. Кун описывает позитивные для научного развития функции «конвергентного» мышления и утверждает, что догматическое согласие с традицией способствует исследованию (*Kuhn T. The Function of Dogma in Scientific Research // Scientific Change / Ed. A.C. Crombie. P. 347–369; The Essential Tension: Tradition and Innovation in Scientific Research // The Ecology of Human Intelligence / Ed. L. Hudson. London: Penguin, 1970. P. 342–359).*

⁴⁷ См., например: *Gouldner A. W. The Coming Crisis of Western Sociology. New York-London: Basic Books, 1970; Friedrichs R. W. A Sociology of Sociology. New York: Free Press, 1970.*

⁴⁸ *Gellner E. Myth, Ideology and Revolution // Protest and Discontent / Eds. Crick B., Robson W. A. London: Penguin, 1970. P. 204–220.*

⁴⁹ Такой журнал, как *Theory and Society* обязан своей сугубо социальной значимостью, позволяющей ему существовать и выживать, не имея иного положительного содержания, кроме некоего разлитого антипозитивистского гуманизма, по которому признают друг друга «социологические критики» (еще один эндогенный концепт), — тому факту, что он формирует *негативное объединение* из течений, которые находятся или мыслят себя вне американского истеблишмента: от этнометодологии,

наследницы феноменологии, через *psychohistory*, до неомарксизма (См. сводную таблицу, достаточно верно отражающую это идеологическое построение в: *Bandyapadhyav P. One Sociology or Many: Some Issues in Radical Sociology // Sociological Review. 1971. Vol. 19. February. P. 5–30*).

⁵⁰ См.: *Bourdieu P. Les doxosophes. Paris: Minuit. 1973. № 1. P. 26–45* (в частности, анализ эффекта Липсета).

⁵¹ Официальная социология науки предоставляет оправдание любой своей черты. Так, например, уклонение от фундаментальных теоретических проблем оправдывается идеей, что в естественных науках исследователи не заботятся о философии науки. (См.: *Hagstrom W. O. P. 277–279*). Без труда можно увидеть, какую цену платит такая социология науки за необходимость легитимировать фактическое состояние и превращать испытываемые ограничения в избирательные исключения.

⁵² О производстве верования или фетишизма в поле высокой моды см.: *Bourdieu P., Delsaut Y. Le couturier et sa griffe: contribution a une théorie de la magie // Actes de la recherche en sciences sociales. 1975. № 1. Janvier. P. 7–36*.

⁵³ Такие эпистемологические пары, которые одновременно являются и социологическими, функционируют в любом поле (см., например, *Positivismusstreit*, противопоставляющий Ю. Хабермаса и К. Поппера в Германии — механизм изменения направления, который, будучи апробирован в Европе, был запущен в США с переездом туда Франкфуртской школы).

⁵⁴ Стоило бы изучить все стратегические приложения, которые могут извлечь доминируемые в поле из идеологической трансфигурации их объективной позиции. Например, *парад исключения*, который позволяет исключенным извлекать пользу из институции (которую они признают в достаточной мере, чтобы упрекать ее в том, что она их не признает), превращая исключение в гарантию научности; или *оспаривание «компетенции»* господствующих, которая стоит в центре всякого еретического движения (как в случае оспаривания монополии на таинство причастия), которое тем меньше связано с научными аргументами, чем меньше объем накопленного научного капитала, и т. п.

⁵⁵ О необходимости конструирования интеллектуального поля как такового, делающего возможной социологию интеллектуалов, не сводящуюся к обмену обвинениями и проклятиями между «правыми» и «левыми интеллектуалами», см.: *Bourdieu P. Les fractions de la classe dominante et les modes d'appropriation de l'oeuvre d'art // Information sur les sciences sociales. 1974. № 13 (3). P. 7–32*.

ДЕЛО НАУКИ. КАК СОЦИАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ СОЦИАЛЬНЫХ НАУК МОЖЕТ СЛУЖИТЬ ИХ ПРОГРЕССУ*

Социальная история социальных наук — это не просто одна из многих социологических дисциплин. Она является исключительным инструментом критической рефлексии, необходимым условием коллективной и индивидуальной прозорливости. Несомненно, она может также служить злопамятству и злорадству, когда от нее ожидают лишь удовлетворения, не опасаясь ответного протеста и разоблачения, или гарантированной выгоды от защиты «правого дела», давно утратившего свою актуальность. Она получает право на существование, только если ей удастся раскрыть предпосылки, вписанные в само основание научных институтов прошлого, которые, часто в неявной форме, воспроизводятся всем научным коллективным наследием в виде проблем, понятий, методов или способов работы.

Из амнезии генезиса — почти неизбежного следствия рутинного отношения к наследству, принимающего форму дисциплинарной *доксы* — способен вывести только

* © Bourdieu P. La cause de la science. Comment l'histoire sociale des sciences sociale peut servir le progrès de ces sciences // Actes de la recherche en sciences sociales. 1995. № 106–107. P. 3–10.

анамнез, возможный благодаря исторической работе. Лишь воскрешение прошлого способно дать каждому исследователю средства понять свои самые фундаментальные теоретические пристрастия, как, например, приверженность, чаще всего неявная, тем или иным редко формулируемым положениям относительно природы человека, которые определяют важные теоретические и методические решения (когда идет речь о выборе философии действия), а также эпистемологические симпатии и антипатии по отношению к авторам, способы мышления и формы выражения. Социальная история социальных наук — самый необходимый и самый безжалостный инструмент критики страстей и интересов, которые могут скрываться за безупречной внешностью самой строгой методологии.

Привилегия социальной науки в том, что она может взять в качестве объекта исследования свое собственное функционирование и способна помочь осознать ограничения, влияющие на научную практику. Таким образом, она может пользоваться знанием и сознанием, которые у нее имеются относительно своих функций и своего функционирования, чтобы постараться избавиться от некоторых препятствий, стоящих на пути прогресса знания и сознания. Тогда, вместо того чтобы разрушать свои собственные основания, приговаривая себя к релятивизму, о чем много говорили, такая рефлексивная наука может дать основания для реальной научной политики (*Realpolitik*), направленной на обеспечение прогресса научного разума.

Двойственное положение социальной науки

Научное поле есть социальный универсум, частично автономный по отношению к потребностям глобального пространства, в который оно встроено. В определенном смысле это мир *как все остальные*, как поле экономики, например. Значит, в нем существуют отношения силы и борьбы интересов, свои коалиции и монополии, и даже свои виды империализма и национализма. Но что бы ни говорили защитники «сильной программы» в социологии науки, это одновременно и особый мир, наделенный свои-

ми собственными законами функционирования. Все свойства, которыми оно обладает наравне с другими полями, принимают в нем *специфическую форму*. Например, какой бы жесткой ни была в нем конкуренция, она подчиняется если не эксплицитным правилам, то по крайней мере автоматическим регулярностям, как те, что следуют из *взаимного контроля конкурентов*, и которые в конечном итоге конвертируют социальный интерес, такой, как желание признания, в «интерес познания», т. е. переводят это своего рода *libido dominandi*, всегда являющееся составной частью *libido sciendi*, в *libido scientifica* — чистую любовь к истине, которой логика поля, функционирующего как инстанция цензуры и принцип сублимации, приписывает свои легитимные цели и легитимные способы их достижения. Сублимированные импульсы, свойственные этому специфическому *libido*, направлены на в высшей мере очищенные объекты и в самом своем существовании и по форме удовлетворения неотделимы, несмотря на всю свою силу, от практического признания требований, вписанных в социальное функционирование поля, внутри которого они могут быть удовлетворены.

Из этого следует, что строгое качество научных продуктов существенно зависит от строгости специфических социальных принуждений, управляющих их производством; или, точнее, от уровня независимости по отношению к социальному миру, к его требованиям и ожиданиям, тех правил и регулярностей, что управляют этим социальным микрокосмом и определяют условия, в которых реализуются, обсуждаются, критикуются или транслируются научные результаты.

Положение поля социальных наук сильно отличается от положения других научных полей. Поскольку объектом социальных наук является социальный мир, и они претендуют на производство научного представления об этом мире, каждый из специалистов в этой области находится в отношениях конкуренции не только с другими учеными, но и с другими профессионалами символического производства (писателями, политиками, журналистами), и, более широко — со всеми социальными агента-

ми, стремящимися с помощью различных символических средств и с разными шансами на успех навязать свое видение социального мира (используя средства, имеющие своим источником сплетни, оскорбления, злословие или клевету, вплоть до пасквилей, памфлетов или публичных выступлений, не говоря уже о таких коллективных и институционализированных формах выражения мнения, как голосование). Это одна из причин того, что социальная наука не может столь же легко, как другие науки, получить признание на монополию легитимного дискурса о своем объекте, на которое претендует по определению, если хочет быть наукой. Ее внешние конкуренты, так же как иногда и внутренние, всегда могут апеллировать к здравому смыслу, в противовес которому конструируется научное представление о мире. Они могут даже взывать к такому методу оценки, как общественное мнение, что свойственно политике (особенно когда поле политики теряет свою автономию из-за популистской демагогии, создающей видимость того, что каждый имеет власть и право судить обо всем).

Таким образом, с точки зрения уровня автономии по отношению к внешним принуждениям, общественным или частным, социальная наука балансирует между двумя полюсами. С одной стороны, это наиболее «чистые» научные дисциплины, такие как математика, где конкуренты являются единственно возможными клиентами производителей этого поля (которые, имея такие же способности и интересы, что и производители, согласны признавать их продукты только после тщательной проверки). С другой стороны — это поле политики, религии или даже журналистики, где мнение специалистов все чаще и чаще подчиняется вердикту «количества», принимающему самые разные формы, будь то плебисцит, опрос, уровень продаж или аудимат¹, и где за неспециалистами признается

¹ Аудимат (от фр. *audimat*) — автоматическая система измерения аудитории некоторого теле- или радиоканала. Происходит от двух слов: *audi(mètre)* — аппарат, используемый для измерения распределения времени аудитории между несколькими

способность осуществлять выбор между продуктами, которые они не всегда в состоянии оценить (и еще менее — произвести).

Итак, мы имеем две совершенно разные логики. С одной стороны — это логика поля политики, где сила идей всегда частично зависит от силы групп, которые их считают верными. С другой — логика поля науки, которое, в своем самом «чистом» состоянии, не знает и не признает ничего, кроме «внутренней силы истинной идеи», как говорил Спиноза: научные споры не решаются с помощью физического столкновения, политического решения или голосованием, сила аргументации, особенно когда поле сильно интернационализировано, в большей мере зависит от того, насколько положения или процедуры согласуются с логическими правилами и соответствуют фактам. И наоборот, в поле политики побеждают положения, которые Аристотель в «Топике» называет *эндоксическими*: это положения, с которыми обязаны считаться потому, что люди, с которыми считаются, хотели бы, чтобы они были истинными; а также потому, что они являются частью *доксы*, здравого смысла и обыденного восприятия, т. е. того, что наиболее распространено и чаще всего разделяется, и поэтому логика количества работает в их пользу. Благодаря этому, подобные «сильные идеи» способны получить признание, поскольку опираются на силу группы, хотя и могут совершенно противоречить логике и опыту. Поэтому они не являются ни истинными, ни даже вероятными, но одобряемыми, в этимологическом смысле слова¹, т. е. способными получить максимальное согласие и бурные аплодисменты.¹

каналами радио или телевидения; и (auto)mat(ique) — автоматический. — *Прим. перев.*

¹ Во французском тексте используется слово *plausible*, переводимое на русский как «допустимый, правдоподобный». Происходит от лат. *plausibilis* — достойный аплодисментов. — *Прим. перев.*

Два принципа иерархизации

Из этого следует, что производители поля социальных наук, как и поля литературы, где идет борьба между «чистым» и «коммерческим», имеют возможность обращаться к одному из двух противоположных принципов иерархизации и легитимации — научному или политическому, которые в нем противостоят, не имея возможности навязать свое абсолютное господство. Так, например, в отличие от наиболее автономных научных полей (где сегодня никому не придет в голову отрицать вращение Земли), здесь могут продолжать существовать и даже процветать логически несостоятельные или несовместимые с фактами положения, так же как могут процветать и те, кто их защищает, при условии, что они наделены как внутри, так и вне поля социальным авторитетом, способным компенсировать их недостатки или слабости. Это же верно и для научных проблем, понятий и таксономий: некоторые исследователи могут, например, переводить *социальные* проблемы в проблемы *социологические*, вводить в научный дискурс понятия (*profession*, роль и др.) или таксономии (индивидуальный/ коллективный, *achievement/ ascription* и др.), взятые непосредственно из обыденного языка, и использовать в качестве инструментов анализа термины, которые сами должны быть исследованы.

Поэтому необходимо понять социальные механизмы, присутствующие даже в самых автономных научных полях, которые препятствуют установлению научного *logos'a* в качестве единственного критерия оценки научных практик и их продуктов. Общим источником всех этих препятствий для установления научной автономии и безграничного доминирования научного принципа оценивания и иерархизации является система факторов, способных помешать игре *свободной конкуренции равных*, т. е. тех, кто обладает некоторым необходимым набором минимальных навыков, коллективно достигнутых в рамках социальной науки и являющихся условием участия в собственно научных дебатах. Другими словами, это факторы, допускающие в игру либо в качестве игроков, либо в

качестве судей (например, в виде журналистской критики) чужаков, лишенных этой компетенции и склонных вводить внешние по отношению к полю нормы производства и оценивания, такие, как здравый смысл и «здравомыслие».

Таким образом, конфликты, имеющие место в социальных науках (на которые иногда ссылаются, чтобы отказать им в научном статусе), могут относиться к двум совершенно разным категориям. В первом случае собственно научных конфликтов те, кто усвоил коллективные достижения своей науки, вступают в противоборство в соответствии с логикой, отвечающей проблематике и методологии, которые напрямую следуют из научного наследия, объединяющего их даже в борьбе за его сохранение или преодоление. Причем их преданность этому наследию проявляется именно в виде накопленных разрывов с ним, возможность и необходимость которых вписаны в само это наследство. Их столкновения принимают форму регулируемой дискуссии, в которой относительно *явным образом* определенной проблематики используются точно очерченные понятия и однозначные методы проверки. Во втором случае политических конфликтов, имеющих научное измерение (конфликтов, несомненно, социально неизбежных и поддающихся анализу), научно вооруженные производители вынуждены сражаться с производителями, которые в силу разных причин, таких, как старение, недостаток образования или незнание минимальных требований ремесла исследователя, лишены специфических инструментов производства, оказываются ближе к ожиданиям профанов и одновременно имеют больше шансов их удовлетворить. Это является основанием согласия, которое спонтанно устанавливается между некоторыми исследователями, теряющими былую силу, деклассированными или обделенными, и некоторыми журналистами, которые, не понимая специфической проблематики, сводят различия в компетенции к различиям точек зрения (политических, религиозных и т. п.), которые способны взаимно релятивизироваться.²

Политический консенсус и научный конфликт

В чисто научном конфликте социальный запрет не может ничего исключить из дискуссии, ни один объект, ни одну теорию. Это не значит, что исключительно социальное оружие, аргумент авторитета или даже просто университетская власть полностью исключены, по праву или фактически, из пространства средств, пригодных для дискуссии. Из этого следует, что, несмотря на внешнее сходство, *working consensus* академической ортодоксии очень далек от этой своего рода войны всех против всех, которая в действительности тщательно регулируется, когда речь заходит о выборе легитимного оружия и легитимных ударов. Именно такую ортодоксию пытались установить американские социологи в 60-е годы, и, в некоторой мере, французские защитники «Новой истории», используя исключительно социальную власть, в первую очередь институты образования, официальные издания, профессиональные ассоциации и даже доступ к ресурсам, необходимым для эмпирических исследований.

Не стоит видеть в этой этической и политической индифферентности консерватизма хорошего воспитания, которая может переживаться как «объективное» безразличие «беспристрастного наблюдателя» или как «ценностная нейтральность», единственный принцип, определяющий теоретические конструкции. Тем не менее, она может осознать себя и реализоваться только в теоретических и методологических построениях, гарантирующих уважение к некоему слабо уловимому консенсусу социального мира. Более широко, эта индифферентность может осуществиться в любом виде дискурса, который в силу своего формализма способен говорить о социальном мире, отрицая его, т. е. так, как будто о нем и не говорят, или в исследованиях, которые благодаря позитивистской установке стремятся научиться измерять без проблем «данные» так, как они себя представляют.³

Именно это американские социологи стремились найти в теориях Парсонса и Мертона и в методологии Лазарсфельда — унифицированный корпус теоретических положений, способный дать основание для *communis doc-*

totum opinio структурированного корпуса «профессионалов», который имитирует консенсус «научного сообщества», т. е. то, что мы считаем главной характеристикой науки, достойной этого имени.⁴ В действительности, неявное одобрение набора необсуждаемых предпосылок, на которых покоится авторитет корпуса докторов, теологов и юристов, а также историков (особенно историков литературы, искусства и философии, которые не очень склонны подвергать историческому анализу набор своих текстов, т. е. изучать их производство), является антиподом явного согласия относительно объектов и ставок разногласий, относительно методов и процедур, которые можно использовать, чтобы примирить эти разногласия.

В действительности, *working consensus* ортодоксии, основанной на социальном пособничестве докторов, стремится проводить социальную цензуру (облаченную в одежды научного контроля) либо напрямую, в виде запретов, иногда эксплицитных, когда речь идет о публикациях и цитировании, либо в более завуалированной форме, через процедуры рекрутирования, которые, функционируя как сеть или лобби и таким образом выдвигающие на первое место социальные критерии более или менее замаскированные под научные или академические, стремятся закрепить определенные позиции, важные для производства и, следовательно, для научной конкуренции, за некоторыми категориями агентов, определяемыми совершенно социально: обладание престижным дипломом, занятие некоторых социальных позиций в образовании или в исследовательском мире, или, наоборот, *a priori* исключая другие категории, например, женщин, молодежь или иностранцев.⁵

И хотя глубокие трансформации, произошедшие в социальных науках, особенно — значительный рост числа тех, кто ими занимается, несомненно, сыграли серьезную роль в деле падения ортодоксии, они не настолько однозначны⁶: освободительные последствия формирования нескольких конкурирующих принципов видения и, как следствие, интенсификации собственно научной конкуренции сопровождались как усилением гетерогенных факторов, связанных с ростом распыленности «специалистов», что

ослабляет регулируемую дискуссию между равными, так и усилением открытости по отношению к внешнему давлению, просьбам и предписаниям, к которым, как и в любом поле, особенно чувствительны те, кто обладает наименьшими капиталами⁷.

Короче, хотя иерархизированная и искусственно унифицированная система 50-х годов уступила место, как говорит Беккер, системе «полицентричной», которую труднее контролировать, поскольку она раздроблена и более разнородна, способ функционирования поля социальных наук, как в Соединенных Штатах, так и во Франции, все еще далек от состояния развитой науки и ближе к художественному полю периода эмансипации от академического покровительства, где противники могут доходить до того, чтобы отказывать друг другу в праве на существование.⁸ По крайней мере, во Франции специалистам в области социальных наук продолжают навязывать (особенно в виде потребности во «властителях дум») либо литературную модель индивидуального и оригинального «творца», свободного от любых связей с группой или школой, либо нормы постоянного обновления и определенного шика, свойственные миру высокой моды.

В силу слабости механизмов, способных навязать участникам минимум взаимного признания, или подчинение своего рода законам войны, что ведет к тем же последствиям, столкновение между различными традициями все еще часто принимает форму тотальной войны (Рэндалл Коллинз называет ее *«wars of metatheories»*), где допустимы любые виды оружия, идет ли речь о презрении, позволяющем экономить на дискуссиях и обоснованных опровержениях, или об ударах, использующих социальные механизмы (такие, как сокращение финансирования или постов, цензура, клевета, обращение к журналистскому влиянию и т. д.).

Двойственные эффекты интернационализации

Каковы механизмы, которые могли бы способствовать освобождению научной иерархии от влияния на нее иерархии социальной? Что нужно делать, чтобы уничто-

жить или ослабить двойственность принципов иерархии, которая, как было показано на примере Франции, не допускает наиболее научно признанных внутри страны и за границей исследователей до позиций, влияющих на воспроизводство корпуса преподавателей и ученых и, как следствие, на будущее поля и его автономию?" Каковы социальные силы и механизмы, на которые могли бы опираться индивидуальные и особенно коллективные научные стратегии, стремящиеся к действительному установлению *универсального спора*, являющегося условием прогресса универсального, между исследователями, которые лучше всех наделены наиболее универсальными для данного момента инструментами?

Несомненно, наиболее эффективным средством прогресса научной автономии могла бы стать действительная интернационализация поля социальных наук. На самом деле, давление социального заказа или других социальных принуждений реализуется главным образом на национальном уровне в виде различных материальных и символических стимулов и заказов, присутствующих в национальном пространстве: поскольку множество социальных механизмов (журналистских, университетских, политических и др.), вмешивающихся и вносящих посторонние элементы в научную борьбу, существуют и поддерживаются только на национальном уровне (общая оппозиция, которая наблюдается во всех научно-университетских полях, устанавливается между «националистами», обладающими властью над воспроизводством корпуса, и «интернационалистами»), то большинство фиктивных оппозиций, разделяющих исследователей, связаны с местными различиями или специфической локальной формой более общих различий.

Это означает, что поле социальных наук всегда было интернациональным, но чаще в его худшем варианте. Во-первых, потому что даже в самых чистых науках, где существует, например, квазимонопольная концентрация инстанций публикаций и посвящения, международное поле может быть местом, где также проявляются феномены доминирования, и даже специфические формы империализма. Во-вторых, потому что обмены, и особенно заимство-

вания, реализуются по принципу структурных гомологий между позициями, занимаемыми агентами в различных национальных полях, т. е. почти исключительно либо между господствующими, либо между подчиненными (со схожими процессами непонимания и искажения внутри этих подпространств). Все это заставляет думать, что социальные механизмы, препятствующие всеобщему свободному обмену, только усиливаются в результате своего рода институционализации политически фундированных различий.

В 50-е годы некоторые временно доминирующие социологи сумели создать невидимый интернационал, основанный на сходствах, существующих больше в силу причин социальных, чем интеллектуальных, и составляющих основу ортодоксии. Сегодня, вследствие студенческого движения конца 60-х годов и коллективного травматизма, вызванного им у целого поколения профессоров от Беркли до Берлина, прежде неформальные связи трансформировались в сети, организованные вокруг фондов, журналов, ассоциаций, и консерватизм хорошего воспитания этих хранителей ортодоксии уступил место открытым заявлениям и ультраманифестам настоящего реакционно-го интернационала.¹⁰

Новым в этой ситуации является то, что существует, но в виртуальном и неорганизованном состоянии, интернационал *аутсайдеров*, состоящий из всех тех, кого объединяет их маргинальность по отношению к господствующему течению, как это происходит с этническими и сексуальными меньшинствами. Эти «маргиналы», часто являющиеся новичками, вносят в поле разрушительные и критические диспозиции, никогда не подвергающиеся достаточной научной критике, которые толкают их к разрыву с рутинной академического *истеблишмента*. В своей борьбе против ортодоксии или того, что ее заменяет в том или ином случае, они часто заимствуют оружие у иностранных научных течений, способствуя, таким образом, интернационализации поля социальных наук.¹¹ Однако интересы, связанные с позицией, занимаемой в поле рецепции, оказываются основанием ошибок при выборе и восприятии заимствований, поскольку они сами структурирова-

ны в соответствии с категориями восприятия и оценивания, порожденными некоторой национальной традицией, и часто поэтому совершенно неадекватны. (В силу того, что произведения циркулируют независимо от своего контекста, работы, принимающие свой смысл по отношению к определенному пространству точек зрения, будут восприняты сквозь призму категорий восприятия, сконструированных по отношению к совсем другому пространству, структурированному вокруг других имен собственных, других «-измов» или, напротив, тех же понятий, которые, однако, имеют совсем другие смыслы, и т. д.)

Это означает, что вместо того, чтобы автоматически способствовать движению к высшему уровню универсализации, эволюция интернационального поля социальных наук в сторону большего единства, особенно через интернационализацию борьбы, местом которой оно является, может всего лишь способствовать распространению в мировом масштабе пар фиктивных оппозиций, глубоко пагубных для прогресса науки (я использую выражение «мировой», чтобы не обращаться к исключительно порочному слову «глобализация»): таких, как качественные и количественные методы, макро и микро, структурный и исторический, оппозиции между герменевтическим или интерналистским подходом («текстом») и экстерналистским («контекстом»), между объективистским видением, часто ассоциируемым с использованием статистики, и субъективистским, интеракционистским или этнометодологическим; или, точнее, между объективистским структурализмом, направленным на определение объективных структур с помощью более или менее сложных количественных техник (*path analysis*, *network analysis*, и т. д.), и всеми формами конструктивизма, которые от Блюмера до Гарфинкеля, не забывая Гоффмана, стремились уловить с помощью различных так называемых качественных методов представления о социальном мире, имеющиеся у агентов, и тот вклад, который они вносят в их конструирование; не говоря уже об оппозиции, принимающей особенно драматическую форму в Соединенных Штатах, между «эмпирией», часто занимающейся микроскопическими проблемами и избегающей фундаментальных во-

просов, и «теорией», считающейся особой специально-стью и чаще всего сводящейся к компиляциям и комментариям канонических авторов или к школярным *trend reports* по поводу плохо прочитанных и плохо переваренных работ.

Если бы международные институты являлись настоящим инструментом научной рационализации, которым они могли бы и должны были бы быть, то они бы способствовали проведению международного исследования (по крайней мере, на уровне объекта) относительно социальных оснований (пол, возраст, социальное происхождение, школьная траектория, положение в университетской иерархии, специфическая техническая компетенция и т. п.), влияющих на «выбор» между двумя полюсами различных «теоретических» и «методологических» оппозиций, которые, с точки зрения науки, производят совершенно искусственные деления среди исследователей. Этот анализ несомненно показал бы (в данном случае не рискованно выдвинуть такую гипотезу), что большинство этих оппозиций основаны только на социальных различиях, существующих в поле социальных наук и выражающих, в более или менее превращенной форме, внешние оппозиции. Причем я думаю, что у меня очень мало шансов быть услышанным руководителями этих институтов (и я почти не рискую ошибиться): зачем бы они стали беспокоиться о том, чтобы наделить эти инстанции действительными функциями, если они им кажутся достаточно обоснованными уже в силу того, что обосновывают их собственное существование? И все-таки разумно надеяться, что однажды рассерженный молодой исследователь возьмется за проект, который спустит на землю, изучив страсти и интересы, ассоциированные с различными позициями поля, так называемые «теоретические» или «эпистемологические» точки зрения по поводу главных оппозиции своего времени, на которые, в прямом или превращенном виде, исследователи проецируют свои недостатки, связанные с их научной конечностью, как люди на Бога у Фейрабаха.

Эта критика социальных оппозиций, загроможденных под эпистемологические, является действительно труд-

ной и рискованной еще из-за того, что, рассматривая такие парные термины (например, макро/микро) с точки зрения социальной дифференциации, можно увидеть, что они редко рядоположены, и один из полюсов всегда больше отражает позицию социально и часто научно подчиненных как в поле (особенно через социальные характеристики тех, кто их защищает), так и вне его, хотя о последнем судить значительно труднее. Так что исключительно научное решение отказаться от восприятия их как альтернативных может быть воспринято как результат своего рода консервативного равнодушия. Тем не менее ничто так не противоречит прогрессу автономной социальной науки, как искушение популизма: тот, кто верит, что «служит делу» подчиненных (например, сегодня в Соединенных Штатах это по преимуществу дело сексуальных или этнических меньшинств), или во Франции 70-х годов — «делу народа», и при этом отказывается от научной строгости иногда из-за ее элитистского характера, или еще более наивно, из-за ее связи с консервативными обязательствами, в действительности не служат тому, что, по их мнению, они защищают, поскольку такая защита тесно связана, по крайней мере, в той ее части, что касается именно исследователя, с *делом науки*.

Редукция к «политике» — то, к чему приводит незнание специфической логики научных полей, — означает отречение, если не сказать измену: свести исследователя к роли простого активиста, не имеющего других целей и средств, чем обычный политик, значит отказать ему в его специфике как ученого, способного предоставить незаменимое оружие науки для достижения преследуемых целей; а также, помимо всего прочего, способного дать инструменты для понимания границ, накладываемых на критику и действия активистов социально детерминированными диспозициями самих активистов. Эта критика часто сводится к простой инверсии точки зрения доминирующих и поэтому легко обратима, что доказывает столько биографических траекторий.¹²

Но при этом стоит иметь в виду, что протестные или даже революционные диспозиции, вносимые в поле некоторыми исследователями и, как можно было бы надеять-

ся, автоматически ведущие к критическому разрыву с *доксой* и ортодоксией, могут также приводить к подчинению внешним давлениям и предписаниям, среди которых самыми очевидными являются политические лозунги. Эти диспозиции могут произвести действительно специфическую революцию только при условии, что они сочетаются с усвоением исторических достижений поля (в сильно автономном научном поле революционеры с необходимостью специфические капиталисты): знание и осознание возможного и невозможного, вписанного в пространство возможностей, приводит к тому, что это пространство действует одновременно и как система ограничений и цензуры, заставляющая переводить разрушительный порыв в научный разрыв, и как матрица всех решений, которые в определенный момент времени могут быть классифицированы как научные, и только эти и никакие другие.

За программу «Realpolitik» в науке

Таким образом, несомненной заслугой критики ортодоксальных взглядов и основных принципов видения и деления является то, что она разрушает фиктивный консенсус, подавляющий дискуссии, хотя, с другой стороны, может приводить к делению на антагонистические группы, участники которых твердо убеждены в абсолютном превосходстве их точки зрения, что тоже недопустимо. Поэтому необходимо работать над созданием инстанций, способных противостоять тенденциям раскола, вписанным в ситуацию множественности точек зрения, создавая условия для дискуссий в логике рефлексивности. Точка зрения, которая воспринимается как таковая, т. е. как вид, открывающийся с определенной точки или позиции в поле, способна преодолеть свою частичность; например, когда в дискуссию вводится представление о социальных основаниях различий точек зрения.

Однако реального прогресса научного разума в социальных науках можно достигнуть не только в виде эпистемологического предсказания, даже вооруженного рефлексивной социологией поля научного производства, но также в виде трансформации всей организации научного

производства и обращения, в частности форм обмена, в ходе которых и посредством которых реализуется логический контроль. Именно здесь может применяться *Realpolitik* разума, вооруженного рациональным знанием социальных механизмов, действующих в поле социальных наук как на национальном, так и интернациональном уровне.

Подобная политика может иметь своей целью усиление всех механизмов, способствующих унификации мирового поля науки (создавая условия для научной циркуляции); а также подрывающих господство существующих форм теоретического и методологического (или лингвистического) империализма; и с помощью систематического использования сравнительного метода, и, особенно, сравнительной истории национальных историй различных дисциплин, борющихся с засильем национальных и националистических традиций, часто переводимых в деления по специальностям и теоретическим и методологическим традициям, или в проблематику, навязанную особенностями или партикуляризмом с неизбежностью провинциального социального мира.

Что бы ни думал Хабермас, но трансисторические универсалии коммуникации не существуют; хотя бесспорно существуют социально установленные формы коммуникации, способствующие производству универсального. Логика встроена в само социальное отношение регулируемой дискуссии, базирующейся на топике и диалектике. Основания (*topoi*) есть видимое проявление общности проблематики, понимаемое как согласие относительно областей разногласия, которое необходимо, чтобы иметь возможность для дискуссии (вместо того, чтобы вести несколько параллельных монологов). Именно такое пространство игры необходимо сконструировать, но не на базе моральных предписаний и обвинений, а создавая социальные условия рационального спора, направленного на установление в международном масштабе не ортодоксального *working consensus*, основанного на общности властных интересов, и если уж не рациональной аксиоматической коммуны, то, по крайней мере, своего рода *working dissensus*, основанный на критическом признании

того, что научно (а не социально) установлено как совместимое или несовместимое. Это пространство игры есть пространство свободы, которое социальная наука может создать сама для себя, смело стараясь познать социальные условия, влияющие на ее функционирование, и стремясь установить технические и социальные процедуры, позволяющие эффективно, т. е. *коллективно*, контролировать эти условия.

Примечания

¹ Двойственность некоторых публичных дискуссий, претендующих на статус научных, неожиданно проявляется, когда публика выходит из своей пассивной роли, которая ей обычно приписывается, чтобы продемонстрировать свое одобрение тому или иному дискуссанта в виде более или менее продолжительных аплодисментов. И наоборот, какую жестокую, тираническую (в смысле Паскаля) реакцию профанов вызывает факт, когда один из участников обращается к риторической процедуре, которую Шопенгауэр считал примером вероломства, состоящую в использовании аргумента, на который противник может ответить, лишь используя аргументы, непонятные для слушателей.

² Два принципа дифференциации не являются совершенно независимыми: конформистские установки, заставляющие принимать мир таким, каков он есть, и установки упрямства и непокорности, ведущие к неприятию внутренних и особенно внешних социальных принуждений и к разрыву с очевидными представлениями, разделяемыми всеми в поле и вне него, естественно, распределены не случайным образом между агентами, занимающими различные позиции в поле, и между траекториями, которые их к этим позициям привели.

³ Можно было бы показать, что неоклассическая экономика демонстрирует некоторые основные характеристики ортодоксии, имитирующей научность (причем с очень специфической эффективностью, которой она добивается благодаря математическому формализму). Например, неявное принятие предпосылок, не подвергающихся сомнению, относительно некоторых совершенно фундаментальных положений, таких как теория действия.

⁴ Например, теорию профессий [profession], в том ее виде, как она представлена в статье, написанной Парсонсом для «The International Encyclopedia of Social Sciences» (1968, P. 536–546),

можно понимать как профессиональное кредо [*profession de foi professionnelle*] тех «профессионалов», которые хотят быть институционализированными социологами. Согласно Парсонсу, профессионалы, характеризующиеся через свое интеллектуальное образование и авторитет, который больше опирается на экспертизу, а не на политическую власть, свободны от любой зависимости по отношению к государству и его бюрократии и действуют, заботясь исключительно о *common good*. Те же *collectivity-orientation*, «незаинтересованность» и «альтруизм», способные, как указывают большинство определений понятия профессии, гарантировать профессионалам максимальное материальное и символическое вознаграждение, можно найти в представлениях Мертоня о научном сообществе. Короче говоря, предконструированное понятие профессии, этот концептуальный *ready made*, давший жизнь бесчисленным комментариям и критическим статьям, есть не столько описание социальной реальности, сколько практический вклад в конструировании социологии как профессии [*profession*] и ее научного кредо [*profession*].

⁵ Те, кто во имя либерализма осуществляют действия, достойные самых авторитарных режимов, были бы первыми, кто стал бы разоблачать как «тоталитаризм» любое разоблачение практик, о которых пойдет речь. Не имея возможности привести в качестве примера случаи из французской жизни, здесь было бы необходимо процитировать весь отрывок известной речи о «призвании и профессии ученого», где Макс Вебер ставит вопрос, обычно оставляемый для частных разговоров: почему университеты и исследовательские институты никогда ни отбирают лучших? Отрицая попытки вменить индивидам, в данном случае «маленьким людям факультетов и министерств», ответственность за то, что «такое большое число посредственностей несомненно оказывает влияние в университетах», он предлагает искать основания такого состояния вещей «в самих законах согласованных действий людей», которые при выборе папы или американского президента почти всегда приводят к выбору «кандидата номер два или три». И он иронично заканчивает: «Поэтому удивительно не то, что в таких условиях происходят ошибки, а то, что [...] несмотря на все обстоятельства мы можем констатировать довольно значительное число справедливых назначений» (*M. Weber. Le Savant et la Politique. Paris: Plon, 1959. P. 66–67*).

⁶ Говард С. Беккер в своей книге «*Doing Things Together*» (Evanston, Northwestern University Press, 1986. P. 209) в главе «*What's Happening to Sociology?*» указывает, что число социоло-

гов, зарегистрированных Американской социологической ассоциацией, выросло с 2 364 в 1950 году до 15 567 в 1978 году. То же верно и для Франции. За тот же период их число возросло примерно с 200 до 1000 (Социологическая ассоциация, использующая очень широкое определение, насчитывает в общественном и частном секторе 1 678 социологов). Если обратиться к более точным цифрам, то в 1949 году CNRS (Национальный центр научных исследований) насчитывал всего лишь восемнадцать социологов; в 1967 их уже было 112 в CNRS, 135 в Практической школе высших исследований и 290 в частных исследовательских центрах, или в сумме более 500 человек; в 1980 году 261 социолог был зарегистрирован только в CNRS.

⁷ Морфологические изменения, связанные с фактической или юридической отменой ограничений на занятие некоторыми профессиями, которые защищают корпус, гарантируя редкость его представителей, часто оказываются непосредственной причиной трансформаций различных полей культурного производства. В любом случае, они являются специфическим посредником, с помощью которого действуют экономические и социальные изменения. Кроме того, форма, которую они принимают, интенсивность, с которой они реализуются, и эффекты, которые они производят, сами зависят от состояния структуры поля, где они происходят. Поэтому необходимо отказаться, понимая это как типичный пример ошибки короткого замыкания, от объяснений, которые устанавливают прямую зависимость между изменениями, произошедшими в некотором специфическом поле, таком, например, как социология, и глобальными изменениями, как, например, рост благосостояния, после Второй мировой войны (Wiley N. *The Current Interregnum in American Sociology // Social Research*. Vol. 52. 1. Spring 1985. P. 179–207, особенно P. 183). Другой пример — объяснение изменений в социологии и истории, имевших место во Франции и Германии в 70-е годы, через изменение политического климата в 68 году, т. е. через изменения, которые сами связаны с морфологическими трансформациями в различных полях специализированного производства и с интеллектуальными инновациями, возникшими благодаря или ставшими возможными в результате этих трансформаций.

⁸ «Количественники с гордостью указывают на свою “математическую революцию” и высокий уровень достижений в вопросах статистических методов и иногда одинаково презирают всех остальных специалистов — явно смехотворное и абсурдное меньшинство качественников. С уверенностью, происходя-

шей от того, что им больше не грозит "каменный мешок", социологи-марксисты отвергают "позитивизм" как отголосок ушедшей исторической эпохи. Исторические социологи (которые при этом могут быть и марксистами) отстаивают уникальность исторических конфигураций и необходимость помещения каждого объекта на свое истинное место в ряду совершенно специфических исторических событий. Этнометодологи отвергают "макросоциологию" как болтовню, лишенную всяких доказательств. А специфическая форма гуманистического парижского феноменологического структурализма и другие "позиции" с большим философским изяществом (и изрядной долей презрения к своим философски неграмотным соперникам) доказывают, что только их метод позволяет адекватно понять социальный мир» (*Collins R. Is 1980s Sociology in the Doldrums? // American Journal of Sociology. Vol. 91. 6. May 1986. P. 1336–1355, особенно P. 1341*).

⁹ *Bourdieu P. Homo Academicus. Paris: Ed. de Minuit, 1988.*

¹⁰ Эти сети формируются на базе взаимных услуг (приглашения, отчеты, финансирование), которые приводят к тому, что обращение к международному мнению, особенно в вопросах кооптации, не всегда является гарантией универсальности.

¹¹ В общем виде импорт идей служит лучшим оружием во внутренних национальных конфликтах, особенно когда речь идет о том, чтобы дискредитировать устоявшуюся позицию или поддержать новую и ускорить всегда трудный процесс начального накопления, т. е. разрушить действующую социальную иерархию и навязать новые законы ценообразования (известно, например, как в полемике реальные или мнимые «космополиты» могут использовать идею национального «отставания»).

¹² Очень показательны, что Фуко, ставший, по крайней мере в Соединенных Штатах, святым покровителем (а не властителем дум), к которому неизменно зывают все субверсивные движения, подвергся такой редукции со стороны проповедников реставрации (см.: *James Miller. The Passion of Michel Foucault. New York: Simon and Schuster, 1993*, а также критические замечания по этому поводу, сделанные Дидье Эрибоном в *Didier Eribon. Michel Foucault et ses contemporains. Paris: Fayard, 1994, P. 22–30*). Но сводя все работы Фуко к его гомосексуальности, они лишь переворачивают позицию тех, кто стремится его канонизировать, только потому что он был гомосексуалистом (см.: *David Halperin, Saint Foucault. Two Essays in Gay Hagiography. Oxford: Oxford University Press, 1995*).

СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ ЦИРКУЛЯЦИИ ИДЕЙ*

Сегодня я предлагаю вам некоторые размышления, которыми хотелось бы заменить ритуальные приветствия француско-немецкой дружбы с обязательными экивоками на идентичность и самобытность. Думаю, что в дружбе, как и всюду, здравомыслие не отрицает привязанности, скорее даже наоборот. Мне хотелось бы поразмышлять о социальных условиях международной циркуляции идей или, пользуясь экономической терминологией, которая всегда дает эффект разрыва, о том, что можно назвать интеллектуальным импортом-экспортом. Попробую описать если не законы — я еще недостаточно поработал, чтобы говорить таким претенциозным образом, — то тенденции такого рода международных обменов, которые мы привычно описываем на языке скорее мистики, чем разума. Короче говоря, я попытаюсь сегодня представить программу исследования международных отношений в области культуры.

Прежде всего можно было бы обратиться к истории отношений Франции и Германии после Второй мировой войны, а точнее, к той работе, которая была проделана, в

* © Bourdieu P. Les conditions sociales de la circulation internationale des idées // Actes de la recherche en sciences sociales. 2002. № 149. P. 3–8. Запись выступления на открытии Французского центра в Университете Фрайбурга 30 октября 1989 г. (Romanistische Zeitschrift für Literaturgeschichte // Cahier d'Histoire des Littératures Romanes, 14^e année, 1–2. P. 1–10.)

особенности на уровне поля политики, чтобы содействовать развитию общения и понимания между двумя странами. Здесь потребовался бы бескомпромиссный исторический анализ символической работы, необходимый для очищения — по крайней мере в отношении определенной части населения — от фантазмов прошлого. Помимо официальной работы официальных инстанций в ее символическом и практическом плане, следует проанализировать различного рода действия, которые могли способствовать изменению отношений между французами и немцами в аспекте их социального разнообразия. Например, можно в рамках изучения интеллектуального поля описать этапы работы по коллективной конверсии, где со стороны французских интеллектуалов будет наблюдаться вначале примирение, а затем очарование «немецким чудом», кончая сегодняшней фазой амбивалентного восхищения, выражающейся в некоторого рода волюнтаристской европеизации, с помощью которой многие «рабочие одиннадцатого часа»¹ пытаются найти замену их почившему в бозе национализму. Но вы, конечно, понимаете, что я не собираюсь довольствоваться подобным поверхностным и беглым рассмотрением.

Что же мы можем сегодня сделать, если по-настоящему хотим способствовать интернационализации интеллектуальной жизни? Часто считают, что интеллектуальная жизнь интернациональна «по определению». Нет ничего более ошибочного. В интеллектуальной жизни, как и любом другом социальном пространстве, находят свое место национализм и империализм, а интеллектуалы — практически так же, как и все, — распространяют предрассудки, стереотипы, общепринятые мнения и представления, очень поверхностные и элементарные, которые питаются случаями из обыденной жизни, недопониманием, недоразумениями и обидами (например, обидой, какую может нанести нарциссизму известного в своей стране человека факт быть неизвестным в другой стране). Все это застав-

¹ Здесь П. Бурдьё обращается к евангельской параболе (св. Матфей), выражающей милость божью к тем, кто поздно обратился в истинную веру. — *Прим. перев.*

ляет меня думать, что установление истинного научного интернационализма, который, на мой взгляд, есть начало интернационализма вообще, не может происходить без специальных усилий. Будь то область культуры или какая-то другая область, я не верю в *laisser-faire*. Я хочу показать, как в международных обменах логика *laisser-faire* часто приводит к тому, что начинает циркулировать самое плохое, а самое хорошее не может войти в оборот. В этом вопросе, как и в других, мной движет сциентистская убежденность, которая сегодня не в моде, ведь «все мы постмодернисты»... Она приводит меня к мысли, что если нам известны социальные механизмы, то хотя это и не дает нам возможности ими полностью управлять, зато немного увеличивает наши шансы влиять на них, особенно в том случае, когда их действие основано на незнании. Существует самостоятельная сила познания, которая в определенной мере может разрушить это не(при)знание. Я говорю «в определенной мере», поскольку «присущая истинным идеям сила» наталкивается на сопротивление, связанное с интересами, предрассудками и страстями. Эта сциентистская убежденность склоняет меня к мысли о важности создания европейской научной исследовательской программы по европейским научным связям. Я считаю, что сейчас место и время говорить об этом, поскольку знаю, благодаря текстам Йозефа Юрта¹¹ и его коллег, что одна из целей открываемого сегодня Центра состоит именно во взаимопознании наших двух стран, двух традиций. Мне хотелось бы внести свой вклад в достижение этой цели, показав — весьма скромно, — как мне видится это предприятие, и что я бы сделал, если бы оно было возложено на меня.

Международные обмены подчиняются определенному числу структурных факторов, порождающих недопонимания. Первый фактор: тексты циркулируют вне своего контекста. Это положение сформулировал мимоходом Маркс в «Манифесте Коммунистической партии», где не принято искать теорию рецепции... Маркс заметил, что немецкие мыслители всегда очень плохо понимаются

¹¹ Joseph Jurt — директор Французского центра Фрайбургского университета. — Прим. перев.

французскими мыслителями, поскольку они воспринимают эти тексты, которые были носителями определенной политической конъюнктуры, как «чистые» тексты, и трансформируют политического агента, находящегося в основании этих текстов, в трансцендентального субъекта. Таким образом, многие недоразумения при международном общении происходят из того, что тексты не носят вместе с собой своего контекста. Рискуя удивить и шокировать, скажу, что только логика структурного недоразумения позволяет понять такой удивительный факт, когда социалист, Президент Республики, приезжает вручать французский орден Эрнсту Юнгеру. Или другой пример: в пятидесятые годы Хайдеггер был признан некоторыми кругами французских марксистов. Я мог бы привести и более актуальные примеры, но поскольку сам являюсь заинтересованным лицом, то не буду этого делать, чтобы вы не подумали, что я неправомерно пользуюсь символической властью, которая мне сегодня выпала, чтобы свести счеты с отсутствующими здесь соперниками.

Факт, что тексты циркулируют вне своего контекста, что они не переносятся вместе с полем производства — воспользуюсь моим лексиконом, — продуктом которого они являются, усугубляется тем, что воспринимающая сторона, состоящая в свою очередь в другом поле производства, дает им иную интерпретацию, зависящую от структуры воспринимающего поля. Этот факт порождает удивительные недоразумения. Из такого описания, которое мне кажется объективным, можно сделать как оптимистические, так и пессимистические выводы. Например, если некто обладает определенным авторитетом в своей стране, то не обязательно будет пользоваться им в другой: прочтение в чужой стране может порой иметь большую свободу, чем в собственной, где национальное прочтение подчиняется эффектам символического давления, господства или даже принуждения. Это подталкивает к мысли, что оценка в чужой стране сродни оценке в будущем. Если в целом будущее судит лучше, то скорее всего потому, что современники являются конкурентами, в их тайных интересах не понимать и даже не давать понимать другим. Зарубежье, как будущее, отстоит на некоторой дистанции, пользуется определенной автономией по

отношению к социальным требованиям поля. На самом деле, эффект этот в большей степени мнимый, чем действительный, и очень часто те, кто имеет власть над институтами («величества учреждений», как их называл Паскаль), с успехом пересекают границы, поскольку «интернационал мандаринов» функционирует очень хорошо.

Таким образом, смысл и функция иностранного произведения определяются, по меньшей мере, настолько же полем рецепции, насколько и полем происхождения. Во-первых, смысл и функция в исходном поле часто совершенно не известны. Кроме того, перенос из национального поля в другое происходит посредством целого ряда социальных операций: операция выбора (что переводить, что печатать, кто будет переводить, кто будет издавать); операция придания новой марки продукту (создание бренда), лишившемуся своего «грифа», с помощью имени издательства, серии, переводчика и автора предисловия (который представляет произведение, но при этом его аннексирует и приспособливает к собственному видению или как минимум к проблематике, актуальной в поле рецепции, и который только в виде исключения реконструирует исходное поле, поскольку это слишком трудно); операция чтения, наконец, поскольку читатели применяют к произведению собственные категории восприятия и проблематику, порожденную другим полем производства.

Пройдусь быстро по всем перечисленным пунктам. Вхождение в поле рецепции является особым предметом исследования, столь же фундаментальным, сколь и актуальным, как по причинам научного порядка, так и по практическим причинам, если мы хотим интенсифицировать и усовершенствовать коммуникацию между европейскими народами. Я надеюсь организовать коллоквиум, целью которого будет анализ процесса отбора: кто выступает отборщиком, т. е. кто выступает так называемым «сторожем» (*gate-keepers*), пользуясь терминологией американских социологов знания? Кто выступает «первооткрывателем» и в чем интересы таких «открытий»? Я хорошо знаю, что слово «интерес» шокирует. Однако думаю, что тот, кто присваивает себе — с самыми добрыми намерениями — какого-то автора и становится с помощью введений и предисловий его «проводником», полу-

чает субъективную выгоду, чистую и возвышенную и вместе с тем достаточно ощутимую, чтобы понять, что он делает то, что нужно. (Немного материализма, считаю, не помешает и ничуть не убавит нашего восхищения.) То, что я называю «интерес», может быть результатом некоторого сродства, связанного с идентичностью (или гомологией) позиций в разных полях. Например, неслучайно, что Бенет, крупный испанский романист, вышел в издательстве «*Editions de Minuit*». Публиковать то, что мне нравится, значит усиливать собственную позицию в поле, хочу я этого или нет, знаю я об этом или нет, даже если этот результат и вовсе не входил в мои планы. В этом нет ничего плохого, просто нужно это знать. Взаимные и чистые выборы часто происходят на основе гомологии позиций в различных полях, чему соответствует определенная гомология интересов, а также гомология стилей, интеллектуальных предпочтений, интеллектуальных проектов. Подобные обмены можно понимать как альянсы или, в логике отношений силы, как способы придания силы подчиненной, находящейся под угрозой позиции.

Помимо избирательного сродства между «творцами», к которому я, как вы, должно быть, чувствуете, имею определенную снисходительность, существуют «клубы взаимного обожания», значительно менее легитимные, на мой взгляд. Они наделены властью светского типа при определении культурного или, если угодно, духовного порядка, что полностью соответствует определению *tyrannie* по Паскалю. Тут можно привести в качестве примера Интернационал истэблшмента, то есть обмены, устанавливаемые между лицами, занимающими самые высокие академические посты. Значительная доля переводов может быть понята, только если восстановить сложную сеть международных обменов между обладателями господствующих академических позиций, обмен приглашениями, почетными степенями, *honoris causa* и др. Следовательно, нужно спросить себя, в чем состоит логика выборов, приводящая к тому, что такой-то издатель или такой-то автор принимают на себя задачу стать импортером такой-то мысли. Почему этот публикует того? Конечно же, есть определенная прибыль от апроприации. Импорт еретических идей часто является делом маргиналов в поле,

которые импортируют мысль или положение, обладающие силой в другом поле, а в результате улучшают собственные подчиненные позиции. Иностранные авторы часто становятся объектом сугубо инструментального использования: их используют в целях, которые они, может быть, отвергли или осудили бы в собственной стране. Можно, например, использовать иностранного автора, чтобы принизить национальных. Возьмем Хайдеггера. Многие здесь присутствующие спросят, почему французы так заинтересовались Хайдеггером? На это есть масса резонов, можно сказать, даже слишком много... Но есть объяснение, которое бросается в глаза. А именно, как показала Анна Боскетти в своей книге о Сартре и «*Les Temps modernes*», тот факт, что в пятидесятые годы интеллектуальное поле было полностью подчинено Сартру. Одной же из важнейших функций Хайдеггера стала дисквалификация Сартра (профессора говорили: «Весь Сартр есть в Хайдеггере и получше того»). С одной стороны, был Бофре, одноклассник Сартра по Высшей Педагогической школе, который занимал конкурирующую позицию и, преподавая на подготовительных курсах в лицее Генриха IV (*khâgne*), создал себе имидж почти философа за счет импорта Хайдеггера во Францию. С другой стороны, в поле литературы, был Бланшо. Была еще третья категория — люди из «*Arguments*», своего рода марксистские еретики мелкого пошиба. Поскольку марксизм соотносился слишком явно с вульгарной стороной, они осуществили шикарную комбинацию марксизма с Хайдеггером.

С иностранными авторами часто бывает так, что важно не то, что они сказали, а то, что можно сказать через них. Вот почему некоторые особо гибкие авторы циркулируют очень хорошо. Великие пророчества многозначимы. Это одна из их добродетелей, а потому они пересекают времена и пространства, эпохи и поколения. Следовательно, мыслители, обладающие хорошей растяжимостью, — это благодарная почва для аннексических интерпретаций и стратегического использования.

После отбора есть процедура создания марки, которая в некотором роде завершает работу. Вам не просто дают Зиммеля, вам его дают с предисловием такого-то. Нужно провести сравнительное социологическое исследо-

вание предисловий: это типичные акты переноса символического капитала, по крайней мере, чаще всего происходит так. Например, Мориак написал предисловие к Соллерсу: знаменитый старец пишет предисловие и передает свой символический капитал, и в то же время он демонстрирует свою способность «открывателя талантов» и свою щедрость в защите молодежи, которую он признает и узнает себя в ней. Существует масса обменов, где недобросовестность играет огромную роль, а социология с легкой помощью объективации могла бы усложнить им жизнь. Вместе с тем, направление циркуляции символического капитала не всегда одинаково. Учитывая правила жанра, по которому автор предисловия идентифицируется с автором, Леви-Строс написал предисловие к трудам Мосса и тем самым присвоил себе символический капитал автора «Опыта о даре». Оставляю вам возможность самостоятельно подумать об этом. (Часто люди драматизируют такого рода анализ, а мне хотелось использовать ситуацию устного выступления, чтобы показать, что это скорее занимательно, во всяком случае, меня это сильно развлекает...)

В конце всего этого импортированный текст получает новую марку. Он отмечается определенной обложкой: вы представляете себе обложки книг разных издательств и даже разных серий каждого издательства, и вы знаете, что каждая из них значит, через соотнесение с пространством немецких издателей, которое есть у вас в голове. Если вы замените обложку, например, «*Suhrkamp*» на обложку «*Seuil*», то смысл *марки*, предписанной произведению, полностью меняется. Если существует структурная гомология, то трансферт может пройти достаточно хорошо, но часто случаются провалы; есть люди, которые падают мимо «подстеленной соломки». Либо случайно, либо по незнанию, но часто еще и потому, что становятся объектами аннексии и апроприации. В данном случае простой эффект обложки — это уже символическое давление. Приведу один очень хороший пример: Хомский был опубликован в «*Seuil*», в философской серии. Для меня «*Seuil*» значит «левые католики» и в целом персоналисты. Хомский оказался сразу отмеченным определенной маркой через типичную стратегию аннексии. Опубликовать

Хомского в «*Seuil*», в окружении, маркированном Рикёром, означало столкнуть структурализм «без субъекта» (как говорили в то время) с субъектом порождающим, креативным и т. д. Таким образом, с включением в серию, добавлением предисловия, учитывая его содержание, а также положение автора предисловия в пространстве, совершается целый ряд превращений и даже извращений исходного авторского послания.

В действительности, структурные эффекты, которые, потворствуя невежеству, делают возможными все эти трансформации и деформации, связанные со стратегиями использования текстов и авторов, могут осуществляться и без специального намерения манипулировать. Различия между историческими традициями столь велики — как в собственно интеллектуальном поле, так и в социальном поле в целом, — что применение к иностранному культурному продукту категорий восприятия и оценки, усвоенных в результате нахождения в национальном поле, может *создать* ложные оппозиции между похожими вещами и ложные сходства между разными вещами. Продемонстрировать это можно, например, с помощью детального анализа отношений между французскими и немецкими философами, начиная с шестидесятых годов XX века, и показать, как полностью сходные интенции в условиях сильно различающихся контекстов, интеллектуальных и социальных, нашли выражение в разных философских позициях и течениях, с виду полностью противоположных. Перефразируя в более неожиданной и более причудливой манере, можно спросить себя, не был бы Хабермас гораздо менее далек от Фуко, чем нам сейчас кажется, если бы он сформировался как философ во Франции в 50-60-е годы, и не был бы Фуко намного менее отличен от Хабермаса, если бы получил образование и состоялся как философ в Германии того же времени. (Заметим в скобках, что для того и другого мыслителя, за внешней видимостью свободы от контекста, общим является очень тесная связь с этим контекстом, помимо прочих причин еще и потому, что в своем гегемоническом устремлении они столкнулись с глубоко различающимися интеллектуальными традициями, присущими каждой из стран.) Например, прежде чем начать добродетельно возмущаться вме-

сте с некоторыми немцами тем, что сделали с Ницше некоторые французские философы (в особенности Делёз и Фуко), следовало бы понять функцию, которую Ницше (и какой Ницше? тот, что в «Генеалогии морали» у Фуко?) смог выполнить в поле философии, где в лице Университета доминирует субъективистско-спиритуалистический экзистенциализм. «Генеалогия морали» выступила в роли философской гарантии, способной сделать философски приемлемыми старые сциентистские и даже позитивистские подходы, воплощенные в устаревшем образе Дюркгейма, какими были социология познания и социальная история идей. Так, в своем усилии противопоставить антиисторическому рационализму историческую науку исторического разума (с ее идеей «генеалогии» и таким понятием как «эпистема») Фуко способствовал тому, что может показаться немцам, для которых Ницше имеет совершенно иное значение, *реставрацией иррационализма*, против которого Хабермас и другие (например, Отто Апель), создавали свой философский проект. Если бы мне довелось выступить третейским судьей в этом споре, то не уверен, что оппозиция между *историческим рационализмом* (защитником которого я являюсь, поддерживая идею социальной истории разума и поля науки как места исторического генезиса социальных условий производства разума) и *неокантианским рационализмом*, предлагающим себя в качестве научного основания и опирающимся на достижения лингвистики (как у Хабермаса), оставалась бы столь же радикальной, как кажется на первый взгляд. Рационалистический релятивизм и просвещенный абсолютизм могут встретиться при защите *Aufklärung*... Возможно потому, что они выражают одну и ту же интенцию при различии системы. Конечно, я преувеличиваю, стремясь «повернуть палку другим концом». Однако, как я считаю, различия не там, где их так долго искали, что был забыт эффект *преломления*, который национальные интеллектуальные поля и формируемые ими категории восприятия и мышления оказывают как на производство, так и на рецепцию научной продукции.

Вот почему дискуссии, возникающие в наши дни (что уже является определенным прогрессом по сравнению с

предыдущим периодом, когда европейские ученые общались с американскими только через третьи лица), остаются так часто искусственными и нереальными. Эффекты *аллодоксии*, порожденные структурными разрывами между контекстами, служат неиссякаемыми источниками недобросовестной полемики и взаимных обвинений в фарисействе, где преуспевают посредственные и безответственные эссеисты, как, например, творцы мифа о «мысли 68 года»ⁱⁱⁱ или обличители доблестей «цинизма». Достаточно небольших познаний в истории, чтобы заметить тягу мелких интеллектуалов к выполнению роли поборников справедливости, а точнее, становиться Фукие-Тенвиллями или Ждановыми, правыми или левыми, которые, как мы недавно наблюдали в связи с делом Хайдеггера, подменяют логику критической дискуссии, стремящейся понять доводы или причины противоположной стороны, логикой судебного процесса.

Realpolitik разума, которую я не устаю защищать, должна, следовательно, озаботиться разработкой проекта по созданию социальных условий *рационального диалога*. Иначе говоря, стремиться развивать осознание и понимание законов функционирования разных национальных полей, поскольку искажения текстов тем вероятнее, чем меньше знание контекста создания текста. Проект этот может показаться банальным, если не обратиться к деталям его реализации. На самом деле нужно научное изучение национальных полей производства и национальных категорий мышления, в которых знание формируется и широко распространяется, в частности, благодаря преподавателям иностранных языков и культур. Чтобы представить себе сложность такого предприятия, достаточно указать на первое препятствие, с которым оно непременно столкнется, а именно спонтанную социологию различий между национальными традициями, которую «специалисты» в международных обменах, германисты и романисты, например, производят и воспроизводят на базе приблизительного и плохо осмысленного знакомства. К то-

ⁱⁱⁱ Здесь автор намекает на авторов книги «*Pensée 68*» Люка Ферри и Алена Рено. — Прим. перев.

му же часто в ее основе лежит забавная снисходительность, очень близкая мягкому расизму того, кто «хорошо их знает», кто «не собирается их обижать» и кто, «считая их ужасными, все равно хорошо к ним относится» (отношение, часто встречающееся у специалистов по чужестранным цивилизациям: «японистов» или «ориенталистов»).

Свободу от национальных категорий мышления, посредством которых мы мыслим различия между результатами применения этих категорий, можно обрести лишь через усилие по осмыслению и экспликации этих категорий. Следовательно, социология и социальная история, рефлексивные и критические (в кантовском смысле), должны бы задаться целью пролить свет на структуры национального культурного бессознательного, чтобы лучше разобраться в них с помощью научного социоанализа. Они могли бы раскрыть — посредством исторического анамнеза обеих национальных историй, а в особенности истории образовательных институтов и полей культурного производства, — *исторические основания* категорий мышления и проблематику, которые социальные агенты применяют, сами того не замечая, в своей деятельности по культурному производству и рецепции продуктов культуры.

Нет более актуальной задачи, чем исследование сравнительной истории различных дисциплин, подобное тому, что предприняли Исаак Кива (Isaac Chiva) и Утц Егл (Utz Jeggle) в этнологии. Действительно, только сравнительная социальная история социальных наук может освободить от исторически унаследованных способов мышления, давая при этом средства убедиться в сознательном владении усвоенными в процессе обучения формами классификации, неосознанными категориями мышления и обязательной проблематикой. На примере антропологии можно ясно видеть, что сравнение часто показывает произвольность или связь с каким-то необязательным контекстом всего того, что ранее считалось необходимым. Сами слова — этнология или *Volkstunde*, — обозначающие дисциплину, нагружены прошлым неявных традиций, что разделяет эти два теоретически эквивалентных термина на протяжении всей истории двух полей. Адекватно понять предметы и программы исследований, проводимых

в этих двух дисциплинах, значило бы понять всю историю отношений каждого из этих полей с полем политики, что находит концентрированное выражение в различии между французским словом «*populaire*» (как в случае Музея народных искусств и традиций) и немецким «*Volk*» и «*völkisch*» (национальный, националистический). Это различие между левой традицией, связанной с государством, которая отстаивалась в борьбе с правыми, ориентированными на фольклор и на народ в смысле Ле Пле, и консервативной традицией, отождествляющей народ с нацией, родиной (*Heimat*) и крестьянской общиной (*Gemeinschaft*). Кроме того, это значило бы понять положение антропологии в иерархическом пространстве дисциплин: со стороны позитивных наук, слегка презираемых во Франции, со стороны «германистики» — в Германии. Затем, рассмотреть все различия, вытекающие из этих основных оппозиций.

Система образования есть одно из мест, где в дифференцированных обществах производятся и воспроизводятся системы мышления — эквивалент, внешне более утонченный, «примитивных форм классификации», инвентаризацию которых в отношении дописанных обществ, не имеющих института образования, проводили Дюркгейм и Мосс, следуя при этом кантовской логике. Структурным оппозициям «сухое-влажное», «восток-запад», «вареное-сырое», которые вошли в таблицу категорий архаического понимания, поставлены в соответствие такие оппозиции, как «объяснять-понимать», «количество-качество», которые коллективная история системы образования и индивидуальная история образовательной траектории вложили в просвещенное понимание каждого, прошедшего через систему образования.

Такие системы оппозиций включают инварианты (как те, которые я только что приводил и которые через преподавание философии, где господствует немецкая традиция, проникли во французское образование), а также национальные вариации. Точнее говоря, господствующие традиции у каждой нации могут придавать противоположное значение концам одних и тех же оппозиций. Например, вторичные оппозиции, группировавшиеся вокруг

центральной, столь значимой для академической мысли Германии, по крайней мере, вплоть до Второй мировой войны — оппозиции между *Kultur* и *Zivilisation*, служили различению германской традиции, благородной и аутентичной, и французской традиции, поддельной и поверхностной. Здесь налицо противопоставление глубокого или серьезного блестящему или поверхностному, мысли или чувства стилю или духу, философии или филологии литературе и т. п. Господствующая французская традиция (примирившая подготовительные курсы в *Grandes Ecoles* лицея Генриха IV — центра французской образовательной системы, с «*Nouvelle Revue Française*», Алена и Валери**) применила к себе эту оппозицию, поменяв знаки на противоположные: глубина стала тяжеловесностью, серьезность — школьным педантизмом, поверхностность — французской ясностью. Нужно держать все это в уме — я хочу сказать в сознании, а не в бессознательном, — чтобы понять, что Хайдеггер — это Ален со скидкой на систему, и наоборот. Тогда как первый воспринимался и использовался во Франции как совершенная антитеза второму... В самом деле, благодаря уловкам исторического разума, которые так затрудняют доступ к интеллектуальной свободе, мифическая оппозиция двух традиций, французской и немецкой, заставила считаться с собой как тех, кто восставал против нее в каждой из двух стран, так и тех, кто наивно принимал ее на свой счет; тех, кто надеялся найти свободу от навязываемых форм мышления, попросту меняя знаки в господствующей оппозиции, принимаемой как таковая довольными националистами. В Германии на протяжении всего XIX века и еще сегодня (чем иначе объяснить определенный успех неко-

** Ален (Alaine), настоящее имя Эмиль-Огюст Шартье (1868–1951), французский философ и эссеист, преподававший философию в провинции и в Париже и публиковавший свои эссе в «*Nouvelle Revue Française*» («Новом французском журнале»); хотел вернуть философии изначальное значение «этики»; взяв в пример Сократа, создал свою философскую систему, близкую к феноменологии; мнил себя спасителем человечества от тирании и занимал радикальную либеральную и демократическую позицию в политике. — *Прим. перев.*

торых течений постмодерна?) многие молодые интеллектуалы прогрессисты искали во французской мысли антидот всему тому, что они ненавидели в немецкой мысли. В то время как молодые французы прогрессисты делали то же самое, но в обратном направлении. Это оставляло и тем и другим немного шансов встретиться в пути...

В самом деле, бессмысленно отрицать существование глубинного интеллектуального национализма, базирующегося на истинных национальных интеллектуальных интересах, однако международная борьба за господство в сфере культуры и за признание принципа доминирующего господства (т. е. за навязывание частного определения легитимного осуществления культурной деятельности, основанной, например, на примате культуры, глубины, философии и т. п., а не на цивилизации, ясности, литературе и т. п.) находит свое наиболее прочное основание в борьбе, происходящей в границах каждого национального поля, во внутренней борьбе, в которую вступают национальное определение и иностранное определение, становясь не только оружием, но и целями этой борьбы. Понятно, что в таких условиях чехарда и путаница становятся почти правилом. Нужно обладать большой интеллектуальной независимостью и теоретической здравостью, чтобы увидеть, что Дюркгейм, восставший против господствующего интеллектуального режима, с которым прекрасно ладил Бергсон, находится «в одном лагере» с Кассирером (последний открыто связывал в примечании к *«The Myth of the State»* свои «символические формы» с «примитивными формами классификации» Дюркгейма), в противовес которому Хайдеггер развил разновидность бергсоновской *Lebensphilosophie*... Можно продолжать умножать примеры таких эффектов перекрещивания, которые — способствуя альянсам или отказам от них, одинаково основанным на недопонимании, — препятствуют или сводят к минимуму *накопление исторических достижений разных традиций* и интернационализации (или «денационализации») категорий мышления, которая является первейшим условием истинного интеллектуального универсализма.

Н. А. Шматко

«СОЦИАЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО» ПЬЕРА БУРДЬЕ

Понятие социального пространства, хотя и является центральным по важности в концепции генетического структурализма, не есть «чисто» социологическое понятие. Визуализация различных частных случаев «социального пространства» в многочисленных работах П. Бурдьё представляет собой попытку формализовать и операционализировать это понятие и на этой основе построить целостный подход к исследованию социальной действительности. Это склоняет некоторых социологов рассматривать любое множество социальных явлений как специфическое «пространство». На самом же деле «социальное пространство библиотек» или «социальное пространство этносов» являются всего лишь самым общим (и потому формальным и пустым) *определением* «социального пространства», объединяемым с более или менее произвольным и обоснованным *убеждением* социолога, что данное определение применимо к его исследованию.

Таким образом, можно указать на «социальное пространство» в расплывчатом спонтанном понимании, присущем социологическому обиходу, и на «социальное пространство» в том узком, но строго определенном концептуальном смысле, который весьма далек от простого воспроизводства школьного курса геометрии и базовых интуиций социальной философии. Несомненно, что исходным пунктом и основным мотивом развития «соци-

ального пространства» на этапе становления генетического структурализма были не до конца определенные, полунтуитивные представления. Однако «героический» период развития завершился, и пришло время представить понятие «социальное пространство» в более совершенной рефлексивной форме. Именно этому и посвящена настоящая работа.

Социологи традиционно пользовались абстрактными базовыми понятиями. Этот заимствованный из философии прием дает возможность строить удобные модели, с удовлетворительной точностью описывающие те или иные социальные явления. Именно эмпирическая адекватность служит оправданием этого метода, являющегося главным и самым мощным инструментом социальной науки. С развитием социологии накапливается множество более или менее абстрактных понятий, описывающих все новые и новые регулярности социальной действительности, которое, начиная с определенного этапа, достигает критического уровня сложности. Разрешение же такого кризиса требует пересмотра базовых концептов, снимающего схоластический характер накопленных абстракций, раскрывающего их действительное содержание.

Что такое «социальное пространство»?

Можно указать на две принципиально различающиеся теоретические позиции относительно пространства: *субстанциальную* и *реляционную*. Субстанциализм, который в Новое время представлен прежде всего Р. Декартом, интерпретирует пространство в качестве сущности телесной субстанции. «Пространство... — читаем мы в «Первоначалах философии» — разнится от телесной субстанции, заключенной в этом пространстве, лишь в нашем мышлении. И действительно, протяжение... составляющее пространство, составляет и тело...» [1]. Однако в варианте субстанциализма, представленном в натурфилософии И. Ньютона, пространство определяется уже как самостоятельная сущность, существующая наряду с материей и независимо от нее. В соответствии с этим пред-

ставлением в субстанциализме взаимосвязь между пространством и материей изображалась как внешнее отношение между двумя самостоятельными видами субстанций, откуда следовало заключение о независимости пространства от реализующихся в нем материальных процессов.

С реляционной точки зрения пространство рассматривается не как самостоятельная сущность, а как порядок отношений, образуемых взаимодействующими объектами, причем вне этой системы взаимодействий пространство не существует. Так, согласно Г. В. Лейбницу, монады представляют собой субстанции, т. е. вещи сами по себе. Он утверждал, что пространства, каким оно дано чувствам и каким его изучает физика, не существует, поскольку оно состоит из возможностей и не содержит ничего актуального. Однако существует порядок расположения монад соответственно точке зрения, с которой они отражают мир. Каждая монада воспринимает мир в своей, лишь ей присущей перспективе, и в этом смысле можно говорить о пространственном положении монад. Таким образом, пространство, по Лейбницу, есть свойство вещей самих по себе. Реляционная трактовка пространства, определяемого в каждый момент конфигурацией сил, сводит его к порядку возможного сосуществования монад. Для реляционизма пространство служит общей формой координации объектов и их состояний, откуда следует зависимость свойств пространства от характера взаимодействия объектов.

В социологии П. Бурдьё понятие «социальное пространство» представляет собой форму, выражающую определенные отношения, которые проявляются как способы координации между состояниями предметов исследования. Содержанием данной формы выступают изучаемые социальные явления и процессы, характер которых и определяет основные свойства социального пространства. Это означает, что не существует некоего абсолютного социального пространства, постулируемого субстанциализмом в качестве самостоятельной, независимой от эмпирической социальной действительности формы бытия. «Социальное пространство» конструируется каждый раз

как (зависящая от целей и средств исследования) форма выражения и обобщения имеющейся в распоряжении социолога эмпирической информации. Оно в каждом конкретном случае может быть и одномерным, и многомерным пространством с любым числом измерений, поскольку используется для описания взаимосвязей различного рода социологических величин, характеризующих социальные явления. В социологии П. Бурдьё «социальное пространство» есть, прежде всего, структура социальных позиций.

Однако речь не идет о просто еще одной субъективистской трактовке. Конструирование социального пространства на основе экспериментальных данных не означает его произвольности или тождественности геометрическому представлению. Недостаточно определить некую систему координат для предмета исследования, чтобы назвать такое представление «социальным пространством». Необходимым условием действительного конструирования выступает *релевантность* и *существенность свойств*, на базе которых его построили, для тех предметов исследования, которые описывает социальное пространство как пространство сил. Иными словами, нельзя взять произвольные показатели, чья релевантность и валидность не доказаны, провести над ними некие формальные преобразования и называть полученную «картинку» «социальным пространством». Подобная геометризация, чаще всего некритически воспринимаемых результатов опросов общественного мнения и демографических показателей, ничего не прибавляет к нашим научным знаниям о социальной действительности, создавая лишь обманчивую видимость учености. Когда структуры, конституирующие социальное пространство, редуцируются к внешней соотнесенности предметов социологического исследования по какому-либо произвольному основанию, пространство лишается своей силовой природы и превращается в простой визуальный образ конфигурации объектов социальной действительности.

П. Бурдьё постулирует актуальное существование «социального пространства», элементы которого он называет «позициями». Основанием для такого постулиро-

вания является эпистемологический принцип доступности научному познанию только таких сущностей социальной действительности, которые тем или иным способом взаимодействуют друг с другом и с познающим субъектом. Предполагается, что социальное пространство, понимаемое как структура позиций, обеспечивает всеобщую действительную (а не только мыслимую социологом) взаимосвязь предметов социологического познания и является той минимально необходимой системой отношений, без которой данное познание невозможно.

Далее, П. Бурдьё утверждает дискретность и принципиальную неделимость социальных отношений, отсутствие у них какой-либо *внутренней структуры*. Главным свойством социального отношения является то, что оно выступает необходимым условием практик, представлений или непосредственных взаимодействий индивидуальных и коллективных агентов. На уровне феноменов социальное отношение проявляет себя либо как распределение условий социального действия, либо, в аспекте практик и представлений, как *сила*. По сути, именно силы учреждают социальное пространство, а потому оно не является пассивным вместилищем предметов социологического познания, но само активно изменяется. Мы можем получать содержательную информацию о движении социального пространства, исследуя *форму распределения* (как материальных, так и идеальных) предпосылок и условий практик и представлений.

П. Бурдьё представляет устанавливаемый социологией социальный мир в виде социального пространства, сконструированного, исходя из принципов деления и распределения совокупности *активных свойств* (индивидуальных и коллективных) агентов. Речь идет о свойствах, способных придавать агентам силу и власть, понимаемую в самом общем виде — как способность добиваться результатов. Макропеременные, обобщающие исходные социологические величины — активные свойства, положенные в основу построения социального пространства, — П. Бурдьё называет «*капиталами*». Капитал дает власть распоряжаться продуктом деятельности, в котором опредмечены прошлые практики (в частности — над

совокупностью средств производства), а также механизмами производства определенной продукции, и через это — власть над (материальными и символическими) доходами и прибылью от производства. Поскольку капитал есть возможность распоряжаться необходимыми условиями и предпосылками практик, он есть в то же время силовая структура — *структура господства* и власти над другими агентами.

Тот или иной капитал агента является мерой силы соответствующего вида, т. е. власти, которой наделен агент, а также мерой влияния, которое оказывает на него самого эта сила. Например, административный капитал агента имярек есть мера его административной власти в поле науки, а также мера воздействия на него административной структуры. Так, чем больше его административный капитал, тем больше его власть над распределением ресурсов и воспроизводством корпуса ученых, но и тем более он подвержен действию изменений баланса административных сил в поле науки. Читателям старшего поколения памятно, наверное, грозные академики секции общественных наук АН СССР, в одночасье потерявшие всю полную власть в годы «перестройки» системы управления.

Позиция каждого агента в социальном пространстве определяется объемом и структурой его капиталов, т. е. *структурой сил*. Знание пространства позиций позволяет сконструировать «классы на бумаге» — совокупности агентов, которые помещены в близкие социальные условия и подчинены сходным детерминациям, обладают с большой вероятностью похожими диспозициями и интересами и, следовательно, производят сходные практики.

По Бурдьё, «построить социальное пространство, эту невидимую реальность, которую нельзя ни показать, ни потрогать пальцами и которая организует практики и представления агентов, значит одновременно дать себе возможность построить *теоретические классы*, однородные настолько, насколько это возможно... Введенный здесь принцип классификации носит действительно *объяснительный* характер: он не довольствуется описанием ансамбля классифицированных реальностей, но, как и хо-

ция] привязывается к детерминирующим свойствам, которые, в противоположность различиям, проявляющимся при плохой классификации, позволяют предсказать другие свойства, они разводят и объединяют агентов сходных, насколько это возможно, между собой и отличающихся, насколько это возможно, от членов других классов, соседних или отдаленных» [2, с. 25].

С известной долей условности можно утверждать, что в генетическом структурализме единственным по-настоящему самостоятельно изменяющимся предметом социологического исследования служит социальное пространство, поскольку оно выступает как ансамбль структур, обуславливающих социальные явления. Все остальные социологические предметы лишь взаимодействуют друг с другом при его посредстве, соответственно изменяя свое положение в системе социальных позиций. Подчеркнем, что социальное пространство не является всего лишь конфигурационным пространством интегрированных в него индивидуальных или коллективных агентов. Оно имеет силовую природу и потому не может быть построено произвольно, без измерения устанавливающих его сил. Описывая социальное пространство, П. Бурдьё понимает его «...как поле сил, необходимость которых навязывается агентам, вовлеченным в данное поле, и как поле борьбы, внутри которого агенты противостоят друг другу со своими средствами и целями, различающимися в зависимости от их позиции в структуре поля сил, участвующих таким образом в сохранении или трансформации структуры этих позиций» [2, с. 55].

Сила

Несомненно, возможно проследить концептуальные связи между «силой» у П. Бурдьё и использованием этого понятия в философской традиции Нового времени. Эта связь становится тем более очевидна, если принять во внимание его базовое философское образование и интеллектуальную атмосферу 1950-х годов, в которой он сформировался как исследователь. Речь идет, в первую очередь, об активной рецепции французскими интеллектуалами

философии М. Хайдеггера, содержащей новаторскую интерпретацию всей новейшей европейской философии (с акцентом на Р. Декарта, Г. В. Лейбница, Г. В. Ф. Гегеля и Ф. Ницше), которая была подхвачена Р. Кено, Ж. Делёзом, Ф. Фейе, Ф. Везенном, М. Фуко, Ж. Деррида и др. Эта рецепция «наложилась» на начавшееся еще до Второй мировой войны активное обращение французских интеллектуалов (Ж. П. Сартр, А. Кожев, Ж. Батай, П. Кlossовски, М. Бланшо и др.) к феноменологии Э. Гуссерля и Г. В. Ф. Гегеля. Не вдаваясь в детальное исследование в духе «истории идей», отметим лишь важнейшие пункты философии Нового времени, существенные для понимания концептуальных построений П. Бурдьё.

Известно, что Р. Декарт объяснял законы движения лишь посредством количества материи и скорости, в то время как Г. В. Лейбниц боролся со сведением материи к протяженности. Он указывал на ошибочность картезианских построений, поскольку «в телесных вещах есть нечто, кроме протяженности, и даже предшествующее протяженности, а именно сама сила... которая состоит не в простой способности... но помимо того снабжена направленностью, или устремлением, получающим полное осуществление, если оно не встречает препятствия в противоположном устремлении» [3]. По Г. В. Лейбницу, «природа тела не состоит в одной лишь протяженности», вследствие чего — и здесь главное отличие от Р. Декарта — пространство утрачивает значение субстанции, а становится соотношением сил [4].

Исходным для традиции Нового времени послужило представление Г. В. Лейбница о силе как ближайшей причине изменений или возможности действия, которая есть «нечто отличное от величины, фигуры и движения» [5]. В опубликованной в 1695 году «Новой системе природы и общения между субстанциями...» он утверждал, что природа субстанциальных форм «состоит в силе» [6], что дает возможность объяснять изменения в субстанциях [там же, с. 280]. В более поздней «Монадологии» субстанция идентифицируется с субъектом, а сама субъективность предстает как деятельность, чье существование определяется силой [vis] [7], так что «действовать» озна-

чает «проявлять силу». Вся история метафизики Нового времени, согласно М. Хайдеггеру, разворачивается из деятельностной интерпретации картезианского *cogitatio* [мышления] и монадологической интерпретации субстанции: «Каждый *subjectum* [субъект] определен в своем *esse* [существовании] как *vis* [сила] <...> Только так *res cogitans* [мыслящая вещь] приобретает тот объем, благодаря которому она царствует над всем реальным» [8].

Г. В. Ф. Гегель в «Феноменологии духа» рассматривает силу как то, что учреждает и единство, и самостоятельность различий, относящихся к целому:

«...Самостоятельно установленные [материи] переходят непосредственно в свое единство, а их единство непосредственно переходит в развертывание, и это последнее в свою очередь — назад, в сведение. ...Это движение и есть то, что называется *силой*: один момент ее, а именно сила как распространение самостоятельных материй в их бытии, есть ее *внешнее проявление*; она же как исчезаемость (*Verschwundensein*) их есть сила, *оттесненная* из своего внешнего проявления обратно в себя, или *сила в собственном смысле*» [9, с. 73].

Иными словами, посредством силы реализуется нераздельное единство предмета, обнимающего множественные и самостоятельные части. Отдельные моменты силы различаются лишь в понятии силы, а в реальности силы не должно быть различий: они присутствуют лишь в мысли.

«Но на самом деле сила есть безусловно-всеобщее, которое в себе самом есть то же, что и для *иного*, или которое имеет в себе различие, ибо различие есть не что иное, как *бытие для иного*. ...Сила должна быть... установлена как субстанция этих различий, — это значит... должны быть установлены ее различия как *субстанциальные* или как для себя устойчиво существующие моменты. Сила как таковая... есть, следовательно, для себя в качестве некоторого исключającego «одного», для которого развертывание материй есть некоторая *другая устойчиво существующая сущность*; и таким образом установлены две различные самостоятельные стороны. Но сила есть также целое, другими словами, она остается тем, что она есть по своему понятию, т. е. эти *различия* остаются чистыми

формами, поверхностными *исчезающими моментами*» [там же].

Речь идет о различиях между силой как целым и развертыванием самостоятельных частей. Данные различия имеют устойчивое существование, т. е. сила существует противоположным образом: и как одно, и как множество, и оба эти момента самостоятельны. «Следовательно, мы должны рассмотреть именно это движение обоих моментов, заключающееся в том, что они постоянно делают себя самостоятельными и вновь себя снимают» [там же, с. 74]. Движение, результатом которого выступает самоуничтожение противоречащих понятий силы, обладает *предметной* формой, и вместе с тем оно есть *непредметное* вещей.

Итак, субстанциализированная крайность силы устанавливается как определенность «одного». Это исключает из силы устойчивое существование частей, т. е. множественность, выступающую как иное «одного». Однако необходимо, чтобы сама сила была данным устойчивым существованием, чтобы она включала в себя это иное. Сила существует как среда развернутых объектов, будучи по существу «одним». То есть сила есть и различенное множество предметов, и нечто иное:

«...Бытие «одним» исчезает в том виде, в *каком* оно явилось, а именно как *нечто другое* <...> То, что выступает в качестве иного и что возбуждает силу как к внешнему проявлению, так и к возвращению в себя самое, есть *сама сила* <...> Игра обеих сил состоит... в том, что они определены противоположным образом и существуют в этом определении друг для друга, а также в том, что происходит абсолютный, непосредственный обмен определениями <...> Сами различия выступают в двойном различии: во-первых, как различия содержания, когда одна крайность есть рефлексированная в себя сила, а другая есть среда материй; во-вторых, как различия формы, когда одна крайность есть то, что возбуждает, а другая — то, что возбуждается... Со стороны содержания они различны вообще или для нас; со стороны же различия формы они самостоятельны, в своем соотношении отделяясь друг от друга и противопоставляясь друг другу» [там же, с. 75–76].

Важно отметить, что для Г. В. Ф. Гегеля у сил нет собственных субстанций, выступающих их носителями и сохраняющими их: сила всегда различие между чем-то и его иным. Сила — отрицательное единство в определении непосредственно существующего нечто (см.: [10, с. 158–159.]). Однако сила не является формой этого сущего, т. е. сущее не определяется силой и безразлично к ней. Другими словами, вещь не обладает какой-то силой, но, напротив, сила имеет вещь своей предпосылкой, т. е. сила внешне связана с вещью, она «спокойная определенность вещи» [там же, с. 159]. Но сила заключает в себе непосредственное существование лишь как момент, как проходящее. Она есть «отрицательное единство, рефлектирующее себя в себя», так что вещь для нее не имеет никакого значения; напротив, сила есть «полагание внешнего, являющего себя как существование» [там же]. Иными словами, хотя сила и содержит в себе момент «сущей непосредственности», она определяется через отрицательное единство. Это единство в определении непосредственного бытия есть «существующее нечто», причем данное «нечто» являет себя как «первое». Деятельно отталкиваясь от этого «первого», сила приобретает собственное значение, достигая относительной самостоятельности, когда носитель ей уже не нужен. В качестве определения единства целостного предмета сила «положена как то, что *само из себя* становится существующим внешним многообразием» [там же, с. 160]. Сила внутренне противоречива, и при взаимоотношении рефлексий различного типа, где внешняя рефлексия сама выступает силой, сила обнаруживает себя в своем инобытии. Силу можно описать как момент бытия, обнаруживающий себя во взаимодействии с другой силой.

Не углубляясь в гегелевскую спекулятивную философию, резюмируем те ее существенные выводы, которые обусловили, в основных чертах, использование понятия «сила» Н. Элиасом и М. Фуко (у последнего — посредством интерпретаций А. Кожева и Ж. Ипполита), оказавшим, в свою очередь, значительное влияние на П. Бурдьё. Итак, сила есть момент сущего, а сущее является условием проявления силы. То есть сила и сущее не образуют

тождества. Проявление силы происходит вследствие внутреннего противоречия. Следовательно, источник движения силы в ней самой, поэтому она деятельна.

Итак, в позитивном смысле сила есть то, что определяет единство многообразных частей предмета. Она представляет собой отношение противоположностей, которое проявляется как ансамбль различий внутри некоторого содержательного единства. Непрерывное развитие выводит на первый план видение социальной действительности в терминах силы. Субстанциальность становится функцией силы. *Социальное пространство есть силы в их соотношениях.* Однако сила не имеет самостоятельности, а всегда обозначает свойства социальной структуры. Отсюда следуют методологические требования, которых П. Бурдьё придерживался при исследовании различных полей, даже если эти требования не формулировались явно:

1. Поле (как автономная часть социального пространства) конституируется специфической силой (или силами). Именно эта сила обеспечивает целостность поля как предмета исследования.

2. Отношения силы проявляются всякий раз как распределение соответствующего ей капитала или активных свойств (т. е. свойств, придающих их обладателю специфическую власть и влияние). Множество различий активных свойств, присущих индивидуальным и коллективным агентам, есть непосредственное проявление конфигурации силы, конституирующей данное поле.

3. Структура позиций есть структура «источников» силы. Распределение капиталов между позициями характеризует «силовой баланс» (Н. Элиас), сложившийся в поле.

В текстах П. Бурдьё часто встречается противопоставление силовых и смысловых отношений, восходящее к М. Веберу, который, в свою очередь, воспринял его из неокантианства. Напомним, что Р. Декарт различал протяженную (или материальную) субстанцию, свойства которой сводились к причинно-следственным отношениям, и мыслящую (или духовную) субстанцию, чьи характеристики полностью исчерпывались телеологическими отношениями. Каждая из двух субстанций предполагала свой, особый способ объяснения: если в случае протяжен-

ной субстанции речь шла об объяснении явлений через предшествующие действующие причины, то мыслящей субстанции соответствовало объяснение через целевые, или конечные, причины. Противоречие между каузальными и телеологическими отношениями особо ярко выражены в учении И. Канта, где природа, понимаемая как замкнутый универсум причин и следствий, абсолютно противопоставляется сфере нравственных целей (т. е. целенаправленности, целесообразности человеческих действий), хотя им и предпринималась попытка объединить противоположности [11]. Поскольку материальная и духовная субстанции соотносятся друг с другом как «внешнее с внешним», то сохраняется несводимое различие между причинно-следственными отношениями, называемыми также *силовыми*, и отношениями целесообразности, именуемыми *смысловыми*.

Согласно неокантианскому подходу, причинно-следственные, или силовые, отношения изучают с помощью «номологического» метода, а телеологические, или смысловые, отношения — с помощью «идеографического» метода. Если «номологический» метод дает каузальное познание общих связей действительности, то «идеографический» раскрывает «ценностные идеи» («смыслы» [12]) связей индивидуальных. Противопоставляя «идеографический» и «номологический» методы, неокантианцы тем не менее не отрывали их друг от друга абсолютно, стараясь «...лишь обозначить полярные, служащие для ориентирования пункты, посредине между которыми имеет место методическая работа многочисленных наук» [13]. Применительно к социальным исследованиям это выглядело так, что в начале XX века приверженцы «материалистического понимания истории» изучали преимущественно силовые (по большей части экономические) отношения, а индивидуальные явления в сфере духа трактовались «идеалистами» в концептуальной рамке смысловых отношений [14].

Из вышесказанного можно сделать вывод, что «силу» или «силовые отношения» надо понимать как объективную социальную структуру, а «смысловые отношения» принадлежат региону субъективных социальных явлений.

Двойное структурирование социальной действительности

Одной из основ социологии П. Бурдьё является концепция «двойного структурирования». Ее суть заключается в том, что социальная действительность структурирована, во-первых, со стороны (существующих объективно, т. е. независимо от сознания и воли агентов) социальных отношений, которые объективированы в распределениях разнообразных капиталов как материального, так и нематериального характера, и, во-вторых, со стороны представлений людей о социальных структурах и об окружающем мире в целом, оказывающих обратное воздействие на первичное структурирование.

Концепция двойного структурирования включает в себя комплекс представлений, отражающих генезис и структуру социальной действительности. То, что относится к генезису, есть установление причинно-следственных связей в социальной действительности: существуют объективные (не зависящие от воли и сознания людей) структуры, которые решающим образом воздействуют на практики, восприятие и мышление индивидов; именно социальные структуры являются «конечными причинами» практик и представлений индивидуальных и коллективных агентов, которые эти структуры могут подавлять или стимулировать. С другой стороны, агентам имманентно присуща активность, они являются источниками непрерывных причинных воздействий на социальную действительность. Итак, социальные структуры обуславливают практики и представления агентов, но агенты производят практики и тем самым воспроизводят или преобразуют структуры. Указанные два аспекта генезиса социальной действительности для П. Бурдьё отнюдь не равнозначны и не рядоположены. Он не ограничивается констатацией того, что оба эти аспекта находятся в «диалектической связи», но указывает на их иерархию. Обусловленность практик и представлений агентов социальными структурами реализуется через их производство и воспроизводство этими агентами. В силу того, что они не могут осуществлять свои практики вне и независимо от предпосланных им

социальных структур, являющихся необходимыми условиями и предпосылками любых практик, агенты оказываются в состоянии действовать исключительно «внутри» уже существующих социальных отношений и тем самым всегда лишь репродуцировать или трансформировать их. Говоря об активной роли агентов в воспроизводстве/производстве социальной действительности, П. Бурдьё подчеркивает, что оно невозможно без инкорпорированных структур — практических схем, являющихся продуктом интериоризации объективных социальных структур. Отсюда следует, что субъективное структурирование социальной действительности есть подчиненный момент структурирования объективного.

Второй аспект двойного структурирования социальной действительности — структурный. Он состоит в том, что все в социальной действительности структурировано. Во-первых, социальные отношения неравномерно распределены в пространстве и во времени. Во-вторых, агенты неравномерно распределены между социальными структурами — не все (индивидуальные и коллективные) агенты и не в одно и то же время принимают участие в одних и тех же социальных отношениях. В-третьих, объективации социальных отношений, которые П. Бурдьё называет капиталами, также неравномерно распределены между (индивидуальными и коллективными) агентами. В-четвертых, инкорпорированные социальные отношения, к каковым относятся: диспозиции, социальные представления, практические схемы, — распределены крайне неравномерно. Агенты, исходя из своих практических схем (т. е. интериоризированных социальных отношений), по-разному структурируют социальную действительность. Структура субъективного структурирования, проявляющаяся через распределение различных видов этого структурирования между агентами, *гомологична* структуре объективного структурирования, поскольку решающую роль в субъективном структурировании играют интериоризированные объективные структуры: практические схемы адаптируются к позиции агента уже хотя бы в силу того, что их содержание обусловлено предшествующей социальной борьбой и потому пусть в превращенной форме, но отражает конфигурацию социальных сил.

Утверждение П. Бурдьё о том, что все социальные отношения в свою очередь структурированы, приводит его к формированию понятия «поле», понимаемого как относительно замкнутая и автономная система социальных отношений. Поле возникает как следствие прогрессирующего общественного разделения сил.

Социальное пространство и поле

В самом общем смысле, в генетическом структурализме «поле» представляет собой относительно автономную и замкнутую систему социальных явлений, на базе которой может быть сконструирован самостоятельный целостный предмет исследования социальной науки.

Поле — это подпространство социального пространства, определяемое специфической силой — ансамблем различий активных свойств, обуславливающих его специфику, его отличие от любого другого подпространства. Поле есть специфическая система отношений между различными *позициями*, структурно обусловленными и в большой степени не зависящими от физического существования индивидов, которые эти позиции занимают. Иными словами, при синхронном рассмотрении поле представляет собой *структурированное пространство позиций*. Поля характеризуются, в том числе, свойствами составляющих их позиций, которые могут быть исследованы независимо от характеристик занимающих их индивидов. Агенты (индивидуальные или групповые) определяются в поле реляционно — их позициями, отличающимися друг от друга властью и влиянием, получаемой материальной и символической прибылью, ценой, которую надо заплатить, чтобы их занять, и т. д.

Итак, область социального пространства, где проявляют себя достоверно зарегистрированные и поддающиеся измерению силы, называется полем. Неотъемлемой характеристикой такой области служит ее замкнутость или «самозаконность»: все объединенные в «силовое» поле явления подчиняются общим регулярностям, отличным от тех, что действуют в других полях. Это означает, что они обусловлены одними и теми же структурами и связа-

ны общими взаимодействиями или практиками. В силу этого некорректно говорить, например, о «поле мнений»: во-первых, социальные представления как таковые не могут совершать действия или устанавливать силовые взаимодействия сами по себе, без социальных агентов, которые занимают заведомо различные социальные позиции; во-вторых, они не образуют содержательного субстанционального единства; в-третьих, в разных областях социального пространства представления агентов обусловлены разными структурами. Предполагать существование помимо силовых полей каких-либо других, имеющих не-силовую природу, нет никаких теоретических или экспериментальных оснований. Далее, носителем силового поля может выступать исключительно социальный агент — единственный предмет социологического исследования, способный самостоятельно производить социальные действия, но никак не «мнение», «информация» или что-то в этом роде.

Например, поле науки проявляет себя во взаимодействии агентов, производящих легитимное научное знание, однако к непосредственным взаимодействиям не сводится. Поле науки проявляет себя силовым влиянием друг на друга агентов, обладающих некоторым свойством, называемым «научным капиталом». Природа «капиталов» в данном случае не выступает предметом специального изучения (предполагается, что это уже было сделано ранее, на предыдущих этапах исследования), однако их величины являются параметрами, задающими меру взаимодействия тех, кто обладает указанным свойством, т. е. агентов поля науки. Сила взаимодействия индивидуальных и коллективных агентов поля пропорциональна их капиталам.

Понятие «поле» у П. Бурдьё не организуется вокруг какого-то одного общего принципа, а носит комплексный характер, т. е. выступает единством отдельных принципов (капиталов и рынка, правил и ставок игры, дохода и прибыли и т. д.). Чтобы синтезировать этот комплекс различных принципов в концептуальное единство, нужен тем не менее некий метапринцип. Таким метапринципом является иерархия доминирования в поле. Позиции и силы

выражаются в различных иерархиях поля так, что одни структурно доминируют над другими. Это, в частности, означает, что там, где существует конфликт условий и предпосылок практик, присущих различным позициям, подчиненные вынуждены производить свои практики, исходя из условий и предпосылок, созданных господствующими. Например, подчиненные осмысливают свое положение и социальную действительность в целом, используя социальные представления, произведенные господствующими, поскольку других представлений у них попросту нет. Другими словами, результаты производства практик доминирующими позициями являются предпосылками и условиями производства практик для доминируемых позиций.

Весь понятийный аппарат генетического структурализма строится вокруг «социального пространства», «поля» и действующих в нем «сил». В отличие от множества других социологов, П. Бурдьё призывает изучать не субстанции — некие социальные «частицы» как элементарные объекты, а социальные отношения, описывающие структуру и всевозможные состояния полей.

Можно было бы предположить, что поле реально, что оно есть «последняя реальность», определяющая «метрику» социального пространства и структуру сил. Однако в генетическом структурализме основная функция поля заключается в изменении состояния социального пространства. Это изменение описывается (статистической) вероятностью, которая — в идеале — обеспечивает социологическое знание возможностей социальной действительности. Под этим углом зрения позволительно описывать экспериментальные ситуации в терминах полей, конструируя позиции с учетом действия социальных сил на основе знаний о состоянии социального пространства в целом. Но нельзя считать эти поля реальными и объективными в том же смысле, в каком реальны и объективны вещи природы.

Сила — это не собственность или владение чем-то, а практики. Конечно, практики как таковые не могут существовать вне определенных социальных условий, но в данном случае упор делается именно на действие. У силы

нет ни других объектов, ни других субъектов, кроме других сил, и нет иного бытия, кроме социальных отношений. Всякая сила может быть истолкована как отношение господства — власти или влияния. Социальные процессы, фиксируемые социологией как изменения состояния социального пространства, происходят под действием сил. «Поле» в генетическом структурализме есть, таким образом, вторичное понятие, а первичным является «сила».

Социальная действительность, т. е. то, что существует до и помимо науки, может быть представлена с помощью бесчисленного множества социальных пространств, различающихся своим объемом (совокупностью выражаемых в них явлений) и структурой. Одни и те же индивидуальные и коллективные агенты в социальных пространствах разного объема и структуры будут располагаться по-разному. Понятно, что «академики» в социальном пространстве производства научных знаний располагаются принципиально иначе, нежели в социальном пространстве производства экономических благ. Это выглядит так, как если бы на них действовали «разнесенные» по пространству отклоняющие силы. Суть подхода П. Бурдьё в том, что социальное пространство как структура позиций определяется действующими в нем силами. Социальное пространство — это поле социальных отношений или сил, геометрическое изображение структур, принципиально отличающееся от всех непосредственных взаимодействий агентов, действующих на его фоне. Оно зависит от распределенных в нем социальных структур. Поскольку социальные структуры выступают необходимыми условиями производства любых практик и представлений, постольку в самих практиках они проявляются как силы, и мы можем утверждать, что социальное пространство задается действующими в нем силами.

Итак, структура социального пространства формально становится проявлением социальных структур, существующих в действительности. При этом приходится отказаться от представлений о поле как некой «размазанной» по социальному пространству «полевой субстанции». Например, «поле литературы» — не пространственно распределенная совокупность «объективно данных» сущ-

ностей, а ансамбль отношений, проявляющихся в виде пространственной структуры, различной с точки зрения исследователей, занимающих разные позиции в социальном пространстве. Пространство, в котором действуют связанные с производством литературной продукции силы (а их еще надо определить экспериментально!), и называется полем литературы. Фиксируемые феноменологически практики, представления и т. п. агентов литературного производства описываются с помощью силового поля литературы. Поле вводится как вспомогательная конструкция, объясняющая эмпирические данные, которые нельзя объяснить лишь через непосредственные взаимодействия, но само по себе оно из эксперимента не следует. Поле описывается косвенно, через устойчивые инварианты практик и распределений их предпосылок и условий.

Далее, поле обладает единством в том смысле, что оно не поддается реальному разбиению на части. Поскольку отдельное поле заполняет область социального пространства, то в нем можно мысленно выделить позиции. Однако эти позиции нельзя интерпретировать как самостоятельно существующие социальные системы, как части, которые бы можно было отделить одну от другой. Каждое поле (и даже субполе) социального пространства едино и одно; меняются лишь различные состояния одного и того же поля. В силу того, что поле как ансамбль отношений нельзя разделить на части, для его описания невозможно корректно использовать субстанциальные понятия. Индивидуальные и коллективные агенты не могут считаться источниками поля, поскольку конституирующие его структуры предпосланы им как необходимые условия их практик.

Топология социальной действительности

Социология, по мнению П. Бурдьё, должна выявлять наиболее глубоко скрытые структуры различных «областей», из которых состоит социальная действительность, а также механизмы, служащие ее воспроизводству и производству. Особенность социальной действительности за-

ключается в том, что оформляющие ее структуры ведут «двойную жизнь». Они существуют, во-первых, как «реальность первого порядка», данная через распределение объективированных условий и предпосылок практик, средств производства дефицитных благ и ценностей («виды капитала»), и, во-вторых, как «реальность второго порядка», существующая в социальных представлениях, в практических схемах, т. е. как символическая матрица практик агентов. Это означает, что социальная действительность становится *символической системой* посредством свойств (социальных объектов) и их распределения, причем эта символическая система организована как система феноменов в соответствии с логикой различий и *значимых различий*.

Таким образом, социальная действительность как «реальность первого порядка» анализируется в аспекте «социальной физики» — как внешняя объективная структура, узлы и сочленения которой могут наблюдаться, измеряться, «картографироваться». Субъективная же точка зрения на социальную действительность как на «реальность второго порядка» предполагает, что социология должна взять в качестве предмета и саму объективную реальность, и ее восприятие, включая все возможные перспективы и точки зрения, которые есть у агентов относительно этой реальности в зависимости от их позиции в социальном пространстве.

«Социальное пространство» есть концептуальное выражение тезиса П. Бурдьё о том, что социология в первую очередь есть социальная топология [15]. Вопрос о топологической структуре социальной действительности становится вопросом о «здесь-бытии» социальных феноменов, о пространстве отношений, определяющем событие социологической истины. Однако «социологическое большинство» все еще слишком привязано к представлению о социальном пространстве как о чем-то пустом и принципиально отличном от самой социальной действительности. Но, быть может, социальное пространство есть оптимальный способ социологического выражения социальных структур?

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Декарт Р. Первоначала философии / Пер. с лат. С. Я. Шейнман-Топштейн, с франц. Н. Н. Сретенского // Декарт Р. Сочинения: В 2 т. Т. 1 / Сост., ред., вступ. ст. В. В. Соколова. М.: Мысль, 1989. С. 353.
2. Bourdieu P. Raisons pratiques. Sur la théorie de l'action. Paris: Seuil, 1994.
3. Лейбниц Г. В. Опыт рассмотрения динамики. О раскрытии и возведении к причинам удивительных законов, определяющих силы и взаимодействие тел / Пер. с лат. Я. М. Боровского // Лейбниц Г. В. Сочинения: В 4 т. Т. 1 / Ред. и сост., авт. вступит. ст. и примеч. В. В. Соколов. М.: Мысль, 1982. С. 247.
4. Лейбниц Г. В. О природе тела и движущих сил / Пер. с лат. Н. А. Федорова // Лейбниц Г. В. Сочинения: В 4 т. Т. 3 / Ред. и сост., авт. вступит. статей и примеч. Г. Г. Майоров и А. Л. Субботин. М.: Мысль, 1984. С. 219–221; 223.
5. Лейбниц Г. В. Рассуждение о метафизике / Пер. с франц. В. П. Преображенского // Лейбниц Г. В. Сочинения: В 4 т. Т. 1 / Ред. и сост., авт. вступит. ст. и примеч. В. В. Соколов. М.: Мысль, 1982. С. 143.
6. Лейбниц Г. В. Новая система природы и общения между субстанциями, а также о связи, существующей между душою и телом / Пер. с франц. Н. А. Иванцова // Лейбниц Г. В. Сочинения: В 4 т. Т. 1 / Ред. и сост., авт. вступит. ст. и примеч. В. В. Соколов. М.: Мысль, 1982. С. 272.
7. Лейбниц Г. В. Монадология / Пер. с франц. Е. Н. Боброва // Лейбниц Г. В. Сочинения: В 4 т. Т. 1 / Ред. и сост., авт. вступит. ст. и примеч. В. В. Соколов. М.: Мысль, 1982. С. 423 и др.
8. Heidegger M. Nietzsche. T. 2 / Trad. par P. Klossowski. Paris: Gallimard, 1971. P. 354.
9. Гегель Г. В. Ф. Феноменология духа / Пер. с нем. Г. Шпета. СПб.: Наука, 1992.
10. Гегель Г. В. Ф. Наука логики. В 3 т. Т. 2. М.: Мысль, 1971.
11. Кант И. Критика способности суждения / Пер. с нем. М. И. Левиной // Кант И. Сочинения: В 8 т. Т. 5. М.: Чоро, 1994. С. 243–246.
12. Вебер М. Основные социологические понятия // Вебер М. Избранные произведения: Пер. с нем. / Сост., общ. ред. и послесл. Ю. Н. Давыдова. М.: Прогресс, 1990. С. 603.
13. Риккерт Г. Границы естественнонаучного образования понятий. Логическое введение в исторические науки / Пер. с нем. СПб.: Наука, 1997. С. 255.

14. Вебер М. «Объективность» социально-научного и социально-политического познания // Вебер М. Избранные произведения / Пер. с нем. Сост., общ. ред. и послесл. Ю. Н. Давыдова. М.: Прогресс, 1990. С. 365, 377 и др.

15. Bourdieu P. Méditations pasqualiennes. Paris: Seuil, 1997. P. 158, 161.

Пьер Бурдьё
СОЦИАЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО:
ПОЛЯ И ПРАКТИКИ

Главный редактор издательства *И. А. Савкин*
Разработка серийного оформления *А. Бондаренко*
Корректор *Н. М. Баталова*
Оригинал-макет *Е. Н. Ванчурина*

ИД № 04372 от 26.03.2001 г.
Издательство «Алетейя»,
193019, СПб., пр. Обуховской Обороны, 13.
Тел.: (812) 567-22-39, факс: (812) 567-22-53
E-mail: aletheia@rol.ru
www.orthodoxia.org/aletheia

Фирменные магазины «Историческая книга»
Москва, м. «Китай-город», Старосадский пер., 9. Тел. (095) 921-48-95
Санкт-Петербург, м. «Чернышевская», ул. Чайковского, 55.
Тел. (812) 327-26-37

Подписано в печать 21.03.2005. Формат 84х108¹/₃₂.
Печать офсетная. Усл.-печ. л. 30,24. Тираж 1000 экз. Заказ № 4062
Отпечатано с готовых диапозитивов в ГУП «Типография «Наука»,
199034, Санкт-Петербург, 9 линия, д. 12

Printed in Russia